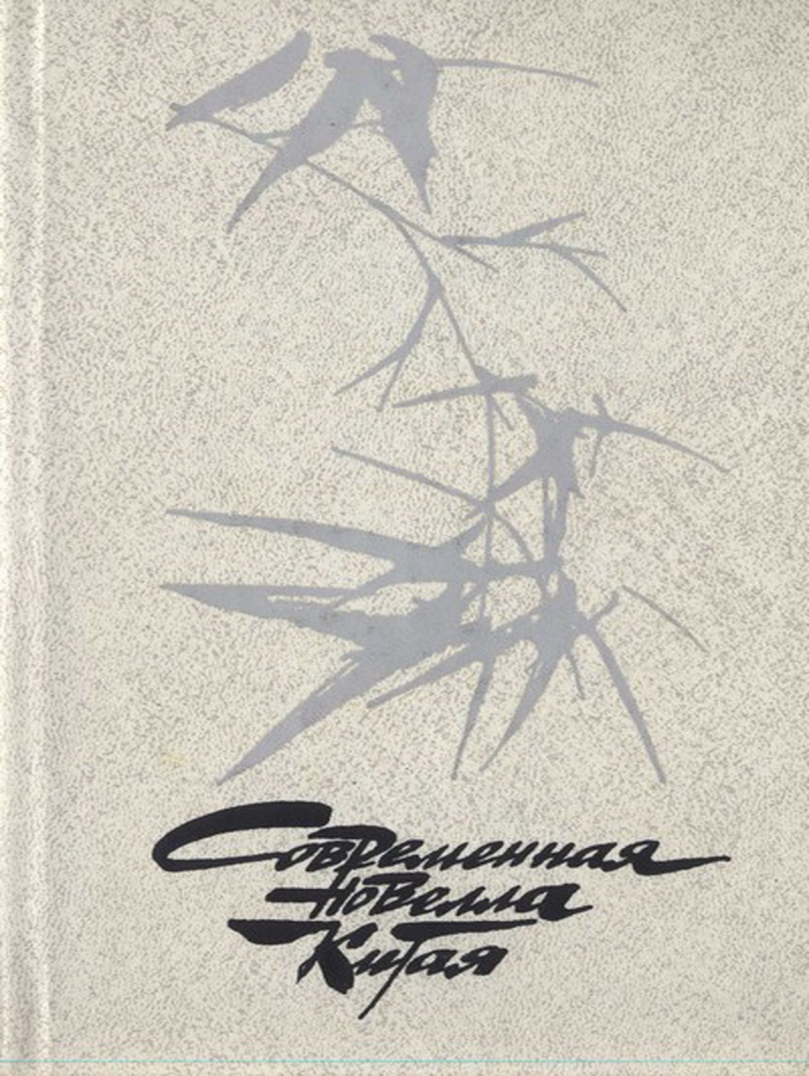

Современная
новелла
Китая

Современная новелла Китая

Ван Мэн, Гу Хуа, Фэн Цзицай, А Чэн, Ван Аньи, Ван Жуньцзы, Гао Сяошэн, Дэн Юмэй, Лу Вэньфу, Лю Синьу, Лю Шаотан, Малчинху, Ма Фэн, Мэн Вэйцзай, Те Нин, Ужээрту, Хао Жань, Цзян Цзылун, Цзяо Цзуяо, Чжан Сюань, Чжан Сяньлян, Чжан Цзе, Чэнь Цзяньгун, Шэнь Жун

Аннотация
Современная новелла Китая
А ЧЭН. КОРОЛЬ ШАХМАТ. © Перевод В. Аджимамудова
ВАН АНЬИ. КОНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ. © Перевод В. Сухоруков
ВАН ЖУНЬЦЗЫ. ХОЗЯЙКА. © Перевод Н. Захарова
ВАН МЭН. ЗИМНИЕ ПЕРЕСУДЫ. © Перевод С. Торопцев
ГАО СЯОШЭН. ЧЭНЬ ХУАНЬШЭН ИДЕТ В ГОРОД. © Перевод В. Аджимамудова
ГУ ХУА. ДОМИК, УВИТЫЙ ПЛЮЩОМ. © Перевод В. Семанов

ДЭН ЮМЭЙ. ПОХОЖДЕНИЯ НАУ. © Перевод В. Аджимамудова
ЛУ ВЭНЬФУ. ОКНА НА УЛИЦУ. © Перевод А. Монастырский
ЛЮ СИНЬУ. АВТОБУСНЫЕ МОТИВЫ. © Перевод В. Сорокин
ЛЮ ШАОТАН. ЭМЭЙ. © Перевод Т. Сорокина
МАЛЧИНХУ. ИСТОРИЯ ЖИВОГО БУДДЫ. © Перевод А. Монастырский
МА ФЭН. СВАДЕБНЫЙ МИТИНГ. © Перевод А. Монастырский
МЭН ВЭЙЦЗАЙ. ЗАПИСКИ ПРЕДВОДИТЕЛЯ. © Перевод Е. Рождественская-Молчанова
ТЕ НИН. ЭЙ, СЯНСЮЭ!. © Перевод С. Торопцев
УЖЭЭРТУ. СУДЬБА ОХОТНИКА. © Перевод Е. Рождественская-Молчанова
ФЭН ЦЗИЦАЙ. БАРКАРОЛА. © Перевод В. Сорокин
ХАО ЖАНЬ. ЛОВКАЧИ. © Перевод В. Сухоруков
ЦЗЯН ЦЗЫЛУН. НОВОГОДНИЕ ВИЗИТЫ. © Перевод Е. Рождественская-Молчанова
ЦЗЯО ЦЗУЯО. ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ. © Перевод Н. Демидо
ЧЖАН СЮАНЬ. КОГДА ТАЕТ СНЕГ. © Перевод В. Семанов
ЧЖАН СЯНЬЛЯН. ДУША И ТЕЛО. © Перевод А. Монастырский

ЧЖАН ЦЗЕ. НЕ СОЗРЕЛ.... © Перевод И. Лисевич
ЧЭНЬ ЦЗЯНЬГУН. ИСЧЕЗНУВШИЙ ПЛАТОК С ФЕНИКСАМИ. © Перевод Д. Адамова
ШЭНЬ ЖУН. МИНУС ДЕСЯТЬ ЛЕТ. © Перевод Т. Сорокина

Аннотация

В сборник включены китайские новеллы, созданные за последнее десятилетие, в том числе и в самые последние годы, изображающие сложные, нередко драматические перипетии в жизни страны и ее народа.

Состав сборника и справки об авторах подготовлены издательством «Народная литература», КНР, Пекин.

Современная новелла Китая

А ЧЭН
КОРОЛЬ ШАХМАТ
© Перевод В. Аджимамудова

А Чэн (настоящее имя Чжун Ачэн) родился в 1949 году. После окончания полной средней школы в 1968 году работал в провинциях Шаньси, Юньнань, во Внутренней Монголии. В 1979 году вернулся в Пекин, дебютировал рассказом «Король шахмат», отмеченным в 1984 году на Всекитайском конкурсе на лучший рассказ.

I

На вокзале стоял тот невообразимый шум, который бывает, когда тысячи людей говорят разом. Никому не было дела до развешанных к этому дню алых полотнищ с лозунгами. Эти видавшие виды транспаранты со смятыми и кое-где изодранными бумажными иероглифами вывешивались, видно, не в первый раз. Громкоговорители, изрыгавшие песни на слова из цитатника, усиливали общую сумятицу.

Всех моих друзей уже давно отправили в де-

ревню, и теперь, когда настал мой черед, некому было меня проводить. Оставшись без отца и матери, один как перст, я потерял привилегию единственного сына — жить в городе. У моих родителей были в биографии какие-то темные пятна, поэтому, как только началась кампания, с ними живо расправились. А потом вынесли из дому всю мебель с алюминиевыми бирками ведомств, где родители служили. Возможно, это и справедливо, только я, оставшись один, бродяжничал как дикий волк больше года, пока не решил уехать. В местах, куда я собрался, можно было заработать больше двадцати юаней[1] в месяц, и я загорелся этой идеей. Но меня порядком помытарили, прежде чем отпустить. Дело в том, что это были пограничные места, а моя биография внушала начальству серьезные опасения: ведь речь шла не только о классовой борьбе, но и о международной. Нет слов, как я обрадовался оказанному мне доверию, а еще больше — перспективе получать двадцать юаней. Подумать только, на что одному человеку такая прорва денег? Да, все складывалось неплохо, обидно, правда, что никто меня не провожал. И я поспе-

[1] Примечания: 1

Юань — китайская денежная единица (соответствует приблизительно 50 коп.), делится на 10 мао или 100 фэней.

шил в вагон занять свое место, а на платформе прощались тысячи людей. Черт с ними, пускай себе прощаются.

Школьники буквально облепили окна вагонов, кричали, смеялись, плакали. С противоположной стороны тоже сгрудились пассажиры. Багажные полки, казалось, сейчас рухнут под тяжестью вещей.

Пробираясь по вагону в поисках своего места, я увидел худощавого паренька. Он сидел у окна, выходившего на юг, сунув руки в карманы и уставившись на безлюдную платформу с порожняком. Мое место оказалось чуть наискосок от него, я сел и тоже сунул руки в карманы. Паренек внимательно на меня посмотрел, и лицо его вдруг просветлело.

— Сыграем в шахматы?

Я замахал руками:

— Не играю!

Он недоверчиво поглядел на меня.

— С такими тонкими, длинными пальцами, как у тебя, не играть в шахматы?! Сыграем партию, шахматы у меня с собой.

Он полез в висевшую на крючке сумку.

— Я и в самом деле не умею, только знаю, как ходит конь, слон… Слушай, а тебя разве не про-

вожают?

Он уже разложил на столике пластмассовую доску.

— Неважно. Ты первый ходи. Даю тебе фору — ладью, коня и пушку[2].

— Да ну тебя! — рассмеялся я. — Как можно играть в таком бедламе! Так тебя никто не провожает?

— На кой черт мне провожатые? — сказал он, расставляя последние фигуры на доске. — Едем в хлебные края, непонятно, чего ради они подняли такой шум… Ладно, твой ход!

Я удивился, но все же сделал ход пушкой. Он тотчас же с легким стуком поставил коня, после чего я неуверенно продвинул свою пушку на его половину поля.

Он мельком взглянул на меня.

— А говоришь, не умеешь играть. Такой дебют я встречал лишь однажды, в Чжэнчжоу, и чуть не проиграл. А вот твой ход пушкой — это старинный дебют, мощный и очень надежный. Ну что же? Ходи!

Я не знал, как дальше ходить, рука в нерешительности повисла над доской. Словно не

---

[2] Примечания: 2

Пушка — фигура в китайских шахматах, ходит как ладья, бьет только через фигуру.

замечая моей растерянности, он молча обозревал позицию.

Вдруг все пришло в движение, в вагон ввалилась толпа людей, они протискивались к окнам, махали руками. Привстав, я тоже посмотрел на платформу. Все, кто был на перроне, старались подойти вплотную к окнам, голоса сливались в сплошной гул. Поезд внезапно качнулся, толпа охнула, со всех сторон послышался плач. Кто-то тронул меня за плечо, я обернулся, смотрю, он показывает рукой на доску.

— Так не играют. Твой ход!

У меня не было ни малейшей охоты играть, на душе стало муторно.

— Отвяжись! Нашел время для шахмат! — огрызнулся я.

Он с недоумением на меня уставился и обиженно замолчал.

Поезд набирал скорость, и в вагоне все понемногу угомонились. Но тут стали разносить воду, и снова началась суета, каждый тянулся со своей кружкой.

— Чьи шахматы? Убери, некуда кружку поставить, — недовольно произнес мой сосед.

— Может, сыграем? — предложил хозяин шахмат.

— А, была не была, сыграем разок!

Парень обрадовался и быстро расставил фигуры.

— Как-то ты чудно доску поставил, боком. Как же играть?

— Сойдет! — отмахнулся паренек. — Ведь когда наблюдаешь за чьей-то игрой, тоже сбоку смотришь. Ходи первый.

Жестом бывалого игрока мой сосед продвинул фигуру.

— Хожу пушкой в центр.

Последовал ответный ход конем, затем обмен фигурами.

Начало не предвещало ничего интересного, да и, по правде говоря, я не принадлежал к числу любителей шахмат. Я отвернулся, задумавшись, и тут заметил однокашника. Он шел по проходу, глазами ища кого-то.

— Ба, ты здесь, а у нас собирается партия, нужен четвертый…

Я отказался, зная, что речь идет о картах. Приятель настаивал и вдруг громко вскрикнул:

— Фанат, так ты здесь? Сестра всюду тебя искала, я сказал, что не видел. А ты, оказывается, с нами в одном вагоне, притаился — и ни гугу! И конечно, опять за шахматами!

Фанат покраснел.

— Вечно суешься не в свое дело! Вали отсюда. — И он стал торопить партнера.

— Так это и есть Ван Ишэн? — спросил я приятеля.

Тот вытаращил глаза.

— Как, ты с ним разве не знаком? Ну, старик, зря коптишь небо. Не знать шахматного Фаната…

— Я знал, что Фаната зовут Ван Ишэн, но не думал, что это он и есть.

Я стал внимательно его разглядывать. Натянуто улыбаясь, Ван не поднимал глаз, занятый игрой.

Ван Ишэн был своего рода знаменитостью. На шахматных турнирах лучших игроков школ нашего района он почти всегда побеждал. Его имя не сходило с уст школьных шахматных болельщиков, и какие-то обрывки разговоров доходили даже до меня, совершенно равнодушного к шахматам. Он слыл шахматным фанатиком и получил прозвище Фанат. Рассказывали, что у него прекрасные математические способности и он первый в классе по математике и физике. Это неудивительно для шахматиста. А вообще, чего только о нем не рассказывали, каких небылиц и нелепых историй, наверняка забавы ради или для острого словца. Когда началась «культурная

революция», распространился слух, будто Фанат в ходе «установления революционных контактов» на местах допустил серьезную ошибку и под конвоем был препровожден обратно в школу. После всего услышанного о нем я сильно сомневался, что его вообще могли отправить на установление контактов, тем более что он не прокормил бы себя в деревне, это было ясно. Но молва о том, что он все-таки там был и его использовали как наводчика, подбрасывая время от времени немного денег, которые он, ничего не подозревая, спокойно принимал, упорно держалась, пока наконец картина не прояснилась. Так вот, приехав на новое место, он сломя голову несся туда, где обычно собирались шахматисты. Понаблюдав за игрой, вызывался сыграть с победителем. Косясь на его неказистую внешность, с ним после долгих препирательств нехотя садились играть. Фанат играл молча, быстро, словно не задумываясь, передвигал фигуры. Соперник после нескольких ходов покрывался испариной, и в тот самый момент, когда от его бравады не оставалось и следа, а болельщики в озадаченном молчании смыкались плотнее, не решаясь больше лезть со своими советами, дружки Фаната, которые разъезжали вместе с ним, принимались шарить по

карманам. Заядлые шахматисты были слишком захвачены игрой, чтобы заметить, как кошельки меняют хозяев. После третьей партии все только чесали в затылках, а Фанат, новоявленный король шахмат, вызывал желающих на поединок. И всегда находились храбрецы, желающие с ним сразиться, но Фанат всегда побеждал. Бывало и так, что целой оравой играли против него одного. Фанат и тут не сбавлял темпа, поторапливая своих незадачливых партнеров, которые с пеной у рта спорили из-за каждого хода. Так, за шахматной доской он, случалось, проводил целые дни. Но вот зрители начинали расходиться, кто-то обнаруживал пропажу, и поднимался скандал. Потом те, что подогадливее, стали исподтишка наблюдать за происходящим, засекли воришку, проследили, как он вечером уходил вместе с Фанатом, и, заключив из этого, что они действуют заодно, задержали, связали и сдали на дознание цзаофаням[3]. Сбитый с толку, Фанат давал самые бестолковые показания, вроде того, что деньги ему давали из жалости, откуда они — он не знал и вообще интересовался только шахматами. Так ничего и не добившись, его после допроса под

[3] Примечания: 3

Цзаофань — сокращение от «Гэмин цзаофань пай» — «революционные бунтари».

стражей отправили в школу.

Потом говорили, что Фанат через знакомых искал сильных игроков в городе, поскольку у нас в провинции ему уже не с кем было совершенствовать свое мастерство, и что однокашник познакомил его со своим отцом — шахматной знаменитостью. Тот без лишних разговоров посадил Фаната решать сложную шахматную композицию Сунской эпохи. Фанат долго думал, потом ход за ходом пришел к точному решению древнего этюда. Пораженный мастер заявил, что готов взять его к себе в ученики.

«А сами вы решили эту задачу?» — внезапно спросил Фанат.

«Нет».

«Тогда чему я могу у вас научиться?»

Фаната попросили покинуть дом.

«Твой друг — самонадеянный гордец, — заявил шахматист сыну. — Шахматное мастерство неотделимо от нравственных качеств, он загубит свой талант, если и впредь будет себя вести подобным образом».

Как-то Фанат познакомился со старым сборщиком макулатуры, заядлым шахматистом. Они играли три дня подряд, и Фанат выиграл всего одну партию. Чтобы освободить старика

от тяжкого физического труда, он взялся собирать вместо него использованную бумагу и старые дацзыбао. И однажды по неосторожности сорвал только что вывешенный одной из групп цзаофаней «призыв к оружию». Его тут же схватили, обвинив в принадлежности к враждующей группировке, которая, как говорилось в написанной по этому поводу листовке, «строит козни и вынашивает дьявольские планы», но «чаша терпения переполнилась, и против нее объявлен поход!». «Враждующая группировка» в свою очередь не дремала, организовав побег Фаната из-под стражи, и, прикрываясь его именем, нанесла контрудар. Имя Фаната — Ван Ишэн — запестрило во всех уличных дацзыбао. О нем узнали революционные бойцы, съехавшиеся к нам из разных провинций для обмена опытом, и стали наперебой приглашать к себе для участия в турнирах со знаменитыми странствующими шахматистами. Мастерство Фаната крепло в этих поединках, но, к сожалению, страна была охвачена революцией, иначе, кто знает, не ждал ли его выдающийся успех на этом поприще.

Узнав, с кем он играет, мой сосед притих. А Ван Ишэн после слов моего однокашника заметно приуныл. Я тоже его не щадил.

— Сестренка пришла тебя проводить, а ты, вместо того чтобы поговорить с ней, пристал ко мне как банный лист со своими шахматами!

— Что можешь ты знать о наших делах? Живешь хорошо. Небось мать с отцом отпускать не хотели, — возразил Ван.

Я растерялся.

— Мои родители… давно на том свете.

К великой моей досаде, приятель стал расписывать мои злоключения. Я резко его оборвал.

— Как же ты жил эти два года? — задумчиво спросил Ван Ишэн.

— Перебивался кое-как.

— Нелегкое это дело, — вздохнул он. — Денек не поешь, — все комбинации перепутаешь. Но я думаю, при жизни родителей у тебя все было благополучно.

— Твои, видно, живы, вот ты и разглагольствуешь, — отмахнулся я.

Приятель постарался переменить тему разговора.

— Фанат, все равно достойного соперника у тебя нет, пошли, сыграем лучше в карты.

Тот усмехнулся:

— В карты я вас и во сне обыграю.

В пути я стал замечать, как постепенно между

мной и Ван Ишэном, несмотря на некоторую настороженность и скованность, росло доверие и сочувствие, рожденное одинаковым жизненным опытом. Он без конца расспрашивал меня о моей жизни, особенно после смерти родителей. Я в двух словах ему рассказал, но он дотошно пытал меня о всяких мелочах, больше всего о еде. Стоило однажды упомянуть о том, что мне пришлось как-то целый день голодать, как он нетерпеливо спросил:

— Совсем-совсем ничего не ел?

— Ну да, ни крошки.

— А как ты потом поел?

— Случайно. Школьный товарищ, собирая ранец, вытряхнул из него разное барахло, в том числе черствую как камень булку. Она тут же на столе раскрошилась, и я, пока мы болтали, умял все крошки. Но лепешка, само собой, сытней булки.

Он согласился с моим мнением о лепешках, но продолжал допекать вопросами:

— А в котором часу ты съел булку? Ночью?

— Э нет, вечером, часов в десять.

— Ну а на следующий день что ты ел?

Меня с души воротило от этих вопросов. Кому охота, скажите на милость, ворошить прошлое,

да еще копаться в унизительных подробностях? Эта жизнь, так непохожая на прежнюю, и без того доконала меня, потому что казалась злой насмешкой над моими идеалами.

— Я переночевал тогда у товарища, — неохотно продолжал я, — и утром мы позавтракали жареными пирожками. Пробегав весь день по его делам, мы что-то перекусили на улице, он меня угостил. Ну а вечером, когда я собрался уходить — стыдно было сидеть у него на шее, — меня забрал к себе другой школьный товарищ, узнавший, что мне некуда деться. Он, разумеется, и накормил меня. Ну, как? Теперь тебе все ясно?

— А ведь неправда, что ты не ел целый день, — усмехнувшись, произнес Ван Ишэн. — Вечером ты съел булку, значит, без пищи оставался меньше суток, не говоря уже о том, что на следующий день питался нормально.

— Дурак ты набитый! Еда ведь не только потребность физиологическая, но и духовная. Если не знаешь, когда тебе придется поесть, то, как назло, только и думаешь о еде.

— А дома, ни в чем не зная нужды, ты тоже ощущал эту духовную потребность? Пожалуй, все это выдумки. Твоя духовная потребность не что иное, как ненасытное желание урвать кусок пожирнее.

Ненасытность — черта людей твоего круга.

Возможно, в его словах и была толика правды, но я со злостью на него напустился:

— Что ты мне все тыкаешь, ты да ты, сам-то ты кто?

— Я из другого теста, — ответил он, пряча глаза, — и отношение к еде у меня самое земное. Ладно, оставим этот разговор. Так ты правда не любишь шахматы? «Что в силах рассеять грусть, кроме шахмат?» — продекламировал он.

Я презрительно хмыкнул.

— Грусть? У тебя?

— Да нет, ничего, — все еще не глядя на меня, ответил Ван Ишэн. — Грусть и прочие нежности не про нас, они для образованных, а у нас, черт подери, одни неприятности. И только за шахматами их забываешь.

Зная, что его пунктик — еда, я невольно обратил внимание, как он ест. Волнение охватывало его всякий раз, когда, не будучи занят шахматами, он слышал, что по вагонам начинают разносить еду. А когда звон алюминиевых плошек раздавался совсем рядом, он опускался на сиденье, закрыв глаза и плотно сжав губы, словно в обмороке. Получив свою порцию, он торопливо приступал к еде, и было видно, как двигается его кадык и

напрягаются мышцы лица. Он то и дело аккуратно подбирал с подбородка и уголков губ крошки и рисинки и пальцем отправлял в рот. Если рисинки падали на одежду, он ловко подхватывал и отправлял их следом, если же на пол — осторожно, стараясь не шевелить ногами, брал их с пола. Покончив с едой, он тщательно вылизывал палочки и, налив в миску воды, с наслаждением втягивал жир, плавающий на поверхности.

К еде он относился с благоговением и необыкновенной тщательностью. Ни единой рисинки не щадил, даже жалко их становилось. К шахматам, должен заметить, он относился с такой же тщательностью, но был куда великодушнее. Поняв, что противник проигрывает, он сбрасывал с доски фигуры и говорил:

— Еще одну партию?

И если тот не соглашался в надежде, что не все еще потеряно, в четыре-пять ходов разделывался с ним.

Глядя на Ван Ишэна, я часто вспоминал «Любовь к жизни» Джека Лондона и как-то после еды, когда он медленно, по глотку, пил горячую воду, пересказал ему содержание книги, в которой на меня особенно сильно подействовало описание голода. Он слушал меня затаив дыхание, рука

с миской застыла у рта. Дослушав до конца, он долго сидел в задумчивости, потом сделал еще несколько глотков и серьезно произнес:

— Нет, этот человек был прав, безусловно прав, что прятал галеты под матрац. А послушать тебя, так получается, что это у него от страха началось психическое расстройство. Нет. Он поступал вполне разумно, как мог этот писака не понять такой простой вещи? Как его, Джек… а, Джек Лондон, нет, точно, сытый голодного не разумеет.

Я не преминул тут же сказать, что за человек был Джек Лондон.

— Так-то оно так, — ответил он, — но ведь он, как ты говоришь, потом прославился, а значит, не знал больше забот о еде. Спокойно сидел в кресле и, попыхивая трубкой, выдумывал смешные истории о голоде.

— Он и не смеялся вовсе, он… — возмутился я.

— Как же не смеялся? — нетерпеливо перебил меня Ван Ишэн. — Человека, который испытал голод, изобразил психом. Чушь все это!

Я промолчал, мне стало смешно и горько. Но однажды, когда ему не с кем было играть в шахматы, он попросил меня повторить «историю про еду».

— Не про еду, а про любовь к жизни, — возразил

я с раздражением. — Ты в самом деле балда, ни о чем, кроме шахмат, понятия не имеешь.

Видя, как он растерялся от моих слов, я почувствовал угрызения совести, ведь что ни говори, он мне нравился.

— Ладно, согласился я, — ты читал «Кузена Понса» Бальзака?

Он покачал головой. Тогда я рассказал ему о старом жадном Понсе. Реакция Вана опять была неожиданной.

— Плохой рассказ, и совсем он не о еде — о жадности. Его погубила жадность, из-за нее он и умер. Нет, плохой рассказ. — Но тут же спохватился. — Не то чтобы плохой, а, понимаешь, у иностранцев все по-другому, между нами стена. А теперь послушай, что я тебе расскажу.

Я так и подскочил от удивления, подумать только, он может что-то рассказывать!

— Давным-давно, — начал он, устраиваясь поудобнее, — знаешь, с этого «давным-давно» бабушка всегда заводила свои сказки. Ну так вот, жила-была семья, всего у них было вдоволь, в общем, здорово жили. Потом пришла в дом невестка, работа у нее в руках спорилась, рисовая каша получалась рассыпчатая, вкусная, никогда не пригорала. И каждый раз, готовя еду, она при-

прятывала пригоршню крупы…

— Эта история вот с такой бородой, — перебил я. — Потом, в неурожайный год, невестка достала припрятанный рис, спасла от голода родных и еще беднякам раздала.

Он остолбенел.

— Так ты знаешь эту историю? Только рис никому не раздали, бабушка ничего про это не говорила.

— Ах, что за олух! — рассмеялся я. — Эту историю рассказывают детям, чтобы научить их бережливости, а ты принял всерьез. Да и не про еду это вовсе.

— Нет, про еду, — упрямо сказал он. — Надо всегда заботиться о том, чтобы она была. Когда в этой семье амбары ломились от зерна, они не съели все подчистую, помня, что благоденствию может прийти конец, и откладывали от каждой еды на черный день. В старину говорили: «Кто досыта не ест — долго живет».

Я задумался, с трудом начиная вникать в ход его рассуждений.

— Ладно, Фанат, сыграем партию, — предложил я.

— Верно, — обрадовался Ван Ишэн. — Ну их, эти байки про еду, сыграем. «Что в силах развеять

грусть, кроме шахмат?» А? Ха-ха! Начинай!

Я, как и в первый раз, продвинул пушку к центру, он пошел конем. Играл я рассеянно, наугад двигая фигуры, думая о том, что в школе он, должно быть, много читал.

— Ты любишь «Короткие песни» Цао Цао?[4] — спросил я.

— Какие короткие песни? — удивился он.

— Откуда же ты знаешь строчку: «Кто в силах развеять грусть, кроме Ду Кана»?

— Что такое «дукан»? — изумился он.

— Ду Кан — винодел, его именем потом назвали сорт вина. Я думал, ты сам так ловко перефразировал стихотворную строчку.

— Э нет. Я услышал ее от одного старика, это была его любимая присказка перед игрой.

— Не того ли, что собирал макулатуру? — спросил я.

Ван Ишэн мельком на меня взглянул.

— Нет, нет. Впрочем, сборщик бумаги отлично играл в шахматы, я многому у него научился.

Любопытство мое было задето.

— Расскажи о нем что-нибудь. Почему хороший шахматист зарабатывал на жизнь сбором

---

[4] Примечания: 4

Цао Цао (155–220) — известный полководец и поэт, основатель царства Вэй.

макулатуры?

— Шахматами сыт не будешь. Я не знаю толком его прошлого. Как-то, потеряв таблицы с шахматными партиями, я отправился искать их на свалку, решив, что случайно выбросил, и когда рылся в куче мусора, ко мне подошел старик с корзиной в руках.

«Парень, говорит, что же ты отнимаешь у меня кусок хлеба!» Я успокоил его, сказав, что ищу потерянные бумаги. «Какие именно? — поинтересовался он. — Деньги? Сберкнижку? Свидетельство о браке?» — «Таблицы шахматных партий», — коротко ответил я, и он вмиг их нашел. Старик захотел взглянуть на таблицы. При свете уличного фонаря бегло проглядев их, он небрежно бросил: «Ерунда!» Я объяснил ему, что это партии, разыгранные на городском шахматном чемпионате. «Ну и что из этого! Посмотри, разве так ходят? Дураки отпетые!»

Я был сбит с толку и тут же поинтересовался, какую комбинацию предложил бы он. Старик так быстро, прямо на ходу, разобрал одну из партий, что я убедился — передо мной настоящий мастер шахматной игры. Прямо там же, у свалки, мы сыграли с ним вслепую пять партий, и все пять он без труда выиграл. В его дебютах не было

ничего неожиданного, но хватка чувствовалась железная, с первых же ходов. Он бил как молния, расставляя ловушки, стремительно и туго затягивая петлю. Свалка стала местом наших ежедневных встреч, мы разыгрывали по памяти партии, которые затем дома я тщательно анализировал. Через некоторое время мне удалось свести одну партию к ничьей, а в другой выйти победителем. Уже через десяток ходов он постучал по земле железным совком для мусора и выдохнул: «Ты выиграл».

Я был вне себя от радости, горя желанием тут же напроситься к нему домой продолжить игру, но он охладил мой пыл, велев прийти на следующий день вечером на то же место.

Назавтра я уже издали увидел фигуру с корзиной. Приблизившись, старик протянул мне что-то завернутое в тряпицу, сказав, что это древний трактат о шахматах, велел взять с собой и попробовать разобраться, а если чего не пойму — обратиться к нему. Я, как на крыльях, полетел домой, раскрыл, смотрю — какая-то чудная книга, ни черта не понятно, сущая абракадабра. Ветхий манускрипт, со всех сторон подшитый и подклеенный, неизвестно, какой эпохи и династии, и как будто совсем не о шахматах. Я помчался на

другой день к старику и засыпал его вопросами, он рассмеялся и сказал, что сейчас даст мне ключ к тексту. Когда он приступил к изложению философской сути трактата — взаимоотношению женского и мужского начал, — я не на шутку перепугался. «Ведь это же запрещенная „старая идеология“!» — вскричал я. «Что значит „старая“? — вздохнул он. — Вот я, к примеру, собираю использованную бумагу, она, конечно же, старая, никуда не годная. Но я ее сортирую и продаю, чтобы жить, и разве потом она опять не становится новой?»

У даосов, сказал он, есть учение об инь и ян, о женском и мужском началах в природе, в первой главе говорится о круговороте этих двух начал, о том, что ян и инь взаимопроникают и взаимоотталкиваются.

Начинать игру, продолжал старик, следует не спеша, иначе сорвешься. «При чрезмерной полноте сил — сорвешься, при чрезмерной вялости — унесет течением», — сказано в трактате. Мой недостаток, по мнению старика, заключался в чрезмерной полноте сил. При встрече с сильным противником надо применять гибкую тактику и, маневрируя, добиваться перевеса сил. Гибкость — не слабость, а умение втянуть противника

в свою игру, навязать ему свою стратегию. Ты конструируешь комбинацию, прилагая максимум усилий и не форсируя в то же время игры. В даосизме истина-дао заключена в недеянии, то же самое и с фортуной в шахматах, не пытайся повернуть ее силой, иначе не только проиграешь, но вообще не сможешь играть. Фортуна фортуной, а стратегический план ты должен сам разработать, при наличии того и другого, везенья и правильной стратегии, ты хозяин положения на доске. Все это, конечно, мистика, но, поразмыслив, ты найдешь в ней немалую долю истины. Я поблагодарил старика, он открыл мне стратегию шахматного искусства, но в то же время у меня возникли сомнения: как можно при бесконечном множестве шахматных комбинаций быть уверенным в победе? Старик ответил, что секрет — в захвате инициативы. С первого же хода ты либо вовлечен в игру противника, либо ведешь ее сам. Если соперник шахматист высокого класса, то вовлечь его в свою игру трудно, поэтому приходится идти на жертвы, на размен фигур. Вначале ты паришруешь атаку, стараясь блокировать его позицию и развернуть собственный атакующий маневр. Тут уж ни в коем случае не следует жертвовать фигурами. Стратегия должна меняться

в зависимости от обстоятельств, комбинации вырастать одна из другой, как составные части общего стратегического плана…

Старик сказал, что я умею лишь разыгрывать комбинации, но что стратегические замыслы у меня нечетки. Поэтому, даже рассчитав маневры на много ходов вперед, я, по его словам, не могу захватить инициативу. Еще он сказал, что у меня светлая голова и стремление до всего докопаться. «Мне осталось недолго жить, — заявил напоследок старик, — детей у меня нет, и я хочу передать тебе свое искусство».

Я спросил старика, зачем он занялся таким низким ремеслом. Искусство шахматной игры, со вздохом пояснил он, передавалось у нас из рода в род от далеких предков, которые завещали «шахматы ради шахмат, а не ради заработка на жизнь». Шахматы способствуют развитию самых лучших человеческих качеств, в то время как деньги растлевают человека. Заветы предков помешали старику в молодости овладеть каким-нибудь ремеслом.

— Шахматы и жизнь, так ли различны их принципы? — удивился я.

— Такой же вопрос я задал старику, — сказал Ван Ишэн, — мне хотелось узнать, что он думает

о делах Поднебесной. Принципы одинаковы, ситуации различны, пояснил старик. В шахматах — считанное количество фигур и доска — вся как на ладони, в Поднебесной же многое скрыто… А для игры нужны все фигуры.

На мой вопрос, какова судьба трактата по шахматам, Ван Ишэн со слезами на глазах сказал:

— Я всегда носил его с собой, без конца перечитывал. А потом, как ты знаешь, цзаофани схватили меня за сорванную листовку, обыскали и, найдя рукопись, тут же на моих глазах уничтожили как «идеологическую рухлядь». К счастью, она крепко засела у меня в голове, и я плевал на них.

Мы повздыхали над судьбой рукописи.

Наконец поезд остановился, учащихся погрузили на машины и повезли на центральную усадьбу госхоза, откуда распределили по фермам.

— Фанат, пора прощаться, — сказал я, — не забывай друзей, будем время от времени наведываться друг к другу.

Он ответил:

— Само собой.

II

Ферма была расположена высоко в горах, где нам предстояло рубить лес, выжигать площадки, копать ямы для новых посадок и еще заниматься земледелием, сеять зерновые. При неудобстве сообщения и нехватке транспорта, отрезанные от мира, мы зачастую не могли даже запастись керосином для лампы. Вечерами, в полной темноте мы собирались вместе и жались друг к другу, болтая о том о сем. Здесь на ферме «обрубили хвост капитализму»[5], запретив подсобные промыслы и приусадебное хозяйство, поэтому люди бедствовали, растительного масла, бывало, выдавали всего на пять фэней в месяц. И когда раздавался звонок к обеду, мы срывались с места и как угорелые мчались на кухню, где в большом котле варили овощи, добавляя в них чуть-чуть масла. Оно расползалось кругами на поверхности, и последним доставалась водичка с тыквой или баклажанами. Круп, правда, хватало, по карточкам

[5] Примечания: 5

В период «культурной революции» всякая индивидуальная трудовая деятельность рассматривалась как «капиталистическая».

полагалось сорок два цзиня[6] в месяц на человека. Но рыть в горах — работенка не из легких, и без жиров, от овощей и крупы, животы у нас пучило. Мне, разумеется, было грех жаловаться, в конце концов, все лучше, чем побираться. К тому же свои двадцать юаней в месяц я, не имея ни семьи, ни подружки, тратил на самого себя. Пристрастился, на беду, к курению.

Иногда, валясь с ног от усталости после изнурительной работы в горах, я думал, а как же справляется Фанат, он-то совсем слабак. Или по вечерам, когда мы трепались о жратве, мне снова приходило в голову, что ему там тоже не сладко, хуже, чем мне. Отец мой был отменным кулинаром, лучше матери, и по выходным дням звал обычно гостей. Я тоже научился кое-что готовить по его рецептам и во время наших вечерних бдений со смаком расписывал разные кушанья. У ребят слюнки текли, они валили меня на пол, приговаривая, что лучше всего меня самого пустить на убой, изжарить и съесть.

В сезон дождей мы откапывали ростки бамбука, ловили в канавах зеленых лягушек, но готовили по-прежнему без масла и оттого, наверное, часто

---

[6] Примечания: 6
Цзинь — мера веса, около 600 г.

страдали коликами в животе. В горах, где мы постоянно разводили огонь, звери стали очень пугливы, от малейшего шороха разбегались, и охотиться на них было нелегко. Если же и удавалось какого-нибудь словить, то он оказывался тощим, и вытопить жир из него было невозможно. Охотились мы и на крыс, больших, длиной в чи[7], говорили, что они питаются зерном и мясо у них все равно что человечье, так что выходило, будто мы едим человечину. Я вспоминал наш разговор с Фанатом. А сам он разве не жаден до еды? Может, желание урвать кусок пожирнее и есть ненасытность? Но только голодный, это я понял теперь, по-настоящему ненасытен…

И еще я гадал про себя: играет ли Фанат в шахматы? Встретиться с ним ни разу не удалось, нас разделяло почти пятьдесят километров.

Не успели оглянуться, как наступило лето. Однажды, когда мы работали в горах, я заметил внизу, у подножия, человека. Кто-то предположил, что это ухажер Сяомао, — мы знали, что у нее завелся парень с другой фермы, но никто еще его не видел. Гора тотчас огласилась криками, мы наперебой звали Сяомао. Она бросила мотыгу,

---

[7] Примечания: 7
Чи — мера длины, около 0,33 м.

спотыкаясь, прибежала и, вытянув шею, стала смотреть вниз. Но не успела она его разглядеть, как я узнал Ван Ишэна, шахматного Фаната, и радостно вскрикнул. В нашей бригаде собрались ребята из четырех городов и провинций, земляков было мало, и Ван Ишэна никто не знал.

— Кончай на сегодня работу, — сказал я, собрав небольшую компанию. — Поищите в горах чего-нибудь съедобного, после смены, со звонком, тащите ко мне, и рис захватите. Приготовим и вместе поужинаем.

Ребята исчезли в густых зарослях в поисках добычи, а я, приплясывая, побежал вниз навстречу Ван Ишэну.

— Как ты меня узнал? — с радостным изумлением спросил он.

— Твою дурью башку среди тысяч узнаешь. А почему ты все это время не приходил?

— А ты почему?

Я не сводил с него глаз. Вид жалкий: мокрая от пота рубашка липла к спине, волосы свалялись в клочья, губы потрескались, и только глаза и зубы ярко блестели на сером от пыли и грязи лице.

— Как ты добирался? — забеспокоился я.

— Где телегой, где пешком. Уже полмесяца в дороге.

— Полмесяца? Пятьдесят километров? — не поверил я.

— Сейчас расскажу все по порядку.

Мы дошли до бараков в лощине, где размещалась наша бригада.

Здесь бегали свиньи, тощие, как бездомные собаки. Смена еще не кончилась, было тихо, только на кухне позвякивала посуда.

Мы прошли ко мне в общежитие, двери были открыты — для таких, как мы, нищих, не требовались замки. Я поставил таз для умывания и вышел с ведром за горячей водой. На кухне договорился с кашеваром о сухом пайке: жиры на месяц — двадцать пять граммов — я уже получил и теперь мог брать только овощи.

— Гости? — догадался он. Отпер шкаф, налил в пиалу чайную ложку масла и еще дал три баклажана.

— Завтра опять приходи за пайком, а полный расчет произведем послезавтра, так удобнее.

Я зачерпнул из котла горячей воды и пошел к себе.

Ван Ишэн, раздевшись до трусов, шумно мылся, брызгал водой. Потом замочил в тазу белье, тщательно выстирал, отжал и повесил сушиться на веревку у двери.

— Быстро ты управился! — заметил я.

— С детства привык. Да и постирушка ерундовая.

Он сел на кровать, тонкий — ребра можно пересчитать, почесал спину. Я протянул ему пачку папирос, он с залихватским видом вытащил одну, облизал кончик и, держа в зубах, наклонился прикурить. Я дал ему огонька и закурил сам.

— Неплохо, а? — медленно выпуская дым, с улыбкой произнес он.

— Что, и ты закурил? Ничего, жить можно, да?

Он обвел глазами соломенную крышу над головой, свиней, бегавших по двору, и, помолчав, произнес, постукивая себя рукой по худой жилистой ноге.

— Конечно, можно. Еда есть. Деньги тоже. Чего еще надо? Ты-то как?

— Деньги и у меня есть, — глядя, как он выпускает дым, со вздохом произнес я, — еды тоже хватает, масла, правда, нет, и изжога замучила от этой кормежки из общего котла. Плохо только, что в свободное время нечем заняться, ни книг, ни кино, ни электричества. Пойти некуда, торчишь целыми днями в этой дыре, скучища, сдохнуть можно.

— На вас не угодишь! Вам парчу подавай да

еще с узорами! А я доволен, и ничего мне не надо. Думаю, тебя книги испортили. Кстати, те, что ты мне рассказывал в поезде, крепко в душу запали. Ты молодец, что так много прочел, слов нет. Только скажи, положа руку на сердце: какой тебе прок от книг? Да, тот человек у Джека Лондона изо всех сил боролся за жизнь, даже малость свихнулся, но выжил, а что дальше? Жить как Понс? Есть, пить, копить деньги и наконец превратиться в сквалыгу, который считает напрасно прожитым день, если не поел за чужой счет. А по-моему, не голодать — уже счастье.

Он выдохнул табачный дым, стряхнул пепел с колен. Я досадовал на себя, черт меня дернул заговорить о масле и высказать свое недовольство да еще брюзжать из-за книг и фильмов, без которых можно вполне обойтись. Ван не стал бы горячиться из-за таких пустяков. Сбитый с толку, я готов был с ним согласиться. Может, и правда человеку ничего больше не надо? Ну, чем я плохо живу? И еда, и постель, хоть и плохонькая, не надо думать, куда на ночь приткнуться. Почему же я так часто впадаю в уныние? Почему так тянет хоть что-нибудь почитать? Чем приворожило меня кино, ведь его волшебство исчезает, как только в зале зажигается свет. Я не знал, как

выразить свое настроение, какими словами, но все это было важно для жизни.

— Ну а в шахматы ты играешь? — спросил я Вана.

— Спрашиваешь! Конечно! — не задумываясь, выпалил он.

— А зачем? Ведь ты всем доволен! Мог бы и обойтись!

Рука с папиросой застыла в воздухе, затем он потер ею лицо.

— Видишь ли, шахматы у меня — пунктик. Играя, я забываю обо всем на свете…

— А допустим, тебе запретят играть и даже думать о шахматах, что тогда?

— Как это запретят? Чушь какая-то! — с недоумением протянул он. — Буду тогда играть по памяти. Кто полезет ко мне в черепушку?

— Шахматы, конечно, здорово, — со вздохом сказал я, — не то что книга, прочел раз-другой и отложил, не станешь же без конца перечитывать одно и то же. А в шахматах можно придумывать разные комбинации…

— За чем же дело стало, учись играть в шахматы, — с улыбкой подхватил он. — О животе голова не болит, хоть и кормят хреново, как ты говоришь, жизнь — скучища, книг не найдешь…

что ж, остаются шахматы, чтоб развеять скуку.

— Я к ним равнодушен, — ответил я. — Кстати, в нашей бригаде есть неплохой шахматист.

Ван Ишэн выбросил окурок за дверь.

— Правда? — Глаза его загорелись. — Классный? Ого, не зря я пришел. Где же он?

— На работе. Значит, ты не ко мне пришел?

Он лег на мою постель, подложив руки под голову и уставившись на свой впалый живот.

— Веришь ли, целых полгода не встречал настоящего шахматиста, хоть убей. Вот и решил, талантов полно, дай, думаю, поищу, может, найдется кто-нибудь и в этой глуши? Отпросился с работы и отправился в путь…

— Так ты не работаешь? А на что живешь?

— Сестру распределили на завод, она теперь сама зарабатывает на жизнь, и я могу поменьше посылать домой. Хочу серьезно заняться шахматами. Ну, где же твой шахматист?

Я заверил его, что тот скоро придет, и не удержался от вопроса:

— Как вообще-то у тебя дома?

— Нищета, — после долгого молчания со вздохом ответил он. — После смерти матери мы остались втроем: я, сестра и отец. Отец зарабатывал мало, у нас не выходило и десяти юаней в

месяц на человека. Вдобавок ко всему после смерти матери отец стал пить, заведется в кармане медяк-другой, он тут же пропьет и давай всех поносить разными словами. Соседи пытались его образумить, он слушал, заливаясь слезами, и вызывал жалость.

«Почему ты не бросишь пить? Что хорошего в вине?» — говорил я ему. «Ты не понимаешь, что за штука вино, оно вместо сна для нас, стариков. Жизнь у меня, сынок, была собачья, мать умерла, оставив вас совсем маленькими. Намучился я, старым стал, образования нет, за всю жизнь лишнего медяка в руках не держал. Мать перед смертью наказывала, чтоб ты обязательно кончил школу, а уж потом шел работать. Ну что за беда, если я выпью немного, а? А что не так, в той жизни поквитаюсь».

Ван Ишэн посмотрел на меня и после некоторой паузы продолжал:

— Скажу тебе правду, до освобождения мать была в публичном доме. Потом, считай, ей повезло, она кому-то приглянулась, и ее взяли наложницей… Дай закурить.

Я бросил ему папиросу, он затянулся и не мигая уставился на огонек.

— Через некоторое время она с кем-то сбежала,

говорят, там над ней всячески измывались, особенно старая госпожа, даже били. С кем сбежала — не знаю, знаю только, что это был мой отец. Сразу после освобождения, незадолго до того как я родился, он исчез, оставив мать без средств. Тогда она сошлась с моим отчимом, чернорабочим, здоровье у него было плохое, образования никакого, и зарабатывал он совсем мало. Мама ему помогала, и они кое-как содержали семью, но после рождения сестренки здоровье у матери пошатнулось и с каждым днем становилось все хуже. В школе — я тогда только что поступил — меня любили, считали способным. Я, как мог, экономил, отказывался от школьных экскурсий, кино. Мама бралась за любую работу, чтобы я не чувствовал себя обделенным. Как-то для типографии мы с ней перегибали страницы из книги о шахматах. Прежде чем мама отнесла заказ в типографию, я успел немного прочесть, к своему удивлению, кое-что понял и заинтересовался. С тех пор каждую свободную минуту я проводил на уличной площадке у столика с шахматами. О покупке шахмат нечего было и заикаться, поэтому я смастерил из картона доску и фигуры, отнес их в школу и стал играть, так мало-помалу и навострился. Осмелев, я решил сыграть с кем-нибудь на

улице. Придумывать ходы со стороны было легко, играть — гораздо труднее, да еще с хорошим шахматистом, и все же я вышел победителем. Я играл целый вечер, даже про ужин забыл, мать насилу увела меня домой, отлупив по дороге, но она была до того слаба, что я даже не почувствовал.

«Сынок, — сказала она дома, встав передо мной на колени, — ты единственная моя надежда, и если не будешь хорошенько учиться, я с горя умру прямо у тебя на глазах». — «Ма, я хорошо учусь, — замирая от ужаса, поспешил я ее успокоить. — Вставай, я больше не буду играть в шахматы».

Я поднял и усадил ее. Вечером, когда мы с ней опять перегибали и складывали страницу за страницей, я, незаметно для себя самого, вновь углубился в шахматную партию. «Опять ты за свое, — сказала она, — ни в кино не ходишь, ни в парк, привязался к этим треклятым шахматам. Что же, играй, но послушай меня: знай меру, не сходи с ума. Запустишь уроки, накажу, не пожалею. Мы с отцом люди неграмотные, но спросим учителей, и если узнаем, что ты отстал, спуску не дадим».

Я лишь поддакивал, да и как мог я забросить уроки, если арифметика для меня была все равно

что шахматы. Вернувшись из школы, я готовил уроки, играл в шахматы, а после обеда до самого вечера помогал маме складывать листы. Эта работа не требовала умственного напряжения, и я мог обдумывать шахматные партии, но иногда вдруг, забывшись, громко стучал по столу и выкрикивал ход, чем приводил всех домашних в недоумение.

— Теперь понятно, почему ты так здорово играешь, — прервал я Ван Ишэна. — К шахматам у тебя пристрастие с детства.

— Да, вот что случилось потом, — с горькой усмешкой произнес Фанат. — Учитель послал меня в Дом пионеров, в шахматный кружок, учись, вырастешь — чемпионом станешь, сказал он мне. Но мама воспротивилась. «Не твоего ума это дело, — говорила она, — выучись лучше какому-нибудь ремеслу, шахматами на пропитание не заработаешь. Старайся получить в школе побольше знаний, чего не знаешь — учителей спрашивай, в жизни это здорово пригодится. Что? Хочешь быть шахматистом? Шахматы — это для богачей, людей именитых, с положением. Повидала я таких на своем веку, у них и женщины играли в шахматы, даже на деньги. Ты и понятия не имеешь об этом! Играй, если нравится, только

не превращай это в ремесло!»

Я передал свой разговор с матерью учителю. Он ничего не сказал, а через несколько дней подарил мне шахматы.

«Добрый он человек! — сказала мать. — Но нам прежде всего надо думать о заработке, а не о шахматах. Встанешь на ноги, заведешь семью — тогда и играй сколько влезет».

— Что ж, теперь все в порядке, играй, сколько душе угодно, пусть мать не волнуется.

Ван Ишэн забрался с ногами на кровать, скрестив их по-турецки, сжал пальцами запястья и сказал, глядя в пол:

— Она не дожила до этого, умерла, когда я кончил первый класс. А перед смертью сказала мне: «Соседи говорят, что ты хорошо играешь в шахматы, верю, но не об этом болит у меня сердце. Как бы ты ни играл, шахматы не прокормят тебя. Я уже не увижу, как ты кончишь школу, мы с отцом хотели, чтобы ты учился дальше в полной средней школе, а потом поступил в университет, но у отца нет таких денег, да и сестренка еще мала. Кончай начальную школу и иди работать, поможешь отцу. Я ухожу, и мне нечего тебе оставить, кроме вот этих шахмат, которые я выточила из зубных щеток». Она велела мне вытащить

из-под подушки небольшой сверток, в котором оказались пластмассовые кружки — шахматные фигуры, отполированные до блеска, словно вырезанные из слоновой кости. Только иероглифов на них не было. «Сам вырежешь, я неграмотна и боялась ошибиться, — сказала она. — Видишь, я благословляю тебя, хочу, чтобы ты научился хорошо играть». Я уже знал вкус горя, но никогда не плакал, что толку в слезах. Однако при виде этих кружков не выдержал и разрыдался.

Я слушал Вана опустив глаза, к горлу подступил комок. Ван курил.

Вернулись ребята, они поймали двух змей. Поначалу они церемонно стали расспрашивать Вана о том, куда его распределили и как ему живется, но потом поняли, что это свой парень, и разговорились.

Я принялся, не жалея красок, расписывать его шахматное искусство, пусть знают, что гость мой — человек необычный. Все в один голос советовали ему сыграть с лучшим шахматистом нашей бригады, по прозвищу Дылда. И вскоре его привели. Он был из большого южного города, высоченный как жердь и очень худой. Манеры и осанка сразу выдавали в нем человека образованного, к тому же он тщательно следил за своей

одеждой. Встретив такого лощеного, чистенького верзилу где-нибудь на горной тропе, люди удивленно таращились. Дылда, согнувшись, вошел в комнату и с порога протянул руку Вану. Тот замешкался было, но тут же спохватился, и они обменялись рукопожатиями.

— Мое имя Ни Бинь, — сказал парень, сложив руки на животе. — А Дылдой меня прозвали за длинные ноги. На местном диалекте слово это ругательное, ради бога, не обращай внимания, у здешних жителей низкий культурный уровень. А тебя как зовут?

— Фамилия Ван, имя Ишэн, — ответил Ван, снизу вверх глядя на Дылду, он был на две головы ниже Ни Биня.

— Ван Ишэн? — переспросил Ни Бинь. — Здорово, хорошее имя.

Он жестом пригласил Вана сесть.

— Говорят, ты увлекаешься шахматами, это прекрасно, шахматы я отношу к самой высокой культуре. Мой отец — известный шахматист. Я тоже немного играю, но здесь не с кем. Садись, пожалуйста.

Ван снова сел на постель и, не зная, что сказать, натянуто улыбался. Ни Бинь остался стоять, слегка наклонившись вперед.

— Прости, я только что с работы и еще не привел себя в порядок, я ненадолго отлучусь. Кстати, твой отец тоже играет в шахматы?

Ван Ишэн замотал головой.

— Здорово, здорово, — произнес Ни Бинь. — Так я мигом вернусь.

Я пригласил его поужинать с нами змеиным мясом.

— Нет, ни к чему, — отозвался он уже у двери. — А может, и приду.

Все закричали:

— Брось темнить! Придешь или нет?

— Змеиное мясо, конечно, неплохо, тем более что мне предстоит пошевелить мозгами в шахматном матче.

Все посмеялись, затем, прикрыв дверь, стали мыться. Ван Ишэн сидел на краю кровати и думал о чем-то своем.

— Не обращай внимания на Дылду, — посоветовал я Вану, отрезая змеиные головы, — он с причудами.

— Если твой друг и правда силен в шахматах, — сказал один из ребят, — увидим сегодня классную игру. Отец Дылды шахматная знаменитость в нашем городе.

— Отец отцом, сын сыном, шахматная техника

не передается по наследству, — возразил другой.

— На шахматных семейных традициях воспитываются прекрасные игроки, — задумчиво произнес Ван. — Нельзя пренебрегать мастерством, которое передается из поколения в поколение. Ладно, сыграем и увидим!

Ван Ишэн с силой сжал кулаки, лицо его было напряжено.

Я подвесил тушки змей, содрал с них кожу и, не помыв, бросил на деревянный стол. Бамбуковым ножом вспорол брюхо у каждой, очистил от внутренностей и, свернув кольцом, целиком положил в миску. А миску опустил в большой котел, куда налил немного воды.

— Ну как, черти, помылись? Открываю дверь!

Все поспешно натянули штаны. Положив во дворе три кирпича и бросив между ними охапку хвороста, я поставил котел и крикнул:

— Присмотрите, чтобы свиньи не столкнули! С огня снимите через десять минут после того, как закипит.

Я пошел в дом готовить баклажаны.

Таз из-под рукомойника вымыли и принесли в нем из столовой четыре-пять цзиней отварного риса и немного баклажанов. Мне понадобились еще головка лука, два зубчика чеснока, имбирь

и соль.

Когда появился Дылда с черной деревянной коробкой в руках, я попросил его принести соевой пасты и уксуса в кристаллах.

Наконец я внес котел, открыл крышку, и комната наполнилась паром, а когда пар рассеялся, раздался крик восхищения. На дне, издавая аппетитный запах, поблескивали две змеи. Обжигая пальцы, я вытащил миску.

Заглянув в нее, Ван Ишэн спросил:

— А как же их есть? Ведь они сварены целиком!

— Змеиное мясо не любит железа, — пояснил я, — оно тогда неприятно пахнет. Поэтому змей и варят целиком. Отрывайте палочками по куску, макайте в соус и ешьте.

Я положил баклажаны в котел, чтобы дошли на пару. Дылда принес соевой пасты, по его словам, из последних запасов, а вместо уксуса щавелевой кислоты. Затем он положил на стол коробку, и когда открыл, все увидели шахматы дивной старинной работы! Темные блестящие фигуры из эбенового дерева с выгравированными на них древними иероглифами были инкрустированы золотом и серебром; шахматная доска обтянута шелком, а по центру тем же древним стилем

выведены четыре иероглифа. Мы так и впились разгоревшимися глазами в шахматы, к большому удовольствию Дылды.

— Это старинная и очень дорогая вещь времен Минской династии[8]. Отец подарил эти шахматы мне на прощание. Здесь они как-то ни разу не понадобились, мы играли другими, а с Ван Ишэном сыграем этими.

Ван, видимо, никогда прежде не видел такой тонкой работы и очень осторожно, с каким-то внутренним напряжением прикасался к шахматным фигурам.

Растерев соевую пасту с мукой, имбирем и чесноком и добавив туда щавелевой кислоты, я приготовил соус и пригласил всех приступить к еде. Палочки замелькали, как пинг-понговые ракетки. Наполнив миски рисом, все потянулись к мясу, стали раздирать его на части и, едва обмакнув в соус и поднеся ко рту, громко выразили одобрение. Я спросил Вана, не напоминает ли оно ему вкус крабов.

— Я никогда не ел крабов, — набив рот, с трудом ответил Ван.

— Крабов не ел? — поперхнулся Дылда. — Не

---

[8] Примечания: 8
Династия Мин — 1368–1644 гг.

может быть! Каждый год в праздник Середины осени, — отложив палочки, сказал он, — у моего отца собирается изысканное общество, всякие знаменитости. Они лакомятся крабами, играют в шахматы, дегустируют дорогие вина, сочиняют стихи, делают друг другу поэтические посвящения на веерах. О, через много лет эти веера будут высоко цениться.

Занятые едой, мы слушали его вполуха. Заметив, что мясо исчезает на глазах, он умолк и поспешил взяться за палочки. Вскоре, когда в миске осталось лишь два остова, я принес дымящиеся, прямо с огня, баклажаны, посолив и приправив их чесноком, а змеиные кости залил водой, чтобы сварить бульон. Передохнув, мы снова взялись за палочки и в один присест покончили с баклажанами. Змеиные кости между тем разварились, и я бросил в бульон немного дикого аниса, который в большом количестве растет тут прямо у домов, и комната наполнилась сладковато-пряным ароматом. Отпивая маленькими глотками горячий бульон, все заметно повеселели. Завязался разговор.

— Здорово, здорово, — приговаривал Дылда, приглаживая волосы. Он предложил Вану сигарету, закурил сам и, бросив сигаретницу на стол,

сказал:

— Сегодня мы отведали дары гор, жаль, что тут нет даров моря, у нас дома их очень любят. Я слышал от отца, что дедушка специально нанимал женщину чистить ласточкины гнезда. Эти гнезда морские птицы вьют из мелкой рыбешки и креветок, скрепляя слюной. В них много сора и грязи, чтобы почистить одно гнездо, надо потратить не меньше дня. Готовят их на медленном огне, на пару. Едят каждый день понемногу, это очень полезно.

— Фу-ты, дьявол! — удивился Ван. — Еще нанимать кого-то, целый день возиться с одним гнездом! Не проще ли купить рыбы и креветок, сварить их вместе, и все.

— Будь это так просто, ласточкины гнезда не ценились бы так дорого, — с улыбкой заметил Дылда. — А дороги они, во-первых, потому, что собирают их на отвесных морских берегах, рискуя свернуть себе шею, а во-вторых, из-за слюны, которая считается прекрасным укрепляющим и тонизирующим средством. Видите, тут все: и риск, и трудоемкость, и лечебный эффект. Ласточкины гнезда на столе говорят о богатстве и престижности дома.

Это, должно быть, вкусно, пальчики оближешь,

решили мы. Но Дылда с улыбкой возразил:

— Нет, у них отвратительный запах.

Мы пожали плечами. Чего ради тогда хлопотать из-за какого-то вонючего гнезда?

Вечерело. На небе светлела луна. От зажженной коптилки на стенах появились тени.

— Сыграем? — спросил Дылда.

Ван, еще не оправившийся от удивления после его рассказа, молча кивнул в ответ. Дылда вышел и вскоре вернулся аккуратно одетый в окружении многочисленных болельщиков, которые, войдя в комнату, во все глаза уставились на Вана.

— Твой первый ход, — сказал он Вану, медленно расставив фигуры.

— Нет, ты ходи, — ответил Ван.

Их окружили плотной стеной. Ходов через двадцать Ван стал немного нервничать, слегка сжимая пальцы.

— Сыграем еще одну, — обронил он после тридцатого хода.

Все с недоумением переводили взгляд с одного игрока на другого, не понимая, кто выиграл.

— Победил — не значит выиграл, — сострил Дылда и потянулся за сигаретой. Ван Ишэн невозмутимо расставлял шахматы. Началась новая партия. Через десяток ходов Дылда надолго заду-

мался, докуривая сигарету.

— Сыграем еще одну, — произнес он с расстановкой через некоторое время.

Все забросали их вопросами, гадая, кто же победитель. Ван сложил фигуры и предложил Дылде сыграть партию вслепую. Тот, подумав, согласился. Они стали по очереди называть ходы. Многие, видя, что за такой игрой им не уследить, слишком сложно, почесав затылки, стали расходиться, захватив с собой масляные коптилки. Комната наполовину утонула во мраке.

С улицы повеяло прохладой, и я предложил Вану одеться, но он словно не слышал. Я устал и сел на кровать, рассматривая лица болельщиков, потом перевел взгляд на Дылду и Вана, они показались мне какими-то диковинными существами. Ван сидел, обхватив руками колени, с глубоко обозначившимися под ключицами впадинами, и, уставившись на неровный свет коптилки, время от времени убивал на себе комара. Дылда так изогнулся, что его длинные ноги уперлись ему в грудь, и прикрыл ладонью лицо, нервно перебирая пальцами.

— Запутался, не помню, — вдруг с коротким смешком сказал он, отняв руку от лица, и расставил фигуры для новой партии. Вскоре, однако,

сказал:

— Поднебесная у твоих ног. У кого ты учился играть в шахматы?

— У людей Поднебесной, — отшутился Ван.

— Здорово, здорово, ты здорово играешь!

Все с облегчением засмеялись, разрешив наконец загадку этого матча.

— Здесь нет настоящих игроков, не с кем сразиться, — сказал Дылда. — Я рад встрече с тобой, будем друзьями.

— Мне бы хотелось познакомиться с твоим отцом, — произнес Ван.

— Конечно, конечно, я ведь не профессионал. Решено, ты примешь участие в районных соревнованиях.

— Каких соревнованиях? — не понял Ван.

— В районе готовится спортивная олимпиада и шахматный турнир. Я все улажу через секретаря райкома по вопросам культуры и образования, он из нашего города, знает отца. Когда я ехал сюда, в госхоз, отец дал мне к нему письмо, и он согласился помочь, предложив заняться баскетом, этой дикой игрой, которая не сулит ничего, кроме физических травм! От него-то я и узнал об олимпиаде. Он написал, что надо пройти отборочные соревнования у себя на ферме и что в случае по-

беды в районе мне будет легче вырваться из этой дыры. А тебе с твоим мастерством обыграть всех в бригаде — раз плюнуть. Когда вернешься к себе, похлопочи, чтоб тебя включили в список участников турнира, а там ты наверняка пройдешь.

Ван Ишэн был на седьмом небе. Он стал одеваться, снова поразив меня своей худобой. К полуночи все разошлись, остались только четверо обитателей этой комнаты и Ван с Дылдой.

Дылда сбегал к себе и, вернувшись, разложил на кровати лакомства: шесть плиточек шоколада, полпакета сухого молока и полкило белой вермишели. Мы мигом слопали шоколад и долго облизывали губы.

— Никогда не ел ничего подобного! — воскликнул Ван Ишэн. — И горький, и сладкий!

Затем мы выпили, громко причмокивая, разведенное горячей водой сухое молоко, и я занялся вермишелью. Быстро развел огонь, вскипятил воду и, бросив в кастрюлю все содержимое пакета, посетовал, что нет приправы.

— У меня осталась соевая паста, — тут же откликнулся Дылда.

— Как? Ты же сказал, что принес последнюю!

— Ради такого случая попробую поискать, — растерянно пробормотал Дылда, — ведь у нас

Ван Ишэн.

Закурив после еды, мы дружно выразили удивление по поводу того, что Дылда так ловко заначил столько добра. Дылда стал клятвенно уверять, что на сей раз это действительно его последние припасы. Поднялся шум, кто-то вызвался пойти проверить, но Ван сказал:

— Нечего галдеть, его продукты принадлежат ему, а он молодец, по-хозяйски расходовал то, что привез с собой. Скажи, Ни Бинь, — перевел он разговор, — когда начнутся соревнования?

— Через полгода, не раньше.

— Ладно, пора спать, — сказал я. — Завтра поговорим.

Мы вышли проводить Дылду.

— Хороший парень, — вздохнул Ван, глядя ему вслед.

Ван погостил у меня еще денек, а на третье утро собрался уходить. Пришел Дылда, в рваной одежде, с мотыгой на плече.

— Мы еще встретимся, — сказал он, пожимая Вану руку.

Все долго махали Вану, стоя на склоне горы. А я спустился с ним вниз и, прощаясь возле ущелья, попросил обязательно сообщить, если у него будут какие-нибудь затруднения, и снова заехать

к нам. Ван поправил лямки рюкзака и быстро зашагал по дороге, поднимая пыль. От резких порывов ветра одежда его липла к тощему как скелет телу.

III

После ухода Ван Ишэна мы часто с удовольствием вспоминали о том, с какой легкостью он обыграл в шахматы Дылду. Я рассказал о его тяжелой жизни.

— Отец говорил: «Все знаменитые ученые из бедных семей», — сказал Дылда. — Еще он говорил, что наш род ведет свое начало от юаньского Ни Юньлиня, богача и владельца роскошного дома. В годы войны и смуты он разорился, распродал все, что осталось, и пошел бродить по белу свету. Он находил приют то в заброшенных деревнях, то в захудалых харчевнях — словом, где придется. Зато сколько замечательных людей повидал он во время странствий! У одного безродного деревенского шахматиста научился играть в шахматы. Теперь Ни Юньлинь известен как один из четырех великих юаньских мастеров поэзии, каллиграфии и живописи, но мало кто знает, что он был вдобавок и прекрасным шахматистом. Позднее, когда он увлекся чаньской школой буд-

дизма[9], он привнес в нее традицию шахматной игры и даже основал свою школу. Ее секреты в нашей семье передаются из поколения в поколение. Не знаю, к какой школе принадлежит Ван Ишэн, но он, несомненно, мастер высокого класса.

Мы понятия не имели ни о каком Ни Юньлине и не очень верили хвастливой болтовне Дылды. В шахматах, что и говорить, он кое-что смыслил, но Ван в два счета разделался с ним. Ван был из такой же бедной городской семьи, как и большинство из нас, знал нужду и горе, и не удивительно, что именно ему мы отдавали свои симпатии.

Прошло полгода, от Ван Ишэна не было ни слуху ни духу… На мое письмо он не ответил, и ребята стали уговаривать меня пойти к нему. Но я так и не собрался. Мешали разные дела, да и дороги были небезопасны: ребята с ферм часто устраивали драки и потасовки, пуская в ход огнестрельное оружие.

Однажды Дылда сообщил, что он уже включен в список участников шахматного турнира и через день-другой отправляется на центральную усадьбу госхоза. Он поинтересовался, нет ли новостей от Ван Ишэна. Мы по-прежнему ничего не

---

[9] Примечания: 9

Чаньская школа буддизма — школа медитативного буддизма, основанная в Китае в VI в. н. э.

знали о нем, но, уверенные, что он непременно будет на состязаниях, отпросились под разными предлогами и тоже пошли туда.

Центральная усадьба находилась в райцентре, в двух днях пути от нас. Городок, по административному делению следующий после провинциального, состоял из пересекающихся между собой двух улиц с редкими магазинами, витрины которых были либо пусты, либо уведомляли, что «выставленные товары не продаются», но мы все равно были вне себя от счастья, будто нас занесло в цветущий край изобилия, не пропускали ни одной столовой, брали что-нибудь мясное и, быстро умяв по полной тарелке, выходили сытые, осоловевшие, похлопывая себя по животу и щурясь от слепящего солнца. Буквально опьянев от мяса, мы устроились на лужайке на краю города, прилегли, закурили и незаметно уснули. Проснувшись, поели лепешек, а потом целой ватагой ввалились наконец на центральную усадьбу. Распорядитель игр долго рылся в списках участников соревнований, но фамилии Вана так и не нашел. Мы не поверили, сами просмотрели список, но Ван Ишэна, увы, действительно не было. Этот список, по словам распорядителя, был составлен на основе поданных с мест, каждый

спортсмен выступал под своим номером, в своей группе. Игры начинались на следующий день. Мы терялись в догадках. Что с ним стряслось?

— Пошли за Дылдой, — сказал я.

Мы нашли его в крытом соломой бараке, где размещались участники состязаний.

— Тут такая неразбериха, сам черт не поймет, — возмущенно сказал он. — Вместо группы шахматистов меня сунули в баскетбольную команду, сегодня вечером тренировка, и я должен играть за сборную центральной усадьбы. Сколько ни отнекивался — все без толку, мало того, еще говорят, что все зависит от меня и я должен принести команде очки.

Мы разразились смехом.

— Не все ли равно, во что играть, главное, чтоб харчи были хорошие. Жаль только, что Вана нет!

Мы не на шутку беспокоились, особенно после того, как узнали, что ребята с его фермы тоже давно его не видели. Вечером от нечего делать мы пошли посмотреть, как Дылда будет играть в баскет. Вот была потеха! Он не знал правил игры, мяч вываливался у него из рук, и ему никак не удавалось попасть в корзину. А в самый острый момент атаки он встал как вкопанный и разинув рот следил за борьбой. Тренер, чертыхаясь, хва-

тался за голову, а все вокруг так и покатывались со смеху. В перерыве между периодами Дылда вовсю поносил варварскую игру.

Через два дня, когда были отобраны команды для финальных соревнований, мы, расстроенные тем, что Ван Ишэн так и не появился, решили возвращаться. Дылда, который оставался еще на несколько дней погостить у своего знакомого секретаря райкома, вышел нас проводить.

У перекрестка вдруг кто-то вскрикнул, указывая на другую сторону улицы.

— Не Ван Ишэн ли это?

Мы повернулись. И правда, по противоположной стороне торопливо, никого не замечая, шел Ван. Услышав наши крики, он радостно кинулся к нам. Мы забросали его вопросами.

— Последние полгода, — сказал он, — я часто отпрашивался с работы, чтобы поиграть в шахматы. А когда хотел записаться на соревнования, мне отказали под тем предлогом, что я плохо зарекомендовал себя в бригаде. Хорошо, что хоть удалось вырваться посмотреть. Ну, как идут соревнования?

Мы быстро ввели его в курс дела.

— Ладно, — угрюмо сказал он, помолчав. — В районном чемпионате выступят лучшие игроки

уездов, это интересно.

— Ты ел? — спросил я. — Пойдем перехватим чего-нибудь по дороге.

Дылда сочувственно пожал Вану руку.

— Обязательно посмотрю шахматный турнир, — сказал Ван. — А вы что? Возвращаетесь?

— Я побуду с тобой денек-другой. И Дылда пока здесь.

К нам присоединилось еще несколько человек, и мы направились к знакомому Дылды разузнать, нельзя ли Вану принять участие в состязании. Вскоре мы очутились перед закрытой железной калиткой. К нам вышли, стали расспрашивать, к кому мы, но, увидев Дылду, сразу пропустили, попросив подождать. Через минуту нас провели в просторное помещение с расставленными на подоконниках горшками хорошо ухоженных цветов. На стене висел вставленный в рамку свиток на тонком желтом шелку со стихотворением председателя Мао. Кроме нескольких плетеных кресел и низкого столика, заваленного газетами и отпечатанными на ротаторе бюллетенями, в комнате ничего не было. Вошел полный мужчина, хозяин дома, торопливо пожал нам руки и, приказав убрать со столика бюллетени, пригласил сесть. Мы впервые оказались в доме такой

важной персоны и с любопытством озирались по сторонам.

— Вы, наверное, однокашники Ни Биня? — после короткой паузы спросил он.

Мы повернулись к нему, но молчали.

— Мы из одной бригады, — выступил вперед Дылда. — А это Ван Ишэн.

— А, так ты и есть Ван Ишэн? Ни Бинь частенько тебя вспоминает. Ну как, прошел на последний тур?

— Его задержали кое-какие дела, — Ни Бинь опередил Вана с ответом, — и он не был зарегистрирован в уезде. Нельзя ли ему сейчас включиться в соревнования? Как по-вашему?

Секретарь забарабанил пухлой рукой по креслу, потер переносицу:

— Эге, так вот в чем дело! Плохо, что вы не получили разрешения в уезде. Слышал, что вы талантливы, но если без разрешения выйдете в финал, могут быть неприятности. Верно?

— Я и не собираюсь участвовать, — понурившись, сказал Ван, — хочу только посмотреть.

— Это можно. Пожалуйста. Ни Бинь, принеси из соседней комнаты программу соревнований, посмотрим, когда будет шахматный турнир!

— Соревнования продлятся три дня, — сказал

Ни Бинь, подавая программу, которую секретарь не глядя положил на столик.

— Да, в них участвует несколько уездов, — заметил он. — Ну что? Есть еще вопросы?

Мы поднялись, сказав, что нам пора. Пожав руку стоявшему рядом с ним парню и пригласив Ни Биня зайти вечерком, секретарь вышел.

На улице, вздохнув с облегчением, мы пошли бродить по городу, шутя и болтая о своих делах. Денег у нас почти не осталось, поэтому Ван Ишэн предложил выехать из гостиницы и поискать ночлег. Ни Бинь смущенно пробормотал, что мог бы пожить у секретаря. Ван повел нас в Дом культуры к художнику, с которым он, бывая в райцентре, давно свел знакомство. Еще издали по беспорядочным звукам пения и музыкальных инструментов мы догадались, что идет репетиция агитотряда. Нам навстречу выпорхнули три красотки в голубых трико с немыслимо высокой грудью. Танцующей походкой, не повернув головы и не удостоив нас взглядом, они прошли так близко, что мы шарахнулись в сторону.

— Это районные «звезды», — тихо пояснил Ни Бинь. — Нам здорово повезло, что мы их здесь встретили.

Мы обернулись и проводили «звезд» взглядом.

Художник жил в развалюхе, по двору разгуливали куры и утки, а сквозь мусор, наваленный у стены, пробивалась трава. Ван раздвинул сушившееся на солнце тряпье, которым была занавешена дверь, и позвал художника.

— А, это ты! Проходите, — пригласил он всех.

Мы гуськом протиснулись в крохотную комнатушку, где стояла деревянная кровать и в беспорядке были разбросаны книги, журналы, краски, бумага, кисти. На стенах висели картины. Тесно прижавшись друг к другу, не смея шелохнуться, мы устроились на кровати, которую хозяин освободил для нас.

— Рассказывайте, приехали на игры? — спросил он, наливая в пиалы и кружки кипяток из термоса.

Ван поведал свою невеселую историю.

— Что ж поделаешь! — вздохнул художник. — Надеюсь, вы у нас немного побудете?

— Собственно, из-за этого мы и пришли к вам. Нельзя ли подыскать ночлег мне и моим друзьям?

— Если б ты был один… — Художник задумался. — А такая орава… впрочем, погоди. Помнишь сцену в большом зале Дома культуры? Сегодня после концерта для участников игр я мог бы,

пожалуй, разместить вас там на ночь. Заодно представление посмотрите, если захотите. Я знаком с электротехником, договорюсь, и все будет в порядке. Грязновато там, правда. Ну как?

Мы загалдели, что ничего лучше и не придумаешь. Дылда успокоился и, попрощавшись, стал пробираться к выходу.

— Высокий парень! Небось баскетболист, — сказал художник.

Мы со смехом рассказали про его «успехи» в баскетболе.

— Пошли купаться на реку, — сказал художник, заметив, какие у нас немытые рожи.

С шумом натыкаясь на вещи, мы стали выходить из дому.

Река, неширокая, но быстротечная с небольшими затонами на берегу, протекала далеко от города, и мы долго шли, пока наконец добрались до нее. Кругом не было ни души, мы скинули одежду и плюхнулись в воду, стали бултыхаться и мыться, извели целый кусок мыла. Потом замочили белье, побили его о камни и, отжав, разложили сушиться на скалах.

Художник, тем временем устроившись в сторонке, делал зарисовки в альбоме. Взглянув из-за его спины на наброски наших обнаженных тел,

я так и ахнул от удивления. Только теперь я заметил, какие крепкие стали у нас мускулы от ежедневной работы в горах.

Мы окружили художника, сверкая белыми ягодицами.

— Мускулатура у людей физического труда очень отчетливо обозначена. И хотя пропорции разных частей тела несоразмерны, именно это и характерно для человеческого тела в его изменениях. В училище мы в основном рисовали натурщиц и натурщиков со стандартными фигурами. И чем больше я их рисовал, тем безжизненнее они мне казались, потому что я не ощущал в них динамики мышц. Сегодня мне представился поистине редкий случай.

Кто-то сказал, что неуказанное место портит рисунок, и художник, ко всеобщему веселью, залепил его жирной кляксой.

День клонился к вечеру, солнце висело между горами, позолотив поверхность реки и окрасив в огнедышащий красный цвет прибрежные скалы. Далеко вокруг разносились пронзительные крики птиц над водой. С противоположного берега, удаляясь, все глуше звучала протяжная песня. Мы притихли, каждый думал о своем…

Уже стемнело, когда мы вернулись в город и с

черного хода прошли в Дом культуры. Стараясь не шуметь, мы, как велел художник, перекинувшийся с кем-то парой слов, пристроились за кулисами. Занавес долго не давали, концерт задерживали, ждали секретаря райкома. Артисты в костюмах и гриме прохаживались за кулисами, разминались, перебрасывались шуточками. Вдруг в зале началось оживление, я отодвинул занавес и увидел знакомого толстяка, который не торопясь прошествовал по залу и сел впереди. Вокруг него было много пустых мест, а за ним — темный, до отказа набитый зрительный зал.

Концерт начался бойкими выступлениями артистов, поднявших тучи пыли. Взволнованные, с влажными горящими глазами, они, однако, тут же преображались, стоило им очутиться за кулисами, где они зубоскалили, вспоминая, как кто опростоволосился на сцене. Концерт целиком захватил Ван Ишэна, лицо его то вспыхивало, то мрачнело, открыв рот, он жадно ловил каждое слово. Куда подевалось его самообладание, с которым он играл в шахматы! После концерта он так долго и громко аплодировал, что пришлось остановить его, взяв за руку. Секретаря в зале уже не было, но передние ряды по-прежнему пустовали.

В кромешной тьме мы дошли до дома художни-

ка, где нас ждал Дылда.

— Ван Ишэн, — сказал художник, выходя нам навстречу, — тебе разрешили участвовать в турнире.

— Да ну! — обрадовался Ван.

Тут Дылда рассказал все в подробностях. Оказывается, вечером, когда они с секретарем разговорились о домашних делах, тот возьми да спроси, уцелели ли во время кампаний картины и свитки с каллиграфией, которые он прежде видел в их доме. Дылда ответил, что кое-что уцелело. Секретарь тут же завел речь о том, что вопрос о переводе Ни Биня в другое место может быть легко решен, стоит ему лишь распорядиться подыскать место в районном отделе культуры и образования. Он попросил Ни Биня написать об этом родным. Потом опять перевел разговор на каллиграфию, живопись и антиквариат, заметив, что теперь мало истинных ценителей этих вещей, но что сам он знает в них толк. Дылда тут же пообещал ему написать письмо и попросить родных прислать один-два свитка в благодарность за хлопоты. Он рассказал ему также об эбеновых шахматах минской эпохи, прибавив, что, если секретарь хочет, он принесет их в следующий раз. Тот пришел в восторг, не замедлив сказать,

что замолвит словечко за Ван Ишэна, в конце концов, на районных соревнованиях можно сделать и поблажку, ведь когда речь идет о таланте, не грех и порадеть за своего человека. Он тут же все уладил по телефону. Завтра же Ван будет включен в список.

Мы не могли нарадоваться и хвалили Дылду за то, что он знает все ходы и выходы. Только Ван промолчал. После ухода Дылды художник, отыскав электрика, отвел нас в Дом культуры. Ночью холодно, сказал электрик, укройтесь занавесом. Мы без долгих разговоров вскарабкались наверх, сняли занавес и постелили на сцене. Кто-то вышел на авансцену и, подражая голосу конферансье, объявил в пустой зал:

— Следующим номером нашей программы мы будем дрыхнуть!

Похихикав и повозившись с занавесом, все наконец утихомирились, только Ван Ишэн никак не мог заснуть.

— Спи, завтра у тебя соревнование! — сказал я.

— Я не буду играть, — отозвался он в темноте, — противно. Ни Бинь хоть и сделал это от чистого сердца, но я все равно не буду.

— Да плюнь ты на все! Подумаешь, невидаль, шахматы! Главное — ты будешь играть, Дылда

переберется в город…

— Да ведь шахматы-то отцовские! — в сердцах воскликнул он. — В них не ценность важна, а память. Шахматные фигуры, простые пластмассовые кружки — подарок матери — мне дороже жизни, и слов ее перед смертью я тоже никогда не забуду. Как же может Ни Бинь расстаться с отцовскими шахматами?

— Они богатые, ты за них не волнуйся, что им эти шахматы! Узнают, что сынку полегче, и забудут про них.

— Все равно не буду играть, — твердил Ван. — Выходит, что в этой сделке я грею руки за чужой счет. Нет уж, шахматы — выиграл я или проиграл — мое личное дело, не хочу, чтобы меня попрекали.

Кто-то из ребят не спал, слышал наш разговор и подал голос:

— Вот придурок!

IV

На следующее утро мы встали чумазые, в пыли и грязи, быстро ополоснулись и пошли звать художника завтракать с нами.

Тут как раз подоспел сияющий Дылда.

— Я не буду играть, — заявил Ван.

— Здорово придумал, почему? — опешил тот.

Я объяснил.

— Секретарь — человек образованный и очень увлекается стариной. Шахматы, конечно, фамильная реликвия, — вздохнул Дылда, — но я, братцы, не выдержу такой жизни. Мне бы устроиться на чистую работу, а не копаться с утра до вечера в грязи. Вот шахматы и пригодились, чтоб подмазать где надо. Родителям сейчас тоже не сладко, и они, я уверен, меня не упрекнут.

— Нет больше идеалов, одни только цели, а для их достижения все средства хороши, — сложив руки на груди и воздев глаза к небу, произнес художник. — Ни Бинь, твое желание вполне естественно. Последние два года и я не раз шел на сделку с собственной совестью, уж очень много развелось свинства. К счастью, у меня есть моя живопись. «Что в силах рассеять тоску, кроме…»

Ван изумленно посмотрел на художника.

— Спасибо, Ни Бинь, — обратился он к Дылде. — Как только появятся победители финального турнира, я договорюсь с ними о поединке. Но участвовать в соревнованиях не буду.

— Так вот, — сразу оживился Дылда, — я попрошу секретаря организовать товарищескую встречу. Выиграешь, станешь чемпионом, проиг-

раешь — тоже не беда!

— Твой секретарь тут ни при чем, — возразил Ван, — я сам поговорю с победителями и, если они согласятся, дам сеанс одновременной игры с тремя призерами.

Вана не переубедишь. Упрямый. И мы отправились на соревнования. Там царило веселое оживление. Ван Ишэн протиснулся к залу, где шел матч, и, не заходя внутрь, прямо с улицы следил за табло, на котором воспроизводились шахматные партии. На третий день победителям вручили призы и устроили концерт в их честь, но сквозь крик и гам мы даже не расслышали, кого чем наградили.

Дылда велел нам подождать и вскоре появился с какими-то парнями, одетыми во френчи, представив их как второго и третьего призеров шахматных игр.

— Это Ван Ишэн, — сказал он. — Он здорово играет в шахматы и хочет сразиться с такими мастерами, как вы. Прекрасный случай для всех вас поучиться друг у друга.

— А почему вы не участвовали в состязаниях? — спросил один из парней. — Мы здесь давно, нам пора возвращаться.

— Я вас не задержу, — ответил Ван. — Сыграю

сразу на двух досках.

— Вслепую? — переглянувшись, спросили они.

Ван кивнул.

Они тут же пошли на попятную:

— Простите, нам не приходилось играть вслепую.

— Неважно, играйте, глядя на доску. Пошли, пристроимся где-нибудь.

Неизвестно каким образом, но все сразу узнали, что появился парень с фермы, которых хочет играть с двумя победителями шахматного матча — вторым и третьим призерами. Новость передавалась от одного к другому, и вскоре набежало человек сто, каждый норовил пробиться поближе к Вану, и мы встали стеной, чтобы его загородить.

— Пошли отсюда. Здесь слишком много народу, — опустив голову, повторял Ван.

Тут к нам протиснулся какой-то человек.

— Это ты собираешься играть? — обратился он к Вану. — Меня послал за тобой мой дядя — чемпион этого матча.

— Нет, — с расстановкой ответил Ван, — если он хочет играть, пусть сам придет. Я одновременно буду играть на трех досках.

Эти слова вызвали настоящую сенсацию, и тол-

па кинулась к залу. Любопытные все подходили и подходили, расспрашивая, не случилось ли чего, не затевают ли городские драку.

Мы прошли всего полпути, а народу собралась тьма. Выбегали из лавок продавцы, из автобусов, попавших в пробку, высовывались обеспокоенные пассажиры. Улица бурлила, шумела, и только какой-то блаженный стоял как ни в чем не бывало, горланя песню, пока кто-то не пожалел его и не отвел в сторону, где, прислонившись к стене, он продолжал орать. В подворотнях заливались лаем собаки, будто травили волка на охоте.

Наконец мы дошли до места состязаний. Лозунги и плакаты уже успели убрать. К нам вышел администратор, который при виде такого столпотворения побледнел как мел. Бросая косые взгляды на толпу, он долго не мог взять в толк, чего требует от него Дылда, потом торопливо открыл дверь, приговаривая «можно», «можно». Мы встали у двери, чтобы задержать ринувшихся в зал, и пропустили только Дылду с Ван Ишэном и двух игроков.

В это время от толпы отделился мужчина.

— Если мастер готов играть одновременно с тремя противниками, то еще один ничего не изменит. Я тоже хотел бы участвовать в матче.

Все обомлели, только его недоставало! За ним потянулись и другие. Не зная, что делать, я в растерянности пошел к Вану.

— Здорово, чертовски здорово. Никогда не видел ничего подобного. Один против девяти, одновременно! — затараторил Дылда. — Бой на измор! Я подробно напишу отцу обо всех партиях.

Как раз в этот момент двое игроков поднялись со своих мест, низко поклонились Ван Ишэну, признав его превосходство, и вышли, пожав ему руку.

Ван сидел в той же позе, сжав руки на коленях и устремив вдаль невидящий взгляд. Кто-то накинул ему на плечи широкую размахайку, заляпанную грязью. Глядя на него, я впервые понял, что шахматы — это спорт, да еще какой, марафон, двойной марафон! Помню, в школе, во время бега на длинные дистанции, я после первых пятисот метров чувствовал себя вконец измочаленным, но, пройдя мертвую точку, начинал бежать как бы автоматически, вроде самолета на автопилоте или планериста, который, набрав высоту, спокойно опускается вниз. Но здесь другое — с начала до конца надо работать головой, тараня и загоняя противника в угол, ни на секунду не

расслабляясь. Мне стало страшно, выдержит ли он: последние дни было туго с деньгами, ели мы кое-как да и спать ложились когда придется. Если бы знать, что Вана ждет такое испытание… Мне хотелось крикнуть: держись! В горах, бывало, вдвоем взвалив на плечи бревно, мы тащили его по бездорожью, ухабам, тащили, стиснув зубы, из последних сил, знали, что, не удержишь — так и самого трахнет, и напарника тоже. Но сейчас Вану предстоит одному одолеть эту ухабистую дорогу, мы ему не помощники. Я принес кружку воды и тихо поставил перед ним. Он встрепенулся, метнул на меня острый взгляд, не сразу узнав, потом улыбнулся. Но не успел он сделать и глотка, как объявили ход. Не выпуская кружку из рук и не расплескав воды, он объявил ответный ход и медленно поднес кружку к губам. Опять объявили ход, подумав, он назвал свой и только после этого залпом выпил всю воду, даже слезы выступили на глазах. Изо рта по грязному подбородку и шее текли светлые струйки, во взгляде, устремленном на меня, были и блаженство, и боль, каких не выразить словами. Я снова протянул ему полную кружку, но он жестом показал, что не надо, и снова погрузился в свой мир.

Уже совсем стемнело, когда я вышел из зала. Фа-

келы из сосновых веток в руках крестьян-горцев и ручные фонарики ярко освещали толпу. Народ все прибывал, видно, закончился рабочий день в районных учреждениях. Собаки, свернувшись, лежали тут же, глядя с недоумением и тоской на табло, словно и их тревожил исход матча. Ребята из нашей бригады в плотном кольце болельщиков едва успевали отвечать на вопросы; у всех на устах было «Ван Ишэн», «шахматный Фанат», «учащийся», «даосская школа шахмат». Усмехнувшись про себя, я хотел было протиснуться в толпу и рассказать все как есть, но не хотелось связываться. Я ног под собой не чуял от радости: на стене оставалось всего три табло. Вдруг толпа загудела, обернулся, смотрю — уже одно табло с именем чемпиона. Фигур на доске было мало; черные, которыми играл Ван Ишэн, прорвав фронт, пробились на сторону противника, оставив короля под охраной офицера в тылу. Король, казалось, ведет беседу с приближенным в ожидании гонца с победной реляцией… Воображение подсказывало и другую картину: вот накрывают стол для парадного банкета, зажигают свечи в высоких канделябрах, настраивают музыкальные инструменты, еще минута — и, пав ниц, гонец возвестит победу, и грянет триум-

фальная музыка. В животе у меня вдруг заурчало от голода, коленки задрожали, и я поспешил сесть. Наблюдая за последними минутами матча, я холодел при мысли, что еще может случиться непредвиденное.

Между тем красные фигуры безмолвствовали, и толпа с растущим возмущением нетерпеливо высматривала велосипедистов. Вдруг все вокруг разом заговорили и расступились, пропуская плешивого старика, поддерживаемого с обеих сторон. Шел он медленно, губы беззвучно шевелились, он напряженно, не отрываясь смотрел на доски. Это и был чемпион нынешних соревнований, представитель старейшего рода в этих горных местах. Он спустился с гор, чтобы принять участие в турнире, и нежданно-негаданно стал победителем. Говорили, что, оценивая итоги матча, он сетовал на упадок шахматной техники. Изучив окончания всех партий, старик оправил на себе одежду, сбил грязь с ног и с поднятой головой, опираясь на провожатых, вошел в зал. Болельщики кинулись следом, я тоже пробился к двери. Старик остановился у входа.

Посреди пустого зала, сложив руки на коленях, с остекленевшими глазами, ничего не видя и не слыша, бесстрастный, словно брусок металла,

сидел Ван Ишэн. Тусклая лампочка над головой освещала глубоко запавшие бездонные глаза, которые, казалось, вглядывались в бесчисленные миры за пределами вселенной. В его голове с копной растрепанных волос сконцентрировалась вся его жизненная энергия; аура окружала ее и, постепенно распространяясь, опалила нас.

Никто не проронил ни слова. Тщедушный паренек, неподвижно сидевший на стуле, никак не вязался с тем образом, который возник в воображении каждого во время долгого ожидания и разговоров на улице. Кто-то разочарованно вздохнул.

Старик закашлялся, его кашель эхом пронесся по залу и вывел Ван Ишэна из забытья. Он слегка приподнялся, но с места не двинулся. Тогда, оттолкнув всех, старик сделал шаг вперед.

— Юноша, — приложив руки к груди, звучным голосом заговорил он, — я стар и не в силах был прийти сюда, пришлось передавать ходы через других. Вы совсем еще молоды, но в совершенстве овладели шахматным искусством, соединив секреты мастерства чаньской и даосской школ. У вас прекрасная стратегия и тонкий расчет. Вы демонстрируете силу и подавляете противника, посылаете драконов усмирять воды. Вы, подобно

великим полководцам всех времен, сочетаете в себе силу двух природных начал. Я счастлив, что на склоне лет встретил вас. Теперь я спокоен, китайские шахматы не придут в упадок. Мне бы хотелось, несмотря на разницу лет, завести с вами дружбу. Сегодняшняя партия доставила мне истинное наслаждение. Смею ли просить вас о ничьей, дабы мне, старику, сохранить лицо?

Ван Ишэн снова попытался встать, но не смог, не держали ноги. Мы с Дылдой подскочили к нему, пытаясь его приподнять, он стал легким как пушинка. Я шепнул Дылде, чтобы он усадил Вана на место и сделал ему массаж. Нас окружили. Старик качал головой, сокрушенно вздыхая. Дылда принялся массировать Вану лицо, шею, все тело своими большими сильными руками. Через некоторое время мышцы расслабились, Ван, опираясь на нас, приподнялся, открыл рот, долго не мог ничего сказать и наконец выдохнул:

— Пусть будет ничья.

Старик был вконец расстроен.

— Может быть, вы останетесь у меня, — взволнованно произнес он. — Отдохнете несколько дней, потолкуем о шахматах.

— Нет, — ответил Ван, — я с друзьями. Мы вместе пришли и вместе уйдем. Нас ждут в Доме

культуры.

Тут подал голос художник:

— Идем, идем ко мне, я приготовил кое-что на ужин. Такое событие надо отметить!

Мы вышли в сопровождении толпы, освещенные со всех сторон факелами. Короля шахмат с любопытством разглядывали и, печально качая головами, со вздохом отходили. Свет факелов неотступно следовал за нами, пока мы медленно шли с Ван Ишэном, вызвав у меня в памяти увиденный когда-то в детстве «Ночной дозор» Рембрандта. Миновав Дом культуры, мы прошли к художнику. В окна его дома заглядывали люди, которых тщетно уговаривали разойтись. Но постепенно толпа все же рассосалась. Ван все еще был в оцепенении. Я вдруг вспомнил о зажатой в левой руке шахматной фигурке и протянул ее Вану. Он некоторое время смотрел на нее с недоумением, потом всхлипнул и отхаркался вязкой мокротой.

— Ма, — заливаясь слезами, говорил он, — твой сын… ма…

Мы тоже зашмыгали носами, принесли ему воды, стараясь, как могли, утешить. Выплакавшись и немного придя в себя, Ван поужинал с нами.

Художник напился и заснул. Ночевали мы

опять в зале на сцене, на сей раз и Дылда был с нами.

Ночь выдалась темная, хоть глаз выколи. Ван Ишэн забылся тяжелым сном. А у меня в ушах не смолкал шум голосов, перед глазами в свете факелов мелькали суровые лица горцев. Они шли с вязанками дров на плечах и громко пели. Да, только простым людям доступны такие радости, подумал я. У меня отняли семью, отняли все права, дали в руки мотыгу, но именно здесь я встретил настоящего человека, узнал высшее счастье. Во все времена человеку нужна была пища и одежда, с тех самых пор как он существует. Но не только этим жив человек. Сломленный усталостью, я завернулся в занавес и крепко уснул.

ВАН АНЬИ
КОНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ
© Перевод В. Сухоруков

Ван Аньи родилась в 1954 году в уезде Тунъань провинции Фуцзянь. В детские годы переехала с родителями в Шанхай. В 1969 году после окончания средней школы была отправлена на работу в производственную бригаду в одну из деревень района Хуайбэй. С 1972 года выступала в районном коллективе художественной самодеятельности города Сюйчжоу. В 1978 году вернулась в Шанхай, где и по настоящее время работает редактором журнала «Эртун шидай» («Детский возраст»). В 1982 году вступила в Союз писателей.

Печатается с 1975 года. Рассказ «Кто будет бригадиром» (1979) был удостоен второй премии на Втором Всекитайском конкурсе литературы для детей. В последующие годы опубликовала целый ряд повестей и рассказов («Заключительные

аккорды», «Под шелест дождя», «Соло на флейте» и другие). Рассказ «Конечная станция» в 1981 году получил премию на Всекитайском конкурсе лучших рассказов.

1

— Наш поезд прибывает на конечную станцию — город Шанхай!

— Шанхай! — встрепенулись задремавшие было пассажиры. — Уже подъезжаем! — И самые нетерпеливые, разувшись, полезли на верхние полки за багажом. А группа пассажиров средних лет, что ехала из Кашгара, принялась вырабатывать план действий:

— Как только отыщем гостиницу, первым делом — помыться. Затем позвонить на завод тяжелого машиностроения, договориться о встрече. А потом — в европейский ресторан!

— Да-да, в европейский ресторан! — Все сразу оживились. Когда-то эти люди, окончившие вузы в различных городах страны, уехали на работу в Синьцзян. Были среди них пекинцы, фучжоусцы, уроженцы Цзянсу. И хотя речь их все еще сохраняла местный акцент, и внешним своим видом, и характером они уже смахивали на коренных

синьцзянцев: такая же загрубелая кожа, тот же прямой, открытый нрав. Чэнь Синь, когда эта группа подсела к нему в Нанкине, вволю порасспрашивал их и про Синьцзян, и про тамошнюю жизнь. Рассказывали они с увлечением: и как своеобычен каждый народ, какие красивые там песни, какие яркие пляски, какие бойкие, веселые девушки. И как интересно они там живут: рыбачат, охотятся. Рассказывать они умели, и все слушали их с завистью.

— А ты-то, парень, надолго в Шанхай? — обратился к Чэнь Синю один из синьцзянцев, говоривший на пекинском наречии, и похлопал его по плечу. Заглядевшийся в окно Чэнь Синь повернул голову и улыбнулся:

— На этот раз — насовсем.

— Домой, значит, возвращаешься?

— Домой.

— А жена, дети?

— Я не женат, — ответил Чэнь Синь, краснея. — Иначе разве смог бы я вернуться в Шанхай?

— Да ты, я вижу, парень волевой, — заметил пекинец и опять тяжело похлопал его по плечу. — Все вы, шанхайцы, без своего Шанхая жить не можете.

— Шанхай — наша родина! — сказал Чэнь

Синь.

— Да ведь, кроме родных-то мест, есть еще целый огромный мир.

Чэнь Синь только усмехнулся в ответ.

— Куда ни попадешь — везде надо уметь найти для себя что-нибудь приятное. В Харбине — покататься на коньках, в Гуанчжоу — поплавать, в Синьцзяне — отведать плова, а в Шанхае — европейской пищи. Куда тебя судьба ни забросит — везде надо находить свои радости и насладиться ими вволю. Может, в этом-то и есть сладость жизни.

Чэнь Синь опять усмехнулся. Он рассеянно глядел в окно — на стремительно проносившиеся там возделанные поля. Все они аккуратно разделены на небольшие участки и напоминают вышивку: желтые, темно- и светло-зеленые полосы, разбросанные по берегам реки, сливаются в пестрые узоры. Вся земля тщательно возделана и используется почти на сто процентов. Конечно, глазам, привыкшим к безбрежным, необозримым землям Севера, не хватает простора — но нельзя не признать, что все здесь свежее, яркое, будто только что вымытое. Это земли к югу от Янцзы, окрестности Шанхая. А вот и он сам!

Поля остались позади, а справа и слева от же-

лезной дороги появились низкие оградительные стенки: начались городские районы. И вот уже замелькали заводы, многоэтажные дома, улицы, автобусы, пешеходы… Шанхай был все ближе, все зримее. Глаза Чэнь Синя увлажнились, сердце громко застучало. Десять лет назад, когда он уезжал отсюда и Шанхай все удалялся от него, становился все неразличимее, думал ли он о возвращении? Кажется, не думал, а впрочем, может быть, и думал. В деревне он пахал и сеял, убирал хлеб, рыл оросительные каналы, ходил в подручных и в учениках… Затем удалось поступить в специальное педучилище: он окончил его, попал по распределению в местную среднюю школу. Казалось бы, теперь, когда у него появилась возможность зарабатывать себе на жизнь и он нашел в ней свое место, можно было наконец начать эту самую новую жизнь. Но ощущения устойчивости так и не появилось — как будто цель еще не достигнута. В глубине души он все чего-то ждал, на что-то надеялся. И только после падения «четверки», когда большая группа интеллигентной молодежи вернулась в Шанхай, он понял наконец, чего он ждет и в чем его конечная цель.

За эти десять лет он не раз приезжал в Шанхай:

навестить родных, в отпуск, в командировки. Но в каждый свой приезд испытывал чувство все большей отчужденности. Он был чужаком, иностранцем. А Шанхай презирал чужаков. Чэнь Синю просто претило свойственное шанхайцам чувство собственного превосходства, претило их высокомерие. А когда был с друзьями и знакомыми, точно так же не мог вынести их сочувствия и жалости. Потому что за сочувствием и жалостью проглядывало все то же высокомерие. И все же нельзя было не признать: Шанхай — действительно город прекрасный, передовой, выдающийся. Его универмаги переполнены самыми разными и самыми превосходными товарами, люди одеты по самой последней, самой современной моде, в ресторанах чистота, еда — самая изысканная, а в кинотеатрах показывают самые новые фильмы. Шанхай — это словно витрина новейших течений в культурной жизни Китая. Не говоря уже о том, что здесь был дом Чэнь Синя, здесь была его семья — мама, братья и могила отца. Он улыбнулся сквозь слезы. Чтобы вернуться сюда, он готов был всем пожертвовать, все бросить. И как только услышал, что мама собирается уйти на пенсию, тут же принялся действовать. Первым делом надо было восстановить свой прежний

статус. Что же до этого последнего отрезка жизни, когда он учился и работал, то он уже позади, его можно вычеркнуть — лишь бы только заполучить необходимые печати на документах… Ему пришлось выдержать бой — ожесточенный, яростный, — но он победил.

Поезд подходил к перрону. Чэнь Синь открыл окно — в лицо ударил холодный ветер, шанхайский ветер! Он увидел младшего брата: малый подрос, вытянулся, похорошел. Брат тоже его увидел, он бежал за вагоном, смеялся и кричал:

— Асинь![10]

Сердце Чэнь Синя невольно сжалось, он вдруг почувствовал себя виноватым. Но тут же вспомнил, как десять лет назад, когда отправлялся его поезд, старший брат вот так же бежал за вагоном, провожая его в дорогу, и сердце его успокоилось.

Поезд остановился, и брат, запыхавшись, подбежал к вагону. За разговором с ним и за перетаскиванием багажа Чэнь Синь даже не расслышал, как прощались его жизнерадостные попутчики.

— Афан с невесткой и малышом тоже пришли, только они на улице: на одну телеграмму полага-

---

[10] Примечания: 10

А — префикс личных имен, прозвищ; придает им ласкательный оттенок.

ется лишь один перронный билет. Асинь, а вещей у тебя много?

— Не очень. Как мама?

— Ничего, сейчас она дома, стряпает. Поднялась сегодня в три часа утра и отправилась за продуктами.

Чэнь Синь хотел еще что-то сказать, но в носу защипало, горло сдавило. Он опустил голову и так ничего и не сказал. Брат тоже замолчал.

Так, молча, они прошли весь длинный перрон. Старший брат, невестка и малыш поджидали их у выхода. Они выхватили было у Асиня вещи, но, не сделав и нескольких шагов, поспешили отдать обратно: оказалось слишком тяжело. Все рассмеялись. Старший брат схватился за его плечо, младший — подхватил под руку, невестка с ребенком на руках замыкала шествие. Малыш не переставая распевал какую-то нелепую песенку: «Дядя плохой, дядя хороший, дядя у нас ходит в галошах…» И опять все дружно рассмеялись.

— Ты все оформил, как надо? — спросил Афан. — Завтра я отпрошусь с работы и схожу с тобой в бюро по трудоустройству.

— Лучше я с ним схожу, ведь я свободен, — сказал младший брат.

Сердце у Чэнь Синя опять чуть дрогнуло, он

взглянул на младшего брата и сказал, улыбнувшись:

— Ладно, пускай уж Асань меня проводит.

Сменив два автобуса, они добрались до дома. Как только вошли, мама вскрикнула: «Асинь!» И, опустив голову, принялась вытирать слезы. Сыновья не знали, как ее успокоить: они нежно любили мать, но чувства свои выражать не умели, стеснялись. Они только смотрели на нее и повторяли:

— Ну, зачем же, зачем же плакать?

Лишь невестке, которая знала, как лучше подойти к свекрови, удалось наконец ее уговорить.

— Ну, а теперь к столу! — И все с чувством облегчения принялись приглашать друг друга. Обеденный стол передвинули на время из маминой шестиметровой комнатушки в большую комнату, где жили старший брат с невесткой. Окинув ее взглядом, Чэнь Синь увидел, что комната, где он когда-то жил вместе с братьями, выглядит теперь совсем по-другому. Светло-зеленые обои, бра и картины, писанные маслом. Новая изящная мебель, стиль ее соответствует размерам и форме комнаты, а цвет необычен.

— Что это за цвет? — спросил Чэнь Синь.

— Под маринованные овощи, — со знанием

дела ответил младший брат. — Сейчас это очень модно.

Малыш придвинул к комоду табуретку, вскарабкался на нее и уверенно нажал нужную кнопку магнитофона. Комната наполнилась ритмичными, будоражащими звуками.

— Неплохо живете! — весело сказал Чэнь Синь.

Старший брат, словно извиняясь, усмехнулся и после долгой паузы ответил невпопад:

— Так-так, вернулся, значит…

Вошедшая с блюдом невестка рассмеялась:

— Вернулся. Теперь бы ему только невесту подыскать да жениться.

— Это в моем-то возрасте и с моей внешностью? — сказал Чэнь Синь. — Да кому я нужен?

И все рассмеялись.

А стол уже весь уставлен блюдами. Их более десятка: мясо с земляными орешками, котлеты под соевым соусом, уха из карасей… Все, даже малыш, наперебой подкладывали Чэнь Синю лучшие кусочки, на его тарелке уже выросла целая гора, а ему подкладывали еще и еще, словно желая возместить те тяготы, которые он претерпел за десять лет, что жил вдали от дома. Особенно старался Афан, старший брат, — он вывалил

ему на тарелку чуть ли не всю миску с жареным угрем — любимым кушаньем Чэнь Синя. Брат был старше Чэнь Синя на три года, но в детстве Чэнь Синю всегда приходилось его защищать. Афана, высокого и худощавого, ребята прозвали Долговязым. Учился он прекрасно, но в уличных играх слыл рохлей и недотепой: если прыгал через скакалку, она вечно запутывалась у него в ногах, если играли в полицейских и бандитов, его сторона неизменно проигрывала. Поэтому никто не хотел с ним играть. Но Асинь приходил на помощь: «Если Афан не будет играть, я тоже не буду. А я не буду, так и другие не будут, уж я постараюсь». Он был такой: как скажет, так и сделает. И все боялись, что он и вправду им насолит — а насолить он мог крепко, — к тому же без него, такого ловкого и озорного, игра уже не игра, а потому дело кончалось компромиссом. Потом у Афана появилась близорукость, он начал носить очки, внешне все больше и больше стал походить на учителя, и ему дали новое прозвище — «книжный червь». Почему-то эта кличка коробила Чэнь Синя больше, чем Долговязый: стоило ему ее услышать, как он тут же щелкал обидчика по затылку. И мало-помалу охотники дразниться перевелись. Ну, а там грянула «культурная рево-

люция», и уже в 1967 году кому-то из них двоих — то ли ему, учившемуся тогда в средней школе первой ступени, то ли брату-старшекласснику — предстояло отправиться по распределению на постоянное жительство в деревню, в производственную бригаду. В таких случаях действовала четкая установка: попросту говоря, «из двух гвоздей выдергивали один». Убитая горем мать, обливаясь слезами, все повторяла: «Для меня что один, что другой… что ладонь, что тыльная сторона…» И Чэнь Синь, которому стало невмоготу, сказал:

— Я поеду в деревню. Ведь Афан такой тюфяк, ему там туго придется. Пускай остается в Шанхае, а я поеду!

И он поехал, а брат его провожал: с обалделым видом стоял в стороне от толпы провожающих, ни слова ему не сказал на прощание, даже не решался на него взглянуть. Но когда поезд тронулся, протиснулся вперед, схватил Чэнь Синя за руку и побежал за вагоном. И потом, когда поезд набрал скорость и разнял их руки, он все еще бежал и бежал…

И вот теперь Чэнь Синь наконец-то вернулся. И ему, и Афану было что вспомнить. Но братья Чэнь не умели выражать свои чувства словами

— все их эмоции претворялись в действия. После обеда старший брат заварил чай, невестка отправилась в пристройку, что была самовольно, без разрешения, возведена ими во внутреннем дворике, и приготовила для Чэнь Синя постель, а младший брат занял для него очередь в умывальную комнату… Когда он, сытый и слегка захмелевший, помывшись в горячей воде, растянулся на широкой кровати, где ему предстояло отныне спать вместе с младшим братом, его прямо-таки опьянило ощущение уюта. От чистого теплого одеяла приятно пахло, у изголовья, на письменном столе, горела лампа, ее оранжевый свет мягко освещал невзрачную комнатенку, а возле подушки лежала стопка журналов — их положил кто-то из домашних, они знали, что Чэнь Синь любил почитать перед сном и при этом всегда помнил прочитанное. Да, дом — это дом. После десяти лет скитаний он все-таки вернулся. Его охватило чувство покоя, какого он никогда не испытывал прежде. Он не стал читать, а сразу сомкнул глаза и заснул. Когда он проснулся, уже смеркалось; кто-то вошел в комнату и выключил лампу. В наступившей темноте он широко раскрыл глаза и еще раз подумал: «Вернулся!» А затем снова закрыл глаза и заснул глубоким,

спокойным сном.

2

На другой день с утра Чэнь Синь отправился оформляться в бюро по трудоустройству. Его сопровождал младший брат. Треугольная площадка возле автобусной остановки, прежде пустая, теперь вся была заставлена лотками закройщиков и швейными машинами. К ним тут же подскочил какой-то парень с клеенчатым сантиметром на шее и спросил:

— Скроить чего-нибудь?

Оба отрицательно мотнули головой, и парень отошел. Чэнь Синь, обернувшись, с любопытством на него посмотрел: малый был прекрасно одет — модная теплая куртка, брюки-клеш, — ни дать ни взять живой манекен, зазывающий клиентов. Брат потянул его за рукав:

— Автобус подходит. А это все молодежь, ожидающая работы, — в Шанхае теперь таких до черта.

Чэнь Синь оторопело взглянул на брата, но тот уже вклинился в толпу, осаждавшую едва остановившийся автобус, втиснулся в двери и, обернувшись, крикнул оттуда:

— Асинь, скорей!

— Может, дождемся следующего? — нерешительно спросил Чэнь Синь, глядя на переполненный автобус и на теснившуюся на остановке толпу.

— Дальше хуже будет. Лезь! — словно откуда-то издалека донесся голос брата.

Ну что ж, попробуем протиснуться — силенок у Чэнь Синя хватало. Расталкивая народ, он влез в самую гущу, с трудом ухватился за поручень у входа и вскочил на подножку. Встряхнувшись, с новыми силами стал пробираться в глубину салона и наконец, сквозь галдеж и выкрики, протиснулся к месту возле окна и схватился за поручень. Но стоять было крайне неудобно, и как ни пытался он приспособиться — все получалось не так: то заденет чью-то голову, то толкнет кого-то в спину. Как ни старался, не мог отыскать удобного положения. Наконец у окружающих лопнуло терпение.

— Угомонишься ты когда-нибудь?!

— Только и знает, что толкаться!

— Эти приезжие такие увальни — вечно толкаются.

— Это кто здесь приезжий?! — Брат протолкнулся поближе к Чэнь Синю. Задетый за живое, он готов был ввязаться в перебранку. Чэнь Синь

поспешно схватил его за руку.

— Ну, будет, будет. В такой давке нам еще только свары не хватало!

— Асинь, — шепнул ему брат, — давай-ка нагнись в эту сторону. Вот так, правильно. А левой рукой ухватись за поручень, так тебе будет удобней. Ну что?

И правда, стало намного лучше. Чэнь Синь перевел дух. И хотя было все так же тесно: грудь к груди, спина к спине, можно было хоть как-то держаться на ногах. Повернув голову, он увидел: все, точно сговорившись, качнулись влево, впритирку прильнув друг к другу. Такой способ размещения и в самом деле позволял увеличить вместимость автобуса до предела. Он вспомнил, какая страшная давка была всегда в автобусах в том захолустном городке, где он жил: тамошние жители действовали без научного расчета — в результате теснота и давка становились нестерпимыми, хотя людей в автобусе было не так уж и много. А вот шанхайцы здорово научились жить на ограниченном пространстве!

— Следующая остановка — Средняя Тибетская улица, прошу всех, кто выходит, приготовиться! — раздался в репродукторе голос кондуктор-

ши. Она сказала это дважды — на путунхуа[11] и на шанхайском диалекте. Эти кондукторши, надменные и холодные, манерой держаться напоминали цариц — однако работали при этом четко, что, объективно говоря, было на пользу пассажирам. И Чэнь Синь невольно вспомнил автобусы и кондукторов городка, где он жил. Автобусы были словно из-под бомбежки — сплошь обшарпанные и пыльные, то и дело отправлялись, не дожидаясь, пока закроются двери. У кондукторов не было ни желания служить народу, как это принято говорить, ни элементарной трудовой дисциплины: остановок они не объявляли, и пассажиры вечно застревали в дверях автобуса. А здесь, в Шанхае, все было четко отлажено — в такой обстановке, хочешь не хочешь, сам станешь подтянутым.

Когда они сошли, брат повел его через улицу, где вовсю шумел и бурлил свободный рынок: там торговали овощами и рыбой, курами и утками, шерстяными рубашками и домашними тапочками, кожаными сумками и заколками для волос; предлагали свой товар торговцы пельменями и жареными пампушками; а еще торговали бумаж-

[11] Примечания: 11

Путунхуа — общекитайский разговорный язык, основанный на пекинском диалекте.

ными фонарями и глиняными куклами — над ними красовалась вывеска с надписью «Народные промыслы». Чэнь Синь невольно усмехнулся: вот уж никак он не думал, что в таком огромном городе, как Шанхай, могут быть подобные толкучки. А эта явно готова была поспорить с самой Наньцзинлу[12], со всем ее современным великолепием!

— Теперь в Шанхае полно таких мест, — пояснил брат. — Власти даже призывают молодежь, которая ждет работы, чтобы сама искала выход из положения!

Услыхав о молодежи, ожидающей работы, Чэнь Синь нахмурился. И, чуть помедлив, спросил:

— Асань, а как твои дела? Ведь ты опять срезался на экзаменах.

Брат опустил голову.

— Сам не знаю, как быть. Видать, не способен я к учебе.

— А в будущем году собираешься сдавать?

— Опять, наверное, провалюсь, — промямлил брат после долгого молчания.

— И ты так спокойно к этому относишься? — сказал Чэнь Синь, закипая.

---

[12] Примечания: 12

Наньцзинлу — главная торговая улица в Шанхае.

Брат рассмеялся:

— Ну не дается мне учение, не гожусь я для этого!

— Я и Афан хотели учиться, — но не было возможности. У тебя есть возможность, — но ты не учишься. Ведь ты у нас единственный в семье, кто мог бы поступить в вуз, только настойчивости тебе не хватает.

Брат промолчал.

— Что же ты теперь собираешься делать?

Асань усмехнулся и ничего не сказал. Тут Чэнь Синя кто-то окликнул. Обернувшись, он увидел женщину лет тридцати с небольшим, она держала за руку миловидного белолицего мальчика. Модное платье, завивка, — он никак не мог припомнить, кто бы это мог быть.

— Не узнал? Неужели я так постарела?

— Юань Сяосинь? Ты? А ведь и вправду не узнал. Только не оттого, что постарела, оттого, что еще лучше стала, — сказал Чэнь Синь, улыбнувшись.

— Хорош! — рассмеялась Юань Сяосинь. — Два года бок о бок на одном коллективном дворе проработали, а теперь не узнаешь? Да ты, я гляжу, успел забыть свое прошлое.

— Ну что ты! Просто никак не думал встретить тебя здесь. Ведь ты уехала с первой партией за-

вербованных? И до сих пор все еще в Хуайбэе, на шахте?

— Нет, в прошлом году вернулась.

— Как же тебе это удалось?

— Долго рассказывать. Ну а ты?

— Тоже вернулся, только вчера приехал.

— Вот как… — Голос ее был спокоен. — Чжан Синьху и Фан тоже вернулись.

— Вот здорово! — обрадовался Чэнь Синь. — Значит, больше половины наших вернулось? Надо бы найти время и собраться всем вместе. Ведь как-никак — выстояли!

Она ничего не ответила, только чуть усмехнулась, и возле глаз собрались тоненькие морщинки.

— Дядя, — вдруг сказал мальчик, — а у тебя уже волосы седые — как у моего дедушки.

Чэнь Синь засмеялся и, наклонившись, взял мальчика за руку.

— Сын?

— Да, только не мой, а моей младшей сестры, — поспешно пояснила Юань Сяосинь и покраснела. — Я ведь еще не замужем. Потому и смогла вернуться.

— Вот как! — Чэнь Синь слегка удивился: он знал, что она из того же выпуска, что и Афан,

стало быть, ей теперь года тридцать три — тридцать четыре. — Почему же, когда вернулась, не занялась этим всерьез?

— Как тебе сказать? Одного желания мало. Все дело случая.

Чэнь Синь замолчал. А Юань Сяосинь, поглаживая шелковистые волосы малыша, тихо произнесла:

— Иногда мне кажется, что я заплатила за Шанхай слишком дорогой ценой…

— Ну, зачем так говорить? Ведь это же просто замечательно, что тебе удалось вернуться, — возразил Чэнь Синь, пытаясь ее утешить.

— Тетя, мы в кино опоздаем! — громко напомнил малыш.

— Ну, мы пошли. — Она улыбнулась. — Извини, настроение тебе испортила. Но ты не то что я, ты — мужчина, и еще молодой, все впереди… найдешь свое счастье.

Чэнь Синь смотрел ей вслед, пока она не исчезла в толпе. Сердце его невольно сжалось.

— Ну прямо дохлый краб! — вдруг раздался чей-то голос у самого его уха: это был Асань.

— Какой еще дохлый краб? — удивился Чэнь Синь.

— Уже за тридцать небось, а дружка не на-

шла, — пояснил брат. — Конечно же, дохлый краб!

— Не в том дело, что не нашла, — просто у нее свои понятия. Слышал, как она сказала: это дело случая, а не желания. Понимаешь?

Неизвестно, понял Асань или нет, только он недоверчиво хмыкнул:

— Ну, как бы там ни было, только теперь все это для нее сложно. Где найдешь мужика за тридцать, и еще неженатого? Либо у него что-нибудь не в порядке, либо условий никаких нет. А может, условия самые лучшие, зато и требования высокие: таким подавай молоденьких да смазливеньких. А теперь полно девушек, которым за двадцать, как раз на выданье.

Чэнь Синю хотелось сказать, что могла быть еще одна причина — просто Юань Сяосинь не встретила настоящей любви. Но ведь заговори об этом с братом, — он, пожалуй, не поймет, о чем речь. Эти нынешние юнцы совсем не то, что его поколение. Он покосился на Асаня.

— Да ты, я вижу, настоящий спец в этих делах!

Тот удовлетворенно усмехнулся, даже не уловив колкости в словах брата. А Чэнь Синю стало неловко, и он, уже другим тоном, спросил:

— Ну, и как же ты теперь проводишь время?

— Телевизор смотрю, гоняю транзистор, дрыхну — делать-то все равно нечего.

— Что же ты все-таки собираешься делать? — снова спросил Чэнь Синь.

Брат промолчал. И только когда они подошли к многоэтажному зданию бюро по трудоустройству и стали подниматься по ступеням, ответил:

— Страшно хочется работать.

Чэнь Синь остановился. Асань, поднявшись еще на несколько ступенек, обернулся:

— Пошли!

Его взгляд был простым и открытым. И Чэнь Синь отвел глаза.

3

Он поступил на работу. Завод, где до него работала мама, был далеко, добираться приходилось тремя автобусами, на дорогу в один конец уходило почти полтора часа. Поставили его к токарному станку, работать на нем ему прежде не доводилось, все пришлось начинать с нуля. Он в шутку называл себя тридцатилетним подмастерьем, которому приходится овладевать ремеслом. На самом же деле трудность заключалась не в секретах токарного станка, надо было привыкать, приноравливаться к новой жизни, к

новому, напряженному ритму: соскочив с первого автобуса, бежать ко второму, рискуя опоздать; соскочив со второго — к третьему… Одно звено крепко сцеплено с другим, ни одного нельзя пропустить. И никаких перекуров во время работы. Трудно привыкнуть и к трехсменному режиму со скользящим графиком: из-за недосыпания целую неделю в ночную смену он никак не мог выспаться в течение двух последующих, — и это очень сказывалось на его состоянии. За два месяца работы он исхудал, осунулся. Впрочем, все говорили, что это ему только на пользу, что он теперь лучше выглядит: полнота — не признак здоровья, от нее один вред. Ведь в краях, где он был, приходилось есть много мучного.

Но как бы там ни было, он вернулся в Шанхай и был доволен. И все же вместе с чувством удовлетворения подчас ощущал какую-то пустоту в душе, ему словно чего-то не хватало. Не стало нескончаемых воспоминаний, которыми он жил все эти десять лет. Эти воспоминания причиняли ему боль, лишали сна и аппетита. Но они же заставляли его, поставив перед собой цель, неуклонно бороться за нее. Они завладели им целиком, заполнили душу без остатка — а теперь их не стало, и это было как-то непривычно и

подчас рождало в нем чувство неуверенности. Он говорил себе, что все это лишь грусть от избытка счастья; ведь он вернулся в Шанхай — чего же еще?! Самое время начинать новую жизнь! Какой она будет, эта новая жизнь, об этом он еще не задумывался. Ведь все только начиналось!

В тот день, закончив утреннюю смену и с трудом волоча онемевшие от восьмичасового стояния ноги, он помылся, переоделся и прямо из заводских ворот пошел к автобусной остановке. Там бурлило и клокотало человеческое море: людские потоки, не умещаясь на тротуаре, уже затопили большую часть мостовой. Это означало, что вышли из графика, по меньшей мере, три автобуса подряд. Он подождал десять минут — автобуса и в помине не было. Люди ворчали, делились соображениями; не иначе как где-то случилась авария. Раздосадованный долгим ожиданием, он решил пойти пешком. Через несколько остановок можно будет сразу сесть на другой автобус. Мастер Ли, который был на год его моложе, в прошлый раз показал ему дорогу: если где-то пройти напрямик, где-то в обход, можно значительно сократить путь. Вспомнив сейчас об этом, он прошел каким-то проулком и вышел на узенькую улочку, усыпанную щебнем. По обеим

ее сторонам суетились люди: кто мыл ночной горшок, кто стряпал, кто прял шерсть или шил одежду, кто читал или делал уроки, кто-то играл в шахматы, кто-то в пинг-понг, кто-то, укрывшись с головой, тут же, прямо на улице, спал… От этого многолюдства и без того узкая улочка казалась еще уже. Он оглянулся направо, налево: стоявшие по обеим сторонам дома походили не то на голубятню, не то на губную гармошку. Маленькие, низенькие, а заглянешь в окно — везде одни кровати: большие, поменьше, двухъярусные, раскладушки… Оттого-то и пришлось все вынести на улицу: и работу, и развлечения, и все прочее. Ну а если все, кто теперь на работе, вернутся домой? А если дождь пойдет или снег? Или сыновья подрастут и задумают жениться? Или… Оказывается, где-то в стороне от многоцветных витрин с их изобилием, в стороне от ослепительной рекламы, крикливых манекенов и пестрых афиш, зазывающих на самоновейшие фильмы, есть еще и такие вот узенькие улочки, и эти тесные домишки, и эта убогая жизнь. Если поглядеть, не так уж он и прекрасен, этот Шанхай, каким представлялся в мечтах.

Лишь где-то через полчаса добрел он до остановки и втиснулся в автобус: теперь он уже научился,

как надо сгибаться, чтобы разместить свое тело ростом в метр восемьдесят сантиметров в самом ограниченном пространстве, теперь его уже не принимали за приезжего… Когда он, голодный и усталый, добрался до дома, был уже седьмой час. Он рассчитывал, что горячий ужин поджидает его на столе, — но оказалось, что даже рис еще не доварился: мама после обеда отправилась на Хуайхайлу за покупками, везде — и на улицах, и в магазинах — полно людей, а в автобусах и того больше, легко ли старой женщине протиснуться сквозь этакую толчею? Потому и пришла поздно. Хорошо еще, невестка, вернувшись после дневной смены, успела поставить рис на огонь. Мама торопливо мыла и нарезала овощи и ворчала на младшего сына:

— Ох уж этот мне Асань! Ведь ничегошеньки не делает, только и знает с утра до вечера транзистор свой слушать да спать. Видит же, что я задержалась, хоть бы мясо помог нарезать! Уж этот мне Асань!

Чэнь Синь, с трудом сдерживая раздражение, отправился в пристройку. Там была кромешная тьма: протяни руку — пальцев не разглядишь. Слышался только шум от транзистора, не настроенного на нужную волну, — не то что-то говорили,

не то пели. Он попытался нащупать край кровати — и, наткнувшись на чью-то ногу, подскочил в испуге. На кровати кто-то приподнялся:

— Это ты, Асинь? С работы пришел?

Чэнь Синь включил настольную лампу. И тут же дал волю своему раздражению:

— Послушай, Асань, сколько можно зря болтаться? Целыми днями дома сидишь, ничего не делаешь — хоть бы матери помог по хозяйству!

— Я после обеда за рисом сходил, а еще пол подмел… — начал оправдываться брат.

— Подумаешь — за рисом сходил, пол подмел! Да я в твои годы в деревне землю пахал, хлеб убирал!

Брат промолчал.

— Тебе ведь теперь тоже двадцать, пора бы за ум взяться, заняться настоящим делом. А ну, вставай, вставай! Да как это можно так раскисать! Сам виноват! Встряхнуться надо — ведь ты и на парня уже не похож!

Асань молча вышел. Но вернувшийся с работы Афан тут же подключился к атаке:

— Ты, Асань, не маленький, сам должен понимать. Мы с женой весь день проработали, хочется как следует отдохнуть — помог бы нам!

Чэнь Синь подал голос из пристройки:

— Если бы ты занимался целыми днями, к экзаменам готовился, мы и не подумали бы тебя укорять, что по дому не помогаешь. Наоборот — все условия создали бы…

Асань продолжал молчать. И тогда на помощь поспешила мама, сказав примирительно:

— Ну ладно, ладно, я сама виновата: перед тем как уйти, ничего ему не поручила. Рис вот-вот поспеет, вы пока печенье погрызите! А ты, Асань, ступай принеси уксус.

И когда тот вышел, обратилась к старшим сыновьям:

— Пускай уж лучше дома без дела болтается. Хуже, если попадет в беду где-нибудь на улице. Ведь эти безработные дети… Наш-то хоть слушается — и на том спасибо.

К половине восьмого ужин был наконец готов. Все уселись за стол в шестиметровой маминой комнатушке. Из-за стычки с Асанем настроение у всех было подавленное, говорить не хотелось. А без такой приправы, как непринужденный разговор, и еда не еда. И тогда невестка решила разрядить обстановку.

— В нашем учреждении, — начала она, — клуб открылся — «Друг молодежи», по сути дела это бюро брачных услуг. Хочешь, Асинь, возьму для

тебя анкету?

— Я теперь сыт и ничем не хочу заниматься, — ответил Чэнь Синь, принужденно усмехаясь. — Да и жениться охоты нет.

— Что за чушь! — возразила мама. — Как это можно не жениться? Да я просто не верю, чтобы ты, с твоей внешностью и с твоим характером, не сумел найти себе жену.

— Нынче на таких, как ты, самая мода, всем девушкам нравятся долговязые, а у тебя метр восемьдесят, — захихикал Асань. Он был незлопамятный и успел забыть, как его самого только что прорабатывали.

— Теперь жену не так просто найти, — заявила невестка. — Нет в кармане нескольких тысяч — и думать нечего о женитьбе.

— Если сын женится, — сказала мама, — пусть хоть весь дом пойдет прахом, а помочь надо. Верно, Афан?

— Да-да, — с отсутствующим видом поддакнул старший брат.

— Пускай деньги есть, а если нет жилья, все равно толку не будет, — сказала невестка.

— Я готова на улице ночевать, лишь бы сын женился. Не так ли, Афан?

— Так, так, — ответил старший брат.

— Уж мама-то свое слово сдержит! — захихикала невестка.

— А когда же это бывало, чтоб мама не сдержала слово? — рассмеялась мама.

— Что за шутки! — возмутился Чэнь Синь и отодвинул чашку с палочками. Хотя мама и невестка говорили все это в шутку, Чэнь Синь уловил в их словах скрытый смысл, понятный лишь им обеим, — и это было неприятно.

Он зашел в комнату Афана, совсем недолго посмотрел телевизор, но усталость одолевала его, веки слипались. Вспомнив, что завтра у него снова утренняя смена, он поднялся и пошел спать в свою пристройку. Асань уже лежал в постели и слушал эстрадный концерт. Он громко хохотал и был в отличном настроении.

— Ты что это так рано улегся? — спросил Чэнь Синь.

— А по телевизору сегодня ничего интересного, — ответил тот, дождавшись окончания концерта.

«Мы передавали эстрадный концерт», — раздался после громких аплодисментов голос диктора, и Асань с неохотой выключил приемник.

Как обычно, Чэнь Синь несколько минут почитал перед сном и погасил лампу. И вдруг в

темноте раздался голос брата:

— Будь жив сейчас отец — как было бы хорошо! Я мать заменил бы на работе, ты — отца. У него ведь хорошая была работа, в кабинете сидел…

У Чэнь Синя защипало в носу, ему захотелось стиснуть брата в объятиях, но он только повернулся и сказал грубым голосом:

— Подумал бы лучше, как экзамены сдать!

Через минуту Асань тихонько захрапел. А Чэнь Синю совсем расхотелось спать.

Ведь когда мама собралась на пенсию, Асань мог пойти работать на ее место. Если бы не он, Чэнь Синь…

Он тогда позвонил по междугороднему и сказал, что хочет вернуться домой:

— Асань и так в Шанхае, значит, всегда можно что-то придумать. А для меня это единственный шанс.

Мама на другом конце провода молчала, а он все повторял:

— Мама, когда я уехал, мне было восемнадцать, я десять лет промучился вдали от вас. Мама, мама, я восемнадцатилетним уехал и десять лет промучился, десять лет!

Мама все так же молчала, но он знал, что она плачет и повторяет про себя: «Что один, что дру-

гой… что ладонь, что тыльная сторона…»

И младший брат уступил ему свое рабочее место — так и должно было быть. Ведь десять лет назад и он уступил старшему брату. И так же, как сам он, Асань не жалуется, не ропщет, относится к нему все с той же сердечностью… Вот он сейчас повернулся во сне и опять положил ему ногу на живот… Асинь не сбросил ее.

Ах, брат, брат, нет у него настойчивости. Ведь сдай он экзамены в институт — все разрешилось бы само собой, и какая бы это для всех была радость! Но ведь, в конце концов, не каждый способен поступить в институт или в техникум. Да если уж на то пошло, родители вовсе и не собирались производить его на свет. Просто началась в то время очередная кампания — стали всячески поощрять «заслуженных матерей». Вот так он и родился. Тогда его появление на свет принесло маме почет, а теперь из-за него одни огорчения. Ему и самому-то теперь неловко — и за то, что родился, и за то, что никак не сдаст экзамены, поэтому он со всеми старается ладить, и кто бы ему что ни сказал, никогда не огрызается…

Чэнь Синь вздохнул: вот тебе и Шанхай, оказывается, и здесь не все так просто!

4

Нынче вечером тетка Шэнь, старая мамина подруга по работе, должна была привести девушку на смотрины Чэнь Синю. Все это затеяла мама, так что неловко было слишком уж артачиться, но на душе у него было тошно и муторно.

— Пора начинать новую жизнь, — сказал ему Афан. И это испугало Чэнь Синя: новая жизнь неожиданно обретала конкретные очертания, это было так внезапно, к этому трудно было привыкнуть. Но, поразмыслив, он так и не смог себе толком представить, какой же, собственно, должна быть эта самая новая жизнь, далекая и возвышенная. А может, это как раз она и есть: жениться, завести семью, нянчить сына… Он покачал головой, горько усмехнулся, и чувство пустоты снова захлестнуло душу. Да, все эти десять лет его томили воспоминания о Шанхае, но в них была своя сладость: он грезил, мечтал, видел сны, совершал в мечтах фантастические путешествия… Похоже, и все-то на свете прекрасно только в мечтах. Это как в детстве, когда суббота всегда казалась чуть лучше воскресенья…

Зато вся родня была в восторге и уже с обеда начала готовиться к приему. Гостей решили

принять в комнате Афана, — и невестка везде подмела, вытерла пыль. Афан сходил за фруктами и сластями и посоветовал уложить малыша пораньше, чтобы не брякнул чего-нибудь лишнего при гостях. У них уже был печальный опыт. Как-то раз невестка взялась познакомить одного человека с девушкой, и встречу устроили у них в доме. Обычно взрослые вели свои разговоры, не таясь от ребенка: что он поймет? И вдруг малыш, показывая пальцем на молодую пару, громко спросил: «Мама, они что — пожениться хотят?» Вышел большой конфуз.

Больше всех суетился Асань: это он подал идею, чтобы мама сварила к вечеру фасолевый суп, а затем вытащил свой лучший костюм и великодушно предложил брату. Чэнь Синь видел, что весь этот энтузиазм — от скуки, лишь от того, что у Асаня наконец-то появилась возможность хоть чем-то заняться. И потому его бурная радость раздражала Чэнь Синя. И он потребовал, чтобы к приходу гостей Асань, вместе с малышом, отправился спать в пристройку. Асань умолял, чуть не плакал — Чэнь Синь был непреклонен. И все же, как ни жесток был этот удар, Асань помог маме сварить целую кастрюлю фасолевого супа и настоял, чтобы брат надел его брюки-клеш.

Гостьи прибыли около половины восьмого. Девица, смущенно прятавшаяся за тетку Шэнь, едва войдя в комнату, тут же уселась на кушетку в углу и, взяв книгу, углубилась в чтение. Место было затененное, гостья склонилась над книгой — так что трудно было ее разглядеть.

— Асинь у нас парень толковый, мастер так его хвалит, — сказала тетка Шэнь. — И горя натерпелся в дальних краях, не то что эти юнцы пустоголовые, которые только-только из школы выпорхнули.

— Да уж, жизнь у него нелегкая, десять лет вдали от дома промаялся, — сказала мама, то и дело косясь на сидевшую в углу гостью.

— Ну как, Асинь, привык уже к своему токарному станку? — спросила тетка Шэнь. — Нелегко небось по восемь-то часов на ногах выстаивать?

— Нормально! — ответил Чэнь Синь. — Ничего страшного. В деревне и не так приходилось вкалывать.

Все его внимание было направлено в угол. Увы! Видны были только короткая стрижка и завивка, широкие плечи…

— Афан, а сынишка где? Уж такой, наверное, стал озорник!

— Да нет, пока еще слушается, спать отправил-

ся, — рассеянно ответил старший брат.

— Как же, слушается! — вмешалась невестка. — Такой упрямый чертенок, глаза бы мои его не видели!

— Ну, это ты зря… Упрямые дети — умные.

— Умные-то они умные… — сказала невестка и направилась в угол. — Подсаживайтесь к нам, супу фасолевого отведайте!

Но кто-то, опередив ее, первый подскочил к гостье и включил торшер.

— Как можно читать в такой темноте!

Это был Асань, непонятно когда успевший пробраться в комнату. Чэнь Синю хотелось схватить его за шиворот и выставить вон. Но в душе он не мог не восхититься находчивостью брата.

Теперь гостья вся, с головы до ног, оказалась под ярким светом лампы. И все, кто был в комнате, не сговариваясь, прервали беседу, чтобы взглянуть на нее. И тут же все, отвернувшись, переглянулись: на лицах было общее разочарование. Одна невестка сумела взять себя в руки и после легкого замешательства сказала:

— Ну, хватит вам читать, поешьте-ка супа.

Девица, жеманничая, осушила чашку с супом, вытерла губы платочком и сказала, что ей пора. Хозяева ее не удерживали, ограничившись лю-

безностями:

— Заходите еще! На улице будьте осторожнее!

После чего всей семьей пошли проводить гостью до ворот. Дальше, до выхода из переулка, ее провожала тетка Шэнь. Это стало своего рода обрядом, который всеми соблюдался. Чэнь Синю, как недавно приехавшему, все это было в диковинку, но стоявший с ним рядом Асань был преисполнен важности, всем своим видом показывая, как следует себя вести в подобных обстоятельствах.

— Ну как, Асинь? — улучив момент, спросила мама.

Тот лишь рассмеялся.

— Нет, нет, не то, — заявил Асань. — Вон скулы какие, так и выпирают — значит, мужем будет командовать.

— Чушь какая! Да тебя никто и не спрашивает…

— Фигура не очень-то, — заметил Афан.

— Да, не красавица, — согласилась мама, — так ведь неизвестно еще, что она за человек.

На этом обмен мнениями пришлось временно прервать — вернулась тетка Шэнь и, улыбаясь, обратилась к Чэнь Синю:

— Она мне велела узнать — какое у тебя впечат-

ление. А ты-то ей вроде очень даже приглянулся.

И опять Чэнь Синь только рассмеялся в ответ.

— Человек она очень хороший, и верная, и добрая, — словно угадав его мысли, стала расхваливать девицу тетка Шэнь. — В этом году ей двадцать восемь стукнуло. Жилищные условия — просто замечательные. Родители ее так и говорят: «Неважно, какие там условия у жениха, лишь бы человек был хороший. А если жилья нет, у нас пусть живут». Комнатка-то у них найдется… Ну ладно, вы тут еще потолкуйте и дайте мне знать, чем скорее, тем лучше. А уж ты, Асинь, будь спокоен, тетка Шэнь тебя не обманет. Я тебя с малолетства помню, видела, как ты рос, лучше всех тебя знаю…

Проводив тетку Шэнь, все вернулись домой.

— Асинь, так какое же все-таки у тебя впечатление? — спросил Афан.

— Неважное, — честно признался Чэнь Синь.

— В конце-то концов, внешность — не самое главное, — сказала невестка. — И без этого можно найти общий язык.

— Ну, не скажи, внешность тоже много значит. Иначе зачем бы Афан выбрал именно тебя? — шутливо отпарировал Чэнь Синь. Все рассмеялись, а невестка, полушутя-полусердито,

стукнула его по плечу.

— Мне тоже кажется, ты мог бы с ней поладить, — сказал Афан. — Когда выбираешь невесту, не следует придавать слишком большое значение внешности.

Но Чэнь Синь стоял на своем:

— Когда с невестой по рекомендации знакомишься, внешность очень даже много значит. Иначе как же я с ней общаться буду, да еще говорить о какой-то любви?

— Пускай не красавица, — включился в дискуссию Асань, — но чтоб не стыдно было с ней на улице показаться.

— А по-моему, мама, девушка неплохая, — сказала невестка. — Опять же условия хорошие, жилье есть. Ведь это так важно — иметь жилье в Шанхае!

— Я человека ищу, а не жилье, — сказал Чэнь Синь.

— Но ведь и это очень важно! Да если приглядеться, не такая уж она и некрасивая, — ну, может, лицо чуть широковатое… А глаза и брови вполне нормальные.

— При чем тут глаза и брови! — вышел из себя Чэнь Синь. — Ну, одним словом, я ее увидел — и ничего не почувствовал.

Асань, которому все это было в новинку, захихикал.

— Я желаю тебе только добра, — сказала невестка. — А там уж дай срок: стерпится — слюбится.

— Точно, точно, — поддакнул Афан.

Тут мама вмешалась.

— Послушай, — сказала она невестке, — это дело Асиня, пусть сам решает.

— Конечно, конечно, — снова поддакнул Афан.

— Ну, ладно, хватит об этом, — Чэнь Синю стало невмоготу. — А ты, мама, больше не хлопочи. Я сам поищу. Если повезет, найду себе хорошую жену. А не повезет — черт с ним, холостяком проживу.

И побежал в пристройку — спать.

Во сне ему улыбались чьи-то глаза — черные и серповидные, похожие на народившийся месяц, улыбались так нежно и ласково… Он проснулся и увидел в маленькое квадратное окошко висевший прямо напротив лунный серп…

Где они теперь — эти серповидные глаза? И кто же она, их хозяйка? В городке, где он жил, он каждое утро, возвращаясь из столовой, видел велосипед, что проносился через их школьный сад, от задних ворот к передним, и ее — такую тоненькую и хрупкую на старомодном, громозд-

ком сиденье… И каждый раз она оглядывалась на него, а ее глаза, ее глаза… Он был уверен: спроси он у нее «куда ты едешь?» — она бы ответила. Но он так ни разу и не спросил, а потому так и не узнал, откуда она ехала и куда. Он знал только, что через их школьный сад постоянно ездили, и туда, и обратно, чтобы срезать большой крюк и быстрей добраться до цели. А целей этих было много: за одними воротами — больница, Дом культуры, Дом политпросвещения, машиностроительный завод; за другими — большой универмаг, стадион, текстильная фабрика. И она сотни, тысячи раз проезжала мимо, а он так и не остановил ее, хотя чувствовал, что она ему нравится: когда он ее видел, на душе становилось радостно… Но все его помыслы были устремлены к одной цели — Шанхаю. И вот теперь он вернулся в Шанхай, а она так и проехала мимо, проехала, чтоб никогда уже не возвратиться. И только в памяти остался прекрасный образ. Разумеется, он не жалел об этом — на весах его сердца никакая девушка не смогла бы перевесить Шанхай! И все же было немного грустно.

Он вспомнил школу с ее большущим садом — такого школьного сада даже в Шанхае не найдешь! И какая там была аллея — с целой рощей

вокруг. А перед дверью дома, где он жил, — колодец, летом он опускал туда арбузы, чтоб были свежими и прохладными… А еще один его ученик так был ему предан, всегда угощал разными домашними лакомствами. Но он, уезжая, никого не хотел видеть, хотел разом все оборвать — и уехал не простившись. Да, он не забыл эти места. Конечно, несколько печатей на документах могли бы бесследно вычеркнуть этот раздел из его биографии. Но так как это все же была его биография, должно же было что-то от нее и остаться — хотя бы отдельные воспоминания…

5

В то утро Афан вдруг предложил маме разделиться.

— Так… таким образом… чтобы и продукты поделить пополам… ну, яйца там… — разъяснял он маме, — ну, и остальные все вещи… тоже поделить…

Мама ничего не сказала в ответ, только смотрела на него не отрываясь, а он прятал глаза…

Чэнь Синю предложение брата показалось разумным. Он только не понимал, чего это Афан так мямлит и запинается, словно стыдится чего-то.

И произнес, улыбаясь:

— Вот и отлично. Хорошо, что додумались.

От этой его шутки Афан вдруг почему-то покраснел и вышел из комнаты. А мама за все время так и не сказала ни слова, только не сводила с него глаз…

Чэнь Синь отправился на работу. В конце переулка его нагнал Асань и, понизив голос, таинственно сказал:

— Ну как, сообразил, почему Афан затеял этот раздел?

— Из-за яиц, кажется…

— Из-за каких еще яиц! Из-за квартиры!

— Из-за квартиры? — опешил Чэнь Синь. И даже остановился.

— Из-за квартиры, — веско заявил Асань. — После раздела двадцатидвухметровая гостиная отойдет к ним. Это, конечно, невестка все придумала.

— Ну что ж, к ним так к ним! — И Чэнь Синь зашагал опять. — А ты, чертенок, все никак не займешься чем-то серьезным, зато в таких вот делах настоящий спец!

Весь этот день Чэнь Синю было как-то не по себе, то и дело приходили на ум слова Афана о разделе. Он смутно чувствовал, что за этим что-то кроется. А в ушах звучали слова Асаня о квартире.

Он вспомнил, что невестка, заводя речь о женитьбе, всякий раз упоминала и о квартире. Неужели это и вправду что-то могло означать? «Нет, не могло», — едва не вырвалось у него, так что он даже испугался. И тут же ему стало смешно.

Вернувшись после работы, он услыхал, как мама говорила Афану:

— Не очень-то удобно производить этот раздел. Ведь почти половина квартиры принадлежит Асиню. Он десять лет в дальних краях мыкался, и если теперь женится, вы должны уступить ему полкомнаты, ведь так?

Афан молчал, и мама опять спросила:

— Ведь так?

И лишь тогда он нехотя поддакнул:

— Так, так!

В этот момент в комнату вошла невестка с чашкой и поставила ее на стол. Случайно так вышло или нет, только чашка громко звякнула…

За ужином Афан и невестка были мрачнее тучи. А мама, словно чувствуя себя виноватой, усердно подкладывала им в чашки кусок за куском. Асань то и дело посылал Чэнь Синю многозначительные взгляды, словно желая сказать: «Смотри, смотри!» А тот с отвращением отворачивался, опускал голову и старался ни на кого не смотреть.

Атмосфера за столом была гнетущая — к счастью, ее хоть как-то оживлял малыш: он без конца вертелся на своей табуретке, то вставал, то садился, требовал то того, то другого. Вот он уронил ложку и полез в чашку с едой прямо руками. Бабушка, желая навести порядок, схватила его за ручонку и трижды шлепнула по ладошке, Асань, скорчив злорадную рожу, расхохотался:

— Вот здорово!

— И ни капельки не больно! — гордо заявил малыш. Все рассмеялись, но невестка рывком стащила его с табуретки и принялась отчитывать:

— Бессовестный, совсем себя вести не умеешь! Тебя только из вежливости отсюда не гонят, так что нечего радоваться!

Смех оборвался, и лица у всех окаменели… Только Асань, словно желая сгладить неловкость, сказал тихонько:

— Здорово!

Мама нахмурилась:

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ничего не хочу сказать, — ответила невестка.

— Ну, тогда я скажу. Ты злишься из-за квартиры.

— Вовсе я не злюсь из-за квартиры! Есть квар-

тира или нет — мне лично все равно. А вот когда сын вырастет и у него квартиры не будет, он жену не сможет в дом привести.

— Незачем мне такое говорить! Может, я и плохая свекровь, да только сердце-то у меня болит за детей. И ко всем троим сыновьям я отношусь одинаково: что ладонь, что тыльная сторона — а все родная плоть. И когда Асинь уехал, его полкомнаты Афану остались. Нельзя же быть такими неблагодарными, — сказала мама и заплакала.

— Это мы-то неблагодарные?! Да любой девушке, когда она замуж выходит, мебельный гарнитур дают, диван, торшер. А когда я за Афана выходила — что у него было? И я хоть слово сказала? Зато когда Асинь в дальних краях был, ему к каждому Новому году, к каждому празднику и деньги посылали, и посылки. Вот так-то здесь со мной считались! — сказала невестка и тоже заплакала.

У Афана был совершенно обалделый вид, он не знал уже — кого теперь утешать. А Асань тем временем куда-то исчез. Когда скандал разгорелся не на шутку, этот паршивец перепугался и поспешил смыться.

— Да перестаньте вы плакать! — сказал Чэнь Синь и поднялся из-за стола. — Мама, не нужна

мне эта квартира, и жениться я не собираюсь. Для нас, бригадников, уже и того достаточно, что в Шанхай смогли вернуться!

Мама зарыдала еще горше. А невестка бросила на него быстрый взгляд — и рыданья ее стали чуть глуше…

Вечером, когда все уже улеглись, Афан, с папиросой во рту, зашел в пристройку и сказал Чэнь Синю:

— Ты уж не сердись на жену: у нее ведь только характер такой, а сердце доброе. Когда мы поженились, у меня никаких сбережений не было, только кровать одну и купил. А она и не думала обижаться. Эти несколько лет мы на всем экономили. Зато мебель купили, комнату отделали, вот она и довольна теперь, чувствует, что не зря мы с ней столько лет мучились. Ну и, само собой, очень ей хочется все это сохранить. А сердце у нее доброе, она и сама говорит, что надо бы полкомнаты младшему брату уступить, да вот только все не решится никак, ну а я потихоньку ее уговариваю…

— Ладно, брат, хватит об этом, — оборвал его Чэнь Синь. — Я ведь тогда про квартиру не просто так, сгоряча, ляпнул — она мне действительно не нужна, честное слово. Так что скажи жене, чтоб

не беспокоилась. Вот только делиться не надо. Маме больно будет: ведь старикам всегда хочется, чтобы сыновья и внуки дружно жили.

Афан заплакал и обнял его за плечи. Чэнь Синю тоже хотелось обнять брата, и все же он резким движением оттолкнул его от себя и нырнул под теплое одеяло: за десять лет жизни вдали от родных чувства его огрубели…

Да, в Шанхае и впрямь было непросто!

6

Последние события в семье выбили Чэнь Синя, привыкшего жить независимо и без лишних волнений, из колеи. На другой день у него был выходной, и он чуть свет, не позавтракав, никому ничего не сказав, вышел из дома. Ему захотелось отыскать где-нибудь место попросторней и немного пройтись. Он уже привык к северным просторам и всюду чувствовал шанхайскую духоту: высоченные здания преграждали доступ ветрам, от плотных людских толп воздух был спертым. Итак, куда же пойти? Пожалуй, на набережную.

Он сошел с автобуса и зашагал вперед — к берегу Хуанпу. Воды еще не было видно — только пароходы, большие и маленькие, стоявшие на

причале. А на набережной зеленели деревья, алели цветы, старики занимались гимнастикой тайцзи[13], дети носились взад и вперед, молодежь гуляла и фотографировалась. Все это делало жизнь прекрасной и радостной, — и у него полегчало на сердце. Он перешел через мостовую и вышел к самой реке — вот она, Хуанпу, этот символ Шанхая. Только она была совсем не синей — как в его воспоминаниях или на картах города. Она была бурой, и от нее исходил смрад. А может, и на все в мире следует смотреть лишь издали, а если подойдешь поближе и вглядишься получше, тебя ждет разочарование.

Он пошел по набережной к видневшемуся впереди скверу, купил входной билет. Недалеко от входа было озерцо с фонтаном: вода стекала с вершины искусственной горки, и от ее подножия кругами расходилась рябь. Он помнил, что когда-то давным-давно под горкой была скульптурная группа: мать с зонтиком в руке, двое детей, на зонтик падают водяные брызги, и все трое, смеясь и крепко прижавшись друг к другу, прячутся от дождя… Когда он, совсем тогда еще маленький, в первый раз увидел эту скульптуру, какое это

[13] Примечания: 13

Тайцзи — один из популярных видов традиционной китайской гимнастики.

было потрясение, какой восторг! Он готов был смотреть на нее без конца и ни за что не хотел уходить. Да и теперь одно лишь воспоминание об этом эхом откликнулось в душе. До чего же все это было похоже на их семью! Отец умер рано, и мама одна тянула их троих. Вместе делили и горе, и радость, всегда и во всем помогали друг другу. Сколько горя они хлебнули! Но любая беда переносилась легче, оттого что всегда держались вместе. Когда однажды на город налетел ураган, они, крепко прижавшись друг к другу, сгрудились вчетвером на одной кровати. От вспышек молний, ударов грома, завывания ветра было и страшно, и весело. Асань пронзительно визжал, мама, смеясь, осыпала небо проклятьями, а Чэнь Синь, как защитник семьи, старался держаться поближе к выключателю: Афан, только-только начавший постигать азы электричества, смертельно его боялся… Да, тогда им было тепло. И это тепло родного дома всегда притягивало его к себе, призывало вернуться…

Струйки фонтана, падая на пустынную водную гладь, пускали по ней однообразные, недолговечные круги. На его руку упала капля… И вдруг он понял, что капля эта скатилась с его щеки. Да что же это с ним?! Когда он уезжал, мама была полу-

живая от слез, а он не уронил тогда ни слезинки. А теперь… теперь он испытывал величайшее разочарование: будто разбилось вдруг что-то самое прекрасное, самое для него дорогое. И, отвернувшись от фонтана, он направился к выходу.

Уже открывались магазины, продавцы снимали щиты с окон и дверей, зажигали свет в витринах. От выставленных в них товаров рябило в глазах. А от пешеходов просто кружилась голова: чуть ли не каждый казался ожившей картинкой из модного журнала. Он подошел к одной из витрин и невольно загляделся. Витрина была электрифицирована: большеголовые, упитанные пупсы один за другим съезжали с горки, две куклы качались в обнимку на качелях, а на заднем плане пионеры в красных галстуках запускали модели самолетов — серебристые машины кружили в голубом небе…

Он стоял перед витриной и не в силах был сдвинуться с места. И вдруг услышал в душе какой-то зов, как будто кто-то звал его к себе. Это были его детство и отрочество, те золотые воспоминания, что оставались в сердце, когда он уезжал из Шанхая. Все эти десять лет он по ошибке принимал их за Шанхай и отчаянно хотел вернуться. Теперь он вернулся, но утраченное так и осталось

утраченным…

Людей на улицах все прибывало, они уже заполонили тротуары, теснились плотными рядами — и захочешь обогнать, да не тут-то было… Он вспомнил утреннюю давку в автобусах, вспомнил, как в столовых приходится ждать, когда освободится место, а не успеешь сесть, твоего места уже дожидаются другие, вспомнил, как в треугольном скверике на одной скамейке сидят впритирку по три пары, вспомнил, как в саду Юйюань люди становятся в очередь, чтобы сфотографироваться на искусственной горке… Похоже, что люди способны не только творить чудеса, но и отравлять друг другу жизнь. Так зачем же ему-то понадобилось лезть в эту кашу, зачем?

Ведь как тесно в этом шанхайском мире, где люди подпирают друг друга плечами, наступают друг другу на пятки — и при этом не знают и не понимают друг друга, смотрят один на другого гордо и свысока! Ему вспомнилась песенка, которую недавно записал Асань, всего из двух фраз: «Люди на земле теснятся будто звезды в небе, звезды в небе друг от друга далеки, как люди».

Там, где он жил, все по-другому: тихо, почти безлюдно. Зато по улицам можно бегать или прогуливаться не спеша, можно свободно ды-

шать. Оттого, что городок маленький, люди часто видятся друг с другом, все знают друг друга в лицо, все знакомы. Когда идешь по улице, то и дело киваешь головой, здороваешься, но в этом особая близость и теплота. Как видно, у большого есть свои большие недостатки, у малого — свои маленькие достоинства.

Он машинально двигался вперед, слившись с людским потоком, шел куда глаза глядят. На душе было смутно; те горькие и сладкие воспоминания, что за эти десять лет пропитали его душу, куда-то исчезли, а с ними исчезло и не оставлявшее его все эти годы чувство душевной полноты. Он достиг своей цели — а куда идти теперь? Ведь пока живешь, всегда должна быть цель. Одеться по западной моде, носить кожаную обувь, купить брюки-клеш и магнитофон, чтобы шагать в ногу с современностью? Найти невесту, жениться, завести семью?.. Что ж, и этим можно заняться, отчего бы и нет, только все это потребует и труда, и немалых усилий. Да если к тому же модная одежда только прикроет унылую, безрадостную душу, то какое уж тут счастье! Жениться лишь ради того, чтобы создать семью, и всю жизнь жить с нелюбимым человеком, — стоит ли взваливать на себя это новое бремя? И опять ему вспомнились глаза,

похожие на серп луны; да, они могли встретиться на его пути только случайно — и разве найдешь их теперь? А все же цель человеческой жизни — это счастье, а не страдание. И он понял вдруг: цель, к которой ему следует теперь стремиться, должна быть большой, очень большой…

И сразу на душе полегчало — словно сквозь окутавшие небо угрюмые тучи пробился солнечный луч. Пусть тусклый, но все же луч солнца!

— Асинь!

Он остановился — похоже, кто-то его окликнул?

— Асинь! — раздался тот же голос. Он обернулся, огляделся по сторонам и увидел, как по мостовой, среди бурлящей толпы пешеходов, с трудом ползет автобус, через окно перегнулся Афан и тянет к нему руки, а из-за его спины выглядывает невестка. Лица у обоих перепуганные…

Не понимая, что там такое могло у них стрястись, он резко повернулся и побежал за автобусом. Брат схватил его за руку, он ничего не говорил, только глядел на него ошалелым взглядом. Совсем как десять лет назад, когда он, Чэнь Синь, сидел в вагоне отходящего поезда, а брат бежал следом. У него сразу заныло сердце. Невестка высунулась из окна и тоже схватила его за руку.

— Асинь, ты только не отчаивайся!

И заплакала.

— Куда это вы собрались? — спросил Чэнь Синь. Он улыбался, но на глазах его показались слезы.

— Поехали домой! — сказал Афан.

— Ну что ж, домой так домой!

Да, дом — это все-таки дом, и все их раздоры только из-за нужды. Ах, родные, родные, сколько же горя я вам причинил! И ему вдруг стало стыдно, стыдно от того, что он то и дело козырял перед ними своими десятилетними невзгодами. Да ведь и у мамы, и у братьев, и у невестки — у каждого из них были в эти десять лет свои собственные невзгоды. А разве у него в жизни были одни только беды? Нет! Были и радости, да, да, именно радости! И немало. Ну, например, та аллея и та рощица, тот колодец, где была такая свежая вода, тот преданный ему ученик и те глаза, похожие на серп луны… Он пренебрег всем этим. Как хорошо, что есть еще в запасе десять, двадцать, тридцать лет, что впереди у него еще долгая-предолгая жизнь. И надо теперь хорошенько подумать, как ее прожить.

И вот опять его поезд отправляется в путь — а где же станция назначения? Он знал только, что она где-то далеко и очень большая, и чтобы

добраться до нее, потребуется, быть может, не десяток лет, а два, три десятка, а то и вся жизнь. Быть может, он так и не обретет никогда чувства покоя. Но он верил: если он туда доберется, не будет больше страха и растерянности, волнений и тревог, досад и огорчений — он найдет наконец свое место в жизни!

ВАН ЖУНЬЦЗЫ
ХОЗЯЙКА
© Перевод Н. Захарова

Ван Жуньцзы родился в 1946 году в деревне уезда Вэньдэн провинции Шаньдун. После окончания в 1967 году уездного педагогического института занимался преподавательской и журналистской работой. В 1970 году был направлен в творческую группу местного Управления культуры в городе Яньтае, в настоящее время в Управлении по драматургии этого же города занимается профессиональным творчеством. В 1976 году вступил в КПК. С 1982 года член Союза китайских писателей.

В шестидесятые годы начал писать и публиковать стихи, очерки, прозу. С 1979 года опубликовал более десяти рассказов, в том числе «Первый месяц весны» и «Братец Лян и сестра Фан». Опубликованный в 1980 году рассказ «Продаем крабы» был удостоен литературной премии. Пред-

лагаемый вниманию читателей рассказ отмечен премией за 1981 год.

1

Со Чэну шестьдесят лет, он — человек самый обыкновенный, ничего великого в жизни не совершил. Даже дом записан на его жену и в бухгалтерской ведомости стоит ее имя. Она же расписывается, когда им выдают деньги и зерно. Обычно, вернувшись домой, Со Чэн ужинает, вытирает губы и забирается на кан[14] послушать радио. Его не интересуют ни музыка, ни радиопостановки — только последние известия и передачи для жителей деревни. Он часто повторяет, что, когда слушаешь радио, на душе светлеет. А в разные житейские мелочи: что поесть, как обогреть дом, чем накормить кур или поросят — он не вникает.

В последние годы в некоторых крестьянских домах появились колодцы, многие поставили насосы. Нажмешь кнопку — и льется вода, прямо около дома мой посуду, стирай, делай, что хочешь.

Когда Со Чэна спросили, не пора ли и ему поду-

---

[14] Примечания: 14

Кан — лежанка, обогреваемая изнутри печным дымом.

мать о колодце, он ответил:

— Подожду, пусть хозяйка первая скажет.

Жена сказала:

— Выроем! Люди смогли, и мы сможем. Чем мы хуже?

Тогда и он стал уверенно говорить:

— Вырою! Раз люди смогли, значит, и я смогу.

Жену Со Чэн хвалит и уважает. Она и в самом деле толковая женщина. Ей нет еще и пятидесяти, а уже начинает седеть — наверное, оттого, что много думает. Быстра и на слова и на дела. В доме, во дворе — всем заправляет. Ни минуты свободной. То надо крышу соломой покрыть, то загнать поросят в хлев, зимой пришить подстежку к одежде, летом отпороть... и обо всем она помнит, все успевает, капли воды, как говорится, зря не прольет. А до чего рачительна! У нее муха рисинки не унесет. Но если надо на что-нибудь раскошелиться, не скупится, как муж. Со Чэн привычно называет ее хозяйкой дома, на самом же деле она и над ним хозяйка.

Наконец начали рыть колодец. После ужина Со Чэн, как всегда, устроился поудобнее на кане, вытянул ноги, закурил трубку и включил радио. Сначала он слушал передачу с большим увлечением, но вскоре потерял к ней интерес и

выдернул шнур из розетки. Приемник захрипел и затих.

В это время хозяйка мыла на кухне тарелки. Что это муж не дает ей послушать радио? Она вошла с недовольным видом, нащупала вилку и воткнула в розетку. Раздался треск, и приемник ожил. А хозяйка снова ушла мыть посуду. Старый Чэн приуныл. Он беспрестанно курил, шумно затягивался, и когда на краю кана появилась третья горстка пепла, выбитого из трубки, снова выдернул шнур из розетки.

Хозяйка разозлилась и, вытирая о фартук руки, влетела в комнату.

— Ну что ты за человек, сам не слушаешь и другим не даешь!

— Я… у меня голова раскалывается, — быстро нашелся Со Чэн, — спать хочу.

Жена смягчилась, пощупала его лоб.

— Холодный… Может, сердце болит?

Со Чэн пробормотал:

— Ага…

Хозяйка засуетилась:

— Может, ты не наелся? Давай сварю тебе суп из фасоли. Странный ты человек, ну что волноваться по пустякам?

Вскоре суп, щедро подслащенный, очень вкус-

ный, был на столе. Со Чэн съел две большие миски — даже вспотел. Затем улегся на кан, долго ворочался, смотрел в темноту, курил, усыпал пеплом чуть ли не весь подоконник, но сон не шел. Уже перед рассветом Со Чэн не выдержал и толкнул жену в бок:

— Мать!

Она зашевелилась и, протирая глаза, спросила:

— Как сердце, не отпустило еще?

— Нет. Я хочу с тобой посоветоваться.

— Давай.

Но Со Чэну было почему-то трудно говорить. Он взял кисет и так долго набивал табаком трубку, что казалось, прошла целая вечность.

Хозяйка не выдержала, спустила ноги с постели и стала одеваться.

— Ну, что молчишь, будто рот заклеили?

Со Чэн наконец расхрабрился и выпалил:

— Не нужен нам колодец.

— Как!..

— Ты разве не слышала, что кричат в деревне на каждом углу?

— А что?

— Сама знаешь, чего там!

Жена еще больше заволновалась, отбросила одеяло, вскочила с кана:

— Говори, не тяни!

Со Чэн взял ее за руку.

— Чего всполошилась? Может, это еще не точно!

— Говори же быстрей!

Со Чэн тоже поднялся с кана и зашептал ей на ухо:

— С помещиков колпаки, говорят, снимут, и с Чжао Миллионщика тоже. Даром что восемь лет в тюрьме просидел.

Хозяйка понимающе кивнула головой:

— Это я знаю.

— Сейчас их уже за людей стали считать, наравне с нами, бедняками.

— Гм… — поджала губы жена.

Со Чэн зажег трубку, смачно затянулся.

— В общем, не нужен нам этот колодец. Нечего на него, черт бы его побрал, силы тратить.

Хозяйка опешила.

— Ничего ты не видишь, ничего не понимаешь! — начал горячиться Со Чэн. — Если разобраться, то еще не известно, наш ли это дом. Ходят слухи, будто его хозяин Лю Цзиньгуй жив и сейчас в Японии. Он открыл большой магазин и гребет деньги лопатой. У него и машина, и телевизор. А когда умрет, останутся дети и внуки. Так

что с домом дело ненадежное.

— Меньше об этом думай!

— Меньше думай? Да где уж тебе до большой политики! Голова на старости лет совсем не варит.

Хозяйка молча опустила голову. Со Чэн все больше распалялся:

— В доме ты всему голова, я тебя слушаюсь. Но на этот раз послушайся меня, даст бог, не пропадем!

Неожиданно для него женщина стала смеяться.

— Чего смеешься?

Но смех буквально уже душил ее, на глазах выступили слезы. Со Чэн подскочил, зажал жене рот.

— Ты чего? С ума спятила? Сейчас и у стен есть уши, а тебе смешно!

Хозяйка вытерла слезы и зло посмотрела на мужа.

— Это у тебя не все дома. Видно, суп не впрок пошел. Где это видано, чтобы солнце вставало на западе, а в коммунистическом Китае обижали честных людей. Дожил до седин, а все трясешься за свою шкуру!

За окном рассвело. Хозяйка открыла дверь в соседнюю комнату, громко крикнула:

— Сынок, вставай, уже солнце в спину светит!

Из комнаты, одеваясь на ходу, вышел парень.

— Мама, ты зачем меня разбудила?

Хозяйка достала деньги, протянула сыну.

— Иди купи хлопушки.

— Зачем нам хлопушки? — вмешался в разговор Со Чэн. — Разве мы строим дом?

— Помолчи лучше, — с раздражением в голосе ответила жена.

В деревне закладка дома была большим событием, и всегда в этот день запускали хлопушки. Но праздновать строительство колодца — такого еще не было. «Раньше не было — теперь будет», — решила хозяйка. Она велела сыну привязать хлопушки к длинному бамбуковому шесту и поднять вверх. Поджечь хлопушки должен был хозяин дома, однако руки не слушались Со Чэна, и при каждой попытке он ломал спичку. Женщина рассердилась, забрала у мужа коробок, и с первой же спички хлопушки загорелись. Шум привлек внимание жителей всей деревни, и к дому Со Чэна уже мчались любопытные мальчишки, на бегу хватая бумажные цветы, которые вылетали из хлопушек. Цветы кружились в воздухе, насыщенном едким запахом пороха.

— Сынок, попробуй поднять еще выше, — крик-

нула мать, — пусть все видят.

Стоял такой шум, что соседи затыкали уши. Они удивлялись, почему жена Со Чэна, слывшая прижимистой, не пожалела денег на такую затею.

Хлопушки догорели. Хозяйка вынесла из дому лопату и протянула мужу.

— Ну, отец, начинай, — с чувством сказала она.

Непонятное волнение охватило Со Чэна. Он легко, словно молодой, вонзил лопату в землю…

2

Глубина колодца достигла двух чжанов[15] — уже пошли твердые породы, а воды все не было. В полном унынии Со Чэн уже заговорил о том, что надо засыпать колодец, но жена лишь прикрикнула на него. У соседей ведь есть вода, значит, она где-то рядом — рассуждала женщина. С какой стати ее не будет? Наверное, камни прижали Царя драконов, повелителя вод, дождя и колодцев, вот он и не пускает к воде! А не позвать ли нам землекопа, чтобы взорвал грунт?

Пробили шурф, заложили взрывчатку. Когда хозяйка уже заклеивала бумагой оконные стекла, чтобы они не вылетели от взрыва, по деревенской

---

[15] Примечания: 15

Чжан — мера длины, около 3 м.

трансляции передали, что Ли Цюлань срочно вызывают в правление производственной бригады. Женщина не хотела отрываться от работы и попросила мужа:

— Сходи узнай, в чем там дело. Может, из-за какой-нибудь ерунды вызывают.

Со Чэна затрясло от злости.

— Тебя вызывают, а мне идти?

— Что ты за человек! Вечно отговариваешься. Неужели так трудно сходить!

Пришлось идти. Меньше чем через полчаса он пулей влетел во двор. Заикаясь, дрожа от волнения, крикнул:

— Мать, вернулся бывший помещик Лю Цзиньгуй!

Жена вздрогнула и в изнеможении прислонилась к окну.

— Он остановился в городской гостинице, завтра приедет в деревню. Хочет посмотреть свой дом. Ну, дела…

Хозяйка опять поджала губы.

— Из города приехал какой-то Сунь, чиновник, — продолжал Со Чэн, — видно, большой начальник. Сейчас он с нашим секретарем в правлении. Скоро пожалуют к нам… Тебе, мать, придется посуетиться!

— Что им надо от нас?

— Хотят посмотреть дом. Решили у нас устроить прием Ли Цзиньгую. Да, чуть не забыл, из города приехали две машины, привезли ковры, кресла и деревянные кровати… Это чтобы дом выглядел лучше, чем при старом хозяине.

Жена задумалась и вдруг спросила:

— А ты не боишься?

— Кого? Помещика? — Со Чэн презрительно сплюнул. — Если я и боялся, так это при старой власти. А теперь чего мне бояться? Плохо только, что защитники у нас ненадежные. Ты бы послушала этого, городского: «Лю Цзиньгуй богач, у него власть…» Прямо молиться на него готов. А мы что? Голодранцы, мужичье…

— Не размазывай сопли, — прикрикнула на него жена. — Иди лучше скажи землекопу, чтобы готовился взрывать. А это пусть тебя не волнует.

Со Чэн вопросительно посмотрел на жену.

— А как же…

— Что «как же»? Ничего не бойся. Дом наш, как решим, так и будет.

Кто-то вошел во двор. Со Чэн глянул в окно и схватил жену за руку.

— Пришли, — зашептал он. — Вон тот, впереди, и есть чиновник Сунь.

Ли Цюлань решительно отбросила со лба волосы, с легкостью пересекла комнату и прислонилась к дверному косяку. Сощурившись, она пристально смотрела на пришедших.

У заведующего канцелярией уездного комитета Суня был озабоченный вид. Не замечая хозяев, он стал осматривать двор:

— Какая же здесь грязь! Нашли время рыть колодец. — Он осторожно поднялся на кучу земли и заглянул в вырытую яму. Затем обернулся и спросил у сопровождающих:

— Когда они закончат с колодцем?

— В лучшем случае дня через три-четыре, — ответил секретарь партбюро.

Сунь подумал и решительно заявил:

— Колодец надо засыпать! Это же черт знает что! Осрамимся на весь мир! Ни в одной стране не копают колодцы таким допотопным способом. Узнают об этом за границей — позора не оберемся!

— В деревне не хватает техники, — пробовал защитить хозяев дома секретарь.

Сунь покачал головой:

— Нет, надо немедленно засыпать! Общественные интересы выше личных. Теперь посмотрим, что там, — и он направился к дому.

В дверях стояла разгневанная Ли Цюлань и с презрительной улыбкой разглядывала заведующего. Сунь с изумлением посмотрел на нее. Чтобы загладить неловкость, секретарь, уже пожилой человек, стал торопливо представлять их друг другу.

Заведующий сразу заулыбался:

— Так это вы — товарищ Ли Цюлань. Верно говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. — Он уже готов был горячо пожать женщине руку. Но ни один мускул не дрогнул на лице хозяйки. Словно не замечая протянутой руки, она холодно спросила:

— Кого ищете? Если хозяина, то его дома нет. — Заведя руки за спину, женщина в упор посмотрела на Суня: — Сначала надо познакомиться с хозяевами, — продолжала она. — И вообще, по какому праву ты решаешь за нас, что делать с домом?

Не ожидая такого поворота событий, заведующий даже в лице изменился, и казалось, потерял дар речи. Мыслимое ли дело, чтобы с ним, кадровым работником государственного масштаба, так вызывающе вела себя простая деревенская баба?

На помощь пришел деревенский секретарь:

— Слушай, Цюлань, товарищ Сунь пришел по

делу, а ты так его встречаешь! Давай поговорим по-хорошему!

Но хозяйка продолжала в том же духе:

— А я, товарищ секретарь, кажется, никому не нагрубила. Если он явился по делу, ничего не имею против. После земельной реформы мы относимся к начальству с большим почтением. А что касается дома, то вспомните, сколько горя мы натерпелись, прежде чем его получили. Ну ладно, допустим, помещику захотелось посмотреть свой бывший дом — пожалуйста, никто ему не мешает. Пусть приходит! Я на гостей собак не спускаю! Не такие уж мы бессовестные, как вы думаете, не такие плохие! Мне что бывший помещик, что первый секретарь укома — всех одинаково встречаю! Дело в другом. Чем говорить о чистоте, лучше взять веник и подмести. Вот вы, товарищ Сунь, стыдите меня, что двор грязный. А как же ему быть чистым? Здесь у нас и куры, и утки, и битый кирпич. Мы же копаем колодец! И потом, почему мы должны его засыпать? Неужели ради того, чтобы навести чистоту к приезду Ли Цзиньгуя? Что же, нам теперь без воды оставаться? Если боитесь срамиться, везите помещика в город, в ваши городские квартиры. Там и принимайте! Какое мне до этого дело! А у

меня как я решу, так и будет. В чужой монастырь со своим уставом не ходят!

У секретаря от волнения перехватило дыхание, тем временем Со Чэн незаметно прошмыгнул в дом. Заведующий Сунь был возмущен. Но изо всех сил старался не подать виду, даже улыбнулся.

— Хорошо, товарищ Ли Цюлань, что у вас есть классовое чутье. Но почему вы до сих пор ненавидите помещиков? Лю Цзиньгуй уже не тот, что был раньше. Он хоть и эмигрант, а истинный патриот. Поддерживая четыре модернизации, он…

— Хватит, — оборвала его женщина, — в политике ты, я вижу, собаку съел. Скажи лучше, что тебе от меня нужно?

В это время к дому подъехала машина. Рабочие стали сгружать и заносить во двор мебель.

— Послушайте, — сказал Сунь, — мы хотим обновить обстановку в доме. Пусть господин Лю увидит, как живут люди в социалистической деревне.

Хозяйка подошла к машине и, прищурившись, стала осматривать мебель. Пожалуй, очень дорогая. Такой она в жизни не видела.

— Ну как, нравится? — спросил заведующий.

На губах хозяйки заиграла лукавая улыбка.

— А что, вся эта красота потом нам останет-

ся? Очень кстати, когда сын женится, подарю невестке.

— Нет, нет, — испугался Сунь.

— Ха-ха-ха! — громко рассмеялась женщина и спросила: — Тогда зачем вы это привезли? Чтобы пустить пыль в глаза? Не думайте, ничего мне от вас не надо! Принимайте, пожалуйста, гостя где-нибудь еще, только не в моем доме. Все уносите! — Она махнула рукой в сторону ворот. — Ничего не надо! Двор у меня грязный и нечего здесь устраивать выставку!

— Цюлань! — резко одернул ее секретарь.

Тут уж заведующий Сунь не выдержал и, топнув ногой, заорал:

— Мебель оставить! Колодец засыпать! Сию же минуту!

— Вот как! В моем доме, да еще скандалишь?! — Одним прыжком Ли Цюлань оказалась возле вырытой ямы и обратилась к землекопу:

— Начинайте взрывать!

Из глубины колодца послышалось:

— Хорошо-о-о!

Все с недоумением переглянулись. Из дому выбежал перепуганный Со Чэн и, схватив жену за рукав, стал умолять:

— Мать, перестань шуметь!

— Опоздал! Ну-ка, проваливай отсюда! — Она забралась на стену хлева, сложила рупором руки и закричала:

— Эй! Сейчас будем взрывать! Закрывайте окна, а то стекла повылетают!

По всей деревне пронеслось как эхо:

«Будем взрывать… ать!»

У заведующего канцелярией лицо стало пепельно-серым.

— Уносите, немедленно уносите! — закричал он срывающимся от волнения голосом. Рабочие, кто как мог, принялись вытаскивать мебель со двора.

Деревенский секретарь улыбнулся и незаметно ушел.

Землекоп уже заложил взрывчатку и вылез из ямы.

Раздался грохот, задрожала под ногами земля. Деревенские волной хлынули во двор поглазеть, что стало после взрыва.

Ли Цюлань стояла под деревом и плакала… Сверкающие слезинки медленно катились по морщинистому лицу…

3

Это случилось много лет тому назад.

С утра валил густой снег. День клонился к вечеру, когда крытая повозка, запряженная лошадьми, позвякивая колокольчиком, свернула с дороги в сторону деревни. На козлах с кнутом в руках дрожал от холода бедно одетый парень.

Вдруг повозка остановилась. Парень спрыгнул с козел, прошел немного вперед и стал кнутом счищать с чего-то снег, непонятно с чего. Затем быстро присел и поднял это что-то на вытянутых руках. Это оказалась маленькая худенькая девочка с корзинкой в посиневших от холода руках.

Из повозки закричали:

— Иди быстрей! Куда ты пропал?

Подхватив девочку на руки, парень поспешил к повозке и, наклонившись к окошку, почтительно произнес:

— Хозяин…

Занавеска на окне шевельнулась, отодвинулась. На мгновение блеснули чьи-то глаза и тут же исчезли.

— Брось ее! Живо!

— Хозяин, — в голосе парня слышалась мольба, — может, она еще жива… Спасите ее!

— Мертвая она! Ты что, хочешь ей гроб покупать?

— Хозяин… — чуть не плакал парень.

Из повозки раздалась ругань:

— Черт бы тебя побрал, не порти мне настроение перед праздником! Кому сказано, брось!

Стиснув зубы, парень опустил девочку в сугроб около дороги и накрыл своей ватной курткой…

Повозка двинулась дальше. Возница изо всех сил стегал лошадей. Колеса громыхали от быстрой езды.

В деревню въехали уже затемно. Привязав лошадей, парень помчался туда, где оставил девочку, и принялся шарить в снегу. Нашел! Прижимая девочку к груди, он побрел в деревню. Хотел хоть немного отогреть ее в своей каморке, но у него не оказалось ни спичек, ни дров. Тогда парень еще крепче прижал ребенка к себе. Только к утру девочка немного согрелась и открыла глаза.

Сияя от счастья, парень побежал к хозяину:

— Жива, жива! — кричал он, плача от радости.

Он умолял хозяина не прогонять сироту, обещал сам ее кормить и уговорил наконец хозяина. В знак благодарности парень согласился получать целый год меньше денег за работу.

Так девочка и осталась в помещичьем доме. Ей было лет десять. Маленькая и хрупкая, она выполняла любую тяжелую работу, вертела жернова, давила масло, стирала, мыла… Одним словом, трудилась не покладая рук, но дел не убавлялось. Помещик вечно ее бранил, сторожевые собаки рвались с цепи и свирепо лаяли, когда она проходила мимо. Всякий раз ее сердце сжималось, как у трусливого зайчишки. Только вечером, возвращаясь в каморку, она чувствовала настоящее человеческое тепло.

Девочка называла своего спасителя братом, а он, в свою очередь, звал ее сестренкой Лань. Они делили и голод и холод, совсем как родные. Судьба соединила их страждущие сердца.

Прошло семь лет. Девочка выросла, расцвела.

Однажды Цюлань сказала:

— Брат, тебе скоро тридцать, а ты не женат!

— Кто пойдет за меня, бедняка! — с горечью произнес Со Чэн.

— А меня взял бы в жены?

Со Чэн растерялся.

— Если я тебе не противна — женись на мне.

— Нет, нет… — покачал головой Со Чэн.

Цюлань вся засветилась радостью.

— Прошу тебя, возьми меня в жены. Уедем

отсюда. У нас будет своя семья. Я всю жизнь буду тебя любить…

У Со Чэна забилось сердце.

— Тише, хозяин услышит…

— Пусть слышит! Не хочу больше здесь оставаться, в другом месте найдем пропитание!

— Эй!

Парень со всех ног бросился на зов.

— Со Чэн, ты что, хочешь жениться на Цюлань? — спросил помещик.

— Что вы, нет…

Хозяин ухмыльнулся.

Как-то к вечеру вернувшись домой, Со Чэн услышал плач. Он вбежал в свою каморку и увидел, что какой-то плешивый старик тащит на улицу Цюлань. Хозяин в одной руке держит кальян, а другой подталкивает девушку. Цюлань изо всех сил сопротивлялась, ухватилась за дверной косяк. Увидев Со Чэна, бросилась к нему:

— Брат, спаси…

Со Чэн обнял ее и в недоумении уставился на помещика.

— Ты вовремя вернулся, — пробормотал тот, посасывая кальян. — Попрощайся с сестрой. Она уходит и будет счастлива. Ее новый хозяин, господин Ли Чжангуй, очень хороший человек.

— Он продал меня, — заплакала Цюлань.

Со Чэна будто огрели палкой по голове. Он едва не потерял сознания.

— Хозяин, вы… вы…

Помещик молча посасывал кальян.

Плешивый старик подозрительно посмотрел на Со Чэна. Затем повернулся к девушке и злобно спросил:

— Что у тебя с ним?

— Он ее брат, у них ничего не было, — поспешил объяснить помещик.

Цюлань поджала губы.

Старик схватил ее за подбородок.

— Спала с ним? Признавайся!

Девушка оттолкнула его руку и вызывающе крикнула:

— Семь лет сплю! Он мой муж!

Помещик ушам своим не верил.

— Цюлань, ты что… — смутился Со Чэн.

Девушка подбежала к нему, обняла, разрыдалась.

Со Чэн тоже зашмыгал носом…

Старик холодно улыбнулся.

— Вот уж не ожидал, господин Лю Цзиньгуй, что вы подсунете мне испорченный товар. Да еще за такую цену! — Он вырвал у помещика из

рук контракт о продаже, разорвал и направился к выходу.

— Ли Чжангуй… — попытался остановить его хозяин.

Но тот даже не обернулся.

Хозяин пришел в бешенство, лицо его покрылось пятнами. Он схватил Цюлань за волосы и ударил кальяном по голове.

…Хозяйка невольно потянулась рукой к седой пряди, нащупала шрам. И словно ощутила старую боль. Может, кое-кто и забыл прошлое, только не она. Ненависть не дает забыть…

Очнувшись от воспоминаний, женщина направилась к дому, подняла голову, посмотрела на строение из темного кирпича, крытое черной черепицей. Здесь прошла почти вся ее жизнь. В этом доме она была служанкой, теперь — хозяйка. Была бедной, да и теперь не очень богата. Но это нельзя равнять, — как, например, тыкву с фруктами! В тот страшный день, зажимая кровоточащую рану на лбу, она убежала от помещика. Односельчане помогли ей построить лачугу, которая и стала для нее и Со Чэна их первым семейным домом. На второй день их совместной жизни Со Чэн нашел временную работу, а она принялась плести корзинки. Ее душа была спо-

койна: есть семья, есть защита.

В 1947 году после освобождения у помещиков конфисковали землю и все имущество. Председатель деревенского комитета (сейчас он деревенский секретарь) привел их в помещичий дом и сказал:

— Отныне он ваш, вы за него заплатили кровью! Дом крепкий, еще ваши дети и внуки будут в нем жить!

Ли Цюлань провела рукой по дверям, покрытым черным лаком, заплакала. И вот с того дня, что бы ни происходило, она верила, что никто не отнимет у нее дом. В 1948 году одно время в провинции хозяйничали гоминьдановцы. Кое-кто из помещиков стал сводить с крестьянами счеты. Многие испугались и вернули землю, которую дала им народная власть. Но и тогда Ли Цюлань не оставила дом, хотя это могло стоить ей жизни. К счастью, Ли Цзиньгуй почувствовал, что его время прошло, и вел себя осторожно. Вскоре отряды гоминьдана были разбиты и бежали. Помещик, взяв семью, ушел вместе с ними, сначала на Тайвань, а потом за пределы Китая.

Когда в 1962 году с территории Тайваня проникли вооруженные группы и высадили в провинции морской десант, Со Чэн ночи не спал.

Жена удивлялась:

— Чего ты боишься? Разве небо может рухнуть? Коммунистическому Китаю никто не страшен.

Да, это была сильная женщина!

«Что же сейчас происходит? — думала она. — С помещиков колпаки словно ветром сдуло. Вообще, давно пора… Сколько лет перевоспитывали! Многие исправились. Но чтобы коммунист говорил так, как заведующий Сунь, — в это трудно поверить».

Хозяйка почувствовала сильную головную боль. Забыв о колодце, она вернулась в дом и легла на кан. Со Чэн заметил, что жене нездоровится, и всполошился. Не знал, то ли бежать за врачом, то ли варить спасительный фасолевый суп.

— Ну что ты суетишься, — прикрикнула на него жена, — не сходи с ума! Лучше потри мне голову, может, пройдет!

Старик залез на кан и стал растирать жене голову.

Вечером пришел деревенский секретарь. Хозяйка вновь вспомнила события дня, разволновалась, заплакала.

— Дядюшка, что ж это такое, опять наступают плохие времена?

Секретарь закурил трубку и, улыбаясь, присел

на кан.

— Цюлань, ты ведь сильная, и вдруг скисла.

Со Чэн решил поддержать жену:

— Хозяйка говорит, что в этом году власть приберут к рукам те, у кого есть деньги!

— Эх ты, чертушка! О ком это ты говоришь? Разве власть не у коммунистов?

— Какой же коммунист этот заведующий Сунь? — возразил Со Чэн. — Нет, я таких не признаю.

— Но ведь ты ему не перечил, — сказал секретарь и лукаво улыбнулся.

Ли Цюлань покосилась на мужа.

— Да он всех боится!

Со Чэн густо покраснел, а секретарь рассмеялся.

Ли Цюлань оставалась серьезной.

— Но ведь Сунь просто прикрывается званием коммуниста!

Секретарь шумно попыхивал трубкой.

— Ты правильно ставишь вопрос, Цюлань. Сейчас из-за таких, как он, упал авторитет партии. Простых людей беспокоят и слова, и дела. Этот Сунь ведет себя так, будто университет закончил, а сам, как говорится, ветер называет дождем, а молнию громом, чересчур умный. Такие вот кри-

чат на всех углах о своих способностях, а у самих за душой ничего нет. Они — это еще не партия. Ну как, Со Чэн, согласен со мной?

— Да, такие слова мне по душе, — закивал головой старик.

Хозяйка о чем-то задумалась, как всегда поджав губы.

Секретарь выбил из трубки пепел и улыбнулся:

— А ты, Цюлань, что молчишь?

Женщина тоже улыбнулась:

— Так что же мне делать завтра?

— Ты хозяйка — тебе гостя принимать, как скажешь, так и будет, — ответил секретарь. Он рассказал, что недавно звонил Чжан из уездного комитета и отчитал заведующего Суня. И еще Чжан сказал, что Лю Цзиньгуя пусть встречают односельчане, ведь он приехал в родную деревню. Надо доверять простым людям. Лю Цзиньгуй приедет один, без сопровождающих.

Тут хозяйка облегченно вздохнула.

Перед уходом секретарь сказал:

— Цюлань, хочу поделиться с тобой тем, что у меня наболело. Когда я узнал, что приезжает бывший помещик, мне стало как-то не по себе. Мало радости встречаться с бывшими врагами,

да еще оказывать им гостеприимство. Но я много думал и понял, что такой подход устарел. Нельзя теперь жить по старым канонам! Сама посуди: сколько лет прошло после земельной реформы, а мы все считаем помещиков врагами. Прикажут ругать их — ругаем, прикажут драться — и тут подчиняемся. Разве это справедливо? Партия ведет нас к социализму, и эти люди нам теперь не мешают. Они такие же, как и мы: рождаются, воспитывают детей, умирают... Почему надо их унижать? Забудь, что Лю Цзиньгуй причинил тебе зло, ведь он человек!

Со Чэн, затаив дыхание, слушал секретаря.

Хозяйка вдруг подняла голову.

— Дядюшка, позвони секретарю Чжану и скажи: пусть Лю Цзиньгуй приезжает, я не прогоню его.

Секретарь кивнул головой.

— А как же с колодцем? — вдруг вспомнил Со Чэн.

— Копайте!

4

Со Чэн вместе с сыном вращал ворот, доставая корзиной со дна колодца камни. Хозяйка громко командовала:

— И раз, и два…

Утренний свет заливал двор. Свиньи терлись спинами об угол хлева, петух на заборе возвестил о наступлении нового дня. На круглых, как блюдо, листьях тыквы блестели жемчужинки росы и, сливаясь при легком дуновении ветра, скатывались на землю, напоминая серебряные бобы. Сноп колосьев, подвешенный под карнизом, золотился в лучах восходящего солнца…

Пустая корзина коснулась дна колодца. Хозяйка смахнула пот со лба и, глядя куда-то вдаль, сказала:

— Тридцать с лишним лет прошло, состарился он…

— Он родился в год собаки, значит, сейчас ему семьдесят один, — вспомнил Со Чэн.

— Еще и не узнаем его!

— Мать, а правда, что в Японии он женился?

— Что-то не слыхала такого.

— На чужбине еда сладка, да вода горька. Зачем он приезжает? Хочет рассчитаться за старое? Хотя секретарь Чжан вон как про него говорит… А ты что думаешь, мать?

— Трудно жить вдали от родины, — задумчиво произнесла Ли Цюлань. — Говорят, когда он уезжал, украдкой вытирал слезы. Смотреть было

жалко…

— Ты вот его жалеешь, а он тогда тебя не пожалел! — в сердцах произнес Со Чэн.

— Что было, то прошло, а сейчас другое дело. Да что там говорить, он сам по себе, мы сами по себе.

Сын слушал, о чем говорили отец с матерью, и в разговор не вмешивался. Веревка, спустившаяся в колодец, задергалась. Хозяйка велела мужу и сыну поднимать со дна колодца корзину с камнями.

Землекоп нагрузил очередную корзину и крикнул:

— Пошла сырая глина, скоро будет вода!

Уже третий день рыли колодец, а углубились всего на три чжана.

Около девяти часов утра вдалеке засигналил автомобиль. Со Чэн прислушался и глухим голосом произнес:

— Едет!

Хозяйка немного подумала и сказала:

— Отец, иди в дом, возьми в шкафу под постельным бельем рубашку и переоденься.

— Хорошо. — Со Чэн поспешил в дом.

Затем она обратилась к сыну:

— Поезжай в лавку и купи мяса. Я к обеду напе-

ку пирожков, он их любит.

Сын ушел.

Женщина взяла с подоконника пачку сигарет, подошла к колодцу и крикнула:

— Мастер, я жду гостей, пойду в дом. Когда появится вода, крикните, а сейчас можете покурить. — Она бросила в колодец пачку сигарет. Ну вот, кажется, все в порядке. Она отряхнула с одежды землю и направилась к дому.

Приехал! Нетвердой походкой в окружении детворы к дому приближался сгорбленный тощий старик небольшого роста. Неужели это хозяин, когда-то такой строгий, солидный? Он почти облысел, брови вылезли. Рот провалился, как у древней старухи, лицо в пятнах. Он опирался на палку, еле переставляя дрожащие ноги. В руке у старика был кальян, наверно, он только что курил: из маленькой чашечки еще струился дымок. Да, кальян и тогда был его слабостью…

У женщины забилось сердце. Она не могла оторвать взгляд от кальяна.

Лю Цзиньгуй подошел к дому, остановился, поднял голову, веки его задрожали. Он долго вглядывался в женщину. Потом натянуто улыбнулся, затряс головой, видно было, что не узнал ее. Но вдруг его мутные зрачки расширились, в

глазах мелькнул ужас, руки затряслись, и кальян с легким звоном упал на землю. Старик увидел на лбу женщины шрам. Мучаясь раскаянием, закрыл глаза…

Губы у женщины задрожали, пальцы судорожно впились в дверной косяк, за который она держалась.

Наступила гробовая тишина.

Вдруг кто-то из мальчишек крикнул:

— Гляди, да этот заморский старик даже кальян в руках удержать не может!

Дети загалдели, раздался громкий смех.

В душе хозяйка торжествовала, но подавила в себе это чувство и махнула рукой:

— Ну-ка, мотайте отсюда!

Дети кинулись врассыпную, однако остановились поодаль и теперь с интересом наблюдали за происходящим. Во дворе опять воцарилась гнетущая тишина.

Женщина шагнула вперед и подняла с земли кальян. Да, все тот же, только на нем появились новые вмятины. Выходит, и на металле остаются шрамы. А на сердце?

Лю Цзиньгуй протянул к женщине дрожащую руку:

— Цюлань? Это ты? Неужели я дожил, вижу

тебя, родную деревню… Какое счастье…

В глазах у хозяйки заблестели слезы. Она вытерла кальян, отдала старику и звонким как хрусталь голосом сказала:

— Дядюшка, проходите в дом, у мужа есть хороший табак.

Лю Цзиньгуй обеими руками принял кальян.

— А, Со Чэн… Как дела у него?

— Все нормально, партия о нем заботится. Отец, — крикнула она, — иди встречай гостя!

Застегивая на ходу рубашку, из дому выбежал Со Чэн. Увидев старого хозяина, он замер на месте и не мог ни слова вымолвить.

Лю Цзиньгуй горестно покачал головой:

— Тоже постарел!

Со Чэн хотел было возразить, но сказал лишь:

— Я родился в год курицы, мне сейчас шестьдесят!

Хозяйка усмехнулась.

Обстановка разрядилась. Они прошли в дом. Женщина стала рассказывать про колодец, гость одобрительно кивал головой:

— Вода здесь хорошая. Я тоже думал о колодце, когда строил дом. Но боялся потревожить духа земли… — он рассмеялся, — был суеверным.

— Вода! Вода! — донеслось со двора.

Хозяйка всплеснула руками и по разбросанным во дворе камням побежала к колодцу.

— Чистая? — крикнула она, заглядывая вниз.

— Уже можно зачерпнуть.

— Отец, неси кувшин, — велела Ли Цюлань.

Со Чэн поставил кувшин в корзину, опустил в яму. А когда вытащил, увидел в кувшине воду.

— Ну, мать, пробуй, как на вкус!

Ли Цюлань протянула кувшин гостю:

— Это вода вашей родины, вы первый пробуйте!

Старик даже испугался такого почтения к нему и наотрез отказался брать кувшин.

Хозяйка очень тепло повторила:

— Пейте, мы еще успеем.

Муж поддержал ее:

— Пейте, вы — гость!

Лю Цзиньгуй дрожащими руками взял кувшин и, не дожидаясь, пока осядет муть, залпом выпил почти половину. Потом закрыл глаза и причмокнул беззубым ртом, наслаждаясь вкусом воды.

— Сладкая? — спросил Со Чэн.

Лю Цзиньгуй вновь поднес кувшин ко рту и стал с жадностью пить. Глаза его наполнились слезами. Они текли по лицу и капали в кувшин, смешиваясь с колодезной водой.

Хозяйка почувствовала, как к горлу подступил комок, и поспешно отвернулась…

ВАН МЭН
ЗИМНИЕ ПЕРЕСУДЫ
© Перевод С. Торопцев

Ван Мэн родился в 1934 году в Пекине, куда его семья переехала из уезда Наньпи провинции Хэбэй. В настоящее время Ван Мэн — член ЦК КПК, министр культуры. Среди его наиболее известных произведений — романы «Да здравствует юность!», «Метаморфозы, или Складные фигурки», повести «Мотылек», «Не время для встреч», рассказы «Новичок в орготделе», «Грёзы о море», «Ничтожному дозвольте слово молвить», «Весенние голоса» и другие. Многие его произведения были отмечены Всекитайскими премиями.

* * *

В городе В., центре провинции Н., жил моложавый старичок, известность коего вышла даже за пределы страны. Уже в самом его имени Чжу Шэньду, если учесть значение каждого иероглифа, сквозил намек на достаточную само-

стоятельность, при наличии, однако, известной осторожности. Небольшого росточка, всего метр шестьдесят два, этакий шестидесятитрехлетний седенький бодрячок с детским личиком, нес он бремя таких постов, как президент регионального отделения Академии наук, председатель Научного общества, ну и заодно еще возглавлял Ассоциацию деятелей литературы и искусства и местное отделение Союза писателей, поскольку пописывал в молодости. В городской организации Демократической партии, где костяком являлась интеллигенция, считался не последним человеком, а в 1981 году подал в партию и был принят после прохождения испытательного срока в 1982 году.

Физиолог и гигиенист, он славу себе стяжал отнюдь не анатомированием, не углубленными исследованиями функций различных органов тела и уж, разумеется, не опусами о всяких там «цветочках да снежинках», которыми баловался по молодости лет. Нет, слава в стране и за ее пределами пришла к нему как к уникальному авторитету в области куповедения.

Купаться все равно что мыться, и ничего странного в этом нет. Не многим, правда, дано с позиций высокой науки проникнуть в глубин-

ный смысл сего процесса, построить и развить соответствующую теорию. Провинция Н. — не то место, где легко утвердиться привычке к мытью, ибо в силу вековых традиций тут мылись не больше трех раз в жизни. Чаще два: при рождении и перед положением в гроб. И лишь толстосумы, вельможи да высокоученые мужи позволяли себе еще такую роскошь перед вступлением в брак. Деда же Чжу Шэньду, жившего на исходе девятнадцатого века, коснулись новейшие заморские идейные течения, и он, отважившись, решительно, бесповоротно восстал против застарелых традиций предков, соорудил бассейн и принялся ратовать за купание — ежемесячное, представьте себе, так прямо и заявил во всеуслышание, — идея для того времени неслыханная, умопомрачительная. Так что дни свои он кончил в тюрьме, умер голодной смертью, обвиненный в «растлении масс» и «порче нравов». Спустя пять лет «император Великой Цин»[16] вернул деду доброе имя и почтил посмертным титулом «справедливого совершенного мужа».

С той вот поры и распространилось по провинции Н. купальное поветрие. Доводы отыскались

---

[16] Примечания: 16

Цин — маньчжурская династия, правившая в Китае с 1644 по 1911 гг.

даже в классическом древнем «Великом Учении» — дескать, купание, наипаче же соединенное с постом, весьма способствует очищению помыслов, выпрямлению душ, укреплению тела, упрочению семьи, оздоровлению государства, умиротворению Поднебесной. Таким образом, надлежащее толкование открыло купанию широкие горизонты, и местными жителями оно стало восприниматься как добродетель. Следующему поколению, однако, пришлось пережить новое потрясение, когда Чжу Исинь, отец Чжу Шэньду, стал приглашать в бассейн дам. Это буквально произвело сенсацию! Благородные мужи пришли в ужас от «притона», где склоняют к разврату порядочных людей. Споры об этом вышли за рамки куповедения. Настал час, когда почтенные благородные мужи провинции Н. сочли Чжу Исиня оборотнем, навлекающим потопы и нашествия диких зверей, и из-за стен родовых поместий зловеще понеслось: «Смерть Чжу Исиню, иначе смутам не будет конца». Рассказывают, что, когда одной благонравной даме предложили совершить омовение в бассейне Чжу Исиня, она так возмутилась подобной дерзостью, что схватила нож и отсекла себе левое ухо, осквернённое «дьявольским соблазном». Предания об

этой «страстотерпице» запечатлены в летописи бывшего уезда В., каковой впоследствии — тому уже лет тридцать — стал городом.

Наш Чжу Шэньду с младых ногтей впитал этот мятежный дух новаторов и пионеров, дух прежде-рожденных, плывших против течения, увлекая за собой Поднебесную, и, погружаясь в штудии физиологии и гигиены, а в минуты отдохновения воздыхая о «цветочках да снежинках», он в то же время направил свой волевой импульс на создание новой науки — куповедения. Пятнадцать лет ушли у него на семитомный труд «Основы куповедения», включивший в себя такие главы, как «Организм и купание», «Купание и кровеносная система», «Купание и пищеварительный тракт», «Купание и дыхательная система», «Купание и кожный покров», «Купание и волосяной покров», «Купание и костяк», «Купание и психогигиена», «Купание и юношеская гигиена», «Купание и гигиена среднего возраста», «Купание и семья», «Купание и государство», «Рабочее купание», «Купание в военных условиях», «Купание и вода», «Купание и мыло», «Баннология», «Купальное костюмоведение», «Научный подход к растиранию спины», «Массажеведение», «Методология купания», «Исследования по температуре во-

ды», «Полотенцеведение», «Побочные эффекты купания», «Купание и политика», «История концепций купания», «Купание и антикупание», «Купание и некупание», «Уровни купания», «Контроль за результатами купания», «Дополнения к куповедению», «Дополнения к куповедению. Продолжение, пп. 1–7». По широте его воззрений мы вправе полагать, что он шагал плечом к плечу с лучшими из лучших Земли.

Сей труд был переведен на добрый десяток языков, и две конституционные монархии отметили грандиозность семитомной эпопеи присуждением Чжу Шэньду почетных ученых степеней их величеств. Так что он прочно утвердился на троне лидера куповедения — на пять тысяч лет в глубь веков и на пять столетий вперед как в границах священного Китая, так и за пределами оных.

Ежевечерне к дому Чжу Шэньду стекались потоки гостей, в первую очередь юных адептов, коими постоянно полнилась просторная гостиная. Все разговоры, перешептывания и даже улыбки молодых людей были накрепко привязаны к семитомнику «нашего многоуважаемого Чжу». Те из них, кто питал склонность к мелодекламации, при всеобщем внимании зачитывали наизусть целые куски, слово в слово.

Иные, предпочитавшие витийствовать о южных небесах, северных морях, о вершинах в облачной дымке, по первому впечатлению, далеко удалялись от главной темы, но в конце концов и они ухитрялись вставлять в свои опусы какие-нибудь цитаты (даже со знаками препинания) с такой-то строки такой-то страницы такого-то тома все того же семитомника, за что вознаграждались взглядом многоуважаемого Чжу. Некоторым свою чистосердечную преданность глубокоуважаемому Чжу удавалось выразить даже сквозь заикание и косноязычие… У краснобаев речи текли рекой, их иногда заносило, порой за пределы дозволенного. В общем, звезды жались к луне, птицы ловили ветер, и каждый старался показать себя.

Выделялась в гостиной женщина высоких добродетелей и изящного сложения, не совсем ясного возраста, с нежным, как молоко, голоском и в очках, которые она то снимала, то надевала, вытягивая при этом губки и вызывая симпатии окружающих. Она, разумеется, верховодила молодыми гостями. Имя ей было Юй Цюпин.

День ото дня жизнь в городе В. становилась лучше, и у Чжу Шэньду жизнь тоже день ото дня становилась лучше. Семитомник вот-вот

должен был одеться в твердый переплет, автор, необычайно воодушевленный, целых четыре месяца потратил на тщательнейшую доработку, прошелся по всему тексту, заменив в общей сложности семь слов и шесть знаков препинания и выдвинув при этом целый ряд соображений по поводу верстки, шрифта, даже отдельных литер, предложил Юй Цюпин подготовить для второго издания текст послесловия на 752 знака. Она же высказалась в том смысле, что по завершении «Послесловия» ей следует взяться за написание «Комментированной биографии Чжу Шэньду», и хорошо бы ему привести в порядок свои фотографии с младенческих лет по сю пору, а также собрать воедино черновики и рукописи. Достопочтенный Чжу удовлетворенно улыбнулся, но тем не менее пробурчал:

— Ну, будет, будет вам, кому это интересно!

И продолжалось бы это благоденствие без заминок, без каких бы то ни было изменений, время отстукивало бы дни, как маятник в европейских часах, не случись однажды этого «инцидента с Чжао Сяоцяном».

22 ноября 1983 года в восемь часов вечера Юй Цюпин ворвалась в гостиную профессора Чжу Шэньду. В таком волнении и растерянности, что,

сбрасывая пальто, ненароком оторвала красивую, с переливами, голубую пуговицу, а здороваясь, выказала сверхобычную почтительность. Чжу Шэньду нахмурил бровь правого глаза, приподнял веко левого, а Юй Цюпин плюхнулась на диван и лишь тогда вымолвила:

— Этот ничтожный Чжао открыто бросил вам вызов!

— Что за Чжао и какой вызов? — не понял ее Чжу Шэньду.

— «Слабак» Чжао — Чжао Сяоцян!

— Какой такой Чжао Сяоцян? — брезгливо процедил профессор, словно эти три слога «чжао-сяо-цян» обозначали какой-нибудь редкостный микроб, лабораторным путем обнаруженный в экскрементах.

— Плешивый такой коротышка, — еще больше взвинчиваясь и потому совершенно невразумительно принялась объяснять Юй Цюпин, — мать его развелась, а он школьником таскал груши из общественного сада. И вроде в Канаде стажировался. Три года потратил, и на что?! Выучился, видите ли, золотых рыбок разводить. А теперь вот статью тиснул — мыться, говорит, надо утром!

Словно бомба взорвалась над ухом Чжу Шэньду.

— Что? Утром? У-у-утром, — даже начал он заикаться, — мы-мы-мыться? Так что же это, тогда, может, и го-го-говорить но-но-ногами станем, а пе-пе-петухи я-я-яйца на-начнут нести?!

Юй Цюпин расстегнула модную сумочку из искусственной кожи, достала местную «Вечерку» и ткнула пальцем в «Канадскую россыпь» на третьей странице — одну из серии статей Чжао Сяоцяна. Засуетилась, отыскивая дальнозоркому профессору очки, и когда он нацепил их, то увидел зловредные фразы, отмеченные красным карандашом (а одно слово было даже подчеркнуто):

«…В нашей стране большинство обычно моется вечером, перед сном. Здесь же люди *предпочитают* принимать ванну поутру, встав с постели…»

Он проглядел всю третью полосу вечерней газеты, но лишь эти, выделенные красным карандашом слова, по соседству с «Маленькими бытовыми хитростями: как устранить запах изо рта», — лишь они и заслуживали хмыканья профессора Чжу.

— В сущности, — произнося это, Юй Цюпин очень мило надула губки, так что нижняя выпятилась этаким совочком, — в сущности, это серьезная проблема, когда мыться, утром или

вечером. Кто он такой, этот Чжао Сяоцян? Ну, побывал в Канаде, и что? Канадская луна — она что, круглее китайской? Мне бы предложили поехать в Канаду — отказалась бы! Подумаешь, в Канаду съездил — и уже возомнил о себе! С чего он взял, что именно по-канадски купаться правильно? У нас тут, в В., не канадцы живут! Или может, девять десятых наших горожан — рабочие, служащие, овощеводы из пригородов — все по канадам разгуливают? А если канадцы непочтительны к родителям, то и мы должны быть такими же? Да и потом, Канада…

От этой громыхающей «Канады», казалось, лопнет голова, и Чжу Шэньду замахал руками:

— Ах, наивное дитя, что взывать к его разуму…

Тут звякнул колокольчик у дверей, и трое самодовольных учеников Чжу Шэньду, обычно прибывающих по вечерам на поклон к профессору, явились, дабы выразить свое отвращение к «бредням» этого мелкотравчатого Чжао Сяоцяна. Особенно возмутила их ужасающая непочтительность по отношению к многоуважаемому Чжу. Основы куповедения, опасались они, могут быть в корне потрясены.

— Полно вам. — Многоуважаемый Чжу начал слегка выходить из себя. — Юнец, молоко на губах

не обсохло, покрутился за границей, поднахватался и болтает невесть что, стоит ли толковать об этом!

Высказавшись так, он глубоко вдохнул и шумно выдохнул, при этом в горле что-то клекнуло, будто петух спросонья кукарекнул. Этаким манером он обычно намекал гостям, что пора и честь знать. Но сегодня звуки были особенно колоритными, в них слышалась и «сумрачная завеса дождя», и даже «стена ливня».

В этот вечер Чжу Шэньду вел себя еще вполне благопристойно. Через пару дней, однако, город взорвался слухами: «Чжу Шэньду вознегодовал», «Чжу Шэньду считает Чжао Сяоцяна мелкотравчатым», «многоуважаемый Чжу назвал Чжао Сяоцяна негодяем и послал подальше», «профессор Чжу заявил, что у Чжао Сяоцяна не тот уровень», «доктор Чжу полагает, что рассуждение Чжао Сяоцяна с душком», «Чжу Шэньду сказал…».

Не имея ног, слухи тем не менее доходили до ушей Чжао Сяоцяна.

У того тоже была своя «братия» и довольно сплоченная. Наибольшую активность проявлял высокий, тощий, хромой, не по летам бородатый малый с большими, как у женщины, глазами.

Звали его Ли Лили.

— Какое бескультурье, какое невежество, какая тупость! — возмущенно всплескивал он руками. — Это их куповедение — пустой звук. У всех у них единственная забота: благополучно достичь последнего рубежа — крематория!

Чжао Сяоцян штурмовал зоологию и действительно постоянно экспериментировал с золотыми рыбками, изучая наследственные мутации, что и вызвало презрительное замечание Юй Цюпин: «Отправился за границу, чтобы выучиться, видите ли, золотых рыбок разводить». Он и предположить не мог, что его статейка, тиснутая, как говорится, на задворках вечерней газеты, вызовет такую бурю, и уже сожалел, что сочинил весь этот вздор. И строго одернул Ли Лили, осмелившегося задеть Чжу Шэньду.

— Учитель Чжу, — сказал он, — немало совершил. Его эпохальные куповедческие идеи двинули наш город далеко вперед по пути прогресса. Никто не сможет вычеркнуть глубокоуважаемого Чжу из истории. И японским он к тому же владеет. Почтенный Чжу взрастил меня, был ко мне добр. Я всегда буду помнить, что учиться в Канаду поехал именно по его рекомендации. Глубокоуважаемый Чжу — мой учитель, и совесть не

позволит мне забыть об этом. Тут просто мелкое недоразумение, объяснимся, и дело с концом.

У Ли Лили от ярости дрожали губы, и, тыча пальцем в Чжао Сяоцяна, он закричал:

— Книжник! Книжный червь! Чем больше читаешь, тем больше тупеешь! Где-то голову потерял, а где — не знаю, как когда-то здорово сказанул Линь Бяо.

Чжао Сяоцян лишь ухмыльнулся. С такими гостями, как Ли Лили, он всегда был приветлив, смеялся, беседовал, порой не без пользы для себя. Но он, в конце концов, другого сорта человек, он не может, да и не хочет считаться «духовным вождем» этого скопища. Нет и никогда не было у него нужды в таких, как этот Ли Лили. Тоже мне «штаб»! «Крылья»! Он сам, без всяких крылышек взлетит, ни носильщики, ни советчики ему не нужны, и своих идей достаточно. Они суетились, таскали ему информацию, а он только слушал. У него свои проблемы, свои концепции, он мыслит по-своему.

На следующий день Чжао Сяоцян сел на телефон, но утром дозвониться до Чжу Шэньду не сумел. Днем повезло, но тот обедал и, узнав, кто на проводе, подходить не стал. Через двадцать две минуты последовал ответ, что почтенный

Чжу отдыхает. Во второй половине дня Чжао возобновил попытки, однако телефон был прочно занят. Тогда в пять часов рванул к Чжу Шэньду сам. Тот сидел насупленный. Оба чувствовали себя неловко, не зная, что сказать. Поговорили о погоде. И вдруг кто-то упомянул Канаду.

— Бывал я там, не понравилось, гордыня их заела, — высказался Чжу Шэньду.

— Да, да, конечно, — безропотно согласился Чжао Сяоцян. — Я тут, — наконец начал он, запинаясь, — для вечерней газеты написал статью, где как-то вскользь затронул проблему купания, но, поверьте, я ничего и никого конкретно не имел в виду…

Не успел он закончить фразу, как Чжу Шэньду, завопив, подскочил на диване — и довольно высоко: стар, да удал.

— Не надо об этом, ясно? Я не просил вас читать мне лекции по куповедению! Вы же отказываете мне в культуре, в знаниях! Я, по-вашему, туп! И единственная моя забота — благополучно достичь последнего рубежа — крематория! Не так ли?

Чжао Сяоцян остолбенел. С какой быстротой, слово в слово донесли до ушей Чжу Шэньду все, что лишь двадцать четыре часа назад произнес

в его доме Ли Лили! Неужели многоуважаемый Чжу установил там подслушивающие устройства? Ах, если бы установил! Тогда Чжу Шэньду знал бы, что всю эту чепуху городил не Чжао Сяоцян, что он и слушать ее не желает, напротив, строго пресек. Конечно, полностью вину с себя не снимешь, произнесено-то было в его доме, он сам предоставил Ли Лили время и место для этих безответственных и, прямо скажем, оскорбительных высказываний, да еще при сем и присутствовал. Все логично. Ведь не у Чжу Шэньду, не на людном перекрестке порол эту чушь Ли Лили, а в его, Чжао, доме, так можно ли считать себя непричастным к этому? Или заявить Чжу Шэньду — я, дескать, «сам по себе»? Отмежеваться от Ли Лили, чтобы вместе с Чжу Шэньду начать на два голоса поносить негодяя?

И Чжао Сяоцян проглотил готовые вырваться слова.

А Чжу Шэньду поначалу не поверил тому, что ему передали. И вспомнил все эти оскорбления лишь потому, что вспылил. Вспылил непритворно, хотя все еще не мог категорически утверждать, что слова эти придумали не сами доносители. Но как-то не так вел себя Чжао Сяоцян, и почтенный Чжу начал склоняться к мысли,

что говорил это, пожалуй, Чжао Сяоцян. Иначе почему он ничего не опровергает, не отрицает? Ну и Чжао Сяоцян, какой же злобный хулитель! Вот тут-то Чжу Шэньду и рассвирепел…

Чжао Сяоцян возвращался домой в тоскливом расположении духа. В ушах звучал сердитый голос Чжу Шэньду, перед глазами маячил он сам, раскаленный гневом, с почему-то вдруг заострившимся носом и до того плотно сжатыми губами, что верхняя стала прямой, как лезвие ножа, все это необычайно раздражало и даже пугало Чжао Сяоцяна. Он уже сожалел, что столь опрометчиво ринулся к почтенному Чжу, вот сам же и нарвался! Так и шел он по улице в некоторой прострации, пока на перекрестке его чуть не сбила «Корона». Взвизгнули тормоза трех машин, бежавших с разных сторон по разным направлениям. Водители и постовой дружно облаяли его. А постовой еще и нотацию прочел. Чжао Сяоцян пропустил ее мимо ушей, согласно кивая в такт монотонному брюзжанию. Наконец постовой отпустил его, наставительно заключив:

— Ладно, на первый раз отпускаю, но больше мне не попадайтесь.

Прощен, понял Чжао Сяоцян и засмеялся.

Пару минут постоял на углу под фонарем,

разглядывая огромную афишу фильма «Наш Столетний Бычок»: плотный крестьянин присел бочком на лежанку, в руках миска и палочки для еды, жена сердитая, верно, одурачил ее, а сам лопает. Да, есть над чем посмеяться в жизни и есть от чего впасть в уныние. Но все же немного полегчало.

Дома он поужинал, вместе с женой посмотрел по телевизору хронику — руководители страны принимали иностранных гостей. И гости, и хозяева были весьма учтивы, откровенны, и все эти ковры, диваны, чайные сервизы, люстры, картины на стенах создавали атмосферу спокойствия и устойчивости, в общем-то благотворно подействовавшую на Чжао Сяоцяна. В следующей передаче «По нашей планете» показали африканскую страну. Города с высоченными зданиями и потоками машин, бескрайние пустыни, первобытные танцы. Завершал программу вечерний концерт — в слепящем сиянии ламп, переливах красок, точно клоуны, выламывались «звезды».

Когда на следующее утро коллеги Чжао Сяоцяна затеяли с ним дебаты о «куповедении», с его лица не сходила улыбка — он вел себя, как на дипломатическом приеме.

— В сущности, — говорил он, — обсудить эти

проблемы совсем неплохо, на почве «куповедения» могут расцвести все цветы. Каждый, у кого в голове есть идеи, открыто излагает их! Что ж тут страшного?

И продолжал:

— Я, конечно, со всем почтением отношусь к учителю Чжу и полностью принимаю его куповедческую теорию. Но это отнюдь не означает, что каждая его фраза — истина в конечной инстанции и что я не имею права рассказать о Канаде все как есть, в чем-то его дополнить, сказать что-то свое, пусть даже и спорное!

Высказал он все это просто, искренне, очень и очень деликатно, и все же ему показалось, что слушают его с *недоумением* и даже каким-то *беспокойством*.

Повздорив с Чжао Сяоцяном, Чжу Шэньду вскоре уже раскаивался в своем недостойном поведении. Да уж такая была у него натура: в своих ошибках всегда обвинял других. Он считал, что никаких ошибок он бы и не совершал, если б его не провоцировали, не мешали, не прибегали к разным уловкам, ничего специально не подстраивали. Он не снизойдет до споров с этими желторотыми чжаосяоцянами. Не годится ронять свое достоинство! Вот так спустя несколько дней

он и стал в нужные моменты принимать величественные позы и изрекать:

— Да-да, приветствую дискуссии!

— Это мы еще обсудим, какое купание разумней!

— Своей книгой я не подвел черту, истина — плод труда многих.

— Прекрасна молодежь, которая, не склоняясь перед авторитетами, смело ставит новые проблемы, выдвигает новые концепции!

— Наши предки, люди незаурядные, всегда плыли против течения, игнорировали авторитеты, разрушали традиции!

— Я сам начинал с того, что отступил от традиции!

И многое еще в таком же роде. Все это должно было продемонстрировать широту его суждений и показать, что он выступает как бы от имени истины.

— Истина рождается в спорах!

— Настоящее золото огня не боится!

Все эти изречения немедленно достигали ушей противной стороны. В наше время сведения просачиваются даже с заседаний Политбюро, что уж говорить о более низких уровнях! Получив информацию, обе стороны на время успокаивались

и приостанавливали боевые действия.

Целую зиму интеллектуальные круги всего города В. и определенной части провинции Н. толковали об этой куповедческой распре. Наряду с критикой романа Чжан Сяотяня «Травы луговые», ярмаркой стеганой пуховой одежды, устроенной в В., жуткой историей о капризной шестилетней девочке, которая подсыпала матери мышьяку за то, что та не купила ей мороженое, после чего отец задушил малышку и сам повесился, — купальный спор, столкнувший поколения, привлек к себе внимание самых разных людей в обществе. Всего больше волновало вот что: каким образом в «*отношениях*» между Чжу Шэньду и Чжао Сяоцяном появилась «*проблема*»? Какова подоплека этих разногласий? Все жаждали обнаружить что-нибудь эдакое, тайное.

С вопросами приходили и к Чжао Сяоцяну, но он отделывался тем, что пересказывал ту самую статью в вечерней газете. Чжу Шэньду проблемы утреннего или вечернего купания обсуждал тоже без удовольствия. Их вялые ответы убивали всякий интерес у спрашивавших и слушавших, поскольку становилось ясно, что на столь несерьезных, незначительных конфликтах не создашь настоящую драму. Оба противника

начисто отрицали наличие какой бы то ни было «проблемы отношений», однако такая фигура умолчания лишь укрепляла мнение, что «проблема» существует, и достаточно серьезная, глубокая. «Дело не простое», «есть тайные пружины», «то ли какие-то давние причины, то ли в самом деле непримиримый конфликт», вот к такому выводу и пришло большинство.

Похоже, в городе В. провинции Н. нашлись жаждущие поглубже копнуть «проблему отношений». Любители. Верно, у них имелось даже свое любительское «Федеральное бюро расследований» или же «Комитет государственной безопасности», а значит; и соответствующие возможности. Через какое-то время докопались до множества закулисных материалов, подняли на поверхность массу закрытой информации. Юй Цюпин и ее друзья с уверенностью утверждали, что Чжао Сяоцяна не устраивает ни место работы, ни должность, ни перспективы, ни жилищные условия. Поначалу ведь он надеялся, проглотив позолоченную пилюльку заграничной стажировки, получить статус научного работника, пост директора Института биологии провинциального отделения Академии наук, зарплату разряда на два повыше, трехкомнатную квартиру с хол-

лом и возможность перевести в спецшколу свою дочь-первоклассницу. Но всем этим чаяниям не дано было осуществиться, и он вообразил, что на пути его стоит могучий авторитет Чжу Шэньду, а решив так, переменился к учителю, затаил злобу, выжидая момент, чтобы авторитет этот подорвать. Кто-то добавлял, что как-то на одном ученом собрании, сидя рядом с Чжу Шэньду за столом, уставленным кружками с чаем, Чжао Сяоцян хотел поздороваться с ним, но тот, увлеченный беседой с председателем Политического консультативного совета, проигнорировал робко протянутую руку желторотого Чжао и своей неумышленной холодностью нанес урон самолюбию Чжао Сяоцяна…

Что касается Ли Лили с друзьями, то они ухитрились разложить по полочкам даже такой мелкий факт. В городе В. было так заведено, что всякий, кто стремился занять достойное место в ученых или художественных сферах, непременно обивал пороги дома Чжу Шэньду, и стоило претенденту войти в высокие врата, как цена его возрастала десятикратно. Перед тем, кто прибивался к этой пристани, открывалось множество перспектив и на каждом перекрестке зажигался зеленый свет. Но прямодушный книгочей Чжао Сяоцян по

возвращении в город В. из Канады целый месяц не показывался Чжу Шэньду, что и настроило глубокоуважаемого Чжу весьма и весьма против этого колючего Чжао Сяоцяна. Некоторые еще добавляли «совершенно секретные» сведения. Ученого-агронома профессора Ши Каньлюя, говорили они, всегда противопоставляли в нашем городе Чжу Шэньду. И вот Чжао Сяоцян на следующий же после возвращения со стажировки день наносит визит профессору Ши, подносит ему две банки растворимого кофе, баночку «Кофейного друга», электробритву, транзистор с вмонтированными в него электронными часами и еще какими-то штуковинами, а вдобавок еще два больших пакета с заморскими укрепляющими средствами. А к Чжу Шэньду путешественник заявился лишь спустя полтора месяца и подарил только пачку сигарет «35» и зажигалку «Кэмел». Так были посеяны семена вражды.

И вот, углубляясь в историю отношений этих людей, познавая их характеры, город постепенно вникал в психологическую основу конфликта. Поговаривали, что к старости Чжу Шэньду стал завистливей и не терпел, чтобы хоть кто-нибудь хоть в чем-нибудь превосходил его. Посмеивались: «Чжу Шэньду ревность заела». Другие заяв-

ляли, что Чжао Сяоцян, которому с детства везло, возгордился и шел, как таран, сметая всех со своего пути. Освоив психологию, общественность подобралась к политологии да информатике и со вкусом, со знанием дела принялась обсуждать столкновение «фракций юнцов и патриархов», «новой и старой партии», «заморских и местных нравов». Некий обозреватель (любитель, хотя и со своей «критической колонкой» — устной, разумеется) связывал все это с положениями о «практике» (которая, как известно, только и является критерием истины), а также с низвергнутой теорией «все, что...», допускавшей лишь «все, что» имелось в трудах Мао Цзэдуна, и отвергавшей то, чего там не встречалось.

В итоге любителям подсматривать да подзуживать стало почти совершенно ясно: «антагонизм между Чжу и Чжао» неизбежен, закономерен, ибо небеспричинен, то, что мы видим, — еще не вся его глубина, и за поверхностной фабулой скрываются совсем иные сюжеты. Увы, в городе В. обнаружили себя вполне тривиальные общие противоречия, глубоко поразившие время и общество на самых разных уровнях и притом в широком масштабе.

Встречались люди, в том числе и среди мо-

лодых, кто, прослышав о распре, потирал руки и исходя слюной принимался строить всякие планы в надежде поживиться на этом. В таких компаниях, попивая водочку и закусывая жареными креветками да яйцами «сунхуадань», целыми днями, с раннего утра и до поздней ночи, без сна и отдыха искали истоки и гадали об исходе войны Чжу с Чжао, вскрывали ее подоплеку, докапывались до сути, делились последними новостями и обсуждали дальнейшие перспективы. Один какой-нибудь фактик пережевывали тридцать три раза на день то так, то эдак. Что, например, Чжао Сяоцян привез профессору Ши. При этом вскидывали брови, округляли глаза, всплескивали руками, топали ногами, рассказывали с таким таинственным видом, что новость, услышанная в тридцать третий раз, казалась все такой же девственно свежей. До чего соблазнительно наблюдать за распрями между людьми! Традиционное любопытство живет в нас с давних, незапамятных времен летописей и эпохи борющихся царств и никогда не состарится, подпитываясь любопытством сегодняшним! Второго такого, как наше, китайское, любопытства в мире нет! Все новых и новых фанатов увлекает пагубная страсть к выяснению отношений. У нас

в стране прямо какой-то «взрыв отношений», равно как и всевозможных рекомендательных списков, так что мы не уступим Западу с его знаменитыми «взрывами» — сексуальным, информационным… А китайская проза? — тут вам и любовь, и жизнь, и смерть, есть приключения и детективы, кто философствует, кто изображает типы, характеры или там потоки сознания, живописует нравы, чувства, душевные травмы, — но все это ни в какое сравнение не идет с панорамой взаимоотношений, *интриге* самых разнообразных ситуациях и часто к тому же *между хорошим и людьми*! Только это и способно сыграть на глубоких душевных струнах национального, исторического, местного, общинного, подсознательного, традиционного, современного и так далее! И связать возвышенное с низменным, древнее с современным, дряхлое с юным, отечественное с привозным!

Завершив свой всеобъемлющий анализ, компании расходились. Одни шли к Юй Цюпин, другие к Ли Лили — «примазаться» к Чжу Шэньду или к Чжао Сяоцяну. «Примазаться» — словечко модерновое, изобретение «культурной революции», так говорили о тех, кто пристраивается к кому-либо (а в те времена имели в виду к какой-либо

«линии»). «Примазываться» гораздо выгодней, чем даже играть в кости либо на тотализаторе в старом Шанхае или сегодняшнем Гонконге. А кое-кто вообще считает, что это кратчайший путь к успеху на любом поприще. Посему одни, ринувшись к Чжао Сяоцяну, ничтоже сумняшеся, принимались поносить Чжу Шэньду. По любому поводу. Чжао Сяоцян аж за голову хватался. Другие же бросались к Чжу Шэньду, дабы на примере Чжао Сяоцяна продемонстрировать падение общественных нравов, изъяны в воспитательной работе, деградацию современной молодежи, Юй Цюпин получала информацию о том, какие неблаговидные деяния числились за Чжао Сяоцяном, какие речи произносил он еще в нежном возрасте. А его дочь? В детском саду исцарапала мальчику лицо. Вы подумайте, заключали они свой рассказ, «каков отец, такова и дочь, какова дочь, таков и отец», — ничего не скажешь, логично. Ли Лили нашептывали байку о том, что жена Чжу Шэньду мучила свою нянюшку, а Ли не преминул пустить это дальше, и вот уже почти известная и почти уважаемая в городе особа при встрече хватает его за руку, таращит глаза и, обдав жарким дыханием, заявляет:

— Не падай духом, товарищ Сяоцян, видишь, я

с тобой, я одобряю и поддерживаю тебя!

А особа эта училась в той же школе, что и Чжао Сяоцян, правда, на тринадцать лет раньше, а теперь получает зарплату на шесть разрядов выше.

Чжао Сяоцяну стало тошно, и съеденные накануне две миски пельменей со свининой и луком едва не полезли обратно.

А к Чжу Шэньду явился какой-то длинноволосый, закаливший свой дух дыхательными упражнениями «цигун», что помогло ему тиснуть в «Вечерке» пару крошечных рассказиков. И высказался:

— Я давно заметил, что этот малый, Чжао Сяоцян, мать его, подонок! Если досточтимый Чжу не отвернется от меня, то стоит ему мигнуть, и он сможет помыкать мной, как своим конем.

От этих слов у Чжу Шэньду почему-то началось сильное сердцебиение и двадцать четыре часа не прекращалось. Он стал избегать длинноволосого, возжаждавшего с помощью укрепляющей дух гимнастики или иных каких-то специальных упражнений сломать судьбу ничтожного Чжао Сяоцяна.

Попадались ловкачи, которые не «примазывались», а старались держаться посередке. Встретят

многоуважаемого Чжу — улыбаются, точно так же, как при виде Чжао. Встретят Чжао — поговорят о погоде, точно так же, как с многоуважаемым Чжу. Радость переполняет их при виде многоуважаемого Чжу, как и при встрече с Чжао. В высшей степени внимательны к обоим, дабы ни к кому не склониться, ни на шаг не приблизиться, так сказать, не допустить перевеса ни на грамм.

И почтенному Чжу, и Чжао тошно было от всех этих пересудов, этой ужасной атмосферы, но они были бессильны. Ну мог ли, посудите сами, почтенный Чжу отвернуться от Юй Цюпин, отказать ей от дома? А Чжао — поступить так же по отношению к Ли Лили? К чему самому себе яму рыть? Этак в конце концов и останешься один-одинешенек. Нет-нет, уговаривал себя Чжао Сяоцян, я себе не враг, и поэтому лучше не обращать внимания ни на какие демарши, делать вид, будто ничего не слышишь. А почтенный Чжу успокаивал себя так: человек значительный не снисходит до суетных мошек, душа врачевателя — бесстрастное зеркало, в чтении находит успокоение дух. Увы, оба они уже не вольны были распоряжаться собой, ввергнутые в болото сочувственного шепота, назойливого внимания, и должны были выступать в роли неких «лидеров

фракций».

Со временем пересуды поутихли, а люди, до них охочие, нашли себе другую тему — принялись рядить, кто станет преемником городского головы, как вдруг в январе 1984 года небольшой столичный журнал поместил материальчик «Дискуссия после зарубежной стажировки», написанный давним, еще со школьных лет, приятелем Чжао Сяоцяна. Этот журналист побывал у него полгода назад. Чжао уже запамятовал, что тот приходил, и вспомнил, лишь получив сразу два экземпляра журнала.

Статья, как говорится, «в основном опиралась на факты», однако в немалой степени была разбавлена — как маслицем, так и уксусом. Но куда журналисту, очеркисту, подумал Чжао Сяоцян, без таких украшений? Только так и могут они продемонстрировать свой талант и стяжать славу и популярность в читательских массах. Эта мысль несколько успокоила его.

В статье приводились слова Чжао Сяоцяна: «Нам очень недостает споров, дискуссий, не о людях — о явлениях, недостает того духа, которым пронизано изречение „учитель мне друг, но истина дороже“! За границей я частенько бывал свидетелем жарких дебатов по какой-нибудь

научной проблеме, но заканчивалось заседание, и спорщики расходились, оставаясь все теми же добрыми друзьями. Мы тут кричим, кричим десятилетиями, а настоящих дискуссий-то и нет. Во-первых, стоит высказать что-нибудь свое, хотя бы слегка отходящее от общепринятого, сразу же нарвешься на обиду — дескать, в кого-то метишь, целишь, провоцируешь, тут уж не один обидится, не два, а все поголовно! А если и начнут, паче чаяния, дебаты, то под гром клятв „победить или умереть!“, и бьются, бьются без устали, забыв о предмете спора, и никому не ведомо, куда их заведут такие „дискуссии“! Ну о каком расцвете науки тут можно говорить!»

Цитировались и другие слова Чжао Сяоцяна: «Перед лицом истины все равны, — как просто это провозгласить и как трудно этому следовать! От каких только критериев не зависит истина: власть, тенденция, авторитет, положение, должность, порой смертельно опасная для нижестоящих, всякие там цензы, возраст… да что об этом говорить! Попробуй возразить высоконравственной особе, если она к тому же еще и в летах, — пусть ты и прав, но тебя же и упрекнут: ведешь-де себя непристойно. Циничные и амбициозные — вот, одним словом, каковы наши

научные дискуссии!»

Завершалась статья цветистыми оборотами: «За два океана в поисках знаний отправился Чжао Сяоцян. Высоко взлетел, широко мыслит, легко излагает, ничто от него не скроется, зрит в корень, самую суть ухватывает, взор его исполнен мудрости, движения — решимости. Это жаворонок, поющий о весне, несущий весну в научные сферы нашей родины!»

Черт подери!

Дочитав, Чжао Сяоцян вздохнул и принялся беспокойно расхаживать по комнате. Полдня утешала его жена:

— Да ведь ясно же, что беседовали полгода назад и ты решительно ни в кого не метил, если сомневаются, пусть проверят, запросят Пекин, а потом, писал же все это не ты, а этот твой дружок, высосавший у нас полстакана канадского виски, а потом подливший в статью маслица да уксуса, украсивший ее всякими цветочками…

— Что толку объяснять все это? Думаешь, твоим мнением поинтересуются? Или ты забыла про У Ханя? Ведь свою пьесу «Хай Жуй уходит в отставку» он написал задолго до Лушаньского пленума, на котором Пэн Дэхуай был снят с министерского поста, и тем не менее У Ханя обвинили в том,

что он будто бы взывал к отмщению за безвинно пострадавшего Пэн Дэхуая? Куда же ты собираешься нести свою правду?!

— Время-то другое!

— А я и не говорю, что то же!

Между супругами спор развития не получил, а вот Чжу Шэньду воспринял статью как взрыв атомной бомбы. Юй Цюпин, на сей раз уже даже без нервной дрожи, обессиленной бабочкой слетела с журналом в руках к почтенному Чжу и, найдя его очки, протянула статью — без каких бы то ни было подчеркиваний красным карандашом.

Эту махонькую статейку почтенный Чжу изучал сорок пять минут, обсасывая каждую фразу, каждое слово. Сначала он покраснел, затем позеленел, пожелтел, побелел, но постепенно взял себя в руки, и в конце концов ярость обернулась вялостью, даже какой-то оскорбленной апатией. Дочитав статью, он не проронил ни звука, только губы задергались и искривились в усмешке.

Юй Цюпин вдруг проявила особое понимание и, видя, в какой транс впал многоуважаемый Чжу, незаметно ретировалась. В общем-то, своего добилась, даже не ударив пальцем о палец.

Всю ночь Чжу Шэньду не сомкнул глаз и что-то

непрестанно бормотал. Лицо горело огнем, словно от пощечин, и свистели летящие в него острые стрелы Чжао Сяоцяна!

Утром ли мыться, вечером — какая разница! Важно не лебезить перед Канадой, презирая Китай. Чего он хочет — идти против предков? Против священной земли нашей? Славных предшественников? Учителей? Кровь закипела, из глаз полились жаркие слезы, вены вздулись на лбу, как подумал об этом Чжу Шэньду, нет, решительно не позволю еретическим бредням Чжао Сяоцяна взять верх! Жизни не пожалею. Больше твердости, очищающего ветра, этот сосуд вони не заслуживает внимания! Подумать только, «Основами куповедения» — семью томами! — не дорожит! Плюет на предков и потомков в трех поколениях, на дух Юйгуна[17], сдвинувшего горы, на славные подвиги тысячелетий… Нет, не допущу, чтобы переменился цвет наших гор и вод, чтобы туманом заволоклись солнце и луна! Воина можно убить, но не опозорить! Если утром познаешь истину, то вечером и умереть не жаль! Книжник я какой-то, что ли, интеллигентщина, или имя свое опозорить хочу? Как бы ни петляла

[17] Примечания: 17

Юйгун — легендарный герой, чье имя использовалось пропагандистами «культурной революции».

дорога, нельзя терять цель! Если мелкие жулики вроде Чжао Сяоцяна возымеют силу, государство перестанет быть государством, купание купанием, а мне и на смертном одре глаз не закрыть спокойно!

Столь благородная скорбь возвысила и очистила дух Чжу Шэньду.

И на следующий день он засновал этаким челночком — туда-сюда, вверх-вниз, в партийные, административные, военные, массовые, рабочие, крестьянские, торговые организации и всюду поднимал вопрос о Чжао Сяоцяне. Серьезно, солидно, тактично. Никаких персональных выпадов, излишних колкостей, личных пристрастий. Наоборот, он «против явления, а не личности», вот что следует подчеркнуть. Мол, Чжао Сяоцян молод, одарен, перспективен, на него возлагают большие надежды, потому-то и приходится переживать за него, больно, что тот по ошибке зашел в тупик. Чжу Шэньду давал понять, что сам он собирается оставить все общественные посты, заняться только наукой. Что мешает нам спокойно, солидно обсудить проблемы куповедения? Критические замечания в адрес «Основ куповедения» можно только приветствовать, во взаимоотношениях с людьми он придерживается

принципа «терять с улыбкой, обретать смиренно, радоваться всему, что услышишь». Но молчать о том, что куда более важно, он не в силах и обязан разъяснить свою позицию, иначе это будет преступно по отношению к стране, истории, нации, науке!

Побывав не единожды там-сям, высказав то-се, он, возможно, никого и не убедил, но зато сам уверился в своей правоте. Ах, как он серьезен! Как откровенен! Строг! Революционен! Решителен! Бескомпромиссен! Долго, очень долго, многие годы он не казался себе столь справедливым, и потому преисполнился энтузиазма и патетических чувств! «Сгустившийся сумрак не скроет могучей сосны, все так же неспешно по небу плывут облака». «Героя узнаешь в боренье с морскою волной». В этой дискуссии, вне всякого сомнения, решаются крупные, принципиальные проблемы, тут стоит вопрос: по какому пути, в каком направлении, под каким знаменем шагать!

Истинное, однако, незаметно, пока не обретет внешней формы, поэтому надо, чтобы благородный порыв был непременно с надрывом, со слезой в голосе! Такая патетика тотчас же охватила Юй Цюпин и ее приятелей, и повсюду зазвучали пылкие речи.

Они не могли не воздействовать на главного и прочих, ответственных и не очень, редакторов вечерней газеты города В. А всего глубже — на того, кто некогда выпустил в свет «Канадскую россыпь». Он трепетал в ужасе, у него разрывалось сердце, раскалывалась голова, он жаждал искупить вину. Начала «Вечерка» с туманных статеек, по которым трудно было понять, критикуют они или не критикуют Чжао Сяоцяна. Одна называлась «Канадская луна, говорят, круглее китайской…». Другая — «Кто захватил усадьбу помещика, получает в наследство и его кальян, и его жену». Тут не подкопаешься!

Любопытные вещи, однако, творятся в Поднебесной: сначала пылкость Чжу Шэньду, затем статеечки про луну и кальяны с наложницами… и вот уже в облике Чжао Сяоцяна вдруг обнаруживаются сомнительные черточки. И пошли пересуды по городу В. и в радиусе до четырехсот километров:

— Чжао Сяоцян не хочет есть палочками, а только ножами да вилками…

— Чжао Сяоцян требует, чтобы в семь утра бани уже прекращали работу…

— Чжао Сяоцян подводит жене глаза зеленью…

— Чжао Сяоцяна не устраивают иероглифы,

подавай ему канадское письмо…

Даже вот до чего дошло:

— Чжао Сяоцян в Канаде имел любовницу и теперь собирается бросить жену, переехать в Канаду, он уже оформляет канадское гражданство…

— Любовница называет Чжао Сяоцяна в письмах «dear» — то есть «дорогой»…

И даже так:

— Чжао Сяоцян пытался провезти из-за границы сорок портативных акустических систем, но таможня конфисковала их…

— Чжао Сяоцян вез с собой из-за океана порнографию…

— На границе у Чжао Сяоцяна обнаружили новейшие американские противозачаточные средства!

Участливые друзья не считали за труд забежать между делом, но всегда кстати, сообщить что-либо, письма слали, простые и заказные, отбивали телеграммы, ежедневно по многу раз доносили, в своей, разумеется, интерпретации, до ушей супругов Чжао все, что ходит по городу. Все это изобилие подавалось сосредоточенными, возбужденными друзьями старательно, с подробностями и необычайно живо. Так что

однажды Чжао Сяоцяну с женой даже пришла в голову мысль: а не сами ли придумали, сфабриковали, распространили и поспешили принести ему все это люди, уверяющие его в верности, выражающие свою преданность? Но от таких предположений пришлось быстренько отказаться: ведь если продолжать в этом духе, то не избежать вывода, что ходит к тебе всякий сброд, но всех же не выгонишь, ибо на радость врагу, на горе другу останешься в полном одиночестве.

И спустя час Чжао Сяоцян сказал жене:

— Плохо дело! Наши с тобой сомнения, пожалуй, отдают чем-то болезненным. В Канаде в таких случаях обращаются к невропатологу или даже психоаналитику. Бывает, и таблетки глотают. А у нас в городе, говорят, в нервной клинике открыли психиатрическую консультацию, но через два месяца вновь прикрыли. Что же это, в самом-то деле? Будь это в Оттаве или Торонто…

Он еще не закончил фразы, как жена вспылила:

— Надоел ты мне! Тошно! Чертова Канада! Далась она тебе! Хватит! Три года ждала тебя, у нас тут то свет отключат, то воду, то тайфун песком да камнями по стеклам барабанит, а ты разгуливаешь по своей Канаде, диско отплясываешь…

Жена махнула рукой. Упал и разбился стакан.

Чжао Сяоцян совсем смешался, словно его любимые золотые рыбки вдруг превратились в морских черепах. До него наконец дошло, что как бы ни была доброжелательна жена, старавшаяся не верить сплетням о его канадском разврате, что-то, видимо, у нее в подсознании осело. Ах он преступник, тысяча ему смертей!

Некое влиятельное в городе В. лицо, у которого побывал Чжу Шэньду, сделало по этому поводу ряд замечаний. Их, более или менее точно, повторили с нескольких трибун. Формулировки звучали осторожно и обтекаемо. Надо, в духе лозунгов времени возвестило лицо, «сплачиваться» с товарищами, позволившими себе кое-какие ошибочные публикации, но не вышедшими при этом за рамки нашей политической линии. Это хорошие товарищи, патриоты. Они же, в конце концов, возвратились! Хотя, и не возвращаясь, можно оставаться патриотом, разве множество китайцев иностранного подданства — не наши друзья? Мы считаем, что сознание человека — это процесс изменений. Надо уметь ждать. Не месяц, так два. Не год — так два! Пролетариату ли бояться буржуазии? Востоку ли бояться Запада? Социализму — капитализма? Так что волновать-

ся, полагаю, нечего. Мы сильны. У нас власть, армия! Надо чистить сознание и сплачиваться с товарищами. И даже с Цзян Цзинго[18]. Пусть приедет, полюбуется на нас, а потом может опять уехать к себе на Тайвань, пожалуйста. Но нельзя допускать случайных срывов. Чем шире наша политика открывает двери в мир, тем четче должны мы представлять себе, до каких границ можно сплачиваться.

Осторожные и обтекаемые формулировки были доведены до каждой партгруппы, и всякий раз подчеркивалось: не надо волноваться, не надо волноваться, ни в коем случае, ни по какому поводу не надо волноваться… В искренности этих благих умиротворяющих призывов сомневаться не приходилось, и все же по какой-то труднообъяснимой логике они лишь накаляли атмосферу.

Сложнее всего пришлось тем, кто трудился в купальных сферах. К восьмидесятым годам XX века, надо вам заметить, подавляющее большинство китайских семей, даже и в крупных городах, купальных удобств в домах не имели. В некоторых квартирах, правда, уже существовали гигиенические комнаты с ванной, но горячая

---

[18] Примечания: 18
Цзян Цзинго — бывший президент Тайваня.

вода пока не подавалась, что, сами понимаете, лишало ванну всякого смысла. Мыться ходили в общественные бани. А поскольку бюджетные ассигнования оставались незначительными, с ростом населения обнаружилась нехватка бань, и ситуация создалась весьма напряженная. Бани теперь работали чуть ли не до ночи. В городе В. — с семи утра до десяти вечера: по пятнадцать часов в сутки. Когда же возникла да еще обострилась дискуссия между Чжу и Чжао, а потом еще стали поступать «осторожные и обтекаемые» указания, купальной отрасли пришлось делать выбор. К кому же «примазаться»? Три поколения семейства Чжу имели в банных сферах города В. такой же авторитет, как и легендарный мастер Лу Бань среди кузнецов, плотников и каменщиков всех веков или Кафка среди начинающих молодых литераторов восьмидесятых годов. И как только разгорелся конфликт, одна баня, называвшаяся «Чисто и быстро», незамедлительно вывесила объявление:

«Наша баня вот уже десять лет придерживается вечернего купания, как того требуют широкие народные массы и обычаи предков. Настоящим специально оповещаем, что мы не свернем на крутую тропку утреннего купания. Наш режим —

с 4 часов 30 минут пополудни до 12 часов ночи».

В этом объявлении присутствовала прямота непосредственного отклика, так что простим описку — «крутая» вместо «кривой». Вывесив объявление, управляющий баней «Чисто и быстро» почувствовал облегчение, словно ему удалось ловко и без особого для себя ущерба влезть в чужую драку или же собственными глазами увидеть, как опростоволосился зарвавшийся Чжао Сяоцян. Правда, кто такой Чжао Сяоцян, управляющий и понятия не имел. Его примеру тут же последовали другие заведения.

А у Ли Лили был приятель в загородной бане «Эпоха», и вот там, разумеется не без воздействия Ли Лили, решили отмежеваться от прочих и объявили:

«В связи с ростом уровня народного потребления и в целях способствования модернизации купальной отрасли наша баня со следующей недели будет работать с 3 часов утра до 11 часов дня. После одиннадцати прекращаем купание и начинаем торговать простоквашей, о чем и ставим в известность население».

Эту баню единодушно осудили, особенно братские заведения. И управляющий «Эпохой» сразу понял, насколько он опередил эпоху. У него име-

лись свои интересы. И письма с поддержкой. Но один представитель старшего поколения самолично позвонил Чжао Сяоцяну и за секунду ухитрился выпалить семь слов: «Баня „Эпоха“ ведет себя недостойно, обратите внимание». После чего повесил трубку. Чжао Сяоцян не знал, смеяться ему или плакать: ну что у него общего с баней «Эпоха»?

Однако и Чжао Сяоцяну пришлось столкнуться с проблемой. Мыться или не мыться? И в какое время? Он, разумеется, патриот, чего никто, включая «влиятельное лицо», не отрицал, и все же затруднения с мытьем на родине заставили его с тоской вспомнить Канаду. Нет, он никоим образом не сомневается в четырех модернизациях, которые откроют широкие и ясные перспективы купальных удобств для всех. И когда в каждом доме появится соответствующее оборудование, люди получат возможность без всяких дискуссий мыться в любое время — утром, днем, вечером, а если приспичит, то и ночью, прервав сон, и в ветреную погоду, и в жару, чтобы смыть песок или пот, да и мало ли по какому поводу. Но что толку препираться о сроках купания сейчас, когда у него дома даже простого отечественного душа и того нет?!

И вот четырнадцатого февраля, когда город захлестывали пересуды, Чжао Сяоцян отправился в баню «Чисто и быстро» — в семь сорок пять вечера. Народу было битком, он минут пятнадцать ждал, пока банщик подведет его к какой-то зловонной корзине, в которую он бросил одежду, после чего и погрузился в бассейн. Если человек грязный — что ему грязная вода? Грязная вода тоже смывает грязь. Так что мытье завершил он с легким чувством удовлетворения. Казалось, с телом произошли какие-то эпохальные перемены. Выйдя из бани, он купил у лоточника связку сладостей — маленькие тыквочки с начинкой из семечек и фасолевого пюре и пошел, уплетая лакомство и энергично втягивая в себя вечерний воздух, уже запахший весной, и ощущая себя обновленным как снаружи, так и изнутри.

А на следующее утро к нему прибежали с вопросом, в самом ли деле накануне он мылся вечером. Он подтвердил, и последовал новый вопрос: означает ли это перелом в его взглядах на купание? Он возразил, что всегда утверждал: утром *можно* купаться, но никогда не заявлял, будто купаться можно *только* утром, и тем более не связывал себя самого обязательством купаться лишь по утрам, а не вечерами или в какое-либо

иное время. Да он сроду не считал, что, кроме как утром, купаться вообще нельзя.

— Но ведь вы, — хитро сощурился спрашивающий, — из фракции раннекупальщиков. Это же ваши слова: купаться *в основном* следует по утрам. Раннее купание было вашим коньком, так теперь вы что же, отказываетесь от собственных концепций?

В вопросе, похоже, звучала издевка. И, слегка покраснев, Чжао Сяоцян заставил себя воскликнуть:

— Конечно, утром тоже можно купаться, что в том такого?

Произнеся это, он вдруг почувствовал, что тонет. Ловушка?

Вскоре позвонила Юй Цюпин и сладенько этак тянет:

— Это я — Юй. Многоуважаемый Чжу весьма рад. Нам стало известно, что вы предприняли практические шаги к исправлению своих ошибок и заблуждений. Одобряем, одобряем. Будет минутка, загляните к многоуважаемому Чжу, он изволил заметить, что встретит вас настоящим вином из провинции Нинся, настоянным на дерезе.

Горло сдавило, и Чжао ничего не смог отве-

тить.

Вечером пятнадцатого февраля его отыскал вконец расстроенный Ли Лили:

— Поговаривают, что вы переменили курс. Не верю! Я тут сцепился, чуть в драку не полез. Не такой вы, говорю, человек… А вы что, в самом деле ходили вечером в баню «Чисто и быстро»? Не скрывайте от меня!

Чжао Сяоцян почувствовал, что лучше не отвечать, а то нервы юнца не выдержат. Метафизику, понял он, одной лишь пропагандой диалектики не одолеть, нужны еще аминазиновые препараты. Он опустил голову и ничего не сказал.

Выражение его лица Ли Лили истолковал не совсем точно.

— Так это правда?! — со слезой в голосе воскликнул он. — Ах, как неразумно вы поступили! Да хоть тысячу вечеров проторчите в этой чертовой бане, они же вас все равно своим не признают. Боитесь прослыть «еретиком»? А ведь личность ценна своей непохожестью! Зачем же стачивать углы?

— А ты… в последнее время… мылся?

Уже задав вопрос, Чжао Сяоцян вдруг понял всю его нелепость. Сквозь стильный пестрый джемпер и бежевую трикотажную рубашку от Ли

Лили шел такой дух, что каждому было ясно — в баню он уже давно не ходит.

Ли Лили убито побрел прочь. А от информаторов по-прежнему отбоя не было. Притащили Чжао Сяоцяну один весьма влиятельный в их провинции журнал со статьей о том, что путь ко всемирному лежит лишь через национальное. Перед матерчатой обувью, писал журнал, пала Северная Америка, а есть китайцы, которые не могут, видите ли, носить ничего, кроме кожаной обуви, тогда как кожаная обувь — с Запада, где теперь в моде-то не она, а матерчатая, китайского образца, с круглыми или квадратными мысами, на многослойной подошве. Нам ли с иностранцев обезьянничать?!

В статье приводился такой пример. Из Голливуда приехали в Китай покупать фильмы, просмотрели множество картин так называемой «новой волны» и ничего не выбрали. Ибо то, что в Китае кажется новым, для других уже устарело. Но под занавес показали им экранизацию старого традиционного спектакля «Мелкий чиновник седьмого ранга», и они отвалили за него полновесной монетой.

Чем больше читал Чжао Сяоцян, тем больше запутывался. Что же хочет сказать автор статьи?

Просто излагает факты или осуждает низкопоклонство перед заграничным? Или же агитирует, хочет, чтобы наши люди походили на иностранцев? Или все же возмущается подражанием заморским вкусам?

Впрочем, достоверность информации вызывала у него сомнения. Ведь он три года прожил в Канаде, на месяц в США ездил — в Майами. Да, встречались ему американцы в матерчатых туфлях китайского типа, поскольку в Америке есть всякий народ и всякая обувь, каков человек — такова и обувь. И йогой американцы занимаются, и гимнастикой тайцзицюань, выбривают голову и идут в монахи, а кое-кто до сих пор развешивает фотографии этих вожаков «культурной революции» Кан Шэна да Чжан Чуньцяо, торгует левацкими брошюрками аж еще семидесятых годов с бранью в адрес Линь Бяо и Конфуция. Так что, может, это и факт, будто китайская матерчатая обувь покорила Северную Америку, а может, просто бред сумасшедшего.

Информаторы, правда, полагали, что статья метит в дебатирующих о «куповедении» и, не называя имени Чжао Сяоцяна, критикует именно его. И как только это было произнесено: критикует, не называя имени, — у Чжао Сяоцяна волосы

дыбом встали. Неужто в самом деле его? Как же это можно выяснить? И попробуй тут оправдайся! Благодаря заботам добрых друзей все чаще стали поговаривать, что критикуют-то именно его, хотя он не припомнит, чтобы позволял себе недооценивать матерчатые туфли или хэнаньский театр юйцзюй. Нет, поименная критика куда лучше, там все ясно: ругают — значит, ругают, нет — значит, нет.

И нескольких дней не прошло, как в другом журнале — по здравоохранению и теперь уже всекитайского масштаба — появилась новая статья с рассуждениями об образе жизни, в котором непременно должна присутствовать китайская специфика. Чжао Сяоцян сам, без подсказки наткнулся на эту статью. Прочитал, и тревожно забилось сердце — опять, что ли, в него метят? Да приглушите же вы барабаны, к чему все это?!

Из дальней деревни пришло письмо от двоюродного брата:

«До сих пор, Сяоцян, тебе везло. Но не может же ветер всегда быть попутным? Споткнулся — не переживай. Это тоже полезно. Твой Цеце».

Чжао Сяоцян почувствовал, что попал в какую-то «центрифугу», которая все ускоряет вращение, и он перестает принадлежать себе. Ну почему

любая дискуссия, значительная ли, мелкая ли, непременно сводится к конфликтам между людьми, к интригам, к «собачьей грызне», от которой «вся пасть в шерсти»? Почему в таких дискуссиях всегда впадают в метафизику и абсолютизацию? И ведь ничего изменить нельзя. И не отвяжешься, будто накрепко привязали тебя к этой дискуссии. Ну почему?

Спросил жену, но откуда ей знать? Вот тут-то ему и сообщили: некто полагает, что утреннее купание тоже приемлемо. С парой бутылок циндаоского пива и цзинем свиных ушек примчался счастливый Ли Лили. Звонил телефон, поздравляли. А у Чжао Сяоцяна на душе было тяжко. И даже вечером, отходя ко сну после супружеских ласк, наша молодая пара продолжала обсуждать, что, мол, одному Небу известно, куда еще заведет их дискуссия с Чжу Шэньду. Едва затронули эту тему, ему стало трудно дышать, заколотилось сердце, сдавило горло. Похоже, что это симптомы… О Небо!

Может, завтра все образуется? Проспишься, как с похмелья, а небо ясное, воды чистые, и все ушло прочь: и заискивающие рукопожатия, и дрязги, ссоры, распри! Завтра, завтра…

ГАО СЯОШЭН
ЧЭНЬ ХУАНЬШЭН ИДЕТ В ГОРОД
© Перевод В. Аджимамудова

Гао Сяошэн родился в 1928 году в уезде У цзинь провинции Цзянсу. С 1949 года работал в деревне. С 1950 по 1957 год сотрудничал в Ассоциации литературы и искусства провинции Цзянсу. Затем на длительное время был послан на работу в деревню. В 1979 году переведен обратно в провинцию Цзянсу в Союз писателей на творческую работу.

Опубликованный в 1954 году рассказ «Расторжение сделки» был отмечен в печати, пьеса «Новый путь» на смотре театральных коллективов Восточного Китая была удостоена первой премии. В 1957 году увидел свет рассказ «Несчастье», после чего писатель долгие годы не брался за перо. В 1979 году Гао Сяошэн возвращается к творческой работе, его рассказы «Долгий день», «Кошелек» и другие были тепло встречены читателя-

ми. Рассказ «Ли Шуньда строит дом» в 1979 году получил первую премию на Всекитайском конкурсе на лучший рассказ. Рассказ «Чэнь Хуаньшэн идет в город» был отмечен в числе лучших на Всекитайском конкурсе 1980 года.

1

Чэнь Хуаньшэн, в прошлом бедняк по прозвищу Дыра, не спеша собирался в город.

Холода миновали, потеплело, дул легкий ветерок, ласково пригревало солнце. Плотно поев и переодевшись в чистое, он взял доверху набитую дорожную сумку и понес ее легко, как пучок сухой травы для запала, — то ли сил было много, то ли сумка оказалась совсем не тяжелой. Высокий и длинноногий, он без отдыха пробегал тридцать ли[19] до города, только пятки сверкали. Чэнь и с тяжелой поклажей не любил ездить поездом, а уж налегке, как сегодня, и подавно. Солнце стояло еще высоко, и он мог, чего доброго, оказаться в городе слишком рано. Поэтому, замедлив шаги, он, словно на прогулке, всю дорогу любовался пейзажем.

---

[19] Примечания: 19
Ли — мера длины, около 0,5 км.

Зачем ему понадобилось в город? Торговать. Урожай риса он собрал, грядки перекопал, зерном с государством рассчитался, излишки продал, кроме того, припас на зиму муку, сено, дрова и теперь, пользуясь передышкой, хотел выручить немного денег на всякую мелочь. Торговля с рук была разрешена, и ехал он не спекулировать, не барышничать, а честно торговать тем, что сделано собственными руками.

Чем он торговал? Соломкой из теста, жаренной в кипящем масле. Приготовленная своими руками, из своей муки, на своем масле, свежая, она прямо таяла во рту; такого лакомства, конечно, не купишь в магазине. Этой соломкой и была набита сумка Чэня; аккуратно упакованная в полиэтиленовые пакеты, соломка выглядела весьма аппетитно. Ее было шесть цзиней, что, не считая себестоимости, три юаня чистой прибыли.

Что он собирался купить на эти деньги? Шапку. Чэнь давно о ней мечтал. По правде говоря, с трехлетнего возраста, с тех пор как он себя помнит, то есть за сорок пять лет, ему так и не довелось поносить шапку. До освобождения не на что было купить, после освобождения у молодежи вошло в моду ходить с непокрытой головой, во время «культурной революции» приходилось больше

думать о пропитании, чем об одежде, хотя пора бы уже носить шапку, и к тому же с годами он стал побаиваться простуды. Потом, как нарочно, прицепилось к нему прозвище Дыра, своего рода колпак, который на него напялили, благо бесплатно. В конце семидесятых, когда жизнь в деревне наладилась, колпак этот словно ветром сдуло, — Чэнь почувствовал огромное облегчение и перестал думать и о холоде и о шапке. Но в том году здоровье его пошатнулось, и от малейшего ветерка он, словно изнеженная барышня, начинал ежиться, кутаться, чихать. В общем, жизнь без шапки становилась невыносимой. Да не так уж и дорого она стоила, теперь, когда в семье появился достаток, он мог потратить на нее несколько юаней.

Чэнь Хуаньшэн действительно зажил без забот и печалей, и на душе было легко. Чего только не пережил он на своем веку. Но вот ему улыбнулось счастье, и он верил, что жизнь станет еще лучше. Мог ли он не радоваться? Он просто был наверху блаженства. Стал гладким, появился даже жирок, с лица не сходила улыбка. Случалось, проснется среди ночи, вспомнит, что в амбаре — рис, в шкафу — одежда, что живет он по-человечески, и от радости даже спать не хочется — он будит жену

и принимается с ней болтать.

Тут, пожалуй, мы затронули самое больное место героя: с женой он еще кое-как мог поговорить, а вообще слова из него не вытащишь — он охотно поговорил бы, просто сказать было решительно нечего. Он завидовал всем, кто умел болтать о всякой всячине. Не понимал, как это некоторым удавалось увидеть вокруг столько нового, придумать что-то забавное, пережить разные чудеса, все запомнить и потом складно рассказать. Он повторял лишь давно известное, набившее оскомину, а сам ничего не мог ни узнать, ни придумать. Вернется, бывало, домой и с важным видом сообщает: «На улице много людей» или «Людей что-то мало», «В мясном ряду торгуют свининой», «Зелень подешевела, никто не покупает». Такими новостями в деревне мало кого удивишь. А рассказывать начнет, так смех разбирает. «Мать в детстве меня шлепала, а отец был добрый…», «Я, считай, четыре года учился в школе, но давно все перезабыл…», «В тридцать девятом году во время засухи реки пересохли, все ели рыбу…», «В сорок девятом произошла смена династий, компартия разбила гоминьдан…», «После женитьбы у нас сначала родился сын, потом — дочь…». Тоска, да и только. Что говорит, что не говорит — все равно.

Чэнь ничего не читал, а услышит что-нибудь или увидит — тут же из головы вылетит. Как-то раз посмотрел он популярную пьесу о том, как Сунь Укун [20] тремя ударами уничтожил духа Белой Кости. Жена попросила рассказать, что за пьеса… «Сунь Укун был самый сильный, — сказал Чэнь, — всех перебил». — «А дух Белой Кости это кто?» — спросила жена. «Оборотень», — только и мог сказать Чэнь. Хорошо, что подоспел сын и все объяснил. Даже о работе в поле он ничего не мог толком сказать, кроме прописных истин: «Прежде чем сеять, надо как следует взрыхлить мотыгой землю…», «Высаживать рассаду надо по шесть штук…». Никто и слушать не хотел. Или взять, к примеру, торговлю соломкой. В деревне этим давно занимались, и все как следует было продумано — способ изготовления, расход продуктов, упаковка, цена, прибыль. И уж конечно, знали, где и когда можно выгоднее продать. Вот и получалось, что тут он тоже ничего нового не придумал. Стоило ему слово сказать, как тут же находился зубоскал: «Эхе-хе! Чэнь Дыра опять всех удивить хочет. Как же: торгует соломкой из собственной муки!» Нет, уж лучше помалкивать.

---

[20] Примечания: 20

Сунь Укун — персонаж средневекового романа китайского писателя У Чэнъэня «Путешествие на Запад».

Из-за этого своего недостатка Чэнь считал, что он хуже других. Вечерком, когда в деревне любят посидеть, посудачить, Чэнь рта не раскрывал, да к нему никто и не обращался, словно его тут не было. Унижения и зависть — единственное, что выпало на его долю. Чэнь раньше понятия не имел о «духовной жизни», но теперь, когда пришел достаток, потянулся ко всем ее радостям, не упуская случая послушать и посмотреть. Он жаждал новых впечатлений, без них жизнь казалась неинтересной. Однажды какой-то любитель задавать вопросы спросил его: «Кого ты больше всего уважаешь в нашей бригаде?» — «Лу Лунфэя!» — не задумываясь, выпалил Чэнь. «Да он только и умеет, что книги пересказывать. Что в нем особенного?» — «За то и уважаю, что умеет рассказывать, за бойкий язык», — под дружный смех ответил молчун.

Пристыженный, он зарекался вступать в разговоры, чтобы не становиться мишенью для насмешек. А как было бы хорошо. Вот бы случилось с ним что-то необыкновенное, чего еще ни с кем не случалось. Тогда было бы о чем рассказать! Каким гоголем ходил бы он тогда!

2

Нельзя сказать, что он денно и нощно мечтал об этом, но мысль о чем-то из ряда вон выходящем, занозой засев где-то в подсознании, в трудные минуты напоминала о себе, принося утешение и надежду. Сегодня же, собравшись в город продавать соломку, он думал только о шапке.

Как ни тянул он время, в город все равно пришел рано, не было и шести. Поэтому он выпил за один фэнь стакан горячего чаю, закусил домашними лепешками и пошел к вокзалу. По пути таращился на все витрины и зашел в магазин присмотреть себе шапку, прицениться.

Потом он зашел во второй магазин и только в третьем выбрал наконец шапку по вкусу, но тут спохватился, хлопнул рукой по карману — ведь денег с собой он не взял! Собирался купить шапку на вырученные от продажи соломки, совершенно забыв, что к тому времени магазины закроются. Теперь придется ждать до утра, но в городе нет у него ни родных, ни знакомых, переночевать негде. Придется, видно, ему еще несколько дней мерзнуть без шапки.

Чэнь приуныл, а ветер, свистевший в ушах, пока он шел на вокзал, показался особенно сви-

репым.

Было около восьми, когда, добравшись до вокзала и выбрав подходящее место, он вынул из сумки и разложил на лотке пакетики с соломкой. Хотя на станции было довольно много народу, Чэнь наперед знал, что все эти люди поужинали, прежде чем прийти на вокзал, и вряд ли станут покупать его товар, разве чтоб побаловать малышей. Настоящая торговля начнется после десяти часов, с приходом вечерних поездов. Магазины и столовые к тому времени закроются, и соломка пойдет нарасхват. На крайний случай есть еще один одиннадцатичасовой поезд, но это, пожалуй, слишком поздно, лучше не все продать, чем всю ночь провести в пути. Обратная дорога, как ни крути, тоже тридцать ли.

Но торговля шла как по маслу, и к половине одиннадцатого лоток опустел. У Чэня голова шла кругом от непрерывно валившей толпы пассажиров, тянувшихся рук, а тут еще, подсчитав выручку, он обнаружил — недостает трех мао. Видно, кто-то из мастеров брать то, что плохо лежит, воспользовавшись суматохой, схватил пакет и был таков. Он вздохнул: тьфу ты, и тут не повезло! Чэнь знал: расходы на соломку на казенный счет не спишешь. Вот иной приезжий

и норовит словчить, только бы не платить из своего кармана, поэтому продавец всегда начеку, а тут, как нарочно, он дал маху. Да разве уследишь, когда у тебя всего два глаза!

Тяжко вздыхая, он решил подобру-поздорову возвращаться домой. Но тут ноги у него подкосились, колени задрожали, слабость охватила все тело. Чэнь встревожился: уж не занемог ли? Только что торговал, суетился, в горячке ничего не чувствовал, теперь же, распродав товар, ощутил ломоту во всем теле. В горле першило, дышать было трудно, потрогал лоб — как крутой кипяток. Нет, не потому он охрип, что выкрикивал цену. Он весь горит, как огнем полыхает. А тут, как назло, ледяной ветер дует в затылок. Что делать? Хорошо бы глотнуть горячего чаю, утолить жажду. Чайные закрыты, но на станции есть кипяток, вспомнил Чэнь и с трудом поплелся туда. Вот и титан. Поискал глазами стаканы — ни одного не видно. А, все ясно: в связи с развернувшейся борьбой за санитарию и гигиену пассажиры предпочитают пользоваться своей посудой, и станционное начальство не долго думая вообще убрало стаканы. Чэню было не до гигиены: набрав воды в пригоршню, он с жадностью ее выпил. Кипяток обжигал, но у Чэня был сильный

жар, и он ничего не почувствовал. Он немного приободрился, однако о возвращении домой нечего было и думать.

Тридцать ли, которые он проходил обычно шутя, сейчас в его представлении растянулись в целую тысячу. Ничего не поделаешь. Пришлось устроиться на свободной скамейке в зале ожидания и терпеливо ждать утра, досадуя на свою забывчивость, от которой все его беды: и без шапки остался, и простудился. Один неверный шаг — и все пошло насмарку, теперь что хочешь, то и делай… Положение действительно хуже не придумаешь. А если ему станет совсем плохо, здесь в незнакомом месте, среди чужих людей, без врачей и лекарств, — тогда конец! А ведь он еще мужчина хоть куда, живет по совести, ничего постыдного не совершил, а умрет здесь, и глаз закрыть некому; протяни же он еще несколько лет, поработай в поле, от этого всем одна польза. Нет, он еще поживет в свое удовольствие, окочуриться всегда успеет, зачем спешить? Тут Чэнь даже развеселился, уголки губ расползлись в улыбке, из пересохшего рта вырвался едва слышный смешок. Он, словно в такт музыке, стал легонько похлопывать себя рукой по колену, зевнул, уронил голову на скамеечку и, растянув-

шись, заснул.

3

Когда Чэнь проснулся, солнце стояло уже высоко. Тело было налито точно свинцом, в голове муть какая-то, веки припухли. Он приоткрыл глаза, перевернулся на другой бок, собираясь еще поспать, как вдруг содрогнулся всем телом, словно его поразили в самое сердце или подвесили за кишки. Пощупав рукой и обнаружив, что лежит на чем-то мягком, он привстал, огляделся. Устроился он, однако, неплохо: удобная постель, матрац из пальмового волокна. Он замер от изумления и, прикрыв глаза, стал припоминать, как он тут очутился. С трудом собрал уплывающие из памяти события ночи: товарища У, секретаря уездного комитета партии, как ехал в его машине. И вдруг вспомнил все…

Что ж, ни разу в этом году Чэнь Хуаньшэну не повезло так, как сегодня: в трудный час на его пути встретился спаситель. Вскоре после того как он забылся сном на жесткой станционной лавке, к вокзалу подъехал джип секретаря уездного парткома У Чу. Ночным поездом секретарь выезжал на заседание провинциального комитета партии, а его шофер ждал отхода поезда, на слу-

чай, если секретарю что-нибудь понадобится. У Чу не спеша прохаживался по залу ожидания, малолюдному в это позднее время, и вдруг заметил спящего Чэня. У Чу невольно улыбнулся; осенью, знакомясь с работой низовых организаций, он целых два месяца работал с ним в одной бригаде и теперь сразу его узнал. «Что тут делает ночью этот недотепа? — удивился секретарь. — Наверное, поезда ждет, как бы не проспал». У подошел и легонько потряс Чэня. И вдруг заметил, что тот подложил под себя вещи. Как бы не ограбили беднягу. Он толкнул его посильней, но тот и ухом не повел, продолжая посапывать. У Чу был не прочь подшутить: схватил Чэня за нос и почувствовал, что у того жар. Он быстро приподнял его и разбудил.

Чэнь вспомнил разговор с секретарем. «Заболел?» — спросил тот. Чэнь утвердительно кивнул. «Как ты сюда попал?» Чэнь показал на дорожную сумку. «Пустая? А где же вещи?» Чэнь, кажется, промолчал. Но У сразу все понял. Вместе с шофером они довели Чэня до машины и повезли в больницу. Человек в белом халате, осмотрев Чэня, с улыбкой обратился к секретарю; кажется, он сказал: «Сильная простуда, но ничего страшного», — налил полстакана воды, дал запить

таблетку и еще бесплатно снабдил лекарством. «У нас нет свободных коек, — сказал он секретарю, провожая их до машины. — Устройте его на ночь в гостиницу, ему нужен покой!» Когда машина тронулась, он услышал, как секретарь У сказал водителю: «До отхода поезда тринадцать минут, отвези меня на вокзал, а потом его в гостиницу, пусть ему отведут отдельный номер. Скажи, это мой друг…»

При одном воспоминании об этом у Чэня так сильно забилось сердце, будто в груди ударили в колокола, под сомкнутыми веками в уголки глаз набежали слезы и, задержавшись на мгновение, выкатились, побежали по лицу… Славный человек секретарь У, уважил его, Чэнь Хуаньшэна, представил своим другом, помог в беде, выручил, спас, можно сказать, от верной гибели. Что и говорить, редких достоинств человек. А ведь в сущности, думал Чэнь, никакие мы с ним не друзья, просто знакомые, в домашней обстановке, за столом всего-то раз и встречались. Однажды осенью, знакомясь с работой их бригады, У Чу вдруг нагрянул к нему на обед, хотел, видно, узнать, как теперь живет бывший бедняк. У Чу накупил ребятишкам гостинцев, кучу денег потратил, с лихвой хватило бы на два обеда. Никто

так запросто в гости не ходит. Да, что ни говори, а секретарь У на своем высоком посту от простого народа не отгораживается.

На сердце у Чэня потеплело. Он вытер слезы, успокоился, открыл глаза, еще раз осмотрелся да так и ахнул от изумления. Все кругом было чистое, новенькое: ослепительно белый потолок, выкрашенные на высоту человеческого роста светлой блестящей краской стены, зеркально-гладкий темный пол и мебель веселых тонов: светло-коричневый комод, светло-желтый письменный стол и еще две побольше, чем стулья, низкие скамейки, обитые кожей. Чэнь в жизни таких не видел. Взгляд его скользнул по кровати, задержался на нарядной с каймой простыне, шелковом одеяле, белоснежном пододеяльнике — все чистое, новое, с иголочки, так что Чэнь, оробев, невольно сжался в комок, вспомнив, что сам-то он давно не мылся. Боясь запачкать всю эту красоту, он тихонько поднялся с постели, оделся и, крадучись, точно вор, неслышно ступая босыми ногами, направился к двери. Но, проходя мимо кожаного кресла, не удержался, потрогал, слегка нажал на сиденье, оно пружинило, сесть в кресло Чэнь, однако, не решился: вдруг продавит! Осторожно отворив дверь, он вышел из комнаты.

Прошелся по коридору, ноги заледенели, к тому же, кроме него, никто босиком не ходил, и он решил обуться. В душе Чэнь ликовал, как здорово все устроил секретарь У. Подумать только, в какое место его поселил! Краем уха Чэнь, правда, слышал, что стоит это дорого, гостиница да еще такой роскошный номер, и ни в какие расходы не впишешь, самому придется раскошелиться, за одну ночь, можно сказать, просадил деньги на шапку, вхолостую съездил в город.

Чэнь не на шутку всполошился и пошел все выяснять, тем более что платить все равно придется.

У конторки сидела девушка с газетой в руках.

— Товарищ, счет.

— Какой номер? — спросила та, не выпуская из рук газеты, даже не взглянув на него.

— Не знаю. Крайний с восточной стороны.

Девушка выронила газету, с любопытством на него уставилась.

— Вас привезли на машине секретаря У? Как вы себя чувствуете? — Она приветливо улыбнулась.

— Спасибо. Мне пора возвращаться.

— Что за спешка? Вы боевой друг секретаря У, да? Где вы работаете? — Девушка говорила ласковым, мягким тоном, протягивая счет, сладко

улыбнулась. Чэнь смотрел на нее во все глаза: писаная красавица.

Тут он наклонился, взглянул на счет и отпрянул как ошпаренный. Цифры были знакомые, но сумма показалась невероятной.

— Сколько? — нетерпеливо бросил он, покрывшись испариной.

— Пять юаней!

— За ночь?

— Да, пять юаней за ночь.

Сердце его бешено забилось. «Бог ты мой, — пронеслось в голове, — я-то думал, это будет стоить одной шапки, кто знал, что ночевка обойдется мне в две!»

— Вы еще не поправились, видите, как вспотели! — удивилась девушка.

Дернул его черт за язык!

— Я же всего полночи здесь был! — сказал и тут же пожалел.

Девушка сразу смекнула, в чем дело, и уже без улыбки, ледяным голосом как ножом отрезала:

— Не имеет значения, к двенадцати часам обязаны оплатить за сутки.

Что ж, она довольно вежливо обошлась с ним, не подняла на смех, наверное, постеснялась секретаря У, однако по ее суровому виду Чэнь понял,

что оплошал, молча, дрожащими руками вытащил из кармана деньги, отсчитал пять юаней, три раза пересчитал и передал девушке измятые, влажные от потных ладоней мелкие купюры.

Девушка, опять углубившаяся в чтение газеты, сначала нахмурилась при виде мелочи, но сдержалась и молча приняла деньги.

Чэнь, распростившись с пятью юанями, потеряв расположение девушки, кипел от негодования. Уйду, и ноги моей тут больше не будет, решил он, но, вспомнив про сумку, вернулся в номер.

Он замешкался в дверях, не решаясь ступить на отполированный как зеркало пол. «Не разуться ли?» Но тут же рассердился на себя: «А пять юаней за что заплачено!» И, важно ступая, не боясь больше испачкать пол, прошествовал прямо к креслу и уселся на него. «За пять юаней можно и продавить».

Живот подвело от голода, он пошарил в карманах, нашел кусок черствой лепешки, встал, налил из термоса кипятку. Тут он заметил, что с креслом ничего не случилось, плюхнулся в него со всего размаху да еще попрыгал: хорошая мебель, добротная! Ему было мягко, удобно, он грыз лепешку, запивал ее кипятком и чувствовал себя наверху блаженства. Голова не болела, жар стал

меньше, и все оттого, рассуждал Чэнь, что он как следует пропотел у конторки. И вдруг его осенило. «Значит, — продолжал он размышлять, — я не на ветер бросил деньги, как будто потратил их на лекарства».

Он догрыз лепешку, подумал еще, и снова заныло сердце. Эх, что ни говори, а пять юаней есть пять юаней! Приглянувшаяся ему вчера в магазине шапка стоила два с половиной, почему же, спрашивается, за ночлег с него содрали целых пять? Даже богатею из сказки это не по карману, тем паче ему, простому члену кооператива, которому платят семь цзяо за трудодень! Шутка ли, выложить за ночь семь трудодней да еще один цзяо! Выходит, за каждый час, что он провел здесь с полуночи, надо отработать целый день. Ну и дороговизна! Да, нечего сюда со свиным рылом!..

Теперь уже все равно ничего не подыщешь, номер оплачен до полудня, значит, можно еще полежать, отдохнуть на полную, как говорится, катушку. Да, пожалуй, так он и поступит.

О, этот Чэнь Хуаньшэн не такой уж простак, что задумает, то и сделает. Он стал искать полотенце, чтобы вытереть пот с лица и губ, но не нашел и в качестве полотенца использовал тонкую накидку, которую самым бесцеремонным образом

стащил с подушки. После чего как был, не раздеваясь, залез под одеяло. Испачкает белье? Ну и пусть. Пять юаней заплачено! Оставит после себя свинарник — тоже ничего страшного!

Но сон не шел к нему, вспомнился секретарь У. Добрая душа этот У, позаботился о нем, только упустил из виду, что забота на таком высоком уровне ему не по карману. Но его тоже можно понять, спешил на поезд, разве все предусмотришь! Как ни крути, Чэнь сам во всем виноват, не купил вовремя шапку, отсюда все и пошло: и простуда, и хворь, и встреча с секретарем У, и ночевка в гостинице, стоившая ему чуть ли не всей выручки от соломки… Как же быть, покупать шапку или не покупать? Покупать! А то опять неприятностей не оберешься!

Тут мысли его перенеслись на соломку, и от голода снова подвело живот. Куском лепешки он, конечно, не наелся. Вчера торговал бойко — ни одного пакета не осталось. Да, жаль… Соломка сейчас была бы в самый раз. Однако досадовать теперь бесполезно: чем больше он будет валяться в постели, тем сильнее проголодается, а без продовольственных талонов в городе не пообедаешь. К полудню он так ослабеет, что с места не сможет сдвинуться. Не ночевать же здесь еще

одну ночь. Тут он засуетился, сбросил ногами одеяло, подхватил свою сумку и торопливо вышел из гостиницы. Номер, конечно, хороший, но задерживаться не стоит. Конечно, у него в запасе еще два-три часа, только с собой их не унесешь… Жаль, что приходится уходить раньше времени.

Теперь его заботило одно — поскорей добраться до магазина. Но вот на оставшиеся деньги он купил наконец шапку, тут же надел и, очень довольный, отправился восвояси.

Дорогой, легко шагая, он радостно озирался вокруг. До дома уже было недалеко, и тут ему пришло в голову, что возвращается он к жене с пустыми руками, просадив всю выручку до последнего медяка. Как теперь его встретит жена? Ведь ему нечего ей отдать! Надо срочно что-то придумать, иначе не миновать нахлобучки. Что бы такое сказать, как умерить ее гнев? Сказать, что проиграл, — не поверит: он никогда не играл в азартные игры. Проел? Тоже не годится, он не обжора. Сказать, что обокрали? Все равно достанется: виноват, недосмотрел, проворонил. Лучше всего, пожалуй, сказать, что сделал доброе дело, дал взаймы старому знакомому. Нет, все равно накинется, станет ругать, тоже, мол, богач выискался, самого бы кто выручил. Скажу: подарил

одной девушке. Только не это, жена черт знает что заподозрит... Вот беда, как же быть?

Чэнь и так прикидывал и эдак, ничего толкового придумать не мог. Но тут мысли его приняли неожиданный оборот, и он радостно хлопнул себя по ляжкам. Ну как же! Сколько было у него в эту поездку волнующих приключений! Разве не стоят они пяти юаней? Наконец-то и в его жизни произошли события, о которых можно с гордостью рассказывать каждому. В самом деле, спросите-ка, кто из членов или даже руководителей бригады ездил в машине секретаря У. Кто жил в гостинице, где номер стоит пять юаней? Посмотрим, как они уши развесят, когда он начнет все по порядку рассказывать. И кто после этого станет утверждать, что с ним не о чем говорить! Что ничего-то он не видал на своем веку? Кто посмеет теперь его презирать, а?.. Настроение у Чэня сразу поднялось, он словно бы стал выше ростом. Мысль о жене его больше не тревожила, теперь он без труда сладит с нею, стоит лишь упомянуть секретаря У, сказать, что он оказал Чэню уважение и из-за этого пришлось потратить пять юаней. Жена после таких слов сразу станет как шелковая. Что и говорить, он был чрезвычайно доволен собой: за пять юаней обрел душевный

покой. А что такое пять юаней? — сущие пустяки. Он прибавил шагу и вскоре весело, как порыв ветра, ворвался к себе в дом…

И что бы вы думали? Авторитет Чэня с тех пор в деревне действительно вырос, односельчане охотно слушают его, даже кадровые работники бригады теперь с ним на дружеской ноге. А когда он идет по улице, то кто-нибудь, проводив его глазами и тыча ему в спину пальцем, обязательно скажет: «Вот этот ездил на машине секретаря У». Или: «Он жил в дорогой гостинице, пять юаней за ночь платил…» Однажды заготовитель с завода сельскохозяйственных машин, похлопав его при встрече по плечу, сказал: «Не везет мне, без конца мотаюсь по гостиницам, а пожить, как тебе, в люксе ни разу не довелось».

С тех пор Чэнь Хуаньшэн совсем заважничал и дела у него пошли на лад.

ГУ ХУА
ДОМИК, УВИТЫЙ ПЛЮЩОМ
© Перевод В. Семанов

Гу Хуа (настоящее имя — Ло Хунъюй) родился в 1942 году в одной из деревень провинции Хунань. В 1961 году окончил сельскохозяйственное училище, затем работал младшим агрономом в НИИ сельского хозяйства. В 1975 году стал литературным консультантом в районном ансамбле песни и пляски. В 1979 году перешел на работу в районное отделение Всекитайской ассоциации деятелей литературы и искусства. В 1980 году вступил в Союз китайских писателей, в том же году был избран членом правления Союза хунаньских писателей.

Печататься начал с 1962 года. В 1978 году опубликовал сборник рассказов «Песнь о стремительном потоке». До конца 1981 года напечатал четыре повести (среди них «Золотолистый рододендрон») и тридцать с лишним рассказов, в том

числе «Дарю тебе нефритовую орхидею». Опубликованный в 1981 году роман «В долине лотосов» (в 1986 году вышел на русском языке в издательстве «Радуга») был удостоен литературной премии имени Мао Дуня — одного из крупнейших китайских писателей XX века. Рассказ «Домик, увитый плющом», первоначально опубликованный в журнале «Шиюэ», получил Всекитайскую премию 1981 года.

* * *

Уже долгие годы в Туманных горах ходит легенда о молодой женщине из племени яо. Рассказывают, что жила она в глухих заповедных лесах Туманных гор, в Зеленом логе, и была помощницей лесника, своего мужа. Звали ее Пань Цинцин — Зеленая. В горах она родилась, выросла, вышла замуж и даже в лесничестве, находившемся довольно далеко, была всего раз. Поэтому парни из лесничества никогда ее не видели, только слышали, что она прекрасна, как фея.

Домик Цинцин, сплошь увитый зеленым плющом, был срублен из цельных стволов пихты, да

так крепко, что даже кабанам не удавалось его подрыть. Лишь у самой земли бревна почернели и обросли «белыми ушками» — древесными грибами. За домом протекал чистый горный ручей, который никогда не замерзал. С внешним миром Зеленый лог связывала единственная тропинка. Правда, накануне «культурной революции» здесь начали устанавливать телефонную связь, чтобы в случае необходимости сообщить о пожаре, но вскоре провода порвались под тяжестью обильного снега, а чинить было некому: во время «культурной революции» начальники в лесничестве сменяли друг друга, точно фигурки в волшебном фонаре или блины на сковороде. Так и не проник телефон — символ современной цивилизации — в эти древние леса… Здесь всегда было тихо, и днем и ночью, будто на сотни верст вокруг все уснуло, только цветы распускались да голубой дымок вился над домиком. Сонную тишину не нарушали ни крики петухов и горных птиц, ни лай собак, ни детский плач.

Родители Пань Цинцин умерли рано, и осталась она одна с мужем — Ван Мутуном, здоровенным мужиком. Такому впору на тигров охотиться, а он за лесом присматривал, как и жена. Перед едой любил пропустить чарку-другую кукурузного

самогона, который гнала Пань Цинцин, а если перепивал, ей же доставалось. Вообще-то мужем он был неплохим и по-своему любил жену. Сам ходил в горы за хворостом, жену не посылал, сам рубил его и складывал в ровные поленницы перед входом. Прорубал просеки в лесах, и в Зеленом логе уже почти двадцать лет не было пожаров. Сам обрабатывал большой приусадебный участок на берегу ручья, круглый год обеспечивая семью овощами. Пань Цинцин оставалось лишь присматривать за детьми, кормить свиней и делать всякие мелочи по дому, поэтому в свои двадцать шесть лет, имея двоих детей, она оставалась юной и красивой, как девушка.

Грамоты Ван Мутун не знал, зато был сметлив и очень самоуверен. Он чувствовал себя хозяином Зеленого лога, маленьким феодалом. Все здесь принадлежало ему: жена, дети, дом, хотя сам он подчинялся лесничеству. До рождения детей Пань Цинцин не раз просила сводить ее в лесничество, почти за пятьдесят километров, так он даже бил ее за это или ставил в наказание на колени. Боялся, что жена, увидев другую жизнь, полную соблазнов, сбежит с каким-нибудь бездельником, которых полно в лесничестве. Лишь когда родился сын, а потом дочка, он немного

успокоился — дети крепко привязывают. Наконец он почувствовал, что Пань Цинцин ему настоящая жена. Теперь пощечины он щедро раздавал детям, ставил их на колени, как, бывало, жену, поддерживая таким образом порядок в семье. В домике, увитом плющом, образовалось маленькое общество, где соблюдалась железная субординация и каждый знал свое место.

Они жили оторванные от мира; такую жизнь, пожалуй, не назовешь идеальной, зато она была спокойной и привычной. Раз в месяц Ван Мутун ходил в лесничество, получал жалованье за себя и жену и покупал все необходимое: рис, масло, соль и многое другое. Кроме того, он приносил домой новости, рассказывал, что случилось в лесничестве и за его пределами. Пань Цинцин слушала мужа, широко раскрыв свои блестящие круглые глаза, с таким любопытством, словно он рассказывал ей заморские волшебные сказки. В последние годы это чаще всего были истории о хунвэйбинах и цзаофанях: как ученики, надев на своих очкастых учителей черные доски, водили их по горам, точно обезьян; как один лесотехник, проучившийся полжизни, бросился в заводь для буйволов и захлебнулся на мелководье, даже спину не замочил. Теперь критикуют каких-то

конфуцианцев, охотятся за ними, как за оленями, только что не стреляют. Всех грамотных называют конфуцианцами. Эх, хорошо у нас в Зеленом логе! Земля черная, жирная, палку воткнешь — и то прорастает! Мы с тобой грамоте не обучены, никого не трогаем, и нас никто не трогает…

Пань Цинцин не все понимала, но чувствовала, что грамотным сейчас живется несладко, что культура — это несчастье. А вот они с мужем счастливы. «Хорошо у нас в Зеленом логе!» Она так привыкла к этим словам, что поверила в них и не хотела думать о непонятной борьбе в лесничестве и прочих дьявольских местах. У нее не было никаких особых желаний — лишь бы муж поменьше ругался и не так сильно бил. Едва темнело, они крепко запирали дверь и ложились спать, сжигая, таким образом, за полгода не больше четверти литра керосина. Никто не слышал, о чем говорят муж с женой ночью, только луна да звезды, глядевшие в высокие окна.

— Цинцин, роди мне еще нескольких ребятишек!

— У нас и так двое. А ты сам говорил, что сейчас нельзя много рожать. Сделают стерильным!

— Ничего, нам и семерых можно!

— Не бережешь ты меня…

— Не берегу? А чего тут страшного?

— В лесничестве заругают…

— Не бойся! В крайнем случае не дадут пайка на лишних детей. Так у нас земля есть. Разве не видишь: у меня руки — как совки для риса! Почему же не родить? Вот скоро хлопчатник посею, достанем прялку твоей матери, ткацкий станок, вымоем хорошенько…

— Вижу я, ты всю жизнь хочешь меня в горах продержать! Как фазаниху!

— А что? Ты моя!

Он крепко обнимал Пань Цинцин, и она затихала в его жарких объятиях. Да, она — его собственность, он может ее ругать, бить, а она будет рожать — так же легко, как плодоносит дерево. Ведь она здоровая, в самом расцвете, боль ей нипочем. И молоко из грудей льется так же свободно, как сок из дерева. Муж у нее сильный: хоть кабана, хоть тигра одолеет. Руки — как железные обручи, обнимет — не вырвешься. Силушку девать некуда! Но там, за горой, мужья с женами, пожалуй, то же самое делают?

Летом 1975 года в Зеленом логе появился Однорукий. Не какой-нибудь там начальник, а простой городской парень, ровесник революции 1949 года, направленный в лесничество на посе-

ление. Звали его Ли Синьфу. Высокий, красивый, приветливый. Он хорошо умел отбирать семена и выращивать рассаду, но в 1966 году к нему вдруг стали привязываться хунвэйбины. А тут он еще, прыгая на поезд, угодил под колеса и потерял руку. С тех пор у него вместо руки болтался пустой рукав.

Несколько лет Ли Синьфу промаялся в городе и вернулся в лесничество — здесь-то его и прозвали Одноруким. Никто не знал, куда его пристроить, обзвонили все лесоповалы, все лесоводческие бригады — нигде не берут. И инвалид, и у хунвэйбинов на заметке — лучше не связываться. А то, как говорится, уронишь кусок соевого творога в золу, потом не сдуешь, не отряхнешь. В это время из Зеленого лога пришел за своим пайком лесник Ван Мутун. Завполитотделом лесничества, однофамилец Мутуна, увидев лесника, хлопнул себя по лбу: почему бы не послать Одноруких в Зеленый лог на помощь Ванам? Работа не тяжелая, к тому же на сотни верст вокруг ни души. С кем ему там вступать в сговор — с мартышками и фазанами?

Ван Мутун обрадовался было, но, узнав, что речь идет о калеке, сразу скис.

— Послушай, старина Ван, — похлопал его по

плечу завполитотделом, — ведь ты давно хочешь вступить в партию? Вот тебе испытание и партийное поручение. Что калека — не так уж плохо, легче им руководить. Я лично с ним поговорю, скажу, что он должен беспрекословно тебе подчиняться, обо всех своих действиях докладывать, а на отлучки из Зеленого лога спрашивать у тебя разрешения. Ну, и ты постарайся, помоги перевоспитать этого молодого интеллигента, совершившего ряд ошибок!

Лесник кивнул. Ему даже нравилось, что он будет кого-то перевоспитывать.

Так Однорукий поселился в Зеленом логе, и в обществе, возглавляемом Ван Мутуном, стало на одного члена больше. В двадцати — тридцати шагах от своего дома, почти на самом берегу ручья, Ван с женой поставили невысокий сруб, покрыли еловой корой, и получилась хижина. Сначала лесник не испытывал к Однорукому какой-либо неприязни, наоборот, ему льстило, что тот называет его не иначе как старшим братом Ваном. А Однорукого сразу очаровала тихая красота Зеленого лога. Ван каждое утро посылал его на смотровую вышку на перевале. Ли Синьфу шагал по тропинке, змеившейся среди леса, и ему казалось, что все это сон. По долине стлался

молочно-белый туман — густой и текучий, как сок, и возникало ощущение, будто не идешь, а плывешь. Таять туман начинал часов в девять-десять, когда из-за горы появлялось солнце. Ли Синьфу сидел на смотровой вышке, среди тысяч изумрудных деревьев, а под ногами по-прежнему расстилался туман. Особенно хороши были гуандунские сосны и железные ели — тсуги, их макушки торчали из тумана как волшебные островки.

Но ни о чем волшебном Однорукий не думал, если не считать того, что ему нравилась хозяйка, очень добрая и красивая. Ее черные глаза, казалось, могли говорить и даже петь. Ли Синьфу всячески скрывал свои чувства, предусмотрительно держался от Пань Цинцин на расстоянии, но молодому парню невмоготу одиночество. А с кем можно было дружить в этой зеленой долине? С обезьянами, дроздами, рябчиками?

Семилетний Сяотун и пятилетняя Сяоцин, дети Ванов, вначале побаивались Однорукого, но после того, как он поймал мальчику коноплянку, а девочке сплел венок и позволил поглядеться в свое зеркальце, все изменилось, и дети стали называть его дядей Ли. А еще через некоторое время Сяотуна уже невозможно было вытащить

из хижины Однорукого. У детей горцев есть свое обаяние, есть и свои навыки. Однажды в хижину заползла большая змея, и Однорукий затрясся от страха, но Сяотун ему объяснил, что змея ни за что не нападет на человека, если ее не трогать. И еще он с видом знатока заявил, что в Зеленом логе водятся три типа змей: бамбуковая, шумливая и вертлявая. Бамбуковая очень ленивая: свернется вокруг бамбукового ствола и не двигается, только шипит, приманивая птиц. Сяотун вскинул голову, закрыл глаза и, сложив губы трубочкой, зашипел. Подлетит птица, а змея ее цап, проглотит и опять лежит — переваривает. Шумливая — та совсем другая. Она бурого цвета, и когда ползет, даже трава шуршит, а поднимется — в половину человеческого роста будет. Сяотун округлил глазенки, разинул рот и бросился вперед с криком: «Ху, ху, ху!» Третья змея, вертлявая, толщиной с топорище, а длиной с коромысло, она когда ползет, все время вертит головой, как бешеная. Боясь, как бы Сяотун не попытался изобразить и эту змею, Ли Синьфу положил ему на голову свою единственную руку и спросил:

— Откуда ты все это знаешь?

— Бамбуковую змею сам видел, а о шумливой и вертлявой отец рассказывал. Он ловит змей и

продает их за горой…

Ли Синьфу вспомнил змею, только что выползшую из его хижины, подумал, что мальчику пора учиться, и ему стало грустно.

Взрослые следят за детьми, а дети — за взрослыми. Каждое утро, высунувшись из дверей, Сяоцин с любопытством смотрела, как Однорукий чистит зубы. Однажды не утерпела, подошла к нему и осторожно спросила:

— Дядя Ли, у тебя воняет изо рта?

— Нет, — с трудом ответил Однорукий, у которого во рту было полно пены.

— Зачем же ты каждый день чистишь зубы?

Однорукий захохотал, выполоскал рот, умылся и ответил:

— А ты попроси маму купить тебе и Сяотуну зубные щетки. Тоже будете каждое утро чистить, и станут у вас зубы белыми и блестящими.

Сяоцин не сдавалась:

— Мама не чистит, а у нее зубы все равно белые и блестящие!

— И изо рта не пахнет?

— Ни капельки! Мама очень любит меня целовать, сладко-сладко… Не веришь, сам ее поцелуй!

— Сяоцин! Чертова девка! Ты что там болтаешь? Живо иди в дом! — вмешалась мать.

Сердце Ли Синьфу лихорадочно застучало. Он мигом скрылся в хижине, будто застигнутый на месте преступления. Ничего особенного, казалось бы, не произошло. Но лесник, который все видел и слышал, схватил девочку и поставил на колени, явно в назидание Однорукому: мол, учти, теперь у меня и на затылке глаза, так что берегись!

В целом жизнь обитателей Зеленого лога текла тихо, как горный ручей: здесь даже на самой большой глубине было по колено, а так — по щиколотку. И все же в ручье отражались колеблющиеся силуэты деревьев, чистое голубое небо, легкие белые облака и, наконец, длинная еловая жердь, которую поставил у своей хижины Однорукий — антенна для приемника.

Небольшой черный ящик мог говорить, петь и неожиданно нарушил здешнюю вековую тишину. Сначала к нему, набравшись смелости, потянулись Сяотун и Сяоцин, а затем и Пань Цинцин, которая якобы шла звать детей домой. И леснику волей-неволей приходилось каждый вечер заглядывать в хижину и забирать оттуда свое семейство. Бывало, что он при этом пускал в ход крепкие словечки, но Пань Цинцин игриво отвечала:

— Еще рано! Ляжешь сейчас — до рассвета

проснешься.

Ишь ты! Ей, видите ли, в постель неохота ложиться! Лесник мрачнел, однако придраться ни к чему не мог. Он и сам никогда в жизни не слышал таких дьявольских песенок и испытывал к ним некоторое любопытство. Ему оставалось лишь сохранять суровость, приличествующую грозному мужу, следить и ждать дальнейшего развития событий.

Вскоре Однорукий с Пань Цинцин и детьми затеяли генеральную уборку: унесли с участка мусор и помет, срыли бугры, аккуратно сложили в сторонке дрова. Однорукий заявил, что надо посадить возле дома цветы, а Пань Цинцин и детей научить читать, писать и правильно говорить, как по радио. Хозяйка от радости заулыбалась, дети же вообще с утра до вечера ходили за «дядей Ли», повторяя каждое его слово. Он стал им ближе родного отца, и Ван Мутуну это, конечно, не давало покоя, как шип в глазу. Пришелец своей одной рукой всю жизнь перевернул в Зеленом логе, всю землю переворошил, как червь!

«Мать его! Думает, что ученый, так верх надо мной возьмет!» — злобствовал Ван Мутун. А тут еще Однорукий замахнулся и на его работу, суется со своими предложениями. Теперь, видишь

ли, ему подавай громкоговоритель, деревянные щиты с правилами поведения в лесу, лесные обходы в две восьмичасовых смены, да еще не ставь силки, не собирай грибы. Придумал какую-то учебную группу для изучения политики и культуры и даже детей туда хочет втравить.

А Пань Цинцин все это нравится. Глаза блестят, улыбается, словно хочет сказать: «Смотри, что значит культура! Человек и думает, и говорит красиво, не то что мы!» Но у Ван Мутуна точно колючки в сердце выросли. Бросив уничтожающий взгляд сперва на жену, потом на Однорукого, он процедил сквозь зубы:

— Да, вони от тебя много, но я тебе мозги вправлю! Слушай, ты, горожанин! Еще старики говорили, что в чужую деревню со своими правилами не ходят. Разбираются, кто гость, кто хозяин. Ты хоть и не гость, но и не хозяин! В Зеленом логе уже двадцать лет как нет пожаров, мы на все Туманные горы прославились, сколько начальников в лесничестве сменилось, никто не ругал. Каждый год меня выдвигают в ударники по охране леса, и без всяких телефонов, деревянных щитов, восьмичасовых смен и учебных групп! Наточи-ка лучше свой тесак и поработай на просеках! Лесничество давно поставило меня

начальником в Зеленом логе, а тебе завполитотделом все ясно сказал, надо было прислушаться!

Лесник стоял подбоченившись, и глаза его полыхали огнем. Глядя на него, Однорукий даже побледнел и потерял дар речи. Пань Цинцин прямо возражать не посмела, лишь сказала, едва сдерживая негодование:

— Товарищ Ли, он человек неграмотный, грубый…

Она осеклась, боясь, как бы муж ее не ударил. Ван презрительно усмехнулся:

— Я, может, и грубый, зато он нежный! Но сейчас грубые управляют нежными, а не наоборот, такое время. Ты, Ли Синьфу, не забывай, что руководство послало тебя в Зеленый лог на перевоспитание!

Сказав это, он пошел, раскачиваясь всем своим грузным телом, оставляя в земле глубокие следы.

Итак, предложения Однорукого разбились словно о скалу, не оставив на ней даже царапины. И он смирился. В самом деле, его прислали в Зеленый лог на перевоспитание. Некультурные перевоспитывают культурных — таково новейшее изобретение… Ли Синьфу понял, что ничего не сумеет изменить, и стал бояться Вана. Но энергия в нем бурлила по-прежнему. Покой

означал тоску, одиночество, а тогда и жить не имело смысла — уж лучше прыгнуть со скалы. У него были книги, изданные еще до «культурной революции»: «Описание деревьев» и «Противопожарные меры в лесном районе». Каждый раз, отправляясь в обход, он брал с собой «Описание деревьев» и сличал с ним все, что видел вокруг. Он лелеял мечту изучить лесные ресурсы Зеленого лога, чтобы время зря не пропало и порубки в дальнейшем носили осмысленный характер.

Чувствуя, что Пань Цинцин его понимает, он рассказывал ей о своих замыслах. Она и в самом деле хорошо к нему относилась, как к брату.

— Дурачок, — говорила она мягко, — делай, что задумал, и ни у кого не спрашивай!

— А твой муж не рассердится на меня?

— Разве ты что-нибудь плохое делаешь? Эх ты…

Он боялся смотреть в ее черные блестящие глаза.

Ее протяжное «Эх ты…» звучало как музыка, как журчание горного источника и трогало до глубины души.

К осени Однорукий собрал в старые конверты немало редких семян: и какой-то особенно красивой ели, и золотолистой смоковницы, и дре-

весного имбиря. Решил сделать грядку с рассадой, чтобы потом отнести саженцы в лесничество и отдать специалистам для выращивания. Под грядку надо было выжечь место, но Ван этим совершенно не интересовался, поэтому пришлось попросить о помощи Пань Цинцин.

В тот день Ван отправился в горы проверять силки. Однорукий с Пань Цинцин выбрали участок за огородом, не зная, что именно его лесник присмотрел для хлопкового поля, и подожгли траву. Огонь устремился вперед, повалил густой дым, они развеселились как дети, и тут вдруг с пустыми руками вернулся хмурый Ван. Холодно взглянув на них, он вытащил из-за спины тесак, срубил молоденькую сосенку и стал забивать огонь. Однорукий попытался объяснить, для чего они устроили пал, но Ван зарычал, как тигр:

— Поменьше суй свой нос куда не надо! Это место мне для другого нужно. А раз ты такой храбрый и не спросил моего разрешения, вечером напишешь объяснительную записку!

— Кому?

— Кому? Думаешь, если я неграмотный, так не управлюсь с тобой? Помяни мое слово, будешь у меня смирнехоньким, как полагается!

Пань Цинцин от обиды чуть не плакала. Муж

грозно прикрикнул на нее:

— Ты почему свиней не кормишь! Ведро и то сожгла!

Женщина не посмела ответить. Однорукий с жалостью смотрел ей вслед, вытирая глаза тыльной стороной ладони.

В каждом человеке должны жить вера и достоинство. Небольшой излом трудно починить, а большой — тем более. Ван Мутун считал, что Однорукий бросил ему вызов, да и жена стала отбиваться от рук, не так послушна, как раньше.

Однажды Ван отправился в лесничество за провиантом. Обычно он там ночевал, прежде чем пуститься в обратный путь, но в тот день неизвестно какой черт его баламутил, и он чувствовал себя неспокойно. Взвалив на плечи шестьдесят килограммов риса, он решил во чтобы то ни стало вернуться тем же вечером, протопал чуть не сто километров по горным тропинкам и явился уже под ночь, весь взмокший. В домике горел свет, дверь была не заперта. Выходит, жена еще не спит? Странно! Но внутри никого не оказалось. Лесник прислушался: из хижины Однорукого доносились смех и песни. Ван потрогал печку, кастрюли — все холодное. Охваченный яростью, он выскочил из дому, подобрался к окну Однорукого

и увидел жену, которая сидела, подперев руками щеки, и увлеченно слушала радиоприемник. У нее на коленях лежал Сяотун, а у Однорукого — Сяоцин, чуть не обнимавшая его. Ван Мутун узнал песню, которую передавали, это была песня народности яо «Сердца влюбленных сладки, как бананы».

— Хорошая песня! Ее всегда пела моя мать… — сказала жена, озорно поблескивая глазами.

— Да, ваше племя умеет и петь, и танцевать! — Однорукий нежно взглянул на женщину.

Вана распирало от злости, но он виду не подал и крикнул только:

— Сяотун, Сяоцин! Вы чем занимаетесь, чертовы куклы? Скоро светать начнет!

Пань Цинцин испуганно схватила детей и выбежала из хижины.

— Ой, чего же ты не заночевал в лесничестве? Смотри, пот с тебя так и льет!

Ван стиснул зубы и ничего не ответил. Он чуть не сказал: «Заночуй я там, ты осталась бы у Однорукого!»

Вернувшись в свой дом, Цинцин поспешно разожгла огонь и принялась готовить еду. Вина подогревать не стала, боясь, что муж напьется и изобьет ее. Но лесник вел себя на редкость

сдержанно. Молча вымылся и, даже не притронувшись к еде, завалился спать. Жена, видимо, поняла, в чем муж ее подозревает, несколько раз примирительно коснулась его плеча, но он лежал неподвижно, в любой момент готовый взорваться как пороховая бочка.

Ван Мутун был не только силен, но и достаточно сметлив. Он чувствовал, что его власть в Зеленом логе под угрозой и источник бунта в его собственной жене и детях. Неужели он будет спокойно смотреть, как Однорукий шаг за шагом разрушает его семью? Неужели он, знаменитый лесник, ударник труда, человек опытный, бывалый, спасует перед этим жалким интеллигентишкой, сосланным в деревню, калекой, пустобрехом? Не бывать этому! Он решил восстановить свою власть в доме и, едва настало утро, с каменным выражением лица, округлив глаза, словно барс, гаркнул:

— Сяотун, Сяоцин, встаньте на колени и внимательно слушайте! Если вы или ваша мать еще раз сунетесь в эту чертову хижину, я вырву вам глаза и переломаю ноги!

Дети опустились на колени и дрожали от ужаса, как стебельки под холодным ветром, даже зубы у них стучали. Пань Цинцин побледнела.

Затем лесник зашел к Однорукому и спросил, написал ли он объяснительную записку. Тот ответил, что еще не успел.

— Ты что, не понимаешь, когда тебе говорят? Не уважаешь меня? Имей в виду: твоя судьба в моих руках. С сегодняшнего дня делай, что прикажу, и не смей самовольничать! Даю тебе один день сроку: чтобы утром была объяснительная записка! — И он потряс кулаками, напоминающими железные молоты.

— Теперь каждый вечер будешь передо мной отчитываться: что сделал за день. Я сам буду к тебе приходить, а в мой дом не смей шляться! И не соблазняй моих домашних своим дьявольским ящиком, а то отведаешь вот этих кулаков! А твою мачту я вместе с проводами одним пальцем на гору закину!

Наведя таким образом порядок в семье и за ее пределами, Ван Мутун, чтобы изолировать Однорукого, придумал еще один, весьма эффективный способ. До сих пор все пути, в том числе в лесничество и на смотровую вышку, шли мимо хижины Однорукого. Теперь лесник расчистил еще одну тропинку, в обход. Это значительно удлиняло путь, зато изоляция была гарантирована.

Однорукому пришлось смириться. В Зеленом

логе Ван был своего рода князьком. Прежде он редко заходил в хижину Однорукого, теперь же каждый вечер выслушивал там его отчеты. Он вдруг ощутил вкус власти и относился к Однорукому не менее строго, чем к «пяти вредным элементам»[21].

А Однорукий жил как улитка в своей раковине, даже радио боялся включить. Он в который уже раз набил себе шишки, наткнувшись на суровую реальность, и признал свое поражение. Зеленый лог снова погрузился в сонную тишину.

Зима в тот год выдалась необычная: снега не было, один иней. Старики говорили, что бесснежная зима предвещает сухую весну. Деревья по утрам становились от инея белыми, как собачьи зубы или, выражаясь изящнее, как серебристо-нефритовые одежды. На домах вырастали нефритовые шапки. Горный ручей, против обыкновения, замерз и перестал журчать, скованный ледяным панцирем.

Пань Цинцин от нечего делать — теперь она только варила еду и кормила свиней — достала корзину со старым тряпьем и, сев у печки, принялась шить детям туфли. Временами она

---

[21] Примечания: 21

В период «культурной революции» — помещики, кулаки, контрреволюционеры, уголовники, правые.

прерывала работу и задумчиво смотрела на огонь. Ван Мутун каждый день ходил с детьми в горы охотиться на зайцев или барсуков и потом вешал шкуры на стены, а мясо варил — запах разносился далеко вокруг. Но Пань Цинцин почему-то поташнивало от этого запаха, как во время беременности. Гнетущая тоска лежала на сердце. Муж ее часто бил, все тело было в синяках и кровоподтеках, а она смотрела на его злобное лицо и молчала, слова не смела сказать, лишь подставляла спину, чтобы в живот не бил. От этой жестокости у Цинцин слезы не просыхали. Что за несчастная у нее судьба! Только Однорукий относится к ней по-человечески, с уважением. Он тоже несчастный. Но порой в ней вспыхивала к нему неприязнь: надо же было ему появиться в Зеленом логе, смутить покой всей семьи! Цинцин с ужасом ждала вечера, когда нужно было ложиться в постель с мужем, от которого разило потом, но постепенно слезы уступили место протесту. Она отворачивалась к стене и неподвижно лежала, сколько муж ее ни ругал и ни тряс:

— Убью!

— Ну и убей!

— Мать твою, опять о любовнике думаешь?

— А ты опять хочешь избить меня? Что ж, бей,

он посмеется над тобой!

— Ах ты дрянь!

— Ой, мама! Еще раз ударишь — закричу, вот увидишь!

Пань Цинцин решила идти напролом. Муж почему-то не хотел, чтобы Однорукий был в курсе их семейных дел. И она тоже. Зачем, в самом деле, видеть соседу, как муж над ней измывается!

Когда жизнь выходит из обычного русла, люди меняются. Изменилась в ту бесконечную суровую зиму и Цинцин. Только она не знала, к лучшему или к худшему. Ей теперь нравилось наряжаться, и она вытащила из сундука бог знает сколько времени пролежавшие там платок из серебристо-серой диагонали и розовую плюшевую накидку с изображением красных фонарей. И утром и вечером она ходила опрятно одетая, будто собралась в гости, то и дело наливала в медный таз прозрачной воды из горного ручья и смотрелась в него. Несколько лет назад она просила мужа купить ей в лесничестве зеркало на стену, но он каждый раз забывал или говорил, что забыл. Сейчас Пань Цинцин поняла, что он нарочно не покупал, чтобы она не видела своего лица, прекрасного, как луна, глаз с поволокой, алых, как лепестки рододендрона, губ, ямочек на щеках… Такая любому

приглянется. А Однорукому? Тьфу, совсем стыд потеряла! Сердце бешено заколотилось, мысли путались, она сжала ладонями пылающие щеки и опустила голову.

В последнее время она частенько поглядывала на хижину Однорукого. Чем суровее становился муж, тем больше ее туда тянуло. Чего только у него не было: и радиоприемник, и мыло, и крем, и еще много разных вещей, не только китайских, но и заграничных. В этом человеке для Цинцин сосредоточился весь мир. Недаром его зовут Синьфу — Счастье! А сам он несчастлив.

Бледный, худой. Единственной рукой рубит хворост, стирает, готовит еду, а на нее, Пань Цинцин, взглянуть не смеет, мужа ее боится, как тигра. Она жалела парня, но к жалости примешивалась стыдливость, свойственная женщинам племени яо.

Однажды, вернувшись из лесничества, Ли Синьфу тайком дал детям несколько конфет в золотых и серебряных обертках. Ласковая Сяоцин тут же развернула одну и сунула в рот матери. Мать растроганно ее поцеловала, а потом шаловливо спросила:

— Ну что, дурно пахнет от мамы?

— Нет, нет!

— Хорошо?

— Хорошо! Мама такая сладкая!

Цинцин смутилась. Что за разговоры она ведет с ребенком? Она вспомнила, что с полгода назад у Однорукого, когда он чистил зубы, произошел примерно такой же разговор с Сяоцин, и покраснела. Конфета медленно таяла во рту, и ее волшебный вкус, казалось, проникал в самое сердце. Пань Цинцин снова начала целовать нежное розовое личико дочки. Хорошо, что муж этого не видел, иначе прибил бы.

В другой раз, когда лесник пошел ставить силки, она отправилась с ведром к ручью и увидела, что Ли Синьфу стирает в ледяной воде. Его единственная рука покраснела от холода. Пань Цинцин бросила ведро, выхватила у парня белье и сама начала стирать. Однорукий медленно выпрямился, отошел немного назад и сказал:

— Сестрица Цинцин, не надо. Увидит муж, тогда…

Женщина продолжала стирать:

— А что особенного? Я ничего дурного не делаю.

— Это верно, но муж все равно тебя побьет.

Цинцин оторопела:

— Ты откуда знаешь, что он меня бьет?

— Да ты погляди на свои руки, все в синяках!

— Замолчи, дурачок, это меня свиньи в загоне так изукрасили…

Она с трудом сдерживала слезы. Так хотелось убежать куда-нибудь и поплакать! Кое-как достирала белье, бросила в ведро Однорукого и, не оборачиваясь, пошла назад, даже воду забыла набрать. В доме она бессильно прислонилась к притолоке, чувствуя, как отнимаются руки и ноги. Сердце колотилось так сильно, что готово было выпрыгнуть из груди. Но плакать уже не хотелось, хотелось смеяться. Ведь она впервые заигрывала с мужчиной; наверное, у каждой женщины в жизни бывает такое. Пань Цинцин весь день ходила радостная, но муж, вернувшись к вечеру, ничего не заметил. Она победила…

Снега все не было, выпадал только иней. Почти со всех деревьев облетела листва, и они протягивали к небу голые ветки, словно мучимые жаждой старики — костлявые руки. Опавшие листья толстым слоем покрыли все склоны и при каждом порыве ветра, золотыми облаками взлетали в воздух, а потом с легким шелестом снова ложились на землю.

Засуха выгнала Однорукого из его убежища. Теперь он каждый день поднимался еще до

рассвета и с тесаком за поясом и книгой «Противопожарные меры в лесном районе» под мышкой начинал обход. Несколько раз, набравшись духу, он предлагал Вану расчистить просеки, унести из леса сухие ветки и листья, однако Ван ничего не желал делать и со злостью твердил, что в Зеленом логе хозяин он и нечего лезть, когда не просят. Однорукий тем не менее проявил твердость и, будто предчувствуя беду, принял защитные меры. Он уговорил Пань Цинцин и детей оттащить все горючее от дома и, пользуясь каждым удобным случаем, читал им книгу о противопожарной безопасности. К чтению иногда прислушивался и Ван Мутун. Однажды он услышал, как его сын спросил:

— Дядя Ли, а что значит «бежать против ветра»?

— Это значит, когда пожар близко, прорваться через огонь на уже обгоревшее место, чтобы спастись.

— А если дом загорится?

— Надо сидеть в ручье, там, где нет больших деревьев…

— Ты чего каркаешь, паразит? — не выдержал Ван Мутун и, прогнав ребятишек, спросил: — Может, хочешь устроить пожар?

Однорукий онемел от обиды.

— Иначе зачем бы ты стал болтать каждый день, как спастись от огня?

— Товарищ Ван, стихия не шутит, она беспощадна…

— По-твоему выходит, что этой зимой у нас непременно будет пожар? — В голосе Ван Мутуна звучало презрение. Он вырвал у Однорукого книжку, полистал и швырнул обратно, потому что читать не умел. — Какой-нибудь гадальщик вроде тебя писал эту дрянь!

— Товарищ Ван, засуха ведь давно, а в горах полно сухих листьев, по радио каждый вечер передают… — Однорукий почему-то всегда пасовал перед лесником, чувствуя собственное бессилие.

Услышав о радио, Ван с издевкой захохотал:

— А что по твоему черному ящику больше не передают жалостливые песни о влюбленных?

Однорукий не знал, смеяться ему или плакать, и в конце концов заискивающе сказал:

— Товарищ Ван, у меня есть предложение… Нельзя ли все-таки попросить руководство лесничества срочно восстановить телефонную связь? А то случись что-нибудь, так даже сообщить невозможно…

— Хочешь, сам проси, даю тебе два дня! Посмот-

рим, как лесничество к нам бригаду пришлет! — Ван окинул насмешливым взглядом Однорукого и зевнул. — Не думай, что ты один умный. Я здесь больше двадцати лет, и ни разу пожара не видел!

После ужина лесник, по обыкновению, зашел в хижину к Однорукому, но не стал его, как всегда, поучать, считая одним из «пяти вредных элементов», а обратился вполне приветливо:

— Послушай, Ли, ты ведь пойдешь в лесничество? Так сделай заодно для меня одно дело…

Он протянул чистый лист бумаги и попросил написать от его имени заявление в партию. Не успел Однорукий опомниться от удивления, как Ван прокусил себе палец и поднял его, точно маленькое окровавленное знамя.

— Вот, макай и пиши: «Дорогие руководители лесничества, я пишу заявление кровью и прошу принять меня в партию… Человек я некультурный, неотесанный, но сердце у меня красное, партию я всегда слушаюсь…»

Ли Синьфу поспешно отыскал старую кисточку и стал быстро писать, стараясь не смотреть на кровавые иероглифы. Он весь дрожал и покрылся холодной испариной.

Когда заявление было написано, Ван Мутун

аккуратно сложил его и сунул в карман. Он все же не решился доверить такой важный документ ненадежному в политическом отношении человеку.

На следующее утро лесник, даже не забинтовав палец, устроил за огородом пал, собираясь расширить приусадебный участок. Он был трудолюбивым и всегда обрабатывал не меньше шести соток. Кроме того, начальство требовало, чтобы они с женой откармливали за год трех свиней, коптили и сдавали в лесничество, а что сверх того, могли оставить себе. Ван не интересовался ни идеями, ни принципами, но верил в партию, как в самого себя, и не сомневался, что в ней достойны быть лишь такие, как он. Чтобы удобрить землю, он собрал за огородом сухие листья и прелую траву и поджег. Он делал так ежегодно и нынешний год не считал исключением.

Но Однорукого это беспокоило. Он не посмел вмешаться, однако ночью спал плохо и видел страшный сон, будто вокруг полыхает огонь, похожий на алую Зарю или на красную реку. Раза два он тихонько вставал, срубал молоденькое деревце и дежурил возле костров, зажженных днем Ваном. Лицо, руки и ноги ломило от ветра и холода, но он продолжал дежурить. Зачем ему

это понадобилось? Ведь не его кровью было написано заявление в партию, а если бы и его, ему все равно никто не поверил бы.

На кострах плясали языки пламени, искры взлетали в самое небо. Достаточно нескольким искоркам попасть на сухие ветки и листья, и пожар понесется со скоростью ветра… Может, сообщить об этом в лесничество? Пусть восстановят телефонную связь и пришлют инспекцию, чтобы вправить мозги Ван Мутуну. Однорукий тихонько поделился своими мыслями с Пань Цинцин, она кивком головы выразила согласие. В последнее время глаза ее не просыхали от слез. Она питала к Однорукому самые противоречивые чувства: жалость, обиду, а порою и ненависть.

Днем, когда он варил себе еду на дорогу, к нему неожиданно вошла Цинцин, впервые за все это время открыто нарушив строжайший запрет мужа. Ли Синьфу поспешно встал и не знал, куда себя девать. Цинцин, видимо, пришла прямо с огорода. Она была в тонкой рубашке, плотно облегавшей тело, пуговица на вороте расстегнулась, обнажив часть полной, соблазнительной груди.

— Чего тебе, сестрица Цинцин? — робко спросил Однорукий, не смея поднять головы.

— Не бойся, я не горная ведьма! Ты иногда ка-

жешься мне умным, а иногда очень глупым… — ответила женщина, видя его замешательство. Жалость в ее словах сливалась с любовью, почти материнской любовью.

— Сестрица Цинцин, ты…

— Я пришла спросить, не поможешь ли мне с одним делом в лесничестве?

Тут только Однорукий успокоился и взглянул прямо на Пань Цинцин.

— Вот сто юаней. Купи нам приемничек, как у тебя, а еще зеркало, туалетное мыло и крем, которым ты мажешь лицо от мороза. И три зубных щетки — мне, Сяотуну и Сяоцин. И антенну — я хочу поставить ее у нашего дома…

Теперь уже Однорукий не мог оторвать глаз от женщины, до того была она хороша, словно лесная фея. Крепкие ноги, сильные руки, упругая грудь — все дышало здоровьем и молодостью, было воплощением женственности.

— Ты чего так на меня смотришь? Может, что дурное задумал? — игриво склонив голову, спросила Цинцин и покраснела.

— Ты такая красивая, сестрица Цинцин, я… — точно завороженный, произнес Ли Синьфу и тут же спохватился, побагровел. — Ты хочешь истратить столько денег, не боишься, что муж…

Цинцин весело на него глядела, но при слове «муж» почувствовала себя так, будто ей в бочку с медом кинули пригоршню соли.

— Боюсь? Целых десять лет боялась! Хватит! Он каждую зиму зверей ловит, весной меха продает, да еще две наши зарплаты почти целенькими оставляет — весь сундук десятками выложил… Он деньги тратить не любит, да и не умеет… Что мне его бояться! Лучше умереть, чем жить с ним в этой дыре!

Ее глаза наполнились слезами.

— Сестрица Цинцин, — срывающимся голосом заговорил Однорукий, — не беспокойся, я тебе все куплю, только не плачь! Я знаю, ты несчастна… Мне очень жаль тебя, а себя я ненавижу — да, ненавижу! Не плачь, ладно? А то муж увидит и снова тебя изобьет, да и меня изругает…

— Ну что ты за человек! Хуже плюща на доме! — крикнула Цинцин и, с упреком глянув на Однорукого, пошла прочь.

— Сестрица Цинцин, погоди! — кинулся за ней Ли Синьфу. Он вытянул вперед свою единственную руку, словно хотел обнять Цинцин, но вместо второй руки у него болтался пустой рукав.

Когда Ли Синьфу добрался до лесничества, он увидел, что там всюду развешаны новые лозунги:

«Выступим против реставрации правого уклона!», «Критиковать буржуазию внутри партии!» — и все в таком духе. В просторном кабинете политотдела шумели кадровые работники и простые рабочие, одни входили, другие выходили. Однорукий решил, что ему лучше всего доложить об обстановке заведующему политотделом Вану, потому что именно он в свое время послал Однорукого в Зеленый лог. Он долго ждал его у кабинета и лишь перед самым обеденным перерывом бочком протиснулся в комнату.

Заведующий уже собирался уходить, но при виде Однорукого остановился.

— А, это ты, Ли Синьфу! Зачем пришел? — довольно приветливо спросил он, разминая затекшую поясницу.

Однорукий постарался как можно короче и убедительнее изложить ему свою просьбу насчет телефона.

— Восстановить телефонную связь, которая бездействует уже больше десяти лет? — удивленно переспросил заведующий. — Это лесник Ван просит? Ах, ты! Вот что, Ли Синьфу. Всю ответственность за Зеленый лог мы возложили на лесника. Он хоть и неграмотен, но в политическом отношении благонадежен. Без малого

двадцать лет ударник. А восстановление телефона требует средств, материалов, этого одними призывами не сделаешь. Сейчас у нас в стране разворачивается новое большое движение — борьба против реставрации правого уклона. Все силы должны быть брошены на это. Понятно?

Боясь, что заведующий уйдет и не дослушает его, Однорукий торопливо попросил хотя бы послать человека для проверки противопожарных мер в Зеленом логе и сказал, что во время такой засухи лесник устраивает палы. Заведующий снова удивился, но вскоре поскучнел:

— Я вижу, Ли Синьфу, ты изрядно прогрессировал за это время. И все-таки я вынужден повторить: лесничество полностью доверяет Ван Мутуну! А ты должен ему подчиняться и под его руководством перевоспитываться. И еще… У лесника молодая красивая жена, а ты, глядя на нее, пускаешь слюни. Опомнись, пока не поздно, а то как бы он тебе последнюю руку не обломал!

Ясно? Ты человек образованный и еще можешь подняться…

Так Однорукий не только ничего не добился, но еще и получил обидное нравоучение. Совершенно очевидно, что руководство ему не доверяет. Жить так не имеет никакого смысла, он для них

хуже паршивой собаки, которую все гоняют и бьют!

Оставшиеся полтора дня Однорукий одиноко бродил по улочкам лесничества, лесопитомнику, сельпо. Он готов был возненавидеть своих родителей за то, что они дали ему образование, возненавидеть себя — за то, что не может превратиться в неграмотного мужлана и влиться в ряды таких, как Ван Мутун. Ведь в современном мире бескультурных превозносят, а культурных считают реакционерами. Лишь подобные Ван Мутуны считаются истинными революционерами, они встречаются на каждом шагу… Тут он вспомнил о Зеленом логе, о Пань Цинцин и ее детях. Хоть они по крайней мере на него не косятся, не считают преступником. Эта мысль немного отрезвила Однорукого. Он получил масло, соль и рис, которые полагались им за два месяца, купил все, что просила Пань Цинцин, взял в столовой килограмм пресных пампушек и утром пустился в обратный путь.

К вечеру он дошел до Черной балки. Еще один перевал — и Зеленый лог, он сможет добраться туда дотемна. Видимо, Ван Мутун все еще выжигал свое поле — из-за перевала валил дым. Но почему такой густой? Нет, это не похоже на

обычный пал!.. Однорукий очень устал, но отдыхать было некогда. Он рвался вперед, к перевалу, и чем труднее становилось идти, тем сильнее влекло его туда страшное предчувствие. Он уже чувствовал запах паленого, слышал треск огня. О небо, неужели горит Зеленый лог? Начало смеркаться, но за перевалом что-то алело. Что это: заря, вечернее солнце или лесной пожар?!

Он бежал вверх по горной тропинке, весь взмокший, пот заливал глаза. Какая-то неведомая сила вытолкнула его на перевал, и тут он едва не потерял сознание. Зеленый лог был объят пламенем. Подхваченные ветром огненные языки, как тысячи исполинских сороконожек, бешено извиваясь, карабкались на склоны. Вековые деревья пылали словно факелы, скалы с оглушительным грохотом трескались от жара. Казалось, между ними летают огненные шары, раскаленные стрелы, красные змеи.

— Сестрица Цинцин, Сяотун, Сяоцин! — закричал Однорукий и, швырнув коромысло с поклажей, ринулся в горящую долину. Он не мог бросить их — самых родных для него людей. Он бежал отчаянно, долго, пробираясь сквозь клубы удушливого дыма, и вдруг увидел женщину, растрепанную, в рваной одежде.

— Сестрица Цинцин, это ты?! Что с тобой? Что тут случилось?

Он был вне себя от радости, что нашел ее, а она, завидев его, умоляюще протянула вперед руки и упала. Он опустился на колени, обнял ее.

— Сестрица, ты меня не узнаешь? Это я, Ли Синьфу!..

В горле у него пересохло, и он не то кричал, не то хрипел, не то плакал. Наконец Цинцин очнулась и открыла глаза.

— А, это ты? Я все-таки встретила тебя... — пробормотала она и, упав в его объятия, зарыдала.

— Сестрица, не плачь, скажи лучше: откуда этот пожар? И где твои дети и муж?

— Помоги мне встать... — сказала Цинцин и, с трудом поднявшись, заковыляла вверх по склону. Однорукий ее поддерживал. — В тот день, когда ты ушел, этот проклятый... этот злодей... полез в сундук и, обнаружив, что не хватает ста юаней, заявил, будто я подарила их любовнику... Как я ни объясняла ему, все без толку. Он чуть не до смерти меня избил, живого места не оставил, да еще запер, проклятый, в твоей хижине, двое суток без глотка воды сидела... Потом ночью оторвала одну доску и вылезла, смотрю — горы горят, все из-за его чертова пала! Теперь и звери все сгорят!

— А дети где?

— Когда начался пожар, этот проклятый, видно, схватил детей и сундук с деньгами и пошел по ручью — ты же сам ему такой способ подсказал! — Цинцин перестала плакать, пригладила волосы, затем убрала со лба Однорукого мокрую от пота прядь.

Они дошли до перевала, подобрали брошенные вещи, и тут Однорукий вспомнил, что у него есть целый килограмм пампушек и фляга воды. Цинцин с жадностью набросилась на пампушки, но Однорукий дал ей съесть только четыре, все больше поил. Она прижалась к нему и закрыла глаза.

Ли Синьфу, обняв ее, продолжал ошеломленно смотреть на языки пламени, пляшущие под горой, и думал, что там, за другой горой, есть Долина раздумий, где растет много редких елей и золотолистых смоковниц. От специалистов из лесничества он слышал, что это реликтовые деревья, оставшиеся еще со времен ледникового периода и сохранившиеся в других местах земного шара только в виде окаменелостей. В сердце Ли Синьфу неожиданно просветлело.

— Сестрица Цинцин, — сказал он. — Пока пожар не перекинулся на другую сторону горы, давай пройдем по хребту на тот склон! Если нам удастся

сохранить леса в Долине раздумий, будет хоть чем перед лесничеством потом отчитаться…

Он взглянул на тропинку, ведущую к лесничеству, будто навсегда прощаясь с ней.

— Как хочешь. Теперь куда ты, туда и я! — ответила Цинцин. После еды и короткого отдыха к ней вернулись силы.

Пожар в Зеленом логе был обнаружен военными радарами. С радарного поста сразу позвонили в лесничество Туманных гор, там всполошились, послали большую бригаду спасателей, но по крайней мере треть девственных лесов Зеленого лога успела выгореть. Обугленные стволы с черными ветками стояли как грешники, вырвавшиеся из ада.

Через неделю в лесничестве объявился Ван Мутун с детьми и сундуком, неведомо где скрывавшийся. А Пань Цинцин и Ли Синьфу исчезли. Лесник, размазывая по лицу слезы, уверял, что пожар устроили его жена с любовником, а он тут ни при чем. Почти двадцать лет он ударник лесничества! И он совал начальству заявление с просьбой принять его в партию, написанное кровью. Вану поверили и послали в Зеленый лог народных ополченцев. Те много дней прочесывали долину, но обнаружили лишь останки

сгоревших зверей. О судьбе Пань Цинцин и Ли Синьфу никто ничего не знал.

В то время лесничество, как и вся страна, было занято великой классовой борьбой, от которой, как утверждали, зависит будущее партии и государства. Чтобы не мешать грандиозной кампании, направленной против реставрации правого уклона, и не подрывать основы классовой борьбы, администрация лесничества доложила в вышестоящие инстанции, что классовые враги устроили в горах пожар, который уже потушен кадровыми работниками и «революционными массами». На том дело и закрыли. Правда, Ван Мутун почему-то ни за что не хотел возвращаться в Зеленый лог. К счастью, в тот момент в другом месте умер лесник, и туда направили Ван Мутуна с детьми. Там он вскоре женился на одной вдовушке и зажил, как прежде: чуть темнело, укладывался с ней в постель. Вдовушка эта тоже родила ему сына и дочь, со временем дети подросли и переженились. В новом доме Ван Мутуна воцарилась настоящая семейная идиллия.

После того как была свергнута преступная «банда четырех», в лесничестве стали поговаривать о том, что Пань Цинцин и Однорукий, если они живы и где-нибудь прячутся, могут, пожалуй,

вернуться. Более того, считали, что их могут даже реабилитировать, как невинно пострадавших. А почему бы и нет? Даже обгоревшие деревья Зеленого лога пустили новые молодые побеги!

ДЭН ЮМЭЙ
ПОХОЖДЕНИЯ НАУ
© Перевод В. Аджимамудова

Дэн Юмэй (литературные псевдонимы — Ю Мэй, Фан Вэнь) родился в 1921 году в уезде Пинъюань провинции Шаньдун. В 1942 году служил в армии, с 1944 по 1945 год работал в Японии. После 1945 года состоял в бригаде культпросвета, работал корреспондентом. Публикуется с 1950 года. В 1952 году поступил в аспирантуру Центрального Литературного научно-исследовательского института.

Ныне он — профессиональный писатель, член Пекинской Ассоциации писателей. Дэн Юмэй — автор повести «У края пропасти», рассказов и стихов. Его повести «Женщины, догонявшие свою часть», «Похождения Нау» получили премии на Первом и Втором Всекитайских конкурсах повестей. Рассказы «Наш командир», «Хмельные беседы» завоевали премии всекитайских конкурсов 1978 и

1979 годов. «Похождения Нау» стали лучшей повестью 1982 года.

1

Дед юного Нау, начальник Управления двора, был человеком не очень просвещенным. Тогда говорили: «Если дом новый, а древних картин в нем нет, значит, в доме живет начальник Управления двора». Господину Фу, отцу Нау, после продажи дома денег хватило всего на несколько лет. Еще семи лет ему был дарован чин «придворного охранника пятого ранга». А какой из него охранник, если он даже курицы боялся. Спасла его Синьхайская революция[22]. К тому времени, как Цинская империя была свергнута, он едва достиг возраста, когда пора поступать на службу.

Пока господин Фу жил богато, дом был полон благородных мужей и знаменитых актеров. Он увлекался голубями, держал лошадей, играл в заморский бильярд, клеил бумажных змеев. Особую страсть питал к театру — пекинской опере, куншаньской драме. Он играл вместе с род-

[22] Примечания: 22

Синьхайская революция — первая китайская революция 1911–1913 гг., в ходе которой была свергнута маньчжурская династия Цин (1644–1911 гг.).

ственниками императорской фамилии в «Лагере Жемчужного занавеса» и в других спектаклях. Его постоянным аккомпаниатором был известный музыкант Хо Большой, который не только читал ему пьесы, учил петь, но и выполнял обязанности клакера — громче всех кричал «браво!». Бывало, господин Фу едва споет «наставники престолонаследника сдвигают бокалы», как музыкант бросает трехструнку и начинает аплодировать. Однажды невыспавшийся, осипший господин Фу заметил подозрительно музыканту: «А мне кажется, спел я неважно?» Но Хо Большой продолжал невозмутимо щипать струны, твердя, будто пел тот прекрасно.

После смерти жены господин Фу объявил, что бросает все и целиком посвящает себя сыну. Музицировать он перестал, но то и дело заботился о костюмах актеров, выкупал заложенные в ломбард вещи сказительниц. Павильон для гостей в его саду никогда не пустовал. Короче говоря, Фу был так занят, что до сына руки не доходили.

Впрочем, Нау и не нуждался в опеке, у него был свой круг друзей: дети князей, канцлеров и другие отпрыски аристократических семей. Они расхваливали поваров и портных друг друга, устраивали петушиные бои и собачьи бега,

любовались цветами, ходили в театр. По части забав они могли дать фору старикам — освоили и модные развлечения: коньки, танцы, разгуливали по центральной улице Ванфуцзин — Княжий двор, глазели на женщин, затевали пирушки в чайной «Благодатный дождь». Деньги текли как вода. К тому же на всякий случай под рукой была бронза, фарфор, книги, картины. В задних комнатах — драгоценные шкатулки. Пару всегда можно вынести потихоньку и отдать певичкам или мальчикам.

Постепенно Нау спустил все антикварные вещи, а отец его — все остальное, словно отрезая по кусочку от соевого творога. Кредиторы подали в суд и отняли дом. Только тогда отец и сын поняли, что из заклада им не вернуть ни единого медяка — не осталось даже на кусок черствой лепешки.

2

Уже в преклонных годах дед Нау обзавелся наложницей. Ее звали Цзы Юнь, она была на несколько лет моложе господина Фу. Мать перед смертью строго наказала сыну о ней позаботиться. Господин Фу от своих щедрот отвел Цзы Юнь дворик, где раньше стояла конюшня, но при этом объявил, что отныне знать ее не желает.

Цзы Юнь, дочь крестьянина-арендатора, была приучена к тяжелому труду и жизни впроголодь. Заимев свой угол, она решила подыскать постояльцев, но не первых попавших, а таких, чтоб не было лишних пересудов. Сдала комнату пожилой чете — доктору Го с женой.

Госпожа Го болела чахоткой, осенью, когда с деревьев облетела листва, она слегла и больше не поднималась с постели; пришлось Цзы Юнь не только обслуживать доктора, но и ухаживать за больной. Звенели тазы и чашки, в доме все перевернулось вверх дном. Цзы Юнь терпеливо варила супы, готовила лекарства, стирала, чистила, скребла. Госпожа Го, не зная, как ее отблагодарить, однажды подозвала Цзы Юнь и взяла ее за руку.

— Трудно вам одной, а тут еще я свалилась! Вы уж не сердитесь! Поговорим откровенно, как сестры. Мы будем платить вам больше. Конечно, это делу мало поможет, ведь доброту не измеришь деньгами!

У Цзы Юнь увлажнились глаза, она присела на кровати.

— Сестра, я не бедствую, и лишние деньги мне ни к чему. Печалит меня лишь то, что мой господин пожил со мной всего несколько лет, а теперь

я никому не нужна, не о ком мне позаботиться. Когда я пою вас бульоном или подаю лекарства, у меня теплеет на душе. Это не вы обязаны мне, а я вам! Ухаживая за вами, я чувствую, что кому-то нужна, а это важней любых денег!

Госпожа Го протянула еще два года и теперь чувствовала, что дни ее сочтены. Однажды, выпроводив мужа из комнаты, она снова подозвала Цзы Юнь. Приподнявшись на постели, попыталась отвесить ей поклон. Цзы Юнь испуганно ее удержала.

— Что вы делаете? Побойтесь бога!

— Надо соблюсти ритуал. Я должна сказать тебе что-то очень важное.

— Ведь мы же как сестры! Зачем же так говорить!

Захлебываясь и давясь слезами, госпожа Го стала рассказывать, что всю жизнь они с мужем прожили в согласии, ей не в чем себя упрекнуть, а вот теперь она сплоховала. Как подумает, что оставляет его одного, сердце рвется на части. Он ведь из тех, о ком можно сказать «с лапами утки и клювом орла» — только есть горазд. Ремесло свое знает, а о себе позаботиться не может, даже пуговицы сам застегнуть не умеет. Цзы Юнь такая добрая, отзывчивая! Если бы она согласи-

лась взять на себя заботу о старике, госпожа Го неустанно молилась бы о ней у желтых источников[23].

— Вы не тревожьтесь о муже, сестрица, — отвечала Цзы Юнь, — я не оставлю его. А чтобы вас успокоить, давайте выберем день, пригласим соседей, кого-нибудь из управы, накроем стол, и перед всеми я отобью поклоны предкам семьи Го, пусть ваш супруг станет мне названым братом!

Госпожа Го была крайне растрогана, а доктор, узнав об этой истории, преисполнился глубокого уважения к Цзы Юнь. В праздник Середины лета[24] Цзы Юнь, взяв корзинку со сладкими пирожками, обернутыми в пальмовые листья, отправилась к господину Фу, единственному родному человеку, за советом. Но господин Фу заявил:

— С тех пор как умер отец, нас ничто больше не связывает. Хоть замуж выходи, меня это не касается!

— Воля ваша, как прикажете. А милостей старого господина я никогда не забуду, — глотая слезы,

---

[23] Примечания: 23

Желтые источники — по представлениям китайцев, загробный мир.

[24] Примечания: 24

Праздник Середины лета — 5-го числа 5-го месяца по старому календарю.

проговорила Цзы Юнь.

Вскоре состоялась церемония, связавшая Цзы Юнь с родом Го. В реестре проживающих она числилась под фамилией На, поэтому за столом Цзы Юнь поднесла чиновнику красный сверток с деньгами и попросила к знаку На прибавить иероглиф Го. Теперь она официально стала сестрой доктора Го.

У госпожи Го сразу полегчало на сердце. Но вскоре душа ее на журавлиных крыльях отлетела в западные края. Цзы Юнь осталась полной хозяйкой в доме, теперь люди уважительно называли ее госпожой.

3

Когда господин Фу умер, Цзы Юнь, посоветовавшись с доктором, решила взять Нау в дом. «Нельзя думать только о своей выгоде, — сказала она, — забывая о долге, мы прогневим Будду, и соседи будут тыкать нам пальцем вслед!» Доктор безропотно согласился с названой сестрой. Он долго разыскивал Нау и наконец обнаружил его в гостинице у мукомольни. Приглашая Нау в дом, доктор ожидал от него слез умиления и благодарности, но тот вдруг заартачился:

— Как! Бывшую наложницу называть госпо-

жой! Нет, не желаю!

У доктора Го не поднялась рука дать наглецу пощечину, он повернулся и ушел. Дома доктор сказал, что Нау живет безбедно и зазывать его в дом не стоит. Но Цзы Юнь хотелось узнать подробности, и она заставила доктора рассказать все. Выслушав его, госпожа Цзы Юнь вздохнула:

— Ох уж эта дурацкая спесь! Пусть зовет меня, как хочет! Но если я не позабочусь о Нау, буду виновата перед его предками.

Не прошло и нескольких дней, как Нау сам заявился. Он с почтением называл Цзы Юнь госпожой, а доктора Го дядей. Растроганная госпожа Юнь попеняла ему:

— Мы ведь звали тебя, отчего не приходил?

— Не обижайтесь, был очень занят. Задумал с приятелем одну вещь продать. Надеялся выручить что-нибудь и купить вам подарок, но ничего не вышло.

— Как тебе не стыдно! Ведь мы родня, к чему эти церемонии. Пришел, и ладно. Переезжай к нам совсем, нечего мыкаться одному.

Нау и вправду незадолго до этого собрался кое-что продать. А дело было вот как. В Тяньцзине жил один немец. Подзаработав в Китае денег, он перед отъездом решил приобрести что-нибудь

из фарфора. Стал ходить по антикварным лавкам, но не знал, на чем остановиться. Однажды Нау, что-то закладывавший в лавке, увидал его. Подождав немца у входа, Нау представился ему внуком начальника Управления двора и предложил купить кое-что из фамильного фарфора. Но признался, что продает фарфор втайне от домашних и приходить к нему не стоит. Договорились встретиться через три дня в гостинице за рекой. На самом деле Нау бедствовал, фарфора у него не было, это его приятель Со Седьмой вынес из дому старинные чашки «Древний месяц». А продавать боялся, чтобы не узнали родные. Нау предложил продать вещи иностранцу, который увезет их из страны, чтобы все было шито-крыто. С иностранца можно побольше сорвать. Нау взялся провернуть это дело за мизерное вознаграждение. Но прежде надо пустить немцу пыль в глаза — придется Со Седьмому снять в гостинице номер и выкупить из ломбарда одежду Нау.

Кто мог знать, что Со Седьмой проболтается и о немце узнает Ма Ци, хозяин антикварной лавки «Храм старины». Он уже слышал, что Со продает неплохие вещицы, и давно хотел прибрать их к рукам, но тот заломил цену. А фарфор был на редкость — настоящий «Древний месяц», под

стать его чашечкам того же обжига.

Однажды, когда немец снова появился в лавке, Ма Ци велел поставить на чайный столик пару чашек фарфора «Древний месяц». В лавке иностранец ничего не выбрал, и Ма Ци пригласил его в гостиную. Небрежным жестом разлил чай в фарфоровые чашечки. Немец ахнул:

— Какая прелесть! На полках у вас нет таких чашек!

Ма Ци расхохотался.

— Понравились? Могу продать. Они намного дешевле любой из тех, что вам не понравились. Да они и медяка не стоят!

— Вы шутите?

— Нисколько. Дело в том, что на полках подлинный старинный фарфор, а это — подделка! Когда покупаете фарфор, советую глядеть не только на внешний вид, но и постучать легонько, прислушаться к звучанию, ощупать дно. — Взяв с прилавка вазу, Ма Ци стал демонстрировать ее иностранцу, столько всего говорил, что окончательно запутал того. В конце концов Ма Ци велел завернуть чашки и протянул их немцу:

— Позвольте преподнести вам на память. Жаль, конечно, что вы ничего у меня не купили, но мы останемся друзьями, а это самое главное.

Немец взял чашки и дома тщательно рассмотрел их со всех сторон — теперь он хорошо знал, что такое «поддельный фарфор». Поэтому, когда в гостинице Нау достал из саквояжа свой фарфор, иностранец усмехнулся, он сразу увидел, что фарфор «не настоящий». Точно такие чашки ему подарил Ма Ци. Однако из вежливости он все же спросил о цене, — ему назвали огромную цифру. «Нет», — решительно произнес немец по-английски и удалился. Довольный своей прозорливостью и тонким вкусом, немец скупил у Ма Ци все его побрякушки и укатил на родину, будучи в полном восторге от своей коллекции «китайского фарфора».

Затея друзей провалилась, а Со Седьмой заявил, что виной всему нерасторопность Нау. Со потребовал назад свои деньги и отказался платить за гостиницу. Нау опять заложил одежду и бежал под крылышко госпожи Цзы Юнь.

Спустя некоторое время Ма Ци купил за полцены чашки Со Седьмого, а когда в доме Со спохватились, было уже поздно — фарфор за огромную сумму уплыл к тяньцзиньским агентам экспортной торговли.

4

Цзы Юнь всегда благоговела перед господами. Переезд Нау восприняла как великую честь для себя. Не удивительно, что она дрожала над ним, словно над яйцом феникса, и Нау, скитавшийся раньше по чужим углам, перед «бывшей наложницей» не преминул распушить крылышки. Как говорится, «пусть осел сдох, зато повозка цела» — свои барские замашки он сохранил и в нищете. Испечет Цзы Юнь лепешки покрупнее — не желает есть, соленья порежет не достаточно мелко — они, видите ли, ему в горло не лезут.

Госпожа Юнь выкупила всю заложенную Нау одежду. Теперь, как в былые годы, он щегольски менял ее трижды в день. Два раза не надевал, бросал в стирку. Если увидит морщинку, злится, хмурит брови:

— Это что, корова жевала? Не надену!

Цзы Юнь трудилась не покладая рук с утра до вечера.

Доктор Го переселился в заднюю комнату, он едва терпел присутствие Нау и старался встречаться с ним как можно реже. Но однажды все же заговорил с ним:

— Вот что, молодой человек, сам знаешь, мы

уже старики, считай, одной ногой в могиле, а тебе еще жить да жить, пора тебе подумать о будущем. Теперь у тебя нет «железной чашки риса» — императорского жалованья. Нечего ждать манны небесной. Если хочешь, обучу тебя своему ремеслу. Правда, врачевание не больно прибыльное дело, но на пропитание всегда можно заработать. Хватит строить из себя барчука, пора взяться за ум!

Нау поморщился:

— Ох, стоит мне увидеть «Рифмованные рецепты» или «Трактат о лекарствах» — голова начинает трещать, нет ли чего попроще? Скажем, народные средства или какие-нибудь там заклинания?

— Творить заклинаний я не умею, а народную медицину знаю, чем бы ты хотел заняться?

— Абортами. Говорят, барышни из знатных семей, попав в затруднительное положение, готовы за аборт сотню отвалить!

Доктора чуть удар не хватил; в те годы еще не возникла проблема сокращения рождаемости, аборт считался преступлением. С тех пор доктор Го больше не заговаривал с Нау.

5

Нау у Цзы Юнь не прожил и месяца, хотя ни в чем не знал нужды, томила скука и однообразие. Поэтому, получив выкупленное платье, он сразу отправился с визитами к родственникам и знакомым в поисках какого-нибудь заработка. Нау повезло, через Со Седьмого ему удалось познакомиться с редактором журнала «Левкои» Ма Сэнем. Нау взяли корреспондентом, узнав, что он умеет фотографировать и для него открыты врата Грушевого сада — мир актеров и сказителей.

Журнал печатал рекламные объявления, театральные рецензии, закулисные новости, романы о рыцарях и любовниках, сенсационные сообщения и всевозможные сплетни.

Ма Сэнь и его заместитель Тао Чжи являли собой полную противоположность друг другу. Ма Сэнь носил европейский костюм и ботинки, а Тао Чжи — синий холщовый халат. Ма Сэнь брился три раза в день и через два дня завивался, Тао Чжи вообще не брился, носил длинные волосы, откидывая их за уши, и усы. Редакция располагалась на Угольной улице. В комнате стояли два стола и несколько стульев, на полу валялись груды газет и журналов. Нау пригласили

в закусочную на Дверной улице, где за порцией жаркого из бараньей требухи сказали, что жалованья и больших гонораров получать он не будет, а транспортные расходы пусть берет на себя. Но зато он приобретет значок корреспондента и полную свободу действий.

Слушая их, Нау думал: «Издеваются или за дурака меня принимают?»

Через месяц-другой, узнав поближе сослуживцев, Нау приобрел кое-какую сноровку. Оказалось, что и на рекламных объявлениях можно заработать, если потрудиться. Побегав по городу, Нау, например, узнавал, что на постоялом дворе «Бычий рог» пустуют комнаты или в ресторане «Озеро Изобилия» подают новые блюда. Он быстро сочинял «информацию» о том, что в комнатах «Бычьего рога» завелась нечисть, а в кушаньях «Озера Изобилия» плавают мухи. Показывал заметку хозяевам и небрежно ронял, вот-де поступила несколько дней назад, но он пока придержал, разве можно не предупредить старого знакомого? Хозяева, боясь скандала, сразу раскошеливались, и Нау торжествовал.

6

В это время в «Левкоях» с большим успехом печатался роман Сладко Спящего под названием «Драгоценная яшма из бедного дома». Автор почему-то не выслал очередной главы. Тао Чжи послал Нау к автору взять рукопись и отнести гонорар.

Спящий проживал по адресу: Река Лотосов, 10. Начинавшаяся сразу за Каменным переулком, Река Лотосов представляла собой улочку в несколько домов. Нау увидел дом номер десять — двухэтажное строение старинного типа с двориком небесный колодец и узкой шаткой лестницей с торца. У каждой комнаты возле двери виднелись кучи угля, корчаги с водой, совки для мусора. Нау стоял, озираясь по сторонам, когда вдруг увидел, что с лестницы спускаются двое — мужчина и женщина. Женщина с завитыми волосами и подведенными бровями в кофте с короткими рукавами, узорчатом халате, вышитых атласных туфлях. Мужчина средних лет в серой куртке, матерчатых туфлях с кожаными носками и широкополой шляпе. Увидев Нау, они, почему-то переглянувшись, остановились.

— Вам кого? — спросил мужчина.

— Мне нужен писатель Сладко Спящий.

— А… — несколько разочарованно протянул мужчина и показал подбородком куда-то вниз под лестницу. — Вам туда.

Нау, согнувшись, залез под лестницу и увидел за бамбуковой занавеской небольшую комнату. У входа висела деревянная табличка с надписью «Кабинет Сладко Спящего». Комната делилась на две половины, дальняя половина скрывалась в полумраке. Сразу бросался в глаза роскошный письменный стол, инкрустированный перламутром, на котором в строжайшем порядке разместились газеты, книги, коробки сигарет, пепельница, тушечница, стаканчик для кистей; рядом со столом — два кресла и кушетка. На звук шагов появился высокий худощавый человек с бледным лицом и свисающими усами.

— Вы к кому?

— Можно видеть господина Сладко Спящего?

— Это я, проходите. Откуда вы?

— Из журнала «Левкои», меня прислали за вашей рукописью.

— А, присядьте, пожалуйста, в последнее время что-то много работы, извините, совсем забыл о вас.

— Мы ждем продолжения вашего романа.

— Да, да. Пожалуйста, подождите, сейчас же и напишу. На чем я там остановился?

— Гм… — Нау смутился, роман он не читал.

Спящий улыбнулся.

— Не помните? Ничего, ничего. У меня есть книга учета.

Он сел за столик и выудил из кучи бумаг бухгалтерскую книгу в синей обложке, полистал.

— Вы печатаете «Полет двух ласточек»?

— Нет, «Драгоценную яшму из бедного дома».

— «Драгоценную яшму»?

Спящий долистал книгу до конца, отбросил, взялся за другую.

— Куда же она подевалась? А, вспомнил!

Он отложил книгу, достал из ящика стола толстую рукопись и, отыскав страницу, заложенную коробкой от сигарет «Золотое копье», улыбнулся.

— Вам повезло, писать мне ничего не придется, уже есть, остается переписать.

Писатель тут же достал лист чистой бумаги и зашуршал кистью. Нау, получивший соответствующие указания, держал в руке юаневую бумажку. Как только рукопись была готова и вложена в конверт, деньги легли на стол. Спящий, взглянув на них, повернулся и закричал в дверь:

— У нас гости, завари чай!

В комнату вошла женщина лет пятидесяти, с круглым лицом и замысловатым узлом волос на голове. Поклонившись Нау, она вежливо проговорила:

— Очень рады, добро пожаловать.

Взяв чайник и ловко смахнув со стола юань, она ушла за водой. Нау поинтересовался у Спящего:

— Сейчас многие журналы печатают ваши романы. Вы работаете сразу над несколькими?

— Да, пишу одновременно восемь-девять романов.

— Скажите, пожалуйста, вы пишете до конца и лишь потом публикуете?

— Нет, напишу часть и отдаю, зато деньги проедаю не сразу.

— Но «Драгоценная яшма», похоже, уже дописана?

— Ну, это, видите ли, совсем другое дело. Работа, так сказать, в две руки.

Спящий объяснил, что иногда авторы не могут напечатать свои произведения, не хватает связей и популярности; некоторым это и не нужно — они пишут от нечего делать, а вот другие очень нуждаются в деньгах. И вот они, бывает, продают свои рукописи, а Спящий покупает, печатает их по главам и на этом зарабатывает.

Нау был потрясен:

— Значит, славу можно купить, не написав ни строчки?

— Конечно, — убежденно заявил Спящий, — и это не нами начато. В годы династии Мин жил известный драматург Ван Е, так он сам не написал ни строчки!

Нау, решив, что его разыгрывают, саркастически улыбнулся:

— Вот куплю парочку романов и изведаю вкус почета и славы.

Но Спящий говорил серьезно:

— Журналисту популярность нужна, как воздух. Кстати сказать, купленные рукописи приходится править. И в это время можно многому научиться. Опыт приходит не сразу, мастерство растет постепенно, глядишь, в один прекрасный день и сам что-нибудь напишешь.

Слово за словом Спящий предложил Нау купить за сто серебряных юаней приключенческий роман «Меч в карпе». Нау, не имея наличных, сбегал и заложил копию какой-то картины, выдав ее за подлинник кисти Гань Цзяня, и с деньгами поспешно вернулся к Спящему.

— Дайте-ка посмотреть вещицу!

— Болван, соображаешь, что говоришь? Так

огурцы на базаре покупают — там и пощупаешь, и попробуешь, а это роман! Дай тебе — так ты запомнишь сюжет, а покупать не станешь, возьмешь да и сам напишешь. Что мне тогда делать? Нет уж, хочешь — бери кота в мешке, полагаясь на мою честность, не хочешь — не бери.

Нау мялся, не мог решиться. Спящий поглядел-поглядел и как стукнет кулаком по столу!

— Ладно! Будь по-твоему! — Он вытащил из-под кровати рваную коробку от обуви, достал рукопись в красной обертке, постучал ею о косяк двери, выбивая пыль, и протянул Нау:

— Бери, смотри оглавление!

Нау пробежал глазами — интересно, не оторвешься! Но, поглядев на толстую рукопись и прикинув ее вес, опять засомневался:

— Разве его разделишь на сто частей? Возьму за сотню, а выйдет всего тридцать глав…

— Тебе все разом подавай! Сначала добейся известности, заработай авторитет, а когда прославишься — и деньги появятся, у тебя еще все впереди — и богатство, и слава. Бери роман, не пожалеешь, вещь хорошая, успех гарантирую!

Нау наконец решился, заплатил деньги и, сунув рукопись под мышку, отправился в редакцию. Он даже не подумал ее читать, сразу отдал Ма

Сэню. Тот взял, но почему-то тянул целый месяц, в ответ на расспросы Нау что-то мямлил. Нау решил посоветоваться с Тао Чжи. Замдиректора, выслушав его, улыбнулся:

— Что же ты, покупая рукопись, не узнал о правилах публикации?

— О правилах публикации? Разве роман Спящего мы печатаем по каким-нибудь правилам? Выпускаем главу за главой и высылаем гонорар, вот и все правила!

Тао Чжи рассмеялся:

— Сладко Спящий — все равно что известный артист: его появление на сцене встречают овацией. А ты еще как бы актер-любитель, который тратит больше, чем зарабатывает. Такому актеру приходится снимать помещение для спектакля, нанимать оркестр, партнеров, приглашать друзей на обеды, раздавать контрамарки, только тогда он может рассчитывать на успех. Артист-профессионал зарабатывает себе на хлеб, а любитель развлекается, тешит свое тщеславие. Зарабатывать будешь потом, когда прославишься, а пока надо раскошелиться, как говорится, подмазать.

Нау достал сотню юаней и попросил Тао Чжи составить список гостей. Вскоре в банкетном зале

состоялся обед, и вслед за тем роман «Меч в карпе», переименованный в «Башню Ветра», вышел в свет. Роман произвел фурор. Все поздравляли Нау, друзья теперь называли его не иначе как писателем. Нау ликовал, но виду не показывал. От радости он буквально парил в воздухе, не чуя ног под собой, голова кружилась, словно у пьяного. Да, решил Нау, не зря потратил двести юаней. У него потом еще вышла история с копией картины, которую он выдал за подлинник, пришлось продать костюм. Все ерунда! Зато он теперь известный писатель!

Однако счастье Нау оказалось недолгим. После публикации восьмой главы обстановка резко изменилась. Может быть, список Тао Чжи был неполный, и кого-то они упустили, а может, кто-то из зависти вставлял палки в колеса. Неожиданно в газетах появились ругательные рецензии на роман, его не просто критиковали — обливали грязью! Чего только не писали: что это плагиат, что автор создал его «в бреду», а кто-то даже сообщал, что «семья автора в прошлом прибегала к помощи учеников борцовской школы Восьми Триграмм[25], поэтому в романе

[25] Примечания: 25
Восемь Триграмм — разновидность китайской вольной борьбы.

превозносится эта школа и высмеиваются ее соперники — боксеры».

Нау кинулся к Спящему:

— Скажи, какая бомба заложена в этом романе, в нем нарушено какое-то табу? Почему вокруг столько разговоров?

Спящий, разумеется, не читал романа, который он купил за десяток юаней у одного наркомана. Однако, сцепив руки, он заговорил наставительным тоном:

— Разве я не гарантировал тебе успеха? Видишь, я был прав. Прими мои поздравления! Тебя критикуют? Это прекрасно! Не понимаю, почему ты паникуешь, да знаешь ли ты, что в свое время я даже подкупал критиков, чтобы они меня ругали! Подумай сам. Вот роман публикуют, но ведь твое имя упоминается только раз в три дня. Так? А когда пишут рецензии — не важно, хвалят или ругают, — твое имя твердят постоянно, ежедневно, оно у всех на слуху, его уже нельзя не запомнить. Разве ты не знаешь, что в Поднебесной добро и зло уравновешены — кто-то ругает, а кто-то хвалит, это вполне естественно.

Тревога Нау постепенно рассеялась, он приободрился и снова повеселел. Но, вернувшись в редакцию, Нау увидел испуганного Ма Сэня,

который протянул ему конверт.

— Господин Нау, это вам. Мы всегда и во всем поддерживали вас, но в этом деле бессильны. Поэтому прошу вас, разбирайтесь сами, не впутывайте нас. Ради бога, не губите!

Нау сначала принял слова Ма Сэня за шутку, но, вскрыв конверт, почувствовал, как екнуло сердце, на миг показалось, будто он падает в бездонный колодец. На графленой бумаге лучшего сорта было написано густой тушью:

«Многоуважаемый господин Нау, почтительно ожидаю Вас в три часа пополудни шестого числа сего месяца в Обители Счастья и Долголетия! Если не удостоите посещения, остерегайтесь! Будьте готовы, Вас предупреждает У Верный».

— Гм, У Верный? Очень знакомое имя, не знаешь, кто это?

Ма Сэнь молча протянул ему газету с отчеркнутой красным карандашом заметкой: «Ввиду преклонного возраста У Верный отказывается служить телохранителем губернатора». Под заметкой шел комментарий: «У Верный, бывший охранник императорской особы, после революции выступавший на борцовской площадке Небесного моста, ныне занялся витьем веревок. Губернатор, щедро его одарив, пригласил в тело-

хранители, но У Верный отказался».

— Помнишь, — сказал Ма Сэнь, — в парке Сунь Ятсена выступал один русский силач? Он готов был заплатить всякому, кто смог бы его побороть.

— А, его звали Ли Справедливый, помню, страшный был силач, никто не мог против него устоять. Он сбрасывал противника с помоста, ломал ему ноги.

— Да, так вот, У Верный — его учитель.

Рубашка на спине Нау взмокла, в голосе зазвучали слезы.

— Теперь я пропал, ведь ему ничего не стоит человека зарезать.

— Раньше надо было думать, — упрекнул его Ма Сэнь, — писал бы себе спокойно романы, так нет, полез в распрю между боксерами и школой Восьми Триграмм.

— О, великий Будда! Откуда я мог знать? Ведь роман не я писал, я только купил рукопись, хотел прославиться!

Тао Чжи стало его жаль:

— Ладно, не отчаивайся, такие люди любят иногда проявлять великодушие, особенно если видят смирение. Сходи к нему, покланяйся, попроси прощения, может, сменит гнев на милость.

— Сходи обязательно, — строго добавил Ма Сэнь, — не то он заявится сюда, и тогда нам несдобровать, он здесь камня на камне не оставит.

Потеряв покой и сон, Нау со страхом ожидал назначенного дня.

7

Шестого числа, как назло, стояла страшная жара, даже листья на деревьях свернулись, плавился асфальт. Едва волоча ноги, Нау доплелся до нужного переулка и увидел дом опиумокурильни. У входа висел фонарь с белым плафоном, на котором значилось «Обитель Счастья и Долголетия». Войдя внутрь, Нау поднялся по сырой и темной лестнице. По обеим сторонам коридора белели дверные занавески. Нау сунулся в ближний проем и увидел возле двери толстяка, обмахивавшегося веером.

— Будете курить?

— Мне нужен У Верный.

— Второй номер люкс.

Нау отыскал нужную комнату.

— Господин У, можно войти? — робко спросил он.

Молчание, изнутри не донеслось ни звука. Подошла служанка, неся начищенные до блеска

приборы для курения. Увидев Нау, она заговорщически подмигнула ему, кивнула на свой поднос. А Нау, согласно кивнув в ответ, быстро прошел в дверь. В маленькой комнате было очень чисто и довольно просторно, стояли только кушетка и стул. Кушетка покрыта летней циновкой, по стенам развешаны каллиграфические свитки. Старик, со спускающейся на грудь бородой, в белых штанах и куртке, лежал, смежив веки, как будто дремал.

— Господин У, — прошептал Нау, — я пришел, как вы велели.

На лице старика не дрогнул ни единый мускул. Помедлив минуту, Нау вышел из комнаты. Как быть?

Увидев подходившую служанку, Нау вытащил юань, сунул ей в карман передника и попросил:

— Пожалуйста, разрешите мне подождать где-нибудь, пока проснется господин У.

Девушка, улыбнувшись, молча подтолкнула его к двери. Нау снова вошел. Подойдя к лежанке У Верного, он решил ждать, пока тот проснется. Здесь запрещалось открывать окна и включать вентилятор, с Нау градом катился пот, он взмок еще по дороге сюда, а теперь и вовсе еле дышал. Он стоял, оцепенев от духоты и страха. Старик

и не думал открывать глаза. И тогда он, набравшись храбрости, бухнулся на колени.

— Почтенный, высокочтимый господин У. Я признаю свою вину. Простите меня, пощадите! Ведь я все равно что муха, кормящаяся с поварешки, а вы — человек знаменитый, сильный! Стоит ли вам пачкать руки о такое ничтожество, как я!

Старик вдруг хмыкнул и открыл глаза, приподнялся на лежанке.

— Ну-ну, будет тебе, довольно, вставай!

— Позвольте засвидетельствовать почтение. — Нау отвесил земной поклон.

— Читая твою писанину, я было решил, что ты — боксер.

— Нет, я не боксер, я, можно сказать, ноль без палочки.

В таком случае, прежде чем браться за роман, разузнал бы, что к чему.

— Уважаемый господин У, признаюсь откровенно: я не писал этого романа, я купил его, хотел прославиться, стать известным. Если бы я знал, что так дело обернется!

Искреннее признание рассмешило старика, и у Нау отлегло от сердца: раз смеется — значит, не сердится больше, может, и обойдется.

Старик предложил ему сесть, завел с ним

разговор. А когда узнал, кем был его дед, вдруг погрузился в воспоминания:

— Помню, послали меня как-то раз в Монголию, обратно я вез богатые подарки от тамошнего князя. Тогда мне довелось побывать в гостях у твоего деда, он даже вина мне поднес. Великолепие его дома меня ослепило. Я подумал, сановники купаются в роскоши, швыряют горстями золото, транжирят богатства, совсем не думая о будущем своих детей. А те растут изнеженными и не приспособленными к жизни. Вот и тебе, наверное, сейчас нелегко. Видишь, приходится ловчить и изворачиваться, чтобы хоть как-то прокормиться.

Нау, густо покраснев, кивал, не говоря ни слова.

— Но ведь ты молод, знаешь грамоту, тебе надо обучиться какому-нибудь ремеслу. Разве плохо самому зарабатывать на жизнь? Гораздо лучше, чем быть богатым бездельником, получившим в наследство кучу денег. Того, кто трудится, всегда уважают.

— Господин У, я очень ценю ваши советы. Отец мой умер рано, некому поучить уму-разуму, — заискивающе произнес Нау.

У Верному показалось, что он говорит ис-

кренне.

— Знаешь, живу я недалеко от алтаря Древнего Земледельца, у меня есть станок для витья соломенных веревок. Если тебе совсем туго придется, приходи, возьму в помощники, мне нужен грамотный человек.

Нау покоробило от этих слов. Вить веревки? За кого старик принимает его, потомка благородных мужей! Но высказать свое возмущение он, разумеется, не решился.

— Спасибо, пока кое-как перебиваюсь, если станет совсем худо, с удовольствием приму ваше предложение.

Теперь У Верный почувствовал, что Нау кривит душой, и не стал больше об этом говорить. Он рассказал, что боксеры, возмущенные «Башней Ветра», хотели разгромить редакцию «Левкоев», но У Верный остановил их, решив сначала переговорить с Нау. Теперь дело можно считать улаженным, пусть Нау ничего не боится, здесь его слово — закон.

Нау рассыпался в благодарностях и, поминутно кланяясь, уже хотел выскользнуть из комнаты. Однако У Верный его задержал:

— Погоди-ка. Раз пришел, погляди на наше мастерство. Увы, искусство борьбы приходит в

упадок, в этом сказывается общий развал и застой в стране. Хорошо еще, остались продолжатели традиций разных школ. Надо их поддержать, написал бы о них статейку. Сейчас покажем тебе кое-какие штуки. Эй, Лао Сань!

— Я здесь! — рявкнул кто-то из-за перегородки.

— Неси лампы!

У Верный поднялся и потуже затянул жесткий ремень. Двое дюжих парней внесли в комнату стул, служанка принесла три лампы. Увидя Нау, парни стали ухмыляться и подмигивать друг другу. Нау помертвел от страха.

— Не бойся, — успокоил его У Верный, — это мои ученики, они собирались поколотить тебя, но дело улажено. Теперь мы друзья!

Подошло еще несколько человек, в комнате стало тесно. На столе поставили в ряд три лампы. Это были лампы Священного зерна, привезенные из провинции Шаньси. На бронзовой подставке плафон из тонкого стекла, напоминающий круглую булочку со срезанным верхом. Чтобы погасить лампу, надо дунуть в отверстие сверху.

У Верный отошел от стола шагов на пять и принял позу наездника — широко расставив ноги и слегка согнув колени. Затем он сделал глубокий вдох, так, чтобы под широким ремнем выпятил-

ся живот, и, качнув плечами, резко выдохнул. Язычки пламени заколебались и стали гаснуть один за другим.

«Браво!» — закричали все в один голос.

У Верный поклонился, сложив руки.

— Прошу прощения, я в последнее время совсем сдал, силы уже не те.

Нау, обливаясь холодным потом, на подгибающихся ногах выбрался наконец на улицу. Вернувшись в редакцию, он рассказал, что был на волосок от смерти. Ма Сэнь и Тао Чжи, довольные тем, что все обошлось, повели его в ресторан «Озеро Изобилия». За чаркой вина Ма Сэнь уверил еще не совсем пришедшего в себя Нау, что такой знаменитости, как он, не пристало работать в «Левкоях» — феникс не садится на низкое дерево! Ма Сэнь забрал у него эмалевый значок корреспондента и вернул «Башню Ветра».

8

Работая корреспондентом, Нау снимал в западной части города квартирку, о существовании Цзы Юнь он просто забыл. Теперь, когда за квартиру платить стало нечем, он вспомнил о ней. Купив коробку сластей, решил порадовать госпожу и отправился к ней. Оказалось, за это время

произошли печальные события. Умер старый доктор, в доме повеяло пустотой и одиночеством. Цзы Юнь пришлось подрабатывать стиркой, за этим занятием Нау ее и застал — она стояла, склонившись над тазом с мыльной водой. Увидев Нау, Цзы Юнь заплакала:

— Почему ты ушел? Я, видно, не угодила тебе, плохо ухаживала, не кормила досыта, — всхлипывая, говорила она. — Как это жестоко, уйти и не показываться так долго! Ведь у меня один ты, никого больше нет! Из семьи Нау остались только мы двое. Это прежде, до того, как мы обеднели, к воротам без конца прибывали коляски и паланкины. А теперь мы никому не нужны!

Нау стоял сконфуженный.

— Простите меня, госпожа.

Цзы Юнь зарыдала еще громче:

— О, не надрывай мне сердце! Не уходи! Мне так тяжело и одиноко одной. Я буду стирать и шить, как-нибудь прокормлю тебя. Придет время — женишься, и я буду нянчить твоих детей. Только не презирай меня, не бросай. Ради тебя я все вынесу, все стерплю!

Нау согласился остаться, и Цзы Юнь возблагодарила Будду.

— Ты живи, как хочешь, отдыхай, читай книги,

развлекайся. Только не уходи, одной мне тоскливо. Подожди, пойду приберу для тебя комнату.

Цзы Юнь убрала комнату, где прежде жил доктор. Спросила, нравится ли ему. В комнате было чисто, мебели мало; кровать, стол, стул и две книжные полки. Он просмотрел корешки: разные медицинские справочники, томик «Танской поэзии», «Четверокнижие с комментариями» и еще какие-то книги. Цзы Юнь вздохнула:

— Остальные я продала, не на что было хоронить доктора. Осталось вот две полки, его ученики просили не продавать без них, чтобы не продешевить. Я решила дождаться тебя; посмотри, которые понравятся, возьмешь. А что останется, думаю, надо подарить ученикам. Они мне так помогли, не знаю, что я без них делала бы. Нужно их как-то отблагодарить, правда?

— Все отдай, — расщедрился Нау, — мне оставь только полки!

С этого дня Цзы Юнь повеселела, все время суетилась, занялась одеждой Нау — постирала, отутюжила, подшила воротнички, пришила пуговицы; в доме все как обычно сияло чистотой. Если удавалось сэкономить гривенник, она отдавала его Нау, чтобы он мог купить у лоточников что-нибудь почитать. Нау выбрал роман «Две-

надцать золотых монет», читая, вдруг подумал о Спящем — совсем забыл о нем, надо навестить.

Нау попросил у Цзы Юнь денег на дорогу, сказав, что пойдет к другу. Она отдала ему два юаня, только что полученные за стирку.

— Конечно, прогуляйся, нечего дома киснуть. Только не связывайся со всякими бездельниками, помни, какую фамилию носишь!

Нау больше всего страдал от простой и грубой пищи, поэтому первым делом решил полакомиться чем-нибудь вкусным — сразу за углом купил порцию жареной печени, а у храма Богатства съел баранью требуху. Потом трамваем поехал на улицу Река Лотосов. Не успел он войти в комнату, как Спящий, торопливо надевая тапочки, бросился ему навстречу и схватил за руку.

— Давно не заглядывал, я искал тебя, но безуспешно. Ты, видно, здорово разбогател, переехал в новый дом?

— Разбогател? Как же! Большое спасибо! Из-за этого вашего «Меча в карпе» мне чуть не переломали все кости!

— Сам виноват. Кто же печатает купленную рукопись, не исправив ни одного иероглифа! Поменял бы названия враждующих школ, — к примеру, Дикий Гусь и Острый Меч — и дело

с концом! Ну да ладно, не будем об этом, как говорится, кто старое помянет… А знаешь ли ты, что именно сейчас тебя ожидает сказочное богатство?

— Вы, как всегда, надо мной смеетесь!

— Хочешь — верь, хочешь — нет. Подожди меня, я отлучусь ненадолго.

Спящий усадил Нау, налил ему чая и ушел, было слышно, как он поднимался по лестнице. Через несколько минут он вернулся с каким-то мужчиной, говоря на ходу:

— Вы давно мечтаете повидаться с господином Нау, сейчас он как раз у меня, пользуясь случаем, я вас представлю. Нау, познакомься, это хозяин Цзя Фэнлоу.

Нау узнал мужчину, которого видел на лестнице, когда приходил сюда в первый раз. Торопливо приподнявшись, он кивнул:

— Мы уже встречались.

— Совершенно верно, я тогда сразу понял, что передо мной человек необыкновенный, незаурядный! Боюсь вас рассердить, но я почему-то сразу полюбил вас от всего сердца. Встреча с вами для меня большое счастье!

— Ну что вы! Вы очень любезны.

— Я говорю от чистого сердца. Позже я узнал,

что вы приходитесь внуком бывшему начальнику Управления двора, это меня, признаться, обескуражило, я уже не надеялся когда-нибудь сблизиться с вами.

— Господин Нау — человек весьма просвещенный и вполне современный, он никогда не кичится своим превосходством, — произнес Спящий.

— Да, мой уважаемый сосед не раз говорил мне, что вы держитесь очень просто, разумеется, это свидетельствует о вашем уме и благородстве. Я так счастлив, что могу наконец познакомиться и поговорить с вами!

— Вы слишком высокого мнения обо мне. Я всего лишь тень своих славных предков и не обладаю никакими способностями.

Цзя Фэнлоу улыбнулся:

— Не соблаговолите ли зайти ко мне?

— Господин Цзя только узнал, что ты здесь, — обратился Спящий к Нау, — как сразу же послал за вином и закусками. Зайди же к нему, не обижай человека.

— Нет, нет, — стал отказываться Нау, — мы видимся первый раз, это неудобно. Разрешите мне пригласить вас в ресторан «Яркое солнце».

— Окажите честь, — настаивал Цзя Фэнлоу, —

сестра тоже мечтает познакомиться с вами.

Спящий мягко взял Нау за руку и, увлекая за собой, стал подниматься наверх.

Цзя Фэнлоу занимал четыре комнаты, в одной жил он сам, в другой — его приемная сестра Фэнкуй, две комнаты были отведены для приема гостей. На стенах фотографии Фэнкуй в рамках — в обычном платье и в театральном костюме, вырезанные из газет рецензии. На старинной полочке восьмигранный барабан с красными кистями, рядом висит трехструнка[26]. На красном лаковом столе, покрытом блестящей тканью, — журналы, сборники сказов и пьес. На низком столике — граммофон. Только сейчас Нау догадался, что брат и сестра Цзя — артисты.

— Я знаю, ты предпочитаешь столичную оперу, — произнес Спящий, — а сказы слушаешь редко. Но советую, выбери время и послушай нашу Фэнкуй — Королеву Фениксов, она просто великолепна!

— Непременно, — отозвался Нау.

— Что вы, что вы, — запротестовал Цзя, — мы не смеем надеяться на ваше внимание, господин Нау. Сестра не такая уж мастерица петь, бывает,

---

[26] Примечания: 26

Трехструнка — инструмент, наподобие гитары.

что и сфальшивит.

— Ну, уж это вы зря! — горячо возразил Спящий. — Фэнкуй — прекрасная певица, к тому же умна, добродетельна. Мне кажется, покровительствовать такой девушке — только честь для любого господина.

«Куда это Спящий клонит? — подумал Нау. — Опекать сказительниц? Нет уж, вот отец в таких делах был мастак, а у меня кишка тонка».

В этот момент раздвинулась занавеска, и в комнату вошла Фэнкуй. Ненарумяненная, ненапудренная, лишь слегка подведены губы. Видимо, поэтому она казалась моложе, чем в тот раз, когда Нау видел ее на лестнице. На ней был легкий халат с короткими рукавами, расшитые тапки из белого атласа, волосы, схваченные жемчужной заколкой, свободно струились по плечам, у виска была приколота орхидея. Она приветливо улыбнулась, поклонилась Нау.

— Простите за опоздание, господин Нау. Прошу всех к столу.

Цзя Фэнлоу провел его в соседнюю комнату, где на столе стояли тарелочки с закусками и чашки с винами разных марок. За столом Цзя так и сыпал любезностями в адрес Нау. А тот, опрокинув несколько рюмок, развеселился и стал

рассказывать всякие забавные истории. Фэнкуй не участвовала в разговоре, держалась спокойно и непринужденно. Иногда улыбалась, слушая его истории, а больше сидела, погрузившись в свои мысли.

Выпив и закусив, они вернулись в гостиную. Спящий вскоре ушел, сославшись на дела, а Фэнкуй принялась убирать со стола. Хотел откланяться и Нау, но Фэнлоу его остановил:

— Погодите. У меня к вам разговор.

Нау пришлось снова сесть.

— Есть одно выгодное дело, но нужен помощник. Не окажете ли честь?

— Какое дело?

— Один выскочка из молодых, да ранних, богатый предприниматель, преследует мою сестру, просто житья нет, мы ведь честные актеры, понимаете?

— Весьма похвально.

— Недаром говорят, артист не может существовать без благородного покровителя. Этому прохвосту я сестру не отдам. А вот мошну его потрясти хочется. Нам деньги потом и кровью достаются, а он спекулянт и выжига. Упускать такой случай жалко.

— Что же вы намерены делать?

— Я вот что придумал. Пусть у Фэнкуй появится еще один поклонник — богатый и знатный. Соперничество подхлестнет этого пройдоху. Он не захочет ударить лицом в грязь и, конечно, раскошелится как миленький. А когда увидит, что соперник богаче и тягаться с ним бесполезно, сбежит со стыда.

— План отличный. И что же, вы хотите, чтобы этим поклонником был я?

— Да.

Нау усмехнулся.

— Я, конечно, не мог остаться равнодушным к вашей сестре, но, признаться, я сейчас, что называется, в стесненных обстоятельствах.

— Нет, нет, не надо так говорить. Только помогите, внакладе не останетесь, непременно вас отблагодарим.

Нау оживился:

— Я не имею в виду ничего такого, но помочь друзьям всегда рад. Объясните-ка поподробней.

— Спасибо, теперь я уверен в успехе! С завтрашнего дня приходите каждый вечер в чайную у Небесного моста. Вас усадят за столик, подадут фрукты, полотенце. Располагайтесь совершенно свободно. Когда на сцену выйдет сестра, тот барчук начнет ей заказывать арии, вы тоже

заказывайте. Он бросит десять юаней — вы пятнадцать, а еще лучше двадцать.

— Бросать деньги?

— Конечно! Но вы не волнуйтесь, я буду их вам потихоньку передавать. Сколько передам, столько и бросайте. Сделаем дело, пообедаем в отдельном кабинете. Не волнуйтесь, не обидим.

— Ладно, договорились! — возбужденно сказал Нау.

— Но... — Цзя Фэнлоу помолчал и, понизив голос, добавил: — Никому ни слова. И еще — надо бы вам сменить перышки!

— Перышки?

— Я имею в виду костюм. Вы одеты как молодой барин. А всем известно, что они не больно самостоятельны, деньги-то пока у отца, и если вы начнете сыпать деньгами, покажется подозрительным. Оденьтесь так, чтобы вас приняли за человека делового и независимого.

— Ладно, — рассмеялся Нау. — Итак, стараюсь одеваться победнее, все равно происхождения не скроешь.

Когда Нау собрался уходить, Цзя Фэнлоу сунул ему красный сверток с деньгами.

— Это вам на мелкие расходы, может быть, придется дать на чай, да мало ли что.

Нау учтиво отказался.

— Нет, нет, как говорится, дружба дружбой, а служба службой, может пригодиться, — сказал Цзя.

9

Вернувшись домой, Нау сказал Цзы Юнь, что ему надо помочь другу устроить торжество.

— Дома полагайся на родителей, за воротами — на друзей. Друзьям помогать — дело хорошее.

— Но я не могу появиться в таком виде. Пожалуйста, дайте денег, схожу к старьевщику, возьму напрокат одежду.

— Не надо, не ходи. Порвешь ее или прожжешь, сдерут втридорога. Я лучше перешью тебе что-нибудь из вещей старого господина, материал хороший, получится отлично.

Цзы Юнь сняла с Нау мерку и достала из чемодана халаты из разных шелков и куртку. Всю ночь она шила при керосиновой лампе. Когда утром Нау открыл глаза, то увидел на спинке стула отглаженную, аккуратно развешенную одежду. Он нетерпеливо вскочил и начал примерять — покрой самый модный, тетушка Юнь в последнее время много шила и следила за новинками. Нау оделся и хотел поблагодарить

госпожу Юнь, но она уже ушла за покупками. Нау повертелся перед зеркалом — ни дать ни взять молодой, преуспевающий делец, жаль только, шапки подходящей нет. Он сходил в парикмахерскую, постригся, смазал волосы жиром для блеска, взбил попышнее. Вот теперь и без шапки хорош, подумал он.

Чайная «Хрустальный звон» находилась в самом конце Небесного моста. Нау прошел мимо театральных площадок, лотков со снедью, обогнул борцовскую арену. Каких только услуг здесь не было — делали педикюр, подрисовывали родинки, писали письма, гадали и по внешности, и по иероглифам, и с обезьянкой, выдергивали зубы, вставляли искусственные глаза, фотографировали. Перед входом в аптеку работник, размешивая в котле какое-то снадобье, зазывал покупателей: «Лекарства от всех видов заболеваний половых желез!»

Вскоре Нау заметил деревянную табличку на оштукатуренной стене — чайная «Хрустальный звон». Возле нее какой-то тип в соломенной шляпе и белой куртке, бренча медяками в ивовой корзинке, громко выкрикивал:

— Эй, подходите, кто любит сладкое! Сюда, быстрее!

Неужели теперь здесь закусочная, удивился Нау.

А зазывала все выкрикивал:

— Спешите насладиться голосом Королевы Фениксов! Он слаще ранней дыни, слаще меда и вина, слаще леденцов!

На фасаде чайной висели афиши, на одной из них сверкали золотые иероглифы: «Цзя Фэнкуй — Королева Фениксов».

Нау собрался было войти, но зазывала схватил его за руку.

— Как ваше имя, почтенный?

Нау назвал свое имя и усмехнулся:

— А что, у вас ввели регистрацию?

Зазывала пропустил насмешку мимо ушей, раздвинул занавеску и громко провозгласил:

— Господин Нау пожаловал!

Изнутри, словно эхо, пронеслось:

— Господин Нау, господин Нау.

— Пожалуйста! — Его встретили сразу несколько слуг и провели к одному из столиков в середине зала, на котором уже стояли блюдечки с черными и белыми семечками и ломтиками арбуза. Официант принес чай и горячее полотенце с очень приятным запахом. Взяв полотенце, Нау почувствовал, как что-то мягкое скользнуло в ладонь.

Вытирая лицо, он увидел, что это двадцатиюаневые банкноты, завернутые в бумагу с надписью «Бурной ночью возвращаюсь на лодке».

Это придало Нау уверенности, и он огляделся по сторонам. В небольшой чайной, где стояло всего несколько столиков, подавали главным образом фрукты. Задние столы пустовали, за передними сидели по трое, по четверо, только он и еще один господин, расположившиеся у самого помоста, занимали отдельные столики. Господин был одет по-европейски, только галстук был красный с золотыми драконами.

На узких скамейках вдоль стен рассаживались посетители попроще, после каждого выступления они проворно выскакивали за дверь и, переждав, пока соберут деньги, возвращались обратно.

Кулис не было, над сценой на стене висели пестрые афиши и рекламы, а под ними полукругом стояли стулья, где сидели ярко накрашенные и разодетые певицы. Не обращая внимания на происходящее на сцене, они беспрестанно кивали, улыбались и слали приветы сидящим за столиками знакомым. Толстушка, спевшая сказ «Черный ослик» под аккомпанемент барабана «цвет сли-

вы»[27], щелкнула кастаньетами и поклонилась. Раздались аплодисменты, и официанты, взяв корзиночки, пошли по рядам с возгласами: «Пожалуйста!», «Просим!», «Благодарим!».

Кто-то из них подошел к доске, где висели бумажные полоски с именами исполнительниц, снял одну, поднял высоко над годовой. Блеснули иероглифы — Королева Фениксов. Господин в европейском костюме сразу оживился, закричал: «Браво!», а потом жестом подозвал слугу. Тот, согнувшись в поклоне, выслушал его распоряжения, затем, ловко протиснувшись сквозь толпу, взял деревянный поднос и поднялся на сцену. «Господин Янь, — провозгласил он, — пожаловал десять серебряных юаней и заказал арию „Платье из занавески“». Артистки на сцене и суетившиеся между столиками официанты разом выдохнули: «Благодарствуйте!»

Цзя Фэнкуй, грациозно поднявшись со своего места, вышла на середину сцены и с улыбкой отвесила поклон. Бледно-голубая курточка с широкими рукавами и в тон ей широкие брюки. Рукава по краям, борта куртки и манжеты брюк украшены двумя рядами вышивки. Две наклад-

---

[27] Примечания: 27
Цвет сливы — большой барабан с мягким звучанием.

ные косы, толстые и блестящие, в каждую косу вплетена красная лента с бахромой на конце. В ушах — жемчужные серьги в виде цветов с вкрапленной в них бирюзой.

«Не удивительно, — подумал Нау, — что я не сразу в этом наряде ее узнал». Вдруг кто-то толкнул его в бок, он обернулся.

— Господин Нау, — прошептал официант и указал на двадцать юаней. Нау понимающе закивал и, поспешно схватив банкноту, сунул ее слуге. Тот бросился к деревянному подносу: «Господин управляющий Нау пожаловал двадцать серебряных юаней и заказывает арию „Бурной ночью возвращаюсь на лодке“».

Снова в ответ прозвучало громкое «Благодарствуйте!», а Фэнкуй, выйдя на середину сцены, поклонилась Нау.

— Большое спасибо, господин управляющий.

Слушатели зашумели, задвигались, все взоры обратились к Нау. Господин в европейском костюме приподнялся и в бешенстве уставился на него, и лишь когда раздались звуки трехструнки, немного успокоился. Нау показалось, что вернулись былые дни, он снова богат и живет в роскошном доме. Исчезло неприятное ощущение иллюзорности происходящего, так вошел в роль,

что в самом деле чувствовал себя щедрым поклонником, испытывая огромное наслаждение.

Слуга метался между сценой и столиком Нау — то выносил на подносе двадцатиюаневую бумажку, то молча совал обратно, делая вид, что подает полотенце. Через некоторое время Янь, видно истратив все до медяка, вдруг сердито ударил кулаком по столу и направился к выходу. Слуги разом закричали: «Дорогу господину Яню!» Тот остановился и метнул взгляд в сторону Нау.

— Завтра оставьте мне три столика впереди, я приду с друзьями!

Нау торжествовал, довольно его унижали, наконец-то и он изведал вкус победы, свое превосходство над кем-то. Но после того как сердитый господин покинул чайную, бумажка в двадцать юаней больше не вернулась к нему, сладостная иллюзия собственного богатства и могущества исчезла, стало скучно. Он безразлично слушал выступления артисток, когда подошедший официант передал, что наверху в отдельном кабинете его ждет Цзя Фэнлоу.

Цзя встретил его у дверей и повел наверх.

— Вы были великолепны! Какие манеры! Настоящий внук дракона! Этому нельзя научиться, это должно быть в крови. Большое спасибо, вы так

нам помогли!

Обедали они вдвоем, но стол ломился от закусок. При расставании Цзя Фэнлоу дал Нау красный сверток с деньгами. Нау развернул его уже в машине — оказалось, это были те самые двадцать юаней, которые в этот вечер столько раз переходили из рук в руки. Нау прикинул, и получилось, что сегодня тот господин кинул на поднос наверняка не меньше ста пятидесяти юаней, почему же ему дали так мало? Ладно, успокаивал он себя, спорить с такими людьми бесполезно, да и ниже моего достоинства, буду считать, что я бесплатно развлекся, кое-что мне все же перепало. По пути он купил для Цзя Юнь коробку чернослива; она не спала, ждала его. Увидев подарок, расплылась в улыбке.

— Откуда деньги?

— Выиграл в карты.

— Пожалуйста, не играй больше. Хорошо, если выиграешь, а вдруг проиграешь? Станешь посмешищем, долги нам платить нечем. Ну, да ладно, иди отдыхай, небось намучился ходить по жаре.

10

За то время, что Нау ходил в чайную «Хрустальный звон», из Яня выкачали не менее тысячи

юаней. Однажды он пришел с огромной кожаной сумкой, заказал больше десяти сказов. Поздно вечером, когда уже стемнело, Цзя Фэнлоу спустился в зал и стал просить господ разойтись — полиция строго запрещала артистам играть после полуночи. Но господин Янь уперся:

— Я ведь плачу! Чего же еще? Пусть поет!

В зале началась суматоха, артистки разбежались, Фэнкуй, незаметно подойдя к Нау, шепнула:

— Беги, пока цел, не миновать скандала.

Нау опрометью бросился к выходу. На улице была глубокая ночь, давно закрылись все лавочки, уже трамваи не ходили. На Небесном мосту пусто, темно, даже жутко. Нау, стараясь подавить страх, громко запел: «Жил да был славный рыцарь, только ростом невелик, соберется лезть на кан, лавку подставляет…»

— Эй, кому коляску!

Его обгонял рикша с двухместной коляской, в которой уже сидел кто-то в сером халате, пассажир похрапывал, голова моталась из стороны в сторону.

— Садись до Восточного района, недорого возьму.

— Сколько?

— Юань.

— Ничего себе недорого!

— Ты сейчас и за два юаня никого не найдешь! А ходить здесь в такое время опасно, нарвешься на грабителей или на ночной патруль, от них юанем не отделаешься!

Рикша говорил, а сам шел вперед, обгоняя Нау.

— Эй, эй! Постой! Я сажусь.

Рикша остановился и стал расталкивать уснувшего господина.

— Пожалуйста, подвиньтесь, еще один садится.

— Что? Кто садится? — Пассажир бессмысленно вытаращил глаза.

— Это коляска на двоих. — Рикше наконец удалось сдвинуть его с места и подсадить Нау.

Когда выехали на перекресток, рикша неожиданно свернул на юг.

— Ты куда едешь? — закричал Нау. — Восточный район в другую сторону!

— Сиди смирно! — вдруг прошипел разом проснувшийся господин, и в его руках сверкнул нож. — Еще слово, и я пришью тебя!

Нау умолк от страха и дрожал так, что скрипела коляска.

— Храбрец, смотри в штаны не напусти! —

усмехнулся мужчина и двинул его кулаком.

Рикша сворачивал то налево, то направо и вскоре остановился у какой-то стены. Неподалеку виднелась рощица, кругом ни души. Человек с ножом выволок Нау из коляски.

— Ну-ка, дружок, выкладывай — деньги, часы и все остальное!

— Часы есть, только плохие, если вам нравятся, берите! А денег всего два юаня захватил на дорогу, — прохрипел Нау, осипший от страха.

— Разве господа без денег покровительствуют актрисам, а я вас не один вечер видел в «Хрустальном звоне»! — сказал рикша.

— Да что с ним церемониться! Давай обыщем!

Вывернули его наизнанку, но, кроме двух юаней и старых негодных часов, так ничего и не нашли.

— Раздевайся! — прорычал мужчина, со злости пнув Нау ногой.

Нау остался в одних трусах. Ему уже не было страшно, зубы стучали от холода.

— И ботинки снимай! — скомандовал рикша.

— Оставьте хоть ботинки, замерзну ведь, — взмолился Нау.

— Ничего, зато в полицию не пойдешь. Снимай! — приказал тип с ножом.

Нау нагнулся, чтобы развязать шнурки, но тут резкий удар по голове оглушил его. Очнувшись, он увидел, что ботинки остались на ногах. Еще было темно, но все равно в таком виде никуда идти нельзя. Надо подвигаться, хоть немного согреться, решил Нау, — лежа на земле, он ужасно продрог. Вдруг послышались чьи-то шаги, покашливание — вроде женщина. Нау быстро спрятался за дерево.

Вскоре стало светать. Нау заметил шедшего между деревьев сутулого человека.

— Господин! — закричал он.

Тот поднял голову и направился к Нау. Еще за несколько шагов Нау его узнал. Это был музыкант Хо Большой.

— Учитель Хо! — Нау чуть не плакал.

— А, господин Нау! Давно не виделись, как поживает госпожа Юнь? Ты занимаешься здесь гимнастикой? А почему плачешь?

— Меня обокрали!

— Что ты говоришь! — Хо Большой снял халат и накинул на плечи Нау, оставшись в нательной безрукавке.

— Нет, так дело не пойдет, — подумав, сказал он, — тебя один халат не спасет, а мне без него тоже нельзя. Давай обратно, пойду займу у ко-

го-нибудь одежду. Побудь здесь, никуда не ходи, нарвешься на полицию — оштрафуют или примут за сумасшедшего!

— Где мы находимся?

— Да ты совсем голову потерял, посмотри, вон храм Древнего Земледельца.

Хо Большой надел халат и ушел. Как обидно, оказывается, он совсем недалеко от чайной, здесь за углом полицейский участок, если бы он знал! Уже рассвело, на улице появились торговцы, гуляющие. Нау скрылся за деревом и боялся нос высунуть, словно не его обокрали, а, к примеру, он кого-то ограбил.

11

Не прошло и получаса, как показался Хо Большой, а рядом с ним — У Верный. Нау вышел из своего укрытия. У Верный расхохотался, увидев его.

— Да ведь это хозяин «Башни Ветра», не продуло вас? Одевайтесь скорей, не то превратитесь в хозяина «Башни Насморка»!

Нау взглянул на предлагаемую одежду и поморщился. Куртка с засаленным воротником и штаны — из грубого синего сукна, полинявшие и заново выкрашенные.

— Не обессудьте, это мой выходной костюм, может быть, и не очень чистый, но блох нет, ручаюсь.

Нау оделся, и У Верный пригласил их к себе.

— Вы, оказывается, знакомы? — спросил Нау.

— Я часто прогуливаюсь здесь, — ответил Хо Большой, — раньше мы только кивали друг другу.

У Верный жил недалеко от храма, чуть дальше виднелась башня с часами. На площадке у ворот лежали кучи рисовой соломы, а между ними две группы людей отрабатывали борцовские приемы. Группой подростков командовал молодой парень: «Прыгай!», «Коли!», «Бросок вверх!», «В сторону!». В другой группе тренировались девочки, они сочетали упражнения с произнесением заклинаний. У Верный, проходя мимо, делал замечания: «Сяо Цинь, копье прямей! Не опускай голову! Бросок выше! Бей в лицо!» Он провел гостей во дворик, здесь стоял станок для витья веревок, а рядом несколько поддонов с уже готовыми веревками. Они вошли в небольшую комнату, где на низком столике были расставлены кушанья — земляные груши, соленый лук-порей, блины. Пока хозяин рассаживал гостей, его помощник принес рисовый отвар.

— Извините, угощение домашнее. Прошу вас, господин Нау, отведайте для разнообразия простых блюд.

Нау жил в Пекине уже не один десяток лет, но никогда не встречал людей, как У Верный. Он не беден и не богат. Не старается пустить пыль в глаза и не прибедняется, не чванится и не заискивает. Пожалуй, подумал Нау, это достойная и счастливая жизнь.

— Господин У, у вас есть увлечения?

— А, вы, вероятно, намекаете на курение опиума? Да что вы! Это место — уединенное, только поэтому я и попросил вас туда прийти. Даже если я буду целыми днями сучить веревки, не заработаю и на пару затяжек. А чем мне питаться? Воздухом? Чтобы тоже превратиться в хозяина «Башни Ветра»?

Нау рассмеялся. Он попил рисового отвара, согрелся, блины оказались сладкими и ароматными.

— У вас все так вкусно. Может, я и вправду приду к вам учиться сучить веревки, — шутливо заметил он.

— Куда уж вам с такими холеными и изнеженными руками! Взгляните на мои, за день стираю их до крови!

У Верный протянул Нау широкую, словно пальмовый лист, ладонь. Он пощупал — шершавая, сплошь в кровавых мозолях, жесткая, как камень.

Хо Большой стал расспрашивать, что приключилось с ним ночью. Нау не решился описывать историю с господином Янем, рассказал лишь о том, что с ним произошло по дороге.

— Из какой чайной ты шел? — спросил Хо Большой.

— Из «Хрустального звона».

— Не пристало тебе ходить в такие притоны, мало тебе развлечений на Сидане или на рынке Восточного спокойствия?

— Не все ли равно, где слушать певиц?

— Нет, не все равно. В «Хрустальном звоне» собираются мошенники и всякий сброд. Одежду украли? Это ты еще легко отделался!

Нау ушам своим не верил.

— Думаю, вашу одежду еще можно найти, — заметил У Верный.

— А как? — обрадовался Нау.

— Да вот как. Эта шайка с Небесного моста связана с полицией, у них негласный уговор — краденое на случай, если кто заявит в полицию, некоторое время придерживают. Дней через де-

сять продают или делят, полицейские получают свою долю.

— Я прямо сейчас пойду и заявлю!

— Это бессмысленно. Думаете, они придерживают, чтобы вернуть пострадавшему? Как бы не так!

— Что же делать?

— Пока не знаю, можно послать кого-нибудь на разведку. Но вы должны рассказать все начистоту. Если это не простая кража, а, к примеру, личная месть врага или соперника, то здесь вряд ли можно что-нибудь сделать.

Нау покраснел.

— Я рассказал все, как было. Но прошу вас, не надо, не ищите, мне неловко вас беспокоить.

У Верный рассмеялся, но промолчал.

После еды Хо Большой собрался проводить Нау домой, но тому стыдно было в таком наряде показываться на улице.

— Мне не хотелось бы оставлять господина У без одежды. Может быть, сходите и принесете мне вещи, а я здесь подожду.

— Нет, нет, эта одежда мне не нужна, — торопливо сказал У Верный, приняв слова Нау за чистую монету.

А Хо Большой догадался, в чем дело, и с укором

проговорил:

— Нам по пути, поэтому я и хотел тебя проводить. А вообще-то я тороплюсь в театр. Сам знаешь, у актеров время — деньги.

Нау ушел вместе с Хо Большим. Проходя через двор, они увидели, как работают на станках — пыль столбом, шум, лязг. Молодой парень, тренировавший на площадке подростков, нажимал на педаль и подсыпал в машину солому, а две девушки, подвязавшись полотенцами вместо косынок, стоя на коленях, укладывали готовые веревки в поддоны. Глядя на них, Нау подумал, что способен к такому труду.

— Я к тому же знал вашего отца. Послушайтесь моего совета, — обратился к Нау провожавший их до ворот У Верный. — Думаю, это даже неплохо, что вы остались без наследства. У маньчжур при вторжении в Китай было не так уж много воинской силы. Чтобы завоевать Поднебесную, пришлось им из кожи вон лезть. Но за триста лет господства они растеряли свою напористость и хватку. Теперь, лишенные императорского жалованья, мы остались без средств, и у нас один выход — забыть прежнюю безмятежную жизнь и приносить пользу. Не надо бояться трудностей, ловчить и обманывать. А главное — ни в коем

случае нельзя выслуживаться перед японцами. На северо-востоке, говорят, восстановили империю и многие маньчжуры потянулись туда. Смотрите не наделайте глупостей! Японцам здесь не удержаться, китайцы дерутся не на жизнь, а на смерть. Свяжетесь с японцами — наверняка пропадете.

— Об этом не тревожьтесь, господин У. Я далек от политики, я ее просто боюсь.

Пока У Верный говорил, в сознании Нау мелькнула одна догадка, сразу омрачившая его настроение. Ведь это не он вместе с Цзя обманул того господина, а его, дурака, обвели вокруг пальца. Какой же он кретин, еще и радовался!

Между тем Хо Большой, увидев кислую физиономию Нау, решил хоть как-нибудь его подбодрить:

— Господин У дело говорит, пора и тебе, Нау, взяться за ум. Ты правильно сделал, что ушел из редакции. Что хорошего в этих корреспондентах, только и знают выставлять нас, артистов, на посмешище!

— Я полностью с вами согласен и не пугаюсь работы, но подскажите: чем мне заняться?

— Не будете презирать труд, дело найдется, — ответил У Верный.

— Учитель Хо, может быть, научите меня петь?

Хо Большой рассмеялся:

— Вот уж точно говорят, легче гору сдвинуть, чем характер изменить! Да почему ты решил, что это легко? И потом, ты уже не так молод, а ведь в одной только театральной студии надо, как в тюрьме, отбыть восемь лет, а потом еще долго учиться у какого-нибудь мастера. У тебя, наверное, представление об артисте сложилось по тем урокам, которые я давал господину Фу, твоему отцу.

— Я вовсе не мечтаю о популярности, шумном успехе. Мне бы только подрабатывать на похлебку в студии актеров-любителей, на большее я не претендую.

Однако Хо Большой прекратил разговор, решив, что с Нау говорить о практических вещах бессмысленно.

А дома Цзы Юнь вся извелась, ожидая Нау. Проведя бессонную ночь, на рассвете зажгла благовония, стала молиться, прося всемогущего Будду защитить ее бедного господина. Когда Нау вернулся в своем странном платье явно с чужого плеча, она не знала, плакать ей или смеяться. Выслушав его рассказ, Цзы Юнь задрожала от

ужаса и, причитая, принялась умолять Нау не ходить никуда, не искушать судьбу. Костюм У Верного она выстирала, выгладила и молча вложила в карман два юаня. Через пару дней зашел Хо Большой, в это время выступавший в студии неподалеку.

Цзы Юнь пригласила его отобедать, Хо не стал церемониться. Он знал Цзы Юнь еще при жизни деда Нау. За столом Нау опять стал проситься к нему в ученики, но музыкант отмахивался и отшучивался. Когда Нау вышел, Цзы Юнь поинтересовалась, о чем они спорили.

Хо объяснил, что Нау захотел стать артистом.

— Знаете, госпожа Юнь, за десять лет можно стать выдающимся ученым, но хорошим артистом не станешь. А он уже не мальчик!

— Господин Хо, умоляю вас, возьмите его. Пусть он не станет настоящим артистом, в его заработке я не нуждаюсь. Для меня главное, чтобы он не болтался без дела, боюсь, опять попадет в историю. Пожалуйста, возьмите, сделайте доброе дело!

Хо Большой, подумав, согласился, но поставил Нау условие: учиться, как все, в группе и никому не говорить, что он его ученик. Нау был готов на все, его смущала только оплата уроков, но Хо обещал уладить это дело. Так Нау поступил в

студию пекинской оперы.

12

Ученики этой студии делились на разные категории. К высшей относились те, кто имел деньги, власть и много свободного времени. Они могли больше репетировать, приглашая лучших учителей, покупать дорогие костюмы, нанимать клакеров, заказывать рецензии. Ко второй категории относились располагавшие деньгами и свободным временем. Они тоже могли нанять в учителя знаменитых мастеров, снять хорошее помещение для спектакля, пригласить в партнеры знаменитого артиста. В третью категорию входили не имевшие ничего, кроме красивого голоса и способностей. Им, чтобы заработать на пропитание, приходилось трудиться до седьмого пота.

Нау не относился ни к одной из трех категорий, он как бы состоял при Хо Большом и приходил в студию просто для развлечения. За два года он выучился нескольким несложным ариям из пьес «Дважды вступать во дворец», «На заставе Вэньчжаогуань» и «История черного блюда»[28], но не имел особого желания выступать на сцене.

---

[28] Примечания: 28
Названия «пекинских опер».

Госпожа Юнь неплохо зарабатывала стиркой при японцах, когда же вернулись гоминьдановцы, все изменилось. Жизнь резко вздорожала, возросли пошлины и всевозможные поборы, расплодились жулики и спекулянты — желающих сшить новую одежду или отдать что-нибудь в стирку почти не было. Решили сдавать комнату Нау, ему пришлось перебраться к Цзы Юнь. Повесили объявление, но дни шли, а жильцы не появлялись. К городу приближалась Освободительная армия, поэтому многие богачи и сановники бежали, простым же людям было не до снятия квартир. Цены стремительно росли. Нау с Цзы Юнь частенько голодали.

Надо было что-то делать, и Нау занялся организаторской деятельностью. Он устраивал выступления артистов-любителей то в чайных, то на радио. В чайных платили гроши, на радио еще меньше, но можно было подработать на рекламе. Двое пели арии из пьесы «Дважды вступать во дворец», и у каждого был свой текст реклам. Ян Бо, например, пел: «Испытал немало трудностей, долгие годы провел я в странствиях, много раз сдавал экзамены, но не добился успеха…» — а Сюй Яньчжао подхватывал: «Рекламируется прекрасная мазь, незаменимое средство при женских

недомоганиях!» Сюй выводил свою реплику, а вслед за ним, едва переводя дух, трещал Ян Бо: «Несчастные малютки, лишенные материнского молока, достойны сожаления. Наше средство марки „Вечная звезда“ вернет их матерям молоко!»

Исключительное преимущество радио состояло в том, что обязательно сообщалось имя автора передачи, и Нау мог наслаждаться неоднократным звучанием собственного имени. Это сыграло и другую немаловажную роль в жизни Нау, помогло найти выгодную работу. Когда солдаты одной из частей наземного обслуживания аэродрома Южного парка под Пекином создали любительскую труппу, никто из профессионалов не захотел идти к ним в руководители, солдаты обратились на радио с просьбой прислать им актера-любителя. Предоставлялись бесплатное жилье, питание и еще выдавали два мешка муки в месяц. Нау подумал-подумал и согласился. Приехав в Южный парк, он обнаружил, что жилье — это крытый соломой пол и две кровати, питание две лепешки и чашка капустного отвара. Он хотел отказаться, но, испугавшись, как бы его не поколотили, смирился. Были в его положении и свои преимущества, например, хотя бы то, что солдаты, все на редкость тупые, безропотно его

слушались.

Не успел он их обучить арии «Дважды вступать во дворец», как город окружила Освободительная армия. Воздух содрогался от орудийных залпов, и он подумал: надо бежать, не то гоминьдановцы заберут в солдаты или погонят рыть траншеи. Хорошо бы отсидеться где-нибудь в гостинице, но как унести мешок с мукой? Машин, идущих в город, он не нашел, попробовал договориться с рикшей, но тот затребовал целый мешок муки. Пока Нау мучился и колебался, дороги перекрыли, ехать было поздно. От страха Нау запел арию из «На заставе Вэньчжаогуань»[29] и пел ее целых два дня. Он не поседел от переживаний, но свалился от жестокой простуды, а потом дизентерии. Сердобольный хозяин гостиницы выхаживал его, поил отварами трав, настойкой сожженных благовоний, изгоняя из него дьявола. Он поднялся только через месяц, страшно похудевший, шатающийся от слабости. Мука был съедена почти до конца, оставшееся он отдал хозяину за комнату, тот напек ему в дорогу блинов. Нау добирался до города пешком целых три дня.

Ворота у дома были заперты, на стук отозвался

---

[29] Примечания: 29
Герой этой пьесы за одну ночь поседел от переживаний.

женский голос. Нау насторожился: на голос Цзы Юнь не похоже. Взглянул на табличку у ворот, может, ошибся? Нет.

— Вам кого?

— Я здесь живу.

Дверь с лязгом отворилась, и на пороге показалась молодая женщина. Взглянув друг на друга, они вскрикнули от удивления, и не успел Нау слово сказать, как дверь стала закрываться. Он с силой толкнул ее и очутился внутри. Женщина, задвинув засов, неожиданно повалилась ему в ноги.

— Господин Нау, отпустите меня, пожалейте! Я не виновата, это все он, Цзя Фэнлоу, он купил меня еще ребенком, зарабатывал на мне деньги.

— Барышня Фэнкуй? Как вы здесь очутились?

Тут подбежала Цзы Юнь, с удивлением посмотрела на них, подняла Фэнкуй с колен, подхватила под руку Нау и повела в дом.

— Что случилось?

— А я откуда знаю, я чуть концы не отдал, еле добрался до дому.

Только теперь Фэнкуй поверила, что Нау действительно живет здесь. Она сначала решила, что это он за ней пришел. Она повинилась перед Цзы Юнь за скрытность и рассказала свою историю.

Еще девочкой она была продана в семью Цзя, выступала на сцене, заработала ему целое состояние. Теперь, когда город окружен и выступать уже невозможно, он решил продать ее в публичный дом. Сочинитель Спящий предупредил ее об этом, и она убежала. Сначала пряталась в доме названой сестры, а потом сняла комнату у Цзы Юнь. Снова упав на колени, девушка стала отбивать поклоны госпоже Юнь, умоляя сжалиться над ней.

Госпожа Юнь велела ей подняться.

— Меня тоже продали в детстве, и я сразу все поняла. Думаешь, я без глаз? Смотрю, сидишь целыми днями, боишься нос высунуть за ворота, плачешь украдкой. Кто-нибудь постучится — в лице меняешься. Ясно, что у тебя горе, только я не стала допытываться. Вот что я тебе скажу, я никому никогда не причинила зла. Нет у меня ни сына, ни дочери, хочешь, будь мне приемной дочерью.

Фэнкуй радостно вскрикнула, и обе женщины, обнявшись, заплакали.

— Вот и хорошо, что все наконец выяснилось. Шила в мешке не утаишь, — проговорил Нау, напоминая о своем присутствии.

Немного успокоившись, женщины стали рас-

спрашивать Нау о положении в городе, о Восьмой армии[30]. Правду говорят, что с их приходом начнется новая жизнь?

Нау, по пути видевший солдат Восьмой армии, отвечал, что сила у них немалая, а с людьми обращаются по-человечески, может, и в самом деле жизнь изменится к лучшему?

Цзы Юнь поинтересовалась, где познакомились Нау и Фэнкуй. Девушка засмеялась, Цзы Юнь на нее прикрикнула:

— Говори, разве я тебе теперь не мать?

— Господин Нау приходил к нам слушать сказы.

— И поэтому ты сразу упала на колени, увидев его? — насмешливо спросила Цзы Юнь. — Нет уж, все рассказывайте.

Фэнкуй деваться было некуда, пришлось рассказать историю с переодеванием Нау.

Цзы Юнь гневно смотрела на него, не находя слов. Нау стал оправдываться:

— Я же больше всех и пострадал тогда.

Фэнкуй тоже попыталась его оправдать:

— Это все проделки Цзя Фэнлоу!

Фэнкуй продала головные украшения, и на эти

---

[30] Примечания: 30

Восьмая армия — первоначальное название НОАК.

деньги они жили некоторое время. Вскоре в город вошла Восьмая армия, и Фэнкуй с Цзы Юнь вздохнули с облегчением, только Нау ходил мрачнее тучи. Это удивило Фэнкуй, которая однажды ему сказала:

— Богачи и мироеды боятся за свое добро, потому и ненавидят Восьмую армию. А ты что загрустил? Непонятно!

— Ты бы вышла на улицу, почитала объявления. Там говорится, что реформы касаются главным образом деревни, так что богачи не особенно волнуются. А мне вот туго придется. У них ведь принцип: кто не работает, тот не ест.

— Можно найти себе какое-нибудь дело, теперь любая работа считается достойной. А ты человек грамотный, тебе не придется чистить канавы или бегать с коляской.

— Мне кажется, я никому не нужен.

13

Спустя некоторое время сообщили, что гоминьдановские солдаты реабилитированы и их просят прибыть на пункты регистрации. Там они отметятся и получат работу или выходное пособие — два мешка муки. Нау, еще прежде видевший, как вежливы и гуманны бойцы и кадровые ра-

ботники Восьмой армии, решился, — он достал рваную форму, которую носил на аэродроме, велел Цзы Юнь ее выстирать и нацепил поверх халата.

Приехав в Южный парк, он увидел длинную очередь перед регистрационным пунктом и встал в конец. Стоял довольно долго, наконец вошел. В комнате за четырьмя столами сидели члены военного комитета, среди них один совсем молоденький солдат. Нау поспешил к нему.

— Ваше имя? Какие части?

— Нау. Военно-воздушные части гоминьдана на аэродроме Южного парка.

— Специальность?

— Преподаватель.

Солдат стал листать папки со списками, одну откладывал, брал другую.

— Что вы преподавали?

— Национальную оперу.

Какой-то мужчина лет сорока подошел к столу и подозрительно оглядел Нау с головы до ног.

— Какое жалованье получали?

— Мне дали жилье, питание и два мешка муки в месяц.

Мужчина обратился к солдату:

— Не ищи, его там нет. — Он повернулся к Нау:

— Вы не числитесь в списках, мы не можем вас зарегистрировать.

— Как же так? Я ведь преподавал, и мне выдавали по два мешка муки!

— Что же вы преподавали?

— Пекинскую оперу. У меня амплуа почтенного старца. Вот послушайте… — И Нау, откашлявшись, затянул было арию.

— Довольно, довольно! Все ясно. Поезжайте к Передним воротам, там — отдел искусства традиционных жанров.

Нау ехал домой вполне удовлетворенный. Он хотя ничего и не добился, зато понял, что в Восьмой армии народ и вправду добрый. Ведь выслушали всю его галиматью и даже не выругали, не избили. Дома он переоделся в штатское и поехал к Передним воротам. Они располагались недалеко от вокзала, поэтому здесь было полно народу. Нау, с трудом пробившись ко входу, вошел и сразу столкнулся с молодой белолицей девушкой в чистенькой и отутюженной форме кадрового работника.

— Вам кого?

— Мне сказали, что здесь находится отдел традиционного искусства. Я хотел бы зарегистрироваться.

— Пожалуйста, входите.

Девушка провела его в комнату, села у окна, показав на стул напротив.

— Ваше имя? Кто вы?

— Меня зовут Нау, я — артист пекинской оперы.

— Какого амплуа?

— Почтенного старца.

— Из какой труппы? Где выступали?

— Я не состою в труппе. Выступал на радио, в чайных.

— Пожалуйста, подождите.

Девушка вышла из комнаты и вернулась через несколько минут.

— Я звонила товарищам из секции пекинской оперы. К сожалению, вы у них не числитесь. Кто может подтвердить, что вы поете?

Нау задумался только на мгновение.

— Мой учитель, Хо Большой.

Девушка улыбнулась:

— Вашего учителя зовут Хо Баолинь?

— Да, да! — возликовал Нау, хотя понятия не имел, как зовут Хо Большого.

Девушка снова вышла и вернулась с кем-то в новенькой форме. Нау глянул — да ведь это Хо Большой!

— Учитель! — закричал он.

— А, господин Нау, — усмехнулся тот и вдруг топнул ногой, — у нас началась новая жизнь, тебе тоже надо бы измениться, бросить вранье.

— Что же мне делать? Научите!

— Ступай к У Верному, он собирается организовать кооператив плетения веревок.

— Чем же вы все-таки занимаетесь, господин? — удивилась девушка.

— Вернее всего, что ничем! — ответил Хо Большой.

— Разве я не был корреспондентом? — возразил Нау.

— Да, был, даже успел опубликовать роман, — иронически заметил Хо Большой.

Девушка широко раскрыла глаза:

— Роман?

— Да, — замялся Нау, — но не очень удачный.

Девушка с большой ответственностью относилась к своим обязанностям. Она решила разобраться с Нау, попросила его заполнить анкетный лист, принесла рукопись романа и все статьи, когда-либо опубликованные им в газетах. Нау обрадовался, рассыпался в благодарностях и сразу после обеда привез все, что требовалось. Он немного покривил душой, умолчав, что ро-

ман писал не он. Нау решил, что будет не поздно сказать об этом потом, когда девушка прочитает роман, наверняка он ей не понравится.

Девушка в тот же вечер изучила его документы, еще несколько вечеров потратила на рукопись и рецензии и, обдумав все, пришла к следующему заключению: родители этого человека давно разорились, значит, его можно отнести к низшим слоям городского населения. Он никогда не состоял ни в каких партиях и политических организациях, то есть политически вполне благонадежен. У него довольно пошлые и примитивные публикации, но в них нет ничего антикоммунистического, прояпонского или прогоминьдановского. Роман тоже, конечно, дурацкий, но реакционным его не назовешь. А стиль неплохой, чувствуется рука мастера. Девушка соотнесла все эти выводы с курсом на перевоспитание старой интеллигенции и решила судьбу Нау. Когда он зашел через несколько дней, она, уже успев созвониться с нужным товарищем, отправила его с рекомендательным письмом в отдел фольклора и демократических жанров.

Похождения Нау на этом не завершились, с ним и в новом Китае произошло немало удивительных историй, но об этом в другой раз.

ЛУ ВЭНЬФУ
ОКНА НА УЛИЦУ
© Перевод А. Монастырский

Лу Вэньфу родился в 1928 году в уезде Тайсин провинции Цзянсу. В 1948 году после окончания средней школы старшей ступени был направлен в Освобожденный район на севере Цзянсу, где занимался революционной деятельностью. Начиная с 1949 года работал корреспондентом Отделения Агентства Синьхуа в провинции Сучжоу, а в дальнейшем корреспондентом газеты «Синь Сучжоу бао». В 1957 году вступил в Союз литераторов провинции Цзянсу, стал профессиональным писателем. С 1965 года трудился на заводе и в деревне. В 1978 году вернулся в Сучжоу, профессионально занимается творчеством, избран заместителем председателя Союза литераторов в Сучжоу. В 1956 году стал членом Союза писателей Китая.

С 1956 года начал публиковать свои ху-

дожественные произведения. Начиная с 50-х годов были изданы сборники рассказов «Слава» и другие.

Его рассказы «Посвящение себя» и «Жизнеописание Сяо Бая» получили премию как лучшие рассказы Китая в 1978 и 1980 годах. Привлекает внимание повесть «Гурман», написанная в 1983 году. Рассказ «Неприступная стена» удостоен Всекитайской премии 1983 года.

* * *

На улице Трех гор нет ни одной горы, да и улицей ее, пожалуй, не назовешь. По нынешним временам это переулок, да и то захудалый, но во времена Цинской империи, лет сто тому назад, это был широкий тракт, и ездили по этому тракту важные чиновники в богатых паланкинах, — каждый паланкин несли на плечах восемь человек. Там, где улица поворачивает на юг, на самом углу стоит небольшой домик, выстроенный, должно быть, еще в цинские времена. В нем двенадцать окон, узких и высоких, с фигурными рамами в виде цветов мэйхуа. Дом давно поделили пополам, и живут там две семьи, у каждой — свои шесть окошек.

Окна в западной части дома на первый взгляд ничем не примечательны. Изредка только подходит к окну сгорбленный старичок и напевает отрывки из местных опер, да так хорошо, что прохожие изумляются.

Гораздо интереснее другие шесть окон. Их украшают малиновые шторы с вышитыми золотом цветами, а когда легкий ветерок приподнимает тюлевые занавески, можно увидеть, как причесывается красивая девушка и как шелковистые волосы, словно волны, падают на плечи, а потом вновь собираются в тугой узел на затылке. В такие минуты случайный прохожий невольно замедлял шаги, а если девушка еще и напевала какую-нибудь арию, непременно улыбался, радуясь, что существуют еще на свете такие красивые голоса.

Жители улицы Трех гор знают все про обитателей дома с высокими окнами. За глаза их называют «те, кто зарабатывает на жизнь открытым ртом», то есть поют в театре, по-нынешнему — артисты, модная профессия.

Старичка, живущего в западной части дома, зовут Яо Дахуан. В молодости ему случалось петь в театре, но было это несерьезно. А потом он вступил в какое-то театральное общество, взялся

за кисть и тушечницу и начал сам писать пьесы, статейки и еще всякую мелочь. Теперь он сочиняет для местного театра. Он и режиссер, и суфлер, а если надо, то сам возится с освещением и тянет занавес, что, впрочем, никак не отражается на его авторитете — все в театре уважают старого Яо, а в городе даже считают его знаменитостью.

Девушку зовут Фань Бичжэнь. Она прима труппы, играет роли веселых хорошеньких девушек и переживает, что ей не хватает солидности. В восемьдесят втором ей исполнилось двадцать восемь, но она говорила всем, что ей уже тридцать. Ее мать в свое время тоже пела в театре, и называли ее Малышкой Фань. Годы прошли, а имя осталось. Она пользовалась большим успехом, пешком не ходила — ездила на рикше, летом не расставалась с дорогим душистым веером, а зимой куталась в лисью шубу. Фань Бичжэнь уже в три года умела петь. После четвертого класса ее приняли в спецшколу, потом — в театральное училище. Во время «культурной революции» училище закрыли, пришлось вернуться домой и учиться у матери. В театре тогда не хватало молодых актеров, и ее взяли.

Яо Дахуан и Малышка Фань знали друг друга не один десяток лет, долго работали вместе, и соседи

болтали про них всякую всячину. Поговаривали, например, что Яо в молодые годы был очарован красоткой Фань и именно из-за нее увлекся театром. И еще многое рассказывали, но все было так похоже на сюжет одной пьесы, про торговца маслом и фею цветов, что вряд ли происходило на самом деле. Впрочем, Яо и Фань дружные соседи. Их квартирки разделяет лишь тонкая перегородка, а коридор общий. Они вместе воспитывали маленькую Бичжэнь, и та поражала знатоков своими успехами. В театре Фань Бичжэнь начала с второстепенных ролей, но играла хорошо и очень скоро стала представлять барышень и фей, привлекла к себе внимание, стала часто получать приглашения на различные встречи и собрания.

Яо, который хорошо знал театральную жизнь и лучше, чем кто-либо другой, понимал, что без образования актер перестает совершенствоваться и быстро сходит со сцены, взял на себя обязанности домашнего учителя и давал девушке исторические книги и старинные энциклопедии, стихи и романы. Они читали «Сон в красном тереме» и «Веер с цветами персика»[31], современную художественную прозу. Благодаря этим урокам

---

[31] Примечания: 31

Классические произведения китайской литературы XVII–XVIII вв.

Фань Бичжэнь не только хорошо пела, но и могла свободно и раскованно вести беседу, имела собственное суждение о людях и вещах.

Жители улицы Трех гор привыкли к тому, что с наступлением вечера окна оживали. Оттуда часто доносились то пение, то смех. Это Фань Бичжэнь отправлялась за перегородку на урок или старый Яо шел к соседям выпить рюмочку. Бывало, в окошке показывается Фань Бичжэнь, спрашивает:

— Учитель, а что значит «барабанное брюхо нефритом набито»?

Высовывается из окна Яо и с расстановкой поясняет:

— Смысл этого выражения — чревоугодник объелся деликатесами, подобно тому как я это сделал вчера у вас в гостях!

Раздается дружный смех на всю улицу.

А неподалеку от улицы Трех гор строго с востока на запад проходит прямой широкий проспект, выстроились шеренгами высокие дома, среди которых затерялось трехэтажное здание с универсамом внизу. Верхний, третий этаж занимает управление культуры, хотя оно и не имеет никакого отношения ни к рису, ни к пиджакам. Окна все с железными рамами. Если они открыты,

можете быть уверены, в комнате никого нет, если все закрыты наглухо, значит, там заседают — при открытых окнах никого и ничего не услышишь из-за шума с улицы.

Сейчас крайнее окно плотно закрыто. Там идет совещание важное и секретное. Заседают всего четверо, один из них прислан сверху. На повестке дня вопрос о проведении в жизнь кампании по упорядочению руководящих кадров. Председательствует начальник управления по фамилии Ван. Ему пятьдесят девять, скоро на пенсию. Трудится на поприще культуры более тридцати лет, и за все это время особых промахов за ним не замечалось. Ван не скрывает своей позиции: если найдут подходящего человека, то он хоть сейчас готов отправиться на покой нянчить внуков, но пока, что поделаешь, приходится тянуть лямку. А как быть? Кого прикажете выдвигать на свое место, когда все остальные тоже болтаются между пятьюдесятью и шестьюдесятью? Один не годится на эту должность, у другого способностей маловато, а приказом их не прибавишь. Вслух говорить такие вещи, конечно, нельзя — можно обидеть. Нет, скажет такой обиженный, я лично ни на что не претендую и готов уйти на вторые рубежи, но объясните, что вы имеете в виду. А

объяснять — значит нарушать всеобщее согласие, мир и покой. Все равно через пару лет снова все встретятся в парке на скамеечке или будут заниматься по-стариковски гимнастикой на свежем воздухе. Зачем же делать так, чтобы кто-то воротил нос при встрече? Спору нет, руководство надо омолаживать и уровень образованности руководителей повышать давно пора. Только как? С образованием еще куда ни шло — пусть будет хоть несколько классов начальной школы, их всегда можно к чему-нибудь приравнять и написать посолиднее, а вот возраст никак не объедешь. Чем опытней работник — тем старше, а для отчета о проведении новой кампании особенно важны две графы — на сколько лет снизился в результате реорганизации средний возраст руководителей и на сколько процентов стало больше руководителей с высшим и средним специальным образованием. Тут поневоле призадумаешься.

Крайнее окно не открывается уже три дня, а вопрос так же далек от разрешения, как и в самом начале, хотя выход ясен и всем известен: надо просто назначить кого-нибудь совсем молодого, чтобы остальные могли поделиться с ним своим возрастом. Лучше всего найти этакого Гань Ло —

тот в двенадцать лет уже был первым министром при дворе, хотя и не имел, наверное, диплома о среднем специальном образовании…

Перебрали всех молодых — и без результата. Одно название что молодые, а на самом деле всем им под сорок, а то и больше.

Тут снова заговорил начальник Ван. Надо мыслить шире, сказал он, ведь люди из низовых учреждений — театров, например, — тоже годятся.

Как только прозвучало слово «театр», всех словно осенило. Не сговариваясь, подумали о Фань Бичжэнь, которую не раз видели в спектаклях и на собраниях. Держится свободно, говорит складно и рассудительно, а главное — ей всего двадцать восемь. Вся жизнь связана с театром — так пусть им и занимается. Только вот как у нее с образованием? Ведь не до учебы ей было, едва успевала роли разучивать… Знаете, и с образованием все в порядке, вдруг сказал один из заседавших. В прошлом году восстановленное театральное училище в связи с новой политикой вспомнило о своих прежних воспитанниках и выдало дипломы всем, кто проучился не менее четырех лет. Вместе с другими получила диплом и Фань Бичжэнь. Училище можно записать как

вуз — никто не станет копаться в таких тонкостях, — и все прекрасно!

Железная рама распахнулась, заседавшие столпились перед окном, довольные и спокойные, жадно глотая свежий воздух.

Зато прибавилось теперь беспокойства на улице Трех гор. Фань Бичжэнь и во сне такое не снилось — чтоб ей вдруг предложили стать заместителем начальника управления! Она в испуге бросилась к матери:

— Ой, мама, беда! Меня в начальники выбирают!

Малышка Фань развеселилась:

— Глупенькая, ты еще не проснулась, наверное!

— Да нет же! — топнула ногой Фань Бичжэнь. — Правда! Меня только что вызывал начальник Ван, сказал, что об этом скоро объявят.

Тут уж мать засомневалась, не спит ли она сама. Начальники, казалось ей, — личности почти исторические, непременно должны воевать с разной нечистью, преодолевать какие-нибудь великие преграды и тому подобное. А дочка совсем еще ребенок! И вид у нее не начальственный.

— Что скажешь, мама?

У Малышки Фань на все сложные случаи жизни

был один испытанный метод.

— Эй, Яо, дорогой! — забарабанила она в перегородку. — Иди-ка скорей сюда, надо посоветоваться!

Яо Дахуан как раз обдумывал новую, оригинальную пьесу, когда удары в стенку прервали ход его мыслей. Старик поспешно сунул ноги в туфли, погасил сигарету и помчался к соседям.

— Что тут у вас стряслось? Я думал, вы стенку пробьете!

— Беда, Яо! Хотят Бичжэнь сделать начальником, хотят запрячь нашего осленка вместе со скакунами!

— А что я могла сделать? Мне объявили, и тут же начальник Ван говорит, что дело это серьезное, отлагательства не терпит. Это, говорит, организационное решение, поэтому как члену партии надо, с одной стороны, проникнуться, а с другой стороны — подчиниться. Что уж тут говорить? Я пока не очень прониклась, но подчиниться, судя по всему, придется. Как же теперь быть, учитель?

Мать и дочь с надеждой устремили взоры на соседа, ожидая от него какого-нибудь чуда, веря, что он, многое повидавший, знающий дела минувшие и нынешние, под их пристальным

взглядом уподобится великому стратегу древности Чжу Гэляну и извлечет из потаенных глубин своей расписной сумы спасительное слово.

Действительно, готовое решение уже давно хранилось в седой голове драматурга. Дело в том, что люди пишущие всегда имеют свое мнение по вопросам, будоражащим жизнь общества. Так и Яо Дахуан пристально следил за проходящей кампанией по упорядочению кадров и был в глубине души горячим ее сторонником, многого ждал от нее, полагая, что стержнем кампании является проблема руководителей среднего звена. Если об них споткнется новая политика, то тем, кто внизу, только и останется, что в недоумении хлопать глазами, а толку как не было, так и не будет.

Подумывал Яо и над тем, чтобы написать об этом пьесу, но скоро почувствовал, что привычные формы здесь не подходят, да и представлять будет сложно, и не стал писать.

И вдруг появилась надежда, что не нашедшая творческого воплощения мечта осуществится на деле. Личный опыт, впрочем, учил, что и в жизни, и в творчестве надо быть сдержанным и не торопиться высказывать свои идеи.

— Ах, вот в чем дело! — задумчиво произнес Яо Дахуан. — Ну и что же вы решили?

— Я считаю, что соглашаться нельзя. Она всегда так, сначала скажет, потом думает! Как же она будет доклады делать? А начальникам постоянно приходится делать доклады.

— Доклады не самое страшное — можно, в конце концов, и по бумажке читать. Я боюсь, что не справлюсь, что сил не хватит. Да еще сцену придется бросить. А вдруг начальника из меня не получится, тогда что?

— Верно! — Яо Дахуан энергично раздавил окурок. Его охватил творческий порыв. — Ты уловила самую суть! Два момента важны. Во-первых — способности. Это такая вещь, что ее не увидишь и не пощупаешь. Они таятся в человеке, и ни он сам, никто другой об этом не знает, пока в положенный срок они не проявятся в настоящем деле. Тут только время покажет. Ну а потом, начальник — это не пожизненно, можно и уйти.

Яо считал, что у истоков творчества стоит логическая мысль, потом приходят образы и чувства. И в соответствии с этим строил свои монологи.

— Во-вторых, ты не должна думать только о себе. Взгляни на мои седины, на мою согбенную спину. Посмотри на мать — и ее не пощадил осенний иней, к тому же она располнела. Мы оба всю жизнь в театре. В «культурную революцию»

девять смертей пронеслись над нашими головами, мы тогда дышать, как говорится, не смели. Теперь, казалось бы, можно поднять голову, расправить плечи, но телевидение вдруг наносит театру тяжелый удар… Как изменчив наш путь, сколько подстерегает бед и невзгод! — Яо Дахуан был в ударе — ведь только вчера он показывал Фань Бичжэнь, как надо декламировать монолог Чжу Гэляна, наставляющего своих учеников.

Фань Бичжэнь слушала, кивая в такт головой.

— Продолжайте, учитель!

— Наш традиционный театр надо встряхнуть, оживить, дать ему силы принять вызов, брошенный телевидением, и проводить эти реформы следует, опираясь на наши традиции. Потребуются люди, деньги, активная помощь руководителей — дальновидных, конечно, а не таких, которые будут на нас давить. Хороший начальник может для театра сделать столько, сколько не сделают и десять, и двадцать актеров. И вот еще что — для руководящей работы ты молодая, а в театре твое золотое время уже на исходе. Иди. Не получится — вернешься, я буду учить тебя сочинять пьесы.

Фань Бичжэнь схватила сумочку и помчалась вступать в должность. Она распахнула окно в железной раме и села напротив начальника Вана за

свой стол. Двое в одном кабинете, лицом к лицу.

Некоторые думают, что начальнику Вану жаль расставаться со своим местом и со своей властью. Какая несправедливость! Не об этом беспокоится он, а о том лишь, чтобы воспитать себе надежную смену — тех, кто продолжит его дело, дело его жизни. Фань Бичжэнь для него — чистый лист бумаги, на котором он нарисует свой план, — и Фань Бичжэнь пойдет дальше по проложенной им дороге, вперед, в бесконечность.

Ему нравится эта девушка, от нее веет теплом и покоем. Не оттого ли, что она ровесница его дочери. Дочь живет далеко отсюда. И внешне они похожи. Словно бы Ван и не в кабинете, а дома. И говорить можно тоже по-домашнему.

— Ты не волнуйся. Будешь учиться, глядя на меня, — понемногу все получится. Представь, будто ты разучиваешь роль. Будто я старый актер, а ты ученица. Я пою — а ты подпевай, я делаю — а ты повторяй. После сама все поймешь. Роль следует выучивать наизусть, а в нашем деле для начала надо досыта начитаться разных документов. Ничем другим ты пока заниматься не будешь. Посидишь в кабинете, будешь отвечать на звонки, просматривать приходящие бумаги. Секретарей я уже предупредил, чтобы все тебе приносили.

Фань Бичжэнь понравилось, что начальник Ван так душевно с ней разговаривает. Поблагодарила, конечно, пообещала стараться, не пожалеть сил.

Ван обрадовался очень, не удержался — протянул руку и по голове погладил Бичжэнь, как дочку. И вдруг спохватился. Ведь она такой же начальник, как он, и сказал, чтобы загладить неловкость:

— Ну что же, надеюсь, мы сработаемся.

Фань Бичжэнь завалили грудой бумаг, без умолку звонит телефон. Она отвечает на звонки, просматривает кипы циркуляров. Только закончит — приносят новые. И так две недели подряд. В глазах рябит, в ушах звон, шея как деревянная, и спина ноет. Все время хочется спать. Раньше Бичжэнь много двигалась, часто бывала на свежем воздухе, а теперь сидит сиднем дни напролет. Изредка только подходит она к окну, распахивает железную раму и, свесив голову, смотрит на улицу. Там внизу снуют люди, машины, кажется, сам воздух пропитан шумом и суетой, но даже шум этот ей нравится. Ах, как весело помчался вон тот мотоцикл, с треском и с синим шлейфом позади!

Наступил день, когда Фань Бичжэнь увидела среди прочих бумаг сообщение о театральном фестивале. Каждый местный театр должен пред-

ставить музыкальную драму, демонстрирующую творческие особенности своего направления.

— Давайте я этим займусь, — сказала она начальнику Вану. — Ведь я немного разбираюсь в театральных делах.

Ван подумал и согласился.

— Ладно, — сказал он. — Это как раз по твоей части. Но учти, фестиваль — дело серьезное. Нам обязательно надо занять призовое место, пусть не думают, что мы впустую работаем. Ты пока бери все на себя — взвали, так сказать, всю тяжесть на свои плечи, а там я подскажу. Сейчас главное — сама пьеса. Пусть Яо Дахуан напишет что-нибудь. Только помни: хоть он человек и очень способный, но нуждается в постоянном контроле. Ему нельзя расслабляться — тогда он за вечер может сочинить пьесу, а пустишь дело на самотек — будет целый год сюжет обдумывать. Кстати, намекни ему между делом, что его жилищный вопрос решается. Я вас обоих подаю на рассмотрение. Не потому, конечно, что ты теперь начальница, — мы давно собирались. Надо проводить в жизнь новую политику в отношении интеллигенции!

Начальник Ван всегда стремился к ясности в деталях, особенно когда приходилось взваливать

ношу на чьи-либо плечи.

Фань Бичжэнь вернулась домой в приподнятом настроении и сразу же постучала в стенку:

— Учитель, у меня хорошие новости!

Она рассказала про большой фестиваль и все остальное, а про жилищный вопрос умолчала — чтобы не слишком было похоже на «материальное стимулирование».

Яо Дахуан страшно разволновался — ведь это же тот самый случай, который поможет осуществить его грандиозный план. Насколько грандиозный, не ему, конечно, судить, но вынашивал его Яо три года.

Он задумал перестроить традиционную драматургию, используя ее преимущества — сочетание пения с танцем. Приблизить театр к народной драме, сделать действие проще по форме и динамичнее, что отвечало бы духу времени. Текст станет емким и лаконичным, будет звучать как стихи. А там, когда сольются в единое целое стихи, песня и танец, посмотрим, что предпочтет молодежь — глубину мысли и изящество или же телевизор.

Фань Бичжэнь даже в ладоши захлопала от радости — так ей это понравилось.

— А о чем будет пьеса?

И об этом старый драматург подумал. В пьесе есть и пение, и танцы, поэтому Яо решил заново пересказать историю Си Ши[32] — она ведь и пела замечательно, и танцевать была мастерица. Его героиня не будет стереотипной. Си Ши предстанет как живое воплощение красоты, и именно от этого все ее несчастья, страдания и позор. Это будет трагедия прекрасного. Не просто история о том, как величайшая красавица древности утопилась, а подлинная трагедия, рассказывающая, как уродство и зло губят прекрасное. Ведь в настоящей трагедии — Яо Дахуан где-то об этом читал, — в настоящей трагедии гибель прекрасного должна вызвать у зрителя гнев, возмущение против всего отвратительного, должна заставить его самого искать красоту. Не думайте, что старик дальше своего носа не видит, в теории искусства он кое-что смыслит!

Фань Бичжэнь пока не разбирается в этих тонкостях, ну да ничего, ведь он по-прежнему ее наставник, а она — послушная ученица.

— Поскорее пишите эту пьесу, учитель, а я уж постараюсь, чтобы она попала на сцену!

В этот раз Яо решил показать все, на что спо-

[32] Примечания: 32

Си Ши (V в. до н. э.) — знаменитая красавица древности, наложница правителя княжества У.

собен. Он писал пьесы всю жизнь, зачастую не вникая в смысл написанного. Словно чужая рука водила его кистью. Во времена «культурной революции» все было распределено: руководство дает идею, массы — жизнь, писатель — свою кисть. Голова и кисть тогда существовали порознь, теперь же их надо соединить — ведь в начальниках Фань Бичжэнь! — и он наконец-то напишет такую пьесу, какую сам хочет. Напишет — и подарит людям.

С этого дня ночи напролет в его окнах горел свет. Жители улицы Трех гор не слышали больше, чтобы старый Яо напевал, и очень редко видели его на улице. А если случайно встречали, когда он бежал за сигаретами, здоровались, заговаривали с ним, он не слышал, не видел, молча шел дальше, наталкиваясь на велосипедистов. Все это беспокоило людей, и они спрашивали его жену:

— Что с вашим стариком, уж не заболел ли?

Но старая Яо спокойно отвечала:

— Ну как вы не понимаете — он увлечен творческим процессом!

— Ах вот оно что! Только уж очень его увлекло, со стороны поглядишь — вроде как не в себе.

— Так ведь говорят — в театр ходят тронутые, на сцене играют психи, а у тех, кто пьесы эти сочи-

няет, вообще мозги набекрень. Вот и мой старик тоже — вскочит вдруг среди ночи и что-то бормочет себе под нос! Только за весь век ничего себе не набормотал — ютимся до сих пор в тесноте.

— Вы уж будьте покойны! По радио теперь только и слышно, что интеллигенция да интеллигенция — рано или поздно и о вас вспомнят.

Яо Дахуан трудился изо всех своих старческих сил, а Фань Бичжэнь взяла на себя заботу о нем. Она просила мать покупать каждый день что-нибудь вкусненькое и угощала Яо — тому не много надо было. Если же ей дарили хорошее вино или сигареты, она не отказывалась, как раньше, отдавала все старику.

Она следила, чтобы в доме громко не разговаривали и не топали по лестнице. Телевизор внезапно сломался, и после ужина все сразу ложились спать.

Двенадцать окошек затихли, затаились. Казалось, что в доме никого нет, и только вечером и глубоко за полночь сиротливо горела в окне одинокая лампа да в тишине слышно было, как тихонько кашляет старик Яо.

Начальник Ван пристально смотрит на календарь: скоро фестиваль, а о подготовке ни слуху ни духу.

— Как продвигаются наши дела? — поднимает он глаза на Фань Бичжэнь. — Времени мало.

— Все в порядке. Яо Дахуан работает день и ночь.

— Это хорошо. — Начальник снова заглядывает в календарь. — На среду на вторую половину для назначим собрание — пусть Яо отчитается о своей работе. Пригласим специалистов — послушаем, выскажутся.

— Да ну, зачем отвлекать человека? — попробовала отмахнуться Фань Бичжэнь. — Он же еще не закончил! Вот как отпечатают текст, тогда и соберемся.

— Послушай, Бичжэнь, — со вздохом сказал начальник. — Как на сцене играть, ты, конечно же, знаешь лучше меня… Я не сомневаюсь, что Яо Дахуан пьесу напишет — для него это сущий пустяк. Дело в том, что он забывает о политике, сочиняет вслепую, не зная обстановки. Чтобы все не испортить, надо его работу держать под контролем, и поверь, я это знаю по опыту.

У Фань Бичжэнь опыта никакого не было. Вроде бы верно говорит начальник Ван — кажется, она и сама такое слышала, только не помнит от кого, что чем тщательнее работаешь над произведением, тем искуснее оно получается.

Опять Яо Дахуана будут «прорабатывать»? Он только успел закончить первое действие и был им очень доволен, как вдруг приходит приглашение, а в нем напечатано: «В среду в два часа дня просим прибыть на обсуждение доклада Яо Дахуана о ходе работы по подготовке к театральному фестивалю». Яо весь задрожал, прочитав, с листком в руках пошел к Фань Бичжэнь.

— Это что? Что такое?

Фань Бичжэнь увидела, что лицо у старика налилось кровью, и поспешила его успокоить:

— Не волнуйся, ничего серьезного. Я говорила, не надо отвлекать тебя от работы. Просто начальник Ван хочет знать, как идут дела.

— А кто проводит собрание?

— Не сказали.

— Кто еще там будет?

— Не знаю. Ван через секретарей рассылал приглашения.

У Яо ноги подкосились.

— Вот беда! Опять все по-старому! Бичжэнь, ты же за это отвечаешь — не соглашайся на такое собрание. Они задушат мою пьесу еще в колыбели!

У Фань Бичжэнь тоже было на душе неспокойно, но ведь надо приободрить учителя.

— Не переживай. Я думаю, если ты расскажешь

поярче, покрасочнее, все поймут, что пьеса хорошая.

Яо замотал головой.

— Не судьба, видно. Вытащат мою Си Ши на суд толпы и бросят на плаху, чует мое сердце! Одна надежда на тебя, — что ты их руку удержишь.

Наступила среда. В назначенный срок пришел Яо Дахуан на обсуждение, поглядел на собравшихся — и сердце похолодело.

Кроме начальника Вана и Фань Бичжэнь, было еще несколько человек — все старые знакомые, во время «культурной революции» не раз «прорабатывали» Яо.

Настроение у старика сразу упало. Стал говорить кое-как, сбиваясь на каждом слове. Перед актерами он никогда не робел, мог бойко прочитать пьесу, говорил спокойно, а перед начальством словно немел. Да и обстановка не та, чтобы петь и пританцовывать — на собрании можно лишь вкратце рассказать основную сюжетную линию. Про то, какая Си Ши красавица, как горячо любила юношу из своей деревни, как увидел ее Фань Ли и насильно увез, грозясь за неповиновение отрубить голову тому юноше. Чтобы спасти жизнь любимого, Си Ши, забыв стыд, отдала себя на поругание. А потом, не стер-

пев унижений, пришла на берег реки и бросилась в волны… Вот такая история.

Яо Дахуан за десять минут пересказал всю пьесу, а когда поднял глаза, то по выражению лиц понял, что рассчитывать на сочувствие не приходится. Во всяком случае, ничего нового и прекрасного они в пьесе не увидели.

Вспомнив совет Фань Бичжэнь, он пытался изобразить все ярко и красочно, но ведь его пьеса построена на танцах и стихах. Здесь важна и красота движений, и изящество стихотворной строки. А он, к сожалению, не великий Мэй Ланьфан[33], ему под силу лишь в доступной форме объяснить, что пьеса хорошая, что в ней трагедия прекрасного, что она призвана вызвать возмущение против всего отвратительного и пробудить стремление к прекрасному, но по форме она новаторская…

Но и пояснения не помогли делу, напротив, вложили плетку в руки критиков.

— Новаторская по форме? Гм, гм… Форма определяется содержанием, формализмом увлекаться нельзя. Что же касается содержания, то тема Си Ши устарела. Стоит ли на нее тратить силы?

---

[33] Примечания: 33
Мей Ланьфан (1894–1961) — выдающийся китайский актер.

Яо Дахуан попробовал доказать свою правоту:

— Нет старых и новых тем, важна сама идея осмыслить ту или иную тему по-новому.

— Я согласен с тем, что говорит Яо, — перебил его один критик. — Идея должна быть новой. Идея перед нами действительно новая, но содержание ее — пассивность. Автор находится под чьим-то нездоровым влиянием. Ведь Си Ши в первую очередь патриотка, а наш дорогой Яо на первое место ставит любовь. Это снижает образ Си Ши. Красной нитью через весь сюжет проходит одна идея — «разрушение прекрасного». Все это может породить у зрителей пессимизм, пассивность, упаднические настроения, что не соответствует духу времени и коренным образом расходится с политическими установками в отношении прекрасного. Все прекрасное разрушено, куда уж дальше!

Яо Дахуану стало не по себе. Он хоть и разбирался немного в теории, но нельзя же знать все! Да и что можно противопоставить таким кулачным методам? Ничего другого ему не оставалось, как обернуться к Фань Бичжэнь в безмолвной надежде, что она поможет, поддержит, спасет.

Фань Бичжэнь попыталась отвести занесенный кулак.

— Товарищи! Все замечания учитель Яо учтет, но не надо мешать ему продолжать работу над пьесой, тогда мы посмотрим — добьется он успеха или потерпит поражение.

Фань Бичжэнь говорила уверенно и серьезно, однако для многих она все еще оставалась актрисой — голос приятный, можно послушать, но принимать во внимание не стоит. Никто ей не возразил, но никто и не поддержал. Все смотрели на начальника Вана, ждали, что скажет он.

Начальник Ван будто не слышал сказанного Фань Бичжэнь.

— Ну ладно, — подал наконец свой голос. — У меня есть несколько незрелых мыслей…

Яо Дахуан привычно вытащил записную книжку, зная по опыту, что такие «незрелые» приговоры обжалованию не подлежат.

— В любом деле надо учитывать ситуацию в целом, видеть стратегическую линию. — Начальник Ван скользнул взглядом по Фань Бичжэнь, поскольку фраза предназначалась ей. — Я вот как понимаю. Все готовятся к фестивалю, и поскольку это фестиваль разных течений традиционного театра, то и приготовят к нему все лучшее, все традиционное, пошлют лучших актеров. Нам их не обогнать, скорее наоборот. Значит, нужна

другая, современная пьеса. И пусть она будет не бог весть какая и актеры не самые лучшие — все окупится новизной тематики. Присуждая призы, непременно посмотрят: современная тема или несовременная. Конечно, надо постараться, чтобы и пьеса была получше, и актеры на высоте, — это принесет свои плоды.

Опытности в таких делах начальнику Вану не занимать, да и приз на фестивале получить просто необходимо, а остальное — второстепенно, не стоит того, чтоб нервы тратить.

Все дружно согласились с начальником Ваном, и без лишних слов участь Си Ши была решена.

Начальник Ван заметил, что у Яо Дахуана лицо посерело, и вежливо спросил:

— А вы как считаете, Яо?

Яо Дахуан прибег к испытанному приему пассивной защиты:

— Начальник очень правильно сказал, но я не думал о такой пьесе и не смогу ее написать!

— Это ничего. Мы здесь и собрались для того, чтобы вам помочь. — Начальник Ван обвел всех внимательным взглядом. — Ну-ка, давайте, пошевелите мозгами! А то критиковать все мастера, предложили бы лучше что-нибудь дельное.

Стали предлагать дельное. Сочинять пьесу —

не научные проблемы решать, тут каждый, кто хоть немного разбирается в театре, может подать какую-нибудь идею.

Можно, к примеру, описать рост благосостояния современной деревни — как крестьяне богатеют, покупают телевизоры.

Или же как девушка бросается в реку, а смелый юноша, героический атлет, ее спасает. Или, например, про свадьбу инвалида — и трогательно, и благородно.

Предлагали и тут же сами отвергали: нет, не годится. Столько было похожих сюжетов на телевидении, все это не ново…

Мало-помалу все притихли. Легко сказать, найти что-то новое, самобытное! У писателя на это подчас целая жизнь уходит.

И вдруг — нашли! Пьеса о крупных экономических преступниках!

Сам начальник Ван поддержал идею:

— Верно, на эту тему еще никто не писал, это будет шаг вперед в современной драматургии.

— Про крупных экономических преступников писать можно — здесь есть сюжет, — согласились специалисты.

Яо Дахуан видел, что Си Ши не спасешь, решил спасти хоть себя и, выхватив ручку, стал запи-

сывать предложения, которые спешил внести каждый. Опять, как в прежние времена, вершилось коллективное творчество — Яо Дахуану оставалось только записывать.

Надо сказать, придумывать пьесу — занятие не из легких. Сначала надо найти хороший сюжет, а затем втиснуть в него все необходимые детали. Только где его возьмешь, этот сюжет? Бывало, вдесятером ломали голову. И день ломали, и два, а иногда и неделю! Впрочем, сегодня удача сама идет в руки — Си Ши хоть и не выдержала испытания, но ее сюжетную линию вполне можно использовать. Надо лишь перенестись из древности в современность.

Итак, год 1982-й. Быстро растет уровень благосостояния деревни, в которой живет девушка по имени Ши Си. Красоты она неописуемой, но заражена буржуазной идеологией. В нее влюбляется юноша из этой же деревни, хочет жениться. Влюбленные мечтают о том, как заживут вместе, построят дом, купят цветной телевизор… Но Ши Си колеблется — ее манит сказочный и прекрасный Гонконг, где с неба сыплются цветы, а из земли брызжет вино. Она мечтает жить на вилле, разъезжать на машине, пить кофе, танцевать. Тут и появляется чуждый элемент — один из тех

самых крупных экономических преступников по имени Фэнь Ли. Он бесстыдно врет девушке, что дядюшка в Гонконге оставил ему наследство, за которым надо срочно ехать. Так заморочил красавице голову, что та, поддавшись соблазну, уехала с ним в большой город, где и погрязла в пучине порока. Коварный Фэнь Ли решил использовать ее красоту для совращения ответственных работников, чтобы потом с их помощью совершать крупные экономические преступления. Но органы шли по следу, и вот Фэнь Ли изобличен, а Ши Си возвращается в деревню и, не стерпев позора, бросается в бурный поток.

Но это еще не конец, потому что влюбленный в Ши Си юноша, который как раз шел по берегу, храбро кидается в волны и спасает девушку. Спасенная Ши Си горько плачет, раскаиваясь в своих прегрешениях, юноша прощает ее, и они женятся…

Слово за слово, общими усилиями слепили пьеску. Кстати, коллективно написанное произведение лучше продукта индивидуального творчества. Хотя бы потому, что оно многогранно. В нем мощь и широта идеи, красота образов.

Заблудшая спасена, удар по крупным экономическим преступникам нанесен, благосостояние

деревни растет, моральное разложение обличено и подвергнуто критике. Но что самое главное — счастливый конец. Оптимизм. Надо полагать, Яо Дахуан не станет возражать против этого, тем более что сам некоторым образом причастен к созданию произведения.

Глаза у Яо округлялись по мере того, как он слушал. Он менее всего ожидал, что задушенная в колыбели Си Ши вдруг оживет и, перевоплотившись, снова будет чаровать своей красотой. Правда, Фань Ли уже был не Фань Ли, а крупный экономический преступник, хотя и такую возможность отбрасывать не следует: ведь известно из исторических записей, что он позже занялся торговлей и, кто знает, может, даже и спекуляцией.

Фань Бичжэнь, похоже, собиралась еще выступать, но Яо Дахуан дал понять, что не хочет спасать Си Ши. Творческий порыв пропал, и он вдруг обнаружил, что прежний его замысел не так уж грандиозен и что не ему, старому Яо, творить великое искусство.

Фань Бичжэнь между тем все еще не сдавалась. Когда стали расходиться, она подошла к начальнику.

— Я считаю, первоначальный замысел учителя

Яо хороший. К тому же отвечает особенностям нашей местной театральной школы. Почему бы не дать человеку попробовать?

— Вот что, милая Фань, — неторопливо начал Ван. — Я давно хотел тебе кое-что сказать, да все не решался. А теперь вижу — не говорить нельзя, иначе ошибки неизбежны.

Фань Бичжэнь недоумевала — еще ничего не сделано, откуда же взяться ошибкам?

— Ты, наверное, считаешь, что культурная работа — это веселье. — Голос начальника Вана набирал силу. — Разные там песни-пляски, спектакли-концерты? Нет! Это борьба двух линий в области идеологии, и вопрос стоит — «кто кого». Вспомни борьбу с контрреволюцией, с правыми уклонистами, вспомни «великую культурную революцию» — все начиналось с культуры! Современная обстановка напряжена до предела, какие же могут быть сейчас Си Ши? Как можно говорить о «разрушении прекрасного»? Ведь так мы и самих себя разрушим! Запомни, спектакль — не дом. Дом плохо построишь — никто слова не скажет, а спектакль плохой — всем до этого дело. Вот о чем ты, должно быть, не подумала.

У Фань Бичжэнь даже мурашки по телу побежали.

— Нет, не подумала… я… мне казалось, пьеса хорошая.

— Пришло время менять старые привычки, Бичжэнь. Каждый поступок, каждый шаг надо оценивать с политической точки зрения…

Начальник Ван подумал, что может совсем запугать девочку, и поспешил потрепать ее по плечу, снизив пафос:

— Да ты не бойся. Работай смело, а что неясно — спрашивай у меня.

Фань Бичжэнь вся как-то сникла, словно под тяжестью исторической ответственности, возложенной на ее плечи.

А вот Яо Дахуан расслабился — какой с него спрос? И жители улицы Трех гор не видели больше ночью одинокой лампы, а днем часто встречали Яо на улице и даже видели, как он подолгу стоит около стариков, наблюдая за игрой в шашки. В общем, все как обычно, и рассеян он не больше, чем всегда.

А когда соседи спрашивали у его старухи:

— Ну, что он, творит? — та пожимала плечами:

— Да кто же его знает, пишет себе да пишет.

Но это была не вся правда. На таких пьесах Яо Дахуан давно набил себе руку и писал играючи, успевая еще одним глазом смотреть телевизор.

Кисть так и порхала по бумаге.

Пьесу он закончил вовремя, обсуждение прошло гладко. Отправили ее на фестиваль. Были, конечно, волнения, но ни сон, ни аппетит не пропадали, даже животик у Яо округлился.

Стратегия начальника Вана сработала. Кроме того, у него ведь знакомые всюду — провели соответствующую работу.

После просмотра спектакля специалисты ничего плохого не сказали. Как, впрочем, и хорошего. Сказали только, что на фестиваль разных направлений она не годится — такая уж у нее своеобразная направленность. Однако, когда дошло до присуждения премий, пришлось признать, что это единственная современная пьеса, так как ни одно традиционное направление до нынешней тематики пока не добралось. Дали приз — шелковое знамя, денег три тысячи юаней.

Начальник Ван был очень доволен.

— Ну вот, — сказал он Фань Бичжэнь, — старики-то, оказывается, еще кое-что соображают! А теперь следующий шаг — широко объявить о нашем успехе, организовать статью в газете, торжественное собрание.

На собрании каждый получил свою честно заработанную долю. Уравниловкой не пахло: Яо

Дахуану дали двойную премию — восемьдесят один юань. Здесь же в присутствии всех было объявлено, что квартиру Яо решено расширить вдвое, за счет соседней, освобождающейся.

Знакомые поздравляли старого Яо:

— Говорили же вам — нынче интеллигенции почет и уважение, обязательно и вам должно было кое-что перепасть от этой политики. Так и вышло! Смотрите — теперь у вас целых двенадцать окон!

ЛЮ СИНЬУ
АВТОБУСНЫЕ МОТИВЫ
© Перевод В. Сорокин

Лю Синьу родился в 1940 году в городе Чэнду провинции Сычуань. Окончив в 1961 году столичный учительский институт, работал преподавателем в пекинской средней школе. В 1975 году был переведен на редакторскую работу в издательство «Пекин». Сейчас является главным редактором литературного журнала «Жэньминь вэньсюэ». В 1978 и 1979 годах его рассказы «Классный руководитель» и «Мне дорог каждый зеленый листок» удостоены премий на всекитайских конкурсах лучших рассказов. После этого опубликовал, в числе других произведений, повесть «Жезл счастья» и роман «Чжунгулоу», отмеченный премией имени Мао Дуня в 1986 году.

Ряд повестей и рассказов Лю Синьу в русском переводе вошли в сборники «Люди и оборотни» (М., 1982), «Человек и его

тень» (М., 1983), «Средний возраст» (М., 1985) и «Встречи в Ланьчжоу» (М., 1987).

* * *

ТРАНСПОРТ — КРОВЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА…

Раздражение. Его испытывает каждый, кому приходится ездить автобусом.

Томительное ожидание. Автобуса нет и нет. Наконец он появляется — и с грохотом проносится мимо. На нем надпись: «Экспресс» или «Дальнего следования». И на следующих то же. Дождался, пробился к двери, а она захлопывается перед твоим носом. Все-таки протиснулся — с помощью кондуктора, который обращается с тобой как с мешком картошки. Когда у него боевое настроение, он придирается к каждому пассажиру, требует проездные документы, нет настроения — он даже ленится продавать билеты.

На конечной остановке скопилось немало машин, но почему-то ни одна не трогается с места. В сердцах ожидающих занимается пламя гнева. Кто-то из очереди врывается в крохотную комнатушку, диспетчерскую:

— Почему не отправляетесь?

Ноль внимания.

Женщина-диспетчер с унылой физиономией за-

полняет какую-то ведомость. Несколько девушек и парней — не то водителей, не то кондукторов — сидят на скамейке и обсуждают свои проблемы.

Пассажир, повысив тон, повторяет вопрос. Сразу несколько голосов отвечают:

— Ждите! Пока машин нет!

В конце концов одна из машин подруливает к остановке, люди бросаются к ней, у входа давка. Тут раздается голос кондукторши:

— У Сиданя не останавливаемся! Кому в Сидань, не садитесь!

Как так? Ведь Сидань — одна из главных остановок!

Общее замешательство. Некоторые решают выйти и ждать следующей машины, но автобус уже тронулся. Поднимается шум:

— Почему не останавливаетесь? Мало ли, что экспресс, нам всем нужно в Сидань!

Кондукторша с завитыми волосами и подведенными бровями презрительно морщится:

— Говорите с водителем, я тут ни при чем.

Пассажиры начинают уговаривать водителя; у одних в голосе мольба, у других возмущение. Тут выясняется, что расписание экспресса допускает изменения, диспетчерские наметки не столь уж обязательны. Раздается голос водителя:

— Следующая остановка Сидань!

— Сидань! — повторяет кондукторша. Но автобус сочлененный, общей длиной в семнадцать метров, кто-то не расслышал, кто-то пропустил мимо ушей.

Диспетчер давно привыкла к тому, что пассажиры врываются к ней и учиняют допрос. Ей лень отвечать, лень даже поднять голову, когда спрашивают.

Диспетчерская — это особый крошечный мир, недоступный пониманию пассажиров.

На стене — большая доска учета сотрудников. На нее по выходе на работу вешают именной деревянный жетон. Особое место отведено для больных и прогульщиков.

В глазах пассажиров недобрые огоньки: столько машин, а приходится ждать.

По графику не в часы пик курсирует лишь половина машин. Водители расходятся по домам. Но и в час пик отдельные машины стоят из-за неявки шоферов.

Выход на работу диспетчер контролировать не может.

Зевая, она продолжает заполнять ведомость. Особенно трудно с графой «коэффициент соблюдения графика».

Точно соблюдать график невозможно. Из-за узких улиц — некоторые не расширялись с императорских времен, когда средством передвижения был паланкин. Из-за перегруженности артерий — сейчас в Пекине насчитывается триста тысяч автомобилей и пять миллионов велосипедов. Из-за светофоров. Из-за аварий. Из-за множества непредсказуемых факторов.

Что мы знаем о работе диспетчеров? Они трудятся по двадцать четыре часа, потом по двадцать четыре часа отдыхают. Это называется «работа через день». В автоколонне помимо стационарных есть несколько передвижных диспетчерских — в них спят после возвращения из последних рейсов. В обиходе их именуют «жилыми станциями».

Из-за дорожного происшествия на одном конце маршрута задержалось несколько машин. Потом они все скопом прибывают на другой конец. Диспетчер не может их все сразу отправить обратно, поэтому ей приходится переводить часть машин в «экспрессы», которые не останавливаются в Сидани, а потом посылать специальную машину в Сидань, чтобы разгрузить забитую народом остановку.

И так каждый день. Пассажиры никак не могут

этого понять и возмущаются: «Чем только занимаются эти диспетчеры!»

Обида несправедлива — по крайней мере в данном случае. Диспетчерша вовсе не хотела доставить пассажирам лишние неудобства. Она замужем, у нее нелады со свекровью. Ее сын горбат. У мужа неприятности с цеховым начальством. Она никак не купит стиральную машину. Она вымазала свое клетчатое пальто мазутом. Говорят, есть хороший пятновыводитель «Сиюцзин», но его не достанешь. Еще ей очень хочется белые туфли на модном скошенном каблуке. Голова гудит — пора мыть, но для этого надо купить новый косметический набор. Только кому до всего этого дело?

— Что вы тут делаете? Почему не отправляете машины?

Она не поднимает глаз. Она заполняет ведомость.

Автобус стоит у Сиданя. Одни пассажиры со вздохом облегчения покинули машину, другие с торжественным видом втиснулись внутрь.

Но автобус стоит.

Два парня, только что покинувшие его, в сильном возбуждении бросаются к кабине водителя. Один раскрывает дверцу, орет:

— Ты, сукин сын, почему не остановил у Дома профсоюзов?

Другой дергает водителя за рукав:

— А ну, вылезай, я тебя научу водить машину!

Дом профсоюзов — это предыдущая остановка. Перед отправлением объявляли, что автобус пропустит только Сидань. Водитель Хань Дуншэн думал, что, уступив требованиям пассажиров, заслужил их благодарность, а вот поди ж ты…

Хань Дуншэн невысок ростом, но крепко сколочен. У него густые брови и волосатые руки. Сразу видно, что с ним лучше не связываться.

Он заводится с полуоборота. Все требовали остановиться у Сиданя, потому он решил пропустить Дом профсоюзов. А где были эти парни, почему молчали? Вот всегда так, сделаешь доброе дело и неприятностей не оберешься. Недавно в Дабэйяо чинили мостовую, машин скопилось — минимум на полчаса. Самые нетерпеливые стали просить: «Хозяин, открой дверь, позарез нужно выйти!» По правилам двери открываются только на остановках. Он мог бы не обращать внимания на просьбы, но сердце у него мягкое. Сколько раз он нарушал правила и выпускал пассажиров! Сейчас он пожалел едущих до Сиданя — и нате пожалуйста. Чего хотят эти двое — ищут повод

для драки? Весь красный, он закричал:

— Эй, вы! Хотите вытащить из кабины — тащите, я все равно дальше не поеду. Пусть машина торчит здесь, отвечать будете вы.

Парни всерьез не тащили, топали ногами и ругались. Дрожа от возмущения, Хань Дуншэн повернулся к пассажирам:

— Послушайте, ведь правда все требовали остановить у Сиданя? Вы можете подтвердить?

Подтвердила только кондукторша Ся Сяоли:

— Ну да, все хотели сойти у Сиданя, а теперь капризничают…

Из пассажиров никто не проронил ни слова.

Обиженный Хань Дуншэн возобновил перепалку с парнями. Он уже готов был с ними схватиться.

Возле остановки образовалась пробка. Автобусы все прибывали и быстро образовали длинную очередь.

Регулировщик на перекрестке кипятился, но сделать ничего не мог. А тут еще скапливались зеваки — пешие и на велосипедах.

Все это происходило на пересечении улицы Сидань с главной магистралью, улицей Вечного Спокойствия, расцвеченной флагами, по которой непрерывным потоком шел транспорт.

Дело принимало неприятный оборот.

Неудивительно, что пассажиры не поддержали водителя.

Те, кто требовал остановиться в Сидане, уже сошли. Те же, кого Сидань не интересовал, не прислушивались к спору. К тому же люди обычно руководствуются правилом: меньше скажешь — меньше пожалеешь.

Сейчас большинство в автобусе составляли те, кто вошел в Сидани. Они чувствовали себя неуютно, но толком не знали, в чем дело, и потому лишь хмурились и молчали.

Подошел регулировщик, с ним члены бригады охраны порядка. Парни, затеявшие перепалку, почли за благо скрыться.

Но Хань Дуншэн не взял в руки баранку, он покинул кабину, вошел в салон и крикнул:

— Машина дальше не пойдет. Прошу всех выйти!

Регулировщик спросил, в чем дело.

Обиженно поглядывая на место, где только что стояли парни, Хань Дуншэн ударился в амбицию:

— Ага, хулиганов отпустили, а меня хотите наказать! Пожалуйста, я все равно больше не работаю.

С этими словами он передал регулировщику пачку красных, желтых, синих и зеленых «Талонов регистрации нарушений правил водителями г. Пекина».

Эти талоны водители обычно берегут от инспекторов как зеницу ока.

Регулировщик с ледяным спокойствием вернул талоны.

— Сначала отгоните машину в сторону.

Хань Дуншэн скрестил руки на груди и, не отрывая глаз от часов на здании Центрального телеграфа, заявил:

— Машина сломана, дальше ехать нельзя.

Видя, что конфликт затягивается, регулировщик стал расчищать путь для стоявших вереницей машин. Тем временем члены бригады охраны порядка уговаривали разойтись любопытных.

Хань Дуншэн вновь объявил пассажирам:

— Поломка машины, дальше не поедем, прошу всех выйти.

Человек десять сходят, остальные даже не собираются. Особенно те, кому посчастливилось захватить сидячие места. Как расстанешься с такой нежданной добычей! Тем более что жизнь учит терпению — оно помогает достичь недости-

жимого. Через раскрытые двери входят новые пассажиры, не обращая внимания на пронзительный голос кондукторши. Как бы то ни было, лучше находиться в машине — ведь следующая придет неизвестно когда. Любая, даже малая реальность надежнее самой блестящей перспективы.

Один из пассажиров протягивает Ся Сяоли деньги. Та сердится:

— Какой билет, видите, машина стоит!

— А я еду с начальной станции.

Кондукторша сдается:

— Ничего, обойдетесь.

Рядом с автобусом промчалось несколько такси. На душе у Хань Дуншэна стало еще муторнее.

Светящиеся опознавательные знаки на крышах такси он пренебрежительно называл «могилками», а самих таксистов «могильщиками». Но он очень им завидовал.

Хань Дуншэну шел тридцать первый год. Отец его служил поваром второй руки в захудалом ресторанчике, помещавшемся в переулке, мать не работала, вела хозяйство. Сестры тоже работали в ресторане: одна резала овощи и готовила подливы, другая разносила блюда. Гордостью семьи был младший брат. Он устроился в крупный

институт в западной части Пекина, правда, всего лишь каменщиком ремонтно-строительного отдела. Однажды всем преподавателям выдали по экземпляру энциклопедического словаря «Море слов». Административному и техническому персоналу словарь как будто не очень нужен, но в соответствии с традицией уравнительного распределения благ брат тоже получил экземпляр. И тут же перепродал его за сорок юаней. Время от времени подобные случаи повторялись, и Хань Дуншэн почувствовал себя обделенным: от автопарка он только и получал что пару перчаток в год.

Хань Дуншэна еще застала кампания по отправке городской молодежи в деревню и горные районы. Он попал в последнюю партию — позже выпускникам средних школ уже не нужно было проходить через это испытание. Работая в поле, обливаясь потом, он мечтал стать промышленным рабочим. Такой случай представился: небольшое угледобывающее предприятие в Фаншане объявило набор. После этого он узнал, что шахтерам приходится еще тяжелее, нежели крестьянам. Тогда он стал мечтать о возвращении в город. И тут ему, можно сказать, здорово повезло: «названый брат» его отца служил бригадиром в

автобусном управлении и помог Хань Дуншэню перевестись в автоколонну. Перед увольнением с шахты ему предложили подписаться под заявлением о том, что он добровольно переходит из рабочих четвертого разряда во второй. Он поставил свою подпись без колебаний. В автоколонне ему пришлось начинать все сначала. Два года он был кондуктором и лишь потом сдал на водительские права. И все это время он был в общем доволен судьбой. Только год назад у него стало сосать под ложечкой.

Причина — быстрое распространение такси.

Совсем недавно в Пекине было немногим более тысячи таксомоторов и ремесло таксиста отнюдь не считалось прибыльным. Теперь же в городе свыше десяти тысяч машин, и повсюду слышны рассказы о том, как их обладатели гребут деньги лопатой. Во всем автобусно-троллейбусном управлении насчитывается десять тысяч водителей — меньше, чем таксистов.

И рост продолжается. В самой крупной таксомоторной компании «Метрополис» число машин уже превысило три тысячи. Следом идет Городская таксомоторная компания — тысяча восемьсот машин. А затем еще более сотни названий — всякие там «Дальний полет», «Комфорт»,

«Дружба», даже «Шангри-Ла». Чего только не придумают.

После Освобождения велорикши с почтением и завистью взирали на водителей автобусов, а теперь те с высоты своих кабин смотрят на таксистов и испытывают к ним острую, как зубная боль, зависть. Хань Дуншэн еще не так страдает, как другие.

Каждое утро он встает до рассвета. Живет он в глубине старинного переулка, в традиционном пекинском дворике, в комнате чуть больше десятиметровой, очень скромно обставленной. На сооруженном им самим шкафчике стоит будильник, купленный еще к свадьбе. Он уже два года молчит, но Хань не несет его в ремонт, он и без будильника просыпается ровно в половине четвертого.

Спит он вместе с женой и ребенком на деревянной двухспальной кровати, теперь уже не модной. Ребенку пошел пятый год, но в детский сад его не водят. Дело в том, что Хань с женой мусульмане, а в мусульманский детский сад попасть трудно. Это усложняет жизнь. Они с женой молоды, как говорится, в самом соку. Но ребенок уже большой, как при нем заниматься любовью? То забормочет во сне, то скрипнет зубами — вся-

кая охота пропадет, сам себя не уважаешь. Но это бы еще ладно — у соседей не лучше. Труднее всего мириться с тем, что одним выпало на долю крутить баранку автобуса, тогда как другие водят такси.

С этой мыслью он встает, совершает утренний туалет, через полчаса выходит из своего переулка и на ночном кольцевом автобусе едет к главному входу в парк Цзиншань. К тому времени там собираются заступающие на смену водители и кондукторы, и дежурные машины развозят их в разные концы города. Зрелище поистине впечатляющее, жаль, что девяносто девять процентов пекинцев его не видят.

По дороге на работу Хань с водителями чаще всего судачит о том, кому и каким образом удалось перевестись в таксомоторный парк. Подобные разговоры жгут его душу как раскаленный уголь. Он считает несправедливым, что в таксисты, как правило, переводят детей или просто родственников автобусного начальства. Он так крепко запомнил имена и родственные связи новоиспеченных таксистов, что может их перечислить, если его разбудят среди ночи.

Вот и парк. Пора готовиться к смене. Настроение отвратительное. Ему представляются

современные модели такси, все более красивые и комфортабельные. С кондиционерами — зимой не холодно, летом не жарко. С магнитофонами — можешь слушать модные мелодии из кинофильмов. На заднем стекле игрушечная собачка, покачивающая головой, на переднем — гроздь винограда из пластика или мешочек с ароматическим веществом. Чтобы в машине хорошо пахло. Не хочется везти пассажира — не вези. Часть выручки, правда, полагается сдавать в сертификатах, но кое-что и себе остается. Закончил смену — можешь подъехать на машине прямо к дому. Да и полезные знакомства нетрудно завести. Словом, и удобно, и выгодно.

Зимой, когда в радиатор приходится заливать кипяток и легко обжечь руки, особенно приятно вызывать в памяти заманчивые картины из жизни таксистов. За смену, пока ведешь автобус, чего только не передумаешь, но труднее всего отделаться от одной мысли: «Почему же мне заказан путь в таксисты?»

Зарплата у водителей автобуса низкая. В среднем всего полсотни юаней. Тем, кто водит сочлененные машины, добавляют по шесть мао в день. Считая надбавки за пробег, за экономию горючего и премиальные, можно выжать в месяц

до ста двадцати юаней — при условии, что не было вынужденных прогулов и аварий.

Отопление и еда для семьи Ханя сейчас не проблема, впрочем, как и для остальных жителей Пекина. Вопрос в том, что люди хотят жить зажиточнее и комфортабельнее.

Раньше пекинцы спрашивали при встрече: «Вы поели?» Питание было проблемой первостепенной важности.

А сейчас спрашивают: «Вы уже приобрели цветной телевизор?»

О черном-белом вообще не спрашивают.

Затем следуют вопросы: «Какой размер экрана? Какой марки?»

Назовете «Пион», «Куэньлунь», «Золотая звезда» или «Павлин», вас спросят, покачав головой: «А почему не японский?» Ответите: «Фукуниси», поинтересуются: «Прямо из Японии? Обтекаемый? Тогда еще ничего». Восхищение вызывают лишь «Тосиба», «Сони» или «Шарп». «Вот здорово! Как вам удалось?»

Такова типичная психология пекинского обывателя в наши дни.

Не отстает и семья Хань Дуншэна. Но есть у нее и свои проблемы.

Отец Цинь Шухой, жены Ханя, человек еще не

очень старый, но еще десять лет назад его частично парализовало. Цинь Шухой рассказала об этом будущему мужу, еще когда он за ней ухаживал.

Мало того, что тесть почти не может передвигаться, он еще и не без странностей. Сейчас он живет в соседней с Ханем комнатушке. Рядом с его кроватью стоит большой сундук, настолько древний, что с него сошел лак. Говорят, он из камфарного дерева, но Хань никогда не чувствовал запаха камфары. Тесть никому не разрешает трогать сундук, даже внучонку Цзинцзину, — стоит тому лишь протянуть руку, как дед останавливает его движением губ.

Старожилы двора рассказывают о старике немало любопытного. Это сейчас он, бывший рабочий седьмого разряда, пенсионер, превратившийся в развалину. А лет тридцать тому назад был мужчина хоть куда и завзятый театрал. Арии из спектакля «Башня с белыми вратами» исполнял не хуже, чем сам Е Шэнлань. У него в жизни был период взлета, были свои тайны. Можно восстановить его послужной список, но никому уже не удастся узнать, о чем он думал на разных этапах своей жизни. Теперь все прекрасное и таинственное, что было на его веку, хранится в сундуке из камфарного дерева: афиши и програм-

мы пекинских театров тридцатых и сороковых годов, театральные газеты того периода, а также немало фотографий, и его собственных, и чужих. Утверждают, что среди них есть фото с автографами таких знаменитостей, как Мэй Ланьфан, Сяо Цуйхуа, Сюнь Хойшэн, Янь Хочжу — как в театральном облачении, так и в обычном платье. Во времена «культрева», когда шла борьба со старой культурой, он был рядовым рабочим, и хунвэйбины не интересовались его имуществом. В наши дни содержимое его сундука представляет немалую историческую ценность. Узнай о нем сотрудники Института китайского традиционного театра, они возрадовались бы и постарались принять соответствующие меры. Но разговоры о сундуке не выходили за пределы переулка. Слушая их, Хань Дуншэн лишь посмеивается. А он-то думал, что в сундуке спрятаны золотые слитки или на худой конец серебряные украшения. И вдруг такое разочарование!

Хань Дуншэн не понимает пекинской музыкальной драмы, так же как и других видов театрального искусства. Не любил он и книги, в его доме не найдешь никаких печатных изданий. Он что-то слышал о Мэй Ланьфане, но ему куда ближе эстрадные звезды Ямагути и Чжан Линь.

Он ничего не имеет против семьи жены. Зная, что мать рано умерла, а отец тяжело болен, он все же женился на Цинь Шухой. Мусульманину в Пекине нелегко найти себе пару, так что особенно разборчивым быть не приходится. Более или менее подходит — и слава богу.

Семья жены жила немного просторнее, чем его собственная, поэтому он поселился у нее. Ладят они, можно сказать, неплохо.

После рождения сына Цинь Шухой не вернулась на работу (в мастерскую, изготовлявшую шерстяные рубашки) и, как принято говорить, «кормилась за счет соцстраха». Пособие мизерное — всего тридцать юаней с небольшим. Но что делать? Отдать мальчика в детский сад нет возможности, да еще отец больной на руках. Раньше он хоть мог кое-как сварить себе лапшу, а сейчас пиалу не удержит. И под себя ходит. Не настираешься на малого да на старого. Она подумывала о найме няньки, но, подсчитав все как следует, решила, что выгоднее кормиться за счет «соцстраха», быть у самой себя нянькой, и пришла в хорошее настроение.

Как-то раз Хань Дуншэн, проезжая мимо Храма солнца, вдруг затормозил, выскочил из кабины, схватил за рукав какого-то велосипедиста и

устроил ему разнос. Парень нарушил правила движения. Но не это явилось причиной. Просто ему надо было выместить на ком-нибудь свою досаду, накопившуюся за вчерашний день. Накануне жена с малышом пошли покупать овощи. И в это самое время с тестем случился грех. Поднялась вонь, Ханю пришлось наводить чистоту. Свое дело он сделал, на душе стало тоскливо. Что за жизнь — на работе обслуживай пассажиров, а дома ухаживай за больным. Цветного телевизора и то нет. И за что ему так не везет!

Иногда у него возникала мысль: «Ну, когда же он...» Но усилием воли Хань тотчас ее прогонял.

Бывало, что тестю становилось лучше и он начинал говорить, хотя и невнятно, как будто рот полоскал. В таких случаях он подзывал зятя и просил купить ему пару пачек сигарет.

Хань молча брал из дрожащей руки тестя один юань и уходил. У старика была неплохая пенсия, но он отдавал на расходы только пятнадцать юаней, на питание, остальное держал у себя. Иногда раскошеливался, если в доме кончались сигареты или чай. Любил покурить и побаловаться чайком. Когда позволяло здоровье и было настроение, он выползал на улицу и приносил Цзинцзину гостинец. Таковы были экономические отношения в

этой семье.

Хань Дуншэн купил пачку «Зимородка» за 4 мао 4 фэня и пачку «Алых цветов сливы» по 4 мао 7 фэней (тесть признавал только эти марки). Оставшиеся девять монеток он вложил в дрожащие старческие руки вместе с сигаретами.

Глядя на лицо тестя, по которому то и дело пробегали судороги, он пожалел старика. Кто знает, не случится ли и с ним такое…

Стремление постичь чужую душу — одно из ценнейших человеческих свойств.

Но душа скрыта за телесной оболочкой и разглядеть, что в ней творится, нелегко.

Главное — чтобы было желание понять других. Но трудно добиться, чтобы такое желание было у каждого.

Жизнь подобна сети. Пока автобус везет пассажиров от одной ячейки к другой, они как бы отключаются на время или же размышляют о собственных делах. «Водитель автобуса» и «кондуктор» для них понятия абстрактные; даже видя их перед собой, пассажиры менее всего думают о том, что у этих людей есть свои имена, свои пути в жизни, свои семьи, свои радости и печали, восторги и страдания…

Трудно винить в этом пассажиров. Им в авто-

бусах приходится нелегко.

Бывает, что они терпят обиды от водителей и кондукторов. Так случилось и тогда, когда Хань Дуншэн заупрямился и велел пассажирам покинуть автобус у Сиданя. Особенно обиженными при этом себя почувствовали несколько человек.

Тот, кто хотел приобрести билет, но получил от Ся Сяоли отказ, работает техническим специалистом в государственном учреждении. Хань Дуншэн завидует таксистам, зарабатывающим больше, чем он, но ведь этот специалист получает еще меньше. Правда, если судить по стабильной части зарплаты, у него доход выше. Но Хань получает надбавки и премии, а этот специалист — уже лысеющий человек, разменявший пятый десяток, — кроме зарплаты, не имеет почти ничего. Все его добавочные поступления не превышают ста юаней в год.

Хань и его коллеги обнаружили еще один источник доходов. Некоторые из них часто сказываются больными. На деле они вовсе не болеют, а договариваются с разными предприятиями и перегоняют для них машины из Гуанчжоу и других портовых городов. Каждая такая поездка занимает от недели до полумесяца. При этом можно заработать до шестисот юаней.

Сам Хань Дуншэн трусоват для этого, да и жена ему не велит. Первые два года после рождения ребенка Цинь Шухой по рекомендации уличного комитета занималась изготовлением коробок для упаковки одежды. За большую коробку она получала 3,6 фэней, за маленькую 2,4 фэней. Хань Дуншэн, который круглый год затемно выходит на работу и возвращается в половине второго, после обеда помогал жене.

Они клеили коробки до самого ужина, потом смотрели телевизор и продолжали клеить. В десятом часу Хань укладывался спать, а жена порой работала до одиннадцати.

В лучшие дни выработка составляла двести и более коробок. За вычетом стоимости материалов и управленческих расходов в месяц удавалось заработать максимум восемьдесят юаней.

А у этого специалиста, который обычно ездит на велосипеде и лишь изредка пользуется автобусом, никаких иных источников дохода нет. Ни у него, ни у его жены, тоже служащей, нет ни сил, ни объективных условий для дополнительных заработков. Принято считать, что кадровые работники получают льготы при распределении жилья, но это не всегда так. Действительно, этот специалист недавно получил двухкомнатную

квартиру. Но если бы Хань Дуншэн и его друзья видели, какая скромная в ней обстановка! Хозяевам хотелось бы приобрести электроприборы, заменить маленький черно-белый телевизор, которому уже много лет, но все не получается. Даже на столь необходимую стиральную машину с двумя бачками и то еще не собрали денег.

А у Ханя в доме помимо телевизора с большим экраном уже стоит большая стиральная машина марки «Могущество», изготовленная в Гуандуне. Цинь Шухой накрывает ее куском ворсистой ткани яркой расцветки, что подчеркивает особое положение машины в семье.

Нет, Хань не прав, из-за мелких неприятностей считая себя самым неудачливым человеком в Поднебесной и вымещая досаду на пассажирах.

Но и пассажирам неплохо было бы побольше знать о его домашних проблемах.

Сколько пришлось склеить коробок, чтобы купить стиральную машину. Но после первых же двух стирок она испортилась. Вне себя от ярости, Хань с женой тут же отвезли машину на грузовом велорикше в универмаг, требуя ее заменить.

В универмаге им предложили оставить машину на техосмотр, чтобы установить, есть ли дефекты в моторе или машиной неправильно

пользовались. Хань кипел от злости, спорил, но все без толку — точно так же, как без толку спорили с ним пассажиры. Власть, пусть самая маленькая, здесь была не на его стороне.

Машину пришлось оставить. Все следующее утро у Ханя было неспокойно на душе. Он то и дело резко тормозил, пассажиры падали друг на друга. Они не догадывались, что даже на опытного шофера действует сиюминутное настроение, в данном случае испорченное из-за оставленной в универмаге стиральной машины.

Не будем подробно рассказывать о том, как супруга четыре раза ездили в универмаг, три раза меняли машины. Только на четвертый им досталась та, что теперь накрыта куском яркой ворсистой материи. Эта действительно хороша и надежна, работает как надо. Но мелкие невзгоды в семейной жизни продолжались, как легкое волнение после шторма. Однажды Хань, придя домой, увидел, что жена сидит на кровати и утирает слезы.

Что случилось?

Оказывается, кто-то подложил супругам свинью — сообщил уличному комитету, что у них есть постоянная работа, а потому они не имеют права прирабатывать изготовлением коробок. И

им действительно отказали в этом дополнительном доходе.

Хань не думал, что есть люди, завидующие ему не меньше, чем он завидует таксистам.

Как так? — возмутился Хань. Разве им легко доставались эти восемьдесят юаней? Иной раз, торопясь выполнить в срок заказ, они с женой клеили до глубокой ночи, и наутро он с трудом мог вести машину. А случись происшествие, у него отобрали бы права, посадили под арест — на что жили бы тогда жена с ребенком? За что же их лишили этих денег, где справедливость?

Хань Дуншэн мог бы подумать о том, каково приходится таксистам. Да, они хорошо зарабатывают, но ведь их рабочий день длиннее, чем у водителей автобуса: двенадцать, пятнадцать, а то и восемнадцать часов. И разве справедливо было бы отбирать у них часть заработанного в пользу водителей автобусов?

Каждый глядит на того, кто больше зарабатывает, и чем дольше глядит, тем больше разгораются у него глаза.

Зависть. Самая распространенная в настоящее время аномалия у китайцев.

Лишившись доходов от изготовления коробок, Хань с женой принялись искать другие пути.

Каким-то образом познакомившись с почтовыми служащими, Цинь Шухой подрядилась торговать газетами на комиссионных началах.

За каждый проданный экземпляр «Вечернего Пекина» можно выручить 0,4 фэня, а за «Многоликий мир» и «Болельщик», которые продаются вместе, по 0,5 фэня. Беря на комиссию соответственно по триста и двести экземпляров, муж с женой понемногу, но упорно приумножали свой капитал.

Теперь Хань каждый вечер торговал газетами, выручая по два с лишним юаня. И когда жена пересчитывала прибыль — сплошь мелкие монетки и потрепанные ассигнации, — она неизменно произносила с видом полного удовлетворения:

— Что ж, сегодня на еду заработали!

Китайское кулинарное искусство славится во всем мире.

Но в обычной жизни китайцы по-прежнему весьма скромны в еде. Пекинский обыватель всегда готов на ней сэкономить, чтобы отложить деньги на «большие покупки».

Сейчас пекинцы уже не определяют степень зажиточности той или иной семьи ни по еде, ни по одежде. Даже мебельный гарнитур, люстры и бра не имеют значения. Только количество и

качество дорогих электроприборов и предметов длительного пользования.

Есть распространенное выражение — «восемь больших вещей». Первое место среди них прочно удерживает известный телевизор, далее последовательность может меняться в зависимости от личных вкусов, но набор такой: стиральная и швейная машины, магнитофон, фотокамера, мотоцикл и видео…

Устремившись в поход за «восемью большими вещами», семья Ханя предельно урезала расходы на питание. Он уходил на работу без завтрака, и лишь совершив несколько рейсов, в девятом часу забегал в мусульманскую харчевню на конечной станции. Там он проглатывал четыре кусочка жареного теста, запивая их горячим чаем. Так бывало каждый день. В середине дня семья собиралась на обед. Обеды в семье Ханя были притчей во языцех у всех соседей. Триста шестьдесят пять дней в году на стол подавалась жаренная с соевой подливой лапша. Подливу Цинь Шухой не жалела, но в ней, кроме яиц и креветочной шелухи, ничего не было. С тех пор как цена на баранину подскочила до трех юаней восьми мао за кило, мясо стали покупать раз в месяц, и то лишь полкило. За ужином подавали

рис и тушеные овощи (самые дешевые в данный момент). В эти дни дешевле всего помидоры и сладкий перец — по 3 мао 2 фэня за кило, поэтому жена их тушила по полкило каждый вечер.

Всего этого, естественно, не знал тот пассажир, которому отказали в продаже билета. Между тем он был очень обижен и рассержен.

— Как же так? Я ехал на государственном автобусе и должен оплатить проезд. Я не хочу обманывать государство! — твердил он, все еще протягивая Ся Сяоли один мао.

Та еще более грубо отвела его руки, уставилась в потолок, прищурив глаза, так что они превратились в две щелочки. Подбородок ее дрожал, и она, будто виноградную кожицу, выплевывала слова:

— Хватит, хватит, хватит…

Наблюдавшие эту сцену пассажиры больше не могли молчать.

— Но вы же неправы… — воскликнула седеющая женщина.

Кондукторша резко ее оборвала:

— Неправа, неправа, неправа… Ну и что?

Глаза ее округлились и из двух щелочек превратились в два боба.

Тут не стерпел интеллигент в очках и, слегка заикаясь от волнения, заговорил:

— Что… что вы себе позволяете? Как вы от… относитесь к своим обязанностям?

— Вот так и отношусь! Я вообще не хочу работать кондуктором!

Ся Сяоли отвечала, как будто проволоку рубила.

«Не улеглась одна волна, как вслед за ней встает другая», — сказал поэт. Обстановка в автобусе все накалялась. Бедные пассажиры!

Ся Сяоли окончила среднюю школу в дальнем пригороде Пекина. Ее отец и мать были рядовыми рабочими на тамошней фабрике. Школа, где она училась, не относилась к числу «базовых», привилегированных, поэтому из всех выпускников лишь трое попали в вуз. В это самое время транспортное управление Пекина объявило набор кондукторов, и она подала заявление.

Кто мог знать, что вскоре начнет бурно развиваться частная инициатива. На разоряющихся или еле сводивших концы с концами частников не обращали внимания, говорили только о нуворишах, причем не всегда с преувеличениями. Один из соучеников Сяоли стал в их районе монополистом по изготовлению цукатов, организовав с этой целью «семейный цех». Никому не была известна сумма его вклада в сберкассе, но все ви-

дели, что «восемь больших вещей» он приобрел. Однажды он пригласил Ся к себе в дом на просмотр видеозаписей, после чего она еще больше стала ругать себя за то, что поторопилась пойти в кондуктора. Посидела бы дома, покантовалась какое-то время, потом получила бы патент на индивидуальный промысел и показала бы себя! В том, что ей это удастся, была уверена.

Раньше она не обращала особого внимания на свой гардероб, но теперь многое ее прельщало. Только вошел в моду косметический набор «Уоттс», как газеты уже рекламируют набор «Вейнберг». Не успела купить кисточку для бровей, как в универмаге появились щипчики для ресниц. Совсем недавно на пекинских улицах открылись салоны красоты на гонконгский манер со специально приглашенными из Гуанчжоу мастерами. От одних названий можно сойти с ума: «Малый Париж», «Новая волна», «Мини»[34]... Побывав на демонстрации мод, она узнала, что такое одежда типа Икс, Эйч или А. А сколько сверкающих украшений и драгоценной бижутерии в универмаге Лидо на Восточной улице Великого Спокойствия! Не успела купить туфли на тонком

---

[34] Примечания: 34
Звучит так же, как китайские слова «очарую тебя».

высоком каблуке, а уже входит в моду низкий…

Пассажирам следовало бы с пониманием отнестись к душевному состоянию девушки. Пусть она не писаная красавица, но она в расцвете молодости. Стремление к красоте — прекрасное качество, им не нужно пренебрегать.

Суть проблемы в том, что ей все больше претит профессия кондуктора. Выдаваемая управлением форма — синяя с желтыми пуговицами, на которых изображена баранка, — кажется ей некрасивой, а материя дрянной. Бригадир утверждает, что она стоит сорок восемь юаней, а в комиссионном за нее дают лишь девять. Поэтому Ся, нарушая правила, сидит на своем рабочем месте в той одежде, которая ей нравится.

Она завидует хорошо одетым пассажиркам, особенно иногородним.

Как-то одна приезжая обратилась к ней: «Товарищ, где пересаживаться, чтобы попасть в парк Ихэюань?»

Она искоса посмотрела на женщину. Хорошо сшитый дорогой костюм европейского покроя, в ушах сверкающие клипсы, то ли золотые, то ли позолоченные… Вот, полюбуйтесь! Наверняка впервые в столице, даже в Ихэюане не бывала, да и выговор провинциальный. Ся с презритель-

ной миной ответила — этот автобус не идет в Ихэюань! А где пересаживаться, спросите, когда сойдете.

Женщина расстроилась. Она впервые приехала в Пекин. Автобус только что миновал Тяньаньмэнь, и на сердце у нее было тепло от встречи с главной площадью страны. Она полагала, что в столице все должно быть лучше, чем в провинции, и люди тоже, заранее радовалась поездке в Ихэюань, тем более что дома ждут от нее рассказа о столичных впечатлениях. И вдруг, когда она спросила о маршруте, столичный кондуктор посмотрел на нее белыми от злости глазами и ответил ледяным тоном.

Женщина не удержалась:

— Товарищ, как вы со мной разговариваете?

— Как разговариваю? По-пекински, разве непонятно? — Ся Сяоли демонстрировала уверенность в собственной правоте. — Я же сказала, что этот автобус не идет в Ихэюань, чего еще вам надо?

Пассажирка возмутилась:

— Что у вас за отношение к работе?

Ся вскинула голову:

— А вот такое отношение! Не нравится — можете взять такси!

Женщина готова была расплакаться. У нее про-

пало всякое желание ехать в Ихэюань.

Пассажиры часто недоумевают, почему транспортное управление не принимает строгих мер против таких водителей или кондукторов. Почему их не увольняют? Некоторые звонят или пишут в управление и официально ставят этот вопрос.

Сама его постановка не удивляет. Разве пару лет назад киноэкран и телевизор не были заполнены историями о реформах? О том, как новый начальник, реформатор с железными мускулами, первым делом начинает приструнивать разгильдяев и лоботрясов. Будешь работать как следует? Исправишься? Нет, опять за свое! Тогда собирай манатки и катись ко всем чертям!

Однако Ся Сяоли и ей подобные не только не боятся такого поворота событий, но именно этого и дожидаются.

Из десяти тысяч водителей автобусов и троллейбусов четвертая часть уже подала официальное прошение о перемене места работы. Некоторые вообще готовы оставить службу. Иные, не дожидаясь разрешения, перестают являться на работу и ищут другие источники доходов.

Есть такие и среди кондукторов. Вот и Ся Сяоли пыталась уйти с работы, но ее не отпустили. То-

гда она стала вымещать злобу на пассажирах. Ей часто бывает лень продавать билеты. Согласно существующим правилам, невыполнение плана по продаже билетов не отражается на премии, а перевыполнение дает добавочное вознаграждение, но небольшое. На маршруте, который обслуживает Ся, большинство пассажиров имеют месячные билеты, так что на продаже разовых билетов план все равно не перевыполнишь. А увольнения Ся не боится, ведь она уже уходила с этой работы.

Действительно, несколько месяцев назад она вдруг исчезла и долго не являлась на работу. Кто-то из начальства приезжал к ней домой, но родители твердили одно: «Мы и сами не знаем, где она. Может, поехала к золовке в Шэньян». А она была в Пекине. Тот самый «король цукатов» рекомендовал ее во внешнеторговую организацию, где она стала работать в отделе приема гостей — подавать чай и лимонад иностранным коммерсантам. Хотя работа была временная, с заработком не выше, чем в автобусном парке, все же она давала дополнительные преимущества, к тому же казалась Ся более легкой и престижной.

В конце концов бригадир ее разыскал и объяснил в той организации, где Ся работала, что она

самовольно ушла из автобусного парка, после чего ее уволили.

Вскоре она пришла в диспетчерскую в костюме, который ей выдали для обслуживания иностранцев. Какой он был яркий и броский! На шее — гонконгский шарф цвета лазури, в ушах — серьги в форме снежинок, на ногах необыкновенные туфли из искусственной кожи — бледно-голубого цвета на высоком, самом модном каблуке.

Ни дать ни взять — «возвращение в родные места с почетом и славой»!

Ни у кого не возникла мысль, что Ся совершила что-то предосудительное. Хань Дуншэн, увидев ее после долгой разлуки, приветливо улыбнулся:

— Ага, пташка вернулась в гнездышко!

Ся Сяоли оказалась в окружении молодых кондукторш. Одни щупали ее платье, другие спрашивали, в каком салоне она причесывалась и сколько платила — девять или двенадцать юаней, третьи принюхивались, сморщив нос, к исходившему от нее аромату. Сияя от удовольствия, Ся балансировала, стоя на одной ноге — туфлю с другой ноги примеряла одна из девушек. Лицо Ся пылало румянцем, трудно описать, в каком она была настроении.

— Эй, Дуншэн, бери чэньпимэй![35] — крикнула напарнику Ся, кладя на стол пакет с деликатесом, и пригласила всех отведать. Дуншэн взял немного.

— Иностранные торговцы сейчас предпочитают чэньпимэй, а на сливочные конфеты смотреть не хотят, — поделилась своим жизненным опытом Ся Сяоли.

Диспетчерша, дожевывая чэньпимэй, спросила:

— Ну, когда собираешься заступить на работу?

— Ладно уж, завтра выйду, — милостиво согласилась Ся.

Наказывать? Увольнять? Но каждый начальник хорошо понимает, что, чем запугивать водителей и кондукторов увольнением, лучше постоянно напоминать о том, что никуда им не уйти из этой системы. Слишком много желающих уволиться, и управление этого не допустит. В случае самовольного ухода поступают как с Ся Сяоли. Так что ни устроиться на новое место работы, ни получить патент на индивидуальный промысел будет невозможно. Значит, шоферам придется по-прежнему водить машины, а кон-

---

[35] Примечания: 35

Чэньпимэй — разновидность цукатов.

дукторам продавать билеты.

Кровообращение в больших городах идет с перебоями.

Избыток холестерина? Тромбы? Перенасыщенность капилляров?

О, Китай! О, Пекин! Какие трудности на пути развития!

Слишком много людей, слишком тесно. Но нет вертикальной транспортной системы, которая смогла бы рассредоточить самый густой в мире людской поток. Во многих иностранных городах транспорт функционирует, как минимум, на трех уровнях: метро под землей, электрифицированные железные дороги на эстакадах и наземный автомобильный и троллейбусный транспорт. Обычно ведущую роль играет метро.

Возьмем, к примеру, Париж. Сеть подземных магистралей, протяженностью сто девяносто километров, имеет триста семьдесят станций и ежедневно перевозит около четырех миллионов человек — куда больше, чем другие виды транспорта.

А в Пекине всего две еще не соединенные между собой линии метро длиной 39,5 км, с 29 станциями. В годовом исчислении на метро приходится всего сто миллионов поездок, что составляет

лишь 3,2 % от общего количества пассажирских перевозок. Эстакадных линий нет совсем, так что основная масса перевозок падает на автобусы и троллейбусы.

Сейчас в Пекине 158 автобусных и троллейбусных маршрутов общей протяженностью 1866 км, которые обслуживают четыре тысячи машин. Ими пользуется восемь с половиной миллионов пассажиров в день. А в Париже в 1980 году было 219 автобусных маршрутов общей длиной 2320 км с парком из 3992 машин. Однако пользуются ими всего 2080 тыс. пассажиров в сутки. По пекинским нормам на квадратный метр площади автобусов и троллейбусов должно приходиться не более девяти пассажиров, но в часы пик это число возрастает до тринадцати. В Париже норма 6 человек на квадратный метр, фактически же из-за недогрузки — 3–4. Неудивительно, что в Пекине машины часто набиты до отказа, а в Париже редко увидишь стоящих пассажиров.

Но как ни хорошо в Париже, до него далеко!

«Чем стоять у водоема и жадно глядеть на рыбу, лучше пойти и сплести сеть».

«Плетут сеть» постоянно. Разве руководство Главного управления общественного транспорта Пекина не хочет развивать и наращивать

транспортные возможности города, повышать качество работы своей системы?

При управлении есть научно-исследовательский институт, в котором несколько десятков научных сотрудников со всем старанием ведут исследовательскую и информационную работу. Их зарплата еще меньше, чем у Хань Дуншэна, и они все еще ютятся в старом здании с протекающей крышей.

Нельзя не сказать и о том, что комитет по коммунальному хозяйству Пекина делает все от него зависящее, чтобы «расшить» узкие места. У некоторых руководителей от постоянных забот развилась бессонница. Легко упрекать их в бюрократизме, но попробуйте встать на их место — можете ли вы гарантировать, что быстро наладите городской транспорт в столице? Вряд ли.

Не будем говорить о конкретных трудностях. Сложнее всего — определить, каким должен быть городской транспорт: полностью или в основном хозрасчетным предприятием. Или же отраслью социального обеспечения, на дотации у государства.

Пока неясно. Транспорт называют «производственной отраслью, обслуживающей население».

Такое определение влечет за собой непримиримое противоречие.

Если речь идет об обслуживании населения, значит, прибыль не должна ставиться на первое место, следует даже мириться с убытками. Сейчас убыточной является каждая вновь открытая линия в Пекине, а на некоторых маршрутах и каждый рейс. Если цель — обслуживание, ни в коем случае нельзя поднимать плату за проезд. Но ведь горючее дорожает, а налоги на него не снижаются. За каждый месячный проездной билет государство доплачивает 1,9 юаня, и в нынешнем году сумма дотации составит примерно 32 миллиона юаней. Этим путем удается лишь кое-как устранить дефицит и добиться простого воспроизводства затраченного капитала. В таких условиях работники Главного управления не могут рассчитывать на повышение ставок, а водители и кондукторы на увеличение зарплаты. Социальное обеспечение во всей системе можно лишь сохранять на нынешнем низком уровне.

Но если считать транспорт производительной отраслью, весь персонал должен думать о том, как бы выжать из него побольше денег. Погоня за деньгами приводит к тому, что пассажирам в автобусах негде ногу поставить. В некоторых

городах с транспортом полный хаос. Ах, мы хозрасчетная отрасль? Отлично, выделим побольше автобусов на перевозку туристов, а на обычных маршрутах оставим минимум машин. Самовольно повысим плату за проезд или же будем брать с пассажиров деньги и не выдавать билеты. Можно сократить число остановок, чтобы увеличить частоту движения, а можно ждать на остановках, пока салон не заполнится. Можно ворчать и заниматься саботажем из-за того, что на туристических маршрутах заработки выше…

Говоря по правде, пекинский транспорт еще не так плох, особых беспорядков нет. Но коль скоро доходы персонала не соответствуют его потребностям, все большие масштабы приобретает совместительство. Утром 21 августа этого года женщина-водитель сорок четвертого маршрута, которая всего три часа как заступила на смену и не может еще устать, наехала на людей возле остановки Мавэйгоу. На месте умерла в мучениях женщина-инженер, содержавшая родителей и детей. Трое получили ранения, причем у только что зачисленного в вуз парня вытек глаз. А ведь водитель внимательный, осторожный, очень добрая по натуре женщина! Как же мог произойти такой трагический случай? Она задремала за

рулем. Почему — ясно без слов.

Так каким же должен быть городской транспорт?

Почти во всех капиталистических странах на этот счет существует полная ясность. Транспорт является частью социальной сферы, он не только не обязан приносить доход, но и не должен стремиться к самообеспечению. Он систематически получает дотацию. Во Франции, например, выручка от продажи билетов покрывает лишь 36 % расходов городского транспорта; остальное берут на себя правительство, местные власти и заинтересованные организации. В итоге не только компенсируются затраты, но и остается сумма, достаточная для дальнейшего развития транспорта и для обеспечения вполне приличного уровня доходов персонала и социальных благ. Так, водитель парижского автобуса получает в среднем шесть тысяч франков в месяц, что примерно равно двум тысячам юаней, то есть доходу таксиста.

В социалистических странах, например в Венгрии, поначалу не было выработано четкой политики в отношении общественного транспорта. В результате — серьезные убытки, невысокая трудовая активность. С конца семидесятых годов

государство стало добиваться оживления в сфере обслуживания, перевело на хозрасчет общепит и увеселительные учреждения; в то же время было решено изъять из сферы хозрасчета транспорт и впредь рассматривать его как часть социальной сферы. В начале восьмидесятых годов были вложены большие средства в модернизацию городского транспорта Будапешта при сохранении прежней платы за проезд. Зато резко повысились государственные дотации, которые покрывают теперь три четверти расходов. Зарплата и социальные блага, получаемые водителями, делают их профессию весьма привлекательной.

Когда транспорт наряду с почтой и таможнями выводится из сферы конкуренции и пользуется твердо установленной дотацией, его персонал начинает испытывать профессиональную гордость и материальное удовлетворение, становится легче добиваться повышения качества обслуживания.

Значит, и нам надо поскорее выдавать дотацию, и чем больше, тем лучше! Совершенно верно, дотация необходима.

Но в дотациях нуждается не только транспорт. Разве детские сады, начальная и средняя школа не требуют помощи, притом в больших

размерах? Посмотрите, как во время каникул школы превращаются в больницы и учителя обслуживают постояльцев, чтобы пополнить свои скудные доходы. Тоска! А культурно-просветительным учреждениям не нужна дотация? Разве мы не возмущаемся, когда видим, как библиотеки вынуждены организовывать в читальных залах платный просмотр низкопробных гонконгских видеофильмов, когда в наших музеях и заповедниках на каждом шагу взимают с посетителей дополнительную плату, когда в охраняемых законом местах разрешают за плату производить съемки и развертывать торговлю, в результате чего страдают памятники старины и окружающая природа? Слишком много отраслей нуждается в дотациях. А заграничная практика показывает, что дает с пользой употребляемая дотация: в школах прекрасное оборудование, музеи открыты для школьников бесплатно, в заповедных местах запрещены не только торговля, но и въезд автотранспорта…

Но дотация требует много денег. Откуда их взять?

Факты свидетельствуют о том, что прежний экономический курс, при котором все было зажато в узкие рамки, привел к низкой эффективности

и медленной отдаче. Страна не богатела, поэтому приходилось варить в общем котле жидкую кашицу и всем хлебать оттуда.

Практика подтверждает, что только курс на оживление экономики внутри страны и открытая политика вовне раскрепощают производительные силы и ведут страну к зажиточности.

Но оживление неминуемо влечет за собой неравномерность.

Некоторые отрасли, некоторые люди в результате оживления богатеют. Другие лишь мало-помалу получают определенные выгоды.

А есть и такие — например, работники городского транспорта, — которые по сравнению с таксистами и частными предпринимателями «терпят урон».

Бедность требует оживления экономики. Но оживление ведет к увеличению разрыва между бедностью и богатством. Ликвидировать разрыв можно, если вернуться к жидкой кашице из общего котла. Не хотите жить бедно и скучно — значит, необходимо оживление. Вот такой получается «заколдованный круг».

Гамлет вздыхал: «Быть или не быть — вот в чем вопрос».

Множество китайцев вздыхает: «Оживление

или жесткая регламентация — вот в чем вопрос».

Давайте все-таки вернемся к нашему автобусу.

Страсти вокруг него накалились до предела.

Часть пассажиров покинула было салон, но следующей машины все не было видно, и кое-кто вернулся обратно.

Хань Дуншэн продолжал бастовать. Ся Сяоли, не жалея голосовых связок, гнала пассажиров:

— Машина сломана, дальше не пойдет. Не пойдет дальше! Выходите, выходите же!

Отдельные пассажиры пытались урезонить ее:

— Всем же видно, что машина цела. Так почему мы не едем?

— На что это похоже! Разве у вас есть право решать, ехать или не ехать?

— Трогайте скорее, а то что о вас подумает начальство?

Полемика перешла на новую, более высокую ступень.

— А вот не поедем, и все. Машина цела, а мы не поедем!

— Что это за разговор? Да как вы смеете? Смотрите, жалобу пошлем!

— Не надо посылать, можете позвонить. Три три семь ноль три шесть, добавочный три шесть

шесть. Идите звоните!

— Вы не имеете права так обращаться с пассажирами!

— Можете писать в «Вечерку», в раздел «На улицах древнего города»! Пропечатайте нас!

Спорящие стороны в своих высказываниях начали переходить границы. Захоти кто-нибудь придраться, он нашел бы в их словах «реакционные настроения» — недовольство действительностью.

«Что за порядки! Чем дальше, тем безобразнее!» — думали иные пассажиры.

«Что это за жизнь, хватит с нас!» — думали Хань Дуншэн и Ся Сяоли.

Готовность произносить самые громкие слова по поводу самого незначительного события — это еще одна особенность современного рядового китайца.

Люди не хотят прощать друг друга, в каждом, кто с ними спорит, видят живое подтверждение испорченности нравов, мстят ему за собственные неудачи. А случается, что от слов переходят к делу и проливается кровь.

Но если разобраться — кто пострадал от нынешних «испорченных» нравов?

Взять хоть Хань Дуншэна, разве десять лет на-

зад он жил лучше, чем сейчас? Или Ся Сяоли с ее губной помадой, щипчиками для ресниц, серьгами, шарфом… Она посещает парикмахерские, салоны, слушает эстрадную музыку, лакомится пломбиром в высоком бокале, смотрит американский фильм «Звездные войны», — разве все это не проявление нынешних нравов?

Почти каждая городская семья приобрела электроприборы и имеет реальные возможности добавлять новые, более высокого качества.

С одной стороны, жалуются, что все дорожает, с другой — покупают недоступные прежде продукты, одежду и утварь.

Еще важнее то, что над головами больше не висит мрачная туча «классовой борьбы», кадровые работники не должны отправляться в «школы седьмого мая»[36], интеллигенция не воспринимает как должное кличку «девятые поганцы»[37]; младшие братья и сестры, сыновья и дочери больше не едут по приказу свыше в деревни и горные районы; люди с «плохим происхожде-

[36] Примечания: 36

Специальные заведения в сельской местности, куда в период «культурной революции» направлялась интеллигенция на «трудовое перевоспитание».

[37] Примечания: 37

Презрительное наименование интеллигенции в период «культурной революции».

нием», с «заграничными связями», носившие те или иные «колпаки», больше не подвергаются — по крайней мере открыто — дискриминации и оголтелым нападкам.

И тем не менее все недовольны!

Оживление экономики и открытая политика по отношению к заграница вызвали к жизни новые психологические конфликты: между богатыми и бедными, между очень богатыми и просто зажиточными, между разбогатевшими легко и потратившими много усилий…

Как примирить эти противоречия?

Может, следует убеждать людей не считаться с личными выгодами, не придавать значения зарплате и благам, довольствоваться жизнью скромной и непритязательной? Что же, эти качества достойны прославления. Но если в подобной пропаганде перестараться, возникнут сомнения в экономической реформе, психологическим стимулом которой как раз и является стремление увязать производственные задания с личными интересами. Это тоже заколдованный круг, но вращающийся в противоположную сторону.

Успех реформ в экономике в большой степени зависит от того, удастся ли реформа психологии людей.

Чувство меры — важнейшая составная часть истины. Высшее достижение практики — обретение необходимого равновесия.

Как это трудно!

Наш автобус в конце концов все же двинулся с места.

Кто добился этого?

В разгар перебранки к автобусу приблизился пожилой мужчина, высокий и худой, с жидкой седой бородкой и резко выступающим кадыком, одетый по-европейски.

Жестами он успокоил пассажиров, споривших с Ся Сяоли, и церемонно обратился к ней:

— Барышня, прошу вас успокоиться!

Затем он подошел к кабине и еще более любезно заговорил с Хань Дуншэном:

— Молодой товарищ, я не представляю никого, кроме самого себя, но прошу вас сесть за руль.

Ничего особенного сказано не было, но Хань вздрогнул. Он увидел выражение глаз пожилого мужчины. О чем сказали ему эти глаза?

После он и сам не мог бы ответить. Не всегда можно объяснить ход собственных мыслей. Но вовсе не было случайным то, что взгляд пожилого человека так подействовал на Ханя.

Бригадир не раз уговаривал Хань Дуншэна вы-

ходить в воскресные дни на сверхурочную работу. За нее платили надбавку, но не более трех юаней, а это не устраивало Ханя. Единственным его развлечением в выходной была поездка на велосипеде в парк Сунь Ятсена вместе с Цзинцзином. Сын ехал рядом на своем маленьком велосипеде с добавочным колесиком. Молодец парень! Еще нет и четырех, а он уже катит — под присмотром отца — вдоль оживленной магистрали до самого парка. Этот велосипед стоил родителям пятьдесят шесть юаней, но они не скупились.

Покататься на электромобиле в парке стоит целый юань, но если Цзинцзину этого хочется, отец достает деньги — катайся, сколько душе угодно! В игровом зале возле Сиданя с желающих покататься на сталкивающихся автомобилях берут вдвое больше. Но Хань и тут раскошеливается. Эй, Цзинцзин, хочешь покататься?

Цзинцзин одет не хуже любого мальчика из обеспеченной семьи. Едва появляются первые мандарины, по три юаня кило, отец покупает пару самых крупных и отдает сыну, который съедает их в один присест. Мы говорили, что семья потребляет полкило баранины в месяц, но кроме того, специально для Цзинцзина несколько раз покупается маринованная говядина. У

мальчика немало игрушек. Однажды по телевизору рекламировали печенье с витамином Е, способствующее умственному развитию. Хань тут же послал жену, которая обежала полгорода, но печенье нашла. Однако вскоре он услышал от кого-то в автопарке, что избыток витамина Е делает человека идиотом. Придя домой, он без всякого сожаления выбросил остатки печенья в мусорный ящик. Значит, может он быть другим — с сыном, женой, с тестем. Об этом и напомнил Ханю взгляд пожилого мужчины.

…Его позвал тесть, он подошел.

— Вот здесь, сзади…

Он понимал, что тестю совсем плохо; пока тот мог терпеть, он не звал зятя. Хань стал растирать ему спину; тесть шумно вздыхал — не то от боли, не то от удовольствия.

Ханя с женой все в автопарке хвалили. Было известно, что парализованный старик вовсе не родной отец Цинь Шухой. Ее взяли в дом на пятьдесят шестой день после рождения и вырастили. Об этом она тоже рассказала Хань Дуншэну до женитьбы. Ее родная мать еще в добром здравии, Хань вслед за женой называет ее «тетушкой»; дело в том, что родной отец Цинь приходился старшим братом приемному. Жена младшего

брата не могла родить, и он отдал ему свою дочь на воспитание. Теперь его, как и приемной матери Цинь, нет в живых. И вот при всем этом Хань с женой ухаживают за больным стариком и никогда не обижают его.

Был, однако, случай, несколько омрачивший картину, но о том не ведают ни соседи, ни тем более старик. Супруги украдкой посетили юридическую консультацию и рассказали адвокату, что старик не родной отец и что у него есть источник существования. Нельзя ли сделать так, чтобы он жил отдельно, а из его пенсии оплачивать сиделку? Или, может быть, власти устроят его в «дом почтения старости»? Адвокат отвечал очень вежливо и больше намеками, но им стало ясно, что лучше оставить все как есть.

Выйдя из консультации, супруги почему-то почувствовали, что у них горят щеки. По дороге домой они купили пять штук импортных, дорогих бананов, два из них отдали Цзинцзину, а три самых крупных положили перед стариком.

Прямо перед своими окнами Хань Дуншэн как-то соорудил кухоньку и маленькую, в два квадратных метра, кабинку. Первоначально в ней хранились коробки, которые изготовляли они с женой. После того как «подложили свинью»

и лишили их приработка, он принес с работы использованную канистру и укрепил ее на крыше кабинки. Потом он подвел к канистре шланг от водопровода, приспособил разбрызгиватель — получился настоящий душ. В жаркие дни вода в канистре нагревалась до самой приятной температуры. С конца июня до начала сентября весь двор не ходил в баню, наслаждаясь душем, сконструированным Ханем…

Теперь понятнее, почему Хань Дуншэн невольно смягчился от взгляда пожилого человека.

И Ся Сяоли бывала совсем другой. Каждый раз, возвращаясь в свой дальний пригород, она навещала школьную подругу Чэнь Сюэмэй, жившую в километре от нее. Муж Чэнь покалечил кого-то в драке и получил два года. Теперь она жила вдвоем с маленькой, похожей на тощего котенка дочерью. Ся помогала ей убирать комнату, гуляла с ребенком, успокаивала плачущую подругу. Когда Чэнь заводила речь о разводе, она сначала бранила ее, топала ногами, а потом обнимала за плечи и говорила ласковые слова. Прошлый раз она привезла подруге два пакета чэньпимэй, а потом вынула из украшенного бусинками портмоне фото молодого парня, сказав, что показывает ей одной. То был водитель легковушки, с которым

она познакомилась, обслуживая иностранцев. Чэнь стала убеждать ее поскорей решаться, а она вдруг попросила у подруги сигарету. Теперь настала очередь подруги брать ее за плечи, утирать выступившие слезы, долго шептать ей о чем-то…

Вот и Ся Сяоли, встретив взгляд пожилого человека, перестала шуметь и грубить.

В этом взгляде было что-то трудно передаваемое словами, что-то очень, очень важное, чего сейчас так часто не хватает людям.

Пожилому человеку пришлось много пережить. Он умел поставить себя на место другого и всегда старался думать обо всех хорошо. Взять тех двух парней, что затеяли ссору возле автобуса. Не один Хань Дуншэн возмущался ими — пассажиры, регулировщик и бригадмильцы почти единодушно сочли их злостными хулиганами. Иначе с чего бы им так поспешно ретироваться?

Но пожилой человек оказался более снисходительным. Вдруг они и вправду спешили к Дому профсоюзов по неотложному делу?

По-видимому, так оно и было. Эти молодые люди в джинсах и белоснежных рубашках, с дешевыми кольцами на пальцах и завитыми волосами назначили свидание у Дома профсоюзов и боялись опоздать. Они сидели в конце автобуса

и не слышали объявления: «Следующая остановка Сидань!» Когда спохватились, оказалось, что автобус протащил их до самого Сиданя. Они были рассержены, расстроены, и для обретения равновесия им нельзя было обойтись без ссоры с водителем…

Никакие они не хулиганы. Может быть, они недостаточно воспитанны, их грубая речь и развязные манеры и в самом деле вызывают раздражение, но у них есть свой смысл существования, своя жизнь, которой они хотят наслаждаться. У них могут быть и свои трудности, жизнь не всегда поворачивается к ним приятной стороной. Но мало кто может думать о них доброжелательно.

А тот пожилой человек может.

Он еще глубже понимает водителя, а потому еще больше ему сочувствует.

— Водить машину очень нелегко, — говорит он стоящей рядом женщине средних лет. — Вот недавно в жаркий день я на Ванфуцзине накупил целую корзину вещей. В автобусе было, как всегда, тесно, я взял да поставил корзину на капот мотора. Как раз около Сиданя автобус затормозил, корзина покачнулась, вещи посыпались чуть ли не на водителя. Тот был тоже молодой парень, посмотрел он на меня сердито,

но вещи собрать помог. Подъезжаем к Мусиди, гляжу — рядом с креслом водителя лежит мой настольный термометр. Думаю, разбился. Нет, цел остался. Но знаете, сколько он показывал? Сорок пять градусов!

Жаль, что ни Хань Дуншэн, ни Ся Сяоли не слышали этих прочувствованных слов. Но они ощутили притягательную силу глаз этого человека.

Тогда стоял июль, все никло от жары. Пожилой человек возвращался домой автобусом. Никто не уступил ему место, и он порядком утомился. Ухватившись за подпорку позади водительского кресла, он изо всех сил старался удержаться на ногах. Ему вспомнилось, как лет десять назад, во времена «культурной революции», на стекле возле кабины были изображены «Обязательства по обслуживанию пассажиров». Среди них было и такое: «Не стеснять и не толкать пассажиров». Хороши же «обязательства»! Представьте себе столовую, где работники «обязуются не класть яд в отпускаемые блюда»!..

Пожилой человек поглядел на двухместное сиденье, над которым красовалась надпись: «Для стариков, детей, больных и беременных». Сейчас всю скамейку занимал упитанный верзила,

притворявшийся спящим. Кондукторша ничего не могла с ним поделать. Только что вошедшая женщина с грудным ребенком посадила его на кондукторскую стойку, не встретив при этом возражений. Хотя такое в последнее время случалось не так уж редко, все равно скверное впечатление, созданное поведением толстяка, несколько рассеялось. Пожилой человек перестал обижаться на окружающих, спокойно доехал до Мусиди, нашел свой термометр…

«Правильно говорят — век живи, век учись, — подумал он. — Сколько ездил на автобусах, и никогда не обращал внимания на то, в каких условиях трудятся водители!»

Переходя от единичного к общему, мысли придавали его взгляду новую глубину и силу. Неудивительно, что выражение его глаз так подействовало на Хань Дуншэна. Еще не до конца успокоившись, он решил продолжить рейс. Но он все-таки не хотел терять лица. Обернувшись к пассажирам, он крикнул:

— Машина не в порядке, она не заводится. Если хотите ехать, пусть несколько человек сойдут и подтолкнут машину.

Среди пассажиров вновь разгорелась дискуссия. Никто не хотел выходить, не веря в поломку

машины. Послышались голоса обиженных, некоторые готовы были вновь ввязаться в спор с водителем. Но пожилой пассажир первым сошел с автобуса, приговаривая:

— Пойдемте, пойдемте, разомнемся немножко!

За ним последовало сначала три-четыре человека, потом еще десяток. Ся Сяоли высунулась из окна и крикнула пожилому пассажиру:

— А вы не толкайте! Пусть они поработают!

Хань включил зажигание, люди стали возвращаться в автобус. Пожилому кто-то уступил место, и он сел.

Автобус продолжил наконец движение.

Автобусы, наши автобусы…

В них еще можно встретить таких водителей, как Хань Дуншэн, и таких кондукторов, как Ся Сяоли. В них нередко приходится на одном квадратном метре вместе с двенадцатью соотечественниками «из своих тел строить Великую стену»[38].

Над этим стоит как следует поразмыслить. «Из своих тел строить Великую стену» — это не более как возвышенная метафора. Но попытаемся, не прибегая к метафорам, ответить на вопрос: что

---

[38] Примечания: 38

Строка из государственного гимна КНР.

мы должны делать?

ЛЮ ШАОТАН
ЭМЭЙ
© Перевод Т. Сорокина

Из услышанного на бахче под ивой

Лю Шаотан родился в 1936 году в деревне уезда Тунсянь близ Пекина. В 1953 году вступил в ряды КПК. Закончив среднюю школу в 1954 году, учился один год в Пекинском университете на факультете китайской филологии. В 1955 году переведен на работу в ЦК комсомола. В 1956 году был принят в Союз китайских писателей, стал профессиональным литератором. С 1958 по 1979 год работал на Пекинской железной дороге, на гидротехнических сооружениях, а затем в сельскохозяйственной коммуне родного села.

С 1979 года по возвращении в Пекин вновь занялся литературным трудом, является членом правления пекинского отделения Союза китайских писателей.

Начал печататься в 1949 году. В 50-е

годы вышли сборники его рассказов «Темные ветви, зеленые листья», «Песни деревни Шаньча», «Частный визит», «Праздник середины осени», сборники повестей «Плеск весел на канале», «Лето». С 1980 года вышли сборники рассказов «Эмэй», «Избранные повести», «Избранное», а также романы «Крик петуха в бурю», «Подземный огонь» и другие. Изданная в 1980 году повесть «Слабые люди» удостоена премии на Всекитайском конкурсе повестей 1977–1980 годов. Рассказ «Эмэй» получил премию на конкурсе рассказов 1981 года.

1

К северо-востоку от деревни Силюин течет канал, к западу протянулось шоссе Пекин — Тяньцзинь. Вокруг простираются плодородные, тучные земли, но, как это обычно бывает, у живущих возле леса нет дров, сидящий на кладе просит милостыню. С нищетой здесь не расставались.

На берегу канала плакучие ивы свешивают над водой ветви, пестреют цветы, зеленеют деревья — все как на картине. Но красоту нарушает

виднеющийся за зеленой завесой ивовых ветвей глинобитный, окруженный полуразвалившейся плетеной изгородью домишко под соломенной крышей, от которого еще издали веет застарелой бедностью.

В домишке жили двое — отец и сын. Тан Эру, по прозвищу Чудак, шел седьмой десяток. Когда-то он был известным на всю округу бахчеводом, но с тех пор как вышло распоряжение сеять только зерно и запретили разводить бахчевые, ему пришлось идти работать в поле. С возрастом сил поубавилось, и зарабатывал он каких-нибудь шесть единиц в день. Сын его, Тан Чуньцзао, окончил среднюю школу высшей ступени, и была у него заветная мечта поступить в университет. Плечистый и сильный, он мог хорошо работать, но учет трудовых единиц производится в коммуне по методу Дачжая[39] — и парня считали неквалифицированной рабочей силой. А при низких расценках и доход был невелик. Отец и сын весь год поливали землю потом, сохли и чернели на работе, но к концу года оказывалось, что заработанного хватало только на самую простую

[39] Примечания: 39

Дачжай — название сельскохозяйственной коммуны, организационная структура которой предлагалась в качестве образца в годы «культурной революции».

пищу, а денег не было ни гроша.

В этих местах, между двумя большими городами, из которых один — столица, парню жениться труднее, чем добраться до неба. Изящные, как стебелек цветка, девушки, словно облака к луне или птички к вершине деревьев, всей душой стремились в Пекин, на худой конец согласны были на Тяньцзинь. Ну, а неотесанные и даже дурнушки требовали таких свадебных подарков, что к ним и не подступишься.

Как говорил поэт, в здешних краях родителей «не радует больше родившийся сын, все надежды приносит им дочь»[40].

Но Тан Эр не расставался с радужными надеждами. Лежа на кане, он погружался в сложные расчеты. Не вырастишь платан — не прилетит феникс; хочешь женить сына — построй самое меньшее пятикомнатный кирпичный дом да еще потрать тысячу восемьсот юаней на свадебный подарок, а они с сыном вырабатывали в год пять тысяч трудовых единиц и на каждую единицу получали тридцать три фэня. Сколько ни считай, а чтобы ввести в дом золотую деву с яшмовым ликом, надо запечатать рот, затянуть до отказа пояс

---

[40] Примечания: 40

Строки из поэмы Бо Цзюйи (772–846) «Вечная печаль». *(Перевод Л. З. Эйдлина).*

и двадцать лет не пить, не есть. Бывало, те, кто имел должность и, значит, надежный кусок хлеба, кто мог покупать рис в магазине, словом, все те толстокожие, которых трехвершковый гвоздь не пробьет, свинья не съест и собака не тронет, снисходили до деревенских невест. Да только они выкупа не платили, а еще за невестой получали хороший куш… Тут его осенило. Хочешь женить сына без лишних расходов и не надорвавшись — надо обеспечить ему хорошую должность. А как? Самый верный путь — учение. Книги и помогут заполучить золотую деву с яшмовым ликом.

Тан Чуньцзао был способным, понятливым малым, жадным до учения. Приняв твердое решение, старик приказал сыну, чтобы тот после работы зубрил не поднимая головы и ни о чем больше не думал. Сам же недоедал, недосыпал, выжимал из себя все соки, лишь бы сын смог постичь все книжные премудрости. Но увы! Оказалось, что он жил не по тому календарю. Времена изменились, цениться стало все что угодно, только не ученость; на Доске почета писали имена тех, кто подал на экзамене чистый лист бумаги. А Тан Чудак, выходит, был глуп, как пустая тыква, и бестолков, как безъязыкий колокол; мало, что беден и неотесан, так еще и

упрям, как тутовое коромысло, — сломается, но не согнется: ни подольститься не умел, ни зайти с черного хода. И вот его сын из года в год не мог получить направление ни на работу, ни в вуз.

Холода сменялись жарой, шли годы. Тан Чуньцзао уже двадцать три, а виды на будущее чернее ночи; парень взрослый, пора жениться, и отец втайне волновался, стараясь не подать виду.

Но тут, как говорится, раз уж добрался до горы, какая-нибудь тропка вверх да выведет. В тяжелом семьдесят четвертом году, когда еды не хватило до нового урожая, один ловкий человек из их деревни, Ма Гочжан[41], по прозвищу «Императорский тесть», вывез из Сычуани семерых деревенских девушек, назначив за каждую свою цену. И вот Тан Эр побежал приценяться.

На самом деле имя Ма Гочжана означало «Государственная печать». Так вот, на этой печати отчетливо проступали распутство, лень, жадность, хитрость, злоба. Этому человеку не нужно было называть себя по имени — его, как говорится, за десять ли было видно.

Но в те годы честным людям дороги не было, злодеи и лихоимцы шли в гору. И стоило одному

---

[41] Примечания: 41

Гочжан — при написании разными иероглифами может означать «Государственная печать» и «Императорский тесть».

из них выбраться наверх, как за ним тянулся целый хвост.

У Ма Гочжана был названый брат, такой же пройдоха, с легкостью менявший обличье, как Сунь Укун — царь обезьян. Он был из тех, кто поднялся на избиениях, погромах и грабежах. Показав себя знатоком методов Дачжая, он забрал власть в уезде. Не отставал и Ма Гочжан. Богатство меняет человека: побратим, вступив в должность, развелся со своей желтолицей женой. Ма Гочжан, быстро смекнув что к чему, тут же обрядил и привел к нему свою цветущую восемнадцатилетнюю дочь. Так названый брат стал его зятем, а Ма Гочжан — Императорским тестем.

Богатые и знатные часто болеют. Ма Гочжан громко кричал при малейшем недомогании и стонал, когда был здоров. Получив удостоверение в уездном ревкоме, он ездил в разные концы страны, якобы в поисках хороших врачей, на самом же деле занимался темными делишками. Девушки из Сычуани — это была одна из его удачно завершенных махинаций.

Ма Гочжан жил на западном краю деревни около шоссе, на участке, который гадатели считали счастливым. Кирпичный дом с черепичной крышей, просторный двор, огороженный высокой

стеной, резные ворота с иероглифом «верность» на верхней плахе. Днем полно посетителей — как говорится, экипажи потоком, лошади — драконы; вечером в доме светло как днем от неоновых ламп. И все благодаря его зятю-ловкачу, которому это ничего не стоило, так, раз плюнуть, простая любезность.

Когда Тан Эр пришел к Ма, из семи сычуаньских девушек осталась одна. Дело в том, что, согласно постановлению, действовавшему в местной коммуне, вступать в брак мужчинам можно было не раньше двадцати пяти лет, а женщинам — не раньше двадцати трех. Одной из девушек было двадцать пять лет, двум — по двадцать четыре и трем — по двадцать три года. Ма Гочжан выдал их замуж сразу по приезде и по очень высокой цене; последней оставшейся было всего двадцать — ее нужно было еще три года кормить, и хотя Ма уже несколько раз снижал цену, покупателей не находилось.

Девушка эта сидела в западной пристройке; всхлипывая, она ела кукурузную лепешку, соленые овощи и запивала горячей водой, смешивая ее со слезами.

А в одной из комнат главного дома с большими застекленными окнами жена Ма Гочжана ярост-

но, не щадя глотки, ругала супруга:

— Обожрался салом — весь жиром и заплыл, надрался кошачьей мочи — глаза-то и не видят! Убыточный товар держим — висит на шее как жернов, и не спихнешь ее никак. Ты что, собираешься алтарь ставить и жертвы ей приносить, как Будде?

Ма крякал и вздыхал под градом сыпавшейся на него ругани, возражать не осмеливался. Вдруг во дворе послышались шаги, он увидел Чудака и, сразу повеселев, радостно осклабился.

— На ловца и зверь бежит! — расплылся он в ехидной улыбке и вышел навстречу.

2

Поставив отпечаток пальца под распиской в том, что взял взаймы восемьсот юаней под залог своей глинобитной лачуги и девяти деревьев, что росли вокруг нее, Тан Эр получил удостоверение девушки.

Фамилия и имя — Лин Эмэй, социальное происхождение — из крестьян-бедняков, окончила среднюю школу высшей ступени, социальное положение — учащаяся. Но в графе «для примечаний» две строчки мелких иероглифов сообщали, что отец ее — репрессированный контрреволю-

ционный элемент, и потому она относилась к категории «подлежащих перевоспитанию».

Эмэй была хрупкая, с желтоватым худеньким личиком, сверкавшие в черных глазах, как росинки на диком винограде, слезы придавали лицу не то испуганное, не то удивленное выражение.

Тан Эр тотчас же хотел увести девушку, но из дома послышался резкий голос жены Ма Гочжана:

— Подожди, ей надо переодеться!

Эмэй вошла в комнату, задернула занавеску, сняла с себя пеструю нейлоновую кофточку, брюки из синтетической ткани, белые пластиковые босоножки и, надев замасленную мужскую рубашку, латаные-перелатаные штаны из грубой материи и соломенные сандалии на босу ногу, вышла из дому.

— А почему вы отобрали у нее одежду? — оторопел Тан Эр.

— Да это я ей на время дал поносить, — растянул в улыбке рот Ма Гочжан. — Неходовой товар отпускается без упаковки.

Когда Тан Эр привел Эмэй в свой дом, Тан Чуньцзао, только что вернувшийся с работы, прохлаждался в тени ивы. Завидев отца с молоденькой девушкой, этот интеллигент схватил развешанную на ветках ивы одежду и мигом

натянул на мокрое тело.

— Чуньцзао, я привел тебе невесту! — смеясь одними глазами, с довольным видом сообщил отец.

Тан Чуньцзао покраснел до ушей и, не решаясь взглянуть на Эмэй, пробормотал:

— Как же так? Со мной не посоветовался… А может быть, и она не хочет…

— Чего там — хочет не хочет, ведь сама себя продала, — сказал Тан Эр с важным видом главы семьи, приосанившись и надувшись, словно Цзао Ван, бог домашнего очага. — Тебе двадцать три, ей — двадцать, по постановлению возрастом оба не вышли, регистрироваться нельзя; но все равно, если вы жили за столько тысяч ли друг от друга, а судьба вас свела, значит, Лунный старец[42] соединил вас, нынче ночью и сочетаетесь.

Когда они поужинали, было уже совсем темно, Тан Эр запер дощатую дверь; Тан Чуньцзао и Эмэй оказались в комнате, как птицы в клетке.

В лице Эмэй не было ни кровинки. Прислонившись к стене, она жалким комочком обреченно сидела на краю кана, не смея поднять головы. Тан Чуньцзао тупо и неподвижно смотрел на нее,

---

[42] Примечания: 42

Лунный старец — мифологический персонаж, живущий на луне и связывающий людей брачными узами.

не отводя глаз. Подавленные и смущенные, оба молчали.

Наконец Тан Чуньцзао хмуро бросил:

— Ложись-ка ты спать! — Отвернувшись, он сел за стол, стоявший у окна, выдвинул ящик, достал книгу и стал читать.

Поведение парня поразило Эмэй, и она то и дело искоса на него поглядывала.

Тан Чуньцзао чувствовал на себе ее взгляд — в спину будто чем-то кололи, и ерзал на стуле, не в силах унять волнение. Иероглифы расплывались перед глазами.

— Погасите лампу и ложитесь! — грозно крикнул из соседней комнаты Тан Эр. — Завтра коммуна на нашем дачжаевском поле проводит выездное производственное совещание, надо вставать в пятую стражу[43].

Тан Чуньцзао нехотя задул лампу, но с места не двигался.

— Вам тоже пора спать, — тихонько произнесла Эмэй.

Чуньцзао поднял голову и увидел в тусклом голубоватом свете луны Эмэй, похожую на маленький цветок, неясный, таинственный, вол-

---

[43] Примечания: 43

Пятая стража — время от трех до пяти часов утра.

нующий. Горячее желание толчками наполнило грудь, разлилось по всему телу.

Он вскочил, подошел к Эмэй, она вскрикнула и еще плотнее прижалась к стене, словно хотела в нее втиснуться.

Чуньцзао расстегнул на ней рубашку, она закрыла лицо руками и тихонько всхлипнула; он ласково, словно успокаивая, погладил ее, и она громко заплакала.

— Пожалейте, — жалобно взмолилась она. — Я… не хочу…

Тан Чуньцзао, словно его плетью ожгли, мигом отрезвел и, сгорая от стыда, бросился вон.

Старик Тан выскочил из свой комнаты и, раскинув руки, преградил ему путь.

— Отец! Я не хочу обижать эту беззащитную девушку… — с горечью крикнул Тан Чуньцзао.

Эмэй бросилась на колени перед Тан Эром и заговорила сквозь слезы:

— Дядюшка, я буду твоей приемной дочерью! Я продала себя, чтобы смыть позор с памяти отца да еще отдать долги за похороны матери.

Сердце человеческое — из плоти и крови, а Тан Чудак был добр и мягкосердечен. Он поднял Эмэй и спросил, растроганный:

— Какое несчастье обрушилось на твою семью,

девочка, отчего умерли родители?

Эмэй, плача, стала рассказывать:

— Места у нас благодатные, прямо райские — все само растет, но за восемь лет междоусобиц поля заросли травой. Чиновники начальству пишут отчеты о богатых урожаях, а членам коммуны — справки на выезд из голодного края, чтобы могли идти по миру. Мой отец вообще-то был человек молчаливый, кроткий, мухи не обидит, но когда живот от голода подвело, не сдержался: «Эта „культурная революция“ — не званый обед. Если так будет продолжаться, весь народ перемрет от голода; пять плохих элементов совсем вымрут, да и пяти хорошим несдобровать». За такие слова его тут же объявили контрреволюционером, совершившим «злодейское преступление», схватили, да как раз в самый разгар критики конфуцианства… Приговорили к смертной казни и расстреляли…

— Тише! — Тан Эр подошел на цыпочках к дверям, приник ухом, прислушался, приоткрыв дверь, посмотрел в щелку и только тогда вернулся. — При чужих людях не повторяй этих горьких слов твоего отца! Хоть и не ты сказала, а все равно сочтут преступницей.

— А мать отчего умерла? — спросил Тан Чу-

ньцзао.

— Она пошла с двумя моими младшими братьями на железнодорожную станцию в ста ли от нас собирать милостыню. Узнав о казни отца, бросилась под поезд.

— А братья?

— Когда я пришла на станцию забирать тело матери, Ма Гочжан как раз покупал девушек. Я продала себя за талоны на пятьдесят цзиней продуктов и тридцать юаней деньгами: пятнадцать пошли в уплату долгов, на пятнадцать купила для братьев еды. Считайте, что выполнила, как могла, свой сестринский долг.

— Из огня да в полымя угодила! — с болью произнес Тан Чуньцзао. — Человек должен себя уважать! Что ты, корова или овца, чтобы тебя покупать?

Эмэй продолжала сквозь слезы:

— Я думала, попаду на север, дойду до Пекина, подам жалобу.

— Кому? Какие теперь жалобы? — Тан Эр затряс головой, как кукла-барабанщик. — В такие времена, когда Небесный пес глотает солнце[44], а мелкие людишки и лизоблюды вошли в силу, в

[44] Примечания: 44

По старинной легенде, когда Небесный пес проглатывает солнце, случается затмение.

каждом храме витают души безвинно погибших! Если справедливые судьи по тюрьмам сидят, в какую же управу ты побежишь жаловаться!

— У меня не было выхода… Куда ни пойди… все плохо! — Эмэй еще пуще заплакала.

— Ну вот что, раз ты пришла в наш дом, значит, ты наша! — Старик ударил себя в тощую, костлявую грудь. — Будем теперь делить все на троих. Даст бог, с голоду не помрем, доживем до лучших времен.

Эмэй осталась в Силюине не то приемной дочерью Тан Эра, не то невестой Тан Чуньцзао, и из-за неясности положения ее нельзя было прописать.

3

Без прописки не зачисляли в бригаду на работу, а раз не работаешь в бригаде — не зарабатываешь трудовых единиц, без трудовых единиц не получаешь паек. Так и пришлось им делить два пайка на троих.

Они считали каждую рисинку, которую клали в котелок, ходили полуголодные, а перед новым урожаем и вовсе голодали. Весной, как только земля зазеленела, Тан Эр сварил суп из диких съедобных трав.

— Отец, а это… можно есть? — с сомнением

спросила Эмэй.

— Конечно, можно, — рассмеялся старик. — Шэньнун[45] травы ел, никогда не старел.

— Но вам-то, старому человеку, не надо бы их есть, — уговаривала его Эмэй.

— Э, я все ем. Из того, что в небе летает, только бумажный змей в еду не годится, а на земле — скамейка, — ответил Тан Эр. — Где родился, там и ищи пропитание. Я вырос на этих травах у реки, и кишки у меня привычные, луженые.

— Я для вас обуза. Вы, отец, из-за меня страдаете… — печально проговорила Эмэй.

Старик тяжело и протяжно вздохнул, проговорил горестно:

— Никак не угомонится эта «культурная революция», все бушует. Остается только ждать. В будущем году людям и котлы не понадобятся, в печах трава вырастет, а в дымоходах птицы гнезда совьют.

Но в тяжелой этой жизни были и радости. С приходом Эмэй в глинобитном домике стало веселей, то и дело слышался смех, бедность как будто отступила немного.

Эмэй хозяйничала, шила, латала, мыла, скреб-

---

[45] Примечания: 45

Шэньнун — один из легендарных правителей древнего Китая.

ла, отец и сын преобразились, ходили аккуратные, ухоженные. Дом был чисто выметен, дворик сверкал как зеркало, повалившийся плетень подперт новыми столбами — все старое и обветшавшее как-то помолодело, обновилось. Вокруг дома Эмэй посадила овощи, так что они ели свежие, не то что раньше — только соленые. Эмэй готовила еду, и в страдную пору, когда отец и сын падали от усталости, к их приходу все уже было на столе. После еды работники могли полежать на кане, отдышаться. Эмэй развела с дюжину кур и из курятника, как из сберкассы, каждый день брала яйца и покупала на них масло, уксус. Стали даже появляться кое-какие деньги. Она откормила жирную свинью, а вырученные деньги пошли в уплату долга Ма Гочжану; завели двух овец, и через год одну продали, другую съели, а шкуру постелили на кан, чтобы в зимние холода у Тан Эра не ныла поясница. На лугах вдоль канала росли густые травы, их косили, сушили, а осенью сено сдавали в заготконтору. Несколько стожков поставила Эмэй.

Она спала в западной комнате, а Тан Чуньцзао переселился в отцовскую. Молодые люди жили каждый сам по себе, разговаривали, шутили, но не позволяли себе даже дотронуться друг до

друга.

С наступлением темноты Тан Эр ложился спать, едва он касался головой подушки, раздавался громоподобный храп. И каждый вечер Чуньцзао шел заниматься в комнату, где спала Эмэй. Первое время она тут же выскальзывала за дверь, боясь оставаться с ним наедине. Потом, когда, как говорится, они уже съели немало каши из одного котла, ее настороженность постепенно исчезла. Пока Чуньцзао занимался, Эмэй рукодельничала в уголке при свете его лампы, не нарушая молчания.

Тан Чуньцзао был очень высокого мнения о своей образованности; среди молодежи Силюина никто не мог с ним тягаться, и от этого он чувствовал себя как-то одиноко. Однажды он вдруг вспомнил, что Эмэй окончила среднюю школу высшей ступени, но, судя по всему, относилась к его занятиям с полным безразличием, не проявляя к ним никакого интереса, как будто вообще не знала грамоты. Решив выяснить истину, он как бы в шутку предложил:

— Эмэй, нам с тобой никуда друг от друга не деться, как пальцам в кулаке или зубам во рту, давай-ка вместе повторять материал!

Эмэй равнодушно покачала головой:

— Чем больше сидишь за книгами, тем меньше пользы, только глупеешь. Меня жизнь учит уму-разуму!

Тан Чуньцзао подумал, что она не блещет знаниями и прикрывается красным словцом, но решил не отступать. Вздохнув, он сказал, желая ее поддеть:

— В начальной школе девочки обычно обгоняют мальчиков, а в старших классах сползают вниз: становятся рассеянными, вертлявыми, самовлюбленными, — мальчики их и обгоняют.

Эмэй вспыхнула, холодно усмехнулась, но придержала язык. Потом вдруг хмыкнула:

— Вот я как раз из тех, кто сполз вниз!

На следующий день Эмэй против обыкновения не пошла косить сено и собирать хворост.

Вечером Тан Чуньцзао, как всегда, пришел в ее комнату и взялся за математику. Вытащил из ящика тетрадь с задачками, открыл и застыл в изумлении: на каждой странице с примерами и задачами, которые он решал в последние несколько дней, мелким аккуратным красивым почерком были сделаны поправки и замечания, дельные, толковые, тщательно продуманные. Было отчего остолбенеть.

Очнувшись, он крикнул:

— Эмэй, это ты исправляла?

— Да разве я посмела бы? — Выражение лица Эмэй стало ледяным. — Я же из тех, кто сползает…

— Не затыкай мне рот моими же словами, уж лучше побей моими руками! — прервал ее Тан Чуньцзао. — Я буду твоим учеником, а ты моим домашним учителем!

— Да я не смогу. — От Эмэй все еще веяло холодом. — Где уж мне!

— Ну, соглашайся, не упрямься! — Тан Чуньцзао потряс ее за плечи.

Под этим натиском Эмэй заколебалась, потеряла уверенность и, покраснев, фыркнула:

— Так и быть, уступлю тебе… но только… в этом.

С того дня они занимались рядышком за столом до глубокой ночи, разбирая трудные вопросы. На белой бумаге окна чернели их тени, голова к голове.

Заработки в Силюине все уменьшались; Тан Эр и Чуньцзао из года в год ничего не получали на руки, будто воду решетом носили. Но теперь, когда Эмэй завела кур, свинью, косила сено, они зарабатывали по двести — триста юаней в год и выплачивали долг этому живодеру Ма Гочжану.

Тан Чуньцзао, давно уже чувствовавший себя неловко, как-то предложил отцу:

— Ты бы дал Эмэй сотню юаней, ведь у нее на родине два младших брата, она послала бы им денег на еду.

— Долг надо отдавать, он как змея вокруг тела, только когда сбросишь — освободишься! — Тан Эр с тяжелым чувством все же отсчитал десять бумажек по десять юаней и отдал Эмэй.

Она взяла деньги, глаза ее покраснели.

— Я ведь не знаю, в каких краях братья мыкаются, да и живы ли еще; лучше, пожалуй, съездить на эти деньги домой — узнать, что там делается.

— Ты не поедешь! — решительно отрезал Тан Эр, заволновавшись. — Нельзя тебе возвращаться в родительский дом, пока ты не замужем.

Эмэй, плача, пообещала:

— Я непременно вернусь.

— Не пущу! — отметая любые возражения, бросил старик, ушел в свою комнату, повалился на кан и сердито засопел.

— Не горюй, Эмэй, — ласково проговорил Тан Чуньцзао. — Я уговорю отца тебя отпустить.

Эмэй ушла к себе, заперла дверь и залилась тихими и бесконечными, как ливни в сезон дождей, слезами.

Оказавшись меж двух огней, Тан Чуньцзао расстроился и, прежде чем лечь спать, полночи метался по двору.

— Пусть девочка едет домой! — Тан Эр уже поутих, успокоился. — Два года она для нас изо всех сил старалась, нельзя нам ее обижать.

Чуньцзао поспешил добавить:

— Она обещает вернуться, ты должен ей верить.

— Пусть попробует не вернуться! — словно сквозь сон пробормотал отец, а сам захихикал. — Документ ее у меня, а без него как проживешь…

Тан Чуньцзао сверкнул в темноте глазами, спросил шепотом:

— Ты где его спрятал? Как бы она не нашла.

— За домом… под старым финиковым деревом… в глиняном горшке, — пробормотал Тан Эр и снова погрузился в сладкую дрему.

На рассвете кто-то постучал в окно западной комнаты. Эмэй проснулась, набросила одежду и услышала, что ее тихонько зовет Тан Чуньцзао. Она нерешительно открыла окно, спросила:

— Ты?..

— Возьми свое удостоверение! Поедешь домой. Если там тебе будет лучше, чем здесь, можешь не возвращаться.

— Я не поеду! — Эмэй перегнулась через окно и крепко обхватила Тан Чуньцзао за шею. — Я… не расстанусь… с тобой. — Парень почувствовал, как слезы, засверкавшие, словно росинки, полились ему на голову.

4

Потерянные, казалось, навсегда восемьсот юаней вернулись. Таны построили дом в три комнаты, кирпичный, с красной черепичной крышей. А все потому, что кончились десять лет бедствий, свет рассеял тьму. Ма Гочжана посадили в тюрьму, суд заставил его возвратить деньги, полученные за проданных девушек.

Новый дом утопал в цветах тамариска. Их аромат разносился далеко вокруг. Домик будто светился радостью сквозь зеленую завесу ивовых ветвей.

Улыбка не сходила с лица Тан Эра. Он все ходил вокруг нового дома, не осмеливаясь войти внутрь; заляпанные глиной ноги он вымыл на канале, но все равно боялся испачкать квадратные плиты пола. Тан Чуньцзао и Эмэй подхватили его под руки и ввели в дом.

Эмэй получила из Сычуани от братьев письмо, там жизнь была еще лучше.

— Ты подумай! — произнес погрустневший Тан Эр. — Птица ищет ветку повыше, а человек — место получше. Мы с Чуньцзао еще в долгу перед тобой, захочешь вернуться домой — слова не посмеем сказать.

— Отец, ну как же вы не понимаете! — Эмэй смеялась сквозь слезы. — Да я приросла к этим лугам, хоть плетью бейте — не пойду, палками гоните — останусь.

— Э!.. — промямлил старик. — Так ты бы… с Чуньцзао…

— А мы в два счета распишемся, — звонко рассмеялась Эмэй. — Не будем устраивать званый обед, приглашать гостей, тихо, без шума справим свадьбу.

— Не спеши, не спеши, — Чуньцзао потирал руки в замешательстве. — Ведь между нами и любви никакой не было!

— Эх ты, книжник, а винтиков не хватает. — Эмэй сердито ткнула его пальцем в лоб. — Любовь — это совсем не то, о чем пишут в романах или показывают в кино, — там сходят с ума, готовы с жизнью расстаться, а у зрителей голова пухнет, мысли путаются и в глазах рябит.

— Я боялся… если не по всем правилам… тебе обидно будет, — твердил свое Тан Чуньцзао.

— Нечего валить с больной головы на здоровую, — закричала Эмэй. — Отец, он передумал!

— А вот я перебью ноги этому поросенку. — Тар Эр схватил брус от ворот.

Эмэй взяла Тан Чуньцзао за руку, и они побежали в правление коммуны расписываться.

Там у ворот собралась толпа около какого-то объявления. Тан Чуньцзао протиснулся, привстал на цыпочки — это было объявление о приемных экзаменах в вузы. Он тут же выскочил назад.

— Мы не женимся![46] — Тан Чуньцзао покраснел от возбуждения, глаза его горели. — Поднатужимся, вгрыземся в науку — будем держать экзамены в вуз.

— Ну, ладно, — вздохнула Эмэй. — Подавай заявление, а я сдавать не буду, помогу тебе готовиться.

— Радость и горе будем делить пополам! — сказал Тан Чуньцзао на обратном пути. — Мы оба запишемся и будем сдавать экзамены.

— Ты и в самом деле неисправимый книжник! — горько усмехнулась Эмэй. — Раз мы с

---

[46] Примечания: 46

Речь идет о новых (с 1977 г.) правилах приема в вузы, согласно которым экзамены может держать любой выпускник средней школы (раньше для этого требовалась рекомендация производственного коллектива), за исключением состоящих в браке.

тобой не расписались, я не получу прописки, а без нее меня не запишут на экзамены в пекинской зоне.

— А! — Тан Чуньцзао застыл на месте. — Тогда ты немедленно возвращаешься в Сычуань, нельзя терять ни минуты.

— Я… я не хочу с тобой расставаться, не нужно мне экзаменов!

— Тогда и мне не нужно, погибать — так вместе!

Если уж Тан Чуньцзао на что-то решился, его невозможно было свернуть с пути. И Эмэй, хоть и была умнее и сообразительнее, не смогла его переупрямить. Пришлось смириться.

В ночь перед прощанием они в последний раз повторяли пройденное. Эмэй не находила себе места, мысли ее путались, горечь расставания, будто густой туман, застилала глаза и душу. Она не видела иероглифов, не могла решить ни одной задачи.

— Ты устала. — Тан Чуньцзао убрал со стола книги, бумагу, ручки. — Спи! Завтра встанем пораньше — и в дорогу.

— Подожди! — Эмэй обеими руками вцепилась в Тан Чуньцзао, словно боясь его потерять.

— Ну, какие еще наставления? — спросил Тан

Чуньцзао.

— Давай с тобой договоримся… — сказала Эмэй глухим от волнения голосом. — Если ты сдашь экзамены, а я нет, то я… не стану тебе мешать… полюбить другую; если наоборот, я все равно буду твоей.

— И я тоже! Клянусь! — не моргнув, сказал Тан Чуньцзао.

Они обнялись, впервые за несколько лет, что жили вместе.

— Сегодня… — едва слышно произнесла Эмэй, побелев, как бумага, — ложись со мной… Ладно?

— Зачем? — растерялся Тан Чуньцзао.

— Я хочу оставить тебе подарок на память…

— Какой еще… подарок?..

— Свою невинность.

— Нет!

— А то все так и останется только словами. — Эмэй, волнуясь, поцеловала его — такого честного, наивного, простодушного. — Если я стану твоей, никто не посмеет на меня зариться.

— Нет, так нельзя! — Тан Чуньцзао в смущении упрямо отстранил девушку. — Я хочу сохранить твою чистоту. Не могу обидеть тебя, да и того человека… которого ты, может быть, в будущем полюбишь.

Он подтолкнул Эмэй к кану и вышел.

Эмэй уехала, Тан Чуньцзао проводил ее на станцию, за всю дорогу они не проронили ни слова, расстались без слез.

Оба сдали экзамены, он в Пекине, она в Сычуани, за тысячи ли друг от друга, разделенные горами и реками.

Хотите знать, что будет потом?

Те, что собираются поболтать на бахче под ивами, не могут сказать ничего определенного.

Подождем несколько лет — узнаем.

МАЛЧИНХУ
ИСТОРИЯ ЖИВОГО БУДДЫ
© Перевод А. Монастырский

Родился в 1930 году в Юаньтумотэци, провинции Ляонин. Монгол. В 1945 году вступил в НОАК. В 1948 году — в КПК. В 1952 году учился в Центральном институте литературы. В 1954 году вступил в Ассоциацию китайских писателей. С 1956 года постоянно избирается заместителем председателя отделения Ассоциации китайских писателей в автономном районе Внутренняя Монголия. Член китайского отделения международного Пен-клуба. Заместитель председателя общества любителей литературы автономного района Внутренняя Монголия. Заместитель начальника Управления культуры. Член правления Ассоциации китайских писателей. Заместитель главного редактора журнала «Национальная литература».

В 1952 году опубликовал свой первый рассказ «Люди равнины Кээрмянь». Впо-

следствии в соавторстве с Хай Сянем и Да Мулинем поставил по этому рассказу фильм «Люди на равнине», получивший первую премию министерства культуры. В 1954 году вышел сборник его рассказов «Радостная песнь весны». Роман «Бескрайняя равнина» удостоен первой премии в области литературы на конкурсе, посвященном 10-летию автономного района Внутренняя Монголия. В 1962 году рассказ «Цветущая равнина» получил высокую оценку читателей. После 1976 года написаны киносценарий «Родина-мать!» и повесть «В начале лета». Публикуемый ниже рассказ удостоен Всекитайской премии 1980 года.

* * *

Мое родное село называется Баянхото. Здесь была ставка нашего знаменного князя. В этих местах я провел, как говорится, свое «золотое детство», далекое, яркое и волшебное, всегда окутанное сказочной дымкой. Поэтому каждый вспоминает его с любовью и тянется к нему всей душой.

Нашим соседом был лама Тогс. Говорят, ламам запрещено жениться, но у нашего соседа была не

только жена, но и дети. До сих пор не пойму, как такое могло случиться.

У Тогса было трое сыновей. Старшего звали Хасан-жаб, среднего — Тархи, младшего — Малаха. Малаха и я родились в один год. У нас в одно время росли зубы, мы вместе учились говорить, вместе возились в песке у ворот, сверкая голыми задницами. В общем, к тому времени, когда нам надели штаны, мы стали уже такими друзьями, что водой не разольешь.

Малаха был стройный, красивый: тонкие брови, ясные глаза, алые губы, на редкость белые зубы, лицо — круглое, высокая переносица, черные, как вороново крыло, волнистые волосы. Вот только уши чересчур большие, даже смотреть неприятно. Но старики твердили: точь-в-точь как у будды, значит, будет счастливым. А что такое счастье? В этом я мало смыслю. Малаха был умнее меня, сноровистей, храбрей, за это я его уважал.

Семья наша жила бедно, ну а его — разве что чуть-чуть лучше. Нам было, пожалуй, лет шесть в ту весну, когда наши края постиг голод, да такой, что, кроме княжей ставки да нескольких баяней (это богачи), у всех животы подвело. Как-то вечером Малаха прибегает и говорит:

— Бери корзину и айда со мной вязы обдирать!

— Ты что надумал? — спрашиваю. — В такую-то темень! Куда собрался?

— Пойдем! Там перед княжеским двором на лугу большие вязы растут, вот мы их и обдерем.

Я как услыхал, даже присел от страха и говорю:

— Так это же волшебные деревья! Не видел ты, что ли, как люди им кланяются? Кто решится на них залезть! Князь узнает — вмиг велит нам с тобой ноги повыдергивать!

А он только рукой махнул:

— Ха! Какие такие волшебные деревья? Волшебники разве бывают? Ты их когда-нибудь видел?

Я подумал, мотнул головой.

— Ну так пошли. Пока луны нет — залезем и обдерем!

А цветы у вяза здорово вкусные, если их обвалять в рисовой шелухе да обжарить. Особенно в голодуху. Для бедняков это был настоящий деликатес. Тут я вспомнил, что в доме ни зернышка, набрался храбрости, схватил корзинку — и мы помчались не останавливаясь, пока не добежали до волшебных деревьев, которые росли на лугу перед княжеским двором.

Ну и шельмец же был этот Малаха! Увидел поодаль старую пятнистую корову, которая щипала

траву, лег на землю и мне приказал лечь. Мы раскорячились, как лягушки, и медленно поползли к корове. Я сначала не понял, что он задумал. А потом вижу, берет он ветку и гонит корову в сторону деревьев. Лишь тогда до меня дошло, что корова нас закрывает от часовых, которые дежурят на пушечной площадке над княжескими воротами. Корова была старая и очень послушная. Прячась за ней, мы благополучно доползли до огромного вяза, а корова как ни в чем не бывало принялась травку щипать, помахивая хвостом.

Волшебное дерево казалось еще черней в ночной темноте — даже в дрожь бросило! Пока я стоял, замирая от страха, Малаха с ловкостью обезьяны успел вскарабкаться по стволу и мне махнул. Полез и я. А дерево это и в самом деле было волшебное — в такую сушь стояло все в листьях, ни одна ветка не высохла. Мы очень быстро наполнили обе корзины цветами, и тут на востоке взошла луна. Огромная, красная, только не яркая, и очень таинственная, — как глянул я на нее — сердце похолодело. Луна так и манила к себе, мы с Малахой глаз не могли от нее оторвать, забыв все на свете. Корзины мы осторожно повесили на ветки и залезли на самую верхушку, чтобы быть поближе к круглолицей луне, рас-

плывшейся в радостной улыбке…

Луна поднялась еще выше, и весь луг стал серебряным. Тут меня словно обожгло — я вспомнил, что пора домой возвращаться, и говорю Малахе:

— Слушай, как нам теперь через луг перебраться? При луне?

— Придется еще раз попросить старушку! — Это он про корову.

Выбравшись с луга, мы бросили корзины и растянулись на земле, покатываясь от хохота… Радость от того, что миновала опасность, выплеснулась наружу, и мы вдруг почувствовали усталость. Не было сил шевельнуть ни рукой, ни ногой. Мы лежали в росистой траве и смотрели в бездонное темно-синее небо.

У детей фантазия ограничена, но тут мы дали ей разгуляться вовсю. Что такое небо? Почему оно темно-синее? И правда ли, что за этим Синим сводом лежит другой мир, где живут они праведники, как рассказывают старики, верящие в будду? Уж наверняка нет в том мире ни злого князя, ни несчастных бедняков. И уж конечно, там никто не ест с голодухи цветы вяза!

На другой день обе наши семьи досыта наелись цветов вяза, обжаренных в рисовой шелухе.

В ту весну была засуха, а летом наводнение.

Дожди лили сплошным потоком. Маленькая речушка вздулась от воды. Люди вылавливали там рыбешку, и, надо сказать, немало. Как-то прибегает за мной Малаха, на лбу блестят бусинки пота.

— Айда за речку! И повеселимся, и рыбки наловим.

Я как раз не знал, чем заняться, так что упрашивать меня не пришлось — через минуту мы бежали к реке.

Большая вода уже спала, река стала прозрачной, и на дне видны были разноцветные камешки, казавшиеся стайками трепещущих рыбок. Мы разделись и бросились в воду. Бодрящий холодок проник до самого сердца. Мы стояли голышом посреди речки, забыв обо всем, и о рыбках тоже, брызгались и орали.

А назавтра ближе к полудню по селу разнеслась новость: монастырь Гэгэн выбрал Малаху живым буддой! Того самого Малаху, с которым мы вчера без штанов барахтались в воде! Я ушам своим не верил. Ну, «выбрали» — слово не совсем точное. Согласно буддийской религии, живой будда перевоплощается. Иначе говоря, когда срок жизни истекает и живой будда должен получить новое воплощение в другой телесной оболочке, он золотом пишет на красном шелке — в какой

дом и в какого человека переселяется, кладет записку в серебряную шкатулку с узорами и прячет в потайном месте. А после его смерти наставник живого будды созывает на совет главных лам, раскрывает перед ними шкатулку, достает записку и вслух читает. Тогда, по указанным в завещании приметам, которые понять не легче, чем решить головоломку, отправляются искать того, в кого переселился живой будда.

Говорят, в завещании прежнего живого будды монастыря Гэгэн было сказано, по каким трем приметам следует искать человека, в которого он переселится. По порядку монгольского алфавита буквы идут: а, на, ба, ха, га, ма… Так вот, у его старшего брата имя должно начинаться на «ха», у среднего брата — на «га», а у него самого — на «ма». Но мало, оказывается, найти трех братьев, у которых имена будут начинаться на «ха», «га» и «ма». Должны быть и другие приметы: на юго-восток от его дома надо отмерить девятьсот, еще девятьсот и еще восемьсот десять шагов, и там будет стоять дерево, которое пять человек, взявшись за руки, не смогут обхватить. А на северо-запад от дома, если отмерить девятьсот, и еще девятьсот, и еще восемьсот десять шагов, на глубине трех локтей должен лежать кусок

гранита величиной с коровью голову. Если все три приметы совпадут, это, значит, и есть тот, в которого переселился живой будда.

Монастырь Гэгэн послал людей на поиски, указав им эти приметы, и те тайком повсюду ходили, разведывали. И через несколько лет наконец решили, что мой друг, маленький Малаха, и есть тот самый живой будда, которого они искали. Так за одну ночь и стал Малаха, с которым мы накануне ловили рыбу, святым — живым буддой монастыря Гэгэн в восьмом перерождении.

Это было огромным событием, особенно для тех, кто верил в будду. Словно луч славы упал на каждого из них. Их лица светились счастьем. Село бурлило, как кипяток в котелке. В полдень главный лама монастыря объявил, что теперь все жители села могут поклоняться живому будде Малахе.

Моя мать была истой верующей. Она велела мне вымыть руки и лицо и собралась идти со мной на поклонение к Малахе. Стоило мне услышать «живой будда Малаха», как меня буквально трясло от беззвучного хохота. За это мать больно отодрала меня за уши, приговаривая:

— Не смейся! Не смейся!

И я перестал смеяться.

В положенное время мать повела меня кланяться Малахе. Я шел, движимый любопытством, вечно гнездящимся в детском сердце. Как-то он теперь выглядит, мой маленький друг, ставший вдруг живым буддой?

Мы с мамой остановились у дверей дома, где жила семья Малахи. Там уже собралось полным-полно народу — женщины, мужчины, старики, дети. На Малаху больше не распространялись обычные человеческие правила. Ни дедушка, ни бабушка, ни отец, ни мать не имели над ним прежней власти и должны были, как и все прочие, преклонять перед ним колена, принимая благословение. Мы долго ждали своей очереди поклониться живому будде. Теперь мне уже было не до смеха, сердце в пятки ушло от страха, ведь я сейчас увижу своего друга, ставшего буддой. Меня наконец втолкнули в дверь, и тут я увидел Малаху, который прямо, не шелохнувшись, сидел на кане; перед ним — столик из красного дерева, на столике — священный свиток и серебряный сосуд со «святой водой», в воде — павлинье перо, чтобы кропить водой верующих. Увидев меня, Малаха улыбнулся. Улыбался ли я — не припомню. Слева и справа от Малахи сидели его мать и старик-наставник. У старика веки и губы от-

висли, словно кора на старой сосне, от углов рта тянулись глубокие борозды, лицо было темное-претемное. В общем, страшилище, да и только! Я старался на него не смотреть. Между тем мама, преклонив колена и сложив ладони, принялась отбивать поклоны. Я не замедлил последовать ее примеру. Согнувшись в поклоне, я поднял глаза, и наши взгляды встретились. Малаха по-прежнему улыбался и даже помахал мне рукой, а потом еще скорчил рожу. Я не смел рассмеяться, а он, довольный, похохатывал. Наставнику это не понравилось, и он сердито засопел своим уродливым носом. Мать Малахи засуетилась и очень ласково, но твердо произнесла:

— Живой будда, сидите как полагается, не надо шалить!

Мы кончили бить поклоны, Малаха взял со столика свиток, в котором не смог бы прочесть ни единого слова, приложил его к маминому лбу, а потом к моему. Затем взял павлинье перо и окропил наши головы «святой водой». Церемония кончилась, и мы с мамой пошли к дверям. Набравшись храбрости, я обернулся, и тут мой маленький приятель подмигнул мне, словно хотел сказать: «Погоди! Мы снова будем с тобой по деревьям лазать и рыбу ловить!»

Невольно шевельнулась мысль, что Малаха ни в какого будду не превращался, а как был, так и остался моим другом.

На рассвете живой будда должен был отправиться в монастырь, где ему теперь предстояло жить. Вся деревня заранее вышла его провожать. По обе стороны дороги, которую уже успели побрызгать водой, чтобы прибить пыль, толпились люди. Едва я открыл глаза, как сразу же вспомнил, что сейчас надо будет прощаться с другом, и на душе стало муторно и тоскливо. Стоя в толпе, я с трудом сдерживал слезы, но плакать не смел, потому что вокруг все хранили торжественное молчание, и я во все глаза смотрел на дорогу, где вот-вот должен был проехать Малаха.

Появились ламы, они дули в золотые и серебряные трубы и бараньи рога, а двое маленьких лам тащили саженной длины трубу с низким голосом. Еще там был восьмисторонний барабан, трещотки и много других инструментов, которые громко играли что-то совершенно непонятное, режущее слух и будоражащее душу. И в этом шуме и грохоте прямо на нас двигалось золотое сияние. Все ближе, ближе. Один за другим люди падали ниц в придорожную пыль и не переставая били поклоны. Это ехал сам живой будда Малаха. Мне

хотелось в последний раз поглядеть на приятеля, и я так и стоял на коленях, забыв про поклоны. Но тут услышал сердитый шепот матери:

— Кланяйся! Кланяйся же!

Я согнул спину, но голову поднял, чтобы видеть Малаху. Ого! Друг за дружкой шли девять статных коней, с желтыми шелковыми попонами, чуть ли не до самой земли. Их вели под уздцы ламы, а вся свита и родственники Малахи тащились далеко позади, сам же он, в желтом халате, сидел, несчастный, один-одинешенек верхом на пятом из девяти коней. С каждой стороны шли четверо лам, и все же Малаха, видно, боялся свалиться с коня, потому что судорожно вцепился в уздечку. Неизвестно, заметил ли он нас в толпе, но взгляд его, когда он проезжал мимо, блуждал по нашим макушкам. Густые брови сошлись на переносице, а лицо было грустно-торжественным — Малаха прощался с родными местами, семьей, друзьями. В уголке глаза как будто даже блеснула слезинка…

Золотое сияние постепенно удалялось, пока не исчезло, не затерялось совсем в желтой пыли равнины. Сельчане стали медленно подниматься с колен. Лбы у всех были в пыли — больше у тех, кто усерднее бил поклоны. Охваченные

религиозным экстазом, они даже не удосужились смахнуть пыль рукавом.

Вместе со всеми я вернулся в село и вдруг почувствовал, будто у меня отняли что-то, сердце болело, словно его рвали на части, — в общем, трудно даже объяснить, что со мной творилось. В тот день я не ел, не пил, побежал на луг и целый день просидел там, прислонившись к дереву и тупо глядя перед собой. Лишь поздно вечером мать меня отыскала и привела домой…

Прошло три года. Я пошел в школу, открытую иностранцами.

Как-то раз, вернувшись после занятий, я заметил, что изборожденное морщинами бедности и тягот лицо матери радостно светится. Она сказала:

— Завтра живой будда Малаха приедет в родную деревню, чтобы земляки могли ему поклониться!

В моей голове, набитой буквами монгольского алфавита, вновь всплыл милый образ моего маленького друга.

К востоку от села, перед большим храмом древнего буддийского монастыря, на ступенчатом возвышении из белой китайской яшмы поставили помост для живого будды Малахи, которому

надлежало принимать поклонения односельчан и родственников. Говорили, что живой будда может избавить от напастей, невзгод и бед, дать счастье и благополучие. Некоторые старики, чтобы замолить грехи и обрести в следующей жизни радость и покой, мерили поклонами расстояние от своих дверей до ног живого будды, — надо было всем телом вытянуться на земле для такого шага-поклона. Для этого им приходилось отправляться в путь еще в полночь. Я уже три года учился в иностранной школе, и ореол религии в моем представлении заметно потускнел. Я не испытывал трепета от созерцания величественных буддийских монастырей, не восторгался роскошью и торжественностью церемоний. И все же я изо всех сил старался протиснуться вперед, чтобы получше рассмотреть своего приятеля — как-то он теперь выглядит, очень ли переменился? В дыму благовоний толпились люди, и толпа наконец вынесла меня к моему маленькому Малахе — нет! — к живому будде Малахе. Он восседал на пышной шелковой подушке желтого цвета, на самом верху ступенчатого возвышения. Я опустился на колени в самом низу и лбом коснулся серовато-зеленых каменных плит. Поднял голову, взглянул на него, и глаза мои округлились. Мой

маленький друг изменился до неузнаваемости: лицо стало бледным, с зеленоватым отливом, худым и совершенно равнодушным. В глазах, не живых, словно остекленелых, усталость.

Он как будто узнал меня. Что-то мелькнуло в его неподвижном взгляде. Но стоило мне уйти из его поля зрения, как он вновь принял облик будды, глаза застыли, Больно было смотреть на него. Всего за три года мой дружок Малаха из живого мальчугана превратился в застывшего, бесстрастного «святого».

Через пять лет после того, как Малаха стал живым буддой, в монастырь Гэгэн съехалось множество верующих послушать, как живой будда будет читать священные книги. Было лето. Вместе с односельчанами я отправился поглядеть на пышную церемонию. В последний день съезда старший лама — настоятель монастыря — объявил: вечером живой будда Малаха будет принимать поклонения простых смертных.

К назначенному времени в монастыре собралось полным-полно народу. Я стоял позади и с расстояния примерно в сто метров созерцал трон живого будды, который возвышался над волнующимся морем голов. У подножия трона горело несколько «вечных» светильников. Каждый из

этих огромных светильников, сделанных из бронзы, вмещал, как говорили, по пятидесяти цзиней масла, но горели они тускло. Я не мог рассмотреть лица Малахи, видел лишь его желтое просторное одеяние, парчовый головной убор, тоже желтый, и всю его неподвижную, со скрещенными на коленях руками, фигуру. На живого человека он был похож не больше, чем глиняный истукан в молельне.

Обогнув храм, я подошел к живому будде со спины. Истые верующие стремились выразить живому будде свою беспредельную преданность. Одни громко молились, другие рыдали, умоляя послать им счастье и благополучие. Все низко кланялись, готовые по первому же знаку пасть ниц. А Малаха сидел, прикрыв глаза, с каменным лицом, словно ничего не видя и не слыша — даже ресницы не вздрагивали. Чтобы привлечь его внимание, я стал прямо под ним, куда сквозь полуопущенные веки был направлен его взор. Может быть, он хоть глазами даст мне знак. Увы! Меня ждало разочарование. И тогда — сам не знаю, откуда взялась у меня смелость, — я крикнул истукану, покрытому желтым шелком:

— Малаха, это я! Эй, это же я, Малаха!

Крикнул я не громко, но Малаха не мог не слы-

шать. Ответа я не получил. Сердце мое сжалось. Неужели он и вправду стал буддой? Религиозное таинство, видимо, сыграло свою роль — я вдруг почувствовал, как подгибаются колени, и бухнулся к ногам живого будды, не переставая бить поклоны. Когда я выбрался наконец из толпы верующих и, едва волоча ноги, вышел из монастыря, то понял, что теперь уже навсегда потерял своего горячо любимого друга, — мне стало больно, и я в голос заплакал…

Прошли годы.

Материнская любовь и забота народа помогли мне, подростку из бедной семьи, стать писателем. Я часто вспоминаю свое золотое детство, боевую юность, друзей, товарищей по борьбе, с которыми свела меня жизнь. Многие из них стали прообразами моих героев и обрели новую жизнь в моих книгах. И только маленького Малаху я никогда не вспоминаю. Почему, сам не могу понять. Может быть, потому, что он остался в памяти как божество? А я в своих произведениях описываю реальную жизнь и реальных людей, из крови и плоти, с настоящими чувствами, а не глиняных истуканов, которые и бровью не поведут, если даже их окликнут по имени.

Ясная зимняя ночь. Я сижу в библиотеке и

пишу. Пэн-пэн-пэн. Кто-то стучится в дверь. Моя мать — ей уже восемьдесят шесть лет, но здоровье прекрасное — спешит открыть, опередив меня.

— Иду, иду! — кричит она. Я слышу, как открывается дверь, и следом доносится крик моей маленькой дочки:

— Папа, папа! Иди скорее! Бабушке плохо, у нее голова закружилась!

Я бросаю кисть, выбегаю из библиотеки. С бабушкой все в порядке. Просто она бьет поклоны. Дочь никогда такого не видела, вот и решила, что бабушке плохо. Не успел я понять, в чем дело, как гость бросился поднимать мою мать, приговаривая:

— Ну что вы, не надо так, я же теперь не божество, а простой человек.

Оборачиваюсь на гостя. Одет аккуратно и чисто, на висках седина, уголки рта опущены, небольшая лысина сползает с макушки на затылок. Подняв мою мать, он поворачивается — и я сразу его узнал по смеющимся искоркам в глубине глаз: Малаха, друг детства!

— Где ты был все эти годы? — спросил я его, когда мы уже сидели в моей библиотеке.

— Был странствующим лекарем, скитался по стране. Только не думай, что я ходил по дворам

с какой-нибудь волшебной мазью из собачьих хвостов.

Он отхлебнул ароматного чаю, улыбнулся собственным мыслям и продолжал:

— После освобождения наших мест я передал все дела старшему ламе — распорядителю, а сам уединился в своем монастыре и занялся изучением монгольской и тибетской медицины. Искусство врачевания у монголов и тибетцев имеет глубокие корни и содержит много ценного.

Тут он извлек из портфеля книгу в дорогом, очень красивом переплете.

— Вот плоды сорока лет моих исследований. Только что вышла.

Я взял книгу, прочел написанное золотом на трех языках — монгольском, тибетском и китайском — название: «Справочник лекарственных средств монгольской и тибетской медицины». Внизу подпись: «Составил Малаха».

— В девятнадцатом веке в наших краях появился великий писатель и историк Инжинаш, а в двадцатом — великий медик — доктор Малаха. Слава нашему народу! — радостно воскликнул я.

Каждая клеточка в лице Малахи ожила, радость рвалась наружу, а глубокие мудрые глаза

по-прежнему светились огнем.

— Я только что из Шанхая — участвовал во Всекитайском методическом семинаре по медицине — и по пути решил заехать к тебе.

Он гостил у меня три дня. Перед расставанием я приготовил прощальный ужин — вино, закуски. Он нарушил свой обычай и выпил три рюмки. Щеки его разгорелись. Я почувствовал, как сердца наши снова связала дружба далеких детских лет. Ах, как мы радовались! Может быть, выпитое вино придало мне смелости, и я наконец решился задать ему вопрос, который все три дня вертелся у меня на языке:

— Кто ты теперь — врач Малаха или живой будда? Ведь врач — это человек, а живой будда — божество.

Откинувшись в кресле и держа стакан чая в руках, он, грустно усмехнувшись, неторопливо ответил:

— В мире никогда не было богов. Люди сами их сотворили из своего невежества, из притягательной тайны неведомого. А тот, кого превратили в божество и кому поклоняются, постепенно начинает верить, что он и в самом деле бог, поклонение принимает как должное. Чем неистовее молитвы, тем быстрее новоявленное божество

помимо собственной воли оказывается втянутым в игру. Сотни и тысячи лет люди так играли друг другом. Для истории эти годы стали пустой тратой времени. Но теперь наконец-то народ сам пишет свою историю.

МА ФЭН
СВАДЕБНЫЙ МИТИНГ
© Перевод А. Монастырский

Ма Фэн родился в 1922 году в уезде Сяои провинции Шаньси, в бедной крестьянской семье. В 1938 году вступил в ряды 8-й Армии, в том же году вступил в КПК. В 1940 году направляется на учебу в художественную школу при Художественной академии имени Лу Синя в Яньани. В 1943 году возвращается в Цзиньсуй, работает в агитбригаде. Позже — корреспондент газеты «Цзефан жибао», затем — редактор и главный редактор издательства «Цзиньсуй». В 1949 году избран членом Всекитайской лиги деятелей культуры, членом правления Ассоциации китайских писателей. В 1951 году поступает в Центральный литературный институт. В 1956 году становится заместителем председателя, а затем — председателем отделений Лиги деятелей культуры и Ассоциации китайских писателей в про-

винции Шаньси.

В 1942 году публикует первые произведения. В 1945 году, совместно с Си Жуном, написал роман «Повесть о герое Люй Ляне», который имел большой успех у читателей. В 1950 году вышел сборник рассказов «Сельская вражда». Впоследствии написаны рассказы «Свадьба», «Хань Мэймэй», «Я три года назад знал это» и другие, вошедшие в сборники «Мой первый успех» и «Солнце показалось из-за горы». В 60-е годы высокую оценку получили роман «Повесть о Лю Хулань» и киносценарий «Мы, сельская молодежь». После 1977 года в соавторстве с Сунь Цзянем написал киносценарий «Следы слез», создал ряд рассказов. Публикуемый рассказ получил Всекитайскую премию 1980 года.

* * *

Кому доводилось работать в деревне, тот, конечно, принимал участие во всевозможных митингах. Бывали вы на свадебном митинге? Наверняка нет. А я побывал. В последней декаде января нынешнего года, иными словами — за

несколько дней до Праздника весны. Как-то утром, когда я перечитывал опубликованное недавно сообщение о Третьем пленуме[47], ко мне вбежала У Айин — председатель женского комитета уезда и прямо с порога выпалила:

— Секретарь Чжоу, завтра мы проводим свадебный митинг в Силиньской большой бригаде и надеемся, что вы примете в нем участие.

Заметив мое недоумение, она поспешила разъяснить:

— Вот уже несколько лет в районе Сишань очень остро стоит вопрос о свадебном выкупе. При женитьбе надо платить пятьсот, шестьсот, а то и тысячу юаней. В большой бригаде Силиня двое влюбленных покончили с собой, — взявшись за руки, бросились со скалы, потому что целых три года не могли пожениться, у парня не было нужной суммы.

У Айин и еще несколько человек поехали в Силинь выяснить подробности дела, в надежде поднять людей на борьбу с преступным обычаем. Три пары согласились на свадьбу без выкупа. Их надо было поддержать. И вот, посоветовавшись, решили устроить им коллективную свадьбу и

[47] Примечания: 47

Третий пленум ЦК КПК (декабрь 1978 г.), определивший курс развития Китая после «культурной революции».

пригласить руководителей и простых тружеников из близлежащих сел. Мое присутствие У Айин считала необходимым.

В этот уезд меня перевели не так давно, У Айин я знал мало, но успел убедиться в ее активности. Я счел своим долгом поддержать инициативу женщин, а заодно решил побывать в Силиньской бригаде, посмотреть, как там у них дела. На следующий день после обеда мы вместе поехали туда на джипе.

От уездного центра до Силиня было больше пятидесяти километров по горной дороге, труднопроходимой в некоторых местах. Вершины сплошь заросли деревьями и кустарником, а ниже горы были опоясаны террасированными полями. У подножия скалистого утеса стояло село примерно в сотню дворов. Дома все ветхие, полуразвалившиеся. Новые, крытые черепицей, попадались редко. Бросались в глаза приклеенные по обе стороны от дверей красные и зеленые полоски бумаги с призывами к свободе брака и отмене выкупа. Вдруг на дороге появился человек, гнавший перед собой двух коров. Сзади на ватнике выделялась большая заплата. Водитель не переставая сигналил, но человек продолжал идти как ни в чем не бывало, даже не собирался

отгонять коров на обочину. Пришлось сбавить скорость и тащиться следом. Вдруг внимание мое привлек лозунг. На полоске красной бумаги — капли клейстера еще стекали по швам между кирпичами — «Пламенный привет секретарю уездного комитета Чжоу, добро пожаловать на свадебный митинг нашей бригады!».

Я сразу понял, что это работа У Айин — она, должно быть, по телефону сообщила о моем приезде.

Тем временем человек с коровами свернул в сторону, и наш джип вскоре затормозил возле правления бригады. Встретили меня радушно. Во дворе царила праздничная атмосфера. Парни и девушки — их было человек десять — готовились к торжественному событию: мастерили большие красные цветы, вырезали парные иероглифы[48] «радость», клеили фонарики.

Они поглядывали на меня с веселыми улыбками, переговаривались. Мы зашли в правление.

У Айин сразу же представила мне всех, назвала имена, фамилии, должности. Кто-то принес воды — умыться с дороги, кто-то налил чай. Появились представители соседней бригады с

---

[48] Примечания: 48

Парные иероглифы — двойной иероглиф «си» («радость», «счастье»), символическое пожелание счастья молодой супружеской паре.

подарками — поздравительными надписями на шелке, картинками в рамках под стеклом. Все радовались моему приезду, без умолку говорили, перебивая друг друга, надеялись, что я помогу раз и навсегда покончить с куплей-продажей невест. По их словам, родственники женихов и невест очень гордились оказанным им вниманием. Это не было преувеличением. Секретарь уездного комитета на крестьянской свадьбе — для далекой горной деревушки и в самом деле событие. В разгар веселой шумной беседы вдруг отодвинулся прикрывавший дверь полог, и из-за него появилась голова молоденькой девушки. Она поискала глазами секретаря ячейки и тихонько позвала:

— Дядя Чжэн, выйдите на минутку, мне надо вам кое-что сказать!

— Эрлань, что у тебя там? — спросила У Айин. — Заходи, рассказывай!

Девушке пришлось войти. Следом за ней плелся коренастый парнишка. У Айин тут же представила их мне. Это была одна из трех пар, собиравшихся на следующий день играть свадьбу. Невеста — Ван Эрлань, жених — Чжэн Юньшань.

— Ну, как дела? — продолжала У Айин. — Все готово? Видите, сам уездный секретарь приехал на вашу свадьбу!

Ван Эрлань тихонько вздохнула, опустила голову:

— Ничего не выйдет, товарищ У...

— Что случилось? — быстро спросила У Айин.

Ван Эрлань долго мялась, вся красная от смущения, не решаясь выговорить ни слова. Жених не стерпел.

— Что случилось? — выпалил он. — Да у ее папаши ветер переменился! Только что сказал мне свое последнее слово: чтобы было пятьсот юаней. Будут — хоть завтра играйте свадьбу, говорит, нет — так шиш вам!

Посыпались вопросы:

— Правда, что ли?

Ван Эрлань, едва сдерживая слезы, молча кивала.

Такой неожиданный поворот дела всех поразил. В этот момент в комнату со двора гурьбой ввалились ребята, занимавшиеся приготовлением к свадьбе. Услышав, что все рушится, они просто остолбенели. Я спросил, был ли улажен этот вопрос с семьей невесты. Тут все разом заговорили. Шум стоял невообразимый. Но главное я все же понял. Отец невесты Ван Цзянню действительно обещал не требовать выкупа. Эрлань и Чжэн Юньшань это подтвердили. Еще я понял,

что молодые люди любят друг друга. Живут по соседству. Вместе росли. Теперь вместе работают. Родители их не прочь были породниться. Никто и в мыслях не держал, что в последний момент случится такая штука. У Айин чуть не плакала от досады. Секретарь ячейки Чжоу Тева кричал:

— Этот Ван Цзянню нарочно воду мутит! Настоящий вредитель, надо хорошенько его проработать, чтобы впредь неповадно было!

Я поспешил сказать:

— Давайте сначала разберемся как следует, выясним, почему вдруг он переменил решение.

Молчавший до сих пор секретарь Чжэн Гуюй подал голос:

— Верно. Пойду поговорю с ним, — и ушел, забрав с собой Ван Эрлань и Чжэн Юньшаня.

Чжэну Гуюю было за пятьдесят, и я слышал, что прежде, когда здесь был кооператив высокой ступени[49], он исполнял обязанности секретаря ячейки в селе. Как только началась «культурная революция», его сразу сняли, и лишь недавно он вернулся на руководящую работу. По общему мнению, он один мог уговорить отца девушки. Я спросил о Ван Цзянню — что он за человек?

---

[49] Примечания: 49

Крупный кооператив, объединяющий несколько более мелких.

Оказалось, ему уже под шестьдесят, он бедняк. В антияпонскую войну был в ополчении, потом активно участвовал в проведении земельной реформы[50]. Ни к чему как будто не придерешься. Вот только характер упрямый — за это его и прозвали «Старый буйвол». Говорил он мало и редко, но уж если что скажет — словно кол в землю вобьет. Говорят ему идти на восток — он непременно пойдет на запад. Бывало, доставалось ему из-за его упрямства. Чистил он как-то выгребную яму и по неосторожности ляпнул себе на штаны. Сгоряча стал лупить черпаком, приговаривая: «Вот тебе, получай! Вот тебе, получай!» Ну и перепачкался весь, конечно, даже лицо забрызгал. Возможно, тут было некоторое преувеличение, но одно ясно — старик с характером.

Тем временем вернулся Чжэн Гуюй. Уже без жениха и невесты. Сказал, что Ван Цзянню ни на какие уговоры не поддается, стоит насмерть. А под конец разговора вспылил и ушел из дому.

— Куда бы монах ни пошел, монастыря ему не миновать! — сказал Чжоу Тева. — Вечером придет, я с ним разберусь!

— Секретарь Чжоу, — обратилась ко мне У

---

[50] Примечания: 50

Земельная реформа — передача помещичьей земли крестьянам, была проведена в первой половине 50-х годов.

Айин, — может быть, обсудить этот вопрос на собрании, подвергнуть критике порочную практику выкупа, за которую так цепляется Старый буйвол? Сделать это хотя бы в воспитательных целях?

Предложение было встречено громкими возгласами одобрения, особенно со стороны молодежи. Старый буйвол открыто и нагло попирает брачное законодательство, это надо строго осудить. Вот единственный способ борьбы со злом и несправедливостью.

Чжэн Гуюй, опустив голову, курил и молчал. Лишь когда страсти немного улеглись, произнес с расстановкой, не торопясь:

— Из-за свадебных подарков устраивать судилище — это, пожалуй, слишком! А потом, вы же знаете, старик не испугается. Наоборот. Так можно только все испортить.

Чжэн Гуюй, видимо, был человеком рассудительным, и я его поддержал. Знал по опыту, что беседы и уговоры могут подействовать даже на упрямца. Сам попробую убедить старика, решил я, воспользуюсь своим положением секретаря уездкома. Как-то надо устроить так, чтобы я поужинал у него в доме. Этой мыслью я поделился с Чжэн Гуюем, и он сразу принялся за дело.

— А с теми двумя парами все нормально? — спросил я, и мне дружно ответили, что никаких подвохов тут быть не может.

По просьбе У Айин я согласился их посетить, и мы пошли в дом Ван Шуньси.

Двор старый, но чистый. На дверях парная надпись, на окне в комнате молодых наклеены двойные иероглифы «радость». То и дело приходят родные и знакомые с поздравлениями. Все предвещает счастливое событие. Ван Шуньси — спокойный, приветливый старик. Он долго благодарит меня — само уездное начальство пожаловало на свадьбу, никто в селе и не мечтал о такой чести, во сне и то не видел. И коллективную свадьбу похвалил — и торжественно, и расходов меньше. На усиленные приглашения остаться ужинать я ответил вежливым отказом.

Во вторую семью мне пойти не пришлось — у ворот меня дожидалась Эрлань, сама вежливость и терпение. На мой вопрос, вернулся ли отец, она поспешно кивнула. Я распрощался со всеми и пошел за Эрлань. По дороге она рассказала, что отец ходил в горы за хворостом, а когда, вернувшись, узнал, что секретарь Чжоу собирается у них ужинать, заметил: «Хоть чем-то похож на прежних руководителей. Не захотел пировать в бригаде,

придет ужинать в крестьянский дом». И не разрешил жене готовить никаких особых блюд.

Я поспешил сказать:

— Ну, что ж, это правильно.

Эрлань, вздохнув, продолжала:

— Секретарь Чжоу, у отца характер тяжелый, если что не так скажет, вы уж не обижайтесь.

— Постараюсь с ним мирно поговорить, — засмеялся я и вслед за Эрлань вошел во двор. Дом был старенький, на три комнаты, в западной части двора — коровник. Старик, еще крепкий, перебирал сено. Эрлань крикнула:

— Папа, секретарь Чжоу пришел!

Старик поднял голову, скользнул по мне взглядом, буркнул: «Проходите в дом», — и, повернувшись спиной, кинул охапку под навес. В этот момент я увидел на его ватнике большую заплату. Так вот, оказывается, кто не уступал дорогу нашей машине!

Эрлань приподняла рваный дверной полог и пропустила меня в комнату, где занималась стряпней пожилая женщина, видимо мать Эрлань. Чуть позже я заметил подростка лет четырнадцати — пятнадцати, раздувавшего мехи. Как я узнал потом, это был младший брат Эрлань. И мать, и брат встретили меня приветливо,

пригласили сесть на кан, что я и сделал, быстро разувшись. Эрлань принялась накрывать столик, стоявший на кане. Вошел Старый буйвол, молча уселся напротив меня. Только теперь я смог его как следует разглядеть: прямоугольное лицо, баки, лоб в глубоких морщинах. Он уставился на меня, видимо ожидая, когда я заговорю. Но если я, например, произносил три слова, он в лучшем случае отвечал одним. Я спросил, сколько он получает за один трудодень, много ли их набирает в году, как ему живется.

— С голоду не помираем! — последовал ответ, и снова молчание. Зато жена рассказывала все обстоятельно и подробно, чтобы хоть как-то поддержать разговор и разрядить обстановку. Вдруг Старый буйвол брякнул:

— Я назначил выкуп — пятьсот юаней. Говори прямо: что собираетесь делать? Критиковать или бороться со мной? Ну, отвечай!

— Ни критиковать, ни бороться. Не в этом дело. Но мне хотелось бы знать, почему вы изменили свое решение.

— Государство и то меняет политику, а мне, простому человеку, передумать нельзя? Ну, сделал глупость, с кем не бывает?

Эрлань, видимо испугавшись, как бы отец не

сказал лишнего и не поставил меня в неловкое положение, подала голос:

— Папа, ужин готов!

Старый буйвол ничего не сказал, только фыркнул. Принесли большое блюдо с острыми маринованными овощами и каждому по чашке густой похлебки. Старый буйвол не притронулся к палочкам. Он продолжал курить, посматривая то на меня, то на блюдо с овощами.

— Ну, как еда? — неожиданно спросил он.

Вопрос был простой, но очень не просто было ответить. Скажешь вкусно — не поверят. Невкусно — обидятся. И все же я предпочел не лгать, ответил:

— По правде говоря, не очень вкусно, но есть можно. — И, помолчав, добавил: — После Освобождения прошло без малого тридцать лет, а крестьяне плохо живут, бедно. Почти так же, как во времена земельной реформы.

Старый буйвол кивнул и спросил:

— А во время «великой культурной революции» ты кто был?

— «Идущий по капиталистическому пути». Три года меня продержали в коровнике, семь лет жил в ссылке.

Лицо старика неожиданно смягчилось. Он вы-

бил пепел из трубки и приказал жене подогреть вина и нарезать мяса. Я стал отказываться, но женщина меня успокоила:

— Мясо вареное, мы приготовили его к свадьбе, так что стряпать не придется.

Вместе с Эрлань они нарезали мясо, подогрели вино. Старый буйвол прикрыл рукой мою чашку.

— Если уважаешь нас — выпей несколько рюмок, а боишься — тогда ешь, я один пить буду.

В создавшейся обстановке было неудобно отказываться, и я согласился. Наполнив рюмки, Старый буйвол сказал:

— Ну, давай говори!

— Что говорить?

— Как что? Про то, что требовать выкуп за невесту — преступно, отвратительно, про реакционную сущность этого выкупа, про вымогательство, ну и, конечно, про отсталую крестьянскую психологию. Наслушался досыта! Хватит!

Я с улыбкой спросил:

— А почему вы решили, что я собираюсь об этом говорить?

— Так ты ведь начальник, значит, за тем и пришел.

— Раз так, давайте откроем окно, и пусть все

слушают, какие красивые слова мы здесь говорим. Да я просто хотел у вас узнать: почему нельзя обойтись без подарков, без выкупа, без пятисот юаней?

Старик, потупившись, пил вино и молчал. Потом вдруг спросил:

— Столько лет не приходилось с начальством беседовать, не знаю даже, как теперь — дают вам на еду денег или не дают?

— Конечно, дают. Государством установлено: в день — тридцать фэней или карточками на цзинь и два ляна[51] зерна.

— Я двадцать три года растил Эрлань, — продолжал Старый буйвол. — Пусть будет в день не тридцать, а двадцать фэней. Сколько всего получается?

Вот, оказывается, какую ловушку он мне расставил! Но не успел я рта раскрыть, как в разговор вмешалась Эрлань:

— Выходит, я в этом доме нахлебница? Да у меня в год самое малое две сотни трудодней!

— Это правда? — спросил я старика.

— Правда. Но если она уйдет в другую семью, уйдут и ее трудодни.

---

[51] Примечания: 51
Лян — мера веса, около 40 г.

Я рассмеялся:

— По-вашему, значит, выкуп — дело законное и справедливое?

Старый буйвол ответил вопросом на вопрос:

— А если за дочь выкупа не брать, как потом сына женить? Ведь надо платить за невесту!

Брат Эрлань покраснел до ушей и убежал с чашкой в руках.

Старый буйвол выпил и продолжал:

— Ты скажешь, он еще маленький, а когда вырастет, по закону никакой выкуп уже не потребуется. Ха! Да если все по этому вашему закону будет…

Эрлань его перебила:

— Папа! Не говори чепухи!

— Это я говорю чепуху? Когда это закон ваш соблюдался? Кто не брал денег, выдавая дочь замуж? Или не платил за невесту? Все так делают. Одни в открытую, другие — тайком.

— Неужели и семья Ван Шуньси тоже?

— Ну, эти нет. Они и не брали и не давали. Обменяли. Как свинью на барана.

Я не понял, что он имеет в виду. Жена объяснила. Ван Шуньси женит сына на дочери свояченицы, а свою дочь отдает замуж за ее сына. Так называемый «родственный обмен». И выку-

па, само собой, не надо.

— Ну а вторая пара?

— Какая вторая? А, это ты про сына У Чэнъю? Там тем более не за что платить деньги.

— Тоже «родственный обмен»?

— Нет, хуже. Сын «в примаки» идет!

— У нас равноправие. Что же плохого, если муж идет жить к жене.

— Это с какой стороны посмотреть. — Старый буйвол выпил и продолжал: — У Чэнъю еще молодым овдовел и остался с сыном на руках. Был ему и за отца, и за мать, вырастил. И отец, и сын оба работящие, но накопить денег на жену не смогли. Сыну за тридцать, а он все в холостяках ходит. Связался с одной вдовой, старше его, у вдовы ребенок, и она не хочет идти в чужой дом, предложила парню жить у нее. У Чэнъю и так и эдак прикидывал — выхода нет. И в конце концов согласился. Тут как-то пожаловался мне: «Вся жизнь моя — в сыне, ничего больше нет! Сердце от горя разрывается. А что делать? Не оставаться же парню холостяком!»

Старый буйвол умолк и вздохнул:

— Какие уж тут законы. Каждый выкручивается, как может. Крестьяне мы, беднота…

Он хотел налить себе вина, но чайник был

пуст.

— Еще неси. — Он протянул чайник Эрлань.

— Папа, — сказала Эрлань, — посмотри, секретарь Чжоу больше не пьет, да и тебе хватит…

Тот метнул на нее сердитый взгляд и, буркнув: «У самого еще руки не отвалились!» — стал спускаться с кана. Жена взяла чайник, наполнила до половины вином, налила мужу и, пользуясь случаем, сказала:

— Тебе же нравится этот Юньшань. Ты сам был против выкупа, только вчера говорил: «По миру пойду, а не стану дочь продавать». И вдруг сегодня… Всех переполошил — и нас, и начальство…

— А ты не встревай! — оборвал жену Старый буйвол. — Моя дочь. Как хочу, так и выдаю замуж. Не нравится начальникам — не надо. Что мне за дело!

Я улыбнулся:

— Это камень в мой огород?

Старый буйвол ничего не ответил, снова выпил.

— Как же! Сам уездный секретарь прикатил собрание проводить! А что оно, ваше собрание? Думаете, после него все сразу перестанут выкуп брать?

— Может, не все и не сразу, но не агитировать

же за то, чтобы дочерьми торговали?

— А что особенного? — после долгого молчания сказал старик. — При старом строе не то что дочерей — сыновей и жен продавали. А почему? Все бедность проклятая!

Старик раскраснелся, даже шея налилась кровью, на кончике носа блестели капельки пота. Он без конца подливал в рюмку вина. Жена хмуро смотрела на мужа, но вдруг распрямила брови и с улыбкой сказала:

— Дай-ка чайник, еще принесу.

— Напоить меня хочешь? — рассердился Старый буйвол и вылил рюмку обратно в чайник, после чего принялся за еду. Жена незаметно мне подмигнула. — После земельной реформы, — снова заговорил старик, — после кооперирования этот обычай стал отмирать. В шестьдесят пятом году я старшую дочь отдавал, не взял ни гроша. Еще одежды добавил да пару корзин. У матери спроси, если не веришь.

— Да, это правда, — подтвердила жена, кивнув головой. — Тогда у людей было зерно в закромах, в кредитном обществе у каждой семьи свой счет. Никто не стал бы из-за денег шум подымать, срамиться перед людьми.

Старик подхватил:

— А в последние годы только и знаем, что «капиталистические хвосты» рубить: личные наделы отрубили, подсобное хозяйство и животноводство — тоже. Теперь осталось только головы отрубить!

Я спросил, сколько он зарабатывал до «великой культурной революции». Ответила жена:

— В те годы, при начальнике Чжэн Гуюе, дневной паек был четыреста пятьдесят граммов зерна самое малое. Зарабатывали по юаню в день, а в хорошие годы бывало по юаню и двадцать фэней. Теперь же паек — двести восемьдесят, а заработок — двадцать пять фэней…

Старый буйвол ее перебил:

— Ну, вот ты — большой начальник. Скажи: как нам жить? Если и дальше так пойдет — впору не то что дочь или жену — самого себя на базар снести и ценник привесить!

— Это все Линь Бяо с «бандой четырех»…

— Так «банду четырех» уже два года как разгромили! А на селе все по-прежнему. Кости как были сломаны — так и не срослись. Окропили только красной водичкой — и все. Ха! Свадебный митинг! А насчет родов как? Тоже митинговать будете? Если хозяйство не поднимается, на что мне эти ваши цветочки-веточки? Куда я их засуну?

Я выпил всего две рюмки, но чувствовал, как горит лицо. Хозяйка заволновалась, одернула мужа:

— Отец, ты бы еще в правлении рупор взял да через него орал на секретаря Чжоу!

— Э-э! — как бы извиняясь, произнес Старый буйвол. — Я не хотел тебя обидеть. Ты здесь недавно, и не тебе за эти дела отвечать. Все мой язык. Не знаю, что с ним и делать!

— Все вы правильно говорите, — успокоил я Старика.

Я сказал это искренне. В словах Старого буйвола была самая простая и очевидная, настоящая правда. До приезда в Силинь я не задумывался над такими вопросами. Слов нет, купля-продажа при вступлении в брак отвратительна, но, если говорить честно, разве только крестьяне в этом виноваты? Разве можно одним лишь провозглашением свободы брака решить вопрос, пока не решены насущные проблемы и далеко не все крестьяне живут в достатке? Погруженный в свои мысли, я вдруг почувствовал на себе пристальный взгляд Эрлань и сразу все понял.

— Послушайте, Ван, заболтались мы с вами, — обратился я к старику. — А как все же со свадьбой Эрлань?

— Я не против, — не задумываясь, отвечал Старый буйвол. — Пятьсот юаней — и все в порядке! А нет — ведите меня в тюрьму! Хоть сейчас. А завтра свадьбу играйте!

Дальнейшие уговоры были бесполезны. Я посидел еще немного и попрощался. Эрлань проводила меня до ворот. Она не проронила ни слова — была в отчаянии.

— Я думаю, отец покуражится и в конце концов согласится, — пытался я утешить девушку. — Главное, что вы любите друг друга и рано или поздно своего добьетесь.

Эрлань отрешенно кивнула.

В правлении бригады снова собрался народ. Все были возмущены, узнав, что так и не удалось уломать старика, ругали его, называли собакой на сене — нарочно все делает, хочет другим досадить. Предложили вызвать его на собрание, покритиковать. Я возразил: пусть подумает хорошенько, чего-то он недопонимает. Приказным порядком или осуждением вряд ли чего-нибудь добьешься. Молодежь пошумела еще немного и разошлась. Остались мы с Чжэн Гуюем. Пользуясь случаем, я расспросил его о положении дел в Силине за последние несколько лет и убедился в том, что Старый буйвол сказал правду. Хозяйство

района пришло в полный упадок, дальше некуда. Рассказывая, Чжэн Гуюй чуть не плакал.

Помолчали. Потом Чжэн Гуюй снова заговорил:

— По-моему, самое лучшее — повернуть назад, пойти по прежнему, правильному пути. Вокруг горы, и это надо учитывать, развивая хозяйство, используя главным образом зимний период.

На следующий день состоялся свадебный митинг. Все было очень торжественно и шло как по маслу. Старый буйвол тоже пришел посмотреть на веселье. Я не стал читать приветственную речь, которую подготовила для меня У Айин, а говорил о том, о чем мы накануне беседовали со Старым буйволом. Чтобы избавиться от свадебной купли-продажи, необходимо усердно трудиться, добиваться роста доходов и улучшения благосостояния членов кооператива. Говорил я искренне, убежденно, а под конец, ссылаясь на сообщение о Третьем пленуме, изложил точку зрения Чжэн Гуюя на развитие хозяйства в горных районах. Мне долго аплодировали. Особенно разволновался Чжоу Тева. Он протиснулся сквозь толпу и крепко пожал мне руку.

— Секретарь Чжоу, считайте, что с выкупом покончено навсегда, что он вырван с корнем!

Пусть только наверху держат правильный курс, а уж мы у себя в горах наведем порядок!

Тут все разом заговорили, каждый предлагал свои меры для поднятия производства в зимний период: сбор лекарственных трав, косточек дикого персика и абрикоса, изготовление черенков для лопат, плетение корзин… Свадебный митинг незаметно перешел в производственное совещание. Поразительно! Всего несколько слов о решениях Третьего пленума, сказанных мной, вызвали целую бурю энтузиазма!

Вдруг все расступились, пропуская вперед Ван Эрлань и Чэн Юньшаня, которые пришли в венках из красных цветов. Я тихонько спросил Эрлань:

— Отец согласился?

Девушка, улыбаясь, кивнула.

— Сначала взял с меня расписку на пятьсот юаней… — вставил жених.

— Расписку? — вскричала У Айин. — Что за вздор!

Чжэн Юньшань, смеясь, пояснил:

— И еще велел приписать «на том свете отдам»!

Все так и покатились со смеху. Даже У Айин. Чжэн Гуюй заметил:

— На Старого буйвола это похоже! Помирать станет, пошутить не забудет!

МЭН ВЭЙЦЗАЙ
ЗАПИСКИ ПРЕДВОДИТЕЛЯ
© Перевод Е. Рождественская-Молчанова

Мэн Вэйцзай родился в декабре 1933 года в уезде Хундун провинции Шаньси. В 1948 году вступил в ряды НОАК, принимал участие в Освободительной войне, а затем добровольцем в войне за освобождение Кореи против американских захватчиков. В 1954 году поступил в Нанькайский университет в Тяньцзине на факультет китайского языка, после его окончания работал преподавателем в Народном университете Китая. В настоящее время ректор этого университета, главный редактор журнала «Наша эпоха».

Начиная с 1954 года публикует свои рассказы и стихи. Им написаны романы «Вчера была война», «Посещение без вести пропавшего», повести «Женщины», «Рождение скульптуры» (удостоена литературной премии НОАК), «Прилив на

рассвете», «Фиолетово-красный петушиный гребешок», эпическая поэма «Образ героя», лирическая поэма «Едят траву», прозаическое произведение «От Пекина до Уссури», рассказы «Один советник и три генерала», «Пленный», «Старый вяз и вечнозеленая бегония», «Смерть великана», микрорассказы «Вдали от Пекина», «Бахчевые», «Пшено — это не рис»; научные статьи «К вопросу образного мышления», «Личность», «Творческий процесс» и другие.

* * *

— Пойдешь на ферму кормить свиней! — сказал командир отделения. Это был приказ командира взвода, подписанный ротным.

— Так точно, — ответил я, — пойду кормить свиней.

«Преступники», подобные мне, на длительный срок отправленные на «перевоспитание» в школу «Седьмого мая» для кадровых работников, ни о чем так не мечтали, как вырваться на свободу, погулять, подышать свежим воздухом, покричать, поваляться на земле, полюбоваться небом. А до свинофермы было два с половиной ли. В

наших условиях казалось, что это так же далеко, как до рая.

Что же, пойду кормить свиней.

— Старина! — придя на ферму, сказал я Лао Чжану. — Я пришел тебя сменить. — Лао Чжан обрадовался моему приходу, но не мог скрыть тревоги по поводу своего возвращения в школу.

— Тебе разрешено выходить?

— Да. Проверку прошел, жду решения группы военного контроля.

— Теперь, значит, очередь за мной.

— Верно, курсы работают.

— Может, поделитесь опытом, ваша светлость?

— Деловой подход, вот и все.

— Благодарю! Весьма ценный совет.

Пока мы вели разговор, черная овчарка по кличке Чернушка вертелась возле нас и обнюхивала мою сумку, а когда Лао Чжан отправился в путь, бежала за ним до самых ворот.

Собака почуяла, что в сумке печенье, потому и принюхивалась. Животный инстинкт.

У меня тоже сработал инстинкт, и я решил подружиться с Чернушкой. Донести на меня собака, разумеется, не могла, зато могла оказывать мне услуги. Но услуги надо оплачивать, поэтому я расщедрился и из четырех печений два пред-

ложил Чернушке, положив их на ладонь. Она благодарно завиляла хвостом и с этого момента стала мне предана как собака, напрочь забыв прежнего хозяина.

На свиноферме работали еще две женщины: Лю и Ли. Лю постарше, но еще красивая, Ли — молодая, стройная, с печальным лицом. Лю была старшей группы. Что и говорить! Тяжкая обязанность! Ли, «преступница» иной категории, со дня на день ждала направления в школу для кадровых работников.

Лю и Ли жили в одной комнате, я — в другой, окнами на запад. В трех комнатах, выходивших на юг, размещались кухня, где варили корм для свиней, склад с фуражом и еще маленькая кухонька для тех, кто ухаживал за свиньями. Сооружения для свиней, расположенные в форме буквы П, поражали своей грандиозностью.

Свиньи жили как люди, люди — как свиньи, ютясь в тесных помещениях, где зимой холодно, а летом жарко. Странно! Не правда ли? Впрочем, чему удивляться, если свиноферма с самого начала была так задумана, поскольку сюда посылали на «трудовое перевоспитание» кадровых работников!

Тем не менее настроение у меня было отлич-

ное.

Передо мной простиралась, как сказал поэт, необъятная ширь степей и росло несколько деревьев, зеленых, как в сказке. Райская жизнь! Но главное — я обрел здесь свободу. Исчезла скованность. Можно было вытянуть руку, поднять ногу, даже дышать. И я дышал полной грудью, вдыхая запах свиного навоза, и радовался, потому что это была жизнь. Многого ли может желать человек в моем положении?

Не один десяток лет ел я свинину, конечно, не по три раза в день, прочел немало книг, написал несколько статей, а вот свиней выхаживать, честно говоря, ни разу не довелось, и я понятия не имел об их привычках и повадках. Знал только, что они истошно вопят, когда их убивают. Увы! Это был пробел в моем образовании. Но ничего, как-нибудь справлюсь.

По распоряжению старшей группы я обязан был носить воду, привозить на тачке корм для свиней, раскладывать его по корытам, убирать навоз, менять свиньям подстилки, в общем, выполнять самую тяжелую работу, как и положено мужчине. А Лю и Ли разводили огонь, готовили корм, варили пойло.

— Слушаюсь! — сказал я и приступил к своим

обязанностям.

А почему, интересно, мне не доверили варить пойло? Боятся, что я подложу яда? А разве воду, которую я ношу, нельзя отравить? Классовый враг, да еще нераскаявшийся, на все способен! Забавно, право!

Не знаю, насколько необходимы прогулки живому существу, в данном случае человеку, но я о них мечтал, не говоря уже о том, чтобы взобраться на гору или поплавать в реке. По нынешним временам это была непозволительная роскошь. Прежде всего следовало отказаться от долголетней, очень дурной привычки идти заложив руки за спину, не спеша, в благодушном настроении, смотреть на небо или, глядя под ноги, размышлять, сорвав травинку, любоваться деревом, внимательно его разглядывая… Необходимо держать нос по ветру и быть осторожным. Тем более что пока неизвестно, как относится ко мне Лю. Ей могут доложить, что я «проявил себя плохо», и тогда прощай безбрежные просторы и прекрасная работа. Нельзя до этого доводить.

Однажды, присматривая за свиньями, я отправился на восхитительную прогулку.

В восточном помещении жили свиньи йоркширской породы, в северном — беркширской,

в западном — свиньи с вогнутыми спинами и отвислыми животами, черные в белую крапинку, за что их прозвали «снежные тучи». Красиво! Особенно для свиней!

Беркширских и йоркширских свиней разводили вначале в Англии. У беркширских было черное туловище, белый хвост, белые ноги и белый пятачок. Йоркширские очень напоминали принцесс в белоснежных накидках, так были хороши. А свиньи «снежные тучи» казались прямыми наследниками предков, до того были величественны и благородны. В каждом помещении содержалась в отдельном отсеке свинья. Они, как объяснила Лю, ждали потомства.

Однажды я заметил, что эти свиньи ведут себя беспокойно, ходят с места на место, то и дело тычутся носом в подстилку. Может, заболели, испугался я и сообщил об этом Лю, на что та ответила:

— О! Значит, скоро появятся поросята. Следи повнимательней за их поведением.

Она говорила тоном превосходства и очень радовалась, видимо, тому, что будут поросята. При слове «поведение» у меня моментально сработал рефлекс Павлова.

— Что именно я должен делать?

— Бывать здесь по нескольку раз и днем и ночью, а когда начнется опорос, вообще не отлучаться.

Она смотрела на меня с нескрываемым презрением, от чего лицо ее окончательно утратило остатки былой красоты. Я же почувствовал еще большее отчуждение и про себя подумал: с ней надо осторожнее.

Следить так следить, как-нибудь перетерплю ночь. Лишь бы не сидеть взаперти. Насиделся, пока шла проверка, всю задницу отсидел.

Я прогуливался между тремя свинарниками совершенно легально, в сопровождении овчарки, как парижанин. Разве не поэтично?

Так прошло два дня, случайно разговорился с Ли (разговор шел, конечно же, не о людях — о свиньях), и вдруг в голову мне пришла блестящая мысль. Дело в том, что Ли рассказала мне о родословной свиноматок, и я подумал, что эти три разные породы составляют целое племя, а я — их предводитель. Я так размечтался, что мне показалось, будто это сфера влияния моего племени, огромное жизненное пространство, и я ощутил радость. Скоро появятся поросята, увеличат население моего племени, и племя начнет процветать, двигаться к прогрессу. Я уже

мысленно обращался к своим подопечным:

— Вы должны мне повиноваться. Я вас кормлю.

Прекрасно! На третий день с первыми лучами солнца полная сил и энергии черная свиноматка беркширской породы благополучно разрешилась, а на четвертый день принесла потомство молодая и прелестная как белый павлин йоркширская свинья.

Мы все трое хлопотали с утра до ночи, меняли свиньям подстилки, старались получше накормить. Как раз в это время вдруг Лю на меня рассердилась, обвинив в медлительности, и назвала «старой развалиной». Я пропустил оскорбление мимо ушей, ибо считал Лю кормилицей моего племени, и все внимание сосредоточил на свиноматках. До чего же плодовиты! Беркширская свинья принесла восемь поросят, йоркширская — целых двенадцать.

Но самым удивительным было то, что поросенок, едва появившись на свет, еще не продрав глаз, легко находил сосок и только его сосал. Просто непостижимо. Разве способен человек на такое? И я невольно почувствовал свою слабость и никчемность. Мать рассказывала, что меня выкормили тетки. А мои дети, я вдруг это

вспомнил, родились с помощью акушерки, иначе жена вряд ли выжила бы. А уж если бы младенцу пришлось ползти к матери, он сразу отправился бы в мир иной.

Итак, я стал работать в несколько раз быстрее, результат оказался грандиозным. Я метался из стороны в сторону до полного изнеможения, до седьмого пота. И не по принуждению, а совершенно сознательно, ибо мне велено было следить за повадками свиней. И представьте, это занятие казалось мне интересным. Может быть, потому, что другого, более приятного, не было. И еще потому, что я слишком долго жил среди людей и достаточно хорошо их знал.

Поросята быстро росли. Видимо, потому, что хорошо усваивали пищу. К такому выводу я пришел на основании своих скудных познаний и умозаключений. Уже на третий день они вертелись вокруг матери, резвились, весело хрюкали. А на седьмой могли есть из корыта любую пищу, не только жидкую. Еще через неделю они уже мало чем отличались от взрослых свиней. День для них равен был году, так быстро они развивались. Их жизнестойкости мог позавидовать любой человек, в том числе и я. Когда поросятам исполнилось сорок пять дней, Лю велела перевести

маток в другое помещение и заодно сказала, что уезжает в штаб школы по делам.

Одному богу известно, какие у нее дела, но я невольно подумал, что стоит ей там меня очернить, и прощай работа. Впрочем, совесть моя была чиста, я выполнял все указания Лю, изо всех сил старался, ну а что касается моей мечты стать вождем племени, так это ведь не преступление. Когда мы с Ли стали разлучать поросят с матками, как велела Лю, я заметил, увы, только сейчас, совсем слабеньких и малоподвижных по два в каждой породе. Они так кричали, когда их хотели разлучить с матерью, что жалко было на них смотреть. Несколько раз они проскакивали у нас между ног и убегали вслед за матерью, но вернуть их не стоило никакого труда, до того они были слабенькими, от одного прикосновения валились с ног.

— Эй, что это с ними? — спросил я.

— Мало ели.

— А разве сосцы у свиньи разные?

— Одинаковые, только количество молока разное, в зависимости от расположения. Эти малыши родились последними, и им достались задние сосцы.

Поразмыслив, я решил, что объяснение вполне

логичное.

— Выходит, мать обделила их своей заботой?

Ли ничего не сказала, лишь рассмеялась, видимо, ей показалось забавным мое невежество.

— Не будем тогда разлучать этих поросят с матками, а?

Ли согласилась со мной, и мы перенесли беркширских поросят к маткам. А йоркширских решили перенести на другой день. Но не успели. Приехала Лю и обрушила на нас свой гнев, хотя поросята, снова оказавшись возле матери, не отходили от нее и чувствовали себя счастливыми.

— Что это значит? — кричала Лю. — Почему такая забота именно об этих поросятах?

Я хотел было сказать в свое оправдание, что они плохо растут, что всевышний создал их мать с разными сосцами и что я считаю своим долгом помочь несчастным малышам, но решил, что ее не переубедить, и молча, холодно на нее смотрел. А Ли вообще не удостоила ее взглядом и стояла опустив голову.

— Отделить! Сейчас же!

Мы с Ли не спешили выполнять приказ.

— Не хотите, сама сделаю. Они — свиньи, понимаете, свиньи! А заботиться надо о людях! Понятно?

Эти слова прозвучали как гром среди ясного неба. Что с ней? Забота о людях? А давно ли она ругала нас? Я решительно ничего не понимал.

На другой день Ли попросила меня помочь ей приготовить пойло. Я лежал в это время на кане, как господин, и наслаждался собачьей лаской. Чернушка лизала мне лицо. Все тело у меня ныло, и никуда не хотелось идти.

— А Лю? — спросил я, зная, что корм свиньям обычно готовит она.

— Проплакала всю ночь и заболела.

Лю способна плакать? У нее есть слезы? Это новость! Я даже подскочил, словно при землетрясении.

— С чего это она плакала?

— Ее отца подвергли проверке, а ей приказали его разоблачить, — очень тихо, с трудом произнесла Ли.

— А где ее отец? Какой пост занимает?

— Он в школе кадровых работников в Цзянси, какой-то начальник.

Итак, все мы оказались в одинаковом положении. Теперь ясно, почему накануне она заговорила о людях. И хотя она обругала меня «старой развалиной», я ей сочувствовал и готов был помочь.

Забота ей теперь была нужнее, чем свиньям.

Я вдруг ощутил гордость от того, что кто-то нуждался в моей помощи.

— Пошли!

Беркширские поросята впервые ели самостоятельно. Я пристально наблюдал за их поведением и сделал для себя открытие: ведут они себя безобразно.

Не успевал я поставить бадью с пойлом, как они поднимали визг, сгрудившись у дверцы изгороди, и не давали налить пойло в корыто, становясь в нетерпении на задние ноги. Первый черпак я проливал, а они, продолжая визжать, лезли друг на друга. Приходилось мне, как предводителю племени, браться за плеть. Поросята разбегались и таращили на меня свои круглые глаза, следя за каждым моим движением. Я снова пытался налить им пойло, но когда наклонялся, они наскакивали на меня, окружали бадью, и мне снова приходилось браться за плеть. Так повторялось несколько раз, но в конце концов мне удавалось вылить пойло в корыто. И тут поросята начинали толкаться, вырывая друг у друга еду, особенно поросята беркширской породы. Дальше — больше. Одной бадьи вполне хватило бы на всех, но половина выливалась на землю. Поросята поздо-

ровее, растолкав остальных, занимали места у самой середины корыта и все время мотали головой, не давая другим подойти. Те, что послабее, стояли по краям корыта, а совсем слабеньким, которые родились последними, вообще не было места, они с опаской подбегали к корыту, делали глоток-другой и убегали.

Какая несправедливость! Выходит, я приношу еду только головастым и толстым. Я снова начинал орудовать плетью, чтобы дать возможность тем, кто послабее, хоть немного поесть. Но слабые боялись плети больше всех и разбегались. Для вас же стараюсь, говорил я им. Не понимали.

Так продолжалось три дня, потом стало немного спокойнее. Но лучшие места по-прежнему доставались сильным, а слабые не имели места. Вот к чему привел наш эксперимент, когда мы отделили поросят от матки.

Способны ли свиньи мыслить и делать выводы? Полагаю, что да. Во всяком случае, эта способность у них развита больше, чем у меня. Иначе как могли бы здоровые и сильные занимать самые лучшие места у корыта? Но почему тогда они не понимают, что надо пожалеть ближнего? Я терялся в догадках, объяснял все инстинктом, поистине удивительным, но безобразным и же-

стоким.

Мне вспомнилось изречение одного ученого: по своим инстинктам люди сродни свиньям.

Да! Инстинкт подсказывает свинье, помещенной в загон, что надо отнимать пищу у собратьев, больше ей ничего не нужно. Но я не мог допустить, чтобы слабые гибли, потому что человеку свойственна жалость. А я — человек. И тогда я сказал Лю: одно помещение все равно пустует, почему бы не перевести туда слабых поросят, чтобы их подкармливать? Лю высмеяла меня, назвала «свинским гуманистом», но не тем тоном, каким обругала меня тогда «старой развалиной». И выражение лица было другое.

— Поступай как знаешь! — сказала она, добродушно рассмеявшись. — Только мне кажется, что очень интересно наблюдать, как свиньи вырывают друг у друга еду. На то они и свиньи!

Последние слова она произнесла с неприязнью. И я невольно вздрогнул, почувствовав, как холодно и неуютно у нее на душе. Мне показалось, что в ее словах кроется какой-то другой смысл.

Какой именно — я не мог понять. Я приступил к осуществлению моего плана с энтузиазмом истинного ученого и попросил Ли мне помочь.

— Делай сам, у меня нет ни малейшего жела-

ния, — ответила Ли. При этом выражение лица у нее было еще печальнее обычного.

— Что-нибудь случилось?

— Получила из дому письмо, ребенок заболел. А меня вызывают в школу, наверное на курсы, пришла бумага. Завтра или послезавтра расстанемся.

— Чем ты занималась прежде?

— Была экономистом.

— А в чем тебя обвиняют?

— Не знаю.

— Ты участвовала в кампании по избиению людей?

— Отец был правым, покончил с собой, а я никогда ни в каких кампаниях не участвовала.

Я был поражен, слова застряли в горле. Я подумал: дети лишены родительской любви, а я свою любовь отдаю поросятам! Хватит! Вот выгоню всех своих подопечных в поле и погляжу, как они там будут вырывать еду друг у друга. И, не спросив разрешения у Лю, открыл загон.

Поросята выскочили на волю с быстротой молнии, стали носиться по полю, щипать траву, грелись на солнышке, валялись в лужах, купались в пруду — словом, радовались и резвились вовсю. Даже овчарка, глядя на них, носилась

по лугу.

Лю, улыбаясь, сказала:

— Пусть побудут разок на подножном корму, а мы отдохнем хоть полдня, я приготовлю вам чего-нибудь вкусненького. Постирать надо.

Лю где-то раздобыла яйца дикой утки. Золотистые, ароматные, они слегка пахли землей. Впервые мы ужинали втроем, в душе радуясь нашему сближению.

Сидели мы на циновке, греясь в ласковых лучах заходящего солнца, рядом лежала Чернушка. Лю достала бутылку вина.

— Моу Лао! Выпей немножко, и мы тоже выпьем. Я никогда не пила, но сегодня — особенный день. Начнем заново писать историю. Не плачь, Сяо Ли, выпей.

— Оставь для отца! — едва слышно произнесла Ли.

— Что ему эта бутылочка? А нам здесь так тяжко. Настанет день, когда все мы встретимся, я подам отцу чашку холодной свежей воды, и она покажется ему слаще вина. Верно, Моу Лао?

Я совсем не знал Лю, считал ее ходячей моралью и сейчас, глядя на предзакатное солнце, расчувствовался, и слова полились из самой глубины сердца:

— Лучи заходящего солнца, алые как кровь, сверкают как льдинки, как драгоценные жемчужинки, они согрели мою душу. Спасибо тебе за добрые слова! Выпьем!

Ли снова заплакала.

Слезинки капали в бокал, смешиваясь с вином. Она выпила до дна. Видимо, впервые. Во мне все перевернулось, когда я увидел, как Ли пьет вино пополам со слезами. Мне вдруг показалось, что я вышел из той эпохи, когда были племена, что на мне звериная шкура, что я не бреюсь, не умываюсь. Я выпил половину бокала, долго держал его в руке, потом допил. Ли с удивлением на меня смотрела. Не помню, как я на нее смотрел, только она расплакалась и, прикрыв лицо руками, побежала к себе.

На другой день приехала телега, велено было отловить двух свиней пожирнее и отправить в школу, на телеге приехал наш новый начальник, Лю сместили с занимаемой должности. Ли в тот же день уехала. Новый начальник поселился вместе со мной. Я не знал, чего мне от него ждать. Быть может, кончились золотые денечки моей независимой жизни?

Теперь корм для свиней готовил я, а начальник и Лю выполняли мою прежнюю работу. Что это?

Послабление мне? Или наказание Лю? Может быть, стремление держать ее все время под контролем?

А небо такое голубое, ясное, бескрайнее! Вот бы стать птицей! Вольной, не знающей печалей!

ТЕ НИН
ЭЙ, СЯНСЮЭ!
© Перевод С. Торопцев

Те Нин родилась в 1957 году в Пекине. После окончания в 1975 году средней школы в городе Баодин была отправлена на поселение в деревню в уезд Бое провинции Хэбэй. В 1979 году ее перевели в творческую группу Отдела культуры района Баодин, а в следующем году назначили на редакторскую работу в Ассоциацию работников литературы и искусства того же района. С 1975 года — член КПК. В 1982 году вступила в Союз китайских писателей. В настоящее время — член правления Хэбэйского отделения Союза писателей и Хэбэйского комитета Союза молодежи.

В 1975 году опубликовала рассказ для детей «Летающий серп». С 1975 по 1979 год в печати появились ее рассказы «Дорога в ночи», «Рассказы у горящего очага» и другие. В 1980 году в издательстве «Байхуа»

они вышли в сборнике под названием «Дорога в ночи». С тех пор было опубликовано более ста произведений самых разных жанров, в том числе «Постепенное возвращение», отмеченный премией в провинции Хэбэй, а также две повести, одна из них — «Красная кофта без пуговиц».

Публикуемый рассказ в 1982 году удостоен Всекитайской премии.

* * *

Не изобрети люди паровоза, не проложи рельсы в глубь гор, вы бы и знать не знали о такой деревушке — Тайгоу. Прилепился к высокой горе десяток дворов, от весны к лету, от осени к зиме покорно принимая то ласку, то суровость гор.

Но протянулись туда два тонких, сверкающих рельса. Отчаянно выгнувшись на седловине горы, извиваясь, осторожно нащупывая дорогу, они добрались до подножия Тайгоу, ввинтились в темный туннель, вырвались оттуда на гребень и покатились в таинственную даль.

Столпившись у околицы, народ глазел на длинного зеленого дракона, который, пыхтя, торопливо проскакивал по скудной хребтине,

неся с собой из-за гор неведомый свежий ветер. Он так гнал, что казалось, колеса, постукивая по рельсам, бормотали: мы-спе-шим! мы-спе-шим! Да и какой резон задерживаться в Тайгоу? Кто отправится отсюда в дальние края? Кто приедет из-за гор к родным и друзьям? Или отыщется тут нефть, цветные металлы? Нет в Тайгоу ничего, что было бы в силах остановить бег поезда.

Но однажды, а когда, уж никто и не помнит, в железнодорожном расписании прибавилась остановка Тайгоу. То ли пассажиры так сроднились с Тайгоу, то ли шустрые проводники обнаружили в деревушке семнадцатилетних красоток, собиравшихся стайкой на околице и, затаив дыхание, жадно всматривавшихся, вытянув шеи, в проносившиеся поезда. Кто-то показывал пальцем на вагоны, порой долетали выкрики шутливых перебранок. А может, ничего этого и не было, а просто очень уж мала Тайгоу, до того мала, что сердце сжималось, и железный дракон не смог не сдержать своего стремительного бега, не смог проскочить мимо. Так Тайгоу появилась в железнодорожном расписании, и теперь каждый вечер в семь часов столичный поезд, следующий в Шаньси, останавливался тут на одну минуту.

Эта коротенькая минутка смутила покой дере-

вушки. Бывало, ее жители, проглотив ужин, все сразу, точно внемля беззвучному повеленью гор, ныряли под одеяла. В один миг каменные домики благоговейно замирали у подножия высокой горы. А теперь тайгоуские девицы трепетали, как только приходило время ужина, рассеянно глотали еду и, бросив грязную посуду, принимались прихорашиваться. Смывали дневную пыль и грязь, открывая свои обветренные, загрубелые лица, расчесывали до блестящей черноты волосы и наряжались, стараясь затмить подружек. Доставали обувку, припасенную к Новому году, робко подрумянивались. Поезд прибывал в сумерках, но веленье сердца сильнее разума, и девушки придирчиво осматривали друг друга — кто как одет, как выглядит. А потом бежали за околицу — туда, к поезду. Сянсюэ обычно выскакивала за дверь первой, следом — ее соседка Фэнцзяо.

В семь часов поезд сопя подкатывал к Тайгоу, полязгав, пошумев, вздрагивал и затихал. Обмирая, девушки приникали к вагонным окошкам, словно к киноэкрану. Лишь Сянсюэ пряталась, зажимая уши. Она первой выбегала к поезду, но, когда он подкатывал, отступала за спины подружек. Она побаивалась этой махины, так величаво выпускающей пары, что казалось, разом втянет

в себя всю Тайгоу. Оглушительные гудки приводили девушку в ужас. Рядом с паровозом она казалась себе оторвавшейся от корня былинкой.

— Сянсюэ, давай сюда, глянь-ка, — тащила ее Фэнцзяо, показывая на золотые обручи в волосах женщины за окном вагона.

— Почему же я не вижу? — щурилась Сянсюэ.

— Вон там, в глубине, круглолицая. Гляди, а часы-то, крохотные, что твой ноготок! — делала новое открытие Фэнцзяо.

Сянсюэ молча кивала, разглядев наконец и золотые обручи на голове, и крохотные, меньше ногтя, часики на запястье. Но тут же ее внимание приковывало другое. «Кожаный ранец!» — тыкала она пальцем в багажную полку, где лежал простой коричневый школьный ранец из искусственной кожи. В любом заштатном городишке такие попадаются на каждом шагу.

Открытия Сянсюэ не вызывали восторга у девушек, но они все равно обступали подружку.

— Ой, мамочка! Ногу отдавила! — вскрикивала Фэнцзяо, грозя одной из девушек. Она обожала пугаться.

— Чего кричишь, небось ждешь, что этот белолицый заговорит с тобой? — не давала спуску подруга.

Фэнцзяо отругивалась, невольно все же поднимая глаза к дверям третьего вагона.

Молоденький, белолицый проводник действительно спускался из вагона. Высокий, черноволосый, с такой звучной пекинской речью, что девушки прозвали его «столичный говорун». Он остановился недалеко от них и скрестил руки на груди.

— Эй, малявки, осторожней, не прислоняйтесь к окнам.

— Ой, это мы-то малявки, а ты старик, да? — парировала осмелевшая Фэнцзяо. Девушки дружно смеялись, и кто-нибудь выталкивал Фэнцзяо вперед, так что она едва не налетала на парня. Но это только прибавляло ей храбрости: — Эй, старый пень, а у вас там в поезде голова не кружится?

— А на что эта штука с ножами, вон там, под потолком? — спрашивала другая, показывая на вентилятор в вагоне.

— А где воду кипятят?

— А что вы делаете, если дорога кончается?

— У вас в городе сколько раз в день едят? — тихо шептала и Сянсюэ из-за спин подружек.

— Ну, пропал! — бормотал «столичный говорун», растерявшись в окружении девушек.

Лишь когда поезд трогался, они расступались.

Взглянув на часы, он бросался к дверям, оборачиваясь на бегу.

— В другой раз, в другой раз расскажу! — В два прыжка вскакивал на подножку, и зеленая дверь со стуком захлопывалась. Оставив девушек возле остывающих рельсов, поезд врезался во тьму. Долго еще они ощущали затихающее дрожание.

И вновь тишина, навевающая грусть. Девушки расходились, продолжая спорить:

— Сколько золотых обручей, кто считал?

— Восемь.

— Девять.

— Ну, нет!

— А вот и да!

— Скажи, Фэнцзяо?

— Она-то? Только про «столичного говоруна» и думает! — поддевает кто-то Фэнцзяо.

— Иди ты! Кто болтает, тот сам и думает. — И Фэнцзяо щиплет Сянсюэ за руку, надеясь, что та подыграет.

Но Сянсюэ не вступает в разговор, краснея от растерянности. Ей всего семнадцать, не успела научиться, как себя вести в таких ситуациях.

— Мордочка у него какая белая! — та же девушка продолжает разыгрывать Фэнцзяо.

— Белая! Так он сидит целыми днями в своем

зеленом домике. А пусть-ка пару дней проживет у нас в Тайгоу, — замечает кто-то из темноты.

— Ну и что? Горожане, они все бледные. Но уж кто белокожий, так это наша Сянсюэ. Что твоя красотка из поезда, и волосы в колечках, те-те-те! Так, Фэнцзяо, скажи?

Но та не подхватывает и даже выпускает руку Сянсюэ. Будто оскорбили близкого человека. Она-то считает, что лицо у него не бледное, а белое от природы.

Сянсюэ тихонько дотрагивается до руки Фэнцзяо, взывая о снисхождении, словно это она ее обидела.

— Онемела, что ли, Фэнцзяо? — Это все та же девушка.

— Кто онемел?! Вот такие, как вы, только и вынюхивают, у кого там белые, у кого темные лица. Нравится — и бегите к нему! — отрезает Фэнцзяо, поджав губы.

— Мы ему не пара!

— А ты ручаешься, что у него нет подружки?

Так они перебранивались дорогой, но расставались всегда дружелюбно, ибо одна и та же волнующая мысль будоражила сердца: завтра! Завтра вновь будет поезд и еще одно прекрасное мгновение. Что рядом с ним эти мелкие ссоры?

Ах, эта светлая минута, сколько радостей и печалей тайгоуских девушек таишь ты в себе!

Долог день, и тем желанней эта минута, за которую они успевают подскочить к окнам, сжимая на сгибах локтей корзины из ивняка, полные грецких орехов, яиц, фиников, и, ловя секунды, сторговать кое-что пассажирам. Приподнимаются на цыпочки, тянут руки, суют в окна корзины, обменивая их на такие для Тайгоу редкости, как лапша или спички, ну и на заколки и мыло для себя. Кто не боится домашних попреков, отдает, бывает, девушкам расшитый кисейный платочек или эластичные носки, которые то сжимаются, то растягиваются.

Фэнцзяо со своей корзиной всякий раз бежала к «столичному говоруну», будто прикрепленная. Нарочно затягивала торг, и корзина с яйцами оказывалась у него, когда поезд уже трогался. Расплачивался он уже при следующей встрече, и это было весьма заманчиво. Привезет связку лапши или пару платочков, а Фэнцзяо непременно вытянет для него из связки пучок лапши. Она считала, что их отношения не должны походить на простую торговлю. Иногда ей вспоминалось: «А ты ручаешься, что у него нет подружки?» В общем-то, не ее это забота, есть подружка или нет,

она не собирается уезжать с ним. Но ей хотелось проявить свое доброе отношение к нему, а разве это позволено лишь подружке?

Сянсюэ, обычно неразговорчивая и боязливая, в торговых делах всех обставляла. Пассажиры охотно покупали у нее — ее доверчивый, чистый взгляд явно говорил, что она не знакома с обманом. Она даже цену не умела назвать, выдавливала только: «Сколько дадите». При виде невинного, как у новорожденной, личика и мягких алых, точно атласных губок в душе у каждого поднималось прекрасное чувство. Хитрить с этой девочкой недоставало жестокости, и самые расчетливые рядом с ней становились щедрей.

Порой она улучала минутку, чтобы выспросить, что творится там, во внешнем мире, возьмут ли тайгоусца в Пекинский университет, что такое «декламация под музыку» (про это она как-то вычитала в книжке у соседки по парте). Раз спросила у пожилой женщины в очках, сколько стоят пеналы, которые сами закрываются. Женщина не успела ответить, поезд тронулся. Так Сянсюэ бросилась за ним, бежала долго, пока свист осеннего ветра и стук колес не слились в ушах в один сплошной гул, тогда она остановилась, поняв, как смешно выглядит со стороны.

Моргнуть не успела, а от поезда уже ни следа, ни тени. Девушки окружили Сянсюэ и весело смеялись, узнав, почему она бежала за поездом.

— Вот дуреха!

— Он того не стоит!

И, как старшие, похлопывали ее по плечу.

Сянсюэ вовсе не считала, что ответ того не стоил, и жалела лишь об упущенном времени: «И чего я тянула, сразу не спросила?»

— Хм, а что плохого в твоем вопросе? — бросила Фэнцзяо, подхватив ее корзину.

— И кто заставляет нашу Сянсюэ ходить в школу? — поддержала ее другая девушка.

Может, все дело в том, что Сянсюэ, единственная в Тайгоу, ходила в школу — начальную, каждый день вышагивала по пятнадцать ли до коммуны. И хоть была она неразговорчива, было что порассказать тайгоуским подружкам. В школе друзьями не обзавелась, хотя девчонок там немало, но они так вели себя с ней, так небрежно говорили, смотрели, усмехались, словно давали понять, из какого она маленького, бедного местечка. Каждый раз они нарочно спрашивали одно и то же: «Сколько раз в день у вас там едят?» Ничего не подозревая, она серьезно отвечала: «Два. А у вас?»

— Три! — с вызовом отвечали они. И молча жалели эту тупицу Сянсюэ и досадовали на нее.

— Почему ты ходишь в школу без пенала?

— А это что? — Сянсюэ показывала на уголок парты.

Там лежала деревянная коробочка, и хотя они давно знали, что это и есть пенал Сянсюэ, но всякий раз делали удивленные лица. И всякий раз в этот момент соседка Сянсюэ по парте открывала свой вместительный пластиковый пенал, а потом он с приятным клацаньем закрывался сам. Лишь спустя много времени Сянсюэ узнала, что внутри него спрятан магнитик. Ну, а ее коробочка, которую к поступлению в школу смастерил отец-плотник, — она, конечно, в Тайгоу не имела себе равных. Но тут, рядом с соседкиным пеналом, отчего-то выглядела грубой, старомодной. И робко и стыдливо жалась в уголочек парты, заслышав щелканье городской штучки.

Когда смысл повторяющегося вопроса до Сянсюэ дошел, она осознала нищету своей деревни, сердце ее дрогнуло. Впервые она поняла, что никакого почета в бедности нет[52], потому-то одноклассники раз за разом и повторяют свой

---

[52] Примечания: 52

Намек на лозунг «культурной революции».

вопрос. Сянсюэ присматривалась к пеналу, соображая, что раз сделали его в большом далеком городе, то цена ему не маленькая. За тридцать яиц выменяешь? Или за сорок, пятьдесят? Тут у нее вдруг оборвалось сердце: и как только додумалась до такого? Не для того мать собирает яйца, чтобы она тут приценивалась. И зачем только искушают ее эти щелчки, не затихающие в ушах?

Поздней осенью остывает горный ветер, раньше чернеет небо. Но Сянсюэ с подружками все так же ждут семичасового поезда. Накидывают расшитые курточки на вате. Фэнцзяо подбирает волосы пластмассовыми заколками, другие закрепляют косы просто резинками, — все это они выменяли у пассажиров. И толпятся, разодетые, что твои горожанки с поезда, у железной дороги, как на смотринах, будто ждут издалека дорогих гостей.

Поезд останавливается, испускает тяжкий вздох, словно сетуя на холод в Тайгоу. Он и сам сегодня несколько охладел к Тайгоу: окна плотно закрыты, пассажиры при тусклом свете пьют чай, листают газеты, и никто не глядит в окна. Все, кто постоянно ездит по этой линии, у кого всегда разгораются глаза при виде тайгоуских девушек, сегодня словно забыли о их существовании.

Фэнцзяо привычно побежала к третьему вагону искать своего «столичного говоруна». Сянсюэ помчалась вдоль поезда, туго завязав бордовую косынку и перебрасывая корзину с одного локтя на другой. Она тянулась на цыпочках, надеясь, что пассажиры заметят ее. Но никто не обращал на нее внимания. И вдруг на заваленном продуктами вагонном столике она обнаружила то, о чем давно мечтала. Бежать дальше пропала охота, она опустила корзину и, трепеща, прильнула к оконной раме: действительно, пенал, тот самый, с магнитиком, захлопывающийся. Так близко, что, не будь стекла, Сянсюэ могла бы потрогать его.

Проходившая мимо пожилая проводница отодвинула девушку от вагона. Сянсюэ подняла корзину и отошла, не отрывая взгляда от пенала. Это, наверно, той девушки у окна, по виду студентки. Сянсюэ принялась барабанить по стеклу. Девушка обернулась, увидела корзину и виновато развела руками, даже не думая открывать окно. Что-то толкнуло Сянсюэ к дверям, она миг поколебалась — и ухватилась за поручни. Подбегая, она еще слегка сомневалась, но выходящий из вагона теплый и какой-то особенный поездной дух укрепил ее намерение, и она, вспомнив, как это делает «столичный говорун», легко вспрыг-

нула на подножку. Надо быстрей промчаться по вагону, быстрей обменять яйца на пенал. У нее с собой было много яиц, целых сорок штук, это, верно, и прибавило ей решимости.

И вот Сянсюэ в вагоне. Делает первый шаг, крепко держа корзину и оглядываясь. В этот самый миг состав дернулся, двери захлопнулись. Пока до нее дошло, что случилось, поезд тихонько сказал Тайгоу «прости». Сянсюэ ринулась к дверям, снаружи промелькнуло лицо Фэнцзяо. Похоже, это не сон и она действительно уезжает от подруг в этом давно знакомом и все же каком-то чужом вагоне. Она зашлепала ладошкой по стеклу, закричала уплывающей Фэнцзяо: «Что делать? Что же мне делать?!»

Поезд равнодушно увозил девушку прочь, в один миг оставив Тайгоу позади. Следующая остановка называлась Сишанькоу — в тридцати ли от Тайгоу.

Тридцать ли — пустяк для поезда или автомобиля, поболтаешь о том о сем, и вот уже Сишанькоу. Село тут немало, а сошел лишь один пассажир — Сянсюэ. Уже без корзинки, которую она сунула под скамейку, где сидела студентка.

Когда в вагоне раскрасневшаяся Сянсюэ сказала ей, что хочет выменять пенал на яйца, та почему-

то тоже покраснела. И стала совать Сянсюэ пенал просто так, бормоча, что живет в общежитии, питается в столовой, куда ей яйца? Боясь, что Сянсюэ не поверит, тыкала пальцем в нагрудный знак — «Металлургический институт». Сянсюэ решила, что девушка смеется над ней, неужели у нее нет дома, только институт? Вертела в руках пенал, соображая, как поступить. Пусть бедна Тайгоу, она все равно никогда не возьмет чужую вещь за так. И в те несколько секунд, когда поезд, вздрогнув, остановился, Сянсюэ решительно запихнула корзину под скамейку и убежала.

Еще в вагоне пассажиры советовали ей провести ночь в Сишанькоу, а утром вернуться домой. «Столичный говорун» участливо сообщил, что на этой станции живут родственники жены. Сянсюэ никогда не ночевала у чужих и уж тем более не собиралась разыскивать чьих-то родственников, от слов «столичного говоруна» ей стало даже обидно — за Фэнцзяо, за Тайгоу. Она мечтала только об одном — скорей обратно, чтобы завтра гордо пойти в школу, гордо расстегнуть ранец и выложить *его* на парту. Этим, в поезде, не понять, как растерялась она, точно перепуганный зайчишка, когда паровоз загудел, и тем более не понять, на что способны эти девушки, оказавшись один на

один с высокими горами да черной ночью.

Поезд исчез, оставив ее посреди пустого пространства. Налетел ледяной ветер, словно собираясь подхватить и унести тоненькую фигурку. Косынка соскользнула, на плечи, она завязала ее потуже и, съежившись, опустилась на рельсы. В жизни Сянсюэ обуревали всевозможные страхи: в детстве боялась волос и, если мокрый волосок прилипал к лицу, немедленно принималась плакать; выросла, стала бояться выходить одна во двор вечерами, боялась волосатых гусениц, щекотки (ох, как любила пользоваться этим Фэнцзяо). А сейчас ей было страшно в этом чужом Сишанькоу, среди окружавших ее мрачных горных громад, страшно в безмолвии, от которого трепетало сердце, а когда порыв ветра пробегал по ближней рощице, ее пугал шелест деревьев. Сколько рощ, больших и малых, придется ей миновать на этом возвратном пути в тридцать ли!

Выкатился диск луны, осветил безмолвное ущелье, чуть белеющую тропку, жухлую осеннюю траву, корявые стволы и купы терновника, причудливые камни, и шеренги деревьев по склонам да пригоркам, и еще эту коробочку, сверкнувшую в руке Сянсюэ.

Только теперь она вспомнила о пенале и под-

несла его к глазам. Что же это я, подумала Сянсюэ, так и не разглядела его в поезде? При ясной луне увидела, что на бледно-зеленой крышке расцвели два беленьких «конских копытца». Бережно открыла, легонько, как это делала соседка по парте, хлопнула по крышке, и та со щелчком закрылась, плотно-плотно. Снова открыла пенал, и ей захотелось сейчас же положить туда что-нибудь. Нашарила в кармане маленькую баночку крема и опять щелкнула крышкой. Мой пенал, в самом деле мой! — только сейчас стало доходить до нее. И она вновь подумала, как пойдет завтра в школу и как было бы здорово, если бы они опять задали этот свой вопрос!

Она поднялась довольная, ветер, казалось, помягчел. И луна, вдруг увидела Сянсюэ, такая яркая. Облитые ее лучами, горы вздымались, как большие святые материнские груди; листья ореховых деревьев, сметаемые осенним ветром, сворачивались в золотистые колокольцы и подрагивали на ветру — она впервые услышала шелест их ночной песни. Страх прошел, и — вперед, вперед — запрыгала она по шпалам. Вот, оказывается, какие вы, горы! Вот, оказывается, какая ты, луна! Вот, оказывается, какие вы, ореховые деревья! Сянсюэ шагала, словно впервые

узнавая ущелье, взрастившее ее. А что же Тайгоу? Незаметно она ускорила шаг. Она спешила к Тайгоу, будто предчувствуя, что та поразит ее своей новизной. Ее деревня непременно станет другой: и тогда тайгоуским девушкам не придется ничего выпрашивать и отвечать на издевательские вопросы. Красивые парни сойдут с поезда, чтобы посвататься к ним, и поезда будут стоять долго, три, четыре, а то и восемь, десять минут. Все окна в них распахнутся навстречу Тайгоу, и любой с удовольствием выйдет из вагона.

А что произошло сегодняшним вечером в Тайгоу? Ах, да, поезд увез Сянсюэ, отчего же теперь она вспоминает об этом так легко, будто об игре? Сорока яиц нет как нет, что скажет мать? А отец только и ждет, когда кто-нибудь в деревне женится, выйдет замуж. Вот тогда-то и пойдет для него работенка, он оголит бронзовую спину и, не разбирая дня и ночи, начнет плотничать комоды, сундуки, кухонную утварь, чтобы заработать на учебу Сянсюэ. Девушка даже остановилась, подумав об этом, вроде потускнела луна, шпал под ногами не различить. Что она скажет дома? Окинула взглядом горы, те молчали; посмотрела на ближние тополя — тополя шуршали и не собирались советовать, как же ей быть. А что там

за журчание? Это бурливый ручеек в метре от насыпи. Спустилась к нему, присела на корточки. И вспомнила, как в детстве они с Фэнцзяо однажды стирали на берегу реки и увидели старика, предлагавшего кунжутные конфеты. Фэнцзяо посоветовала Сянсюэ выменять несколько штук на старую нижнюю рубашку и еще научила сказать матери, что-де упустила — и рубашку унесло течением. Так хотелось конфет, но Сянсюэ не решилась на обмен. А старик, она запомнила, доверчиво прождал ее полдня. И что ей такие пустяки вспоминаются? А может, сейчас обмануть мать? Ведь кунжутные конфеты ни в какое сравнение с пеналом не идут. Скажет, что это волшебная шкатулка, исполняет любые желания хозяина: хочешь — в университет поступишь, хочешь — в поезде уедешь, все получишь, что пожелаешь, и никто больше не станет выпытывать, сколько раз в день ты ешь. Мать поверит — Сянсюэ никогда не обманывала.

Громче запел ручеек, сталкиваясь с рассыпанными в воде камешками и взлетая вверх крошечными брызгами. Пора, Сянсюэ зачерпнула воды, умылась и влажными руками пригладила растрепавшиеся на ветру волосы. Ох, холодна вода, но она вернула бодрость духа. Простившись

с ручейком, девушка вновь зашагала по нескончаемым рельсам.

Что там еще впереди? Туннель, точно черное око горы. Сянсюэ замедлила шаг, но вспомнила о пенале за пазухой, представила пораженные взгляды одноклассников — словно вспышками, озарялся ими туннель — и не отступила. Нагнулась за сухой былинкой, вплела в косичку. Мама говорила, так «отгоняют нечистую силу». И побежала сквозь туннель. Помчалась, если точней.

Разгорячившись, Сянсюэ сбросила косынку, обмотала ее вокруг шеи. Сколько она уже бежит? Кто знает. Затрещали, заверещали в траве сверчки — «ткачи» да кузнечики — «масляные тыковки», приведя Сянсюэ в чувство. Где же Тайгоу? Она подняла глаза и увидела впереди на рельсах какие-то черные точки. Движутся ей навстречу. Это люди бегут к ней. Впереди Фэнцзяо, за ней все подружки.

Надо бы прибавить шагу, но почему так отяжелели ноги? Сянсюэ обернулась на убегающие назад, прямые, как кисть, рельсы — в их бледном подлунном свечении холодно запечатлелся ее путь. Вдруг сжалось сердце, и она расплакалась — слезами радости, слезами удовлетворения. Вытерла тыльной стороной ладони глаза, выдер-

нула из косы травинку и побежала навстречу подругам, высоко подняв пенал.

Над ущельем загремели радостные вопли девушек. Они звали Сянсюэ, голоса их были порывисты, горячи; они смеялись, смеялись открыто, ничего не опасаясь. Вздрогнули растроганно древние горы и ответили гулким эхом — они тоже взывали к ней.

Эй, Сянсюэ! Сянсюэ!

УЖЭЭРТУ
СУДЬБА ОХОТНИКА
© Перевод Е. Рождественская-Молчанова

Друзья, когда ураганный ветер взметнул в небо тучи песка, подумали ли вы о маленьком дереве в лесу, нежном молодом дереве...

Ужээрту (настоящее имя Ту Шаоминь) родился в 1952 году, эвенк. В 1968 году, по окончании средней школы первой ступени, переехал в район Дасиньаньлинлинь и стал членом производственной бригады эвенков-охотников. В 1973 году вступил в КПК, был членом парткома, занимался агитационной работой, а затем стал заместителем секретаря парткома. В 1980 году переехал на жительство в монгольский автономный район, в том же году был избран заместителем председателя Ассоциации литераторов.

С 1976 года начинает заниматься лите-

ратурной деятельностью. В 1978 году в журналах «Жэньминь вэньсюэ», «Миньцзу выньсюэ» в разное время было опубликовано более десяти его рассказов, в том числе «Песни леса», «Посмотри, как зелены листья» и другие. Рассказ «Судьба охотника» был удостоен премии среди лучших рассказов 1981 года.

* * *

Он прошел через ущелье, поросшее густым кустарником и травой, и вышел к лесу... У исполинской сосны замедлил шаг и окинул взглядом дорогу: ни души. Он успокоился, потянулся, высоко подняв сильные руки, вдохнул полной грудью свежий прохладный воздух, ощутил неизбывную радость.

Солнце уже опустилось за макушки деревьев на западном склоне, едва освещая гребень горы, долину окутали сумерки.

Осенние листья, устав за день качаться на ветках, медленно падали на землю, сплошь усыпав тропу, по которой он всегда шел, когда вел стадо оленей.

Вот и сейчас, войдя в лес, он тихо, почти беззвучно, шагал по этой тропе.

Запах леса, особый, неповторимый, рассеял тоску и тревогу.

О! Здесь только что прошел лось, вожак стада.

Он остановился и стал разглядывать еще свежий след, как это обычно делают охотники. «Хэ, здоровенный, черт!» Охваченный волнением, он прошел немного и увидел еще один след. «Зверь где-то близко, совсем близко! Роса не успела высохнуть, и земля разворочена». Он не заметил, как сошел с тропки, и, прячась за деревьями, пробирался дальше, высоко поднимая ноги и осторожно их опуская, чтобы не спугнуть зверя.

Остановился он метрах в двадцати от него, у березы. Не зря шел. Лось был величиной с буйвола, темно-коричневый, с огромной головой и блестящими, будто отшлифованными, рогами, морда — как у лошади, только гораздо больше, особенно нос.

Лось, покачивая головой, щипал молодые листья. Он был так самоуверен, так бесстрашен, что даже не почувствовал приближения охотника.

Охотник не сводил глаз с лося, рука невольно потянулась к правому плечу, где обычно висело ружье. «Эх! — вздохнул он. — Откуда взяться ружью? Ведь он как птица залетел в лес...»

Лось наконец повернул голову, навострил уши,

посмотрел на охотника своими блестящими черными глазами и не спеша скрылся в лесной чаще.

Охотник стоял, мрачно глядя вслед зверю. И вдруг спохватился: «Не за зверем же он сюда шел. Домой спешил… Странно! Лось его не боится. Даже как будто сочувствует. Зачем он хотел его убить? Ведь лось никому не причиняет вреда, питается листьями».

Среди эвенков он лучший охотник. Четверть века ходит на зверя. И вдруг пожалел лося. Жалость к зверю появилась у него не впервые, еще давно, когда его схватили «штабисты диктатуры масс». Просидел он три месяца, потом сломал окно и убежал. Да, именно тогда у него пробудилось сочувствие к животным и жажда свободы.

Когда совсем стемнело, он пришел на поляну среди сосен, где было вкопано в землю несколько круглых срубов, лежали поленья, виднелись следы оленей. Это была стоянка охотников.

— Видно, перешли на другое место, — произнес он вслух.

Три месяца назад здесь жизнь била ключом. Перед глазами возник образ жены Айи. Вот она направляется к реке за водой. Вот дядюшка Божэму разводит костер, чтобы отпугнуть комаров,

сынишка Маньди катается на белом олене... Ничего нет. Все исчезло. Он снова почувствовал одиночество и тоску. Полжизни провел он на горном перевале Дасиньань и теперь уже не припомнит, сколько раз приходилось переходить с места на место. Но никогда еще не было у него на душе так муторно, как сейчас. Он обошел стоянку и вдруг увидел какой-то предмет, привязанный к дереву. Это оказался котелок, а в нем, под берестой, чтобы не намочил дождь, пакетик с солью, три лепешки и коробок спичек.

«Наверняка Айя оставила для меня, знала, что вернусь. О, женщина, женщина, какая тонкая у тебя душа!»

Эта мысль согрела охотника. Он быстро разжег костер, принес с берега охапку сухой травы, положил у костра, вскипятил воду и стал есть лепешки, запивая их кипятком.

Поел и лег спать, но среди ночи проснулся. Вокруг было тихо. Дрожа от ночной прохлады, охотник смотрел на звезды в просветах между деревьями и на ущербную, будто срезанную ножом луну.

Наступило утро. Охотник поднялся, загасил костер, повесил на дерево котелок и пошел дальше.

Солнце уже клонилось к западу, когда он одолел гребень горы и пошел вдоль небольшой речушки. Вдруг он заметил следы оленей и обрадовался: значит, близко дом. Его удивило, что следы беспорядочные. Видно, оленей вспугнул какой-то зверь. Тут охотник увидел кости и клочья шерсти и подумал, что это медведь задрал оленя и сейчас кружит где-то рядом. В гневе он сжал кулаки. Куда подевались охотники? Испугались медведя? Он пнул в сердцах сухую корягу и размашистым шагом заспешил домой.

В зарослях громко залаяла собака.

— А, Вэньцзи, моя Вэньцзи!

Вэньцзи, серая охотничья собака, бросилась к нему, обхватила лапами и, виляя хвостом, принялась лизать одежду, руки.

— Вспоминала обо мне? Ну, скажи, вспоминала? — Он разговаривал с любимой собакой, как с человеком. А собака, словно понимая, радостно лаяла в ответ. Ведь нет для собаки большего счастья, чем после долгой разлуки увидеть хозяина.

Собачий лай переполошил обитателей юрты, и они вышли встречать охотника.

— Папа! Папа! — размахивая ручонками, закричал сынишка и подбежал к отцу.

Он подхватил сына на руки, стал гладить его

лицо, целовать.

— Ой, какая колючая борода! Папа, какие-то люди убивают наших оленей, дедушка Божэму говорил, и медведь нескольких сожрал. Всего вон сколько! — Он растопырил пальчики на обеих руках.

Охотник кивнул, глядя в черные блестящие глазенки сына.

— Здравствуй, дядюшка Божэму, — приветствовал он старого охотника, подойдя к юрте и опустив сына на землю.

— Вернулся наконец?

Он кивнул головой, не сводя глаз с жены. Айя тоже не отрываясь смотрела на него, и лицо ее светилось радостью.

— Как похудел, — сказала она.

Две юрты стояли пустые.

— А куда подевались люди? — спросил он.

Все молчали.

Он понял. Пригнувшись, вошел в юрту, сел на подстилку из оленьей кожи, отрезал кусок вяленого мяса и принялся с жадностью есть.

— Гуцзесе! — крикнул старый охотник.

— Что?

— Ну как, весело жилось внизу?.. За эти три месяца мы потеряли столько оленей!

— Да…

— Ты уже знаешь?

— Сын сказал. Да я и сам видел на дороге оленьи кости и клочья шерсти. Эх, дядюшка, ничего не принес вам выпить. Вы уж извините.

— Это неважно. Помнишь, я говорил, что всякому дереву нужен простор, даже малому, не может оно расти под большим. Помнишь?

— Помню. Давно это было. Еще до Освобождения. Я был тогда маленьким. Налей-ка чаю! — обратился он к жене. — И побольше молока.

— Молока не хватает. Пей так. Вчера медведь задрал двух олених.

— Это та самая медведица с медвежатами. Она не могла уйти далеко, почему же ее не убили?

— Без ружья не убьешь! — сердито сказал старик. — Ты вот вернулся и сразу к сыну. Целуешь, обнимаешь, не налюбуешься. А ружье твое где — и не спросил.

— Ружей, говоришь, нет?.. — удивился он.

— Нет. Штаб забрал. Как ни просил я, как ни молил — все зря. Говорю им: что мы за охотники без ружей? А они, черт бы их побрал, и слушать не хотят. Так и забрали все ружья, дураки. Удивительно, что заодно солнце и луну не конфисковали.

Он смотрел на огонь в печке и молчал.

— Эй, говорят, ты лет десять назад сходил с парнями под гору и вел там оседлый образ жизни. Неплохо пожил. Так скажи мне: что сейчас происходит? Почему отняли ружья у эвенков — охотников? Ох! Рыбе нужна вода, оленю — горы. Охотнику — охота. Зачем же его учат обрабатывать землю? А теперь еще ходят разговоры о каких-то… шахматах!

— Сейчас вся страна все равно что одна большая шахматная доска[53].

— Земля ведь здесь не прокормит. А мы давно не охотимся.

— Все верно. Олень ест траву, птица червяков, каждому свое.

— А нам, выходит, остается грызть гору, раз ружья отняли и олени гибнут? — Старый охотник плюнул в сердцах.

— Тучи проливаются дождем, дядюшка.

— Дождь, это хорошо, эвенки никогда не боялись дождя, но почему он поливает только нас? Не пойму я что-то.

— Дождь поливает все деревья, дядюшка, и большие, и малые, он не разбирает.

---

[53] Примечания: 53

Игра слов: данное выражение употребляется в значении «действовать с учетом интересов всей страны в целом».

— Тебя не переговоришь. Ты мне все же скажи: что ты делал внизу?

— Я… — Три пары глаз уставились на него.

— Ты, да, ты. Ты нас забыл, тебе даже олени не нужны. Посмотри, кто тут остался? Госе, Хэсе, Куньшань — здоровые, крепкие охотники убежали с гор. Не знаю, что у них там за дела, но как ушли, так и след простыл. Хэй! Я пошел их искать, но один человек внизу мне сказал, чтобы я не беспокоился, что все они учатся на курсах. Еще он говорил, что сейчас «великая культурная революция» и кто поучится на курсах, станет культурным. Я искренне за них порадовался, но на горах не хватает людей. — Старик отпил чая.

— Я тоже ходил учиться, — сказал он, опустив голову и старательно пережевывая мясо.

— Молодец! Культура эвенку не помешает. Ты голоден, ешь побольше, а я пойду присмотрю за оленями. Ни минуты покоя нет.

— Погодите, я поем и сам схожу, а вы отдохните.

Но старик уже вышел из юрты, и снаружи донесся его сиплый сухой кашель.

Вечером затопили печку, и в юрте стало тепло и уютно.

Гуцзесе лежал на оленьей подстилке, подложив

под голову руки, и думал свою невеселую думу.

К нему подбежал сынишка, быстрый, как олененок, обвил ручонками шею.

— Иди ко мне, Маньди, папа устал, не шуми. Мама расскажет тебе сказку. — Айя прижала сына к груди и принялась уговаривать. Он заметил, что Айя стала ласковее, сразу угадывает его настроение. Какая она красавица! Волосы светлые, глаза черные, лучистые. Семь лет назад эти глаза его покорили. Стоило в них заглянуть, и на душе становилось спокойно. Айя и сейчас не утратила своего девического очарования, хотя губы ее уже не такие свежие и потрескались, а в уголках притаились морщинки. Нелегкая ей выпала доля. Трудно было поверить, что в душе этой женщины, кроткой и тихой, столько глубоких и сильных чувств, сколько в море подводных течений.

— Папа, я хочу к тебе! Обними меня! — надув губки, просил сынишка.

— Иди ко мне, мое сокровище. — Он протянул руки к малышу и вдруг тихонько застонал.

— Что с тобой? — встревоженно спросила жена.

— Ничего, — ответил Гуцзесе.

Но тут мальчик приподнял край отцовской рубахи и увидел еще не зажившую рану.

— Что это? — испуганно закричал ребенок.

— Ты… — Жена переменилась в лице.

— Пустяки. Спи. — Он прикрыл рану и обратился к сынишке: — Сейчас я тебе все расскажу. Только никому не говори. Разве твой папа не любит выпить? По дороге домой выпил лишнего и покатился по склону с горы.

— Правда? Как камушек! И сильно ушибся?

— Когда вырастешь, никогда не делай этого!

Мальчик закивал головой.

— Но ты раньше не напивался, — с сомнением и упреком произнесла Айя.

— Он так устал, что не заметил, как заснул.

— Один, два, три, один, два, три, четыре! — кричал кто-то.

— Сто восьмой, встать!

Он вышел из длинного ряда, как и все до него, и побежал, на ходу повторяя с огромным трудом выученные китайские фразы:

Диктатура масс хорошо,

Диктатура масс хорошо,

Эвенк Гуцзесе

Бежит плохо.

— Громче, еще громче, — командовал кто-то.

Он проснулся от толчка в бок и протер глаза.

Айя печально на него смотрела. Видимо, она долго вот так смотрела, может быть, всю ночь.

— Что с тобой? Почему ты кричал? Мне страшно.

— Кричал?

— Да.

Он смахнул выступившие на лбу капельки пота.

Наступило молчание. Им не хотелось продолжать этот тягостный разговор. И так все было ясно.

— Скажи наконец, что произошло?

— А что произошло?

— Сам знаешь.

— Ничего особенного. Привиделось что-то во сне.

— Меня не обманешь, — через силу произнесла Айя.

— Ну что ты разговорилась на ночь глядя? Спи! — провел рукой по ее лицу, волосам. Они были мокры от слез. При свете луны, проникающем в юрту, он увидел, как вздрагивают ее плечи.

Он вздохнул. Что поделаешь! Айю действительно не обманешь.

Гуцзесе поднялся и вышел из юрты, не захватив с собой даже охотничьего ножа. Вэньцзи, кото-

рая давно не ходила на охоту, радостно бежала впереди.

Утро выдалось на редкость ясное, и в прозрачном воздухе далеко было видно. Небо уже заалело от первых лучей утренней зари.

Гуцзесе решил найти стадо оленей.

Для кого-нибудь это дело, может, хлопотное, а для Гуцзесе — одно удовольствие. К тому же Гуцзесе шел легко, душа его, как говорится, пела. Каждая сломанная ветка, примятая травинка вела его к стаду. И на этот раз привела в сосновый бор. Гуцзесе окинул взглядом стадо. Как мало осталось оленей! «Медведицу надо убить. Чего бы это ни стоило».

Олени послушно побежали за вожаком к стоянке, белые, коричневые, серые, большие и маленькие. Медные и деревянные колокольчики на их шеях позванивали на разные лады.

Пройдя ущелье, Гуцзесе увидел свежие медвежьи следы и стал внимательно их рассматривать. Этот след медведица оставила утром. Прекрасно! Значит, она где-то рядом. Собака, почуяв запах медвежьих следов, завиляла хвостом и уставилась на хозяина, словно спрашивая: «Что будем делать? Может, мне побежать?»

— Погоди! — Хозяин легонько хлопнул Вэньцзи

по голове и пошел по медвежьему следу. Собака трусила впереди, навострив уши и принюхиваясь. По опыту она знала, что медведя, хищного зверя, нельзя подпускать к хозяину, и готова была к броску.

Вдруг Вэньцзи остановилась, завертела головой и завиляла хвостом, значит, медведь где-то близко.

Гуцзесе остановился, огляделся. И тут заметил невдалеке под березой холмик, похожий на могилу. «Это ее работа. Припрятала там останки несъеденного оленя. Соображает». Он сделал собаке знак рукой. Та рванулась с места и стала бегать вокруг холма, пока не привлекла внимание медведицы.

Медведица зарычала и бросилась на Вэньцзи. Но собака не испугалась: не такое довелось ей повидать на своем веку. Она лаяла, дразня медведицу, прыгала то справа, то слева, изловчилась и вцепилась зубами медведице в зад.

«Почему хозяин не стреляет? — Собака нетерпеливо оглянулась на Гуцзесе. — Такой удобный случай!» Медведица грудью шла на собаку. Вдруг Вэньцзи почуяла запах медвежат и метнулась в кустарник. В следующий момент донесся ее заливистый лай.

Медвежата были не больше Вэньцзи, и она прикончила бы одного из них, если бы не медведица. Но медведица в смятении погналась за собакой, то и дело прячась от нее, и очутилась на открытой поляне, куда Вэньцзи ее заманила. Именно на таких полянах хозяин не раз бивал медведей, и Вэньцзи хорошо это знала.

Наконец медведица остановилась, тяжело и прерывисто дыша. Вэньцзи снова принялась ее дразнить, даже плюнула. Медведица заскрежетала зубами, встала на задние лапы и снова погналась за Вэньцзи.

«Стреляй же скорей! Бей ей в голову!» — молила Вэньцзи хозяина. Но выстрела не последовало, был упущен такой прекрасный момент. Собака оглянулась и увидела, что хозяина поблизости нет, даже запаха его не было слышно. Она бросила взгляд на медведицу и помчалась обратно.

Проскочив через кустарник, Вэньцзи догнала хозяина. Вдруг она заметила, что у него в руках нет ни ружья, ни ножа. «Отчего бы это?» — недоумевала Вэньцзи. Теперь она бежала в полном унынии, высунув язык и волоча по земле хвост.

— Сердишься на меня? — спросил охотник. — Но у меня нет ружья, сама видишь. А без ружья медведицу не завалишь… Свирепая она, только

смекалки нет, не то что у тебя. — И Гуцзесе ласково потрепал собаку по голове. — Но надо что-то придумать. Не то она сожрет всех оленей.

Собака смотрела на хозяина коричневыми с рыжинкой глазами и лизала ему руку, в знак понимания и сочувствия.

Возвратившись на стоянку, Гуцзесе выбрал нож подлиннее, давно лежавший без дела, и долго его точил.

А утром, позавтракав, сунул нож за пояс и вышел из юрты.

— Куда ты? — Айя вышла следом.

— Поброжу по лесу, — бросил он, даже не обернувшись.

— Маньди, сходи с папой в лес, собери грибов! — крикнула она сыну.

Маньди выбежал из юрты и обвил ручонками ноги отца.

— Папа, возьми меня с собой!

— Я не на прогулку. — Он взглянул на жену…

— Маньди, у папы дела, не мешай ему.

Гуцзесе поцеловал сына и ушел. Малыш, чуть не плача, смотрел ему вслед, сунув пальчики в рот. Айя, в полной растерянности, тоже смотрела на удалявшегося мужа.

Гуцзесе торопился, опасаясь, как бы дядюш-

ка Божэму не догадался о его намерениях, ведь наверняка не отпустит. Вдруг наперерез ему бросилась Вэньцзи и завиляла хвостом. В ее собачьих глазах была такая грусть! Она почуяла, что хозяину грозит опасность, и молила взять ее с собой.

— Иди домой, Вэньцзи!

— Не ходи, Гуцзесе, — упрашивала, догнав его, жена. — Что ты задумал? Послушай меня хоть раз. Ведь ты без ружья, я боюсь… — Она теребила край его одежды.

Гуцзесе бросил на нее сердитый взгляд.

— Возьми хотя бы собаку, — уговаривала Айя…

— Отпусти меня, а собаку привяжи. Ну что ты, в самом деле! Я знаю, что делаю. — Он вышел из себя, покраснел, сжал кулаки и стремительно пошел дальше.

Но у склона горы замедлил шаг. Как настоящий охотник, он всегда был уверен в своих силах и в то же время осторожен. «Главное — спокойствие и выдержка», — говорил он себе. Он и счет потерял убитым медведицам, за год обычно убивал штук пять. Но идти на зверя без ружья, с одним ножом ему не приходилось, настроен он был мрачно.

Не только ради оленей отважился он на такой поступок. Как стремится заваленный камнями родник прорваться наружу, так искал Гуцзесе

выход своему гневу, потому и решил помериться силами с медведицей.

Дойдя до холмика, где были закопаны останки оленя, он вытащил нож, провел по клинку: «Хорош!» И, тяжело ступая, двинулся дальше, держа нож наготове.

Вокруг было тихо. Медведица, видимо, спряталась. Это придало охотнику смелости, и он с гордостью подумал: «Зверь боится человека». Он громко кашлянул, и медведица появилась, видно дремала, а охотник ее разбудил.

Бежала она, смешно вытянув лапы и словно верблюд выгибая спину, ломая на ходу ветки и грозно рыча. Охотник не сводил с нее глаз. Вот она уже совсем рядом, так близко, что видны безжалостные, налитые кровью глаза.

— Спокойствие и выдержка, — произнес он вслух. — Сейчас медведица остановится.

И она действительно остановилась. Оглядела охотника — уж не дерево ли это? Повела своим маленьким блестящим носом, принюхалась и почуяла человека. С оглушительным ревом медведица встала на задние лапы, вытянула передние и, покачиваясь, неуклюже двинулась вперед.

Она едва не коснулась его лица. Может быть,

среди ей подобных она казалась красивой, даже стройной, но у охотника вызывала отвращение, стоя перед ним черной стеной, наводящей ужас.

«Не упусти момент, смелее!» — приказал он себе.

— Хэй! — крикнул охотник и с такой силой всадил нож медведице в грудь, что он прошел до самой печенки. Медведица хлопнула лапой, отползла на несколько метров и повалилась под деревом.

Охотник тоже упал, но тотчас вскочил и приготовился к защите. Однако медведица лежала неподвижно, и он перевел дух. Он как-то весь обмяк, руки горели и ныли, незажившая рана кровоточила. Медведица ударила его лапой как раз по больному месту. Пришлось разорвать рубашку и перевязать рану. В полном изнеможении он прислонился к дереву, голова кружилась, словно он выпил лишнего.

Когда он немного пришел в себя, тени стали длиннее. «Пора. Медведица наверняка испустила дух. А ведь здорово, что я без ружья с ней справился».

Везде, даже на ветках, были следы крови.

Медведица лежала ничком у дерева, вонзив в землю когти. Жалко было на нее смотреть. Мед-

ведица не дышала. Нож прошел через грудь в позвоночник, разорвал печень. Охотнику даже не верилось, что такая в нем сила!

Медвежат нигде не было — убежали, почуяв опасность. Вряд ли кто-нибудь из охотников, даже самых опытных, самых смелых, решился бы на такое. Со стороны его поступок мог показаться безумным, но ведь это прекрасно — идти на медведицу без ружья, красиво!

Раненая рука нестерпимо болела, и он с трудом содрал шкуру и разделал тушу. На это ушло столько же сил, сколько на поединок со зверем. Шкуру и мясо он развесил на дереве, мясо прикрыл ветками, чтобы не сожрало воронье.

Теперь можно было передохнуть. Оленям больше не грозила опасность. Эта мысль наполнила его душу радостью и гордостью. Он развел огонь и принялся жарить медвежатину, в воздухе вкусно запахло жареным мясом.

Вдруг до него донесся какой-то шум. Он прислушался. Кто-то приближался к нему, какие-то люди. Они были уже совсем близко. Слышались их голоса. Судя по разговору, люди эти не часто бывали в горах. О! Да они вооружены! Он слышал, как ударялись о стволы винтовки. Давно не слышал он этих звуков и сразу все понял.

Он не испугался, даже не шевельнулся. Стоит ли прятаться?! Он выполнил свой долг, олени хоть несколько дней поживут спокойно, он повидался с теми, кто ему дорог. А теперь ему все равно!

В это время появились двое, они озирались по сторонам, сразу было видно, что ищут кого-то.

Впереди — толстый, по имени Чжан Сишэн, охотник запомнил его на всю жизнь. Он тяжело дышал, даже издали было слышно, и своим нелепым видом напоминал охотнику только что убитую им медведицу.

Второго, худого и крепкого, охотник не знал.

Гуцзесе взял кусок медвежатины, разрезал и молча принялся есть.

— Сто восьмой! — крикнул Чжан Сишэн, уставившись на охотника.

Но Гуцзесе, словно не слышал, отрезал еще кусок, отправил в рот и стал не спеша жевать.

— Это… он? — спросил худощавый.

— Он! Я же сказал, что никуда он не убежит. Ты… его знаешь?

— Он — отличник труда по защите леса, Гуцзесе, верно? Как же ваша «диктатура масс»?..

— Ты хотел что-то сказать, Ван У?

— Однажды мы тушили пожар в горах, нас было человек сто, и заблудились. А он, совсем больной,

помог нам выбраться, — тихо ответил Ван У.

Его лицо показалось Гуцзесе знакомым. Может быть, они и в самом деле встречались. С кем только не встречался Гуцзесе, когда был проводником пожарников! Разве всех припомнишь?

— Ты, мать твою так, не делай из него героя, и будь осторожен, он понимает по-китайски. Твоя задача — его доставить. Поменьше болтай, лучше будет. — В голосе Чжан Сишэна звучало раздражение. — Да опусти ты свое злодейское оружие! — заорал Чжан Сишэн, глядя на нож в руках охотника.

— Не бойся, я просто ем мясо. Может, отведаешь? — с насмешкой произнес Гуцзесе. Видя, что толстого может с перепугу хватить кондрашка, охотник положил нож на землю.

— Пошли, следуй, пожалуйста, за нами. — На слове «пожалуйста» Чжан сделал ударение. Он хотел поднять с земли нож, но вдруг увидел медвежью шкуру и испуганно отпрянул.

— Это шкура мертвого медведя, — не скрывая иронии, пояснил Ван У.

— Убил медведя? А ружье твое где? — оправившись от испуга, допытывался Чжан Сишэн.

— Так ведь вы их когда еще конфисковали!

— Тут что-то не так! Не мог же ты голыми рука-

ми уложить медведя.

— Нож! У меня был охотничий нож! Его вы тоже конфискуете?

— Не болтай чепухи!

— Напрасно кричите! Он правду говорит, — заметил Ван У.

— Ну-ка, ты, мать твою так, слишком много себе позволяешь!

Он надел на Гуцзесе наручники.

Ван У дернул Чжана за рукав и поморщился:

— Зачем это?

— Не лезь, куда не просят, меньшевик несчастный! Не суй нос в чужие дела!

— Эй, сними-ка эту штуку! — зло произнес Гуцзесе, обращаясь к Чжану.

— Какую штуку? Наручники? Сбежать хочешь?

Гуцзесе плюнул с досады.

— Ты не дома — в лесу. Видишь огонь? Загасить надо! Даже этого не понимаешь! — Охотник перешел на крик.

Когда сняли наручники, Гуцзесе пошел к речке, принес воды, загасил костер. Чжан Сишэн ходил за ним по пятам. Он снова надел на охотника наручники, вывел его на дорогу и с видом победителя пропустил вперед. Ван У был мрачнее тучи.

— Эй, хотел сбежать, да не вышло, — злорад-

ствовал Чжан Сишэн.

— Сбежать? — покосился на него охотник. — И не собирался. Просто пошел повидаться с родными.

— Повидаться с родными? Хорошо придумал!

Когда перешли гору и очутились у развилки, Гуцзесе остановился.

— Чего стал? — крикнул Чжан.

— Пойду к своим, попрощаюсь.

— Нельзя!

— А я пойду!

— Нельзя!

— Пусть сходит простится, — вступился Ван У за Гуцзесе.

— Ах ты тип!.. — вскинулся Чжан и грязно выругался. — Поменьше бы играл в гуманизм. Ведь в марксизме ты ни бум-бум. А разглагольствуешь! С каких позиций?

— С каких же? Скажи! — рассердился Ван У.

— Ты и он…

— А что плохого он сделал?

— Дурак ты безмозглый. Классовой борьбы не понимаешь! Ведь этот охотник, можно сказать, живая карта данного пограничного района, знает несколько языков и подозревается в шпионаже. Говоря по правде, все они тут на сторону глядят.

Так-то вот! Есть классовая борьба, есть борьба национальная. Нашел бы себе учителя, поклонился, пусть поучил бы тебя годика три… А то придумали «мирное сосуществование»! Ладно, пошли!

— Все это глупости! Смотрите, как бы эта ваша национальная борьба не превратилась в борьбу против наций. А диктатура масс в диктатуру против масс, — парировал Ван У, покраснев от волнения.

— Смелый ты парень. Ну-ка повтори, что сказал! Как раз угодишь в контрреволюционеры! — заорал Чжан Сишэн.

— Я знал, что ты считаешь меня контрреволюционером. Но пойми: такие, как ты, губят национальное единство, вы похлеще гоминьдановцев, которые всячески притесняли нацменьшинства. — Ван У говорил тихо, но очень четко.

— Погоди, мы с тобой еще побеседуем, — вскипел Чжан.

— Разрешите мне сходить домой! — Гуцзесе в ярости сжимал кулаки.

— Иди! — решительно заявил Ван У.

— Не имеешь права! — взревел Чжан Сишэн.

— Как хочешь! Тогда я не сделаю больше и шага. Сам ищи дорогу и выбирайся отсюда.

Чжан Сишэн уставился на Ван У и орал во все

горло:

— Ты что, рехнулся! Эх, принял я осла за лошадь! Ладно! Пусть катится! Но если сбежит, я рассчитаюсь с тобой.

— Иди! Попрощайся со своими! — торопил Ван У.

Гуцзесе кивком головы поблагодарил, но с места не двинулся.

— Не пойду с этой пакостью… — Он поднял руки в наручниках. — Не хочу, чтобы близкие видели.

Чжан Сишэн едва не подскочил:

— Сбежать вздумал, да? За границу?

— Ты что несешь? — Гуцзесе вышел из себя. В глазах его горел недобрый огонек.

— Сними наручники! — сказал Ван У.

— Вы, я вижу, спелись! Ладно, с него сниму, а кому-то надену. — Взгляд Чжана не предвещал ничего хорошего, он держался за пистолет.

— Пожалуйста. — Ван У протянул руки.

И Чжан надел на него наручники.

— Теперь успокоился? — презрительно произнес Ван У.

Гуцзесе взял руки Ван У в свои и крепко пожал, молча глядя ему в глаза. На Чжана Сишэна ему было противно смотреть, словно на ворона, пожиравшего падаль.

Навстречу ему выбежал из юрты сынишка.

— Папа!

— Пришел наконец, а мы так волновались! Уж очень долго тебя не было. — Айя ласково и беспокойно на него смотрела.

— О! Гуцзесе. Ты и в самом деле смелый. Один пошел на медведицу. А мне ничего не сказал. Как дела? — расспрашивал дядюшка Божэму.

— Я уложил ее спать, другого выхода не было.

— В самом деле? Молодец! Я сказал Айе, что принесу мяса, а она пусть присмотрит за оленями. Жаль, что нас так мало, а то собрались бы, посидели, выпили немножко по такому случаю…

— Дядюшка! Я должен уйти, — тихо произнес Гуцзесе.

— Уйти? — в один голос воскликнули Айя и Божэму.

— Да, я должен идти «учиться».

— Ты, как петух, залетел, помахал крыльями и опять на сторону, — сказал Божэму.

— А нельзя не идти? — помрачнев, спросила Айя.

Гуцзесе покачал головой, не смея взглянуть ей в глаза.

— Папа, можно я тоже пойду с тобой учиться?

— Нет, сынок. Вот вырастешь, папа научит тебя

ходить на медведя.

Айя вынесла одежду из оленьей кожи.

— Надень эту, она крепкая, а то твоя совсем истрепалась.

Он накинул новую одежду на плечи, не снимая старой, чтобы жена не увидела раны. Выпил чаю, взял две лепешки и вышел из юрты.

Охотник подошел к привязанной к дереву Вэньцзи, своей любимице. Та завертела головой и завиляла хвостом от радости, встала на задние лапы, норовя прыгнуть на него. Он дал собаке лепешку, погладил по голове, ему так много хотелось ей сказать.

С безысходной тоской покидал он родной дом. Шел медленно, тяжело ступая. И долго еще слышал жалобный лай. Вэньцзи готова была пойти с хозяином хоть на край света, чтобы выполнить свой собачий долг, и изо всех сил старалась разорвать веревку.

«Не хочу я, чтобы ты терпела выпавшие на мою долю страдания. Я тут родился, вырос, стал человеком, я люблю эту землю и непременно вернусь». Он оглянулся. Божэму, Айя и сынишка махали ему рукой. На душе стало еще тяжелее. В листве шумел ветер и пел свою грустную песню. Над деревьями низко нависли тучи.

— Будет дождь. Захватил бы накидку, — крикнул Божэму вслед Гуцзесе.

Величественный и таинственный стоял лес. Ветер разгулялся вовсю. В его завываниях чудились то крики, то стоны, то рев и ржание мчавшегося по лесу табуна диких коней.

— Ничего. Скоро прояснится! — ответил Гуцзесе.

— Папа, когда приедешь, привези мне ружье! — донесся до него голос сына.

— Хорошо, сынок, привезу! — Он вытер слезы.

В последний раз охотник окинул взглядом стоянку. Божэму и Маньди все еще ему махали. Айя, пригнувшись, входила в юрту. Видимо, чтобы украдкой поплакать.

Он вышел на дорогу. И тут вспомнил, что его дожидается отвратительный Чжан Сишэн. Разъяренный, как раненый тигр. И друг, на которого надели наручники, с чуть-чуть знакомым лицом. Настоящий друг, все равно что родной брат.

И он пошел навстречу беснующемуся ветру…

ФЭН ЦЗИЦАЙ
БАРКАРОЛА
© Перевод В. Сорокин

Фэн Цзицай родился в 1942 году в Тяньцзине. До того, как в 1978 году опубликовал свой первый роман «Кулак во имя справедливости» (совместно с историком Ли Динсином), профессионально занимался живописью, а еще раньше был игроком сборной по баскетболу, преподавателем в художественном вузе, рабочим, коммивояжером. Начиная с 1979 года неоднократно публиковал рассказы, повести, публицистику, пьесы и критические статьи. В их числе «Резная трубка» и «Крик», получившие премии соответственно на Всекитайском конкурсе лучших рассказов 1979 года и первом Всекитайском конкурсе повестей и рассказов.

В 1987 году издательство «Радуга» выпустило в русском переводе «Повести и рассказы» Фэн Цзицая.

* * *

В ту пору мы, мальчишки, каждый день в один и тот же час собирались на берегу моря. Мрачные, не заговаривая друг с другом и даже не здороваясь, мы становились по своим местам и начинали толкать севшую на мель джонку. За двадцать с лишним дней мы продвинули ее всего на два метра. Нос джонки был задран кверху, словно она вытянула шею и всматривалась в морскую даль, корма же глубоко сидела в мокром песке и жалобно стонала. За ней тянулась прорытая нашими усилиями глубокая борозда. На дне лодки колыхалась вчерашняя вода, а в ней отражались, облака и лившийся с неба свет. С палубы свисала высохшая и изменившая цвет морская трава, похожая на толстые и длинные колосья. А еще были накрепко присосавшиеся к бортам моллюски — казалось, покинув лодку, они погибнут. Острые, словно лезвие ножа, створки их раковин больно, до крови резали нам руки. Но никто не хныкал: по-прежнему согнувшись под большим углом, изо всех сил давя на борта, мы неотрывно глядели вперед, в сторону моря. Наконец в один из дней начался прилив. Волны шли со страшным гулом, они вырвали лодку из песча-

ного плена и увели с собой. Стоя по пояс в воде, мы провожали взглядом бешено прыгавшую на волнах и удалившуюся лодку; мы не кричали, не выражали восторга — мы плакали… Эта картина, это ощущение живут во мне уже тридцать лет, но я до сих пор не понимаю, зачем мы толкали джонку, о чем плакали.

Я познакомился с тобой совсем случайно.

Случаев могут быть тысячи, этот — один-единственный. Если бы произошла любая другая случайность, я на всю жизнь остался бы без тебя. Потому-то я думаю и говорю, что для судьбы случайность предстает как необходимость. С кем еще мог произойти такой случай? Как определила судьба, лишь с тобой и со мной.

Только скука погнала меня в тот день к такому же скучающему другу-художнику: пусть две одинокие души найдут друг в друге поддержку. И как раз тогда депрессия у него обострилась настолько, что пришлось отправить его в больницу. Я застал друга у двери дома — опоздай я на несколько секунд, и ничего не произошло бы. Он сказал, что отправляется в небесное царство устраивать свою выставку, оттолкнул меня и пошел, но тут же вернулся и заявил, что я должен помочь одной женщине. Ничего не объясняя,

он очень четко произнес адрес и имя женщины, опять оттолкнул меня и ушел, снова вернулся и повторял адрес и имя до тех пор, пока его не увели и уговорами, и силой. Если разуверившийся во всем мире человек не может забыть о своем последнем долге, этот долг становится священным. Поэтому я пошел к тебе домой.

Когда я объяснил причину своего визита, глаза женщины заблестели.

При виде двух полос черного крепа, от которых как будто исходил холод, я вздрогнул: она все знала, как и я. В тот самый день, когда художника поместили в больницу, ему стало еще хуже, он ударился о стенку головой с такой силой, что раздробил череп и выбил из стены кусок штукатурки. Стоя у гроба, я подумал, что если он и вправду откроет свою выставку в небесном царстве, ему придется ждать посетителей, может, пятьдесят, а может, и сто лет. Но это не беда — все равно у него больше надежды, чем у живых. Но почему в день похорон не было видно этой женщины? Когда она надевала креп, и почему здесь две ленты — для кого вторая?

На вид ей было не больше сорока, но тени на лице говорили о вековых невзгодах. От непричесанных волос веяло слабостью и усталостью. Она

заговорила:

— Из-за меня не было нужды…

Эта фраза, словно вырванная из середины неизвестного рассказа, была мне, естественно, непонятна, но я заметил, что блеск в ее глазах потух, словно она усилием воли вобрала слезы в себя, не вытирая их краем одежды. Потом я узнал, что она может плакать только так. Между тем, по моим наблюдениям, так плакать умеют лишь сильные люди; а как же она?

Она сообщила мне, что не имеет работы.

— В нашей художественной мастерской есть работа для надомников — разрисовывать книжные закладки. Это нетрудно, нужно сделать лишь несколько мазков.

— Я раньше играла на рояле. В молодые годы любила и рисовать, просто так, для себя… Боюсь, не получится.

— Ничего! — приободрил я ее. — Попробуйте, я завтра же пришлю образцы и заготовки.

Еле заметная мягкая улыбка прогнала тени с ее лица, она стала оттаивать. Мне было это приятно, и я кивнул головой.

— Кто-то ходит по крыше. Может быть, туда забрался ребенок? Как бы не натворил чего-нибудь! — сказал я.

— Это моя дочь. Черепица местами осыпалась, она настилает линолеум.

— Линолеум не годится. Давайте я помогу!

Я вышел на балкон, поднял голову. Солнце било прямо в глаза, но я все же разглядел тебя. На тебе был синий комбинезон, слишком широкий и оттого выглядевший нескладным, зато белая рубашка с закатанными рукавами казалась тонкой и легкой. Ты сидела на склоне крыши, под тобой была красная черепица, над тобой — голубое бескрайнее небо. Вокруг прогуливались белые, серые, пестрые голуби. Ты неумело пыталась как-то приладить большой, тяжелый кусок линолеума. Лицо и одежда были в пыли, ты походила на выпачканного белого голубя из окружавшей тебя стаи. Я улыбнулся.

— Тут хотят тебе помочь, — промолвила твоя мать, подняв голову.

— Да, разрешите мне, я умею, — сказал я громко. Движимый откуда-то взявшейся энергией, я быстро взобрался на крышу и зашагал вдоль наклонного желоба, распугав при этом голубей. Правда, те, что не боялись людей, не улетели, а только отошли на несколько шажков. Когда я брал у тебя линолеум, на лице твоем не было ни вежливой, ни благодарной улыбки. Ты присталь-

но посмотрела на меня черными-пречерными глазами. Какими они были глубокими! Казалось, на меня глядела твоя душа. Кто еще в те времена мог смотреть на незнакомого человека душой, как смотрят на природу — без опаски, словно впитывая в себя. Потом я понял, что ты на все так смотришь. Но в тот раз мне показалось, будто мир стал вдруг чистым, без единого пятнышка.

Стрелки настенных часов в твоем доме всегда показывали девять сорок. Я сказал, что, наверное, испортилась пружина, и взялся починить. Твоя мать ответила, что пружина в порядке. Значит, надо смазать, сказал я, у меня есть приятель, которого можно попросить. Не нужно, ответила мать, они просто не заведены. Почему не заведены, почему время остановилось на каком-то моменте из прошлого? У вас с матерью сразу заблестели глаза, выступили и снова спрятались слезы. Значит, и ты тоже так плачешь. Вы не отвечали, я не расспрашивал. Я знал, как противостоять горю — обходить его стороной. Я стал рассказывать смешные истории и говорил без умолку, пока вы обе не расхохотались.

Мужчина не может не заботиться о женщине; другое дело, согласна ли она принять его заботу. А иначе, чем он докажет свою принадлежность к

сильному полу, какой он после этого мужчина?

И тем не менее в те годы я практически не оказывал вам никакой помощи. Двух мазков оказалось недостаточно для того, чтобы разрисовывать закладки. Вы убирались в доме, привозили уголь, оклеивали окна, передвигали вещи, подбивали ножки у расшатавшейся мебели. Когда я входил, вы сразу оставляли работу, никогда не обращались ко мне за помощью, хотя все это я умел делать лучше вас, а кое в чем был настоящим спецом. Вы просто ждали, пока я усядусь, и начинали рассказывать о своих проблемах. Я бывал рад, если моя смекалка помогала решить некоторые из них. Другие, вы сами знали, я решить не мог, но все-таки вас забавляло, как я с помощью смешных историй превращал их в нечто совсем неважное.

— О чем говорила с вами толстуха со второго этажа, когда вы входили в дом? — спросила както твоя мать.

— Ни о чем. Вежливо поинтересовалась, обедал ли я.

— Ну уж насчет вежливости… Она ведь здесь уполномоченная по охране порядка. Стоит зайти сюда мужчине, как она без стеснения начинает расспрашивать, кто да что. Однажды, когда я бо-

лела, пришел врач, так она ворвалась в комнату и потребовала у него удостоверение.

Твоя мать как будто носила на плечах тяжеленный мешок. Что в нем, я не знал. А ты смотрела на меня, словно вспугнутая птица, моля о помощи.

Я рассмеялся:

— Предвижу, что через год-другой в каждой квартире поселится еще один член семьи, «дядя». Он будет вместе со всеми есть и спать. Он станет не только выяснять личность каждого гостя, его социальное происхождение и биографию, кто его предки до восьмого колена, но и записывать все, что говорят во сне, наблюдать за выражением лиц жильцов, их настроением и каждые пятнадцать минут выведывать, о чем они думают.

— Разве такое возможно? — спросила ты, широко раскрыв глаза. Ты была такой наивной.

— «Дяди» будут проходить специальную подготовку. Прежде всего их научат узнавать по весьма неприличным звукам, которые издает зад, не таит ли он недовольства.

Вы обе разом прыснули. Потом призадумались, посмотрели друг на друга, опять прыснули и стали хохотать, все громче, неудержимее, держась за животы. Ты припала к матери, долго не могла перевести дух и наконец взмолилась:

— Хватит, сколько же можно…

Неужели вам нужно было от меня только это? Но тогда вам жилось бы легче, чем всем, а вам приходилось так тяжело.

И опять та севшая на мель лодка…

Когда ее обнаружили впервые, она, словно раненая, лежала поперек пустынной полосы песка. Под палящим жаром, изливаемым солнцем, пугающе потрескивала палуба. Мы, мальчишки, бегали к морю, набирали в ладони прохладной воды и неслись обратно, чтобы смочить лодку. Но пока добегали, вся вода уходила между пальцами, оставалось лишь несколько капель. Вперед — назад, вперед — назад, от лодки к морю, от моря к лодке. В задубевших от морской воды ручонках дрожали жалкие капли, чистые и прозрачные, а на песке в круглых ямах блестели лужицы. Не только верующие способны на бескорыстные поступки.

Я умел рисовать лишь для себя, другие моих картин не поняли бы. Но тебе они нравились.

На одной половине листа — вертикальные и горизонтальные полосы черной туши, белым оставался лишь уголок. На другой — в центре пустое белое пространство, посредине черное

пятнышко, которое медленно расползается. Я думал, ты не поймешь.

Смятая пустая пачка из-под сигарет. Нарисована в духе фотографического реализма. Я был уверен, что ты скажешь язвительно:

— Пусто, как в моей душе.

А вот еще: странный предмет, от которого веет печалью, движется в пространстве. Кто-то предположил, что это птица, летящая брюшком кверху. Как бы ты не подумала, что у меня не все дома!

Но ты сказала:

— Она устала лететь.

Я молча смотрел на тебя. Ты вобрала меня в глаза своей души, а потом добавила:

— Ты ведь рисуешь самого себя.

Я бы поражен. Ты совсем еще юная, не знаешь, какие пинки да толчки выпали мне на долю, — как же ты смогла догадаться? Ты казалась мне прежде пустым бокалом, наполненным светом, теперь я понял, что заблуждался.

Я и сейчас помню ваш маленький — меньше некуда — мезонин с покатой крышей, притиснутое к стене пианино, вечно покрытое толстым ковром пыли. Посреди комнаты едва помещались квадратный столик и табуретки. Этажерка была

занята посудой, затянутой занавеской из голубого сатина. Только на нижней полке теснились книги в «слепых» обложках. Я понимал: вы не хотели, чтобы посторонние узнали, что это за книги. Для двух кроватей уже не было места, и хотя вам с матерью очень не хотелось спать отдельно, пришлось поставить одну, двухэтажную. Ты, поменьше и помоложе, забиралась наверх. Рядом с твоей постелью находилось окошко размером с журнал — никогда я не видел такого маленького окна. Но все же сквозь него проникал свет, видны были облака и чистая лазурь, звезды и заря, дождь и туман, жаркое летнее сияние и холодный зимний блеск солнца. И еще листья на верхушке акации, нежно-желтые весной, густо-зеленые летом, в красных и коричневых крапинках осенью. А зимой, словно нарисованные тушью, проглядывали сквозь запотевшее стекло голые ветки. В общем, было всего понемногу. Ты говорила, что окно — живой календарь; пятнадцатого июня, в твой день рождения, к нему непременно подлетают пичужки и пробуждают тебя ото сна.

Я засмеялся. Потом спросил, что тебе больше нравится — стихи, живопись, фортепиано, собираешься ли ты заниматься искусством.

Ты как-то нервно покачала головой. Матери не

было дома — она работала в уличной мастерской, пришивала пуговицы. И вдруг ты сообщила, что тот умерший художник — твой отец.

Я минут десять не мог рта открыть. Не верить было нельзя — раз ты сказала, значит, это правда.

Ты пояснила, но слишком коротко, причину постигшей его трагедии: нежданная любовь. Но, боясь, очевидно, что я пойму твои слова вульгарно, помолчав, тоже слишком коротко добавила: та скрипачка так талантлива…

Потом ты замолкла. Видимо, не хотела больше об этом говорить. Наверное, пожалела, что сказала. Я не стал допытываться. В голове у меня как-то сама собой сложилась печальная повесть.

Любовь молоденькой скрипачки растрогала пианистку из того же оркестра. Муж, страдая, оставил ее ради скрипачки, из оркестра пианистку уволили. Но скрипачка не сумела противостоять давлению обывателей, оробела и скрылась. Оставшись ни с чем, пианистка поняла, что искусство обманывает людей. Она порвала с искусством, даже не подходила к роялю, стала жить только ради дочери. Но ей некуда деться от обывательщины, которая будет преследовать ее до самой смерти…

Эта история уж очень напоминала роман. Но я решил, что, как бы ни расходились с действительностью детали, суть всей ее трагедии именно в этом. Почему погибший художник до последнего часа хранил свою тайну? Он любил жену. Двойная трагедия — вот что это такое.

— Я очень тронут, — сказал я тебе. — В любви не бывает правильного и ошибочного, есть только истинное…

Твои глаза стали светлыми, как две капли росы. Если бы не эти мои слова, ты ни за что не сказала бы мне, что часы остановлены в тот момент, когда отец от вас уходил, в тот самый вечер.

Так, значит, девять сорок. Конец. И все же… Этот конец увековечил любовь.

Я выпил рюмку водки и собрался уходить.

— Куда ты? — спросил отец. — Ведь сегодня новогодний вечер, все празднуют дома!

Я еще раз посмотрел на настольные часы: было девять сорок. Я надел на разгоряченную голову ватную шапку и ушел.

Все семьи в это время сидели за «ужином счастливого единения»[54]. В том году запретили пускать фейерверк — мол, вражеские пилоты

[54] Примечания: 54

«Ужин счастливого единения» — традиционная трапеза в канун Нового года по лунному календарю (ныне Праздник весны).

услышат шум, увидят огни и совершат внезапный налет. В непривычной тишине с холодной и безлюдной улицы донесся женский голос:

— А вот кому цветы? Последние цветы!

Серебристая ива. В свете фонарей букет сверкал и казался пушистым.

Последние цветы — как печально это звучит! Я сказал, что беру. Вот так, без предупреждения, с букетом в руках, я пришел к вам. Но цветы добавили радости в новогоднюю ночь. У вас в доме их не было. А без цветов в доме — все равно что без музыки. Ты сказала, что цветы едва не замерзли, их надо отогреть в теплой воде. Улыбнувшись, я возразил: от теплой воды цветы гибнут, они могут жить лишь в холодной. Ты тоже рассмеялась. Я подшучивал над твоей излишней добротой, ты — над собственной недалекостью, а мать улыбалась, явно находя тебя очень милой.

— Так поздно, а на улице еще торгуют цветами? Не верится, — произнесла твоя мать.

— Я сам был удивлен! К тому же серебряную иву уже несколько лет вообще не продают.

Вы заговорщически переглянулись, покачали головами и сказали, что я наверняка приобрел букет заранее, еще днем, и велели мне сознаться. На самом деле днем я не собирался выходить и

явился к вам, движимый внезапным порывом. Но чтобы доставить вам удовольствие, я покривил душой и «признался».

Крохотная лампочка светила так тускло, что ветки были почти неразличимы, и казалось, будто сережки висят прямо в воздухе. Это вызвало у меня какое-то странное чувство.

И у тебя тоже:

— Если убрать ветви, цветы просто повиснут в воздухе. Вот здорово!

Общность ощущений — самое трудное и самое радостное. Я произнес первое, что пришло в голову:

— Это доступно лишь живописи.

Позже я подумал, что мне удалось выразить сущность живописи. Искусство стремится к идеалу, как бы пренебрегая действительностью, но в основе его лежит не идеал, а реальность.

На квадратном столике стояло блюдо капусты, тушенной с прозрачной лапшой, несколько маринованных яиц, две-три сваренных на пару колбаски, да тарелка пельменей с начинкой из порея — вот так, как говорится, с пустыми руками, вы встречали Новый год, долгий и пустой. Ты сказала, что вина нет, и налила мне в рюмку горячей сладкой воды. Оказалось, что у вас всего

две пиалы, и ты наполнила рисом белую фарфоровую чашку. Это хорошо, это рождает чувство близости. Мне когда-то приходилось бывать на приемах и банкетах, но теперь я об этом забыл.

Я умолял тебя сыграть хоть одну пьеску — только сегодня, ради Нового года. Мне было известно, что мать не разрешает тебе притрагиваться к пианино, но мне по секрету ты сказала, что часто тайком садилась за инструмент. Сначала мать, узнав, била тебя линейкой, так что руки распухали. Но однажды, придя домой, она остановилась у дверей. Видимо, что-то в твоем исполнении тронуло ее сердце, и она больше тебе не мешала. А если, возвращаясь с работы, слышала звуки пианино, стучала в дверь, и ты сразу закрывала инструмент. Потом вы обе делали вид, что ничего не произошло.

Мне потребовалось немало мужества, чтобы попросить тебя сыграть. Но я давно хотел этого и только ждал удобного случая. Атмосфера того вечера показалась мне вполне подходящей; я исполнился решимости распахнуть эту наглухо закрытую дверь.

Застигнутая врасплох моей просьбой, ты смотрела на мать, широко раскрыв глаза.

— Что же, сыграй.

Неожиданными были слова матери, но еще более неожиданным ее спокойный тон. Тогда и ты успокоилась и села за пианино. Почему она сегодня совсем другая, подумал я.

То ли благоговея перед таинством музыки, то ли скованная смущением от того, что впервые играла перед матерью и передо мной, ты несколько раз сбивалась, исполняя «Молитву девы». Ты то и дело встряхивала головой, так что косички прыгали по твоей худенькой спине, и время от времени глубоко вздыхала, стараясь унять волнение своей плоской груди. Под конец ты совсем запуталась и остановилась, не могла вспомнить, что дальше, и, повернувшись ко мне, улыбнулась виноватой, полной глубокой печали улыбкой. Да, не следовало просить тебя играть.

— Прежде эту вещь она играла довольно прилично, — мать обращалась ко мне, но говорила ради тебя.

Я поднял рюмку со сладкой водой — она давно остыла — и сказал:

— Поздравляю с предстоящим восемнадцатилетием. Уже взрослая девушка!

— И тебя поздравляю… Сколько тебе исполнится в будущем году? — Было видно, что ты еще не совсем успокоилась.

— Ты что, рассчитываешь меня догнать? Не выйдет. Я всегда буду на двенадцать лет старше тебя. Так же как твоя мама на двенадцать лет старше меня.

Мы все засмеялись, облегченно и радостно. Вдруг твоя мать подняла рюмку:

— За счастье тех, кто на двенадцать лет моложе, и тех, кто на столько же старше! — Она впервые при мне пошутила, даже ты удивилась.

Самое время, подумал я.

Я оставил рюмку, поднялся, подошел к остановившимся часам и снял их со стены. Вы обе изменились в лице, а ты даже тихонько охнула. Мне стало жарко, в голове появилось ощущение легкости — очевидно, сказывалась выпитая дома водка. Во что бы то ни стало я должен был настоять на своем. Не отрывая взгляда от твоей матери, я дотронулся до стрелки, застывшей, как могло показаться, чуть не сто лет назад. Ось заржавела, и двигать стрелку пришлось с усилием. Затем со скрежетом завелась пружина, внутри корпуса послышалось «тик-так», и эти звуки наполнили комнату. Ожили стрелки, определяющие ритм нашего быта, всей нашей жизни. Разумеется, ты поняла смысл происшедшего. У вас обеих заблестели глаза, и я поспешил отвернуться. Не

хотелось видеть, как вы опять будете сдерживать слезы, — а быть может, я сам боялся заплакать?

Мы стояли по пояс в воде и смотрели, как лодка, переваливаясь с волны на волну, удаляется. Наконец бесконечная череда валов ее поглотила. Море, ничего не поделаешь… Вдруг мы перестали плакать. Трудно сказать — от радости или от огорчения; и трудно сказать, как было бы лучше — если бы она до самого конца покоилась на берегу или же, разбившись вдребезги, опустилась на дно.

Это сомнение живет во мне до сих пор.

Я прорыл ход среди развалин нашего дома и вынес оттуда отца и младшего брата. Улица была завалена битым кирпичом, черепицей, поваленными деревьями. Насмерть перепуганные землетрясением[55] люди носились с севера на юг, с востока на запад, а им навстречу бежали другие. В овощной лавке я раздобыл большую бамбуковую корзину, поставил ее кверху дном в центре пустыря и велел отцу с братом сесть и ждать меня. А сам поехал на стареньком велоси-

[55] Примечания: 55

Речь идет о землетрясении 28 июля 1976 года, уничтожившем город Таншань и произведшем большие разрушения в Тяньцзине, месте действия рассказа.

педе к друзьям узнавать, кто жив и кто нет.

Найдя одного и убедившись, что он жив (пусть от его дома ничего не осталось), я хлопал его по плечу и ехал к следующему, изо всех сил нажимая на педали. По дороге встречались знакомые, видя пятна крови у меня на ногах, они, не говоря ни слова, доставали из карманов все наличные деньги и засовывали в мой нагрудный карман. Я не успевал отказаться, так настойчиво и быстро они действовали. Вскоре карман мой округлился, как мячик; много лет у меня не было такого богатства.

Проезжая мимо собора, я увидел приятеля-художника, лежавшего на обочине с серым, цвета черепицы, лицом. У него был сломан позвоночник. Он лежал на собственной, писанной маслом картине, и несколько соседских парней собирались, взявшись за раму, нести его в больницу. Он сказал мне:

— Только сегодня я понял, что искусство — самая бесполезная штука.

Я достал пачку денег, положил рядом с его головой и сказал:

— Несите его, да поскорее, вечером зайду навестить.

Говоря это, я не мог отвести взгляда от ужас-

ного зрелища. Поодаль, на месте твоего дома виднелась груда щебня, похожая скорее не на пирамиду, а на могильный курган, укрытый чистым голубым небом. Что-то, скорее всего осколки стекол, испускало яркий, до рези в глазах, блеск.

Я три раза объехал кругом эту груду щебня; мое сердце словно погружалось в бездонную пропасть. Неожиданно для себя самого я закричал, повернувшись к развалинам:

— Кончено!

Ко мне подбежал какой-то человек, наверное решивший, что я лишился рассудка. Спасибо ему, он подарил мне луч надежды, сообщив, что все уцелевшие жители этого квартала собраны возле хирургической клиники, именовавшейся раньше в народе «больницей старого доктора Ма».

Больничный двор был полон людей. В ядовитых лучах солнца над толпой плыли запахи пота, лекарства и еще бог знает чего. Здесь оказывали экстренную помощь, выдавали хлеб и воду, здесь можно было выжить. Решетчатые ворота из кованого железа были плотно закрыты, их охраняли пожилые тетки из уличного комитета с красными нарукавными повязками. Входить и выходить могли лишь жители этого квартала, посторонних не пропускали. Я сразу же увидел

толстуху из их дома и схватил ее за рукав:

— Как они, мать и дочь?

Я был готов к скорбной вести, которая разорвет мое сердце на части. Толстуха сразу узнала меня и ответила без улыбки, всматриваясь в мое лицо:

— Не убило, выбежали.

Я чуть не кинулся ее обнимать:

— Где же они?

— С утра куда-то отправились, здесь их нет. — Она повернулась и ушла, не обращая больше на меня внимания. Возможно, ей была неприятна моя радость.

Как хорошо знать, даже не видя вас, что вы живы. И что значат для нас все эти развалины? Я ехал вдоль больничной ограды и вдруг увидел перед собой еще одни запертые ворота. И сразу возле железной решетки я увидел вас. Я закричал — вы, словно две пичужки, бросились к воротам. Ваши лица были почему-то красными от загара. Мы пристально разглядывали друг друга, ища следы ушибов или ран. Как замечательно, мы все живы.

Ты называла себя самой везучей. Когда закачалась земля, большой кирпич пролетел мимо твоей головы, а потом на него опустился поперечный брус кровли. Образовавшееся вокруг

пространство в тот миг равнялось для тебя целому земному шару. Бог и тот знал, что ты не должна умереть. Я сказал:

— Надо будет разыскать тот кирпич, сделать на нем надпись и сохранить на память. Это самый выдающийся кирпич в мире.

Вы слабо улыбнулись, и мне стало легче.

— Ты больше никогда не увидишь нашу комнатку, — произнесла твоя мать, ее слова проплыли надо мной словно туча.

Я вдруг вспомнил о прошедших годах, и шутить уже не хотелось. Рядом стоял лоток с фруктами. Я пошарил в кармане: на счастье, там еще лежала бумажка в пол-юаня. Этих денег хватило, чтобы купить два крупных яблока. Я стал просовывать их вам через решетку: как узникам в темницу. Яблоки никак не хотели пролезать в отверстие, бока их обдирались, так что когда я наконец их пропихнул, они оказались не круглыми, а овальными…

Вернувшись к вечеру домой, я узнал от соседей, что утром приходили две женщины, молоденькая и пожилая; добрых два часа простояли они, взявшись за руки, на солнцепеке напротив моего обрушившегося дома.

Только тут я понял, откуда взялся загар на их

лицах.

Отлив. Вода отступает. Уходит к краю горизонта. Мертвое молчание на десятки ли. Скалы, о которые больше не разбивались волны, утратили былую величественность и суровость. Отмели, по которым уже не перекатываются валы, перестали быть подвижными, беспокойными. Ушли морские птицы и морской ветер. Где теперь искать ту жизнь, пусть одинокую, пусть беспокойную и опасную, но все-таки полную силы и желаний, полную света и теней? Кто мне ответит?

Надолго увязшие в песке лодки рассыхаются, трескаются, разваливаются. Они перестают принадлежать морю и становятся собственностью суши.

Как-то вернувшись после долгой разлуки в родные места, я видел, как рыбаки собирают останки таких лодок и жгут костры. От яркого красного пламени эти доски, когда-то бывшие лодкой, кажутся еще темнее и молчаливее. Вдали, облитое светом луны, о чем-то таинственно шумит море, не знающее ни отдыха, ни покоя. Сумела ли ты расслышать в этом шуме нечто волнующее, какой-то зов?

Сегодня с утра я уже встретил и проводил четы-

ре группы посетителей. Эти проклятые визитеры спугнули, раздробили, унесли с собой творческий порыв, который я ощущал в момент пробуждения. Ладно, сегодня работать не буду. Я бросил на ковер только что доставленную пачку писем, лениво развалился рядом и стал распечатывать одно за другим. Опять приглашение. Опять просьбы сделать надпись, порекомендовать произведения, выступить с лекцией, нарисовать что-нибудь, напоминания об обещанных рисунках, поздравления с наградой. Все похвалы в мире похожи друг на друга, как бегающие взад и вперед черные муравьи. И вдруг конверт бледно-голубого цвета — твой. Ты всегда предпочитала этот спокойный цвет, да и меня он не заставляет вздрагивать.

Ты сообщала, что защита уже состоялась и теперь ты едешь совершенствоваться в Австрию — может, на год, а может, на два или на три. Ты писала, что отъезд уже на носу, так что не остается времени повидаться со мной. Еще ты писала, что хотела порадовать меня своим сообщением, и прощалась со мной.

Неужели так быстро кончилась аспирантская учеба? Впрочем, прошло уже восемь лет, как ты уехала в Шанхайскую консерваторию. Целых

восемь лет, а я и не почувствовал, зато теперь с трудом вспоминаю, как вы с матерью заходили ко мне прощаться. С таким же успехом могло пройти и восемнадцать. Чем можно мерить время — отчетливостью воспоминаний или реально прожитой жизнью, запомнившимися эпизодами?

За эти восемь лет ты навещала меня, лишь когда приезжала к матери на каникулы. Сколько раз это было, сейчас уже не вспомню. С памятью у меня становится все хуже и хуже… Вчера перепутал дату собрания, приехал, а оказалось, что оно прошло накануне. Кажется, каждый раз ты сидела у меня недолго, да и письма писала редко. Наверное, боялась помешать моей работе. Как некоторые из моих старых приятелей — их приглашаешь от всей души, а они все равно не приходят. Я ни в чем перед ними не провинился, никого не обидел, что же отдалило их от меня? Может, то, что это отчуждение не слишком меня огорчало?

Я напряг память и вспомнил, что всякий раз, приезжая ко мне, ты по-прежнему не сводила с меня своих черных-пречерных глаз. Говорила ты мало, больше слушала меня, кивала, улыбалась и уходила. Почему? Ведь я о тебе почти ничего не

знаю! Неужели тебе достаточно было взглянуть на меня, посидеть и послушать мои разглагольствования на первую попавшуюся тему? Вдруг мне припомнилось, что однажды ты подарила мне альбом своих фотографий. Не знаю, куда я его подевал. Почему тебе захотелось подарить мне этот альбом? Однажды, не помню в каком году, ты позвала меня к себе, захотела, чтобы я послушал твою игру. Это опять была «Молитва девы», и опять ты сбилась на середине. Почему ты стала играть именно эту пьесу, почему опять сбилась? Какие же мы глупые, и ты, и я.

Ты забрала мать в Шанхай и перестала ко мне приезжать. Когда же это было, сколько лет тому назад? А теперь ты уезжаешь, и мы не увидимся долго, может быть, никогда. Что означает «до свидания» в конце твоего письма? Ты обвела эти два иероглифа несколько раз, и они получились какими-то тяжелыми.

Внезапно я почувствовал, что в моей жизни есть что-то, чего я не в силах постичь. Образовалась пустота в душе. Я бросился к столу и описал тебе это свое ощущение. А два последних иероглифа «до свидания» тоже обвел несколько раз.

Неделю спустя я с одним дирижером говорил о Первом фортепианном концерте Чайковского,

который слушал накануне вечером и был тронут до слез. Оркестром дирижировал как раз этот дирижер. И сейчас мы от волнения то и дело переходили на крик, как два горластых петуха.

Раздался осторожный стук в дверь. Я открыл. Ты? Возможно ли это? Стоишь, улыбаясь, прищурив глаза. Мне на мгновение показалось, что ты, как всегда, приехала навестить мать, но я тут же понял свою ошибку.

Обеими руками ты прижимала к груди несколько веток серебристой ивы, больших, почти с тебя ростом. На тебе была темно-серая, под цвет веток, одежда, а перчатки из белой и мягкой кроличьей кожи и шарф из белого и мягкого кроличьего пуха перекликались с сережками ивы. Ведь ты нарочно так оделась? Словно сама превратилась в серебристую иву.

Входи скорее, сказал я, мы как раз обсуждаем Первый Чайковского, присоединяйся к нам. Ветки я поставил в вазу подле гардероба. Ты села, и мы стали говорить о второй части концерта, спокойной и глубокой, похожей на пастораль, потом заговорили о Левитане, о «Доме с мезонином» Чехова, о печальной красоте, присущей русской нации. Разговор опьянял нас. Дирижер несколько раз вскакивал и начинал высказываться самым

привычным для себя способом — взмахами своих говорящих рук; говорящими были даже его длинные волосы, которыми он непрестанно встряхивал. Я не специалист в музыке, воспринимаю ее чисто эмоционально, но мне хотелось вставить и свое слово. Я хватал дирижера за руки, а он меня отталкивал, будто мы дрались.

Ты тихонько сидела в стороне и с улыбкой смотрела на меня, по-прежнему ничего не говоря.

Дирижер пошел домой обедать, я проводил его до лифта, а когда вернулся, ты уже стояла в дверях, завязывая шарф.

— Как, ты уже собираешься?

— Да, обратно в Шанхай, поезд в двенадцать тридцать одну.

— Обратно? Когда же ты приехала?

— Сегодня, только что.

— И сразу уезжаешь? Зачем же ты приезжала? Зачем? А? — Я был крайне удивлен.

Ты не отвечала и не улыбалась. Только смотрела на меня своими черными-пречерными глазами, уже десять с лишним лет ты смотрела такими глазами. Вдруг я все понял. Что творилось у меня в душе!

— Погоди! Уже двенадцать, ты все равно не успеешь. Останься хоть на день, я обменяю твой

билет!

— Через три дня я уезжаю в Австрию, времени совсем не осталось. У подъезда меня ждет такси!

Я растерялся. Но снова взял себя в руки и предложил тебя проводить, нажав кнопку лифта.

— Не надо, — сказала ты вдруг. — Давай спустимся вниз пешком, еще немного поговорим.

В твоем голосе звучала мольба.

Я подчинился, жалея о том, что столько времени ушло на разговоры о давно умершем Чайковском: так много надо сказать, а уже некогда. Значит, надо сказать самое главное, но что именно?

Мы спускались с одиннадцатого этажа. Десятый, девятый, восьмой… Шестой, пятый, четвертый, третий, второй… Ни одного слова не было сказано; пока мы спускались, слышны были только наши шаги, дробные, вразнобой.

Этот звук я не смогу забыть никогда.

На первом этаже ты остановилась и, отвернувшись, сказала тихо, не в силах унять дрожь в голосе:

— Я поняла все, о чем ты не написал в своем письме… Для меня нет пути назад.

Я застыл, глядя, как ты садишься в машину, отъезжаешь, исчезаешь вдали.

Последующие четыре дня я провел в какой-то

немыслимой, наэлектризованной атмосфере наедине с огромным, великолепным пучком веток серебристой ивы. Я никому не открывал дверь, не распечатывал почты, отключил телефон. Так не хотелось нарушать эту атмосферу. На пятый день один знакомый все же прорвался, посмотрел мне в глаза и с удивлением спросил, что со мной, не болен ли я. В самом деле, что со мной?

ХАО ЖАНЬ
ЛОВКАЧИ
© Перевод В. Сухоруков

Хао Жань родился в 1932 году в городе Таншань провинции Хэбэй. Известный прозаик. Работал корреспондентом газеты «Хэбэй жибао», редактором литературно-художественного отдела журнала «Хунци». В 1956 году опубликовал свой первый рассказ «Сорока на ветке». В последующие годы вышли в свет роман «Погожие дни» и более десяти сборников повестей и рассказов.

* * *

Крестьяне у нас на Севере народ все толковый, смекалистый, большие охотники пошутить, позубоскалить. Да еще прозвищем наградить. И прозвища придумывают меткие: уж если зацепят кого, единственным словцом обрисуют как живого. Услышишь — надолго запомнишь, и со временем словцо это все острее кажется.

В те времена, когда я только еще начал писать

и рыскал по деревням в поисках материала, я целую тетрадь истратил на разные оригинальные прозвища. Некоторые потом пригодились и здорово мне помогли. Тогда же я уяснил: все прозвища делятся на хвалебные и ругательные, ругательных больше, но истинно оригинальных, тонких и вообще достойных внимания найдется, пожалуй, немного. Самые обидные — или уж, во всяком случае, неприятные — прозвища со словцом «гуй» — черт: «могуй» («дьявол»), «цзюгуй» («пьянчуга»), «цаймигуй» («сквалыга») и подобные им. Недавно в Чифэне, в гостинице, я встретил подростка лет пятнадцати — шестнадцати по прозвищу «сяо цзилингуй» — «ловкачонок», и из-за этого самого «черта» в конце слова не знал поначалу, к какому разряду его отнести. Признаться, и до сих пор сомневаюсь.

Я выехал «за заставу»[56] ознакомиться с положением деревни в этом районе и осмотреть затем живописные степи в Чжуудском аймаке. Товарищ, с которым мы условились о совместной поездке, не прибыл еще из Хух-Хото, и мне пришлось пока в одиночку разъезжать по окрестным

[56] Примечания: 56

«За заставой», или «за Стеной» — общее название для местностей, находящихся к северу от Великой Китайской стены. В их число входит и Внутренняя Монголия, где происходит действие рассказа.

деревням. В тот день после обеда я, почувствовав усталость, собрался было прилечь, когда кто-то постучал. Я отозвался и открыл дверь.

Передо мной стоял подросток. Худенький, волосы расчесаны на пробор; видно, подстригался недавно у какого-нибудь мастера-самоучки, неумелого, но самоуверенного — на голове от висков до самой макушки было, как говорится, то густо, то пусто, даже кожа просвечивала. К тому же после стрижки ему не вымыли голову — она была серой от перхоти. Маленькое лицо с выступающей переносицей, редкими бровями и узкими глазами — в общем, внешность, надо сказать, самая заурядная. На нем была не то беловатая, не то сероватая рубашка и форменка из синего терилена; судя по неровным, извилистым швам, он сам ее кроил и сам шил. На черных диагоналевых брюках, еще не очень старых, красовались какие-то немыслимые заплаты: одна была пришита ниткой не того цвета, другая просто болталась, из-под нее выглядывали розовые трусы. А пластмассовые тапочки, чиненые-перечиненые, с налипшей на них грязью, выдавали в незваном госте деревенского жителя.

За время своего пребывания в Чифэнском уезде я успел уже побывать в трех коммунах. По правде

говоря, в контакты с людьми вступал не часто, и все же, смело могу сказать, местные крестьяне произвели на меня отличное впечатление. Физически крепкие, расторопные, дружелюбные. С первого взгляда они внушают доверие, а если познакомишься с ними поближе — непременно проникнешься уважением. Парнишка, стоявший передо мной, как будто обладал всеми этими качествами. Но стоило мне обменяться с ним несколькими словами, и мнение мое резко изменилось к худшему: такой молодой — и такой развязный!

— Отдыхаете, товарищ? Небось побеспокоил вас?

Говорит вроде вежливо — а сам хохочет, будто потешается.

Я спросил, что ему от меня нужно.

— А вы на какой кровати спите?

Я ответил, что на большой, двуспальной, и тут же добавил, что вторая кровать, односпальная, забронирована для товарища, который приедет позднее.

— Значит, еще не приехал? А кровать пустует — можно, я здесь пока поживу?

Я не знал, как быть, — тем более что с просьбой ко мне обращался подросток, пожалуй, втрое

моложе меня. В конце концов, поразмыслив немного под его ожидающим взглядом, я нашел отговорку:

— Это дело регистратуры, туда и обращайся.

— Да ведь они там, в регистратуре, особенно бабы, считают нас, деревенских, неотесанными: только одно и твердят всегда, что нет, мол, ни одного свободного места. И глаза задирают аж до самой макушки! Зато как приедет с проверкой какой-нибудь чин — что потребует, то и дадут, любой номер, а уж обхаживают они его, так задницами и трясут! Не то что нашего брата коммунара.

Так, с шуточками, он шагнул за порог, достал из внутреннего кармана пачку недорогих, но обернутых в фольгу сигарет, вытащил парочку и протянул мне:

— Прошу вас, товарищ.

Я мотнул головой, сказал, что не курю.

— Вечно в разъездах — и не курите? Да вы не стесняйтесь! От вина да от курева разве кто отказывается!

Он совал мне сигарету чуть ли не в рот, но, видно, заметив, как вытянулось у меня при этом лицо, отдернул руку, одну сигарету зажал в зубах, а другую положил обратно в пачку и аккуратно

пригладил обертку из фольги. Затем вытащил из кармана штанов старенькую зажигалку с обломанными зубчиками, чиркнул несколько раз и наконец зажег. Ему хотелось выглядеть завзятым курильщиком, но после первой же затяжки он громко закашлялся. После чего, вытерев глаза, продолжал изменившимся голосом:

— Как сюда ни приедешь — вечно морока, полдня проболтаешься, прежде чем поселят. Ну, а на этот раз я и спрашивать не стал. Как вошел — первым делом на стенку поглядел, где номерки висят. Вижу, в сто втором номере один человек. Баба мне разъясняет: номер забронирован, ну а я набрался нахальства — и прямо к вам: уж ребенку-то вы не откажете?!

Я слушал его неумолчную болтовню, чувствовал, как растет во мне раздражение, — и ничего не мог поделать. Однако я обратил внимание: к дымящейся сигарете, которую он продолжал держать между пальцами, он так больше и не притронулся. Значит, курить не умеет, просто хотел пустить пыль в глаза и поддержать разговор с незнакомым человеком.

— Товарищ, прошу вас, с этими гостиницами всегда так трудно… Вы только не откажите…

Как ни отказывался я, как ни отнекивался — он

был все так же спокоен, вежлив и напорист. В конце концов этот маленький хитрюга меня разжалобил, точнее говоря доконал, я просто не знал, как от него отвязаться, и прервал его болтовню вопросом:

— А ты надолго?

Услыхав, что я изменил тон, он повеселел — и тут же преподнес мне успокоительную пилюлю:

— Всего на одну ночь — да я больше и не могу! Мы свободны только по субботам, после обеда, так что я пообедал — и сразу на автобус. Нынче проверну основное дело, завтра с утра еще побегаю по другим делам, а там на автобус — и домой…

— Ну так уж и быть, на одну ночь оставайся.

— Вот спасибо вам, большое спасибо! — сказал он обрадованно. И тут же добавил: — Только со мной тут еще один человек… А то я и на станции прикорнул бы или где-нибудь на обочине — стал бы я силы тратить да вам докучать!

— Но свободна только одна кровать…

— Это пустяки, — прервал он меня и продолжал, жестикулируя: — Вы могли бы стеснить себя и перейти на односпальную кровать, а мы с дедом легли бы на двуспальной, только и всего…

Подумать только! Какой-то сопляк, а распоряжается, как большой. И я, не скрывая раздра-

жения, собрался было строго отчитать нахала. Но он, не дав мне и слова вставить, продолжал, посмеиваясь:

— Помогать — так до конца, выручать — так всех! Ведь речь всего об одной ночи… Вы, товарищ, только не расстраивайтесь! Если вам так неудобно, оставайтесь на своей кровати, а я и на стуле отлично высплюсь. Я как-то раз прямо на велосипеде задремал, до того умаялся…

Непонятно, откуда в его годы такой жизненный опыт! Но только я — человек кабинетный и не так уж часто бывающий в поездках — оказался совершенно беспомощным перед его хитростями, просто руки опустились! И все же, отчасти из самолюбия, отчасти из убеждения, что в мои годы, когда уже и проседь появилась на висках, должен же я как-то сохранить свое достоинство перед этим юнцом с его штучками:

— Я, собственно, не против, но только ведь…

— Да разве я что говорю! Что я, собака, что ли, которая хорошего человека от плохого отличить не может, а при случае и святого укусит! Да я, наоборот, думаю: как здорово мне нынче повезло — такого образованного, такого отзывчивого человека встретил… Ну, значит, на том и порешили, и не будем больше об этом… Большое вам

спасибо!

Выпалив все это одним духом, он повернулся и убежал.

Трудно передать то неприятное впечатление, какое произвел на меня этот неожиданный визит. И я с невольной досадой задумался обо всем этом поколении, «детях культурной революции», которых все так осуждают, задумался о том, сколько всяких слухов ходит о преступности среди нынешней молодежи и подростков. На душе было так скверно, что я подумал с горечью: уж если не только в городе, но и в деревне — и даже в таком захолустье, как здесь! — появилась подобная молодежь, забывшая о морали, что же нас ожидает в будущем?!

Но тут скрипнула и широко отворилась полуоткрытая дверь, и в номер не спеша вошел уже знакомый мне подросток, поддерживая под руку старика, которому было на вид лет семьдесят.

Он тут же сказал старику:

— Товарищ оказал нам любезность, мы должны ему спасибо сказать.

Но старик только взглянул на меня и ничего не сказал, а на морщинистом его лице не появилось и подобия улыбки.

И все же, несмотря на явное безразличие стари-

ка, он сразу показался мне человеком основательным — не то что этот юнец с его вульгарными манерами, — и моя неприязнь ослабла. Я поднялся и предложил гостю присесть. Парнишка подвел старика к двуспальной кровати, которую я им уступил. И вдруг сказал мне:

— Вы только не беспокойтесь — болезнь у него не заразная. Он, когда груз перетаскивал, надорвался и вроде бы позвоночник повредил. Хотим рентгеновский снимок сделать и лекарство достать получше. Да разве я привел бы к вам в номер заразного больного?

Я ничего ему не ответил, но лицо мое окаменело. А старик, покосившись на меня, сказал пареньку:

— Достань-ка мне воды — таблетку от боли приму.

Я тут же схватил оказавшийся под рукой стакан, налил воды и протянул старику. Парнишка, который усаживал старика на кровать, поспешно отстранил мою руку и, пошарив в сумке, сказал:

— У нас тут специальный стакан есть. А то еще городские, чего доброго, подумают: раз деревенский, да еще пожилой, значит, и неряшливый, и не дадут чем воды зачерпнуть. Так уж мы с собой носим, так удобней.

Не удостоив его ответом, я снова протянул старику стакан. Тот взял его обеими руками и благодарно кивнул головой, а на лице его, сплошь изборожденном морщинами, наконец-то мелькнула слабая улыбка.

Паренек отложил сумку в сторону и сказал старику:

— Как примете лекарство, прилягте прямо на одеяло и отдохните. Не беспокойтесь, товарищ уже за него заплатил, если и запачкаете — не беда. А я в больницу схожу, на прием запишусь и вернусь за вами…

— Лучше вместе пойдем, — ответил старик.

— Чтобы записаться, сколько времени потребуется, да и потом еще очередь выстоять надо к врачу. Чем там толкаться, лучше спокойно отдохнете на мягкой постели. — С этими словами парнишка торопливо вышел.

Старик принял лекарство, запил его несколькими глотками воды, после чего обратился ко мне:

— Ты не из Пекина, товарищ?

И, увидав, что я утвердительно кивнул головой, спросил:

— Засуха там у вас?

Я ответил, что в окрестностях столицы в этом году было много дождей.

— Это хорошо. А вот у нас, в нашем Чжуудском аймаке, страшная засуха! С самой весны и по нынешний день ни дождинки не выпало. — Он покачал головой, повздыхал и вдруг сказал радостно: — Если бы наша бригада еще по весне арык не прорыла да из водохранилища воду не подвела, нам бы уж точно и травинки зеленой не видать!

Не разбираясь в географических особенностях и производственных условиях их бригады, я никак не мог осознать всей важности этого арыка, о котором шла речь. А потому не только не мог разделить радость старика, но даже вообще не способен был поддержать разговор на эту тему. Старик сделал еще глоток, бросил на меня взгляд и вдруг спросил:

— А малый-то, видать, разозлил тебя?

Вопрос застал меня врасплох, я даже не знал, что на это ответить.

— Я как сюда вошел, сразу приметил, что ты вроде бы не в себе, — продолжал старик. — Я уж ему говорил: незачем нам в гостиницу эту, к чужим людям ломиться, куда лучше разыскать какую ни есть родню, переночевать там — и дело с концом. А он мне: если, говорит, родня дальняя, то без подарков никак нельзя, а подарки денег

стоят, так что оно еще накладней выйдет. А я уж не помню, когда и в городе был, кабы не он, не выбрался бы!

Только тут до меня наконец дошло, что старик явно хочет завязать разговор. Я поспешил ему объяснить, что не сержусь. И тут же спросил:

— А паренек-то, видно, внук ваш?

Старик в ответ даже руками замахал:

— Это у меня-то в огороде — этакое зелье?! Нет, это сынок нашего деревенского Ловкача. Мы его Ловкачонком зовем. Вот ты только что сам его видел — и что скажешь? Правда ведь, ловок?

Ничего себе имечко! И уж конечно, принадлежит к разряду прозвищ. И я полушутя-полусерьезно ответил:

— Это точно, не парнишка, а сущий чертенок: совсем еще молоденький — а такой хитрюга!

— Ну, это ты не скажи. Я ведь и сам раньше долго отца его недолюбливал: в одной деревне жили, а я и глядеть на него не хотел. А теперь по-другому думаю. Мир-то велик, и всякие в нем люди встречаются — да и возможно разве такое, чтобы все на один покрой были! А у разных-то людей и нрав разный. Так вот и надо каждому человеку в жизни место дать — пускай для общей пользы трудится!

И старик продолжал с чувством:

— А парнишка этот — весь в отца! Они ведь из пришлых: дед его пришел когда-то с пожитками в наши края, ведь родом он из уезда Баочи, что по ту сторону Стены. Отец парнишки только-только ходить научился — уже бродяжил с его дедом по селам да деревням: каких только людей не перевидал, чего только не пережил! Этот дед сына своего содержал в строгости: тот еще в возраст не вошел, а уж он приучал его, чтоб сам себя кормил, сам себе на жизнь зарабатывал. Так уж тот везде промышлял, за любое дело брался — только бы денег заработать! А потом присмотрел себе у нас в деревне бабенку — да тут и остался. Сперва, как женился, в примаках жил. А там, и трех лет не прошло, он уже и дом себе построил, и на ноги встал. А как дожили до земельной реформы, получил вместе со всеми и землю, и имущество. Да только мы-то, лопухи, так из нужды и не выбились — а уж он, глядишь, первый из всех обзавелся повозкой на резиновом ходу. Это каким же таким манером? А смекалистый, черт, и котелок у него варит! А сельчане-то наши — и в глаза, и за глаза — так его Ловкачом и прозвали!

Крестьянин, про которого рассказывал старик, принадлежит к одному из многочисленных дере-

венских типов. Я немало таких встречал и немало с ними общался. У нас в деревне их называли «доками» или «мастаками».

— И ведь не то чтобы он поживиться норовил за счет односельчан, — продолжал старик, — да только и в убытке быть ради других тоже не любил. Я сам от таких всегда подальше держался. Так ведь что ты скажешь: многие в деревне и уважали его, и защищали! А в тот год, как народную коммуну организовали, выбрали его сельчане бригадиром: человек он ловкий — в любом общественном вопросе сразу мог разобраться. Мог рассчитать, как нам хорошей жизнью зажить, умел людей распределить, производство наладить как надо. Словом, за что ни брался — все у него здорово получалось. Но бывало, и жульничал. Встанет, к примеру, среди ночи да и перекроет потихоньку шлюзы — чтобы вода на чужие поля не шла, а только бы на наши, бригадные. А та еще, к примеру, отберет из бригадного стада трех-четырех дряхлых ослов, подпилит им потихоньку зубы напильником, чтоб ровные были, и продаст потом как молоденьких четырехлеток: люди к нам аж из-за Стены приезжают скотину для своих коллективов закупать. Сколько же он так народу надул!.. А когда Большой

Скачок объявили — и у нас тут пошли вовсю трезвонить. Да только бригадир сразу смекнул — не стал зря языком трепать, как другие, а подсчитал: сколько зерна сможем произвести — столько и сдать обещал. И ни зернышком больше! А почему? Если теперь, говорит, много наобещаем, то потом, когда урожай соберем, и сдавать придется больше — от этого и бригаде урон, и семье моей тоже. Так зачем же нам это нужно! Уж и начальство на него нажимало, и люди из других бригад капитулянтом обзывали, а за глаза — прохвостом, да только такого, как он, разве этим проймешь? А наши-то хвалили его, за то, что трепаться не стал. И вот осенью обмолотили зерно, взвесили: и оказалось, что больше собрали, чем по плану было и чем начальству наверх доложили. Так он этот излишек не стал в амбары отправлять, а разделил без шума между бригадниками. Только найдется разве такая стена, чтобы ветра не пропускала? И под самый под Новый год получило начальство донесеньице… Тут-то и начались у него большие неприятности: и с должности сразу слетел, и всенародной проработке его подвергли, и настали для него трудные дни. Но какой бы там наверху колпак на него ни напяливали, многие наши коммунары в душе его добром поминали.

В тот год по другим-то деревням, где много наобещали, много излишков пришлось продать, и люди там голодали. И только в нашей деревне ни один двор не бедствовал. Так что Ловкач этот и хорошие дела творил, и дурные, а бывало, и смешивал одно с другим. Да уж если само Небо таким его сотворило — что с него возьмешь?

Сказав это, старик усмехнулся, помолчал немного и, заметив, что я слушаю его с большим интересом, продолжал:

— Наша производственная бригада на земле трудится, всем заниматься приходится, и всякие люди нужны — так что без таких, как Ловкач, никак не обойтись. А особенно в последние годы: тут уж без человека, который за любое дело берется, и связи наладить умеет, и подход найти, и покупателя, — никак нельзя! Наши коммунары сколько уже раз этого Ловкача в кадровые работники выдвигали — да только начальство все никак не соглашается. Недавно опять его выбрали — и опять руководство не утвердило. Так он и ходит у нас в возчиках, грузы возит для большой бригады. А как случится в бригаде какое дело и никто разобраться не может, так начальники наши потихоньку за ним посылают — чтобы совет дал или выход какой нашел. А Ловкач — че-

ловек отзывчивый и уж начальству всегда рад помочь. Много хорошего он для бригады сделал — да только не раз бывало, что кому-нибудь из посторонних при этом и навредит. Уж такой он человек — хоть ты его презирай, хоть ты ему не доверяй, а все равно он мастер на все руки! Вот в прошлом году послала его бригада с отрядом возчиков в распоряжение дорожного управления — чтобы денег заработать на перевозке камня. Так он сразу же с тамошним начальником связь установил, закадычным ему другом стал. А когда арбузы у нас поспели, он совету бригады и докладывать ничего не стал, а взял да и отправил сразу целый воз — в подношение, значит, дорожному руководству. Сами-то члены бригады арбузов этих даже и не попробовали, а он уже их раздаривает почем зря — ну, понятное дело, народ и осерчал! Много тогда чего про него было сказано! И что же оказалось-то? Упросил он ихнего прораба подвести прямо к западной границе бригадных наших земель бетонную трубу. В то время такие, как я, и в толк взять не могли, какой во всем этом смысл. А как нынче-то весной арык прорыли — тогда только и узнали: большое водохранилище, которое государство еще несколько лет назад на севере построило, в прошлом году

доверху водой заполнилось, а большой канал водоотводный, который от него идет, как раз с новой дорогой пересекается — насыпь-то ее прямо у него на пути оказалась. А в этом году большая засуха случилась, да тут еще верховья реки плотиной водохранилища перегорожены, и старое русло, из которого раньше воду для полива брали, до самого дна высохло — так что и надеяться больше не на что было. А Ловчила наш — тут как тут с предложением: выкопать арык и землю поливать водой из водохранилища! Бригада наша на это дело всего только несколько дней потратила — и вода из водохранилища через ту самую бетонную трубу на наши поля пошла, и стали они почти все самотеком орошаться. Не пришлось нам для этого самим от дороги трубу к себе подводить, и бригада наша на этом десятки тысяч юаней сэкономила, да и на электронасосах тоже! Да, раньше-то я таких, как этот Ловкач, просто не переносил. А теперь вот думаю: очень уж узко я на это дело смотрел. Ведь от разных людей и польза бывает разная. А если только одни недостатки в них видишь, а умение их не используешь — так от этого коллективу только убыток! Верно я говорю?

Взволнованный рассказом старика, я заслушал-

ся и только кивал головой на каждое его слово.

— Ловкач — он везде Ловкач, — продолжал старик, — у такого и из решета вода не вытечет. Еще несколько лет назад в школах наших не учили как нужно, и ученики совсем разбаловались. Так он не стал посылать младшего в школу, чтобы без толку не болтался. Сам он ездил везде на своей повозке и ел на свои деньги, сам за ночлег платил — и младшего стал с собой брать. Так они вместе по свету и мотались. А малому хоть и лихо с ним пришлось, зато опыту поднабрался…

— Так, стало быть, — перебил я его, — этот наш парнишка…

— Он самый и есть — еще бы ему смекалки не набраться! Ну так вот, жить мы теперь стали неплохо: случись какая болезнь, которую в нашем медпункте вылечить не могут, тут же в городскую больницу едем. Дорога сюда неблизкая, да и в гостинице останавливаться приходится — нужно, чтобы больного кто-нибудь из домашних сопровождал. А это рабочие руки. Так наш-то Ловчила и тут исхитрился: предложил, чтобы все это дело — больных в город сопровождать — целиком на него возложили. Если у кого острое заболевание — он самолично больного сопровождает, а если не острое — тогда до субботы откладывает и

поручает это дело младшему сыну. Оба они город хорошо знают, смело идут куда надо, за словом в карман не лезут, — так что и сподручней с ними, и денег меньше тратишь, и волнуешься меньше, и людей от работы не отрываешь. Сам небось знаешь, сколько в этих больницах городских всякой мороки. Пока к врачу запишешься, пока приема дождешься, пока тебе счет за лечение выпишут, пока заплатишь, пока лекарство достанешь — и везде очередь, и все к разным окошкам… А если еще кровь на анализ сдавать надо или там снимок сделать — в общем, больше десятка разных мест обойдешь. Да еще когда у деревенских-то наших опыта нет — мечутся с этажа на этаж, туда-сюда толкнутся, пока голова не закружится! А теперь вот меня Ловкачонок этот сопровождает — и никакой тебе спешки, никакой суеты: сиди себе и жди, когда все готово будет! Уж если он помогать взялся — и тебе и ему польза…

Но тут примчался наш герой — он тяжело дышал, на лице блестели капли пота — и прервал рассказ старика:

— Пойдемте — я вам помогу!

— Ведь ты же сказал, чтоб записаться — много времени потребуется.

— Так я и встал в очередь — а там, впереди,

один знакомый оказался. Ну, я перекинулся с ним парой слов и попросил, чтоб он меня вперед к себе пустил… Скоро наша очередь подойдет!

Они ушли — а мне совсем расхотелось спать. Я накинул плащ и вышел пройтись по улицам.

В Чифэне, этом северном городке, древнем, но быстро растущем, есть и широкие улицы, и оживленные торговые районы. На улицах чисто и снабжение довольно хорошее — так что у прохожих довольный вид.

Я надолго застрял в книжном магазине издательства «Синьхуа», побывал в недавно открывшемся универмаге и наконец свернул на улицу, где на каждом шагу встречались продуктовые магазины и большие и маленькие овощные ларьки. Народу полно: одни толкутся у магазинов, другие, с сумками и корзинками, теснятся вокруг разместившихся по обеим сторонам улицы лотков с овощами и прочим товаром.

Я с трудом продирался сквозь толпу и уже хотел было повернуть обратно, как вдруг, подняв голову, увидел того самого старика, что поселился в моем номере: он сидел за чайным столиком и с любопытством смотрел по сторонам. Я поспешно свернул к нему и спросил, побывал ли он уже в больнице.

— Был, — ответил тот с довольным видом. — Всего осмотрели — сверху донизу. И снимок сделали.

— Так быстро?

— Еще бы не быстро, когда Ловкачонок рядом! — сказал старик, усмехнувшись. — Он ведь всегда найдет что сказать: наговорил доктору любезностей всяких, да еще доложил ему, что сын у меня в армии служит и что сам я — участник съезда передовиков. Такой уж парень — ну, скажи, зачем доктору его треп? А ведь подействовало — да еще как! У доктора-то лицо сначала совсем деревянное было, а тут, гляжу, заулыбался и уже мне что ни слово, то «папаша»...

Услышав это, я тоже невольно улыбнулся. А старик продолжал:

— И еще что удобно: к утру снимок будет готов. Что-нибудь серьезное окажется — тут же и лечить начнут, а нет — так и дело с концом. Если бы не Ловкачонок с его пронырливостью, пришлось бы самое малое неделю результата дожидаться да еще раз сюда приезжать. Не денег — времени жалко!

Я спросил, почему он сидит здесь, а не вернется в гостиницу — отдохнуть, выпить воды.

— Да малый этот нипочем не хочет прямо в

гостиницу возвращаться и меня с собой везде таскает. А что где ни увидит — все ему в диковинку, так и норовит вперед пролезть, чтоб рассмотреть получше да про цены расспросить. Хитрый, чертенок: самому прогуляться захотелось, так он и придумал, будто меня на прогулке сопровождать хочет! Я и говорю ему: любишь толкаться — ну и толкайся себе на здоровье, а я тебя здесь, на перекрестке, подожду. Да вон он, гляди, уже возвращается — с торговцем овощами остановился поболтать!

Я посмотрел в ту сторону, куда показывал старик, и действительно увидел там Ловкачонка. Он и торговец о чем-то горячо говорили, дымили друг другу в лицо сигаретами — ну совсем как два старых друга, что встретились после разлуки. Наконец он простился с торговцем, пожал ему руку, отошел на несколько шагов, остановился на минутку у лотка с товаром… И тут случилась неприятность: он резко повернулся — и налетел на какую-то тетку с корзинкой. Из корзинки выкатились два ярко-красных помидора.

Тетка тут же вскипела и разразилась бранью:

— Ослеп, паршивец?! Прямо на людей прешь!

Ловкачонок не стал ввязываться в перебранку, но и прятаться в толпе не стал. Он повернулся к

разгневанной тетке и сказал, ухмыляясь:

— Виноват, виноват! Спешу очень — вот и налетел на вас нечаянно. — И с этими словами, присев на корточки, подобрал помидоры и, поочередно поднося их ко рту, стал шумно сдувать приставшую к ним пыль.

Тетка, сразу остыв, сказала с нетерпением:

— Да ладно уж, ладно — и так сойдет.

Но Ловкачонок продолжал дуть изо всей силы.

И тогда тетка, не выдержав, рассмеялась:

— Ну давай скорей! Вот упрямец!

Ловкачонок положил помидоры ей в корзинку, кивнул на прощание головой и побежал к нам.

— Да осторожней ты, — крикнул ему старик, — смотри, как бы опять с тобой чего не приключилось!

— А я везучий, удачливый: случись со мной какая беда — тут же с ней и разделаюсь! — С этими словами Ловкачонок подошел к нам и только тут заметил меня: — А, товарищ, и вы здесь? Вот и хорошо: вы уж тогда проводите вместо меня дедушку до гостиницы, пусть отдохнет перед ужином.

Старик было воспротивился:

— Нечего зря шататься — все равно ничего не купишь. Ведь часто бываешь в городе, неужели

еще не набродился?

— Я уже везде побывал, где надо, — сказал Ловкачонок, — еще только на почту схожу — закажу телефонный разговор с бригадой.

— Мы же завтра домой вернемся — там и наговоришься всласть. К чему еще разговор заказывать?

— А я скажу нашим, чтоб завтра же везли в город кабачки. Я еще как в больницу шел, мимо овощного ларька, вижу — лежит целая куча кабачков, обратно иду, гляжу — все распроданы. А сейчас вот узнал у товарища, который овощами торгует, что кабачки здесь дефицит и один цзинь стоит на пять фэней дороже, чем у нас в поселке. И товарищ этот из ларька такой душевный: сколько, говорит, привезете — столько и возьмем! На каждом цзине по пять фэней выручим, на каждых десяти цзинях — по пять мао, а на каждой сотне — уже по пять юаней. Если шесть-семь возов привезем — больше тысячи дополнительно заработаем!

Старик посмотрел на меня, словно желая сказать: ну как, не зря он свою кличку носит?

А парнишка продолжал, довольный:

— Опять же и вам выгода: мы с вами завтра в деревню-то на возу вернемся, на котором кабачки

привезут — на билетах автобусных сэкономим…

Мы с дедом так и прыснули. Но надо было выполнить указание — проводить старика до гостиницы. Мы добрались туда незадолго до ужина — парнишки все еще не было. Начали уже беспокоиться, но тут постучали в дверь, и в номер вошел человек средних лет.

— Приезжие из «бригады восемнадцати семей» не здесь остановились?

Старик, отдыхавший на кровати, приподнялся и, окинув незнакомца изучающим взглядом, ответил:

— Ну я из этой бригады…

— А где ваш молодой уполномоченный?

— Что? Какой еще уполномоченный?

— Так он, выходит, соврал?..

— Кто соврал? Совсем ты мне голову задурил!

— Да есть тут один, — пояснил незнакомец, — сказал, что он у себя в коллективе внешними связями занимается и что живет в этом самом номере. — И, заметив, что старик все еще недоумевает, разъяснил подробнее: — Сам-то я из Шэньяна. А сюда приехал, чтобы мастеров подыскать, которые умеют овчину на экспорт обрабатывать. Спутник мой только что на почте с одним знакомым по этому самому делу по те-

лефону говорил — и уж не знаю как, услыхал его там какой-то парнишка, который тоже говорил по телефону. Парнишка этот тут же вмешался в его разговор, сказал, что никуда звонить не надо, потому что у них, в «бригаде восемнадцати семей», есть опытные скорняки, которые рады будут наладить контакт с нашей фабрикой. А еще сказал, что их бригадир завтра же заедет к нам в гостиницу, чтоб заключить договор. Когда мой товарищ все это мне рассказал, я не поверил: чтобы подросток — и такими делами ворочал? То ли парнишка его разыграл, то ли жулики его подослали! Вот я и прибежал сюда посмотреть — правда все это или нет!

— Все чистая правда, и никакого обмана тут нет, — сказал старик. — Я сызмальства кожи выделывал, каждую зиму этим занимался. — И поднявшись в возбуждении, продолжал: — А ты, товарищ, уже и нос повесил? Нет, нет тут никакой ошибки. Ты не гляди, что он мал — душа у него большая! Уж он, когда бригадному начальству по телефону обо всем докладывал, наверняка за вас словечко замолвил, так что бригадир наш утром точно приедет и заключит с вами договор!

— Ну, это было бы просто замечательно! Тогда, значит, так и договоримся: завтра в десять утра

мы будем здесь. — И обрадованный посетитель, наговорив старику любезностей, собрался уходить.

Старик проводил его до подъезда, а вернувшись, хлопнул себя по ляжке и сказал:

— Ловко чертенок провернул это дело — ведь если получится, наша бригада разбогатеет!

Я только моргал глазами, не понимая, какое все это имеет значение и почему старик так радуется. А тот, не в силах справиться с волнением, продолжал:

— Я с малых лет, еще с той поры, как бегал в штанишках с разрезом, начал учиться у дяди выделывать кожи. Не один десяток лет занимался этим делом, но давно его забросил. А уж теперь, как только подлечу поясницу, опять возьмусь за прежнее ремесло... Дочка моя и вся ее бригада раньше очень бедствовали, а потом взяли да и договорились с одной фабрикой, которая товары производит на экспорт, стали для нее выполнять разные подсобные работы. И у людей на всю зиму занятие появилось, за каждый трудодень по два юаня и три мао получают! Нет, ты только посмотри, до чего ловкий, чертенок! Да найдись способный человек, чтобы его в хорошие руки взял да наставил как следует, чтоб он хитрость

свою использовал там, где надо, и в сторону не сворачивал, — так ведь из парнишки толковый начальник получится!

Я почтительно слушал старика и то и дело кивал головой, выражая тем самым полное свое согласие с его мнением. А в голове вихрем закрутились мысли. Из этой неожиданной встречи я уже уяснил себе: если даже есть в прозвище слово «черт», это вовсе не значит, что оно оскорбительно. Так что не следует чохом осуждать всех тех, кто это прозвище носит. Что же до таких, как этот Ловкач и сын его Ловкачонок, то если мы сумеем подавить в них этого самого «черта» и в то же время научимся по-настоящему ценить и развивать их ловкость, дадим простор их деятельности, — разве не принесет все это большую пользу общему нашему делу?

ЦЗЯН ЦЗЫЛУН
НОВОГОДНИЕ ВИЗИТЫ
© Перевод Е. Рождественская-Молчанова

Цзян Цзылун родился в 1941 году в деревне Цан провинции Хэбэй. В 1958 году поступил в ремесленное училище при заводе тяжелого машиностроения в Тяньцзине, по окончании его в 1960 году остался работать на заводе. В том же году ушел служить в армию; закончив морское топографическое училище, стал работать по специальности. В 1965 году демобилизовался и вернулся на завод, работал бригадиром, секретарем канцелярии директора, заместителем секретаря объединенной цеховой ячейки, начальником цеха. В 1971 году вступил в КПК, с 1982 года — член Тяньцзинского отделения Союза писателей, в настоящее время — член правления Союза китайских писателей, заместитель председателя Тяньцзинского отделения Союза

писателей.

С 1962 года систематически публикует свои произведения. В 1967 году его рассказ «Один день начальника управления электрификации» получил широкое признание. Рассказ «Заметки о вступлении в должность директора Цяо» также привлек внимание читателей, был удостоен первой Всекитайской премии (сборник «Лучшие рассказы года»), В 1979 году Цзян Цзылун стал членом Союза китайских писателей. Его повести «Дневник секретаря одного завода», «Первопроходец», «Все цвета радуги» и «Новогодние визиты» удостаивались премий на всекитайских конкурсах в 70-х и 80-х годах.

1

Ну что за Новый год по солнечному календарю? Китайцы его не признают, какие бы красивые названия ему ни давали, к примеру, «юаньдань». Можно импортировать магнитофоны, телевизоры, но чтобы Новый год — такого я еще не слышал. Для китайцев Новый год — это Праздник весны — Новый год по лунному календарю! От него и идет отсчет годам, с его наступлением

оживает природа.

В первый день Нового года полагается есть пельмени, на второй день — лапшу, на третий — наносить визиты друзьям и близким… Не успеешь оглянуться, и уже пятое число. В этот день снова едят пельмени. Даже самые прижимистые на праздник раскошеливаются. И пока не истратят все, что удалось скопить, не успокоятся. Как будто живут последний день. Едят, пьют, веселятся.

Праздник пролетает незаметно — и снова на работу.

Лэн Чжаньго вышел из дому на двадцать минут раньше обычного. «Завод — мой дом, приходи раньше, уходи позже, работай сверхурочно». Слушать надоело. Подобные уловки не к лицу передовым производственникам, настоящим руководителям завода — только бездельникам. Лэн Чжаньго еще ребенком узнал вкус угольной пыли. Где только он не был, собирая остатки угля для печки. И едва подрос, устроился на завод учеником. Он знает досконально все производственные процессы, и, что бы ни случилось, обвести его вокруг пальца невозможно. Если бы каждый работал в полную силу все восемь часов, завод не дошел бы до такого состояния. В этом

Лэн Чжаньго не сомневается. Но ведь работают, как положено, часа четыре, не больше, зачем же оставаться после работы и делать вид, будто лезешь вон из кожи? Он никогда не приходит раньше, никогда не задерживается, все делает согласно распорядку, за исключением четырех дней в году. Во второй день Нового года по солнечному календарю — второго января, второго мая, третьего октября и в пятый день Нового года по лунному календарю — пятый день Праздника весны он является на работу на двадцать минут раньше. Не потому, что не признает отдыха в праздники, просто его возмущает, что многие слишком легкомысленно относятся к работе. За пять дней до праздника начинают работать с прохладцей. А после праздника еще пять дней раскачиваются, никак не могут взяться за дело. Кричи не кричи — не дозовешься. Таким образом, один нерабочий день Нового года по солнечному календарю превращается в одиннадцать. А четыре нерабочих дня Нового года по лунному календарю — в пятнадцать! Как же можно такое терпеть?! Лэн Чжаньго тоже не прочь весь год отдыхать, но ведь надо зарабатывать на жизнь! Поэтому в первый день после праздника он появляется в диспетчерской раньше обычного на

двадцать минут. Подчиненные это знают, и к его приходу каждый сидит на своем рабочем месте. В восемь часов по звонку они связываются по телефону с цехами, выясняют, кого из начальников нет на месте, где простаивает машина или еще не начиналась работа, и тогда начальнику цеха приходится худо.

Начальник центральной диспетчерской на полразряда ниже директора завода и на полразряда выше начальника цеха. Впрочем, дело тут не в должности, а в самом Лэн Чжаньго. На заводе он забывает обо всем на свете, ничто не существует для него, кроме производства.

И вот на пятый день Праздника весны он ехал на завод вне себя от гнева. В прошедшем году Праздник весны пришелся на февраль, а в нынешнем — на январь. Два праздника в одном месяце — в начале и в конце. За месяц завод не дает и полумесячной продукции. Как же быть с планом? Перед Новым годом директор буквально схватил Лэн Чжаньго за горло, чтобы тот всеми правдами и неправдами выполнил план, точнее, доложил о его выполнении и даже перевыполнении, а премию, которую следовало разделить на три части в первом квартале Нового года, раздал еще перед праздником всем без исключения рабочим

и служащим, заявив, что они честно потрудились и должны как следует встретить Новый год! Лэн Чжаньго, хоть и обладал железным характером, понял, что с директором ему не тягаться, и скрепя сердце выполнил приказ. Сам он тоже получил премию и возвращать ее не собирался. Новый год встретили пышно и весело. А дальше что? Ведь не кому иному, как Лэн Чжаньго, придется выкручиваться.

Улицы были пустынны, хотя в этот час обычно полно народу, не протиснешься. В чем же дело? Некоторые, видно, все еще празднуют. Везде, словно нарочно, чтобы люди снова ощутили радость чудесного веселого праздника, разбросаны взорванные хлопушки, от которых все бело вокруг. Никогда еще не пускали так много хлопушек, начали в двенадцать ночи тридцатого и пускали до девяти утра. В день освобождения Тяньцзиня и то было меньше шума от орудийных залпов. Лэн Чжаньго удивляется: откуда у людей деньги? Производство идет на спад. На заводе с деньгами все труднее. Лэн Чжаньго не обманешь. Деньги эти добыты нечестным путем и переходят из кармана в карман, способствуя оживлению торговли. От таких денег никакого проку. Они сразу уплывают из рук, разве что

принесут немного веселья и радости. Нет, Лэн Чжаньго не бросает денег на ветер. Ни одной хлопушки не купил он на Новый год: детей нет, а здоровому взрослому человеку зачем пускать хлопушки. Да и настроение не то — болеет жена.

— Ой! — Он едва не налетел на ехавшего впереди и резко повернул руль велосипеда. Скоро завод. Сегодня — первый рабочий день в Новом году по лунному календарю. Но Лэн Чжаньго ехал на работу в скверном расположении духа. Даже езда на велосипеде не доставляла, как обычно, удовольствия. Стараясь приободриться, он окинул взглядом завод, который некогда процветал. Словно гора возвышался он над городом, напоминая журавля среди кур. Корпуса: административный, конструкторский, экспериментальный, газовая станция, — занята под цеха огромная территория — целых тридцать ли — бастион из железа и стали. Все эти горы стоят денег, и немалых, а сколько их ушло в землю! Теперь не вернешь. Без конца говорят о наведении порядка. Но разговорами все и кончается. Разве это терпимо? Сейчас вся промышленность переживает трудности. Вот и наш завод. Далеко ли уедешь на доходах от продажи сельскохозяйственного инвентаря? Огромный машиностроительный

завод за эти несколько лет еще не окупил себя, не дал стране прибыли, но как только заговаривают об исправлении положения, все идет прахом. И старое, и новое оборудование свалено в кучу, и никому нет до этого дела. В свое время завод снискал заслуженную популярность. Девушки искали здесь женихов, парни — невест. На завод смотрели с гордостью, с восхищением. Никому и в голову не приходило, что завод станет объектом насмешек, что зарплата там будет ниже, чем в какой-нибудь обувной лавке.

Думая об этом, Лэн Чжаньго все больше и больше распалялся гневом. И вдруг приуныл.

2

Главные заводские ворота были распахнуты, но никто не спешил на работу, лишь какой-то человек невысокого роста мел центральную дорожку, а затем принялся орудовать метлой за воротами. Лэн Чжаньго обрадовался. Ему показалось, что это хромой Лю решил сделать доброе дело. Счастливый знак! Весь год Лю мается от безделья, но жалуется на усталость. И открывает главный вход лишь в исключительных случаях. Рабочие ходят через боковой, а машины въезжают в задние ворота. Лэн Чжаньго это не по душе!

Неудивительно, что дела завода так плохи, думает Лэн Чжаньго. Вместо того чтобы пользоваться главным входом, все норовят пройти окольными путями. Не иначе как хромой Лю за год поумнел: и двор метет, и главный вход открыл. Может, не напрасно праздновали и теперь наконец производство наладится.

Лэн Чжаньго сошел с велосипеда и против обыкновения хотел поприветствовать хромого Лю, но, приглядевшись, понял, что обознался, принял за Лю своего помощника, толстяка-коротышку, с ничем не приметным лицом, простодушного и скромного Ху Ваньтуна. Радости как не бывало. Вместо того чтобы выполнять свой служебный долг, помощник начальника главной диспетчерской метет двор и не только роняет свое достоинство, но еще и срамит его, Лэн Чжаньго. По своей квалификации Лэн Чжаньго на голову выше Ху Ваньтуна, который, хотя и пришел на завод на полгода раньше Лэн Чжаньго, стал его учеником. Владелец завода сразу заметил, что Ху Ваньтун не очень сметлив и расторопен, и рассудил так, что Ху Ваньтун, как говорится, будет тянуть мехи и разводить огонь, а Лэн Чжаньго ковать железо. В общем, Ху Ваньтун был отдан под начало Лэн Чжаньго. Ху Ваньтуна нимало

не смущала роль подчиненного. В отличие от Лэн Чжаньго он на протяжении многих лет ежедневно являлся на завод раньше положенного времени, а уходил позже, и считал завод родным домом. Приходи рано, если хочется, но зачем двор мести? Прошелся бы лучше по цехам и ознакомился с положением дел.

Ху Ваньтун, однако, не считал, что мести двор зазорно. Он не случайно выбрал для этого занятия первый рабочий день после Нового года. Ему хотелось каждого поприветствовать, поздравить, справиться о здоровье, в общем, каждому сделать приятное. От этого, как говорится, корона с головы не свалится. Времена сейчас другие. Не пристало начальнику зазнаваться, ходить с непроницаемым лицом, говорить начальственным тоном. Надо, чтобы тебя любили и уважали.

— Товарищ Ван, счастливого Нового года! В праздники заходил к вам, не застал дома.

— С Новым годом! Ни минутки не было, чтобы зайти и поздравить, разрешите это сделать сейчас!

Особыми талантами Ху Ваньтун не обладал, зато с людьми был обходителен, говорил просто и сердечно. Обычно веселый и искренний, он был одинаков со всеми: и с начальством, и с рядовы-

ми работниками.

— Как вы рано сегодня, уважаемый учитель! Это в честь первого рабочего дня в Новом году. Я жду не дождусь вас, чтобы поздравить!

— Ай-я! Это же Ху Ваньтун! Счастливого Нового года! Чтобы начальник, да еще в первый рабочий день Нового года, мел двор, такого никто не припомнит.

Многим пришелся по душе поступок Ху Ваньтуна. Он не только не потерял уважения, но даже вырос в глазах людей. Новый год, новые времена, все радостные, веселые, в хорошем настроении, с людьми в такие минуты легко налаживать отношения и завоевывать симпатию. Неважно даже, что́ именно ты делаешь и каковы плоды твоего труда, главное, чтобы люди в тебя поверили.

Выносливость и трудолюбие, готовность оставаться на своем посту, невзирая на все унижения и оскорбления, пожалуй, и есть настоящий талант!

Мимо промчались на велосипедах заместитель начальника шлифовального цеха Ши Мин и несколько молодых рабочих.

— Сяо Ши! С Новым годом! — Ху Ваньтун смотрел на современную молодежь с восхищением и был не в силах сдержать улыбку.

— О! Старина Ху! Заходил к вам в праздники, а вы и сами спрятались, и вино припрятали! Нехорошо!

— Старина Ху! В такой день мести двор! Совсем как Лэй Фэн![57]

Парни соскочили с велосипедов и окружили Ху Ваньтуна.

— Старина Ху, говорят, вас собираются назначить заместителем директора… Нечего прикидываться, накануне Нового года директор заходил в цех, интересовался нашим мнением.

— Придется, старина, раскошеливаться на угощение.

Один из парней обнял Ху Ваньтуна и полез к нему в карман за сигаретами.

— Погоди, я сам, — остановил его Ху Ваньтун.

Но парень уже вытаскивал нераспечатанную пачку.

Таких сигарет в каждом доме припасали к Новому году пачек десять. Парни поделили между собой — кому три, кому пять. Двум парням не хватило, и они требовали свою долю. Тогда Ши Мин крикнул:

— Это сигареты второго сорта, чтобы угощать,

---

[57] Примечания: 57

Лэй Фэн — воин НОАК, погиб, спасая общественное добро, был провозглашен образцовым героем.

а в кармане брюк — получше, те он приберегает для себя. За это его и прозвали заядлым курильщиком.

Ху Ваньтун рассмеялся:

— Ни одной хорошей сигареты из купленных к празднику я не выкурил, это была последняя пачка, не верите, посмотрите… — Он вынул из кармана брюк табакерку.

Парни смутились: оказалось, что все хорошие сигареты Ху Ваньтун раздал людям, а сам курил в праздник табачные листья. Он вообще готов был отдать все. Однако в проигрыше не оставался. Потому что неизменно завоевывал симпатию и доброе отношение. Парням было неловко: забрали у человека последнюю пачку, но сигарет они не вернули. Зачем оставаться в дураках самому, если можно оставить другого. И так, с сигаретами в зубах, они вскочили на велосипеды и умчались, бросив на прощанье:

— Если бы все начальники были такими, как ты, старина Ху!

— Обязательно отдам свой голос, когда тебя будут выбирать директором!

Ху Ваньтун кивнул и снова принялся мести.

Лэн Чжаньго был в бешенстве. Какой стыд! Сопляки потешаются над Ху Ваньтуном, а он смеется

как ни в чем не бывало, словно дурак. И никто этого не замечает, его дружески приветствуют, а на него, Лэн Чжаньго, не обращают внимания. Знают ведь, что Ху Ваньтун не блещет талантами, но относятся к нему снисходительно, любят как доброго друга. В глубине души Лэн Чжаньго завидует этому бесталанному Ху Ваньтуну, хотя никогда себе в этом не признается.

— Ваньтун, брось метлу и сейчас же иди в диспетчерскую, — подойдя к Ху Ваньтуну, тихо, но строго произнес Лэн Чжаньго.

— Ладно! Вот только домету и пойду. — Ху Ваньтун несколько раз взмахнул метлой, бросил ее в проходную и догнал Лэн Чжаньго.

— Как здоровье жены? Когда я был у вас в праздники, она выглядела неважно. Наверно, мало спала, в Новый год всегда хлопоты. А тут еще треск хлопушек под окнами. Побереги ее! Как бы болезнь не дала рецидива…

Лэн Чжаньго нахмурится и молчит. Он не любит, когда говорят о болезни его жены, особенно заводские. Ху Ваньтун, разумеется, исключение, они много лет работают вместе и друг от друга ничего не скрывают. Лэн Чжаньго хоть и злится на Ваньтуна, знает, что в делах житейских на него можно положиться. И не один Лэн Чжаньго,

все идут к Ваньтуну со своими бедами, чтобы излить душу, часто вымещают на нем свои обиды и гнев, он все терпит, искренне переживая за людей, сам же все сносит молча, не ищет утешения и сочувствия, чтобы не портить никому настроения. А главное — он не предает друзей, умеет хранить чужие тайны, ни о ком плохо не отзывается. Ссорящихся старается помирить, никого не обвиняет, никого ни с кем не стравливает. Чужие тайны скапливаются в его душе. И если тайну сравнить с косичкой, Ху Ваньтун многих мог бы дергать за эти косички, но никогда этого не делает, не причиняет никому вреда. Он прославился на весь завод и, как говорится, силен своей слабостью, с ее помощью побеждает сильных. Его часто обижают, но пострадавшим оказывается не он, а обидчик. Взять, к примеру, хоть Лэн Чжаньго. В силу своего характера он то и дело придирается к Ху Ваньтуну, отчитывает его, даже насмехается. А ведь именно Ху Ваньтун устроил его жену в больницу и всячески помогает ему, как родному брату, видя, как тяжело тот переживает болезнь жены. Ху Ваньтун хорошо знает все недостатки Лэн Чжаньго и не в пример другим не боится его — просто, как подчиненный, выполняет его распоряжения. И когда другие диспетчеры, сидя у

телефонов, пытались понять, чего именно хочет от них начальник, Ху Ваньтун поступает так, как считает нужным…

3

— Чжаньго, не заставляй всех работать в полную силу сразу после Нового года, лучше пройдись вместе с нами по цехам…

— Зачем?

— Поздравить цеховое начальство и рабочих с Новым годом!

— Что?! С Новым годом? А может, прикажешь еще отвесить всем поклоны?! Руководители производства — не кумушки, которые ходят с поздравлениями из дома в дом. За четыре дня еще не напоздравлялись? Решили бегать по цехам с новогодними визитами? Только что у ворот завода ты разыграл представление не хуже Далана[58]. И все мало? Это же отвратительно!

— Вы поглядите на него! Ни с того ни с сего распалился. Что я такого сказал? — Ху Ваньтун рассмеялся. Он никогда не выходил из себя, не злился, что бы ему ни сказали. А когда велись

---

[58] Примечания: 58

Далан — герой романа Ши Найаня «Речные заводи»; его имя стало нарицательным для никчемных, ничтожных людей.

деловые споры и страсти накалялись, он предлагал закурить, и обстановка разряжалась. Если человек дружески улыбается, вряд ли кто-нибудь полезет с ним в драку. Но спасительную пачку сигарет увели парни Ши Мина, и Ху Ваньтуну ничего не оставалось, как предложить табак.

— Не хочешь ли закурить? Это покрепче сигарет!

Лэн Чжаньго сердито отмахнулся, бросил в кружку щепотку заварки, взял было термос, но он оказался пуст, и налил из чайника остывшего кипятка. Ху Ваньтун, с тех пор как его перевели с повышением из цеха в центральную диспетчерскую, уже более двух лет каждое утро наполнял кипятком все термосы сотрудников. Это вошло у него в своего рода привычку. Но сегодня он этого не сделал, а Лэн Чжаньго и в голову не пришло самому пойти за кипятком. Он лишь досадовал, что Ху Ваньтун, вместо того чтобы позаботиться о термосах, мел двор.

Словно угадав мысли Лэн Чжаньго, Ху Ваньтун, улыбаясь, сказал:

— Я ходил в котельную, но там закрыто. Ведь сегодня — первый рабочий день после Нового года, раньше десяти о кипятке и мечтать нечего.

— Могли бы рабочие котельной прийти по-

раньше. Никто их от работы не освобождал. Как можно оставить людей без горячей воды?

— Этим ведает административный отдел, и мы не можем вмешиваться. Ты вот руководишь производством всего завода, но не можешь заразить своим энтузиазмом нижестоящих, а одними административными мерами укреплять дисциплину нельзя. Все делают вид, будто тебя боятся, не перечат, а сами поступают по-своему. И с этим ты ничего не сделаешь. Надо налаживать со всеми добрые отношения, завязывать контакты. Только рабочая гордость и совесть могут заставить людей честно работать.

— Хватит! Здесь — завод, а не детский сад! И я не нянька!

— Принцип везде один, что на заводе, что в детском саду. Диспетчерская непосредственно связана и с директором, и с рабочими. Нам приходится иметь дело со многими людьми. И нет-нет да невольно и обидишь кого-нибудь. Пойдем сейчас по цехам, поздравим людей с праздником, глядишь — и забудутся все неприятности, которые были в году. Неужели тебе не нравятся методы управления производством за рубежом? Там владельцы предприятий под Новый год благодарят рабочих и поздравляют. У человека

непременно должна быть личная заинтересованность в труде. И если он видит доброе к себе отношение, выполнит любое требование, пусть даже без особого желания.

— Зачем же тогда планы, дисциплина? — заорал Лэн Чжаньго. Завод был ему дорог, он успешно справлялся со своими обязанностями, и на первых порах организация производства была для него истинным наслаждением, как для талантливого режиссера — хорошая пьеса. Но шли годы, и чем опытнее становился Лэн Чжаньго, тем труднее было ему работать, он все чаще замечал недостатки, а неудачи вызывали раздражение и досаду. Куда девалась его смелость? Он стал осторожным, на рабочих смотрел как кредитор на должников.

Диспетчеры, услышав громкий разговор начальника с заместителем, подкрались к двери кабинета и стали подслушивать. Лэн Чжаньго они уважают за его способности, деловые качества и в то же время боятся. С ним трудно работать, он всех держит в напряжении, замечает каждый промах и строго взыскивает. К тому же остер на язык и так может отбрить, что хоть сквозь землю провались от стыда. Заместитель — полная его противоположность и пользуется

всеобщей любовью. Подойдет, пошутит, предложит закурить, выпить чаю, и сразу становится легко на душе. И работа спорится, и настроение хорошее. Теперь не те времена, чтобы давить на людей. Начальник — не надсмотрщик. Где это видано, чтобы сразу после праздника требовать от людей полной отдачи?

Ху Ваньтун закурил и, видя, что Лэн Чжаньго поостыл, посмеиваясь, сказал:

— Идем! Пора…

Лэн Чжаньго посмотрел на своего заместителя. Господи! Что за человек? Трехжильный как вол, толстый как боров — его не прожаришь, не пропаришь, что ни скажи — ничем не проймешь. Прежде он во всем полагался на Лэн Чжаньго. А теперь вон каким стал! Неужели он и с подчиненными такой? От диспетчера требуется практическая смекалка, опыт, квалификация, чтобы разом покончить с беспорядками. Не представляю себе, как он справляется со своими обязанностями? И хотя Лэн Чжаньго относился к заместителю свысока, он не мог не признать, что с прежней своей работой тот как-то справлялся, без особых достижений, но и без промахов. На теперешней же работе ему явно не хватает смекалки и опыта, а на одних сладких речах далеко

не уедешь.

— Хочешь идти — идти, — вздохнул Лэн Чжаньго. — Я не пойду.

— Знаешь, я круглый год наношу визиты подчиненным, а сейчас как раз удобный случай, Новый год. По опыту знаю: только добром можно заставить людей работать.

— Это ты так думаешь. Никчемный ты человек, и дела твои все никчемные.

— Допустим. А тебе все равно, как к тебе относятся. Пусть плюют на тебя, пусть ругают, лишь бы работали. Пойдем же скорее, послушаешь, что говорит народ, люди выскажут какие-то замечания…

Ху Ваньтун чуть было не изменил своим правилам и не сказал Лэн Чжаньго, что о нем говорят. Впрочем, Лэн Чжаньго это было все равно. Даже добрые слова отлетали от него как пули от танка, раня того, кто их произносил.

— Свои замечания путь оставят при себе. Меня они не интересуют, от кого бы ни исходили. Я давно придерживаюсь принципа «четырех „не“»: не бояться, не интересоваться, не слушать, не изменяться! У некоторых рот все равно что помойная яма. Как ни старайся, все равно тебя же унизят, с дерьмом смешают, а дерьмо выдадут за аромат-

ный цветок. — Не желая продолжать разговор, Лэн Чжаньго вышел из кабинета. Столпившиеся у двери служащие бросились на свои места.

Это окончательно вывело Лэн Чжаньго из терпения, он выхватил у одного из диспетчеров трубку и соединился со шлифовальным цехом. Никто не ответил. Тогда он соединился с монтажно-сборочным цехом, там тоже никого не было. Неужели Ху Ваньтун прав? Стараясь подавить гнев, Лэн Чжаньго решил ждать, пока кто-нибудь возьмет трубку, и смотрел на часы: минута, две… лишь на седьмой минуте ему ответили:

— Кто это трезвонит в такую рань? Обожрался, что ли, на Новый год и животом маешься? Алло, кого надо…

— Начальник цеха на месте?

— Нет!

— А заместитель?

— Тоже нет!

— Кто же есть из начальства?

— Никого!

— А где они?

— Испарились! Ходят по заводу с поздравлениями!

— Что? Визиты наносят? А зарплату потребуют!

— Все до гроша! Разбогатеть тебе в Новом году!

— Кто со мной говорит?

— А ты кто?

— Лэн Чжаньго.

— Так я и знал. В такой день ты один можешь думать о работе, только и ищешь, чем бы заморочить людям голову, слова доброго не скажешь.

— Кто со мной говорит?!

— Твой дядя! — В трубке раздались гудки.

4

Рука, сжимавшая трубку, дрожала, в висках стучало, в глазах сверкали недобрые огоньки. За что его оскорбили? За то, что он добросовестно относится к работе? Где же тут справедливость?! Жизнь постоянно вносит поправки в его планы и устремления. Хорошо еще, что у него сильный характер, что для него не существуют личные симпатии и антипатии и он спокойно относится к любым неприятностям, которые сыплются на него со всех сторон. Он заставил себя успокоиться, положил трубку и обвел взглядом подчиненных.

Кое-кто из диспетчеров уже связался с цехами, но не всем удалось дозвониться. Все напряженно смотрели на Лэн Чжаньго.

— Немедленно отправляйтесь по цехам, но не

с поздравлениями. Пусть побыстрее приступают к работе, еще до обеда, иначе будут лишены премии… — Тут Лэн Чжаньго вспомнил, что премия первого квартала Нового года была выдана накануне праздника.

— Особое внимание обратите на продукцию сталеплавильного, литейного, кузнечного и шлифовального цехов… Продукцию этих цехов надо сдать к концу месяца!

Вдруг снаружи донеслись голоса, послышался смех. Дверь распахнулась, и на пороге появились директор завода, секретарь парткома и еще несколько человек из начальства.

— С праздником вас! Вам, работникам диспетчерской, нелегко приходится, но вы хорошо потрудились и, надеюсь, отлично встретили Новый год. Поздравлять коллектив с Новым годом — наша давняя традиция, — широко улыбаясь, произнес директор, — мы начали с вашего отдела.

— Для нас это большая честь, — выпалил Лэн Чжаньго. — Но наносить визиты в рабочее время?! Как же тогда быть с табелем? Считать, что люди на работе или отсутствуют? С кого спрашивать продукцию по валу, если все целый день ходят с визитами? Как платить зарплату? — Лэн

Чжаньго не впустил начальство в диспетчерскую и обратился к подчиненным: — Вы слышали, что я сказал?

Диспетчеры ответили, словно отрапортовали:

— Слышали!

Пришедшие топтались в замешательстве у дверей, не зная, что делать. Они привыкли к подобным выходкам Лэн Чжаньго, но сейчас, в присутствии целого отдела, чувствовали себя особенно неловко. Директору завода было едва за пятьдесят, «молодой старый кадровый работник», он был хорошо воспитан и вышел из положения:

— Товарищ Лэн прав, не будем отрывать людей от работы. Пойдем в другие отделы.

Лэн Чжаньго махнул рукой подчиненным:

— Раз поняли, что я сказал, живо приступайте к работе.

— Все, кто отвечает за горячее производство, за мной, — скомандовал Ху Ваньтун. — А ты, Чжаньго, пойди по отделам и от имени центральной диспетчерской поздравь людей с Новым годом. В цеха можешь не ходить.

«Подумать только, как распоряжается мною», — подумал Лэн Чжаньго, кипя от злости, но ничего не сказал.

По отделам Лэн Чжаньго не пошел, но работать не мог: отдел кадров, отдел внутренней охраны, отдел пропаганды, орготдел… их было несколько десятков, оттуда то и дело приходили с поздравлениями. Пользуясь случаем, завязывали отношения, поздравляли друзей и тех, с кем враждовали, чтобы установить личные контакты…

Дверь диспетчерской не закрывалась. Лэн Чжаньго не знал, то ли сердиться, то ли смеяться. Одно дело директор, другое — рядовой работник. Как его обругаешь, если он явился с поздравлениями? Лэн Чжаньго выбежал из кабинета, чтобы хоть где-то укрыться. Особенно его тревожило положение дел в шлифовальном цехе. Вся продукция по валу приходилась именно на него. Он должен сам посмотреть, что там делается.

В коридорах было полно народу, все шумели, смеялись, и Лэн Чжаньго, негодуя, поспешил уйти из административного корпуса. На территории завода стояла необычная тишина: из цехов не доносился шум машин. Что же это происходит? Завод превратили в праздничную ярмарку: веселятся, наносят визиты целыми бригадами, цехами… А ведь независимо от того, работает завод или не работает, амортизация помещения, оборудования, зарплата, трудовое страхование

обходятся государству ежедневно в круглую сумму: не слишком ли это дорого — сто тысяч юаней — для новогодних поздравлений? Ведь потом не сведешь концы с концами. Не помогут и пожелания богатства — ведь это пустой звук! Нет, этого больше нельзя терпеть.

Лэн Чжаньго помчался обратно в административный корпус и велел секретарю директора сообщить начальникам цехов, чтобы немедленно явились в центральную диспетчерскую на совещание.

Секретарша поглядела на него, прищурившись:

— Вы очень любите кавалерийские налеты, а время лобовых атак прошло, настало время обходного маневрирования.

— Поменьше болтай, живо передай распоряжение.

— Пока я уведомлю больше десятка цехов и несколько отделов и отделений, наступит время обеда. Так что в первой половине дня провести совещание не удастся.

— Мать их так, — процедил сквозь зубы Лэн Чжаньго. — Проведем совещание сразу же после обеда, передай директору, что я прошу его быть.

5

— Начнем совещание…

Перед совещанием все чувствовали себя, как всегда, непринужденно: шутили, обменивались новостями, обсуждали заводские дела, курили, пили чай…

Один Лэн Чжаньго хмуро молчал, но никто не обращал на него внимания, в том числе и директор. Лэн Чжаньго сидел с надменным видом, ни на кого не глядя. И если кто-нибудь с ним по-дружески заговаривал или заискивал, делал вид, что не слышит. В общем, подступиться к нему было невозможно, такого, как говорится, пушкой не прошибешь. Он не сказал ни единого слова ни директору, ни заместителю, как, например: «Товарищ директор, не хотели ли бы вы сказать несколько слов собравшимся?», «Ваньтун, как по-твоему, пора начинать?». Все, что принято в отношениях между людьми, разбилось о бастион его неприступности. Лэн Чжаньго сам открыл совещание, хотя начальник центральной диспетчерской не обязательно должен быть председателем собрания и всем навязывать свою волю.

Худощавый и очень высокий, он давил на

всех словно гора. Сказав в порядке вступления несколько слов, он обвел взглядом собравшихся и приступил к делу.

— Праздники позади. Поздравлений, я полагаю, было более чем достаточно. Но если вам мало, я могу вас поздравить еще раз, даже отвесить земной поклон! Но при одном условии — чтобы был выполнен план этого месяца. Завод в этом месяце должен выдать продукции по валу на девять миллионов юаней, по прибыли — на сто семьдесят тысяч юаней. На данный момент завод выполнил план на шесть миллионов двести тысяч юаней, то есть на два миллиона восемьсот тысяч юаней меньше, а до конца месяца осталось всего два с половиной дня. План мы обязаны выполнить, очковтирательством заниматься не следует. Мне нужны конкретные меры и фактические цифры. Сколько сделано утром, сколько вечером, сколько в ночную смену. Осталось всего шесть смен. Сколько может дать каждая смена? — Он сделал паузу и продолжал: — Сегодня все с таким энтузиазмом поздравляли друг друга с Новым годом, словно план вот-вот будет выполнен. Что же. Благодарение небу и земле! Какой цех рапортует первым? Я готов склонить перед ним голову и поздравить с Новым годом! Начнем…

Уж лучше бы он кричал и ругался, чем так язвительно выражал свое презрение. Никаких иных чувств, кроме враждебности, его слова не вызвали. Он же не питал ни к кому злости, просто заботился о выполнении плана и возмущался халатным отношением к работе. Но если раньше его методы шли на пользу, то сейчас приносили только вред. Лэн Чжаньго стал терять уверенность в себе и свою неудовлетворенность вымещал на людях, а те платили ему ненавистью. Почему, собственно, надо его бояться? Он всего лишь начальник центральной диспетчерской. Но его побаивается сам директор, иначе зачем он пришел бы на это совещание? В общем, все терпеть не могли Лэн Чжаньго, но предпочитали с ним не связываться. В конце концов, можно уйти от прямого ответа. Зачем говорить, что план не будет выполнен? Положение во всех цехах одинаковое. Ни один цех не выполнит план. И никто не может этого потребовать. Интересно, что сделает Лэн Чжаньго? Какое произнесет заклинание? Сейчас столько трудностей! Столько наболело у каждого! Лучше не говорить об этом. Лэн Чжаньго — опытный специалист, но управлять производством не может, как не может направить в нужное русло данное совещание,

где собрались самые лучшие работники завода. Ему мешают высокомерие, пренебрежительное отношение к людям. А ведь у каждого из них свои планы, расчеты.

Видимо, люди считают это совещание никому не нужным, а тон Лэн Чжаньго возмутительным. Кто дал ему право стучать кулаком по столу, будто у себя дома?

На совещании все вели себя по-разному. Для одних оно было просто забавой, для других — своего рода наказанием. Кто-то решил воспользоваться случаем и отдохнуть, кто-то высказать свое возмущение и обиду. Обсуждать готовы были все что угодно, только не производственные вопросы. Выступления были разные: строгие и сдержанные, раздраженные и злые, иронические, полные сарказма, переходящего в грубость, высокомерные и неэтичные.

Многие с отсутствующим видом молчали. Но всех объединяло одно стремление — дать отпор Лэн Чжаньго.

В комнате было темно от дыма.

Собравшиеся сидели в самых причудливых позах, словно архаты[59] в буддийском храме, Ши

---

[59] Примечания: 59
Архаты — статуи святых в буддийском храме.

Мин сосредоточенно прилаживал к спине сидящего впереди Ху Ваньтуна бумажную черепаху, молодой диспетчер, вместо того чтобы вести протокол, с истинно творческим энтузиазмом делал в своем блокноте наброски присутствующих, а типажи здесь были на редкость интересные.

Директор завода, человек опытный, предприимчивый и себе на уме, хотя с виду простак, не спеша покуривал. Сейчас он объявит о своем переводе в министерство и о решении парткома назначить Ху Ваньтуна заместителем директора. Этот вопрос стоял на парткоме еще месяц назад. Некоторые предлагали Лэн Чжаньго, но большинством избран был Ху Ваньтун. Правильность принятого решения подтвердилась созванным Лэн Чжаньго совещанием. При всех его талантах и высокой квалификации ему не хватает гибкости в отношениях с людьми. И его не понимают. А гибкость и умение ладить с людьми сейчас главное для руководящего работника. Сколько хлопот и неприятностей Лэн Чжаньго доставляет директору, который, случается, вынужден даже лебезить перед ним. Но не станет же этого делать начальство городского промышленного отдела!

Директор остановил взгляд на Ху Ваньтуне. Тот внимательно слушал каждое выступление

и делал заметки в блокноте. Пожалуй, не только внимательно, но увлеченно, самозабвенно. И лицо его при этом все время менялось, в зависимости от характера выступлений. Ху Ваньтун не только не обладал талантами, но и внешность у него была самая заурядная, зато жизнестойкости его и везучести можно было позавидовать. Видимо, в обычное время только и везет людям обычным. Скромный, обязательный, миролюбивый, он не стремился ни к власти, ни к высокому положению, просто ему, как всегда, повезло и перед ним открылся путь к директорскому креслу. С виду простодушный, Ху Ваньтун был по-житейски мудрым, знал, как завоевать популярность, и умел разбираться в отношениях между людьми. Некоторые считали его никчемным. Но именно Ху Ваньтун был тем мячиком, которым легко манипулировать. Руководитель прежде всего должен обладать талантом актера, только дураки этого не понимают. Такие, как Ху Ваньтун, удобны для начальства и не причиняют никаких хлопот.

При мысли об этом директор заулыбался. Никому не удастся обвести его вокруг пальца, ни Лэн Чжаньго, ни Ху Ваньтуну. Когда он перейдет в министерство, завод по-прежнему останется у

него в подчинении. А это главное.

Ши Мин наконец прикрепил к вороту Ху Ваньтуна лист бумаги с нарисованной на нем черепахой и чувствовал себя героем. Все вокруг хихикали, а он, откинувшись на спинку дивана, с довольным видом рассматривал свое творение, выпуская на него сигаретный дым. Но вскоре занятие это ему наскучило, и он уставился на Ли Дуань, единственную на совещании женщину, заместителя заведующего технологическим отделом… И отключился…

— Шлифовальный цех, шлифовальный… Ши Мин!

Ши Мин очнулся и, увидев устремленные на него сверкавшие глаза Лэн Чжаньго, быстро произнес:

— Нет проблем!

— Каких проблем?

— Никаких!

— План выполните?

— Выполним!

— А если не выполните?

— Отрубите мне голову! — Раздался дружный взрыв хохота.

Ши Мин пришел в восторг от вдруг представившейся возможности подшутить над Лэн Чжаньго

и добавил:

— Я жду трех обещанных поклонов и за них готов через три дня пожертвовать головой.

Лэн Чжаньго с отвращением поморщился, словно наступил на жабу.

— Твоя башка и медяка не стоит. Ты что, пришел сюда комедию ломать?

Ши Мин вечно злобствовал. То комнату ему дали маленькую, несолнечную. То зарплату не прибавили, когда всем кадровым работникам прибавляли. Он ходил к директору завода и секретарю парткома, скандалил, ругался. С тех пор он и снискал славу неудачника, стал грубым, неуступчивым, задиристым. А неудачнику все дозволено. Станет он считаться с каким-то там Лэн Чжаньго. И он, захлебываясь от ненависти, бросил:

— Зато вашей голове нет цены, вот мы и заплатим ею, если не выполним план. Идет? Вы нас стращаете, как детей, запугиваете. Теперь это не в моде. Завод уже второй год не выполняет план, и ничего нельзя сделать. Даже государство бессильно. И никого не наказывают. А вы опять за свое. Только и знаете, что давить на людей. Зачем? Хотите, чтобы все надрывались?

Ши Мин, пожалуй, высказал не только соб-

ственное мнение. Так думали многие. Лэн Чжаньго, едва сдерживая гнев, ответил:

— Еще до Праздника весны директор приказал выдать рабочим и служащим премию на сумму пятьсот тысяч юаней. А откуда эти деньги, тебе известно? Из производственного фонда. Потому в этом месяце такое напряженное положение. Если завод не выдаст валовой продукции на девять миллионов, банк откажет нам в кредитах и в следующем месяце оборотный капитал будет равен нулю, не хватит средств ни на уголь, ни на воду, ни на электричество, ни на газ; производство остановится, рабочие останутся без зарплаты, начнутся беспорядки! План этого года практически нереален, и дальнейшие заказы зависят главным образом от качества продукции первого месяца этого года. Не дадим план — заказчики расторгнут договоры и потребуют возмещения убытков, а то и оштрафуют. И тогда, если даже мы продадим все оборудование завода, нам не расплатиться с долгами. Неужели ты, заместитель начальника цеха, не понимаешь таких простых вещей?

— Понимаю не хуже вас, но сейчас все относительно благополучно, как говорится, дети не кричат, матери не плачут — нечего рваться в

гору, пока не проложили дорогу. Не думайте, что вы один болеете за завод, а остальные дармоеды. — Выступление Ши Мина насмешило всех своей нелепостью, он все смешал, свалил в кучу.

Лэн Чжаньго был вне себя от злости: ну что сделаешь с таким человеком?

— Если ничего не понимаешь и не научился говорить по-человечески, нечего тебе здесь делать, пусть придет начальник цеха!

— Благодарю вас! Больше не буду являться на ваши совещания! В следующий раз идите за начальником цеха прямо в больницу. — Ши Мин уже поднялся было, но Ху Ваньтун повернулся к нему, стал удерживать. И тут раздался взрыв хохота: все увидели на спине у Ху Ваньтуна лист бумаги с нарисованной черепахой. Громче всех смеялся Ши Мин. А Ху Ваньтун недоумевал. Директор подошел к нему, незаметно отколол лист с рисунком и разорвал.

В это время вошла с растерянным видом секретарша директора и обратилась к Лэн Чжаньго:

— Только что позвонили, какой-то мальчишка мячом разбил окно в вашем доме, и у вашей жены снова случился припадок. Вас просят срочно приехать.

Лэн Чжаньго переменился в лице и стоял не

двигаясь. Совещание не закончено, а он ничего не успел сделать и должен уйти. После его ухода ничего не будет, кроме пустой болтовни. Как же ему потом работать?

— Товарищ Чжаньго, забудьте пока о делах и быстрее езжайте домой, — сказал директор и обратился к секретарю: — Вызовите машину!

Лэн Чжаньго продолжал сидеть. Ши Мин вернулся на свое место и произнес:

— Начальник Лэн, поспешите, это приказ директора, так что можете быть спокойны: за преждевременный уход из зарплаты не вычтут.

— Чжаньго, я пойду с тобой, — предложил Ху Ваньтун.

— Зачем? Оставайся. Будешь вести совещание. — Лэн Чжаньго порывисто поднялся и вышел, хлопнув дверью.

Все сразу почувствовали облегчение и вместо производственных вопросов заговорили о несчастливой семейной жизни Лэн Чжаньго. Никто не злорадствовал, напротив — сочувствовали. Кто искренне, кто приличия ради. Ху Ваньтун не мог вести совещание, с уходом Лэн Чжаньго он как бы потерял опору и умоляюще посмотрел на директора.

Директор откашлялся и произнес:

— Совещание прошло неплохо. Товарищ Лэн Чжаньго совершенно прав. До конца месяца осталось два с половиной дня, и все должны хорошенько потрудиться. Сейчас вернетесь на свои рабочие места и приступите к работе. В ночную смену пусть подежурит кто-нибудь из руководящих работников — надо как следует организовать производство. Пользуясь случаем, хочу довести до вашего сведения решение министерства. В ближайшее время меня переводят туда на работу в промышленный отдел. На мое место назначен товарищ Ван, а его заместителем Ху Ваньтун. Может быть, кто-нибудь хочет высказать свое мнение о моей работе на заводе за эти несколько лет? Охотно вас выслушаю, это мне поможет в моей дальнейшей деятельности.

Мало кто верил слухам о новом назначении Ху Ваньтуна, считали это шуткой и сейчас были поражены. Даже слова никто не мог вымолвить. В отличие от Лэн Чжаньго Ху Ваньтуна все любили, но чтобы его назначили заместителем директора, такое никому не могло прийти в голову, и у каждого возник вопрос: а годится ли Ху Ваньтун на эту должность?

Но больше всех растерялся сам Ху Ваньтун. В канун Нового года секретарь парткома, желая

порадовать Ху Ваньтуна, намекнул ему в разговоре на такую возможность и, как говорится, для порядка поинтересовался его мнением, хотя дело это было решенное. Секретарь сказал, что необходим скромный, порядочный человек. А этот скромный, порядочный человек долго молчал, а потом взял да и отказался. И вдруг сегодня такая новость! Теперь конец их многолетней дружбе с Лэн Чжаньго. Разве он стерпит такое? Разве может Ху Ваньтун быть начальником Лэн Чжаньго? А ведь начальник диспетчерской подчиняется замдиректора завода. И Ху Ваньтун совершенно искренне сказал:

— Товарищ директор, на эту должность следует назначить не меня, а Чжаньго. Он лучше справится.

Директор, улыбаясь, покачал головой:

— Товарищ Ваньтун, о замене не может быть и речи. Говоря по правде, мне совсем не хочется расставаться с заводом. Но жизнь преподносит нам не только приятные сюрпризы. Мы обязаны выполнять свой долг перед обществом, независимо от того, нравится это нам или нет. Пусть даже нам придется отдать последние силы, страдать — все равно мы обязаны. Во имя дела! Уверен, что ты справишься с новой работой: у тебя есть

завидное качество — умение ладить с людьми. Члены парткома завода поговорили с народом и вынесли решение, а партком министерства его утвердил.

— Не робей, Ваньтун, справишься, — раздались голоса.

Но Ху Ваньтун, что было ему совершенно несвойственно, приуныл и сидел весь красный.

— Дело важное и решать его надо серьезно. Шутки тут неуместны, — сказал он. — Не справлюсь я. Боюсь трудностей. И уровень у меня не тот. Мнения своего не имею.

Подобного оборота дела директор не ожидал и про себя ругал этого простака Ху Ваньтуна. До чего глуп!

— Не обязательно иметь собственное мнение, — строго возразил директор, — и авторитет никому не нужен. Достаточно мы натерпелись от деспотизма. Теперь надо выдвигать людей с мягким характером, скромных.

— Болтовня все это, — перебил директора Ши Мин, до этого все время молчавший. — А что, если выбрать замдиректора голосованием? Ведь завод наш пришел в полный упадок. И перспектив никаких. Вы, товарищ директор, решили драпать, что же, мы вас не держим. Может, оно

и к лучшему. Но зачем же сажать нам на шею свою марионетку? Ведь не исключено, что после вашего ухода нам удастся привести в порядок дела на заводе.

Директор скривил рот в презрительной усмешке:

— Лэн Чжаньго вас не устраивает, Ху Ваньтун тоже не нравится. Уж не собираетесь ли вы сами занять эту должность?

— Вы, я смотрю, сейчас задохнетесь от злости, — вышел из себя Ши Мин. — Во всяком случае, я не хуже Ваньтуна. Ваньтун, ты только не обижайся, я не хотел тебя обидеть. — Ху Ваньтун грустно улыбнулся. Таким, как он, бесталанным, всегда достается от людей способных. — Если хотите знать, — продолжал Ши Мин, обращаясь к директору, — я выбрал бы Лэн Чжаньго. Да, я часто бываю с ним не согласен, злюсь на него, а в душе восхищаюсь. Будь он все эти годы директором, завод не дошел бы до такого плачевного состояния.

Директор, чтобы замять этот неприятный для него разговор, сказал, смеясь:

— Ладно, ладно, мы еще вернемся к этому вопросу. А сейчас пора по домам. Ведь сегодня пятый день Нового года. Верно, Ваньтун?

Ху Ваньтун растерянно кивнул головой. После

заседания кое-кто стал напрашиваться в гости к Ху Ваньтуну. Ху Ваньтун широким жестом бросил им кошелек.

— Тут десять юаней. Купите, что вам хочется. А я пойду к Чжаньго.

— Ваньтун, и я с тобой! — крикнул Ши Мин и, проходя мимо директора, протянул ему листок бумаги: — Мне нечего сказать о вашем повышении, поэтому дарю вам на память парную надпись:

Кто ходит окольным путем —
Прямым путем не пойдет.
Кто сам гладкий и скользкий —
Тому острое не по душе.

Директор прочел и, хотя редко выходил из себя, изменился в лице.

ЦЗЯО ЦЗУЯО
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ
© Перевод Н. Демидо

Цзяо Цзуяо родился в 1938 году, живет в провинции Цзянсу. В 1956 году окончил в Хунани Промышленную специальную школу, в настоящее время является заместителем председателя отделения Союза писателей Шаньси. С 1957 года начал публиковать свои произведения. До 1966 года вышли три сборника его рассказов. В последние несколько лет были изданы многие его повести, рассказы, публицистика и проза. Его рассказ «Возвращение к жизни», очерк «Душа устремлена в завтрашний день» и роман «Первопроходец» получили литературные премии журнала «Сяньдай», а роман «Первопроходец», кроме того, удостоен первой премии журнала «Жэньминь вэньсюэ».

* * *

Окошко величиной с ладонь, к нему длиннющая очередь — за зерном.

В самом конце стоит горняк лет пятидесяти, долговязый, чуть сутуловатый, лицо изможденное, заросшее щетиной, глаза в сетке красных прожилок, неторопливый взгляд. Зима только наступила, а на нем зимний черный ватник, который отслужил не один сезон, руки втянуты в рукава. Под мышкой несколько мешков, связанных веревкой.

Очередь чуть-чуть сползает с места и вновь останавливается. Кто-то пытается протиснуться вперед. Горняку часто приходится стоять за зерном, и он знает, что главное — набраться терпения, спешить некуда. Он во всех делах терпелив. Никогда не сердится. Вот и сейчас он молча плетется в хвосте, то устремляет тяжелый взгляд на крошечное окошко, то в спину стоящего впереди.

Вдруг внимание его привлекло что-то блестящее, словно отполированное. Это были резиновые сапоги. И он исподтишка стал разглядывать их владельца: горняк лет двадцати, над губой — нежный пушок, лицо круглое, почти детское,

спокойные, ясные глаза. Втянув голову в плечи, он снова уставился на сапоги и погрузился в воспоминания…

Лет тридцать тому назад он был таким же наивным, круглолицым, с таким же пушком над губой и таким же спокойным ясным взглядом. Он тогда только приехал из деревни на шахту, и ему выдали новенькую рабочую форму, сплетенную из ивовых прутьев шахтерскую каску и пару блестящих резиновых сапог. Великолепных сапог. Таких он ни разу не видел за все двадцать лет жизни. Он даже не решался их надеть и в первый день спустился в забой в сшитых матерью матерчатых туфлях, какие носят в горах, с черными кожаными мысками и толстой, многослойной, простеганной подошвой. Кто-то обозвал его дураком, объяснив, что в шахте сплошь вода и без резиновых сапог нельзя. Он простодушно рассмеялся: «Не страшно!» Да, слова были именно эти. Ему доказывали, что сапоги — казенные, износятся — заменят на новые. А он продолжал улыбаться: «Зачем мне новые?» За спиной прозвучало: «Вот дурень!» Он не рассердился, даже не перестал улыбаться. Но на следующий день ему пришлось обуться в сапоги — столько воды было в забое. И все-таки ему сапоги прослужили

гораздо дольше, чем остальным.

С тех пор минуло двадцать восемь лет. Всю жизнь, все силы отдал он работе.

В забое он грузил уголь на вагонетки. Подхватит лопатой двадцать — тридцать цзиней, больше не умещалось, — и так раз триста — четыреста, лишь тогда переведет дух. Крепь скрипела и скрежетала, камни с грохотом катились вниз. Он первым бросался спасать рабочее место, подпирая потолок круглыми деревянными опорами диаметром с умывальный таз. Как-то завалило проход, надо было вытащить наверх электродвигатель. Вагонетка пройти не могла, вдвоем было не протиснуться. Он присел на корточки, попросил взвалить электродвигатель ему на спину. Его отговаривали — в двигателе триста цзиней. Он, как всегда, широко улыбнулся, потом засмеялся, бросил: «Я попробую». И ползком, на четвереньках, ко всеобщему удивлению выволок эту махину…

Все двадцать восемь лет он так работал. Был уверен, что иначе нельзя, ведь столько добра он видел от партии и государства. На всю жизнь запомнился год пятьдесят четвертый, третий год его работы на шахте, когда душевые оборудовали кварцевыми лампами. Поднявшись из забоя и

приняв душ, рабочие надевали темные очки, садились рядком и сидели так минут десять. Говорили, что шахтерам не хватает солнечных лучей, а от лампы исходили ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, способные заменить солнечные, все это делалось ради здоровья рабочих. Еще ему запомнилось, как летним воскресным днем секретарь парткома, директор шахты и остальное начальство пришли в рабочее общежитие морить клопов. Опрыскивали и проверяли каждую щелочку, поливали кипятком. Какой-то увалень случайно пролил кипяток прямо на ногу секретарю парткома, но секретарь велел ему молчать об этом и продолжал работать вместе со всеми. С того дня клопы исчезли бесследно. И разве один такой случай был? Государство — все равно что семья, думал он. Как же не трудиться на совесть? Каждый человек ест, растет, набирает силы, куда же их девать? После аграрной реформы члены его семьи хоть смогли разогнуть спину. Предки его — крестьяне, каждое зернышко поливали потом, и если он будет плохо работать на шахте, как посмотрит в глаза родным и землякам, которые трудятся под изнуряющим солнцем, на собственных плечах таскают на поля воду для орошения. В те годы ему было единогласно присвоено зва-

ние ударника, и это заставляло его работать еще усерднее. В период «культурной революции» передовиков производства причислили к «черным элементам», призывали критиковать их, бороться с ними, но он, рядовой ударник, человек скромный, даже робкий, никому не перечивший, мало кого интересовал, хотя и его несколько раз прорабатывали, правда за компанию с другими, но великодушно дали возможность исправиться и оставили в покое. Он и прежде не отличался словоохотливостью, а теперь вообще замолчал. Мало того, что придурковатый, как могло показаться, так еще и немой.

Чей-то радостный смех вернул горняка к действительности. Это у входа в магазин детвора окружила юношу и девушку, которые несли в каждой руке что-то красное и зеленое.

«Жених и невеста! Жених и невеста!» — галдели ребятишки.

«Красавица сорока, длинный хвост, взял в дом жену, не забывай родную мать!»

А! Это молодожены! Разрумянились, так и светятся счастьем, полнотой жизни. Как не порадоваться за них! Он смотрел им вслед, мысленно желая счастья. Он не какой-нибудь чурбан, тяготы жизни не лишили его чувства прекрасного, его

всегда волновали и будоражили появившийся на свет младенец, ребятишки, читающие по складам, молодые влюбленные. Он ощущал какую-то связь между всем этим и своим трудом на шахте.

А сам он? В двадцать восемь женился, конечно, на деревенской, а не на городской, которая «принесла бы в приданое талоны на зерно». От его дома до шахты было девяносто ли, добираться трудно: более тридцати ли пешком до города, потом автобусом, и еще пешком до шахты восемнадцать ли. Ему было около тридцати, когда один за другим умерли родители, со старшим братом он не поддерживал отношений. Жена родила ему подряд троих детей — двух дочек и сына. Рабочих рук в доме не было. Каждую весну в счет неиспользованных выходных дней отпрашивался с работы и отправлялся в деревню засадить приусадебный участок. В начале лета он приезжал красить дом, в разгар лета и пору «малой жары»[60] взрыхлял землю, осенью собирал урожай. Обычно он добирался до дому глубокой ночью, работал весь день, а на следующее утро возвращался на шахту. Ни разу не задержался. Бывало, что опаздывал на автобус, и тогда всю

---

[60] Примечания: 60
Названия сезонов по китайскому сельскохозяйственному календарю.

ночь шел пешком.

Нелегкой была жизнь, но он не жаловался. Хотя после двадцати с лишним лет работы в забое стали мучить желудок и ревматизм. Он нуждался в заботе, нормальном питании и сне, но приезд жены все оттягивал, боясь осложнений. Так прошло несколько лет. Боли в желудке и ревматизм все больше давали себя знать, и жена твердо решила приехать на шахту. Он не противился больше. Но где жить? Соседи по общежитию советовали построить домик. А стройматериалы откуда взять? Его высмеяли, ведь бревен на шахте полно, вон сколько домов построено! «Достать» стройматериал — не проблема. Тем более что он возьмет второсортный, а не первосортный, как начальство. Он поморщился, думал полдня, потом, растянув, как обычно, в улыбке рот, засмеялся и отрицательно покачал головой. Сосед по комнате, проходчик, проживший с ним вместе лет десять, хорошо его понимал; в выходной они пошли в лесничество, отыскали там какого-то родственника и купили сухостой — вполне сойдет для стропил; для такого домика вовсе не обязательно иметь бруски или бревна. Ежедневно после смены он шел к терриконy собирать камни, на спине перетаскивал их на

солнечное, защищенное от ветра горой место справа от железной дороги, у флажков, и складывал там, очищал налипшую землю. Вопреки ожиданиям, с помощью еще нескольких пар рук он все же выстроил однокомнатный домик. Жена оставила хозяйство на попечение дочерей, а сама с маленьким сынишкой перебралась к мужу. Теперь и у него наконец рядом была семья.

Очередь еще немного продвинулась вперед. Он все продолжал смотреть на блестящие, глянцевые сапоги, вспоминая свою, уже наполовину прожитую, жизнь, благо сейчас у него было свободное время. Обычно, вернувшись с шахты измученный, он валился на кан и сразу же начинал храпеть. А раз силы не те, значит, и голова не та, впрочем, головой он никогда особенно не умел работать.

Чего ждал он от жизни? Чего добивался? Он нечасто задавался такими вопросами. Почти никогда не испытывал обид или же недовольства. Многие считали его недотепой, на самом же деле он просто был человеком с открытой душой. Добрым и чутким. У окошечка снова началась перепалка, кто-то опять пытался влезть без очереди, стоявшие позади стали возмущаться, кричать. Такое здесь часто случалось. Видимо, пе-

режив «великую культурную революцию», люди стали раздражительными, из-за любой мелочи, величиной с горошину, вспыхивают ссоры, перебранки — нет чтобы просто так уступить. Ему вдруг захотелось успокоить людей, вступиться за парня, у которого, может быть, срочное дело или случилась беда, позарез нужно зерно, а стоять он не может.

Надо научиться прощать друг друга, быть терпимее, тогда и жить будет легче. Он был уверен, что у каждого свои трудности: у народа — свои, у начальства — свои. Каждый может ошибаться, у каждого свои слабости, и если на все обращать внимание, на дело не останется ни сил, ни времени. Он уже готов был пойти к окошку, утихомирить ссорящихся, но вдруг передумал. «Ладно!» — сказал он себе. Но почему «ладно»? Дело в том, что в последнее время (а может, уже довольно давно) он стал сомневаться в своей правоте, в самом дальнем уголке души появилось «что-то», а что, он и сам не мог понять. Это «что-то» все росло и росло, лишало его покоя. Он вспомнил годы тяжелой борьбы и гонений. Лишь те преуспевали, лезли наверх, кто мог обвести вокруг пальца и начальство, и подчиненных, у кого язык хорошо подвешен, а кто честно работал, на

того все валили, как будто так и надо.

Он душой болел за государственную казну: взять хотя бы шахту! Металлическая опора, к примеру, стоит больше ста юаней, как наручные часы, а сколько их валяется! И никому дела нет: начальство спрашивает с рабочих только количество, чтобы в срок отрапортовать об успехах, вносит беспорядок, мешает делу, а качество никому не нужно. Учета никто не ведет, ежегодно на одной только шахте пропадает больше ста тысяч тонн угля!

Каждый начальник прежде всего заботится о собственной выгоде. А производственные проблемы норовит спихнуть на другого… Сын помощника директора шахты женился на дочери начальника диспетчерской, живут друг против друга, а разъезжают на казенной машине, причем дальней дорогой, ну и, разумеется, бензин государственный. Говорят, будто начальники все перессорились между собой. Он только и слышит, как все охают да ахают, говорят, если и дальше все так пойдет, шахта превратится в бардак. Осуществляются ли «четыре модернизации»?[61] Чем они там наверху заняты? Обычно он всегда и всех

[61] Примечания: 61

«Четыре модернизации» — программа развития страны, выдвинутая в 1977 г. на одиннадцатом съезде КПК.

мог понять, но тут едва ли найдешь оправдание. Общее положение, как эпидемия, сказалось и на нем. Уже не было прежних сил, что-то очень важное ушло из души, и там теперь пустота. Словом, трудно. Ох, как трудно. Сколько хлопот, например, с покупкой зерна!

У жены и сынишки временная прописка, поэтому нет продовольственной книжки, зерно, получаемое от производственной бригады, а также выращенное на приусадебном участке, невозможно притащить на себе в город — приходится сдавать на приемный пункт в обмен на продовольственные книжки, а книжки отоваривать в магазине. Но в магазине не всегда все бывает. Горожанам в один раз можно, например, купить пшеницу, ржаную, кукурузную муку, гаолян или чумизу, если их нет — разрешают купить в другой раз, достаточно сделать соответствующую запись в книжке; те же, у кого временная прописка, должны выкупать все за один раз. Бывало, подойдет его очередь, а зерно все распродано. Через некоторое время снова надо идти и снова стоять в очереди. С временной пропиской около ста семей. Но это мало кого интересовало. Шахтеры, человек тридцать, с трех участков писали, говорят, в Управление шахты, просили

решить как-нибудь этот вопрос. Прошло пять месяцев, но ответа не было. Самые настойчивые пошли узнать, как обстоят дела, к заместителю директора шахты по быту (тому самому, чей сын взял в жены дочку начальника диспетчерской). Только тогда стало ясно, что письмо ушло в неизвестном направлении. Оказывается, замдиректора слышал об этом деле, письмо читал, но выхода не нашел — ведь продовольственный магазин относится к финансово-торговому ведомству, к шахте не имеет ни малейшего отношения. Замдиректора еще и отчитал рабочих, сказав, что сейчас все заняты проведением в жизнь «четырех модернизаций», организацией труда на шахте, еще надо начислять заработную плату, премии — вот о чем прежде всего следует думать, а с бытовыми трудностями пусть сами справляются. Мало того, что написали письмо, так еще бегают, пристают со всякой ерундой, отвлекают начальство. Где же тут взять силы на модернизации! Временная прописка — проблема не новая, тут много сложностей. Рабочие замялись, мол, они сами-то городские, просто сочувствуют другим и пришли выразить общее мнение. Но замдиректора стоял на своем: вопрос о снабжении людей с временной пропиской — мелочь в сравнении

с другими важными проблемами, и он надеется, что рабочие правильно поймут руководство… Так ничего и не решилось, и ему по-прежнему приходилось по нескольку раз в месяц стоять в очереди за зерном. Из молодого, пышущего здоровьем, статного парня он превратился в сгорбленного, изможденного старика и лишь теперь стал понимать, как тяжела жизнь, как непросто строить социализм.

Кто-то легонько толкнул его в спину — значит, надо продвинуться вперед. Но тут он застыл на месте, ослепленный на миг блеском резиновых сапог в лучах заходящего солнца. Этот блеск проник в самое сердце, затопил его горячей волной, в груди стало жарко, он словно парил в воздухе. Он вдруг распрямился, ощутив прилив сил. Ему вспомнился случай, происшедший несколько дней назад.

Где-то через полгода после приезда жены сломалась кухонная доска, а в ближайшем магазине их не было. Почему? На этот вопрос продавец ответил, что примерно год назад завезли партию, но покупателей не нашлось, товар провалялся и был отправлен в другие магазины. Затребовать обратно нельзя, тем более для одного покупателя. В выходные дни он раз-другой сгонял в уездный

город. Увы! В первый раз товар не завезли, а во второй — был переучет. Он только напрасно потратил время, туда и обратно — это шестьдесят ли. Куда проще как-то приспособить старую, сломанную. Но жена воспротивилась, пригрозив, что перестанет готовить, если он не найдет доску.

— Где же я ее возьму? — пробурчал он себе под нос.

Жена подсказала:

— Разве мало в забое деревяшек? Другие вон мебель делают, а ты даже кухонную доску не можешь!

На шахте в самом деле было немало отходов дерева. Если кругляк оказывался слишком длинным для опоры, лишний кусок спиливали и бросали. Обрубки уносили на растопку печей, бревна растаскивали на мебель. Каких только безобразий не творили в дни разгула цзаофаней. Но никому до этого не было дела. Вот до чего доводит анархия! У него не было образования, поэтому он с трудом выговаривал политические термины и всякие новые, непривычные ему слова, но «анархизм» почему-то запомнил с одного раза и сразу понял, что от него один вред и людям, и государству.

За всю свою жизнь он ни разу не усомнился в

том, что закон надо соблюдать неукоснительно, и ни за что не принял бы сторону анархистов. Само собой, ему и в голову не пришло бы вынести с шахты деревянный брусок. Однако жена слышать ничего не хотела. Она сразу все поняла, переехав на шахту. У других и на крыше, и под крышей — везде доски, деревяшки, а у них кухонной доски и то нет. Она, плача, его ругала, что он-де сам тупой, хуже деревяшки, дубина стоеросовая. Кончилось тем, что жена забастовала, перестала готовить еду. Он не спорил — в самом деле, не проводить же с ней воспитательную работу, вздохнул и улегся в постель. Ничего, можно поспать и на голодный желудок. Надо надеяться, что к утру она прекратит забастовку, пожалеет его, больного.

Но жена мало того что продолжала «бастовать», так еще мучила его полночи, спать не давала, плакала, всхлипывая, обзывала нерадивым хозяином, грозила забрать сына и вернуться в деревню; пусть помирает от своих болячек, что ей за дело? Нет, дальше тянуть нельзя, он поглядывал на жену, борясь сам с собой. И вот едва забрезжил рассвет, у него созрело грандиозное решение: он совершит поступок во вред государству, вынесет с шахты какой-нибудь кусок

дерева. Но как это сделать? Его терзали сомнения. Вытащить потихоньку наверх — стыдно, да и боязно, просто беда. Другим это раз плюнуть, а для него — мучение. Сказать начальству — а вдруг не поймут, начнут снова критиковать? Как же быть? Никогда прежде не приходилось ему сталкиваться с таким трудным делом, вот уж поистине голова раскалывается! Утром он спускался в забой все так же мучимый сомнениями. Лишь после смены принял решение. Подошел к бригадиру и, заикаясь, промямлил:

— Начальник, я… у меня в доме нет кухонной доски…

Он повторил это несколько раз, и когда бригадир наконец понял, то расхохотался до слез и махнул рукой, мол, нужна тебе деревяшка — нечего начальству докладывать, выноси, и дело с концом. От неожиданности он остолбенел, потом, испуганный и растерянный, пошел в транспортную траншею. Там был свален в кучу хороший крепежный лес и множество деревяшек. Он поднял кусок дерева длиной около двух чи и тут же бросил — еще сгодится на крепеж, если распилить. Поднял другой кусок, покороче, — и этот в дело пойдет. Снова бросил. Наконец нашел совсем маленький, ни на что не годный, разве что

на кухонную доску. Он обвязал деревяшку бракованным бикфордовым шнуром, пятясь, выбрался из забоя и, низко опустив голову, пошел прямо домой, у него даже не осталось сил на душевую. То ли из-за раскаяния, то ли из-за страха, деревяшка весом всего в несколько цзиней казалась целой глыбой, тяжелее, чем электродвигатель, который ему как-то пришлось тащить на себе. Он даже весь согнулся.

Вдруг сзади засигналила машина. Он оглянулся — джип. Наверняка начальство. Надо бежать, спрятаться. В смятении он поднялся на железнодорожные пути. По одну сторону — шоссе, по другую — обрыв. Укрыться негде. Сердце бешено колотилось, его обдало жаром, мысли путались, словно в бреду. Не отдавая себе отчета в том, что делает, он побежал.

Но разве убежишь от автомобиля? Джип затормозил совсем близко. Из машины вышел человек лет сорока, внушительного вида. Следом за ним — шофер. Они поднялись на железнодорожные пути и остановились прямо перед ним. Он бросил деревяшку, опустил голову, сник весь, ожидая выволочки. Раз виноват, пусть воспитывают.

— Товарищ, как вас зовут? — вежливо спросил мужчина, голос его звучал мягко, располагающе.

Не ослышался ли он, не сон ли это? Он промолчал.

— Директор спрашивает, как твое имя, отвечай же! — совсем не мягко и не вежливо обратился к нему шофер, даже мурашки побежали по телу.

— Зачем вы так? — в голосе мужчины слышалось недовольство.

Словно очнувшись, он поднял голову и взглянул на говорившего. В сумерках ему удалось разглядеть только крупные, правильные черты лица и мягкую улыбку, эта улыбка была, бесспорно, адресована ему. Теперь он начинал понимать. Недавно прошел слух, что на шахту прислали нового директора, в прошлом шахтера, перевели из Управления, и что у этого директора свои методы управления производством, — об остальном, что касалось директора, он имел весьма смутное представление — начальство его мало интересовало.

— Товарищ, как ваше имя? — повторил мужчина так же вежливо.

Набравшись храбрости, он назвал наконец свое имя.

— Вы из какой бригады?

Он назвал участок, бригаду.

— А где живете?

На этот вопрос он не знал, как ответить. На доме не было ни номера, ни названия улицы. Он мог лишь указать в сторону темнеющего обрыва в двух ли от дороги.

— Там. Мы с временной пропиской.

Директор сделал водителю знак и повернулся к нему:

— Садитесь в машину! — а сам поднял с земли чурбак.

В машину? Зачем? Куда ехать? Он ничего не понимал. Тут шофер, кивнув на деревяшку в руках директора, бросил на него свирепый взгляд, видимо означавший: да возьми же ты ее сам. Он не понял, чего хочет шофер, и продолжал стоять как вкопанный. Водитель сам было попытался взять у директора деревяшку, но тот не отдал и снова пригласил:

— Садитесь же!

Он догадался, куда его повезут. Ну конечно же, в отдел охраны! Вместе со злополучным чурбаком, который он украл. Обижаться не на кого, сам виноват — самому и отвечать.

В полной растерянности он сел в машину. Директор — рядом.

Дорогой директор расспрашивал его о семье, о зарплате, о том, как ему живется, и наконец

— зачем ему понадобился чурбак. Он отвечал все честно, без утайки.

— До «культурной революции» вы два года подряд были ударником труда, верно? — Вопрос был неожиданным. Застал врасплох. Откуда директор знает? Он грустно усмехнулся, кивнул. Хорошо, нечего сказать, со значком передовика воровать государственное добро!

Директор вздохнул. Он понял, что означает этот вздох. Печально, когда ударника труда приходится везти в отдел охраны! Сердце у него заныло.

Стало так горько. Вряд ли когда-нибудь удастся оправдаться перед директором. Шахта огромная, несколько тысяч рабочих, дел по горло, а тут еще приходится везти, и кого — ударника труда — в отдел охраны. Сказать бы директору, что никогда этого больше не будет, чтобы не переживал, так ведь он и говорить толком не умеет. В этот момент он ненавидел себя.

Директор вынул сигареты, предложил ему. Он поблагодарил и замялся — люди его поколения редко курили. Директор зажег сигарету, и при ее слабом отблеске его лицо казалось озабоченным, напряженным. И все из-за него. Беспокойство росло, хоть бы водитель прибавил газа, ему хотелось скорее доехать до отдела охраны и честно во

всем признаться.

Машина остановилась.

— Здесь, что ли? — обернувшись, спросил шофер.

Высунувшись в окошко, он увидел знакомые флажки у железнодорожного полотна, а за полотном, через сотню шагов, его дом. Зачем его сюда привезли? — подумал он.

Директор вышел. А он не двинулся с места.

— Выйдите. Машина дальше не пройдет, нет дороги, так что придется выйти здесь, — сказал директор.

Указывая на тусклые огоньки у подножия горы, директор поинтересовался, не там ли его дом. Он кивнул. Директор сказал, что сегодня он занят на совещании, а в следующий раз непременно зайдет, еще он велел взять завтра в столярной кухонную доску, сказать, что директор его прислал, а чурбак оставил в машине.

Он долго провожал взглядом исчезающий в темноте джип, не в силах понять, что же произошло. Едва волоча ноги, он вернулся домой, до полуночи пролежал на кане, не сомкнув глаз.

На следующий день, купив в столовой пампушки и жуя на ходу, он спустился в забой. О вчерашнем никто и не вспомнил. Он нашел бри-

гадира, признался в своем проступке. Бригадир покосился:

— Взял так взял, чего толковать о вчерашнем дне!

Не успокоившись, он догнал бригадира и стал говорить, что виноват и перед страной, и перед начальством, слова шли от самого сердца. Бригадиру это порядком надоело, он бросил несколько фраз и отвернулся.

В сумерках он поднялся из забоя, совершенно забыв и о кухонной доске, и о столярной мастерской. Дойдя до памятного места на железной дороге, он присел на край полотна и долго сидел, глядя, как солнце опускается за гору; снова вспомнил, что произошло с ним вчера в это же время, и никак не мог найти этому объяснения.

Наконец он встал и поплелся домой.

Не успел прийти, как явился секретарь партячейки бригады. И к его изумлению принес широкую кухонную доску. Оказалось, это директор ему поручил отнести доску в подарок. Секретарь покритиковал бригадира за равнодушие к членам бригады, выспросил, какие у него трудности, что он думает о работе на шахте и в бригаде.

А он молчал, прижимая к груди новую доску,

вдыхая нежный аромат ивы, из которой она была сделана, и две скупые слезинки скатились на спецовку.

После ухода секретаря он еще долго сидел на кане, погрузившись в раздумья. Где он видел это лицо, эту улыбку? Ведь с директором они прежде никогда не встречались. Ну конечно, он видел такую улыбку. И тоже у начальников. Но это было десять лет назад. В его омертвевшей душе словно забил родник.

На следующий день, когда в ожидании вагонетки рабочие, как обычно, весело переговаривались, пользуясь выдавшейся свободной минутой, он не принимал участия в разговоре, перебирая в памяти события вчерашнего дня. Вспоминал директора, его добрую улыбку. Вдруг кто-то сказал:

— Ну, наш директор и впрямь строг! Вчера секретарю партячейки второй бригады Вану, как говорится, пришлось отведать горелого петуха.

— А ты не спросил, бригадир, вкусно? — поинтересовался один из рабочих.

— И остро, и горько, — ответил зычным голосом бригадир.

— Что же это Ван сплоховал? — опять спросил кто-то.

— Вчера в диспетчерской обсуждали идеологи-

ческую работу и проблемы быта, — громогласно объявил бригадир, приняв позу оратора, — отчитывались все бригады. Секретарь второй бригады, уважаемый Ван, доложил, сколько у них учебных групп, сколько досок почета для отличников соревнования, долго говорил, сыпал прибаутками, рассказал об идеологическом воспитании каждой рабочей семьи, о борьбе за «преумножение хорошего и сокращение плохого». И вдруг директор постучал ручкой по чашке.

— Он, видимо, хотел, чтобы Ван говорил помедленнее и можно было записать прибаутки, распространить опыт?

— Распространить опыт? Хм, как бы не так! — бригадир повысил голос. — Он спросил Вана, известно ли ему, что в его бригаде есть старый рабочий, который живет у самой горы напротив железнодорожных флажков, он проработал на шахте двадцать восемь лет и три месяца, а у него временная прописка, из добытого им угля можно насыпать небольшую гору, а в доме у него нет даже кухонной доски и из-за этого скандалы с женой. За все двадцать восемь лет этот рабочий и щепки не вынес из шахты, а вот вчера унес домой чурбак. Директор спросил, знает ли Ван, ответственный за идеологическую работу, о чем

думает этот рабочий, какие у него трудности. Есть ли у него хоть какая-то надежда, или он совсем отчаялся? Потом директор обратился ко всем:

«Вот мы с утра до вечера призываем рабочих не щадя сил трудиться на шахте, а что мы знаем о них? Мы — кадровые работники? Мы видим лишь уголь и то, что связано с его добычей. А интересуют нас вопросы быта рабочих? Легко сказать: „Будьте активными“. А что мы для этого сделали? Идеологическая работа, — сказал директор, — как раз и нацелена на то, чтобы каждый осознал свою ценность, занял свое место в жизни и обществе. Лишь тогда, словно родник из земли, прорвутся наружу его способности, его талант! И никакие „учебные группы“, никакие стенгазеты не решат проблемы. Хватит прибауток! Хватит фальши, пустословия, краснобайства, слишком много вреда и горечи принесли они нам. Будьте внимательны к людям, идите к рабочим, служащим, делайте настоящее дело!» Затем директор снова обратился к секретарю Вану: «После собрания пойдете в столярную, найдете там кухонную доску, которую по моему заказу должен был сделать мастер Чжан, и отнесете в подарок старому рабочему, деньги я за нее заплатил. От имени руководства шахты поинтересуйтесь, как живется

его семье, скажите, что руководство не проявляло достаточной заботы о них. Конечно, проблем сейчас много, все сразу не решить. И рабочие это прекрасно понимают. Особенно старшее поколение. Они скромны, даже чересчур. Никогда ничего не требуют. Дают много, а просят мало! Китайский горняк — это великий человек!» В глазах директора блеснули слезы…

Наступила тишина, даже любители почесать языки молчали, тронутые до глубины души рассказом бригадира, прислушиваясь к голосу собственного сердца.

— Ха-ха, не один секретарь Ван «отведал горелого петуха», — бригадир понизил голос. — Всем досталось по кусочку… На всю жизнь запомним!

На площадке, где рабочие дожидались вагонетки, было полутемно, и никто не видел главного героя этого рассказа — он забился в угол и шарфом утирал слезы.

В тот день, неизвестно только откуда силы брались, круглые опоры, весом в сто цзиней каждая, он перетаскивал с необыкновенной легкостью; лишь к концу смены, когда пришло время выбираться наверх, он вдруг почувствовал, что ногам мокро и неудобно идти, — сапоги не то чтобы прохудились — намокли от пота…

Вымывшись в душе, он отправился в клуб, где каждый месяц проходило собрание по распределению премий. Но только успел он примоститься в углу в последних рядах, как сразу увидел на сцене знакомое красивое лицо.

— Попрошу главную силу нашей шахты, тех, кто трудится на переднем крае, занять первые ряды! — громко сказал в мегафон директор.

На собраниях он всегда сидел в последних рядах. Идти вперед или оставаться на месте? Идти!

Директор повторил свою просьбу. Он выпрямился впервые за все эти долгие годы. И пошел вперед.

Теперь он отчетливо видел мягкую улыбку директора. Эта улыбка относилась ко всем, кто был в зале. И к нему тоже. Не отрывая глаз, он смотрел на это лицо, ставшее ему родным.

Вдруг улыбка исчезла. Директор нахмурился. Он заметил, что на длинном столе перед каждым начальником лежат сигареты. Из третьего ряда хорошо было слышно, как директор сказал своему заместителю по быту: «Чтобы больше этого не было!» Он ссыпал все сигареты в коробку, подошел к краю сцены и громко объявил:

— Подходите, товарищи, берите сигареты, курите, закоптим как следует этот зал! — и стал

раздавать сигареты прямо со сцены, приговаривая: — Побольше назад передавайте. Не жадничайте!

Люди смеялись, хватали сигареты, одну на несколько человек. Затягивались по очереди, с такой жадностью, словно у сигарет был какой-то особый аромат.

Он не курил, и потому разинув рот смотрел, как курят другие. И вдруг (даже для него осталось загадкой, как это произошло) он выхватил изо рта у соседа сигарету, глубоко затянулся, закашлялся до слез…

* * *

Очередь за зерном потихоньку ползла.

Скоро он подойдет к окошку, но его это мало волнует, все мысли перепутались в голове, ни одной не ухватишь. В его опустошенной душе, обогретой после суровой зимы лучами весеннего солнца, все потихоньку возрождалось, оживало. «Хозяин шахты» — ему и прежде нередко доводилось слышать эти слова. Но тогда это были призывы: «Не будь рабом показателей, будь хозяином шахты!» И именно в те времена, он сам это видел, люди не только уносили домой бросовые деревяшки, но распиливали и хорошие бревна

себе на мебель. Уносили взрывчатку и капсюль-детонаторы глушить рыбу на запруде. В рабочее время обрабатывали свои участки на склонах горы. Он был в отчаянии, бросался то к одному начальнику, то к другому, но в ответ слышал лишь нравоучения, мол, «рабочий должен сам освободить себя», что же в таком случае значит «хозяин шахты»? Он не понимал. А сейчас, кажется, начинает понимать. Он — частица рабочего класса, такой же, как все остальные (в том числе и начальники), ничуть не хуже других. И у него тоже должны быть свои требования к жизни, свои желания. Чувство собственного достоинства. Эти мысли заставили его распрямить спину. Он ощутил себя молодым, полным сил и энергии, ему еще так много надо сделать. Солнце наполовину скрылось за горой, но даже последние его уже слабые отблески, игравшие на резиновых сапогах стоявшего впереди парня, казались ему ослепительно яркими. Надо поговорить с парнем, сказать, что сапоги выданы для работы в забое, зачем же трепать их без дела? Надо ему объяснить, что значит «хозяин шахты». И еще заняться вопросом продажи зерна. Пойти прямо в министерство финансов и торговли, пусть подумают, как избавить рабочих от очередей. В

шахте, в старом забое, где уже нет породы, все еще стоит более тридцати опор, надо бы пойти туда с молодыми ребятами, вытащить опоры, все до единой, чтобы снова пустить их в дело. Вот куплю зерно и пойду поищу бригадира, поговорю с ним об этом… Ему опять вспомнилась мягкая улыбка на красивом лице. Да, много есть дел, о которых надо беспокоиться самому.

— Эй, твоя очередь! — раздался громкий голос из окошечка величиной с ладонь.

Он поспешно сунул в окошко деньги и книжку и тут же окликнул владельца сапог, которому выписывали чек:

— Эй, парень! Получим зерно, пойдем вместе!

ЧЖАН СЮАНЬ
КОГДА ТАЕТ СНЕГ
© Перевод В. Семанов

Чжан Сюань родился в 1934 году в Шанхае. В 1953 году окончил курсы механиков при университете Цинхуа. В 1956 году был распределен на работу в Пекин, в 1961 году переведен техником в Маньшаньский институт стали. С 1963 года по настоящее время является литературным сотрудником Отдела культуры этого города.

В 1956 году опубликовал рассказ «Представитель первой стороны» (в следующем году экранизирован под названием «Шанхайские девушки») и киносценарий «Цветущие годы». Потом долго не писал. В 1979 году снова взялся за перо, написал киносценарий «Страдающее сердце», а также рассказ «Воспоминания», получивший премию на Всекитайском конкурсе рассказов. В 1980 году опубликовал повесть «Горькая юность», начатую еще в

50-е годы. На русский язык переведен его рассказ «Любовью забытый уголок» (в сб. «Встреча в Ланьчжоу». М., «Молодая гвардия», 1986).

1

Кто-то пинком ноги распахнул дверь.

Ду Баомин в это время крепко спал и видел сон, обычный для молодого влюбленного. «Сюю, Сюю!» — страстно повторял он имя возлюбленной, обнимал ее, целовал — словом, делал все, что хотел, и Сюю не сопротивлялась… И вдруг в этот восхитительный миг его грубо разбудили.

В комнату ворвался Ду Баошэнь — его двоюродный брат. Баомин, все еще во власти чар любимой, раздраженно встал, плеснул на лицо холодной воды из тазика и лишь тогда окончательно проснулся. Он был уверен, что брат примется расспрашивать о предстоящем сокращении учителей, хотя с этим все ясно: у Баомина нет ни волосатой руки, ни вузовского диплома — кого же сокращать, как не его? Но этот позор еще можно пережить, хуже, что от него уплывет Сюю, с которой они только что договорились о женитьбе. Будь его сон явью, Сюю никуда не делась бы, но на такое у Баомина не хватало

смелости. Брат пришел весьма кстати, будет хоть кому тоску излить.

Однако Баошэнь не произнес ни слова, сел и стал смотреть в окно. Было воскресенье, школа пустовала, лишь несколько учеников на спортплощадке играли в баскетбол. Мяч то и дело ударялся о щит или кольцо.

Баомин сразу заметил, что лицо у брата темнее железа, губы сжаты, глаза воспалены, — уж не заболел ли? Но на вопрос Баомина тот не ответил, лишь чертыхнулся:

— Черт побери.

— Что случилось?

Тот снова чертыхнулся, но уже тише, уронив голову, как будто шея отказывалась ее держать.

Один из игравших в баскетбол ребят попал в кольцо под одобрительные возгласы остальных.

— Случилось… что-то… совершенно непредвиденное… — произнес Баошэнь, едва ворочая языком, точно рот у него был набит глиной. Он облизнул запекшиеся губы и судорожно сглотнул слюну, при этом его кадык заходил вверх-вниз.

Баомин никогда не видел брата в таком состоянии и растерялся. Наконец он сообразил, что надо дать ему закурить. Тот взял сигарету, снова чертыхнулся, и на глазах у него выступили слезы.

«Черт побери» было единственным ругательством, которое знал Баошэнь. Сразу после неполной средней школы его оставили преподавать в начальных классах, и он очень скоро приобрел солидность и важность. Старший сын в семье, он постоянно руководил свадьбами, похоронами, ремонтами, разбирал соседские споры, на которые его непременно приглашали. Он прекрасно считал на счетах, был хорошим каллиграфом, поэтому зимой обычно помогал при подведении итогов в производственной бригаде, а потом писал для всей деревни к Новому году символические вертикальные надписи на красных бумажных полосах. Кому нужно было послать письмо сыну, служившему в армии, написать заявление в партию или составить расписку — все шли к Баошэню. В поле учителю работать не полагалось, поэтому Баошэнь летом носил белую рубашку, весной и осенью «суньятсеновку» — френч из синтетической ткани, зимой стеганое пальто из темно-серой плащовки и черный шерстяной шарф. Уроки он вел на чистом литературном языке и постепенно даже произношением стал отличаться от деревенских. Вместо «что» никогда не говорил «чего» и употреблял в речи такие обороты, как «предположим», «к тому же»,

«иными словами», «в общем», что совершенно несвойственно крестьянам. Если бы так одевался или говорил его младший брат — тракторист Баогэнь, его наверняка объявили бы заморской обезьяной или медвежьим прихвостнем, то есть зазнайкой, но Баошэнь был единственным интеллигентом в деревне, поэтому его поведение считали вполне естественным и, поступай он иначе, просто перестали бы уважать. Только во время летних каникул, когда он помогал на полевых работах, односельчане видели его тощую спину, тонкие руки и белую кожу и подтрунивали над ним.

У кадровых работников Баошэнь тоже пользовался уважением. Кое-кто из них даже предлагал ему перейти в правление объединенной бригады или коммуны, но, все разузнав о нем, оставлял свое намерение. Дело в том, что Ду Тингуй, отец Баошэня, два с лишним года служил в гоминьдановской армии. Формально говоря, ничего особенного тут как будто не было — тем более что гоминьдановцы схватили его насильно, когда он нес арбузы в город, а в армии держали в поварах. И все же в подобных случаях людей считали чуть ли не контрреволюционерами, и их потомкам трудно было выдвинуться. К счастью,

младшая сестра Тингуя вышла замуж за батрака Чжу Фашаня, который во время земельной реформы вступил в партию, а потом стал секретарем партбюро объединенной бригады. Само собой разумеется, ни у кого не хватало смелости поднять руку на шурина партийного секретаря, хотя политические кампании шли одна за другой. Тем не менее из-за своего шурина Чжу Фашань тридцать лет протрубил на одном месте и даже не был введен в партком коммуны. Из-за этого и Ду Баошэнь не мог продвинуться, оставался учителем начальной школы.

Докурив сигарету, Баошэнь немного успокоился и жестом попросил брата закрыть дверь.

— Я пришел с тобой посоветоваться. Хочу написать жалобу.

— Жалобу? На кого?

— На Цао Бинкана! Этот мерзавец обесчестил мою жену…

Его губы дернулись, и он снова опустил голову.

— Что? Обесчестил Суюэ?! — словно сразу пять громов обрушились на Баомина. — Но это невозможно, совершенно невозможно! Не слушай сплетен!

— В том-то и дело, что пока никто ничего не знает… — Баошэнь страдальчески покачал голо-

вой. — Суюэ сама во всем призналась.

2

Суюэ была родом из деревни Седьмая Верста, известной своей бедностью. Когда Баошэнь пришел свататься, невеста ему не понравилась. Тощая, бледная, с тоненькой косичкой и испуганными глазами, она даже не решилась на него взглянуть и сразу убежала. Из куртки и штанов девушка давно выросла и походила на ощипанного цыпленка. Но отец Баошэня сказал, что жена из нищей деревни — это настоящая драгоценность. Большого выкупа за нее давать не надо, она наверняка неприхередливая, работящая, так что никаких хлопот с ней не будет. Баошэнь не перечил отцу, потому что он хоть и был интеллигентом, но деревенским, привязанным к земле. Он понимал, что такой любви, как в романах или в кино, не бывает. Разве что в городе. А в деревне жена днем должна работать, а ночью спать с мужем для продолжения рода. Поэтому Баошэнь без лишних рассуждений дал согласие на женитьбу.

Свадьбу сыграли весной следующего года, когда Суюэ исполнилось семнадцать. Уже на третий день молодая вместе с золовкой отправилась на прополку. Стоило Суюэ взмахнуть мотыгой,

как все стало ясно. В женской бригаде она сразу начала давать самую высокую норму.

Проработав день в поле, Суюэ дома таскала воду, готовила еду, стирала, кормила свиней и еще помогала свекрови мыть ноги. Все засыпали, а она, бывало, принималась плести соломенные сандалии или чинить одежду. И характер был у нее покладистый, каждому старалась угодить: свекру, свекрови, мужу, и делала все легко, весело, словно играючи. Другие женщины болтали во время работы, она — ни звука. Насмешат ее — зубы не скалит, лишь слегка улыбнется. Свару затеют — она в стороне. Один был у нее недостаток — непомерный аппетит: пока муж съест одну чашку риса, Суюэ опорожнит две и еще просит. Хорошо, что семья Ду считалась в деревне зажиточной и могла прокормить новую невестку.

Мужа Суюэ уважала и немного побаивалась, потому что он хоть и мало ел, зато много знал и мог прочесть газету от первой до последней страницы. Самые озорные мальчишки, завидев учителя Ду, становились по стойке смирно и кланялись. Он часто проводил уроки на открытом воздухе, и сердце Суюэ, работавшей в поле, наполнялось радостью, когда она видела, как чинно сидят ученики, ловя каждое слово учителя.

Трудодней мужу начисляли в бригаде больше, чем всем, да еще приплачивали шесть юаней в месяц, поэтому у Суюэ всегда были карманные деньги. На зависть подругам, она могла когда вздумается пойти на базар или в сельпо и купить набивного ситца или баночку помады. Суюэ вся светилась счастьем и гордостью, потому что в родной деревне и во сне такого не видела.

Через каких-нибудь полгода Суюэ было не узнать: лицо из желтого стало белым и нежным, черные волосы приобрели блеск, груди набухли и напоминали два холмика. Родив толстенького, упитанного малыша, Суюэ еще больше похорошела: глаза стали влажными и лучились. Когда на Новый год она с сынишкой пришла в гости к матери, односельчане с трудом ее узнали. В поле на нее бросали жадные взгляды мужчины. На рынке ей удавалось продать товар быстрей и дороже тоже благодаря вниманию мужчин, готовых купить у нее все что угодно и за любую цену. Суюэ, женщине честной, но далеко не глупой, все это льстило, но она в этом не признавалась и, смеясь, говорила, что мужчины ей надоели. Особенно навязчивым оказался Цао Бинкан. Суюэ становилось не по себе, когда он таращил на нее свои золотистые, выпученные, словно у

рыбы, глаза.

3

В деревне Западная Цао Бинкан был чужаком. Его родители пришли сюда еще до революции 1949 года, поставили на околице дом, если можно так назвать развалюху, и нанялись на поденную работу. В деревне они сказали, что вся их семья погибла при наводнении, но когда во время земельной реформы проверяли социальное происхождение, выяснилось, что он батрак, а она жена его хозяина и они бежали. Сейчас законом это не возбранялось, но крестьяне не считали подобную связь настоящим браком и относились к пришельцам с неприязнью. Корней здесь в деревне у них не было, и единственное, что их держало, это усердный труд.

Мать Цао Бинкана пришла в деревню уже с животом и вскоре родила сына. С Ду Баошэнем у них была разница всего в несколько дней. В начальной школе они даже сидели за одной партой, затем Баошэнь пошел в неполносреднюю школу, а Цао Бинкан в пастухи. Когда со временем Баошэнь стал учителем, Бинкан переключился на пахоту и через три-четыре года — как раз к моменту первого выпуска учеников Баошэня —

превратился в опытного, бывалого крестьянина.

В тот год широко пропагандировался электрополив, объединенной бригаде был нужен электрик, но никто не соглашался взяться за это дело, считая его опасным: ведь током может убить. Цао Бинкан решился. Сметливый от природы, он походил недели две за мастером, потаскал за ним насосы и шланги, быстро приобрел нужные навыки и стал в бригаде незаменимым человеком. В то время народ буквально извели большими и малыми собраниями, их надо было радиофицировать, а динамики и микрофоны мог поставить только Цао Бинкан. Дошло до того, что сам секретарь партбюро Чжу Фашань стал над ним дрожать, потому что страшно даже себе представить, что могло случиться, если бы радио отказало, например, во время какого-нибудь важного собрания или передачи руководящих указаний.

Став любимчиком начальства, Цао Бинкан немедленно возомнил о себе. Он везде шастал со своими инструментами и, пользуясь случаем, не пропускал ни одной смазливой бабенки, особенно Суюэ, хотя сам был страшен как черт: большое плоское лицо, толстые, чуть приоткрытые губы, кривые желтые зубы, выпученные похотливые

глаза. При людях он, конечно, не решался пускать в ход руки, но если поблизости никого не было, давал им волю. Суюэ, завидев его, в страхе пряталась. Нельзя сказать, что Цао Бинкан был шалопаем. Он все время чему-то учился: то строить дом, то делать мебель. Да мало ли чему. Однажды он смастерил платяной шкаф, в другой раз сложил печку, как-то заменил больного тракториста и научился чинить трактор. Объединенная бригада наняла грузовик для перевозки зерна, так Цао Бинкан мигом подружился с шофером, сунул ему двух куриц и вскоре уже водил машину. В близлежащем селе у него появилась целая куча друзей.

У способного человека всегда есть завистники. Были они и у Цао Бинкана, тем более что он давал пищу для сплетен. Чжу Фашань давно уже его недолюбливал, а к тому времени вернулся из армии парень, соображающий в электротехнике, и Чжу поставил его на место Бинкана. Повод нашелся: по вине Бинкана на заливное поле упал оголенный провод, буйвола убило током. Чжу Фашань сразу позвонил в правление коммуны, чтобы прислали охранников и забрали виновного. Хорошо еще, что за него похлопотали знакомые из коммуны, так что отсидел он всего

полмесяца. Но инструменты пришлось сдать и снова взяться за плуг да за бадью для навоза.

Как ни странно, Цао Бинкан не пал духом. Он понимал, что в жизни бывают везения и невезения. Но как бы крестьянину ни повезло, королем он все равно не станет. А не повезет — будет гнуть спину в поле. Ничего страшнее с ним случиться не может (если, конечно, он не убил человека). Так что ходил Цао Бинкан веселехонький и по-прежнему называл Суюэ милой да хорошей, стоило ему ее увидеть, хотя знал, что уж сейчас наверняка ничего от нее не добьется — просто тешил себя словами.

Но времена меняются, причем самым неожиданным образом, даже диву даешься. И вот Цао Бинкан оказался чем-то вроде новогодней хлопушки, которая взлетает высоко в небо и там взрывается, рассыпаясь всевозможными огнями: красными, зелеными, синими, желтыми; до того яркими, что слепнешь, глядя на них.

Как только разрешили брать подряды, Цао Бинкан повел себя совсем не так, как другие. Все продолжали сеять зерно, а он где-то раздобыл саженцы редкого дерева секвойи и посадил. Попутно подрабатывал в ремонтно-строительной бригаде коммуны и получал около четырех

юаней в день, да еще пристроил жену поварихой в только что открытую каменоломню и за это получал не меньше сорока пяти юаней в месяц. Осенью все собирали урожай, а он подогнал грузовик, взвалил на него свои саженцы, увез подальше и продал поштучно, за сколько — даже жене не сказал. Через два года на шоссе, идущем мимо села, он поставил прочный навес и, используя свои разносторонние навыки, стал конкурировать с целой ремонтной бригадой.

Когда в деревне некоторые начали строить себе дома, он стоял в стороне и смотрел, потирая руки и ухмыляясь.

— А ты чего не строишь? — спрашивали его.

— Я? Рано еще, рано, пока материала нет! — И его толстые губы растягивались в улыбке.

Но однажды в деревню вдруг прикатили два грузовика с кирпичом, один с цементом, два с деревянными деталями, самосвал с песком и еще фургон с чем-то. Эта длинная вереница машин извивалась по улице, словно дракон, взбаламутив всех жителей, которые, побросав дела, устремились поглядеть на грандиозное строительство. В три дня и две ночи был возведен двухэтажный дом.

Каждому любопытно было узнать, во сколько

он обошелся. Оказалось, что кирпич куплен по госцене, то есть за гроши, деревянные детали — по какому-то «личному соглашению», транспорт вообще ничего не стоит, только за бензин пришлось заплатить, а строительные рабочие — друзья-приятели Цао Бинкана. Правда, он заколол свинью и устроил угощение, купил два блока сигарет «Передние ворота» и на радостях запустил самую большую хлопушку, какую можно было купить.

— В газетах пишут о «шэньчжэнских скоростях»[62]. Мы, пожалуй, им не уступим, — похохатывал Цао Бинкан, любуясь своим сооружением.

В толпе раздавались завистливые смешки. Вдруг кто-то громко кашлянул, и люди поспешно расступились, пропустив вперед секретаря партбюро Чжу Фашаня, тоже пришедшего поглядеть на дом.

— Дядюшка Фашань, говорят, вы собираетесь строиться! — сказал Цао Бинкан. Он не забыл, как в свое время Чжу выпустил в него стрелу, но мстить за это не собирался. И не по доброте душевной, а потому что понимал: лучше ни с

---

[62] Примечания: 62

Шэньчжэнь — город на юге Китая, близ Гуанчжоу (Кантона), одна из так называемых «специальных зон», открытых для иностранного капитала.

кем не связываться. — Я знаю, у вас много своих возможностей, во мне вы не нуждаетесь, но я сызмала вас уважал. Окажите честь, позвольте вам немного помочь. А?

Красивые слова — красивые дела! Он построил Чжу Фашаню кирпичный дом из трех комнат и взял за это всего несколько сот юаней. Чжу — человек неглупый, а чем больше друзей, тем больше путей. Чжу Фашань теперь уже не помешает ему богатеть, но от секретаря партбюро многое зависит, и судьба его семьи тоже.

4

От строительства, развернутого Цао Бинканом, как говорится, летали куры и прыгали собаки. Из-за рева самосвалов невозможно было вести уроки, и Ду Баошэнь в ярости то и дело чертыхался.

Семье Баошэня жилось теперь лучше. Учительскую зарплату подняли сначала до двадцати восьми юаней, потом до тридцати двух и говорили, что еще увеличат. Отцу Баошэня удалось наконец развернуться: он засадил весь приусадебный участок арбузами, урожай снимал хороший, и семья теперь не знала недостатка не только в еде, но и в одежде. Поле под семейный

подряд они, благодаря Чжу Фашаню, получили самое близкое и лучшее, так что зерна в амбаре прибавилось. Два младших брата Баошэня уже отделились, сестра вышла замуж, родители состарились, дети пошли в школу, и все домашние дела свалились на Суюэ. Она за эти годы немного сдала. Ее кожа хоть и сохранила белизну, но утратила блеск, волосы приобрели желтоватый оттенок и часто оставались нечесаными, потому что у нее даже не было времени причесаться. Смеялась она теперь реже, из-за постоянных забот, в уголках рта явственно при этом проступали морщинки, стала сварливой; браня детей, подбоченивалась, как это обычно делают женщины, и буквально орала, пуская в ход крепкие словечки.

Придя с работы, Ду Баошэнь уже не мог, как прежде, спокойно выкурить сигарету, выпить чаю, пробежать глазами газету, а часто, отложив тетрадь и переодевшись в старье, таскал навоз да еще выслушивал попреки Суюэ: ее раздражало, что он ленив, туп и ни на что не годен. Ей не давали покоя хоромы Цао Бинкана: «Когда же мы начнем строиться? До седых волос ждать будем? Старшей-то нашей на будущий год уже семнадцать!»

Баошэню нечего было ответить, и он молча

глотал обиду. Он знал: завидовать бессмысленно, каждый богатеет как может, об этом и в газетах пишут. Один выращивает кроликов, другой — рыб, третий — грибы, четвертый — лекарственные растения. Некоторые даже разводят червей, лягушек или земляных черепашек — деньги из чего угодно можно делать. Но все это не для него: ни средств у него нет, ни опыта. И вообще, он не способен действовать — только говорить: дурная привычка, выработанная в нем за долгие годы преподавания. Можно было бы, например, выращивать ангорских кроликов, но им нужны клетки, а клетки надо делать, искать материал, пилить, строгать, буравить, красить… У других это просто получается, а он даже не знает, с какого конца взяться. Пустые мечты!

5

Поспели первые арбузы. Ду Тингуй обнаружил их ночью, когда ходил с фонариком по бахче. Он потихоньку перенес их домой и позвал Суюэ. Та как раз все эти дни убирала урожай в поле, и ее тело горело и ныло, словно кожу содрали. Даже ночью болели ноги, все кости ломило, и утром она встала разбитая, будто совсем не спала. Пока тащила килограммов пятьдесят арбузов,

пришлось несколько раз отдыхать. До села было девять километров, и когда добралась, рынок уже опустел.

Арбузов никто не продавал. Не успела она снять коромысло, как ее обступили и стали спрашивать о цене. Суюэ помнила, что в прошлом году ранние арбузы шли по тридцать два фэня кило, и, набравшись смелости, попросила сорок. Покупателей становилось все больше, и Суюэ тут же набросила четыре фэня, но одна пожилая женщина закричала, что нечего вздувать цену. Пока Суюэ колебалась, к ее безмену протянулась чья-то здоровенная рука.

— Кончай торговать, пойдем со мной!

Это был Цао Бинкан. Все решили, что он рыночный начальник, и положили обратно уже выбранные арбузы. Ничего не понимая, Суюэ взвалила на плечо коромысло и отправилась за Бинканом. Они прошли рынок, свернули на шоссе и остановились перед просторным навесом из асбестовых плит. Тут только Цао Бинкан рассмеялся:

— Что же ты, дорогуша, такая глупая? Вчера продавали по пятьдесят фэней, и то расхватали. А ну, тащи арбузы на весы, покупаю оптом!

Суюэ облегченно вздохнула и согласилась.

Мельком взглянула на Бинкана — его было не узнать: красивая бежевая куртка, волосы аккуратно подстрижены ежиком, лицо румяное, довольное и в то же время мужественное. Озорства в глазах нет, смеется приветливо.

— Спасибо тебе, братец Бинкан!

Она впервые назвала его так, до этого звала просто Цао, а то и шелудивым псом.

— Ну что ты! Как не помочь односельчанке? — хихикал он, принимая арбузы и вынося деньги. У Суюэ не оказалось сдачи, но он махнул рукой: не надо.

— Да, сейчас у людей много денег! — растроганно проговорила Суюэ.

— Деньги ничего не стоят! Взять хоть моих помощников. Они зарабатывают по сто, а то и по двести юаней в месяц… Эй, ребята, отдохните, поешьте арбузов! — крикнул он парням, чинившим под навесом грузовики и трактора.

— Братец Бинкан, все говорят, ты большим хозяином стал. Это правда? — с сомнением спросила Суюэ.

— Да, с их помощью… Ребята, ешьте! И ты ешь. Арбузы что надо! — Он отрезал два ломтя и протянул женщине. Она стала отказываться, мол, дома хватает, хотя дома есть арбузы не приходилось:

ведь по два-три юаня штука.

— Ешь, не церемонься, мы люди свои! В следующий раз неси арбузы прямо ко мне. За мной не пропадет, каждый в селе это знает! А у вас арбузы отменные: большие, сладкие. Когда мальцом был, сам воровал! Однажды твой свекор поймал меня… Ха-ха-ха!

Суюэ не осталась внакладе. Выгодно продала товар, сэкономила время, и не пришлось толкаться на рынке. Подсчитывая барыши и радостно улыбаясь, она решила пройтись по селу, заглянула в сельпо, куда давно не заходила. Чего только здесь не было! Всевозможные платья, туфли, косметика, и все до того яркое, что в глазах зарябило. Почти все вещи ей не по карману, но посмотреть и то приятно. В конце концов она купила младшим детям по паре сандалий, старшей дочке — жакет, а мужу — блок сигарет «Передние ворота».

На обратном пути она размышляла: «Странно, разбогатеет человек, и его не узнать. Взять хоть Бинкана. Не стал перед ней бахвалиться, вел себя скромно, прилично. Видимо, стал уважительно относиться к женщинам!»

Но в следующий раз, отнеся под навес арбузы, Суюэ поняла, что ошиблась. Цао Бинкан затащил ее в комнату, облапил, стал целовать. Суюэ по-

бледнела от страха, стала вырываться.

— Чтоб ты сдох! Люди увидят!

— Никого нет, сегодня выходной! Хорошая моя, я чуть не умер с тоски! — Он снова полез целоваться.

Вокруг действительно не было ни души. Суюэ еще больше испугалась. Наконец ей удалось вырваться.

— Я пошутил! Постой! Я не отдал тебе деньги за арбузы!

Она остановилась в дверях, в любую минуту готовая выбежать.

— Ладно, не буду взвешивать, пусть считается сто килограммов! — Цао вынул пять десяток. — И еще это возьми…

Он вытащил небольшой сверток и развернул перед рассерженной Суюэ. Там оказались блестящая коробочка и флакон с жемчужным кремом. Этот крем Суюэ видела в сельпо, он стоит два с лишним юаня! Что в коробочке, женщина не знала и, движимая любопытством, открыла ее. Это была компактная пудра, а на внутренней стороне крышки — зеркальце. В нем Суюэ увидела свои любопытные глаза и выбившиеся из-под косынки волосы. От пудры исходил тонкий и нежный запах, напоминавший аромат зимней сливы.

— Не надо мне ничего, — заявила женщина.

— Я же для тебя это купил специально! — умоляюще произнес Цао Бинкан. — Пожалуйста, осчастливь, возьми! — Он сунул сверток ей в сумочку и поцеловал в волосы. Она не успела увернуться и растерялась, не зная, как поступить.

— Не смей, люди увидят!.. Еще сделаешь — никогда больше сюда не приду!

— Нет, нет, я тебя не трону! — захихикал Бинкан, провожая ее, и вздохнул: — Эх, счастливчик твой книжник!

Суюэ чувствовала себя какой-то подавленной и шла, еле передвигая ноги. Ее сердце вдруг опустело, как корзины на коромысле. В глазах стояли слезы. Ощущение было такое, словно она потеряла что-то очень важное, очень нужное. А что — сама не знала. Цао, конечно, ее напугал, но лишь самую малость, зато арбузы проданы, в руках полсотни юаней, да еще жемчужный крем и великолепная пудреница, которые ей самой никогда не купить. И если ей пришлось пережить несколько неприятных минут, то, по крайней мере, не зря. Разве делал ей муж такие подарки? А Бинкан вон как расщедрился! Говорит, для нее старался. Слова, может, фальшивые, а подарки

— настоящие. И еще боялся, что она их не возьмет, просил «осчастливить». Что ни говори, а приятно. Она ведь не девушка, давно за тридцать, а такой мужчина — и сохнет по ней, забыть не может! На душе у Суюэ потеплело, слезы высохли, глаза больше не были красными, зато щеки порозовели. Она невольно оглянулась и увидела, что Бинкан с разинутым ртом ошалело смотрит ей вслед. Суюэ опустила голову и ускорила шаг.

Цао Бинкан и в самом деле был немного взволнован: самая красивая, самая добродетельная женщина в деревне впервые за много лет обратила на него внимание и даже приняла подарки, не очень обиделась, да еще оглянулась. Чутье подсказало ему, что достичь цели можно без особого труда и без больших жертв.

6

Нравы в тех краях господствовали довольно странные: стоило кому-нибудь увидеть гулявших в горах парня и девушку, как насмешкам и пересудам не было конца. Поэтому даже самые смелые не отваживались на подобные путешествия. Женитьба все еще считалась священной миссией родителей. Поженятся, а там пусть делают что хотят. Для замужних женщин, например,

не считалось зазорным во время работы в поле в шутку наброситься на кого-нибудь из мужчин и стащить с него штаны. Этому веселью не мешали даже бригадир или секретарь партбюро. Не в диковинку были супружеские измены. Муж в таких случаях колотил жену, а жена, узнав об измене, вцеплялась мужу в физиономию — на том все и кончалось. О разводах никто и не помышлял. Вешайся, топись, в общем, умирай, как тебе вздумается. Само понятие «развод» не умещалось в головах у крестьян — ни у старых, ни у молодых. Потому семьи были на редкость крепкие и разрушить их могла только смерть.

Суюэ обычно не участвовала в таких забавах, как сдирание штанов с мужчин, потому что придерживалась традиционных правил и не считала, что женщина после замужества может себе все позволить. Для нее не существовало других мужчин, кроме мужа. И вдруг она изменила своим принципам. Она знала, чего добивается Цао Бинкан, боялась, но ходить к нему продолжала. В конце концов он овладел ею. Ее словно вела к нему какая-то огромная рука. Бинкан говорил, что это судьба. Суюэ вначале не верила, но ничего другого придумать не могла и в конце концов поверила.

Днем, в поле, некогда было размышлять, зато ночью на нее то и дело накатывала тревога. Судьба? Может быть, и судьба. Это чуть-чуть утешало, усталость брала свое, и Суюэ засыпала. Сомнения и страх быстро рассеивались. Только в минуты близости с мужем, поглаживая его костлявые плечи и спину, она испытывала угрызения совести. Как она перед ним виновата! Даже смертью не искупить этой вины! Переживет ли он, если однажды узнает? Надо порвать с этим Цао, не ходить больше к нему!

Когда Баошэнь засыпал, она, исполненная жалости, легонько касалась его припорошенных мелом волос и думала о том, какой хороший у нее муж: образованный, скромный, трудолюбивый. И как его любят дети! А этот Цао — шелудивый пес. Ему бы денег побольше да баб! Ее, честную женщину, сбил с пути! А муж ничего не знает, спит, как говорится, в грохочущем барабане. От всех он терпит, а тут еще жена рога наставила. Ее совесть, видно, собаки съели!.. Суюэ начинала плакать, и слезы капали на подушку.

В следующий раз, отправившись продавать овощи, она не зашла к Цао Бинкану, но в конце концов та же огромная рука снова привела ее под навес.

7

В конце месяца Ду Баошэнь полез в стол за деньгами и вдруг обнаружил золотое кольцо. От удивления он потерял дар речи, а придя в себя, спросил Суюэ, откуда оно взялось.

Та струхнула и ответила так, как ее научил Цао Бинкан:

— На базаре купила. Да это подделка, юаня не стоит.

У Баошэня застучало в висках, потому что на ярлыке он прочел: «Выставка-продажа золотых и серебряных украшений». Об этой выставке даже в провинциальных газетах сообщалось. Жена врет, значит, влипла в какую-то грязную историю! Закрыв дверь, Баошэнь с размаху ударил жену по лицу, раз, другой, третий, и Суюэ упала, сжалась в комок, но не заплакала. Тогда Баошэнь пришел в еще большую ярость и принялся колошматить ее кулаками, пинать ногами, потом схватил скалку. Тут женщина зарыдала:

— Не виновата я!..

Она с пятого на десятое рассказала обо всем мужу и, пытаясь хоть как-то оправдаться, твердила, будто Цао Бинкан ее изнасиловал.

— Убей меня! — вопила женщина, глядя на

скалку в трясущейся руке мужа. В этот момент она искренне желала, чтобы скалка опустилась ей на голову. Она все равно будет искать себе погибели. Только смерть избавит ее от страданий и позора.

Тем временем вернулась из школы старшая дочь и, увидев через окно, что происходит, ворвалась в дом и отобрала у отца скалку. Суюэ, тихонько всхлипывая, повалилась на постель. В деревне Западная мужчины в таких случаях обычно вздыхали и отступались. Не таким был Ду Баошэнь. За долгие годы преподавания он усвоил конфуцианский принцип — «ученый стерпит скорее смерть, чем позор», и решил во что бы то ни стало подать жалобу.

Целую ночь он с пристрастием допрашивал жену, а утром отправился в село к двоюродному брату. Как-никак Баомин закончил среднюю школу, у него красивый почерк, не то что у Баошэня, да и тайну он наверняка сохранит. Они долго составляли жалобу, правили, обсуждали: куда лучше ее подать — в суд или волостную управу? Писали чуть ли не дотемна. Баомин даже пожертвовал марку, которую приготовил для очередного письма возлюбленной.

— Возвращайся скорее домой, — сказал Баомин

брату, — а то как бы Суюэ рук на себя не наложила!

Он хоть и был молод, а таких историй слышал немало.

— Хорошо бы одолжить у кого-нибудь велосипед.

— В воскресенье никого не найдешь…

Тут Баомин вспомнил, что велосипед есть у Сююй, но идти к ней не хотелось. Ведь она ясно сказала: родители не согласны на их брак, а причину он и сам хорошо знал.

Пришлось Баошэню идти пешком, и он не стал задерживаться. Бросив жалобу в почтовый ящик, он немного успокоился, но тут же подумал, что весь день не видел Суюэ — как она там? Перед уходом из дому он сгоряча швырнул ей кухонный нож и веревку — не случилось бы беды!

Он и не заметил, как в два прыжка вскарабкался на холм. С головы струйками бежал пот, добиравшийся по спине до самых пяток. Если Суюэ покончила с собой, что будет с детьми, стариками, домом, семейным подрядом? Пусть Цао Бинкана присудят хоть к пожизненному заключению — от этого ничуть не легче! Тут Баошэнь струхнул не на шутку, он вдруг понял, что вся семья, и сам он, держится на жене. Можно

обойтись без него, только не без нее!

Руки его дрожали, когда он стучал в дверь.

Открыла младшая сестра, выданная замуж в другую деревню.

— Как ты здесь оказалась? — машинально спросил он и метнулся в комнату. Суюэ, живая и здоровая, сидела на постели, а возле нее родители, братья и невестки.

Увидев их, Баошэнь снова распалился:

— Зачем пришли? Испугались, что она покончит с собой? Эта дрянь, распутница?! — Таких слов он никогда прежде не произносил, но сейчас они принесли ему облегчение.

Все молча слушали. Суюэ плакала навзрыд и не поднимала головы, боясь взглянуть на мужа.

— Ладно, хватит, брат! — примирительно сказала сестра. — Во всем виноват этот мерзавец Цао, а невестка просто наивна…

— Наивна, черт побери?!

— Подумай, сколько лет вы прожили в мире и согласии…

— К черту мир и согласие!

Все продолжали молчать. Вдруг Баошэня охватило какое-то безразличие, и, не зная, что делать, он направился к двери.

— Ты куда? — бросился к нему отец. — Хочешь,

чтобы вся деревня узнала? Сейчас же вернись!

Он завел его в свою комнату, и Баошэнь только сейчас понял, почему иероглиф «терпение» состоит из двух частей: «сердца» и «клинка».

— Я не вынесу этого!

— У мужчины должна быть выдержка… В старину говорили, что доблестный муж не охнет, если даже на грудь ему поставить корабль! Ведь ты уже отвел душу: и побил, и поругал Суюэ, а она тебе как-никак жена…

— Какая к черту жена! На этого негодяя Цао я подал жалобу, а с ней разведусь!

— Жалобу? Только этого не хватало! От врагов надо держаться подальше, а ты — жалобу… Когда я служил в гоминьдановской армии, полком командовал Лысый Се, до чего же был умный! Узнал, что его наложница спит с адъютантом, вызвал его и говорит: «Ах ты мерзавец, сучий сын! Чтобы ноги твоей больше не было в моем доме!» И все. А ведь мог зарезать обоих, пристрелить, никто слова ему не сказал бы. Так потом, во время боя, адъютант жизнью своей пожертвовал, чтобы спасти комполка.

Пожалуй, за целый год Ду Тингуй не говорил с сыном столько, сколько в тот вечер. Они полулежали на отцовской кровати, и сын незаметно

уснул.

В соседней комнате остались Суюэ и мать Баошэня. Остальные разошлась. Мать, обычно ворчливая, сейчас со слезами уговаривала невестку успокоиться и легонько поглаживала ее колено, боясь, что та убежит и кинется в пруд.

Второй день Суюэ не ела и не пила. В горле у нее пересохло, голову будто шилом кололи, но сердце постепенно успокаивалось. Она выплакала все слезы, и гнев, обида, раскаяние, разочарование уступили место безразличию. Вдруг Суюэ подумала: разве вправе я умереть? Сколько горя принесла мужу, а теперь брошу на него всю семью, старых и малых? Нет! Я перед ним в неоплатном долгу и буду, как говорится, всю жизнь для него коровой и лошадью, чтобы замолить свой грех. Пусть бьет, пусть ругает — все стерплю. А в этой жизни не расплачусь, тогда в следующей! Глаза ее блеснули, и она крикнула:

— Мама, дайте воды! Пить хочу!

Свекровь всплеснула от счастья руками и возблагодарила Будду.

8

Проводив брата, Баомин уселся под тополем на краю села. Ноги у него обмякли, в сердце жгло,

будто туда насыпали соли.

Суюэ, сколько он ее помнил, всегда казалась ему самой красивой, доброй и симпатичной женщиной на свете. Еще в детстве он любил к ней ходить, ему нравилось, когда она ласково ерошила его спутанные волосы, усаживая рядом с собой у огня, нравилось таскать за ней ведро с кормом для свиней. Потом он подрос, стал сдержанней в своих чувствах, но по-прежнему тайком любовался Суюэ, когда навещал брата. Чай и еда, поданные невесткой, казались самыми вкусными, самыми ароматными. Поступив в уездную среднюю школу, он в воскресенье, возвращаясь домой, обязательно заглядывал к брату. Ему достаточно было перебросить с невесткой несколькими словами, чтобы на душе стало легко. Сююй как-то спросила, нравились ли ему когда-нибудь другие девушки. Он тогда яростно замотал головой, а сам покраснел, вспомнив Суюэ. Конечно, он никому об этом не говорил, даже себе не смел признаться, но клялся не раз, что женится только на девушке, похожей на нее.

Не думал он, что его кумир сам себя втопчет в грязь. Баомину было еще горше, чем брату: тот хоть мог пожаловаться, а ему что делать? Беда, о которой нельзя сказать, особенно тяжка.

Словно пьяный бродил он по улицам с твердым намерением зарезать Цао Бинкана, но тот, оказывается, давно закрыл свою мастерскую. На месте навеса стояли строительные леса, возле которых распоряжался какой-то здоровяк, а самого Бинкана и след простыл.

Тут Баомин вспомнил Сююй и немного успокоился. Она умнее и опытнее Суюэ. Работает по договору в строительной бригаде, где полно парней вроде Цао Бинкана, и ничего… Впрочем, где гарантия, что и с ней такое не приключится? Нет, уж лучше вернуться в свою деревню и там найти себе невесту — пусть не такую красивую, зато надежную. А на любовь плевать!

Так он промаялся целую неделю, а в субботу вечером, освободившись от занятий, решил сходить в деревню, поглядеть, как там Суюэ. Но при мысли о том, что он ее увидит, ему становилось страшно.

— Баомин!

Он сразу узнал звонкий голос Сююй. Она всегда так делала: появлялась на школьной спортивной площадке, звала его и уходила, затем оборачивалась и, убедившись, что он идет следом, приводила его таким образом на край села.

Сегодня Баомин шел как завороженный. В су-

мерках девушка в длинном облегающем пальто выглядела особенно стройной. Зачем она пришла? Может быть, передумала? На сердце стало веселее, и печальные мысли о Суюэ улетучились. Хороша у него невеста, ничего не скажешь. Хоть бы сжалилась над ним и согласилась.

— Ну, что ты надумал? — спросила Сююй не оборачиваясь, но очень ласково.

— Ничего не надумал. Сам не знаю, что делать… — растерянно ответил Баомин. Ведь все свои муки и мольбы он ей не раз изливал в письмах. А она опять спрашивает. Зачем? Неужели он ей совсем безразличен?

— Значит, ты хочешь со мной расстаться? — Сююй обернулась и обиженно на него взглянула.

Кровь хлынула в голову Баомина.

— А что мне делать?!

— Заладил: «что делать», «что делать»… Изловчился бы как-нибудь, чтоб в школе остаться!

— Умел бы я ловчить, так и говорить было бы не о чем…

— Неужели ты такой наивный? — Сююй подошла ближе, и Баомин ощутил запах духов. — Знаешь Лю Мина, сына заведующего волостным отделом образования? Он слесарь в ремконторе.

— В какой ремконторе?

— Э, да ты действительно простофиля! Той самой, где управляющим — Цао, из вашей деревни.

— Цао Бинкан? — испуганно вскричал Баомин.

— Да, он. Помнишь, я тебе говорила, что у меня дядя — секретарь в волостной управе. Так вот, он сказал моему отцу, пусть Цао замолвит слово, и тебя не сократят! — Глядя на Баомина, который стоял с оторопевшим видом, девушка передернула плечами.

— Ты чего это? Вы же односельчане. Попросишь его помочь, подарочек принесешь — разве это позор!.. Да ты чего? Любишь ты меня или нет? Говори же!

Но Ду Баомин слова не мог вымолвить от волнения, будто в горле у него застрял кусок горячего соевого творога.

9

Чжу Фашань с Ду Тингуем хоть и были в родстве и жили в одной деревне, общались мало. Раньше в силу всевозможных политических перипетий, а потом просто по привычке. Вот почему, когда Фашань появился в доме Ду, все поняли, что у него какое-то важное дело. Гостя провели в горницу, усадили, поговорили о всяких пустяках. Наконец Чжу Фашань приступил к главному:

— Знаешь, Баошэнь, я хоть тебе и дядя, а помочь не мог…

— В чем помочь? — спросил тот, решив, что к Фашаню пришла его жалоба и он хочет посоветоваться, как поступить с негодяем. А что советоваться — секретарю партбюро виднее.

— В твоей реабилитации.

— Какой реабилитации?

— Ну, у тебя же образование, а ты двадцать лет прозябаешь в начальной школе. Ведь несправедливо! Уже давно следовало тебя повысить! — Чжу Фашань произнес все это не спеша и затянулся сигаретой. — Пострадал-то ты из-за отца. Я не раз просил правление коммуны пересмотреть твое дело, но что пересматривать, если Тингую не было предъявлено никакого обвинения! Так они мне и сказали. Видишь, какая нелепость!

Ду Баошэнь насторожился: видимо, дядя ничего не знает о жалобе. Возможно, волостной партком сам пошлет человека во всем разобраться, минуя секретаря партбюро.

— И еще они сказали: «Зачем этого Ду Баошэня реабилитировать? Пусть себе учит ребятишек! Сейчас школьный вопрос в центре внимания правительства!» Ты только подумай, какие бюрократы!.. И я виноват, настойчивости не проявил.

После Нового года уйду в отставку по возрасту!

— Ты крепкий. Пяток лет еще можешь поработать! — сказал Ду Тингуй.

— Так решила парторганизация, и обсуждению это не подлежит, — горько усмехнулся Чжу Фашань. — Но я сказал в волостном комитете, — он повысил голос, — что перед уходом хотел бы решить несколько дел. И первое из них — трудоустройство Баошэня!

— Вот это правильно! — радостно закивал Ду Тингуй.

Но Баошэнь опечалился. Он часто думал о переходе на другую работу, особенно последние годы, хотел перебраться в волость, обращался к дяде, но дальше обещаний дело не шло. Если бы дяде понадобилось пристроить сына или внука, он бы подсуетился, а до племянника руки не доходят… И Баошэнь перестал надеяться. Почему же дядя вдруг вернулся к этому разговору?

— Баошэнь — способный и честный, я говорю так не потому, что он мой родственник. В волости это тоже понимают… — продолжал дядя.

— Так ведь и ты приложил руку к его воспитанию! — подхватил Ду Тингуй по старой привычке льстить кадровым работникам.

— Сегодня на собрании в волостном комитете

был заместитель начальника управы Чжао, я давно при нем работаю, вот и решил поговорить с ним о Баошэне. «Как же, знаю молодого Ду!» — сказал он. Баошэнь, ты ведь бывал у них на собраниях, когда он заведовал отделом образования?

Баошэнь кивнул.

— Так вот, он сказал: «Этот вопрос легко разрешить. Сейчас во вновь созданный отдел предпринимательства как раз набирают людей…»

— А что я могу там делать? — заволновался Баошэнь. Это было прекрасное место.

— Я тоже об этом спросил и еще сказал, что Баошэню уже за тридцать и держать его мальчиком на побегушках неловко. Если уж назначать, то на приличную должность…

«Уж лучше быть на побегушках, чем возиться с детишками!» — подумал Ду Баошэнь, но промолчал.

— Почтенный Чжао сказал: «Нет, нет, не беспокойся! Для начала, я думаю, мы возьмем его делопроизводителем или секретарем, посмотрим, как он пишет бумаги, а потом сделаем заместителем начальника отдела!»

Баошэня распирало от радости, и он рассмеялся. Слова дяди мгновенно развеяли сгустившиеся в

его сердце тучи. Столько лет он дышал меловой пылью, и никому не было до этого дела, и вдруг мечтам его суждено осуществиться. Бывает, что положение кажется безвыходным, безнадежным, но неожиданно появляется человек и все решается самым лучшим образом! Конечно, вопрос этот давно назрел.

Едва Чжу Фашань вошел в дом, как Суюэ отправилась на кухню варить свинину, а мать Баошэня принесла гостю чаю. Они словно чувствовали, что Чжу принес им радостную весть, и выглядели такими счастливыми, будто до того в доме не случилось беды.

Перед уходом Чжу Фашань выразительно посмотрел на Баошэня, давая понять, что хочет с ним еще о чем-то поговорить. Они вышли и некоторое время молчали, лишь у бровки поля Фашань наконец произнес:

— Нечего выносить сор из дома.

Он сунул в руку Баошэня какой-то конверт. При лунном свете, затененном деревьями, не было видно, что там написано. Но Баошэнь сразу все понял. А Чжу Фашань продолжал:

— Заместитель начальника управы сказал, что в волости сейчас создается транспортная контора, крупное предприятие. На открытие приедет

все уездное руководство, а генеральным директором конторы назначен Цао Бинкан…

Рука Баошэня дрогнула, и он выронил конверт.

— Скорей подними! — метнул на него взгляд Чжу Фашань и резко сказал: — И брось в печку! Не позорь меня, старика!

10

В школе начались зимние каникулы. Учителя разъехались по домам, и общежитие пустовало. Воспользовавшись случаем, Баомин наконец наяву сделал то, что видел тогда во сне.

На следующий день Сююй взяла отгул, чтобы проводить жениха до Западной, а заодно поглядеть на его деревню. Она сказала, что к Празднику весны они подадут заявление, но формальности протянутся до летних каникул. После свадьбы хорошо бы провести несколько дней в уездном городе и в центре провинции.

Так или иначе, но главное свершилось, и Баомин больше не опасался, что Сююй сбежит. Теперь его тревожила только работа. На этот раз его как будто не сократят, но за дальнейшее поручиться трудно. Он решил налечь на науки и сдавать экзамены в полиграфический институт — с дипломом гораздо надежнее.

Сев вдвоем на велосипед да еще погрузив на него вещи, они ехали и хохотали. Не успели добраться до холма, как увидели, что навстречу им едет Баошэнь.

— Что, на каникулы? — обратился он к брату. — А вы, Сююй? К нам в деревню? Хорошее дело, приветствую!

На Баошэне были суконный френч, зимняя кепка, длинный шерстяной шарф. Аккуратно подстриженный, чисто выбритый, румяный от мороза — словом, воплощение энергии.

— Уже на работу?

— Да, решение есть давно, сегодня должны зачислить! — весело улыбнулся Баошэнь.

— Я вижу, ты купил «Феникс»?[63] — с завистью протянул Баомин, глядя на его велосипед. — Знаменитая марка! Как тебе удалось достать?

— Известное дело, по знакомству… У работника предпринимательского отдела много возможностей! Ты тоже хочешь?

— Хочу. Только женский — для нее.

— Ладно, попробуем. Сююй, погуляйте подольше в нашей деревне! Я только оформлюсь и сразу вернусь. Прошу ко мне на обед, моя жена отлич-

---

[63] Примечания: 63

«Феникс» — известная марка велосипеда.

ная кулинарка!

И покатил дальше на своем «Фениксе».

— А какая она, его жена? — лукаво спросила Сююй.

Баомин не ответил. Как далекое эхо, в душе его всколыхнулись печальные воспоминания.

— Красивая, симпатичная?

— Чего там красивого? Обыкновенная деревенская женщина! — с деланным безразличием ответил Баомин. От задорного смеха Сююй печаль его бесследно исчезла.

Тем временем Баошэнь подъехал к волостной управе и не успел поставить велосипед, как услышал:

— Товарищ Ду, к вам пришли!

Еще нет приказа о его зачислении, а к нему уже являются посетители! Что ж, это очень лестно! К тому же посетитель оказался довольно важной персоной. Года два назад он проводил инспекцию в школе, и его называли тогда заведующий Сунь. Чем именно он заведовал, ни Баошэнь, ни остальные не знали. Да и сейчас неизвестно было, кто он такой, но оба обменялись крепким рукопожатием.

— У вас найдется время? Мне нужно с вами поговорить… — приветливо спросил Сунь.

У Баошэня едва не вырвалось, что он еще должен оформиться, но это могло показаться невежливым, а ему с самого начала хотелось зарекомендовать себя с лучшей стороны и перед начальством, и перед коллегами. Поэтому он ответил:

— Конечно, конечно!

Посетитель счел неудобным вести разговор в отделе и увел Баошэня в дальний угол двора.

— Я к вам по личному вопросу. Помогите мне разобраться в одном человеке…

— В ком же?

— В вашем односельчанине, хорошо вам знакомом, Цао Бинкане.

— А что именно вас интересует? — оторопел Баошэнь.

— Вы знаете, как он вел себя последние годы?

Баошэнь молчал и натянуто улыбался. Он никак не мог понять, чего тот хочет.

— Недавно в нашу комиссию по проверке дисциплины поступили кое-какие сигналы, — все так же приветливо и мягко продолжал Сунь. — Нет ли в хозяйственной деятельности и самом поведении Цао Бинкана чего-нибудь… предосудительного?

У Баошэня застучало в висках. Как здорово!

Он может разом отомстить этому негодяю, сбросить его с небес на землю! И не по собственной инициативе — просто расскажет правду, и все. Жалоба давно сгорела в печке, но теперь чудесным образом выплывет из его уст, превратится в железную дубинку! Один удар — и от «генерального директора» останется прах… Он вспомнил тот день, когда вместе с Баомином взвешивал каждое слово жалобы, обвинял Цао Бинкана в моральном разложении, но сейчас, кажется, пахнет не только моральным разложением!

То ли Баошэнь слишком долго молчал, то ли Сунь проявил нетерпение, только в тишине прозвучал еще один наводящий вопрос:

— Я слышал, вы писали жалобу?

Баошэнь вздрогнул, и его захлестнуло гневом. Он вдруг сразу все понял. Вот оно что! Оказывается, ты пришел сюда собирать материал на Цао, хочешь, «идя по лозе, нащупать тыкву»! Наверняка охотишься не столько за Цао Бинканом, сколько за его покровителями — скажем, заместителем начальника управы Чжао, из меня хочешь сделать стрелка, а из моей жены пулю! И тогда склеится твое обвинение или не склеится, но меня с женой ты спокойно бросишь в дерьмо! Нам достанется не свинина, а поросячий визг.

Нет, прошли те времена… Пусть ты представляешь любую комиссию, я не попадусь на твою удочку!

— Какую жалобу? Я ничего не писал. Откуда мне знать подноготную Цао Бинкана? Вам, надеюсь, известно, что я все время преподавал в деревенской школе! — выкрикнул он со смехом, в котором слышались слезы.

— А! — разочарованно протянул Сунь и зевнул. — Тогда это, наверное, недоразумение.

— Конечно, недоразумение.

— Да, никто не может избежать сплетен…

— Действительно, никто!

— Ну что ж, я просто так спросил. Поговорили, и все! — Сунь похлопал его по плечу и пошел.

— Конечно, конечно! — облегченно вздохнул Баошэнь.

— А сегодня жарко, — сказал Сунь, снимая ватную шапку. — Необычно жарко для этого времени.

— Да, боюсь, что снег начнет таять! — подхватил Баошэнь.

Его оформили гораздо быстрее, чем он ожидал, и обещали завтра же принести письменный стол и поставить напротив стола начальника. Баошэнь был очень доволен. Он вспомнил, что

в деревне его ждут двоюродный брат и Сююй, и заторопился. Завтра он официально выйдет на работу. Перед ним открылась новая дорога!

Как он и предполагал, на обратном пути пошел снег, который тут же таял, падая на разгоряченную землю. Только на деревьях задерживался. Добравшись до вершины холма, Баошэнь взглянул вдаль и увидел в тумане свою деревню: она казалась серо-белой.

ЧЖАН СЯНЬЛЯН
ДУША И ТЕЛО
© Перевод А. Монастырский

«Богач бросил своего сына...»
В. Гюго

Чжан Сяньлян. Родился в 1936 году в Нанкине. В 1955 году окончил в Пекине среднюю школу и был направлен преподавателем в школу кадров при провинциальном комитете Ганьсу. В 1958 году был отстранен от должности и отправлен рабочим в сельскую местность Нинся-Хуэйского автономного района. В 1979 году назначен редактором журнала «Север». В 1980 году вступил в Ассоциацию китайских писателей, избран секретарем Нинся-Хуэйского отделения Ассоциации.

В 50-е годы опубликовал более шестидесяти стихотворений. После этого не писал в течение ряда лет. Начиная с 1979 года опубликованы десять его рассказов, в том числе «Старик Синь и собака», а

также повесть «Загробное объяснение в любви». Публикуемый рассказ удостоен Всекитайской премии 1980 года.

* * *

Сюй Линцзюнь не думал, что снова увидится с отцом.

Роскошно обставленная гостиная на седьмом этаже фешенебельного отеля. За окном — пустое синее небо, лишь кое-где тонкие, как дымок, полоски облаков… А там, на далекой равнине, откуда он приехал, из окна открываются золотые и зеленые просторы бескрайних полей. Приехав сюда, он словно оказался поверх облаков — странное чувство стеснило грудь. И дым от отцовской трубки висел в комнате словно туман, делая все неосязаемым, нереальным. Но табак, который курил отец, был тот же самый — с профилем индейца на обертке. Тот самый табак, запах которого он так хорошо помнит с самого детства. Слегка сладковатый кофейный аромат. Значит, это не сон, все происходит на самом деле.

— Что прошло — то прошло! — махнул рукой отец. Он закончил привилегированный колледж еще в начале 30-х годов, но аристократические манеры сохранил до сих пор. В дорогом костюме

из тонкой ткани в полоску он сидит в кресле, закинув ногу на ногу. — Когда я только приехал сюда, то сразу усвоил один термин из здешнего политического лексикона — «перспектива». Тебе надо поскорее выбираться отсюда.

То, как одет отец, да и сама обстановка смущали его. Да, действительно, прошло много времени, думал он, что прошло — то прошло, но как можно это забыть?

Ровно тридцать лет назад была такая же осень. С адресом в руке, написанным матерью на листке бумаги, он отыскал на улице Сяфэй виллу, скрытую в глубине сада. Только что прошел дождь. Желтеющие листья засверкали еще ярче, тяжелые капли падали с французских платанов, росших вдоль стены, окружавшей сад. Поверх забора была протянута колючая проволока. Ворота были железные, выкрашенные в строгий серый цвет. Он долго звонил, пока открылось в воротах маленькое окошечко. Привратника он сразу узнал. Человек повел его по бетонной дорожке, зажатой между двумя рядами вечнозеленого кустарника, и они вошли в двухэтажный дом.

Тогда отец был гораздо моложе. На нем была шерстяная бежевая безрукавка. Он стоял, положив локоть на каминную полку, и курил, глядя в

пол. У камина в кресле с высокой спинкой сидела женщина, из-за которой все время плакала его мать.

— Это тот самый ребенок? — услышал он ее вопрос, обращенный к отцу. — А он очень похож на тебя. Подойди сюда!

Он не двинулся с места, но невольно взглянул на нее. Запомнились сверкающие глаза и ярко-красные губы.

— Ну, что случилось? — отец поднял наконец голову.

— Мама больна, она просит вас вернуться.

— Она всегда больна, всегда…

Отец вдруг отошел от камина и начал ходить из угла в угол. Ковер на полу был зеленый, с белыми узорами. Он следил взглядом за шагами отца, изо всех сил стараясь, чтобы слезы не закапали из глаз.

— Скажи своей матери, что я приду потом, попозже. — Отец остановился перед ним. Но он не верил отцу. Трудно было поверить. Это обещание мать не раз слышала по телефону. Он резко и упрямо повторил:

— Она хочет, чтобы вы вернулись сейчас.

— Знаю, знаю… — Отец опустил руку на его плечо, легонько подталкивая к двери. — Ступай. Тебя

отвезут на машине. А мама, если очень больна, пусть сходит в больницу.

Отец проводил его в прихожую и вдруг ласково погладил по голове и негромко сказал:

— Будь ты постарше — было бы лучше. Ты смог бы понять… Твоя мама… С ней очень трудно. Она такая… Такая…

Он поднял голову и увидел, что отец трет ладонью затылок, а лицо его исказила страдальческая гримаса. Его охватила нежность, смешанная с горечью, пожалуй даже жалостью.

А когда он, сидя в отцовском «крайслере», катил сквозь золото падающих листьев по французскому кварталу, слезы вдруг хлынули из глаз. Стыд, одиночество, жалость к самому себе охватили его. Никого не жаль. Только себя. Ему так мало доставалось материнской любви. Мать чаще гладила птичьи перышки, чем его волосы. Не видел он и отцовской заботы. Отец возвращался домой замкнутый, суровый, потом у них с матерью начинались бесконечные ссоры. Отец сказал, что будь он старше, было бы лучше, он мог бы понять… А ведь в свои одиннадцать лет он уже смутно понимал кое-что: матери больше всего нужна любовь мужа, а отцу больше всего нужно отвязаться от жены с ее странным характером.

Сам же он не нужен никому — ни отцу, ни матери! Он всего лишь плод «несвободного» брака между американским студентом и дочерью помещика.

Отец, конечно же, не вернулся домой. Вскоре мать узнала, что он с новой госпожой уехал из Китая, и через несколько дней умерла в немецкой больнице. Как раз в это время Освободительная армия вступила в Шанхай…

Теперь же, когда медленно, месяц за месяцем, минули тридцать лет и произошло столько событий, что их не вместили бы никакие другие тридцать лет, — теперь отец вдруг вернулся. Вернулся и хочет увезти его с собой. Все это так неожиданно, даже трудно до конца поверить, что перед ним его отец и что сам он сидит тут, в этой комнате.

Только что, когда отец и его секретарша мисс Сун открывали кладовку, чтобы достать одежду, он увидел на стоявших там больших и маленьких чемоданах разноцветные фирменные наклейки гостиниц: Лос-Анджелес, Токио, Бангкок, Гонконг… Была еще круглая этикетка авиакомпании «Пан-Амэрикэн» с изображением «Боинга-747». Из крохотной кладовки выглянул огромный мир. А он два дня и две ночи трясся в машинах и поездах, пока добрался сюда. На диване валяется его

серенький чемоданчик из искусственной кожи. В деревне он считался довольно-таки модным, мог бы даже сойти за импортный. Но в этой гостиной он выглядит жалким, неказистым, потрепанным. На чемоданчике лежит его нейлоновая авоська с умывальными принадлежностями и сваренными в чае яйцами, оставшимися с дороги. Глядя на сплющенные, потрескавшиеся яйца, он вспомнил, как вечером, провожая его, Сючжи советовала ему взять побольше, чтобы угостить отца. Он не удержался от саркастической усмешки.

Позавчера Сючжи настояла на том, чтобы поехать с Цинцин в уездный центр на автостанцию провожать его. Он впервые надолго покидал свое село с тех пор, как они поженились, и эта дальняя поездка стала для семьи целым событием.

— Папа, а Пекин это где?

— Пекин на северо-востоке от уездного центра.

— А Пекин много-много больше нашего города?

— Много-много больше.

— А деревья маланьхуа там есть?

— Нет.

— А песчаные финики?

— Тоже нет.

— Ну-у-у, — совсем как взрослая вздохнула Цинцин, положив подбородок на руку. Вид у нее был крайне разочарованный. Она считала, что в хорошем месте обязательно должны быть и деревья маланьхуа, и песчаные финики.

— Глупенькая, это же большой город! — принялся утешать ее старый Чжао, который вел машину. — Твой папа далеко пойдет, высоко взлетит. Может, даже поедет с дедушкой за границу! Правда, учитель?

Сючжи лишь слабо улыбнулась, не сказала ни слова. В этой улыбке была безграничная любовь к нему и преданность. Так же как Цинцин не могла представить размеров Пекина, так у нее не укладывалось в голове, что он поедет в другую страну.

Асфальт кончился, и машина запрыгала по неровной дороге, избитой копытами. К северу шла ровная полоса полей, справа, вдали, в дрожащем мареве — луга, где он пас когда-то коней. Здесь все притягивало его как магнитом. Каждая травинка, каждое деревце вызывали бесконечную цепь воспоминаний. Все это стало еще ближе, еще родней. Он знает, что там, за тремя тополями, которые жмутся друг к другу, растет коренастое финиковое дерево. Он вышел

из машины, сорвал ветку. Все принялись за мелкие плоды, отрывая их по одному. Дикие финики растут только здесь, на северо-западе. Кислые, терпкие и чуть сладковатые, они многих спасли в голодное время в начале шестидесятых. Как давно он их не ел! И снова во рту этот знакомый приятный вкус! Не зря Цинцин хочет, чтобы они росли и в Пекине.

— Дедушка наверняка никогда не пробовал диких фиников. — Сючжи выплюнула косточку в окно машины и рассмеялась. Это единственное, что подсказало ей воображение о старике, приехавшем из-за границы.

А и не надо ничего воображать. Отец с сыном так похожи, что если бы даже старик встретился ей случайно на улице, она непременно узнала бы его. У обоих узкие длинные глаза, прямой тонкий нос, полные губы. Жесты, походка — все выдает их родство. Отец вовсе не выглядит старым. Кожа у него такая же темная, как и у сына — наверняка загорел на пляжах Лос-Анджелеса или Гонконга, — но гладкая, не шелушится. Отец по-прежнему следит за собой. Поседевшие волосы причесаны аккуратно — волосок к волоску. На тыльной стороне рук появились старческие морщины, но ногти подстрижены ровно, подпилены,

отполированы и сверкают. На чайном столике рядом с кофейными чашками лежат в беспорядке его трубка «Три Би», пачка табака «Марокканское руно», золотая зажигалка и заколка с бриллиантом для галстука.

Разве похож он на человека, который станет есть дикие финики?

— О, да здесь даже можно услышать «Лунный свет» Дэнни Нитмана!

Эта мисс Сун очень правильно говорит по-китайски. Она высокая и источает тонкий аромат духов. Длинные волосы схвачены на затылке фиолетовой ленточкой и раскачиваются при каждом движении головы, как лошадиный хвост.

— Да вы только взгляните, шеф! В Пекине диско еще популярнее, чем в Гонконге. Настоящая модернизация!

— Ритмической музыке трудно противиться. Поневоле начинаешь или подпевать, или двигаться в такт. — Отец улыбнулся улыбкой всезнающего философа. — Но они пока еще только начинают расставаться со своим прежним аскетизмом.

После ужина отец и мисс Сун повели его в дискотеку. Он и не думал, что теперь в Пекине может такое быть. Ребенком он ходил с родите-

лями в шанхайский «Ти-Ти-Си», «Байлэмянь», во Французский ночной клуб. Он как будто снова туда попал. Но, глядя на призрачный свет ламп, на женщин, похожих на мужчин, и на мужчин, похожих на женщин, которые двигались в танце, как тени в лунном свете, он чувствовал себя неспокойно, словно человек, неожиданно вытащенный на сцену, который не может войти в роль. Перед этим, в ресторане, он ел мало, блюда уносили почти не тронутыми. Желудок протестовал, отказываясь принимать пищу. Там, в уездном центре, в столовую всегда берут с собой алюминиевую коробку и все, что не съедено, уносят домой.

В зале звучит музыка. Пары кружатся в странном танце — не обнявшись, а друг против друга, изогнувшись и приседая, как бойцовые петухи перед схваткой. Сколько же сил расходуют эти люди! Он вспомнил тех, кто сейчас в поте лица убирает с полей урожай. Они работают, согнувшись в три погибели. Справа — налево, слева — направо мелькают их руки. Вот они распрямляются и кричат хрипловатыми от жажды голосами куда-то вдаль: «Воды! Воды!..» Эх, прилечь бы сейчас в зеленой тени, на краю канала с бурлящей желтой водой! Чтобы легкий ветерок

доносил запахи рисовой соломы, ароматы трав. Как чудесно было бы!..

— Вы танцуете, господин Сюй? — Голос мисс Сун раздался над ухом неожиданно, и запах поля, который он уже был готов вдохнуть всей грудью, этот чудный запах, куда-то исчез. Он повернулся и взглянул на нее: такие же блестящие глаза, такие же ярко-красные губы. Как тогда, у той.

— Нет, я не умею, — смущенно улыбнулся он.

Он умеет пасти лошадей, пахать землю, косить… Для чего ему уметь танцевать? Да еще так странно, как эти люди.

— Не надо ставить его в неловкое положение, — улыбнулся отец. — Вон, смотри, директор Ван идет тебя приглашать.

Подошел красивый молодой мужчина в черном костюме. Обогнув стол, он склонился в поклоне перед мисс Сун, и через минуту оба уже были внизу, среди танцующих.

— Все еще колеблешься? — Отец снова разжег трубку. — Ведь ты лучше меня знаешь, что политика у коммунистов постоянно меняется. Сейчас добиться разрешения на выезд довольно легко, а как будет дальше — трудно сказать.

— Мне многое дорого здесь, — ответил он, поворачиваясь к отцу.

— Даже то, что тебе пришлось пережить?

— Лишь познав горечь, можно понять цену счастья.

— А? — Отец удивленно на него посмотрел.

Он почувствовал, что внутри все дрожит. И вдруг подумал о том, что отец тоже принадлежит к этому чужому, непонятному миру. Внешнее сходство не может заменить собой духовную близость. Он смотрел на отца, и в глазах его был такой же немой вопрос.

— Все еще… ненавидишь меня? — Отец первым нарушил молчание и отвел глаза.

— Нет, что ты, совсем нет! — Он взмахнул рукой, точь-в-точь как это делал отец. — Ведь ты же сам говорил: что прошло — то прошло. Это совсем другое…

Мелодия сменилась новой, на этот раз тягучей, медленной, как течение воды в канале. Свет лампы, казалось, померк, стало трудно различать силуэты внизу, в танцевальном круге. Отец, склонив голову, тер лоб с грустным унылым видом.

— Действительно, прошлого не вернешь. Но вспоминать все равно больно… Знаешь, мне тебя всегда не хватало. Особенно теперь…

Тихий голос отца сливался с печальной мелодией, становился едва слышным. Так было

жаль его!

— Я верю тебе, — сказал он. Задумался и добавил: — Мне тоже тебя не хватало.

Отец поднял лицо.

— Правда?

Да. Правда. Двадцать лет назад была осенняя ночь, и лунный свет сквозь размокшую от дождя и порванную оконную бумагу падал снаружи на человеческие тела, лежавшие словно груда тряпья. Люди — может, десять, может, больше — спали вповалку на полу низенькой развалюхи. Он лежал, тесно прижавшись к стене, и сырой запах земли пропитал насквозь одежду. Он замерз, его била дрожь. Он на четвереньках сполз с мокрой, преющей соломы. Снаружи поблескивали под лунным светом лужи. Повсюду была вода, оставшаяся после дождя. В воздухе стоял запах гнили. Он добрался до конюшни. Там было посуше. От теплых испарений конского навоза и запаха мочи закружилась голова. Лошади, мулы, ослы жевали солому в своих стойлах. Найдя пустое место, он забрался в ясли и, устроившись кое-как, уснул, словно младенец Иисус.

Косо упал лунный луч, прочертив на стене светлую полосу. Животные, свесив головы через край яслей, словно кланялись лунному свету. В

этот момент он остро почувствовал свое беспредельное одиночество. Люди его отвергли, он для них хуже скотины.

Он заплакал. Узкие ясли жали его со всех сторон, давили так же, как давила и жала его жизнь. Отец бросил его, умерла мать. Дядя прибрал все материны вещи, оставив только его. Он поселился в школьном общежитии, получал народную стипендию и смог жить и учиться. Компартия подобрала его, школа выучила. В пятидесятые годы, годы свободы и подъема, он постепенно сросталcя с коллективом, несмотря на свой замкнутый, ранимый характер и молчаливость, — ведь он был из «ненормальной» семьи. Как и для всех школьников пятидесятых, будущее представлялось ему светлой мечтой. Когда школа осталась позади, мечта стала реальностью. Он надел синюю форму и с учебником под мышкой и мелом в руке вошел в класс.

У него было свое место в жизни. Но начальнику школьного отдела кадров надо было выполнять указания по борьбе с правыми элементами — и вспомнили об отце. Словно кровное родство определяет сущность человека, передается по наследству…

Так он стал «капиталистическим прихвост-

нем». Прежде буржуазная среда изгнала его, оставив лишь соответствующую строку в анкете. Затем на него надели колпак с броской надписью: «капиталистический элемент и правый уклонист». Он был покинут и брошен всеми и сослан в село, в захолустье на трудовое перевоспитание.

Лошадь дожевала солому и, в поисках корма, потянулась в его сторону, насколько позволяла привязь. Он ощутил на лице ее теплое дыхание, увидел, как эта бурая лошаденка жует толстыми губами, выискивая на дне кормушки рядом с его головой крупинки корма, которые могли там затеряться. Немного погодя лошадка обнаружила его. Но не испугалась, напротив, нагнула голову и, обнюхав его волосы своими влажными ноздрями, стала осторожно облизывать его лицо. Эта неожиданная ласка его ошеломила. Он вдруг обнял длинную лошадиную морду, прижался к ней, почувствовав худобу животного, выпирающие кости, и беззвучно зарыдал, размазывая слезы по бурой лошадиной шерсти. Потом, стоя на четвереньках, он с большим трудом наскреб несколько рисовых зернышек, застрявших в щелях, и эту горсточку придвинул к лошадиным губам.

Где ты был в это время, отец?

Теперь отец приехал.

Это не сон — отец спит рядом, за стеной. Рука скользнула по пружинящему матрасу. Да, это не деревянная кормушка, служившая ему постелью в ту ночь! Лунный свет, просеянный сквозь редкую ткань оконной занавеси, разрисовал мелкими узорами и ковер, и кресло, и кровать, отодвинув их куда-то, сделав призрачными, почти нереальными. Зато все события дня в этом тусклом, неверном лунном свете ожили, приняв отчетливые очертания. Чувство собственного несоответствия всему этому целиком захватило его. Вернулся отец. Оказывается, он совсем чужой, незнакомый человек. Все, что принесло его возвращение — боль воспоминаний, нарушенный покой. И только.

Давно уже началась осень, но в комнате было жарко, как летом. Жарко и душно. Он откинул покрывало и сел на кровати. Включил торшер, огляделся. Стал внимательно рассматривать свое тело: крепкие руки с узловатыми мышцами, впалый мускулистый живот, растопыренные пальцы ног, ладони с желтыми мозолями. Припомнился разговор с отцом.

Вечером, допив кофе, отец отпустил мисс Сун и стал рассказывать о делах своей фирмы, о том, что сыновья от второй жены ни к чему не способ-

ны, о своей тоске по старшему сыну и по стране, где прошла молодость.

— С тобой мне было бы спокойнее, — говорил он. — Дела тридцатилетней давности тревожат меня все больше и больше. Я знаю, как много значит здесь социальное происхождение. Здесь никогда не прекратится классовая борьба, и спокойно жить тебе не дадут. Одно время я даже думал, что тебя нет в живых, оплакивал тебя. Постоянно вспоминал тебя совсем еще маленького. Особенно запомнилось торжество в пекинском клубе хуацяо[64], устроенное дедушкой по случаю твоего рождения — клуб был рядом с министерством иностранных дел, — бабушка держала тебя на руках… Я все хорошо помню, словно это было только вчера. Тогда разные фирмы прислали из Шанхая своих представителей — и «Шэньсинь», и «Юнъань», и «Хуафан», и Англо-американская табачная… Ведь ты был наследником большого дела. Первенцем, главным наследником. Знаешь об этом?..

Он при бледном свете лампы под зеленым абажуром разглядывает свое крепкое обнаженное тело — и не может избавиться от нового,

---

[64] Примечания: 64

Хуацяо — эмигранты, китайцы, проживающие за границей.

странного ощущения. Ведь он впервые из уст отца услышал о том, чего сам не помнил, о своем детстве. Ему представился он, прежний и теперешний, — они стояли друг против друга, такие разные, непохожие. Наконец-то он понял, что именно разделяет их с отцом, делает чужими. Он родился, как говорится, в парчовых пеленках, в доме богатого промышленника, где горели красные фонари, лилось рекою вино, а жены и служанки неустанно восхваляли появление на свет драгоценного дитяти. Он все получал на подносе по первому требованию. И вот из наследника большого торгового дома превратился в простого труженика. Их с отцом разделяет труд. Долгий, очень долгий, горький и радостный.

Когда кончилось трудовое перевоспитание, оказалось, что ему некуда возвращаться, и его оставили там же — пасти лошадей. Так он стал пастухом.

Ранним утром, едва солнце появлялось над макушками тополей, а луг покрывался сверкающими серебром росинками, вспыхивающими то тут, то там, — в этот ранний час он отворял загородку, и животные торопились, толкались, протискивались наружу, чтобы первыми помчаться на луговые травы. Всякие мелкие твари,

испуская то радостные, то тревожные крики, бросались в заросли. Растопырив крылья, птицы проносились над лошадьми, как стрелы, и исчезали в тополиной листве. Верхом на лошади он летел вперед по темно-зеленому следу копыт, словно устремляясь в объятия великой природы.

Посреди луга было небольшое озерцо, густо поросшее камышом. Животные разбредались в зарослях и, шевеля губами, щипали свежую зелень. Из зарослей доносилось только их громкое фырканье да плеск воды. Тогда он, растянувшись на склоне, глядел в небо, где бродили белоснежные облака, беспрестанно менявшие свои формы, такие же непостоянные и причудливые, как сама жизнь. Ветер пригибал верхушки травы, покрывал рябью поверхность озерца, приносил свежесть близкой воды, запах конского пота — дыхание самой природы, ласково обволакивающее тело. Ощущение безграничного покоя и близости всего окружающего наполняло все его существо. Он клал голову на сгиб локтя и лежал, ощущая запах своего тела, чувствуя, как его дыхание сливается с дыханием природы. Это было необычайное ощущение, радостное, волшебное, восхитительное. Он погружался в бесконечные, беспредельные мечтания. Казалось, он превра-

тился в вольный ветер, летящий по простору равнины, проникающий всюду. И постепенно из души исчезало ощущение своей «ненормальности», печаль за исковерканную судьбу, а на их место приходила горячая радость осязания жизни и природы.

В середине дня лошади с округлившимися животами одна за другой выныривали из стены камышей и трясли гривами, мотали хвостами, отгоняя оводов и слепней. Доверчиво и как-то по-родственному они собирались вокруг своего пастуха и смотрели на него добрыми глазами. Бывало, что жеребец с белыми подпалинами на боках — он числился под номером седьмым — начинал вертеться вокруг номера сотого — тощей кобылки, припадающей на заднюю ногу. Подобравшись поближе, номер седьмой начинал легонько покусывать свою приятельницу и всячески с ней заигрывать. Но сотая давала отпор — вскидывала задом, лягалась больной ногой, которой обычно даже не касалась земли. Номер седьмой быстро отваливал и, повернув голову, словно флаг на ветру, носился, как расшалившийся мальчишка, среди стада, поблескивая хитрым глазом. В таких случаях он поднимал свой длинный пастуший кнут и сурово покрикивал на

шалуна. Тогда все стадо ставило уши торчком и осуждающе смотрело в сторону номера седьмого. А тот сразу же успокаивался, словно школьник, получивший выговор, заходил по колено в воду и пил, скаля длинные зубы. Можно было подумать, что вокруг не стадо лошадей, а толпа разумных волшебных существ и он среди них — сказочный принц.

Вдали в лучах полуденного солнца по склонам гор, отбрасывая тени, ползли облака; выпь, живущая на болоте, спасаясь от жары, опускала клюв в корни камыша и издавала протяжные звуки. Было видно и как от ветра волнами ложится на землю трава, и как пасутся на равнине коровы и овцы, как синеют горы вдали и зеленеет полоска реки. Родина, понятие довольно-таки отвлеченное, сосредоточивалась для него сейчас в том, что охватывал глаз, во всей этой неповторимой красоте. Он ощущал радость — все-таки жизнь прекрасна! Природа и физический труд дали ему то, чего не было, да и не могло быть в классной комнате.

Иногда на луг проливался дождь. Сначала он накапливался вдали, на горных склонах, собирался в облако, пронизанное светом, похожее на шлейф из черной газовой материи. Облако росло,

преломляя солнечные лучи и сияя приятным для глаз золотистым светом, который озарял всю равнину. Влекомое ветром, облако потихоньку сползало с гор. И вдруг капли величиной с боб косо устремлялись вниз, закрывая все белесой стеной водяного тумана. Перед тем как это начнется, он загонял табун в узкую полоску леса. Сидя на лошади, с тяжелым кнутом в руке, он мчался навстречу ветру, идущему от тучи, и одежда его трепетала, как крылья. Огибая табун, он подгонял криками отбившихся лошадей. Тогда он ощущал переполняющую все тело горячую силу и знал, что он не ничтожен и не беспомощен. В борьбе с ветром, дождем, тучами комаров и мошки он постепенно вновь обрел уверенность в себе.

Пастухи из разных отрядов собирались вместе только в это время. Для них был сделан специальный навес от дождя, стоявший посреди безбрежного моря белой водяной пыли словно ковчег. Там было холодно и сыро, клубился сизый дымок дешевого табака. Пастухи вели свои разговоры, грубо пошучивали. Странно, что их отношение к жизни, к труду не было ни глубоким, ни сложным, и он беспокоился и удивлялся собственным ощущениям. Наверное, эти люди, простые и честные, считали, что жизнь, несмотря

на все ее тяготы, в целом все же хорошая штука, и были довольны. Он чувствовал, что завидует им.

Как-то раз старый пастух — ему было уже за шестьдесят — спросил его:

— Люди говорят, что ты — правый элемент. Что это значит?

Он пристыженно опустил голову, промямлил:

— Правый… Правый элемент — это значит тот, кто ошибался…

— Правые элементы — это те, кто в пятьдесят седьмом говорили правду, — заметил пастух из седьмого отряда. — Они тогда все были ученые.

Этот парень всегда говорил, что думал, и не любил отмалчиваться. Он постоянно подшучивал над товарищами, и за это его прозвали Насмешником.

— Разве говорить правду значит ошибаться? Ведь если говорить неправду, все в мире перепутается, — старик размышлял вслух, посасывая свою трубку.

— А все же, раз зашла речь об этом, лучше, пожалуй, работать, чем быть начальником. Вот мне скоро семьдесят, а глаза видят хорошо, и уши слышат, и спину не скрючило. Жую свои жареные бобы — и ничего мне больше не надо…

— Так ты небось и помрешь — а все работать

будешь! — перебил его Насмешник.

— А что в работе плохого? — значительно произнес старик. — Без работы ничего не сделается. Ни жизнь не сложится, да и начальником не станешь без работы, и наукам разным не выучишься…

Эти простые слова рождали в его сердце прекрасное ощущение — словно радуга после дождя. Они приобщали его к честной, прямой простоте, к которой он так стремился, — и сердце наполнялось долгожданным покоем и радостью.

В долгом тяжелом труде, в постоянном соперничестве с природой, которое вели здесь люди, он обретал постепенно устойчивую привычку жить. И эта привычка уже на свой лад перекраивала его. Понемногу прошлое отступало назад, таяло, превращаясь в какой-то смутный, неясный сон. Или не сон даже, а историю про кого-то другого, вычитанную в книге давным-давно. Воспоминания об иной, непохожей жизни были отделены от него новым стойким жизненным укладом. Житье в большом городе все больше становилось похожим на фантазию, а реальным и настоящим было лишь то, что окружало его теперь. И в конце концов он превратился в человека, который годится для жизни на этом куске земли, который

и может жить только здесь, — он стал настоящим пастухом.

В год, когда началась «великая культурная революция», люди уже успели забыть его прошлое, и лишь в самый бурный и горячий период кто-то вспомнил наконец, что он — правый элемент и надо бы вытащить его и проверить перед лицом масс. Но как раз тогда пастухи из нескольких отрядов собрались под навесом, посовещались и решили, что пастбища внизу порядком выедены и надо сказать начальству, что пора бы перегонять скотину наверх, на свежие склоны. Само собой, что никому из тех, кто занимался революцией, не хотелось бросать это важное дело и отправляться в горы, на несколько месяцев оторвавшись от дома и семьи. Пастухи помогли ему собрать нехитрый скарб, навьючили на лошадь. Он поскакал верхом, с чувством легкости и свободы покинув это место, где в шуме и гаме выясняли, что хорошо, что плохо. Выбравшись на торную дорогу, пастухи радостно загалдели:

— Вперед! Поехали! В горы! А они пусть там решают себе, маму их замуж! — И с гиканьем и посвистами помчались, оставляя за собой плотные клубы желтой пыли, вздымаемой лошадиными копытами. Вдали на горных склонах зеленой

яшмой сияли, переливались луга… Этот день он запомнил навсегда, на всю жизнь сохранив в груди какое-то особенное, теплое чувство.

Здесь его боль и здесь его радость, здесь весь его настоящий опыт, все то, что он узнал о жизни. А если бы отделить, очистить радость от всех горестей и печалей, она поблекла бы, помертвела, потеряла всякую цену.

Весной прошлого года его неожиданно вызвали с пастбища. Теребя в руках шляпу из соломы, он с беспокойством вошел в дверь с надписью «Политотдел». Замначальника Дун зачитал ему какой-то документ, а после разъяснил, что прежде его ошибочно причислили к правым, теперь же реабилитируют и направляют в сельскую школу учить детей. Лицо у замначальника Дуна было твердое, строгое, непроницаемое. Залетевшая в кабинет муха с жужжанием носилась по воздуху, время от времени отдыхая то на стене, то на шкафу с делами. Глаз замначальника внимательно следил за ней, пока она летала, а рука машинально шарила по столу в поисках подходящего журнала.

— Ну, иди, в соседней комнате делопроизводитель Фань выпишет направление. Завтра явишься с ним в школу.

Муха села наконец на край письменного стола — раздался хлопок. Но хитрая бестия все-таки улизнула, и замначальника разочарованно откинулся на спинку стула.

— Работай теперь хорошо, не совершай больше ошибок. Да.

Такой неожиданный поворот событий потряс его, как удар тока. Мысли путались. Он не мог до конца постичь смысла происшедшего, ни его значения в политической жизни страны, ни глубины перемен, которые оно повлечет за собой, ни того, какую оно сыграет роль в его судьбе. Он и мечтать не смел, что когда-нибудь наступит такой день. В то же время он чувствовал, как неудержимо растет в нем ощущение счастья. Беспредельная радость, словно вино, зажгла кровь, ударила в голову, все закружилось, поплыло перед ним. Шея стала влажной от пота. Его била мелкая дрожь. На глаза навернулись непрошеные слезы, а из груди вырвался стон, глухой, как горное эхо. Такое проявление чувств растрогало даже твердого, строгого, непроницаемого замначальника Дуна, тот даже протянул ему руку. Схватив обеими руками замначальникову руку, он вдруг ощутил, что в душе появился крохотный росток надежды.

После этого он вновь, как тогда, давно, надел синюю форму и, с учебником под мышкой и мелом в руке, вошел в класс. Дивный сон, прерванный двадцать два года назад, продолжался. Люди на селе жили небогато; ребятишки ходили в рванье; в классе пахло потом, пылью и солнцем. Дети смотрели на него из-за стареньких парт широко раскрытыми наивными глазами, в которых сквозили удивление и недоверие; разве может пастух быть учителем? Но очень скоро дети ему поверили. Он не делал ничего особенного, у него и в мыслях не было, что он служит социализму и «четырем модернизациям» — он считал это уделом героев. Он просто добросовестно выполнял свои обязанности. Но и за это дети его уважали. В то утро, когда ему надо было ехать в Пекин, школьники один за другим высыпали на дорожку перед школой и смотрели, как он садится в повозку, как грузят его багаж. Они наверняка уже прослышали о том, что нашелся его заграничный папа и что теперь с этим богатым папой он уедет за границу. Стояли расстроенные, понурившись, сдерживая грустные слезы расставания. Смотрели вслед его повозке, которая, переехав через мост, катилась мимо тополиной рощи, постепенно исчезая в желтеющих полях…

Изредка пастухи приезжали его навестить. Тому старику теперь уже перевалило за семьдесят. Но руки были все еще крепкие. Сидя на кане, он ласково поглаживал «Словарь современного китайского языка», приговаривая:

— А ведь не перевелись еще ученые люди! Такую толстую книжку можно целую жизнь читать!

— Так это же словарь, в нем только иероглифы ищут! — заметил Насмешник. — Ты и впрямь поглупел на старости лет!

— Что правда, то правда. Век прожил — только глазами хлопал. Кино вот смотрю — даже названия не могу прочесть. Все мелькает.

Пастухи дружно загалдели, что по нынешним временам обязательно нужно образование.

— Да уж! Только покуда не все еще грамотные. Давал я как-то лошадям лекарство, так наружное чуть внутрь им не скормил…

Насмешник сказал:

— Старина, ведь ты от нас вышел в люди. Но нам поздно учиться, так позаботься хоть о наших детях.

— Верно! — поддакнул старик. — Выучи моих внуков читать разные толстые книжки. Ведь мы с тобой не чужие. Конечно, мы бедные, но не надо

забывать старых друзей…

Эти безыскусные слова ярко и образно показали ему смысл новой работы, сделали более отчетливыми мысли о будущем. От пастухов шел запах конского пота, аромат свежих, налитых соками трав — густой и сильный природный дух. Все в них было привычно, знакомо. Они как родные, не то что отец и мисс Сун, которые вызывали в нем подавленность и стеснение.

В глазах пастухов и своих учеников, в глазах всех, с кем ему приходилось работать, он читал уважение, чувствовал, что нужен людям. А что еще надо для счастья, если не сознание, что тебя высоко ценят?

Утром они с отцом и мисс Сун прошлись по Ванфуцзину. На этой улице с ее обилием магазинов он почувствовал, что совсем отвык от городской жизни. Здесь земля закрыта бетоном и асфальтом, по всей ширине улицы взад и вперед расхаживают и заговаривают друг с другом совершенно незнакомые между собой люди. Шумно, бойко, много народу, и вместе с тем холодно, одиноко. К тому же непрерывный громкий говор со всех сторон постепенно начинает действовать на нервы…

В магазине отец вынул бумажку с цифрой

«600», чтобы уплатить за столовый сервиз с зеленой росписью — из Цзиндэчжэня, тончайшая работа! Потом приобрел за две сотни с лишним кастрюльку для овощей. Сделана она была искуснейшим образом, покрыта желто-коричневым узором, придававшим ей колорит древности — совсем как утварь, откопанная из Ханьских могил. Такой красивой посуды никогда не видали в его маленьком поселке на далеком Северо-Западе. Кастрюльку давно хотела Сючжи и часто рассказывала, какие красивые делают в ее родных местах. Дома была одна такая, привезенная кем-то из Шаньси. Сючжи выменяла ее на пять пар тапочек, да еще сколько упрашивала! Края у кастрюльки уже пообтерлись и вид был самый неприглядный.

— Ваша жена, наверное, очень красивая, — лукаво поглядывая на него, спросила мисс Сун, когда они вернулись в отель. — Вы, видно, ее очень любите. Везет же людям!

Сегодня она опять была в новом наряде. Красная с черным тонкая блузка, поверх — сиреневая шерстяная безрукавка и в тон блузке — узкая черная юбка. В воздухе, нагретом лучами осеннего солнца, витал аромат ее дорогих духов.

— Супружество — это всегда компромисс, —

вздохнул отец, неторопливо помешивая кофе. Думая, видимо, о своем, он продолжал, тщательно выговаривая каждое слово: — Любишь жену или нет — надо до конца выполнить свои обязательства. Иначе не будет спокойна совесть, придут боль и раскаяние. Я предлагаю тебе ехать со мной, но зову не тебя одного. Возьмешь с собой жену и ребенка.

— Господин Сюй, расскажите, пожалуйста, историю вашей любви, — попросила мисс Сун. — Это, должно быть, очень романтическая история. Я думаю, многие женщины вас любили — ведь вы такой видный мужчина.

— Какая там любовь, — он усмехнулся, словно бы извиняясь. — Мы с женой до свадьбы даже не видели друг друга. Так что ничего романтического.

— Ах! — с несколько преувеличенным удивлением воскликнула мисс Сун.

Он смущенно пожал плечами. Ему хотелось подробно рассказать, какая у них с Сючжи была свадьба, такие свадьбы — явление аномальное, настоящая беда. Не столько даже беда, сколько позор нации. И он боялся, что станут смеяться над тем, что для него свято. В голове была неразбериха, и он молча сидел, не двигаясь, потягивая

кофе маленькими глотками. В кофе смешались горечь и сладость, они неразлучны, и только их сочетание придает кофе особый, неповторимый аромат, который вызывает такое восхищение. Отец и мисс Сун прекрасно разбираются в тонкостях кофе, но способны ли они постичь все тонкости судьбы человека? В те смутные годы брак, как и остальные стороны жизни, зависел от случайного стечения обстоятельств. Случайность для них — это неопределенность. Но есть ведь еще другая сторона, и они ее не поймут. Это судьба, особое предначертание, которое вдруг, нежданно-негаданно, дарит человеку счастье. И чем тяжелее тебе, чем горше, тем драгоценнее такой неожиданный дар. Потом, когда они с Сючжи вспоминали свою необычную свадьбу, всякий раз испытывали и глубокую грусть, и глубокую радость. Только вряд ли это кому-нибудь будет понятно.

Это было весенним вечером 1972 года. Он, как обычно, напоил животных, закрыл загородку и вернулся в свой домишко. Не успел положить кнут, как распахнулась дверь и влетел Насмешник.

— Эй, Правый, хочешь жениться? — спросил он. — Если хочешь — только слово скажи, ве-

чером доставлю невесту. — Насмешник был в сильном возбуждении.

— Ну что ж, доставь, — ответил он посмеиваясь, считая, что тот, по своему обыкновению, подшучивает над ним.

— Ладно! Слово — закон. Ты пока готовься. Со стороны невесты разрешение на брак имеется, а что до тебя — я уже с вашим секретарем поговорил. Секретарь сказал, что за ним дело не станет, нужно только твое согласие. Ну ладно, эту бумажку я тебе сам достану. И по дороге завезу в политотдел. А невесту привезу на обратном пути. Так что вечером свадьбу сыграем!

Стемнело. Он сидел на табуретке, читал журнал «Цзефанцзюнь вэньи» и вдруг услышал, как ребятишки снаружи кричат:

— Правому жену привезли! Правому жену привезли!

Вслед за этим распахнулась со стуком дверь, и в комнату снова ворвался Насмешник.

— Ну дела! Вина у тебя нет, так дай хоть воды глоток — горло промочить. Ох, устал! Полдня мотаюсь туда-сюда, тридцать верст отмахал. Ноги отваливаются. — Он зачерпнул воды из ведра, шумно выпил всю до капли и утер рот рукавом. Потом зевнул, потянулся и лишь после

этого крикнул в сторону двери: — Эй, что ты там стоишь? Входи же! Это теперь твой дом. Иди, познакомься: это Правый, о котором я рассказывал, а по-настоящему — Сюй Линцзюнь. Он хороший, только бедный. Но чем беднее — тем славнее, как говорится!

И тут он увидел наконец, что перед ватагой ребятишек, собравшихся у двери, стоит девушка в чем-то нелепом, сером, накинутом сверху. В руках маленький белый узелок. Равнодушно и вместе с тем внимательно она оглядывала его маленькую, пропыленную и продымленную комнатушку. Как будто и впрямь собиралась надолго здесь обосноваться.

— Что?.. Что это такое? Как можно? — он не на шутку испугался. — Ну, знаешь, шути, да знай меру!

— А почему бы и нет? Не валяй дурака.

Насмешник вытащил из кармана листок бумаги и положил, словно припечатал, на край кана.

— Вот тебе и свидетельство. Это документ. Документ, понимаешь? Я сказал в политотделе, что ты не можешь бросить табун и поручил мне все уладить. Ну что, так и будешь сидеть сложа руки? Мы заскучаем. Эй, Правый!

— Как можно? Как это?.. — Он с трудом расце-

пил руки. Девушка наконец вошла в комнату и спокойно уселась на табурет, с которого он вскочил. Она вела себя так, словно и разговор, и все происходящее не имеют к ней никакого отношения.

— Как можно? Это ваше семейное дело, что ты у меня спрашиваешь? Я этого не знаю, и спросить не у кого. — Насмешник пододвинул к нему «документ». — Ну, ладно! Успеха вам, а я пошел. На будущий год, как родится толстенький малышок, не забудьте налить мне стопочку за его здоровье!

Подойдя к двери, он растопырил руки и, как пугают цыплят, шуганул толпившихся ребятишек:

— А ну, кыш! Чего уставились? Вы что, не видели, как ваш папа на маме женился? Скорей бегите домой, они вам расскажут! Давайте-давайте!

Насмешник махнул рукой и скрылся.

В сумеречном свете лампы он украдкой рассматривал девушку. Не красавица. Маленький нос, вокруг носа мелкие веснушки. Матовые, без блеска волосы, выражение лица усталое, черты мелкие. Ему почему-то вдруг стало жаль ее. Он налил в стакан воды и поставил на деревянный ящик, служивший столом.

Она посмотрела ему в глаза, прочла в них ис-

креннее сочувствие и выпила всю до капельки воду. Это придало ей силы. Она подошла к лежанке, села, отвернув край одеяла. Достала из узелка лоскут синей материи, иголку с ниткой, положила лоскут на колено и, склонив голову, принялась штопать. Она была скованна и подавленна. Казалось, не в силах справиться со своим состоянием, она переносила его на окружающие предметы. Внешне спокойная, она быстро прибрала в доме — сразу стало чище, светлее. Ловкими пальцами прошлась по одеялу, подушке, одежде — словно по клавишам, и зазвучал красивый стройный аккорд.

Вдруг ему вспомнилась бурая лошаденка, и сладко защемило сердце. Ему показалось, что он уже давно знает эту девушку и много лет ее ждал. Незнакомые чувства переполнили душу, смутили сердце. Он не заметил, как подошел к ней, сел рядом, закрыв руками лицо. Он боялся поверить в это неожиданно обретенное счастье — как бы не случилось вслед за ним какой-нибудь новой беды, и в то же время страстно хотелось в это поверить, до конца осознать это новое, прекрасное чувство.

Девушка оставила шитье. Внутренний голос сказал ей, что на этого человека можно целиком

положиться. Она легко и просто положила руки на его ссутулившиеся плечи, словно давно его знала, и двое, сидя на лежанке, устланной рваной мешковиной, стали обсуждать свое будущее.

Сючжи была родом из Сычуани. В те годы случалось так, что эта житница не давала даже бататов, и голодающие крестьяне бежали оттуда. Девушкам было еще не так плохо — они выходили замуж в другую деревню, покинув голодный край. Стоило одной обосноваться где-нибудь на чужбине, как следом за ней тянулись ее сестры и подруги. Друг за дружкой оставляли они знакомые с детства горы, долины и реки, перебирались через горные хребты и разбредались по бесчисленным дорожкам и тропкам, кто в сторону Шэньси, кто в Ганьсу. Другие держали путь в Цинхай или Синьцзян. Иногда семья могла наскрести денег на билет, а если нет — ехали, тайком, от станции до станции. В их жалких тощих узелках не было ничего, кроме латаной одежонки, круглого маленького зеркальца да деревянной гребенки. С этим нехитрым имуществом они шли в жизнь, делая ставку на молодость и красоту, чтобы либо выиграть счастье, либо все потерять…

В той местности, где он жил, такие «грошовые свадьбы» были не новостью. Совсем молодые

парни и старые холостяки, у которых не было денег на подношения семье невесты, обращались к женщинам из Сычуани. А те — словно картотеку с собой носили. Вспомнят какую-нибудь девушку и напишут, приглашая приехать. Получив письмо, девушка приезжала, а приехав — выходила замуж. Так и Сючжи приехала по письму. Ее «выписали» для молодого тракториста из седьмой бригады. Но пока она выправляла разрешение, пока добиралась, проезжая по станции в день, тракториста не стало. За три дня до ее приезда он перевернулся на тракторе. Она даже не пошла на место кремации. Зачем? Идти к землячке было неудобно. Той нелегко жилось: муж — калека, только что ребенок родился. Так и сидела перед конюшней седьмой бригады, тупо глядя на свою тень, которая медленно двигалась, как на солнечных часах.

Насмешник в обед приехал за кипятком. Увидел ее, узнал, в чем дело, постоял с чайником в руке, подумал и, бросив табун, помчался по всем дворам искать жениха. В седьмой бригаде оставалось три холостяка. Они по очереди подходили к конюшне, рассматривали девушку, но, худенькая, невысокого роста, она не вызывала у них интереса. И тут Насмешник вспомнил о

Линцзюне, которому было за тридцать.

Так он и женился. Такая вот романтическая история.

Правый женился! Для производственной бригады это было большим событием. Люди, увязнувшие в «проведении революции», были рады хоть на время освободиться от «уклонов» и «исправлений». Все хотели поздравить «правого элемента», который никому из них ничего худого не сделал, а только честно и добросовестно трудился. Люди прежде всего люди. Они приходили с теплыми словами, радовались за него, да и за себя тоже — что не растеряли в этой «революции» человечности. Кто дарил ему котелок, кто несколько фунтов зерна, кто талон на кусок ткани… А молодой ветеринар предложил скинуться со двора по полтине — молодым на обзаведение. На общем собрании случилось невероятное событие, какого не было с начала «великой культурной революции»: единогласно — удивительное единство! — решили предоставить ему отпуск на три дня. Нет, доброты у людей не отнимешь, даже в самые мрачные времена.

Так они начали строить свою семью.

По натуре своей Сючжи была веселой, жизнерадостной, поэтичной. Только образования ей не

хватало: она училась лишь в начальной школе, да и то всего два года. На третий день после ее приезда кинопередвижка показывала фильм «Ленин в 1918 году». Ей запомнились слова Василия, которые она потом часто повторяла, радостно смеясь: «Будет и хлеб, будет и молоко!» Брови у нее были тонкие, глаза небольшие, и когда Сючжи улыбалась, они становились узкими щелочками, формой похожими на полоску молодого месяца. А милые ямочки на щеках!..

Весь день Линцзюнь пас лошадей, а Сючжи под палящим солнцем месила глину, лепила кирпичи и сушила. Потом нагружала тачку и везла к дому. Она решила сделать стену, чтобы получился внутренний дворик. Из девяти с половиной миллионов квадратных километров огромной страны она выбрала кусок земли в восемнадцать квадратных метров. Она говорила: «Там, на моей родине, у каждого дома растут деревья, а тут выйдешь за порог — и ничего, кроме неба, не видишь». Она выкопала где-то два тополя, толщиной с руку, притащила домой — откуда только силы взялись! — и посадила во дворе, один справа, другой слева от входа. Когда стена была закончена, она принялась разводить птицу. Завела кур, уток, гусей и даже несколько

пар голубей, потом кроликов. За такую активность ее прозвали «начальником генерального штаба». Сючжи очень досадовала, что госхоз не разрешает рабочим выкармливать свиней, и часто говорила Линцзюню, приподнимаясь с подушки, будто видела во сне, что вырастила большую-пребольшую свинью.

Запущенное хозяйство, где трудился Линцзюнь, напоминало болото. Начальству ни до чего не было дела. Вот только «уничтожение капиталистических хвостов» неуклонно проводилось в жизнь. Но Сючжи была упрямой, как молодая травка, которая пробивается даже через каменную плиту. Ее зверюшки словно по волшебству росли и плодились с неимоверной скоростью. «Будет и хлеб, будет и молоко!» В самом деле, примерно через год в их жизни произошли большие перемены. При прежней мизерной зарплате они уже могли прилично одеться и нормально поесть. Сючжи шла наперекор всем законам общественного развития: такой был у нее характер. Словно не слыша громких призывов к коммунизму, она осуществила у себя дома переход от натурального хозяйства к товарному. Все держалось на ней. Когда она возвращалась, закончив работу, с нею возвращались куры, утки и гуси. Цинцин сидела

у нее за спиной, голуби — на плечах и на голове, куры и утки вертелись под ногами. Она ставила на огонь котел с водой и, хотя не была знакома с эргономикой, словно тысячерукая Гуаньинь[65], не торопясь, без суеты управлялась со всеми делами.

Эта женщина, познавшая голод, не только принесла ему домашнее тепло и уют, но помогла прочно обосноваться на этом клочке земли и глубоко пустить корни, которые питались их собственным трудом. Соединив свою жизнь с Сючжи, он полюбил землю, на которой жил, еще полнее ощутил чистоту, честность и прямоту жизни, основанной на труде. Он, наконец, обрел радость, к которой стремился столько лет.

Когда замначальника Дун объявил, что решение по его делу пересмотрено, когда дали справку, когда на основании постановления ему выдали в бухгалтерии материальную помощь — пятьсот юаней, — он вернулся домой и рассказал все Сючжи. На лице у нее было написано удивление. Она наскоро вытерла руки о передник и пересчитала новенькие бумажки.

— Слушай, Сючжи, с сегодняшнего дня мы та-

[65] Примечания: 65

Гуаньинь — буддийское божество Авалокитешвара, изображавшееся в Китае в женском облике.

кие же люди, как все остальные! — Он умылся и крикнул: — Эй, ты почему молчишь? Что ты там делаешь?

— Ну и дела! — рассмеялась Сючжи. — Я все никак сосчитать не могу. Несколько раз принималась — ничего не выходит. Так много денег!

— Ай-ай-ай! Ну что ты за человек! Подумаешь, деньги! Главное, что меня больше не считают правым, что я как бы заново родился… Вот чему надо радоваться!

— Заново родился! Скажешь тоже. Я вот на тебя смотрю — ты все тот же. Раньше говорили, ты — правый элемент. Прожил полжизни, теперь говорят — ошибка вышла, наперед веди себя хорошо. Подумаешь, счастье какое! Ты разве что-нибудь не так делал? Мы как жили, так и будем жить. Только с деньгами оно спокойнее. Ты меня не ругай, дай лучше я сосчитаю.

И верно. Сючжи моложе его на пятнадцать лет, но никогда не считала, что он чем-то отличается от других. Вот что значит простая крестьянская мудрость! Правый элемент, не правый элемент — эти проблемы ее мало волновали. Она только знала, что он хороший и честный — и этого было вполне достаточно. Работая вместе с другими женщинами, она часто говорила:

— Отец нашей Цинцин — человек честный, простой. Ох, всякого натерпелся. Пинай его ногами — не пикнет. Волк за ним погонится — не побежит. Такого обидеть — совсем надо стыд забыть. Чтоб этим гадам на том свете досталось!

Да, Сючжи любит деньги и переживает, что мелкую монетку нельзя разломить пополам, чтобы не сразу истратить. А уж пятьсот юаней — целое состояние! Руки дрожат, когда их держишь, в глазах — слезы радости. Однако, узнав, что отец мужа — «иностранный капиталист», она ни слова не сказала о деньгах. Лишь советовала взять с собой побольше яиц, сваренных в ароматном чае, чтобы его угостить. Она то и дело поучала Цинцин, которой едва исполнилось семь лет:

— Только деньги, заработанные собственным трудом, приятно тратить. Тогда и на душе спокойно. Вот я, к примеру. Продам яйца — куплю соль. Потружусь на уборке риса — куплю перец. Поработаю сверхурочно — тебе чего-нибудь куплю.

Она никогда не философствовала, не рассуждала о высоких материях. Ее простые, доходчивые слова были понятны даже маленькой дочке: труд надо почитать и ценить. Только вознаграждение за труд приносит человеку радость. Богатство, добытое обманом и насилием, — позор!

Сючжи не умела петь. Когда Цинцин исполнился месяц, они взяли ее с собой и поехали в уездный центр, в единственное на всю округу фотоателье, чтобы сняться на память. «Счастливая семья» — называют такие снимки. В уездном центре продавали мороженое. Торговец, растягивая слова, выкрикивал: «Мо-о-оро-оженое! Мо-о-оро-о-оженое!» Это слово буквально околдовало Сючжи. Покачивая Цинцин, она нараспев повторяла, стараясь подражать северо-западному говору: «Мо-о-оро-оженое…» Эта короткая, всего из одного слова, монотонная песенка, сладкая как мечта, не только мгновенно усыпила Цинцин, но и его самого оторвала от книги и переселила в мир прекрасной сказки, на вершину блаженства.

На Ванфуцзине тоже есть продавцы мороженого. Но их не слышно, они сидят в своих будках, как изваяния. Это не то! Ему захотелось снова услышать ту сладкую, как мечта, волшебную мелодию, шутливое, полное надежды: «Будет и хлеб, будет и молоко!»

Нет. Нечего ему здесь зря тратить время. Надо возвращаться домой. К тем, кто помог ему в тяжелое время. Теперь они ждут помощи от него. Там земля, политая его потом, — он сверкает на скошенных полях. Там его жена и дочурка, кото-

рых он любит больше всего на свете. Там все, что у него есть. Вся его жизнь.

И он вернулся. Вернулся в привычный и знакомый маленький уездный городок. Перед автобусной остановкой — единственная на весь уезд асфальтированная дорога, припорошенная желтой пылью. Ветер крутит пыльные столбы перед входом в магазин, возле банка, почты. На другой стороне шоссе тарахтит хлопковзбивалка. Она будто и не останавливалась ни на минуту с тех пор, как он уехал. У входа на автостанцию толпятся, как всегда, крестьяне, продают сладкое рисовое вино, масло, тыквенные семечки. Чуть дальше — все те же покосившиеся глиняные домишки. Кое-где на дверях можно еще различить стершиеся от времени резные узоры. Новое здание театра по-прежнему все в лесах, около него суетятся рабочие.

Когда он вышел из автобуса, ему показалось, будто он спустился на парашюте, и ноги вдруг ощутили землю. Ему дорог каждый комочек, каждая пылинка, как собственная жизнь — вся, даже тяжелое прошлое.

В сумерках везшая его повозка поравнялась с тем поселком, где он жил раньше, когда работал в производственной бригаде. Косые лучи заходя-

щего солнца падали из-за западных гор, освещая и деревушку, и ее жителей размытым красно-розовым сиянием. Два серебристых тополя, посаженные руками Сючжи, высоко поднялись над плоской крышей его прежнего жилища. Они стояли не шелохнувшись, навытяжку, будто приветствуя его.

Скотина возвращалась по дворам. Животные, которые пересекали дорогу, словно узнав его, останавливались и долго смотрели вслед широко раскрытыми глазами. Лишь когда повозка отъехала далеко, они отвернулись и лениво побрели к своим загонам.

К сердцу волной прихлынуло тепло. Он вспомнил свой разговор с отцом накануне отъезда. В тот вечер отец и сын сидели друг против друга в креслах; отец был в шелковой пижаме, печальный, ссутулившись, курил трубку.

— Уже уезжаешь? Так скоро? — спросил он.

— Да, надо готовиться к экзаменам за полугодие.

Отец помолчал и сказал:

— Я очень рад, что мы повидались.

Он старался не выдать своего волнения, но нижняя губа слегка дрожала.

— Ты стал настоящим мужчиной. В тебе появи-

лась уверенность. Это хорошо. Настоящая вера человеку нужнее всего. Признаться, я в свое время тоже верил, но религия это не то… — Он запнулся, махнул рукой и сменил тему: — В прошлом году в Париже я видел английское издание Мопассана. Там есть рассказ, где описывается встреча крупного политика со своим сыном, которого он оставил много лет назад. Потом сын помешался. Всю ночь я не спал. И часто вспоминал, как ты стоишь передо мной, такой несчастный, печальный. Но теперь я успокоился. Ты, вопреки моим ожиданиям, превратился в такого… такого…

Он не закончил фразу — не смог подобрать подходящего слова. Но в глазах его было уважение. Они оба — и отец, и сын — остались довольны и этой своей встречей, и этим своим расставанием. Оба получили друг от друга то, чего каждому не хватало. Отец успокоил свою совесть, а он сам в важный, переломный момент окинул взором прожитую часть жизни — и понял как будто в чем ее смысл.

Солнце закатилось за горы. Брошенные им последние лучи сделали вершины оранжево-золотыми. Отсвет зари упал на горные склоны, на луга и поля, стелющиеся внизу, на села. Свет постепенно тускнел и перешел наконец в слабое

сияние. Все ближе и ближе подъезжали к школе. Вот глаза различили спортплощадку — она выделялась светлым пятном, как гладь озера среди бурых зарослей прибрежного камыша. Навстречу пахнул вечерний ветер, и тепло, разраставшееся в груди, разлилось по всему телу. Отец, говоривший о его уверенности, о вере, понял по-своему состояние его души. Ни доводы разума, ни знания не могут заменить чувства. Иногда чувства важнее, чем разум. Самое драгоценное, что принес ему опыт прожитых лет, — это ощущение себя человеком труда. Он так растрогался, что на глаза навернулись слезы: нет, не впустую прошел он свой тернистый путь.

Наконец он разглядел и школу. У дверей его дома стояли несколько человек и смотрели в сторону приближающейся повозки. Белый передник Сючжи казался в гаснущем свете заката яркой звездой.

Люди все подходили и, когда наконец разглядели, что это — он, побежали на дорогу. Впереди всех маленькая девочка в красном, похожая на язычок пламени. Вот она бежит, бежит… Все ближе, ближе…

ЧЖАН ЦЗЕ
НЕ СОЗРЕЛ...
© Перевод И. Лисевич

Родилась в Пекине в 1937 году в семье, переселившейся в столицу из провинции Ляонин. В 1960 году окончила Китайский Народный университет. Работала в Первом министерстве машиностроения, на Пекинской фабрике кинопленки. После образования в 1982 году пекинской организации Союза писателей работает в этой организации; в настоящее время — член Союза писателей, член правления пекинского отделения.

Печататься начала с 1978 года. Ее рассказы «Дитя» и «Кто живет красивее» были удостоены премии за лучший рассказ на общекитайских конкурсах в 1978 и 1979 годах. В последние годы опубликовала ряд повестей и рассказов — такие, как «Тяжелые крылья» и другие. Предлагаемый читателю рассказ удостоен премии на Всекитайском конкурсе 1983

года.

* * *

Вдо-ох — выдох, вдо-ох — выдох!

Туман повис над озером белесым, с чуть заметной прозеленью, покрывалом. Воздух чистый и свежий, напоенный озоном, словно у моря, вселял бодрость.

Вдо-ох — выдох, вдо-ох — выдох!

Вдруг перед глазами Юэ Тофу все засверкало — какая красота! Лотосы расцвели — когда только успели?! А он и не заметил — может, они ночью раскрылись все сразу? Он ведь каждое утро бегает вокруг озера — не мог пропустить…

Вдо-ох — выдох, вдо-ох — выдох!

Нынче, наверно, будет дождь — с самого утра парит. Стайки стрекоз жмутся к воде, лишь изредка пролетая мимо головы.

Вдо-ох — выдох, вдо-ох — выдох!

Половина дистанции уже позади, но Юэ Тофу держит темп. Он бежит легко, не спеша, не напрягаясь, обгоняя одного за другим стариков, которые по-настоящему бегать не могут — только делают вид…

Даже невооруженным глазом видно, сколько за эти два года прибавилось людей, которые

по утрам занимаются физкультурой в парке. Кое в ком с первого взгляда узнаешь человека, покинувшего «высокий пост». И по речи, и по манерам.

Свой чуть выступающий животик они несут с достоинством и, даже труся вдоль берега под ивами, каждым своим шагом дают понять, что делают что-то очень важное — передают какое-то указание или тщательно обдумывают, как одним махом разрешить весьма непростое дело…

Было здесь несколько человек, которые попадались ему ежедневно, — обгоняя их, Юэ Тофу всякий раз с легкой улыбкой вежливо склонял голову. Порой ему тоже улыбались в ответ, и эта улыбка, словно зеленый огонек на перекрестке, озаряла его душу радостью.

Обогнув шестигранную беседку, Юэ Тофу заметил впереди Малыша, бежавшего слегка подпрыгивая. Его старенькие синие кеды шлепали по грязной тропинке сбивчиво и не в лад. Тощие ляжки слегка подрагивали в широченных трусах. Лилово-красная тренировочная фуфайка совсем уже потеряла вид, но на спине по-прежнему гордо красовался номер семь. Что на груди, Юэ знал не глядя: там были начертаны четыре иероглифа, известные, как говорится, «среди всех

людей» — название их родного университета.

Ах, славная альма-матер, рассеявшая своих отпрысков по всему миру!

В их группе был всего двадцать один человек, но казалось, куда ни поедешь, обязательно встретишь своих. Только в управлении их оказалось трое: Малыш, Цай Дэпэй и он сам.

Конечно, если поразмыслить, ничего удивительного в этом нет. Получили одну специальность, на работу почти всех распределили в одну систему, не считая того, что вышли из такого знаменитого вуза; с шестидесятого года, когда его окончили, успели приобрести кое-какой опыт и, в общем, могли работать самостоятельно. Да и времена наступили отличные, когда в центре стали ценить интеллигенцию, — в общем, воды под килем прибыло. Выезжая в командировки на места, он всякий раз встречал одного-двух бывших однокашников, сделавших карьеру. Правда, начальнику отдела где-нибудь в провинции далеко до завотделом здесь в центре, в министерстве, — до такого, как он…

Юэ Тофу приходилось слышать, что его считали лучшим в группе. А в последнее время в центре появились новые веяния, заговорили о дальних перспективах, подняли вопрос о подготовке ру-

ководителей третьего эшелона… Был определен и возрастной предел для него — от тридцати пяти до сорока пяти лет.

Юэ как раз подошел к самой вершине — к сорока пяти…

Его поколению, право же, повезло — удалось получить высшее образование. И хотя во времена «великой культурной революции» учебу пришлось бросить, но «изначальная жизненная сила» ущерба не понесла, политическим нападкам они не подвергались, разве что работали тяжко. А сейчас, когда все они в расцвете лет, Центральный комитет, с одной стороны, вдруг обратил внимание на интеллигенцию среднего возраста, а с другой — на критическую ситуацию, когда нет преемственности между зрелыми кадрами и «молодой порослью». Укажи ЦК на это несколькими годами раньше или позже, что им было бы от того проку? Обрати ЦК внимание только на одну сторону — они бы тоже погоды не сделали. Но сейчас… Вот уж правду говорят: каков ветер, таков и дождь!

Кто-то узнал, что у Юэ Тофу есть шанс быть выдвинутым парткомом на должность заместителя начальника управления. Некоторые факты как будто подтверждали этот слух.

Да чего далеко ходить: в управлении его назначили ответственным за общие вопросы производства и планирования — а они затрагивают и научно-исследовательские учреждения, и производственные, и потребляющие — всего больше ста организаций. И пусть над ним стоит еще начальник управления, он только подписывает бумаги, а реальная власть в руках у Юэ. Кстати, начальнику уже шестьдесят восемь — пожалуй, через несколько месяцев он тоже пополнит ряды «покинувших пост»... И еще: последнее время Юэ каждый раз приглашают на расширенные заседания парткома...

От этих мыслей во взгляде Юэ Тофу появилась какая-то умудренность и значительность, а губы непроизвольно поджались. Словно актер, он уже входил в роль.

Еще несколько шагов — и Юэ Тофу догнал Малыша. В институте его прозвали так студенты — из всей группы он был самый младший. Сейчас Малыш уже начал лысеть, но Юэ так и не отказался от старого прозвища. Вообще, став начальником, он невольно начал называть многих уменьшительными именами. Обращаться так к нижестоящим было довольно удобно — со стороны руководителя ощущалась некая заду-

шевность, а сам Юэ, еще не слишком старый, начинал от этого выглядеть солиднее.

Малыш обернулся на бегу и осклабился.

— Бегаешь? Ну-ну! — бросил Юэ Тофу без особой теплоты, но не слишком холодно и, не дожидаясь ответа, побежал дальше. Сделал он это намеренно — уже сейчас надо держать старых дружков на расстоянии, чтобы разрыв не показался чересчур резким, если Юэ в будущем займет важный пост. А то пойдут разговоры, что он зазнался, забыл старое… Да, в интересах дела старых дружков надо держать на определенной дистанции. Иначе начнут здесь все разнюхивать — и хорош он будет, если распустит язык… Ведь скажешь им что-нибудь — нарушишь организационный принцип, не скажешь — испортишь отношения!

Однако Малышу такое даже в голову не приходило: какой бы высокий пост ни занял Юэ Тофу — хоть заместителя Председателя республики, Малыш не сомневался, что сможет в любое время точить с ним лясы. Поэтому он даже внимания не обратил на неразговорчивость и сдержанность приятеля, а, поддав немножко, тут же поравнялся с ним.

— Слушай, куда это ты уходил вчера вечером? Я пришел, а тебя нет.

— По делам. — Юэ Тофу даже не спросил, зачем приходил Малыш, — ясно, что ничего стоящего. Малыша этот уклончивый ответ ничуть не задел. Его, собственно, не интересовало, куда уходил Юэ, просто он зря потащился к нему и жаль было потраченного времени.

— А Хуэйфэнь тебе не сказала?

— Она уже спала, когда я вернулся.

— Да, от женщин никакой пользы, один вред!

Юэ Тофу покосился на Малыша. Бежал тот неправильно — предплечья, вместо того чтобы двигаться вперед и назад, описывали перед грудью какие-то круги, как будто рычаги мотовила, наматывавшего нитки.

— Слыхал новость? Из отдела кадров приходили двое, интересовались Цай Дэпэем — говорят, его выдвигают в заместители начальника управления!

В какое-то мгновение Юэ даже не сразу среагировал — уж слишком непохожа была эта новость на то, о чем он сейчас мечтал. А когда воспринял ее, то даже не ушами, а каждой клеточкой тела, потаенными глубинами сердца.

Нет, это было слишком ошеломляюще — невозможно поверить. Он уже так свыкся с мыслью о высокой должности, которую займет со време-

нем, что вдруг ощутил себя ползущим по грязи, после того как всю жизнь ходил с гордо поднятой головой… Мгновенно появившееся чувство усталости поползло откуда-то от икр и голеней по внутренней стороне ляжек, подбираясь к животу. Он даже не нашелся сразу что ответить Малышу — весь был охвачен безысходностью крушения своих надежд. Пусть он не был среди стоящих в первом эшелоне, но раньше он, по крайней мере, знал, что пройдет лет пять — и всем им придется уйти со своих постов. Стоило ли ему, третьему эшелону, двадцать лет ждать этого момента, чтобы проиграть все?! Было от чего прийти в отчаяние!

Он вздрогнул, и что-то твердое, колом став в горле, поползло по пищеводу, причиняя мучительную боль. Боль медленно проникала дальше, в желудок, и лишь когда от жестоко истерзанного пищевода не осталось ничего, кроме этой невыносимой боли, счастливая мысль заставила его усомниться в достоверности сообщения.

Да, поверить этому он просто не мог. И по очень простой причине — ведь известие-то принес Малыш, великий путаник, человек не от мира сего, о чем знало все управление. Такие люди способны принять за правду любую ерунду, а правду посчи-

тать чепухой, им недоступны оттенки события. И пусть сам он тоже не слишком сведущ, но за его плечами как-никак более чем двадцатилетний опыт партийной работы — не то что у Малыша.

И все же что-то мешало ему окончательно успокоиться. Ведь если из отдела кадров действительно кто-то приходил и интересовался Цай Дэпэем — о таком важном деле он, Юэ Тофу, не мог не знать, — во всяком случае, он узнал бы об этом раньше Малыша.

Сердце его бешено прыгало, но отвечать Малышу приходилось так, как будто ему не было до этого всего ровно никакого дела.

— Не слыхал, — произнес он, сделав абсолютно равнодушный вид.

Понимать его слова следовало так: «Может, и слышал, но надо ли безответственно распространять подобные слухи?!»

Красное, обжигающее солнце, до сих пор словно укутанное в одеяло, внезапно прорвало серую, как черепица, завесу туч, проделав в них изрядную дыру. Темно-красные лучи брызнули сквозь прореху в облаках, воздух стал сырым и горячим, голова Юэ Тофу начала зудеть, словно от чесотки.

Внезапно его осенило: ведь можно как-то попы-

таться предотвратить грозящую ему опасность! Мысль эта была все равно что несколько капель воды для сраженного солнечным ударом; однако же, подавив волнение, Юэ попытался трезво оценить ситуацию.

Как только была выдвинута идея о «третьем эшелоне», Юэ Тофу моментально перебрал в памяти всех между тридцатью пятью и сорока пятью. Он досконально выяснил не только политическое лицо каждого, стаж, профессиональный уровень, организаторские способности, влиятельные связи, но и все поощрения и взыскания, узнал, не имел ли кто среди родственников «репрессированных», «замешанных» и «подвергнутых». Конечно, в быстроте и точности этой проверки начальнику технического отдела Юэ Тофу было не угнаться за завкадрами Сунь Сюэ — у того уровень, конечно, повыше. Ну, выше так выше. В конце концов, он работал в условиях, где сам черт ногу сломит. Своей жене, Минь Хуэйфэнь, он даже краешка своих рассуждений не приоткрыл. Нагляделся за все эти политические кампании, как многие гибли только из-за своего языка. Как говаривали древние: беда грядет изо рта!

Прикидывал он и так и эдак. У одних и профессиональный уровень есть и организаторские

способности, но, увы, они беспартийные. У партийных либо способности подкачали, либо репутация какая-то неопределенная. А он в работе хоть и не достиг вершин, как некоторые, зато кончил престижный институт. Партстаж у него по сравнению с товарищами из первого эшелона вроде бы невелик, но как-никак двадцать шесть лет и семь месяцев. В политике, можно считать, прошел огонь и воду, чего только не пережил: «борьбу за исправление стиля» и «борьбу с правыми», «большой скачок», «борьбу с правым уклоном» и «великую культурную революцию», а порочащих материалов на него не нашли, да и у руководимого им технического отдела серьезных проколов не наблюдалось…

— Понимаешь, старина Юэ, люди очень одобряют выдвижение Цай Дэпэя, так что, думаю, у него есть шанс. Только знаешь — мешает одна закавыка, как бы об нее не споткнулся: ведь его оргвопрос до сих пор не решен!

Вот именно! Даже Малыш сообразил!

Вдо-ох! Выдох!

Только что сбивчивые шаги и неровное дыхание Юэ Тофу обрели прежний ровный ритм.

Вдо-ох! Выдох!

Вот где его уязвимое место! Сколько ни клейми

тех, кто «вступает в партию ради карьеры», все равно никто не допустит назначения «беспартийного» на руководящую должность. Ну конечно, кроме лиц исключительных, олицетворяющих собой политику партии. Да и как тогда быть с директивой относительно «находящихся в партии свыше семнадцати лет»?

Да, таков неписаный закон. К счастью, есть какие-то границы, а то творилось бы просто черт знает что. При этой мысли Юэ Тофу почувствовал, как сердце его разжалось. Настала его очередь смотреть, как другой «барахтается у берега».

— Такие вещи, Малыш, решаются парторганизацией, — заметил он веско.

Малыш бросил на него испытующий взгляд, словно прикидывая, правда это или бюрократическая отговорка. Ведь тут как на «свободном рынке» — сколько ни вглядывайся в безмен лоточника, взвешивающего овощи, он все равно тебя надует! Однако ему показалось, что Юэ Тофу ответил просто так, наобум, и он продолжал с прежней доверчивостью:

— Помог бы ему! А? Он ведь из вашей парторганизации — подними его дело. Через три месяца ему исполнится сорок шесть, и он вылетит из «третьего эшелона». Мы же все однокашники, ты

в институте был у нас секретарем партячейки — войди в его положение! Он еще в институте, лет двадцать пять назад, подавал заявление!

Даже Малыш предвидит этот ход! Юэ Тофу на мгновение пришел в замешательство. Малыш следил за ним пристальным взглядом, его локти замелькали перед грудью еще быстрее — он старался не отстать от Юэ Тофу. Ноги Малыша шлепали по земле вразнобой, пот со лба и висков стекал на щеки, вечно имевшие какой-то зеленоватый капустный оттенок.

Просто поразительно, ему-то какое дело? Чего он суется? Но попал в самую точку — все, по-видимому, решится в течение ближайших трех месяцев…

— Именно потому, что мы однокашники, мне и не хотелось говорить. Но теперь позволь все высказать напрямик: от своих прежних недостатков ты так и не избавился. О делах надо рассуждать принципиально, во главу угла ставить политику — при чем тут эмоции? В партийном уставе как сказано? Мы вступаем в партию во имя коммунистических идеалов, а не ради личных выгод и привилегий!

Свою тираду Юэ Тофу произнес очень сердечно. Глаза его отрешенно и даже с некоторой грустью

глядели вперед на извивавшуюся вдоль озера тропу, которую еще предстояло преодолеть, и он позволял себе моргнуть лишь тогда, когда капелька пота падала ему с бровей на глаза.

Малышу нечего было возразить. Оставалось лишь, опустив голову, с колотящимся сердцем следить за тем, как меряют грязную тропинку его ноги, и слушать их сбивчивый, нестройный топот. Рядом с Юэ Тофу, четко печатающим шаги, даже в самой его манере бежать было что-то от либерализма и беспринципности. Зато державшийся обок с ним Юэ Тофу бежал совершенно невозмутимо. Он был так уверен в себе, как будто знал, что на финише его ждет большая белая пампушка!

— Пойми меня правильно, — словно бы извиняясь, добавил Юэ Тофу, — я никогда с самых студенческих времен не потакал корысти!

И верно, Малыш вспомнил, как все пять лет в институте Юэ Тофу оказывал помощь товарищам, ведя с каждым наставительные беседы. Не пять дней или месяцев, а целых пять лет Юэ Тофу бескорыстно жертвовал своим блестящим профессиональным будущим ради других. Он был ближайшим и нелицеприятным другом каждого, они поверяли ему сердечные тайны,

признавались, кому из сокурсниц писали любовные записки. И все же никто из группы в партию принят не был — до самого выпуска, — и они ощущали неловкость перед Юэ Тофу, отдавшим им столько душевных сил.

Вспомнив прошлое, Малыш приуныл и пал духом. Да, прав Юэ Тофу: он все такой же, и сам Юэ Тофу тоже прежний. Никто не переменился.

Хочешь не хочешь, а Юэ Тофу приходилось вставать с дивана. Минь Хуэйфэнь то и дело поглядывала на него краешком глаза. Вот-вот начнет приставать: «Что с тобой?», «Что-нибудь болит?», «Десять минут восьмого, а ты еще не умывался, не чистил зубы, не завтракал?!»

С точки зрения Юэ Тофу, между домом и работой разница не велика — если рядом есть кто-то второй, расслабиться уже невозможно.

Ишь, вырядилась! Напялила коричневую нейлоновую юбку с люрексом — талия стянута, подол заужен, пузо и задница выпирают — ну прямо большой деревянный барабан с двумя обручами по краям!

Спокойно живет — оттого и жиреет! Никогда ни о чем серьезном не думала — коротает себе свой заурядный век, уйдя с головой в домашние дела!

Юэ Тофу вошел в умывальную комнату и

невольно бросил взгляд в узкое длинное зеркало на стене. Он сам не знал почему, но ему вдруг показалось, что он сильно постарел. Юэ уставился в зеркало, придирчиво рассматривая морщинки на лбу и в уголках глаз, — да, они действительно стали заметнее! С тревогой в сердце он протянул руку, чтобы разгладить морщины — как будто можно расправить эту собравшуюся в складки кожу… Кончик усов на щеке кольнул его ладонь — может, все из-за того, что усы слишком длинные, из-за них он выглядит таким изможденным?

Юэ Тофу плеснул горячей воды в таз, намочил в ней полотенце и приложил к щекам, выдавил немного крема на помазок и круговыми движениями стал намыливать щеки и подбородок до самой шеи. Потом начал бриться.

«Три месяца… Годы — это золото. От одного года зависит, пойдешь ли ты в гору или покатишься вниз». Он глубоко вдохнул и задумался.

А, ч-черт, рука у него дрогнула, и лезвие тотчас резануло щеку, сквозь мыльную пену проступила алая кровь. Полотенцем он стер пену с лица и, рассмотрев сочившийся кровью порез, длиной меньше цуня[66], наклонился к водопроводному

[66] Примечания: 66

Цунь — традиционная китайская мера длины, равная средней фаланге указательного пальца — около 3 см.

крану, чтобы промыть его холодной водой, потом, осторожно обходя ранку, быстро добрил усы, сполоснул лицо и почистил зубы.

«Главное — как-то протянуть эти три месяца!» — подумал он. Все его мысли, словно капельки верткой ртути в чашке, сливались в одну, и их, как ни старайся, невозможно было разделить.

Взяв гребенку, Юэ Тофу принялся расчесывать свои густые черные волосы, и вдруг его гребенка замерла на полпути. Взгляд Юэ был поражен видом седого волоска, затаившегося на виске в гуще черных волос.

Да что же это сегодня делается?

Не то чтобы раньше он не замечал у себя седых волос, но никогда они с такой очевидностью не напоминали Юэ Тофу о быстротечности времени, как сегодня. Старости он не боялся — но в столь ответственный момент просто никто не должен заметить, что он стареет.

Юэ Тофу отложил гребенку и попытался ухватить седой волос средним и указательным пальцами, но волосы были скользкими — позавчера, вымыв голову, он смазал их воском для блеска. Седой волос никак не давался — он словно играл с Юэ в прятки. И Юэ Тофу вместо седого каждый раз выдергивал черный. Ничего не поделаешь

— волосы у него густые, не то что у некоторых, которые раньше времени сверкают плешью.

Поднятая вверх рука затекла, но звать на помощь Мин Хуэйфэнь не хотелось. О таких делах и чувствах другому не расскажешь. Да и вообще, жена была для него чем-то вроде зуба мудрости, который появляется у каждого по достижении определенного возраста.

Уф, он наконец-то вырвал этот проклятый волос и с безотчетным чувством омерзения швырнул на пол как раздавленное насекомое.

Когда он вышел из умывальной, дети и Минь Хуэйфэнь уже поели. Завтракали обычно в большой комнате, рядом с входной дверью. Юэ Тофу присел за стол, привел в порядок валявшиеся как попало палочки для еды и, ни единым словом не выдав своего раздражения, быстро поел. Вытер губы и, сняв с вешалки за дверью черный видавший виды портфель, бросил, ни к кому не обращаясь: «Я пошел!»

— Подожди минутку, — остановила его вышедшая из кухни жена, — отнеси вот Цай Дэпэю десяток соленых утиных яиц! — сказав это, она протянула ему сетку с яйцами.

— Придумала тоже! Да с какой стати — пусть сам себе покупает! — Юэ зло сверкнул глазами на

жену из-под насупленных бровей. Начальник отдела — и вдруг потащится с сеткой в учреждение, да на что это похоже! Один вид чего стоит!

— Да? А ему каково? Мужчина он одинокий, питается кое-как, набьет живот чем придется, и ладно. — Жена чуть не насильно сунула ему сетку в руки.

— Может, найдешь хоть полиэтиленовый пакет, — поняв, что ему не отвертеться, проворчал Юэ. — Положу их в портфель, а то нести сетку с утиными яйцами в руках просто неприлично.

— Ну и что такого? Дело житейское, — округлила свои когда-то большие и красивые глаза Минь Хуэйфэнь, но все-таки отправилась искать мешок. Характер у жены был покладистый, и она не привыкла настаивать на своем.

Пакет, по-видимому, оказался из-под молочного порошка: когда его встряхнули, на пол посыпалась белая пыль.

— Ты разговаривал с сестрой о том деле? — спросила жена, продолжая трясти пакет.

Чего доброго, еще запачкает его портфель… «Ладно, ладно, хватит трясти!» Юэ Тофу вытащил из портфеля конверт с бумагами и, засунув туда сетку, положил бумаги сверху.

Жене он не ответил — ему не хотелось затевать

это дело, и потому с сестрой он не говорил. Однако сейчас им владели весьма странные и сложные чувства…

Свести вторую сестру с Цай Дэпэем? А будет ли она с ним счастлива? Он ведь разведенный. Но если сестра согласится — он видел, что она произвела на того впечатление, только лед еще не тронулся и «не порвали бумагу в окне», — тогда как он должен к нему относиться? На прошлой переаттестации Цай Дэпэю присвоили звание инженера седьмого разряда. А что такое инженер седьмого разряда? Этих инженерно-технических работников у них столько, что хоть греби решетом, однако инженер седьмого разряда, да еще с партбилетом, — это уже тигр с крыльями…

— Тут Малыш вчера вечером заходил…

— Знаю, только что встретились на утренней пробежке!

— Ты не мог бы как секретарь парторганизации помочь Цай Дэпэю с его оргвопросом?

— Но если он еще не созрел, что я один могу сделать? Если не проголосуют коммунисты на общем собрании, я им приказать не смогу.

Тут Минь Хуэйфэнь сообразила, что все не так просто.

— А какие к нему претензии? — осторожно

осведомилась она.

— Это… — Юэ Тофу на мгновение поперхнулся, — не созрел еще. — Отговорка была железной, годилась всегда и для всех. У кого не отыщутся недостатки? Кто посмеет сказать о себе, что он вполне перевоспитавшийся пролетарский интеллигент?

На самом же деле все было как раз наоборот. Ни члены партии, ни беспартийные не возражали против приема Цай Дэпэя, в плане роста партийных рядов его имя стояло первым. Это он, секретарь, почему-то тянул, не проводил обсуждения новой кандидатуры — в нем было все дело.

— Ну, например, э-э… высокомерен, слабо связан с массами, мало думает о политике… Или вот еще: почему это он развелся? Ни слова, ни звука, и вдруг — развелся?! И о причинах развода не сообщил партбюро — странно, этот факт не прошел мимо масс.

Такие речи только начни — и они будут литься из уст нескончаемым потоком. Сколько лет он этим занимается! Юэ был похож на осла на мельнице, которого только подтолкни — и он будет делать потом круг за кругом, что бы ему ни говорили.

— Я уж думала, правда, что-то очень серьезное, — облегченно вздохнула Минь Хуэйфэнь. — А ты поработай с теми членами партии, которые против…

Смешно, если каждого принять в ряды, чего тогда будет стоить звание члена партии?!

— Ты хочешь, чтобы я протащил его в партию? На подобную беспринципность я не способен, — напыщенно отверг Юэ Тофу безответственное предложение жены.

— А ведь, кажется, это он помог тебе с дипломным проектом? Не будь его — не видать бы тебе диплома!

Это уже напоминает методы боевых отрядов времен «великой культурной революции», докапывавшихся до «самого дна»! Вот что бывает, когда откровенничаешь с женой. Чтобы как-то прекратить тягостный для него разговор, Юэ Тофу уже трижды в течение двух минут обращал свой взор на часы. — Мне пора, а то опоздаю, — наконец сказал он.

Минь Хуэйфэнь ровным счетом ничего не могла понять. Почему Юэ держится так отчужденно, почему даже с ней, со старыми друзьями взял такой официальный тон. Она не знала, как это у нее вырвалось:

— Ты посмотри — ведь все твои однокашники тебя сейчас обогнали! — произнесла она ледяным тоном.

Ее слова поразили Юэ в самое сердце.

Разве можно везде поспеть? Кто мог предвидеть, что когда-то наступит день и можно будет зарабатывать своей специальностью? А теперь все кончено. Разве он в состоянии снова вернуться в университет, чтобы наверстать упущенное, вернуть эти двадцать с лишним лет?! Дороги назад для него нет — нужно идти по своей до конца. А перед Цай Дэпэем — большой светлый путь, он пойдет в гору все выше и выше, станет инженером шестого, потом пятого, четвертого разряда... Зачем ему мешать? Не такое уж у него черное сердце — и в мыслях нет зажимать Цай Дэпэя всю жизнь, пусть только пройдет эта кадровая перестройка!

— Ты не должна так говорить. Если бы я тогда не наставил их на правильный путь, разве достигли бы они сегодня таких успехов? Да и сам я лишь благодаря партии смог воспитать эту плеяду талантов. — Юэ Тофу обиженно сунул портфель под мышку и с видом невинного страдальца быстрым шагом вышел из дому.

На душе у Юэ Тофу было муторно. Однако, войдя

в кабинет, он по давней привычке обвел глазами каждую мелочь, каждый уголок. Все выглядело отлично, не придерешься — таким и должен быть его кабинет, и сам он готов к приему любой инспекции в любую минуту. Полный порядок, все лежит на своих местах, раз и навсегда установленных.

Вот девчушка на календаре, склонив головку и кокетливо скосив глазки, улыбается, словно звезда киноэкрана, а внизу написано детским почерком: «Мама родила только меня одну!» На противоположной стене — лозунги о «пяти выступлениях, четырех прекрасных, трех горячо любимых» и «Учитесь у товарища Чжан Хайди!». Вокруг лозунга «Учитесь у товарища Чжан Хайди!» на стене белесая от клея полоска в цунь шириной — это из-за того, что раньше на том же месте висел другой лозунг: «Учитесь у товарища Лэй Фэна!», размером чуть побольше. Не очень красиво, ну да не велика важность, может, и дня не пройдет, как опять придется менять лозунги, глядишь, размеры и совпадут. Юэ Тофу любил лозунги: они позволяют сразу ухватить самое главное, с первого взгляда уяснить ключевую задачу момента. С ними куда проще, чем со всякими там решениями, документами, сообще-

ниями, тезисами и докладами, через которые не продерешься.

Когда Юэ Тофу клал свой портфель на кресло возле окна, из портфеля послышался стук утиных яиц, и он заговорщицки ухмыльнулся портфелю, словно в нем уже была голова Цай Дэпэя.

Усевшись за письменный стол, Юэ потер руки и взялся за телефон. Соединили мгновенно — он попросил Да Лю зайти к нему в кабинет.

Опустив трубку, Юэ Тофу достал из ящика стола красиво изданную книгу «После Третьего пленума» и положил на видное место, потом вытащил кипу бумаг. Часть сдвинул влево, другую — придвинул к себе, полистал, вынул из пенала большущий красно-синий карандаш, закурил и сделал вид, будто с головой ушел в работу.

В дверь постучали.

— Войдите, — ответил Юэ Тофу, не поднимая головы.

Вошел Да Лю. Юэ кивнул, что должно было означать: «Я сейчас!», подчеркнул в документе что-то жирной красной чертой и лишь после этого, опустив карандаш и повернувшись к Да Лю, пригласил: «Садись, пожалуйста!» Небрежно протянул пачку сигарет: «Угощайся — „Облачные“!»

Да Лю не заставил себя долго просить, взял

сигарету и закурил.

— Подешевел табачок, — заметил он. — А то было прямо невмоготу. Понять не могу, о чем эти люди думали?! Считали, что так просто получить прибыль, поднимая цены. А люди перестали покупать — вот и вся прибыль!

В обычное время Юэ Тофу ответил бы на такую тираду ледяным молчанием, но сейчас только благодушно рассмеялся:

— Не все сразу, — мы строим плановое хозяйство на много лет вперед, стараемся регулировать рынок, а опыта пока маловато…

Да Лю затянулся поглубже — ничего, табачок хороший…

— Ты видишь, сколько работы, — Юэ Тофу обвел рукой разложенные на столе бумаги и блокноты, — все забываю спросить, как твой отец. Лучше ему?

Да Лю отложил сигарету и, откинувшись на спинку кресла, выпрямился.

— Боюсь, что это конец, — грустно промолвил он. — В прошлом году после операции он несколько месяцев чувствовал себя неплохо, но вот последнее время мать пишет, что ему опять хуже — похоже, это метастазы… А в больницу устроить не просто…

В продолжение всего разговора Юэ Тофу наклонами головы выражал свое глубокое сочувствие, он даже включил вентилятор и направил его так, чтобы струя воздуха обвевала Да Лю.

— Не волнуйся, — произнес Юэ Тофу; казалось, он что-то обдумывает, хотел бы узнать мнение собеседника. — А что, если мы сделаем так… Необходимо выяснить, как идет работа по освоению ведущего двигателя марки ХХ… Несколько дней назад нам представили об этом доклад, — Юэ Тофу нашарил в ящике стола экземпляр и протянул его Да Лю, — похоже, что для решения кое-каких вопросов им нужна помощь Управления. Может, ты съездишь туда? Вникнешь в суть дела, окончательно разрешишь все проблемы, а в случае необходимости сможешь побывать на соответствующих рабочих объектах. Я тут прикинул — вместе с посещением объектов на все эти дела, как ни крути, понадобится свыше трех месяцев. Вот заодно и поможешь матери ухаживать за отцом. Бывший однокашник моей жены работает там в больнице главврачом — очень неплохой специалист, — я мог бы ему написать, попросить посодействовать… Не знаю только, как у тебя дела. Семью-то сможешь оставить на такой срок?!

Юэ Тофу был опытный рыбак — он тянул леску

все сильнее…

— Да это же превосходно! — нетерпеливо воскликнул, едва дослушав его, Да Лю. — Когда еще представится такой случай. И как ты все продумал до мелочей — и личное, и общественное!

— А как же иначе? Отец твой совсем плох, матери надо помочь. Просить о длительном отпуске неудобно. А тут все равно кто-нибудь должен ехать — не ты, так другой. Только вот… — Юэ Тофу глубоко вздохнул, и лицо его приняло озабоченное выражение, — только дело это срочное, стройка ведущая, наверху ее держат под довольно жестким контролем, каждые три дня звонок, каждые пять — подавай сводку, так что сам понимаешь, что касается нас — все должно быть в ажуре. Сможешь выехать в течение двух дней?

— Не беспокойся, все будет в порядке! — поспешил заверить Да Лю.

— Ладно, тогда сегодня же сдай дела и ступай домой укладываться, — закончил разговор Юэ. — А я побегу на собрание по распределению жилплощади. Ох, опять придется спорить до хрипоты. Уже сколько раз взвешивали, прикидывали. Некоторые товарищи — стыд такой — за детей и внуков хлопочут… Мы остановились на старине Вэне. У него в семье пятеро, три поколения, взрос-

лые сын и дочь — и все ютятся в двух комнатах. Ну, как это можно?! Не знаю, утвердили ли наше решение. Если нет, придется выходить с этим вопросом на партком!

Да, занимающиеся распределением квартир должны быть вне подозрений. Вон Юэ Тофу ради старины Вэня все ноги себе оттоптал, все горло сорвал, а сам, между прочим, хоть и больший начальник, тоже ютится в двухкомнатной квартирке. Хорошо еще, что у него два сына. А если бы сын и дочь — что тогда делать?

Выпроводив Да Лю, Юэ Тофу, успокоившись, прихватил блокнот и направился на собрание.

Перед тем как его закрыть, Юэ Тофу доложил коллективу отдела результаты распределения жилья. В конце концов, квартира все-таки досталась старине Вэню — целых три комнаты. Старина Вэнь так расчувствовался, что чуть не бухнулся Юэ Тофу в ноги, как будто тот сам ее выстроил или же подарил Вэню. При виде совсем обезумевшего от счастья новосела, который в порыве благодарности превозносил его добродетели, Юэ Тофу ощутил, как постепенно возвращается к нему прежняя уверенность. В конце концов он и сам растрогался.

— Вот реальные плоды политики ЦК в отно-

шении интеллигенции, — заявил он. — Теперь мы должны работать еще старательнее, отдавая все свои знания и способности делу скорейшего осуществления «четырех модернизаций»!

Он вернулся в свой кабинет усталый и довольный, словно только что успешно преодолел марафонскую дистанцию. Заварил стаканчик лучшего чая с цветами жасмина, с удовольствием развернул свежие «Новости», «Народную газету» и стал просматривать с самого начала.

«Учиться духу Чжан Хайди...», «Шестая сессия Собрания народных представителей и Политического консультативного совета начнут свою работу...», «Учеба членов партии...» — казалось бы все такое далекое, а никуда не денешься!

Зазвонил телефон. Юэ Тофу потянулся к трубке, не отрывая глаз от газеты. Чтение газет было непременным пунктом его распорядка дня: если он хоть день не читал газет, то ощущал в глубине души какую-то неуверенность. Даже в последний период «культурной революции», когда у власти была «банда четырех» и люди потихоньку посмеивались над всякой чепухой, которую печатали в газетах, он по-прежнему исправно прочитывал их от корки до корки.

— Алло, вам кого?

— Говорит Чэнь Мяохуэй.

— О, начальник управления Чэнь! У вас ко мне дело? — любезно осведомился Юэ Тофу, бросив газету.

— Да вот хотел выяснить, что там у вас с оргвопросом Цай Дэпэя? — Голос начальника звучал доверительно, словно он предлагал лотерейный билет или сообщал закадычному другу, что наконец получил квартиру.

Юэ Тофу показалось, что кожа на голове натянулась, словно на барабане. Выходит, Малыш болтал не зря! Иначе зачем бы стал начальник интересоваться этим оргвопросом?! И зачем персонально спрашивать о Цай Дэпэе, а не о плане роста рядов партии в целом по техническому отделу?! Чэнь — человек весьма ответственный, просто так спрашивать не станет, значит, на парткоме управления вопрос уже обсуждался…

Как себя вести в создавшейся ситуации? Главное — не ошибиться…

— Гм, мы готовимся его принимать…

— Что же, — перебил его начальник, — товарищ как будто зарекомендовал себя неплохо?!

Сердце Юэ Тофу будто сжало клещами.

— Конечно, конечно, он у нас уже и анкету заполнил…

— Так сколько же времени требуется, чтобы заполнить анкету?! — В голосе начальника, как ему показалось, послышалось недовольство.

— Э-э, после заполнения анкеты должно пройти месяцев семь. — Начальника не проведешь, и Юэ Тофу отвечал точно, так, чтобы придраться было не к чему. Однако и начальник был не промах, ухватывал самую суть.

— Тогда чего же вы тянете?

Юэ Тофу виновато рассмеялся:

— Никак не можем собрать общее партийное собрание. Работы невпроворот, рабочих рук не хватает, то здесь прорыв, то там, а расписание у рабочих групп не состыковано. Но есть еще и другое — член партбюро, который дал ему рекомендацию, сейчас в командировке. — Втайне Юэ Тофу просто ликовал от того, что, придя на работу, успел услать Да Лю.

— И надолго?

— На три с лишним месяца!

— Ай-я, в самом деле?

— Да.

— Интенсивнее надо работать, надо поднимать роль интеллигентов среднего поколения. Таков дух указаний ЦК, и мы должны неуклонно проводить их в жизнь!

— Конечно, конечно, мы созовем общее собрание парторганизации сразу же, как только вернется рекомендовавший его товарищ!

— А сам-то он как относится к проволочке?

— Реагирует правильно. Сколько раз уже говорил: днем раньше, днем позже — не имеет значения, он будет неустанно выполнять партийную работу и в рядах партии, и за ее пределами… Да вообще-то мы к нему относимся так же, как к членам партии.

Начальник управления усмехнулся: что же, как говорится, путь через заставу проложит меч.

— Ладно, так и решим, — сказал он.

Юэ Тофу положил трубку, липкую от пота, с чувством тяжести в сердце и тупо уставился на лозунг о «пяти выступлениях, четырех прекрасных и трех горячо любимых». Можно считать, что в этот раз он вышел из игры с честью, но что будет в следующий? Он не был уверен, закончилась ли эта партия в его пользу или в пользу Цай Дэпэя. А впереди еще три решающих месяца — догадки, тревоги, волнения. Если бы они промелькнули как одно мгновение!

Однако время текло медленно. Начальник больше не торопил его с решением оргвопроса, слухи о выдвижении Цай Дэпэя на должность

зама постепенно заглохли, и тяжкий камень, который лежал на сердце у Юэ, с каждым днем становился легче.

Наконец вернулся Да Лю, доложил об обстановке. Все проблемы понемногу решились, двигатель будет сдан в срок, в соответствии с планом. Только вот отцу никак не полегчает, а наоборот, с каждым днем становится все хуже.

— Ничего, — пробормотал Юэ Тофу, — придумаем еще что-нибудь.

Да Лю недоумевал: ведь ничего особенного он не сделал, за что же Юэ Тофу его так благодарит, с таким преувеличенным энтузиазмом хлопает по плечу? Чудеса! А Юэ Тофу и после возвращения Да Лю не спешил проводить партсобрание. Однако же сделал все необходимые приготовления, чтобы можно было отрапортовать, если начальник вдруг напомнит: «Все уже поставлены в известность, послезавтра проводим общее собрание, просим вас присутствовать!»

Но начальник словно забыл о нем.

Однажды, уже в октябре, в одну из сред утром Юэ Тофу пригласили на расширенное заседание парткома управления, и он, уверенный в успехе, спокойно отправился на партком, в который надеялся вскоре войти полноправным членом.

Обсуждали и рассматривали текущие вопросы, и только в самом конце начальник управления Чэнь вдруг заявил:

— Центральный комитет требует от партийных комитетов всех степеней, чтобы они, руководствуясь духом реформы, ускорили революционизацию, омоложение кадров, повышение профессионального и культурного уровня руководящего звена с тем, чтобы с организационной стороны обеспечить скорейшее осуществление социалистической модернизации и в кратчайшие сроки выработать план изменений структуры руководящего звена. Преисполненный духом указаний ЦК, партком управления познакомился с делами некоторых товарищей. По общему мнению, товарищ Цай Дэпэй в целом соответствует критериям, установленным Центральным комитетом, и может быть выдвинут на руководящую работу. Партия длительное время его воспитывала, он получил неплохую политическую закалку, обладает богатым производственным опытом, зрел и полон сил, предан делу, у него развито чувство ответственности, он осмотрителен и осторожен, всего себя отдает работе, хороший специалист. В ходе создания «третьего эшелона» его можно рассматривать как руководящего работника резерва

и, усилив в плановом порядке его подготовку, в соответствующий момент выдвинуть на пост заместителя начальника управления…

Все. Теперь конец. Юэ Тофу почувствовал, как откуда-то изнутри к сердцу подступает тоска. Догоревшая сигарета обожгла его пальцы. Юэ Тофу бросил на начальника быстрый взгляд, боясь, чтобы тот не угадал его мысли. С трудом принял вид добросовестного слушателя.

— Товарищ Цай Дэпэй, правда, перешагнул предельный возраст — сорок пять, — добавил начальник, — но небольшие отклонения вполне допустимы. А вне партии он до сих пор не по причине своей незрелости, а из-за нашей нерасторопности. — При этих словах начальник пронзил Юэ Тофу таким взглядом, что тот почувствовал себя словно в рентгеновском кабинете.

Ах, если бы он знал заранее, что беспартийный тоже может стать руководителем, что в отношении возраста допускаются какие-то отклонения, разве стал бы он так себя мучить!

Все против него!

Да, страдания Юэ Тофу были невыносимы, но он их принял смиренно, не позволив себе возроптать. Да и как не примешь?! Он, словно потерпевший неудачу прыгун упустил прекрасный

шанс показать, на что способен. Да, как говорится, «за деревней торговли уже не будет»

Он даже не догадывался, отчего испытывал такие мучения — этому нарыву не суждено было вскрыться. Ему казалось, что всему виной его собственная нерасторопность — по глупости упустил такую возможность. Слишком был уверен в себе. Слишком понадеялся на свой прошлый опыт.

Сразу же после расширенного парткома он велел Да Лю известить всех членов партии, что в пятницу во второй половине дня состоится партсобрание; на повестке дня — прием в партию Цай Дэпэя…

Перед самым началом собрания Цай Дэпэй столкнулся в уборной с Юэ Тофу.

— Не волнуйся, все в порядке, — зашептал ему на ухо Юэ, — я тут проделал кое-какую работу, так что проскочишь благополучно. Что бы тебе ни говорили на собрании — действуй по правилу: если замечание справедливое, говори, что исправишься, если несправедливое, говори, что учтешь. — Юэ Тофу подумал еще и медленно, словно расставаясь с семейной драгоценностью, добавил: — И ни в коем случае не пускайся в объяснения! Захвати с собой блокнот и добросовестно фиксируй каждое выступление. Да, а в

заключение скажи, что, независимо от результатов голосования, ты все равно будешь неустанно перестраивать свое мировоззрение, будешь спрашивать с себя по меркам члена партии, неустанно стремиться стать настоящим коммунистом… Вот в таком духе.

Цай Дэпэй взволнованно закивал головой и принялся горячо благодарить Юэ Тофу:

— Да, да, конечно, ты так обо мне заботишься, с самого института, уже двадцать с лишним лет, ты мне так помог в политике…

— Зачем эти официальные слова, — оборвал его Юэ Тофу, — ведь мы однокашники, как же иначе! Скорее бы решился твой оргвопрос! Моя самая большая мечта — это чтобы вся наша группа вступила в партию! — продолжал он. Но ни единым словом не обмолвился о том, что Цай Дэпэю предстоит занять высокий пост, как будто и речи об этом не было. — Да, чуть не забыл, — добавил Юэ Тофу с видом заговорщика, когда они покидали клозет. — Приходи вечером после работы к нам; отпразднуем это дело, Хуэйфэнь приготовила ужин, сестренка собиралась прийти. А кроме того, у нас с женой к тебе есть приватный разговор!

Юэ Тофу серьезно и важно проследовал в зал

заседаний, чтобы потом опустить свой таинственный бюллетень…

ЧЭНЬ ЦЗЯНЬГУН
ИСЧЕЗНУВШИЙ ПЛАТОК С ФЕНИКСАМИ
© Перевод Д. Адамова

Чэнь Цзяньгун родился в 1949 году в городе Бэйхай провинции Гуанси. В 1957 году вместе с семьей переехал в Пекин. В 1968 году окончил среднюю школу при Народном университете Китая. Затем в течение десяти лет работал на шахте Цзинси горнорабочим.

В 1977 году поступил на факультет китайского языка Пекинского университета, который окончил в 1982 году. Сейчас является членом правления Пекинской писательской организации, одновременно работает редактором, профессионально занимается писательским трудом. Член КПК с 1981 года. В Союзе писателей Китая с 1982 года.

Начал писать с 1973 года. Публиковал стихи, прозу, рассказы. С 1979 года им были опубликованы такие рассказы, как

«Изгиб реки», «Некролог», «Переулок Лулуба, д. 9», тепло встреченные читателями. «Глаз феникса» и «Исчезнувший платок с фениксами» получили Всекитайскую премию как лучшие рассказы 1980 и 1981 годов.

I

Странный человек этот Цинь Цзян. Автор многих серьезных, глубоко психологических произведений, он часто пренебрегает элементарными нормами общения с людьми. Я два года пытался взять у него интервью — задумал писать о нем репортаж, но получил отказ. В субботу вечером заметил его в троллейбусе, когда уже собирался сойти. Окликнул, он — ноль внимания, будто не слышит, стоит, держась за поручни, с невозмутимым видом. Может, он псих? Не похоже. Человек как человек. Пишет серьезно, легко, но не поверхностно. Так в чем же дело?

Кстати, когда я собирал материал о конкурсе на лучшее прозаическое произведение (лучшим был признан литературный сборник «Лазоревые облака»), в гостинице нас с ним поселили вместе — мне повезло. Его рассказ «Бурлак» был удостоен премии за глубину идеи, за образы простых

людей, за блестящий стиль. В номере он что-то не появлялся и на церемонию вручения премий не пришел. То ли был занят в университете, то ли избегал магниевых вспышек, слепивших глаза, и преследований корреспондентов.

Он пришел только вечером. Худущий, среднего роста, скуластый, брови с резким изломом, неглубоко посаженные глаза, высокий и прямой нос, губы вытянуты в ровную линию, подбородок слегка вздернут. Лицо усталое, как и несколько дней назад, когда я его видел, часто моргает, взгляд колючий. Он кивнул мне, улыбнулся, но усталость не сходила с лица.

— Только вернулся? — спросил я, когда он сел на диван. — Бегал в редакцию сдавать рукопись?

— Нет.

— У тебя очень усталый вид.

— В самом деле?

Мои слова его и не огорчили, и не обрадовали. Наступило молчание. Наконец я не выдержал и спросил:

— Ты не пришел на вручение премий, испортил всем настроение. Сам товарищ Ма Чжэнъюань был, давал наставления, сказал, что хотел бы с тобой познакомиться.

— Да? — Брови его слегка нахмурились. — Я

отпросился по телефону. В университете были дела, никак не мог уйти.

— Товарищ Чжэнъюань просил передать, чтобы ты немедленно его разыскал. Хочет с тобой побеседовать. Он возлагает на тебя большие надежды.

Он промолчал. Погасил лампу, лег и неожиданно сказал:

— Мне… пока не хочется с ним встречаться… Помоги найти предлог.

— А в чем дело?

Снова молчание.

Ну, это уже чересчур. Товарищ Ма Чжэнъюань — человек весьма уважаемый и известный в литературных кругах, ему за семьдесят. А Цинь Цзян мальчишка. Странный он все же.

Говорю ему:

— Мы с тобой только познакомились. Я пока не знаю, что ты за человек. Но ведь есть элементарная вежливость, и никак нельзя…

— Гм… — Он чиркнул спичкой, зажег сигарету, затянулся. Прошло довольно много времени, прежде чем он сказал:

— Признаться, я хотел его видеть, догадывался, что он сегодня придет, и все же…

— Как? Вы…

По интонации я догадался: что-то связывает его с товарищем Чжэнъюанем.

— Видимо, лучше все сказать тебе напрямик. Избавь меня как-нибудь от его покровительства. Только о моей просьбе пока ни слова. Пока…

В его словах звучала горькая ирония.

— Ты ведь и не подозреваешь, что я его сын.

— Что?.. А товарищ Ма Чжэнъюань тоже не знает? Не знает?!

— Что ты шумишь? Лежать неудобно? Он ничего не знает. Цинь Цзян — это псевдоним. Ему лишь известно, что сын его Ма Мин живет в Сычуани, плавает матросом по Янцзы. Он понятия не имеет, что я и есть Ма Мин, недавно поступил в университет и написал рассказ.

— Как же так?

— Все очень просто. Я — безвольный человек. — Он затянулся, бросил на меня взгляд, медленно выпустил дым. — Ты представить себе не можешь, каким был я еще несколько лет назад. Тогда мы с друзьями прожигали жизнь в «Матушке-Москве». Знаешь «Матушку-Москву»?

— «Матушку-Москву»? Да, припоминаю. Ресторан «Москва» — это ресторан при Пекинском выставочном комплексе. «Матушка-Москва» — так его называют отпрыски высших кадровых

работников.

— В те годы ресторан после длительного перерыва только что открылся, там даже было столовое серебро. И каждый раз мы уносили то ложку, то вилку — не для продажи. В знак того, что посетили «Матушку-Москву». Они были для нас чем-то вроде награды, боевого ордена. Бывали мы и в «Радости» — еще когда он находился на улице Ванфуцзин, — там работала одна очень хорошенькая официанточка. Пили, галдели, куролесили. Зову я ее как-то и даю бумажку в десять юаней, чтобы принесла еще бутылку воды. Она высыпает передо мной на стол груду мелочи, сдачу дает. А я спьяну всю кучу на пол смахнул — звону было! Монеты покатились в разные стороны. А еще любили мы, хорошенько выпив и закусив, пойти к кому-нибудь из друзей и весь день трепаться — танцевать тогда мы стеснялись, видеомагнитофонов не было, оставалось только чесать языком, играть в карты да ругать «императрицу из красной столицы»...[67] Домой возвращались за полночь. И так каждый день... Не веришь? Другой жизни я себе и не представлял. Рос в школе-интернате для детей кадровых

---

[67] Примечания: 67
Имеется в виду Цзян Цин, жена Мао Цзэдуна.

работников. Хорошо разбирался в знаках различия на погонах и в петлицах, усвоил, что такое «хунци», «ЗиМ», «бенц», «ЗиС», знал даже о «Волге» и «Победе».

К настоящей жизни был совершенно неподготовлен. Она нахлынула как волна. Из «славного парня», «юного штурмовика», «сына, законно наследующего дело отцов», я вдруг стал «выкормышем черной банды». Отца то топили, то вытаскивали со дна, я, соответственно, то радовался, то отчаивался, напивался до полусмерти, проклинал все на свете и никак не мог найти места в жизни. Не знал, чем заняться. Отец становился невыносим. Может, оттого, что оказался не у дел и некого было поучать. Он ругал меня «крабом-паразитом». По утрам врывался в мою комнату и кричал: «Эй, Илюша, вставай-ка!» Я потом понял: ведь это Обломова звали Илюшей. Я не оставался в долгу, отвечал: «Старина Бо (сокращенно „старый большевик“)! Если не спится, почитай свой кирпич, „Капитал“ Маркса, — полезно!» Его трясло от злости…

Цинь Цзян засмеялся. Я тоже не мог сдержать улыбки.

— Он что, выгнал тебя, своего непутевого сына, из дому?

— Нет, я сам ушел.

Цинь Цзян посерьезнел. И после короткой паузы заговорил, медленно, словно взвешивая каждое слово:

— Думаешь, я был доволен такой жизнью? Вечером, ложась в постель, ощущал пустоту. Все трепыхаюсь без толку, а молодость проходит. Эта мысль жалила как змея. Впрочем, пожаловаться на бессонницу я не мог. Когда солнце вновь освещало задницу, я садился на свой «Феникс», ехал к дружкам и с ними пил и веселился, заливая пустую душу разноцветной жидкостью. Бог знает, как я вдруг решился уехать из Пекина. Может, старик мой надоел своим ворчаньем. А может, вот из-за чего. Как-то решили мы с приятелем пойти в ресторан «Победа», а там заказать столик стоит семьдесят юаней. За несколько лет до этого, в шестьдесят седьмом, я должен был отправиться на поселение в деревню. Мамы уже не было в живых, отец находился в длительном заключении в Циньчэне, и мне ничего не оставалось, как прокрасться на кухню ресторана «Победа» и набрать там себе продуктов в дорогу — я уезжал на следующий день. Меня поймали с поличным, и я не знал, куда деваться от стыда. Поэтому, вновь придя сюда, я напустил на себя солидность. Мы

крепко выпили и закусили, и вдруг я увидел ту самую официантку, женщину за пятьдесят. Она тогда пожалела меня, «воришку», благодаря ей меня не побили, отпустив на все четыре стороны. Уже захмелев, я поднял тост за мою «благодетельницу» и предложил дружкам поднести ей бокал. Она оттолкнула мою руку — не знаю я вас — и, бросив презрительный взгляд, ушла, даже не обернувшись. Никогда не забуду этого взгляда, полного отвращения. Когда я работал в деревне, таким взглядом провожали крестьяне новоиспеченную знать, навеселе покидавшую деревню. Я боялся этого взгляда… Скорее всего потому, что в конце семьдесят шестого каждому предстояло сделать выбор: либо беззаветно служить любимому делу, не жалея сил, либо работать спустя рукава, раболепствовать и угодничать. Способный, но никчемный, я и в будущем не найду своего места в жизни. И мне стало страшно. Такая взяла тоска. Тогда я и решил бежать из Пекина, от всех этих «Санъё» и «Сони», от бесконечных вечеринок, которыми так увлекались мои приятели. Танго, румба, диско, вальс-бостон — пошли они все куда подальше! Старик мой не верил, что я еду в Сычуань трудиться, думал, мне просто наскучило в Пекине или я что-то натворил. Дрожащим

голосом спрашивал: «Почему?» Я закричал: «Ой, что ты все выспрашиваешь — почему, почему! А нипочему! Нет больше сил! Жить хочу по-другому!» — с тем и уехал…

Подул ночной ветерок, всколыхнул расшитые занавески, принес нежный аромат сирени, за окнами зашептались деревья.

Цинь Цзяна было не узнать. Он словно обрел дар речи, рассказывая о своей жизни. Куда девались его обычная скованность, дурное настроение во время нескольких наших с ним встреч. Теперь у меня было достаточно материала. Напишу о том, как жизнь изменила человека. Как Цинь Цзян, покинувший дом, оттого что захотел «жить по-другому», превратился в «инженера человеческих душ» и вернулся талантливым писателем. А отец и понятия не имеет о том, что способный молодой человек, которого он так превозносит, и есть его непутевый сын…

— Я рад за тебя, Цинь Цзян. Путь, который ты прошел, помог тебе занять свое место в жизни. Почему ты не хочешь встретиться с отцом? Не понимаю… Почему не хочешь его порадовать?

Видимо, я допустил бестактность — мой вопрос задел его за живое.

— Я собирался с ним повидаться, — сказал он

после долгого молчания. — Теперь, когда добился цели. Появиться перед ним с университетским значком на груди. Посмотреть, какое у него будет лицо. Но встретиться с ним прямо на церемонии вручения премий не решился, чтобы не напугать. Ну а потом… Ладно, после доскажу. Сейчас не хочется.

— Почему?

— Есть причина.

В его голосе зазвучали печальные нотки. В темноте я не видал его лица, но представил, каким измученным оно было и удрученным.

— В чем же все-таки дело?

Он вздохнул:

— Кое-что случилось на днях, но это длинный разговор. Ну все, спать, спать!

— Что-то не спится. Ты говори.

Он уже не слышал меня. Лишь красный огонек сигареты мерцал у его изголовья.

II

Прошел второй день, потом третий. До вечера на заседании группы. А потом — нескончаемые визиты: журналисты берут интервью, редакторы договариваются о рукописях. Он вечно занят, а когда гасим свет, у него просто не остается сил на

разговоры. На четвертый день после ужина мне удалось вытащить его из гостиницы прогуляться в скверике.

— Ты слишком уступчив! Ждешь, пока они сядут тебе на голову?

Поболтали о том о сем. Небо подернулось вечерней дымкой. Мы сели на каменный парапет клумбы.

— Ты чем-то озабочен все время. Что-нибудь случилось?

Он улыбнулся:

— Еще говоришь о чьей-то навязчивости. А сам?

— Ну ладно, хватит, тебе, я вижу, этот разговор неприятен.

Он ответил не сразу, чуть погодя:

— Таить на сердце тоже нелегко.

Плыла в облаках луна. О чем-то шептал прохладный ветерок. Сверчок пел свою песню. Из темноты вынырнула машина и бросила на нас тень жавшихся друг к другу деревьев. Он сорвал стебелек, сунул в рот.

— Честно говоря, я очень благодарен литературе за то, что она заставила меня учиться у жизни. Случись нечто подобное раньше, я глубоко страдал бы, терзался, даже впал в отчаяние, а сейчас

для меня это просто трагедия человека, идущего по жизненному пути. Литература пробудила меня, закалила.

— Ты говоришь о каких-то недавних событиях?

— Да.

— Так в чем же все-таки дело?

— Опять надо начинать издалека.

Он выплюнул стебелек.

— Я тебе не рассказывал, как в конце семьдесят шестого вслед за другими поехал в Чунцин и поступил матросом на судно. Еще мальчишкой я любил играть в корабли и мечтал о живописных берегах Янцзы. Можешь смеяться надо мной, но именно отсюда, думал я, исполненный честолюбивых планов, надо начинать настоящее плавание по жизни. Эх, только не осталось во мне и капли выносливости, так необходимой в этом плавании. Мышцы обмякли от виски и бренди. Одолевать учебники — ночь напролет, не смыкая глаз, при свете одной-единственной лампочки? Где мне было выдержать! Я мог танцевать до рассвета под ослепительно сверкающими люстрами, не чувствуя усталости. Но сидеть над скучной книгой? Это было мне не под силу! Я привык валяться на диване, задрав ноги, мелан-

холично слушая легкую музыку. Да что говорить, даже простейшая работа матроса до смерти надоедала: рев винтов действовал на нервы; десять, а то и больше дней сплошных мучений: пассажирское судно плавало из Чунцина в Шанхай и обратно. Эта работа была не по мне. Я знал, что давно ни на что не гожусь. Ни одного дела не мог довести до конца: начну, бывало, дневник, твердо решив «вести его до конца жизни», «фиксировать каждый этап моей вдохновенной борьбы». Но больше, чем на одну запись, меня не хватало. Взялся учить английский, купил учебник, маленький транзистор, но, выучив ABCD, почувствовал, что дальше дело не пойдет, учить японский, пожалуй, реальнее — в нем много китайских иероглифов, понятных с первого взгляда. В общем, я забросил английский. Мысленно не раз возвращался к моим пекинским приятелям, представлял себе «Матушку-Москву» и «Радость», с удовольствием думал о диско и «Санъё», о видеомагнитофоне, где можно посмотреть столько интересного, захватывающего. Я вернулся бы ко всему этому, и очень скоро, продолжал бы жить этой сытой, пустой, бессмысленной жизнью. Но тут я встретил ее.

— Кто же она?

— Шэнь Пин. Мы познакомились на пароходе.

Он умолк и грустно усмехнулся.

— Впрочем, это даже нельзя было назвать знакомством. Я запомнил ее… Это случилось три года назад, ранней весной, кажется, двадцать шестого февраля, точно, потому что в тот день я начал дневник, который веду до сих пор. Тем ранним туманным утром наш пароходик «Красная звезда — 215» бросил якорь. Приходилось тебе когда-нибудь плыть по Янцзы? Тогда наверняка тебе знакома картина: легкий туман не только не рассеивается — становится все плотнее, сквозь туман пробиваются слабые лучи окутанного сероватой мглой восходящего солнца. Плыть в тумане опасно, и нам пришлось остановиться. Я вышел из машинного отделения глотнуть свежего воздуха и тут заметил на палубе девушку. В отличие от других пассажиров, которые вглядывались в небо, прикрыв глаза ладонями, взывали к небу и проклинали, она спокойно стояла, прислонившись к борту, с книгой в руках. Я искренне ей позавидовал. Светлые глаза, уголки рта чуть вздернуты, плечи время от времени вздрагивают, видимо, реакция на прочитанное. Ничего особенного, косички, уложенные венчиком на затылке, никаких украшений. Синий комбинезон, толь-

ко воротничок, сверкающий вышивкой из-под комбинезона, выдает естественное для девушки стремление к красоте. Девушка была на редкость хороша собой: стройная, с тонкими чертами лица. И все это в сочетании с простой одеждой, весь ее облик, когда она стояла углубившись в чтение, приковал мое внимание. Почему — сам не знаю.

Мне тогда уже стукнуло двадцать пять. В Пекине в нашей компании было немало девушек. Многие нравились. Да и они бегали за мной. Но чтобы влюбиться — такого не было.

— А тут влюбился с первого взгляда?

— Нет, не то. Я почувствовал только, что девушка эта — загадка, что ее нелегко разгадать, что она горда, а это всегда привлекает, но не надменна, как многие девушки, а... Как бы это объяснить, пожалуй, здесь главное — мое собственное восприятие. Но когда она читала, с таким видом, никого не замечая вокруг, я почувствовал ее превосходство над остальными. Раньше я с видом знатока разглагольствовал об Аустерлице и Ватерлоо, поражая недалеких девиц, смотревших на меня во все глаза, и чувствовал себя Наполеоном. А перед этой девушкой стыдился собственного невежества. Но она еще не покорила меня. Строит из себя невесть что,

думал я, напускает таинственность, изображает утонченность, ведь сейчас это модно.

Ближе к полудню туман рассеялся, и мы полным ходом неслись по речной глади. Солнце слепило глаза, река сверкала, словно хрустальная. Девушка перестала читать и привязала свой небесно-голубой платок двумя концами к мачте. Платок трепетал на сильном ветру, и изображенные на нем два огненно-красных феникса рвались к небу. Она ухватилась за свободный край платка, перегнулась через перила и стала всматриваться в даль сквозь таявшую дымку.

Я передал смену и пошел в судовую столовую завтракать. Проходя мимо девушки, заметил, что платок на мачте едва держится, остановился и крикнул: «Эй, осторожно! А то ветер тебя унесет в подарок Лун-вану!»[68] Она обернулась, затянула потуже узел платка и бросила на меня взволнованный взгляд. Мне показалось, что в глазах у нее слезы. Я был доволен. «Зачем ты привязала к мачте платок? Что это? Условный знак? Кому?» — я болтал что попало, а она, покраснев, ответила: «Маме». — «Маме? Где же она?» Девушка махнула рукой в сторону берега: «Вон где!» Над зарослями

---

[68] Примечания: 68
Лун-ван — царь драконов.

изумрудного бамбука вился слабый дымок. Там жила ее мать, школьная учительница. Через несколько минут пароход пройдет мимо этого места. Мать увидит привязанный к мачте платок и свою дочь. «Ничего себе, будто навсегда прощаетесь!» — пошутил я. Она покачала головой: «Не навсегда, но… все равно грустно!» Какая-то она странная!

Она ехала до Уханя, чтобы там пересесть на пекинский поезд, решила поступать в университет на факультет китайского языка. Такие, как она, редко встречаются. Еще учась в школе первой ступени, она считалась самой лучшей ученицей во всей округе. И очень этим гордилась. Еще бы не гордиться! «Ты не пробовал поступать в вуз?» — спросила она. «Я?» Я вытер тряпкой испачканные маслом руки, невесело усмехнулся, покачал головой, скомкал тряпку и выбросил в реку. «Мужчина, и такой трус?» — Она лукаво на меня посмотрела. Прищурившись, я в тон ей ответил: «Да, трус. Ну и что?» Она захохотала: «Умереть можно! В самом деле или только притворяешься? В самом деле? Прыгни-ка в реку! А я ничего не боюсь. Не боюсь и не верю в судьбу! У мамы — правые взгляды, но она это отрицает. Папа нас бросил, один ушел в революцию. Мама

с детства мне твердила: „Си-бо[69], заточенный в тюрьму, закончил „Книгу перемен“, Конфуций, сидя на корточках, составил „Весны и осени“… В том, что я рекомендована в университет, нет и на йоту моей заслуги“». Она расправила пальцами свой платок, любуясь им, будто это было знамя победы.

Не знаю, довелось ли тебе в молодости пережить нечто подобное: допустим, ты случайно познакомился с девушкой и вдруг понял, что до конца жизни тебе не забыть ни ее глаз, ни ее легкой улыбки. Именно так она и вошла в мое сердце, заполнила его до краев. Постарайся меня понять. То, что осталось у меня в душе, — это не просто теплые, приятные воспоминания, нет. После нашего с ней разговора я не находил в себе мужества вновь подойти к ней. Лишь высунув голову из машинного отделения, издали смотрел на ее силуэт в предзакатных лучах уходящего солнца, когда она читала под жалобные крики обезьян: сидит, положив ноги на перила, откинув голову на спинку стула, и не шелохнется. А внизу несет свои воды река. Проплывают мимо зеленые горы… Я ничего больше не узнал об ее жизни. Воз-

[69] Примечания: 69

Си-бо — титул западных князей в древнем Китае; здесь: будущий правитель княжества Чжоу Вэнь-ван.

можно, в детстве им с матерью немало пришлось пережить. Но сейчас она была так довольна собой, так горда! А я… целых пять лет словно отбывал наказание, до сих пор проклинаю то время, когда считался знатоком китайской и европейской кухни. Больше мне нечем гордиться.

С этого дня я самому себе объявил войну. Предстояла борьба не на жизнь, а на смерть, долгая и трудная учеба. Я ушел в нее с головой, не давая себе поблажек. Вставал с петухами, приносил клятвы небу…

Приносить клятвы — легко, и если бы не она, все мои планы пошли бы прахом, как уже не однажды бывало. Но в этот раз я победил. Мне помог ее образ, все время стоявший перед глазами, развевавшийся платок с фениксами, ее голос, звучавший в ушах. Еще тогда я дал себе клятву, только не смейся, непременно держать экзамены в университет на факультет китайского языка, чтобы увидеть ее… Так я и стал заниматься литературой. Хотя и раньше ее любил. Но главной причиной была она. Да, многое в жизни зависит от случайностей. Забавно, я тогда даже имени ее не знал! Постепенно ко мне стали возвращаться способности, твердость, энтузиазм. Прежние, давно забытые понятия: упорная учеба, твердость,

труд; природа, общество, человек — все это наполняло меня сверхъестественной силой, и уже не нужно было, чтобы ее образ стоял перед глазами и подхлестывал меня. Но он меня по-прежнему не покидал: образ девушки, которая бросила мне, тонущему в трясине, веревку, — она, наверно, этого и предположить не могла. А из глубины сердца прорастало настоящее чувство. Может, это и называется любовью? Как бы то ни было, я мечтал, что однажды смогу с гордостью предстать перед ней и, глядя в ее изумленные глаза, сказать: «Все это благодаря тебе!»

Бум-бум! — вереница тяжело груженных машин с грохотом ворвалась на дорогу, нарушив тишину скверика. В грузовиках гремели, звенели стальные трубы, балки, проволока, рев моторов сотрясал ночной воздух. Проклятье! Когда наконец снова наступила тишина, голоса Цинь Цзяна уже не было слышно.

Да и лица его я не видел из-за густой темной тени деревьев, лишь плотно сжатые губы и холодный блеск глаз.

Я понял, что разбередил его сердечную рану, и со вздохом сказал:

— Понимаю. Ты полюбил ее. А когда встретил в университете, она уже…

Он промолчал.

— Эхе-хе, теперь и на краю света не найти благородства. Выкинь ее из головы. Пройдет время, и тебе станет легче, — убеждал я его.

Он покачал головой.

— Ты не понял.

— Не понял?

— Ничего такого не было. С этим я еще примирился бы. Все гораздо сложнее.

— А что же случилось?

— Вряд ли еще когда-нибудь увижу ее, девушку, с которой встретился на пароходе «Красная звезда».

— Рак?! — вскрикнул я.

Он вздрогнул и мотнул головой. В уголках губ появилась горькая усмешка.

III

— Поступив в университет, я сразу же начал искать ее. Имени я не знал, а расспрашивать стеснялся. Я не пропускал ни одной проходившей мимо студентки. Я не мог ее не узнать. Эти два года она жила в моих мечтах, в моем сердце.

Мы с Цинь Цзяном возвращались в гостиницу. Наши тени на тротуаре, освещенном фонарями, то вырастали до огромных размеров, то стано-

вились совсем маленькими. Его голос оставался спокойным, казалось, каждое слово медленно вытекает из самой глубины сердца.

— Ну вы все-таки встретились?

— Почти через месяц. На факультетском вечере в честь тридцать первой годовщины национального праздника. Сначала был концерт, а потом все разделились на группы, били в барабаны, дарили друг другу цветы. Торжественный барабанный бой трогал до глубины души; получив букетик бумажных цветов, каждый, будто его ударяло током, тут же передавал цветы следующему. В зале слышался радостный гомон и смех.

Я знал, что она где-то здесь, среди множества людей, и испытывал необычайный духовный подъем. Ведь в любой момент я мог увидеть ее.

Так оно и случилось. В одной из групп, совсем рядом, раздался шум. Барабан умолк, и из толпы выпорхнула девушка. Это была она! Я сразу ее узнал! Она! Хотя вместо синего комбинезона на ней был костюм из серебристо-серого шелка европейского покроя, все строго и со вкусом. Волосы не заплетены в косы, а распущены и отброшены назад. Она стала еще очаровательней. Не удивительно, что в толпе я не сразу ее узнал. Держится все так же уверенно и непринужденно, не болта-

ет о чем попало с развязными однокурсницами. Все те же пухлые губы, уголки чуть приподняты; она вышла на середину круга, вытащила фант и прочла; за две минуты ей надо было отгадать загадку. Она не отгадала, за что полагался штраф, и пошла к пестрой бамбуковой корзине «искать будущего супруга».

Все снова радостно загалдели. Не знаю, кем была придумана эта игра, ее поторапливали. Неважно, что было написано на бумажке, вытащенной из корзины, — «чжуншаньский волк»[70] или же «У Далан»[71], но проштрафившиеся должны были назвать вслух «будущего супруга». Шутка есть шутка. Но она, закусив губу, блестя глазами, опустила руку в корзину. Забавно, право! Она и понятия не имела, что я еще больше волнуюсь. Сердце подсказывало, что записка, которую она вытащит, каким-то непостижимым образом связана со мной, — и все происходит именно в тот момент, когда я наконец увидел ее.

Итак, она вытянула бумажку. Развернула, ста-

---

[70] Примечания: 70

Чжуншаньский волк — согласно притче, напал на своего спасителя. Употребляется в значении: неблагодарный человек.

[71] Примечания: 71

У Далан — персонаж классического романа «Речные заводи»; здесь: невзрачный мужчина, слюнтяй.

ла читать. Сердце у меня бешено заколотилось. Что в записке? Она вспыхнула, встала на цыпочки, словно собралась танцевать. Захлопала в ладоши и воскликнула: «Ой! Как здорово!» Все засмеялись. Стали кричать: «Читай вслух! Что ты так радуешься? Наверняка что-нибудь очень подходящее!» Она залилась краской, топнула ногой: «Да я не в этом смысле! Совсем не в этом смысле!» Все так и прыснули. Кто-то выхватил у нее бумажку. «Красивая внешность, прекрасные манеры, молод, энергичен, блестящие перспективы». Парень, читавший записку, подошел к ней с серьезным видом и, протянув руку, принес «искренние поздравления». Но она отвела правую руку за спину, что снова вызвало дружный хохот…

Она вытащила самый лучший билет, шутка развеселила всех, а мне почему-то стало не по себе. Праздник закончился. Я увидел ее совсем близко. Я с ней не заговорил, даже когда она, таща за собой стул, прошла мимо, все еще красная от волнения, но не такой представлялась мне наша встреча в мечтах.

Сколько раз корил я себя за эту робость! Не знаю, что на меня тогда нашло! Был ли это эгоизм влюбленного или что-то другое? Несколько

дней спустя, ближе к вечеру, я наконец решился зайти к ней в общежитие. «Узнаешь?» — Я стоял перед ней. Она была чем-то огорчена, в уголках глаз дрожали слезинки. Она изумленно на меня посмотрела и покачала головой. «Значит, нашла себе мужа с прекрасными манерами и блестящими перспективами и все забыла!» Но ей, очевидно, было не до шуток, опустив глаза, она проронила: «Ладно тебе. Кто же ты такой?» Я ответил: «Матрос, едва не прыгнувший в реку, признавший себя „трусом“». — «Это ты?» — Глаза ее стали круглыми от удивления. Она встала на цыпочки, как тогда, на вечере, будто собиралась танцевать. Захлопала в ладоши, улыбнулась: «Ой, вспомнила!» Она пригласила меня войти и снова погрустнела, хотя изо всех сил старалась улыбаться. Разговор не клеился. Глядя ей прямо в глаза, я стал ее поддразнивать, как при первой нашей встрече на пароходе: «Что такое? Что случилось? Снова вечная разлука? С кем? Ты не в силах вынести горя? А платок где?» Она не ответила, устало опустилась на кровать рядом со стопкой одеял, поверх которых лежал тот самый платок с фениксами, и стала отрешенно смотреть в окно. Там сплетались между собой нити дождя. Я надеялся, что она спросит меня, как я здесь очу-

тился, как сдал экзамены, что произошло у меня за эти два года. Но мысли ее витали где-то далеко. Наконец я прервал молчание: «Ты… как жила все это время? Хорошо?» Она заскребла пальцами по постели. «Хорошо, плохо, что об этом говорить? Люди из простых семей, без связей в научных кругах, проучатся еще год, вернутся в маленький поселок на берегу реки, будут учительствовать и тем довольствоваться… — Она произнесла это холодно и, усмехнувшись, добавила: — Мама преподавала в начальной школе, а меня возьмут в среднюю». Я вдруг понял, что совершенно не знаю ее, и ужаснулся. И все же спросил, что у нее не ладится. Она плотно сжала губы, не сразу ответила. Глаза постепенно наполнились слезами…

Оказывается, как-то несколько девушек из ее группы поехали на прогулку, а ее не позвали. Казалось бы — пустяк, маленькая бестактность? В группе народу много, кого-то можно позвать, а кого-то и не позвать. Но кто способен понять радости и печали девочки из далекого поселка, вступившей в величественный храм науки? Они просто ее не замечают, да, именно так! Она, видите ли, никогда не слышала ни мазурки, ни польки, не знает, кто такой Делакруа, среди ее друзей нет ни знаменитостей, ни ученых, по-

этому у нее и не хватает смелости постучать в профессорскую дверь. Для них она наверняка деревенщина, только и может, как дура, сидеть в сторонке и слушать их изысканные, модные байки, а стоит ей вставить словечко-другое — потешаются... А она начинает злиться, возмущаться несправедливостью, фыркать. Что это: презрение? Протест? Или же вызов — мол, поживем — увидим? Все вместе. Именно так вел себя на корабле я, когда жаловался на свою участь. Но в душе моей, не знаю почему, не только не всколыхнулись прежние чувства, напротив, я ощутил ничем не объяснимые разочарование и беспокойство. Словно опьяненный золотой осенью, я вдруг открыл для себя, что и раньше все это было — и опавшая листва, и осеннее солнце. Допустим, все рассказанное ею — правда, но что тут особенного! В тени ветвистых гранатов на берегу прохладного озера роняет иголки колючий кустарник, на благодатной почве пускает корни зло. Это естественно. Каких только групп нет в университете: и «комитет смертельной борьбы»; и собирающиеся в умывальниках, когда отключают свет, и зубрящие односложные слова; есть там знаменитости, настоящие люди; есть изучившие кратчайший путь к карьере; проводники «чел-

ночной дипломатии» в издательствах, научных коллективах, именуемые «Киссинджерами», — все это вполне закономерно. А вот она меня удивляет. Подумаешь! Не позвали на прогулку. Стоит ли об этом вспоминать? Или насмешки? Почему они ее так беспокоят? Теперь ясно, отчего стол ее завален такими книгами, как «Шопен», «Жизнь Бетховена», я-то думал, она штудирует историю искусств, а ей, оказывается, необходимо знать, что такое мазурка и полька. Значит, в ее душе пустило ростки тщеславие…

Признаться, я весьма смутно представлял себе ее прошлое. Ведь неизвестно, где она черпала силы в тяжкое время борьбы — в самоуважении или же в тщеславии? Впрочем, это не важно. Ее можно понять, можно. Но неужели это единственный путь, по которому мы понесем великое знамя нашей борьбы?

Да-а, вот где ждало меня разочарование. Она всей душой, даже во сне, стремилась стать такой, как другие. Зазубривала имена Моне, Фрагонара, Матисса и Пикассо. Научилась произносить в нос «н-ну», то и дело прерывая собеседника этим модным междометием, неизвестно что выражавшим: согласие, несогласие, безразличие — черт его знает! Во всяком случае, словечко было самым

модным — неизвестно кем и откуда завезенным. В один прекрасный день она с необычайным воодушевлением сообщила, что бывший ученик ее мамы работает сейчас в Институте литературы, что надо к нему сходить, попросить продвинуть статью, познакомить с влиятельными людьми. Спустя некоторое время мы снова встретились, и она, очень довольная, заявила, что теперь работать в поселок поедет не она, а эти зазнайки, — они, заручившись рекомендательными письмами, пошли к профессору Гао Тану из Института литературы, никак не ожидая, что как раз в это время она беседует с учителем Гао у него в гостиной; ну и дурацкий же был у них вид! Два дня приставали: «Откуда ты так хорошо знаешь учителя Гао?» Брови взлетели вверх, она испытующе смотрела на меня — торжествовала победу. Теперь на нее больше не посмеют смотреть свысока, примут в свою компанию. Она захлебывалась от удовольствия, но мне нечего было ей сказать. Холодно бросив: «Тебя действительно стоит поздравить», — я ушел.

В тот день я пошел после обеда на озеро отдохнуть под гранатовыми деревьями. Была ранняя весна, ветер вздымал песок и кружил его в воздухе. А у меня перед глазами стояла она. Как

непохожа была девушка, которую я увидел на пароходе, с книгой в руках, вся в отсветах зари и солнечных бликах, отраженных рекой, на ту, что я встретил потом в университете! Но я не мог ничего изменить — мог лишь тайком страдать от постигшего меня разочарования. Я вот думаю: неужели она так долго боролась лишь для того, чтобы проникнуть в этот круг «избранных»? Неужели я так долго боролся затем только, чтобы вернуться в этот круг «избранных»? В болото, способное поглотить энтузиазм, решительность, способности. Каких поистине нечеловеческих усилий мне стоило выбраться из этой трясины. Сколько мужества надо было. Передо мной в сумерках замелькали вдруг уличные фонари, и я почувствовал, как горячая волна захлестнула душу. Надо было ее искать, не теряя ни дня. Как мог я медлить?

Она собралась уходить: по делам. Какие еще дела? От нее пахло сандалом, волосы были уложены пучком на затылке. Видимо, ее ничуть не задело мое поздравление с оттенком иронии. Выражение лица было еще более мягкое и ласковое, чем днем. В ее глазах, устремленных на меня, я видел блеск. Но дело было не во мне, а в предстоящем свидании. Она виновато улыбнулась, мол,

очень занята последнее время. Она догадывается, зачем я к ней прихожу. Не успел переступить порог университета, а уже хочу, чтобы она представила меня как своего «старого друга» разным знаменитостям. Увы, у нее совсем нет времени. Но я могу не волноваться, она не забудет, тем более что оба мы из «простых» семей, родом из Сычуани, с гор Башань… Я покраснел от стыда, в висках застучало. А за окном напротив, словно разлетевшееся на тысячи осколков зеркало, светилось огнями многоэтажное общежитие. Я прищурился, набрал побольше воздуха в легкие и только спустя некоторое время невозмутимо произнес, что пришел не для этого. Нет ли у меня других к ней дел, спросила она. «Нет», — ответил я. И, простившись, ушел.

Это было двадцатого марта. Вечером того дня наша университетская волейбольная команда выиграла у корейцев в отборочных соревнованиях на Кубок мира. В университетском дворе царило радостное оживление. Студенты в возбуждении кричали, били посуду, ломали, крушили мебель, переколотили все термосы. Успокоились, лишь когда бить больше было нечего. Несколько тысяч человек вывалило из общежитий, зажгли факелы, горн на высокой ноте заиграл «Марш

добровольцев», все запели «Объединяйтесь, пусть расцветает Китай!». Шествие двигалось вокруг озера, под гранатовыми деревьями, торжества продолжались всю ночь… Я шел вместе со всеми, и из глаз текли слезы. Я понял вдруг: студенты всегда были борцами. Только раньше они вместе с другими людьми боролись против несправедливости, а теперь борются за расцвет Китая. Как их много, этих борцов, они словно вышли из раздольных печальных песен, чтобы служить родине и народу — лучшие из лучших. А что Шэнь Пин? Вряд ли все это ее волнует. Не может волновать. Я вспомнил «праздник древонасаждения», когда мы всем факультетом выехали в гористый район под Пекином на посадку деревьев. И я, к счастью, оказался с ней в одной машине. Машина шла вверх вдоль высохшего русла реки, изредка на склоне гор попадались маленькие каменные домики, ребятишки, пасущие овец. Вдруг она, сильно волнуясь, заговорила: «Трудно предугадать судьбу человека. Подумай, как ужасно прожить всю жизнь в этих диких горах и ничего не знать, кроме охоты?» Я взглянул на нее: «Ты радуешься, что тебя не постигла такая же участь?» Она чуть заметно кивнула и, будто размышляя вслух, ответила: «Конечно, не знай

я другой жизни, не было бы и подобных мыслей и никаких мучений. Но сейчас просто страшно думать об этом». Видимо, ей и в самом деле тяжело было возвращаться в прошлое. Она ушла от своей судьбы и закружилась в водовороте жизни, совсем другой жизни, с радостью играя новую роль. Ей были чужды заброшенные деревушки, маленькие пастухи, вся эта глухомань. Если что-то и могло ее всколыхнуть, воодушевить на борьбу, то только не это. Но что же тогда? Может, чье-то презрение или просто равнодушие… Эх, борцы, борцы, не всегда они бывают великими, не всегда.

Я сочинил ей письмо, писал даже по ночам, получилось десять с лишним страниц. Пытался объяснить, что она очень рискует, ее может унести мутный поток жизни. Поднебесная процветает — всеобщее благоденствие; в Поднебесной беспорядок — благоденствие исчезает. В обществе мутный поток скрыт от глаз, как же это прискорбно. Зачем она зазубривает «Словарь знаменитостей», все эти знаменитости, весь этот «избранный круг» до добра не доведет.

Разве мог я оставаться спокойным? Я раскрыл ей душу; после встречи на «Красной звезде» в моем сердце пустила ростки любовь, и я ей в этом

признался. Я написал: да, это любовь, мне с ней не совладать, поэтому я и решился излить ей свою тревогу и свою надежду.

Это был безрассудный поступок. Позднее я узнал, что у нее уже был парень, студент университета Цинхуа[72], сын ученого. Ты уж извини, что не называю его имени — все как было написано в предсказании, когда били в барабаны и дарили цветы: молод, энергичен, блестящие перспективы. А я в ее глазах — заурядность. Тем более, после того, как наговорил столько неприятного. Последний идиот и тот не написал бы такого. Хорошо любовное послание!

Однажды мы случайно встретились с ней, кивнули друг другу и как ни в чем не бывало обменялись приветствиями, но я слышал от однокурсников, как она обо мне отзывалась — завистник, ханжа, играет в благородство и прикидывается влюбленным…

Цинь Цзян поднес руки к груди, хрустнул пальцами и умолк. На него было больно смотреть. При свете фонарей наши тени то делались крошечными, то увеличивались до огромных размеров.

— Это все?

---

[72] Примечания: 72

Цинхуа — один из самых престижных университетов в Пекине.

— Как будто бы все. — После недолгой паузы он снова заговорил: — Да нет, пожалуй, не все. Иначе зачем бы я стал попросту хлопотать и мучить себя?

IV

Мы поднялись по ступеням к вращающимся дверям гостиницы, вошли, в просторном холле — ни души. Сели на диван.

— Кажется, это ты в прошлую субботу вечером окликнул меня в троллейбусе? А я даже не отреагировал. Верно?

Я кивнул головой, улыбнулся.

— Все по той же причине. Я надоел тебе? Да?

— Вижу, тебя еще что-то тревожит.

— Как-то в театре «Шоуду» я встретил одного из своих бывших друзей, с которыми мы вместе балбесничали в «Матушке-Москве» и «Радости». Его отец как-то связан по службе с выездами за границу.

— Он знает Шэнь Пин?

— Нет. Он сейчас живет не в Пекине, приехал в командировку. Поболтали мы с приятелем, и вдруг я узнаю, что за его сестрой — я с ней знаком — ухаживает сын одного ученого. А из дальнейшего разговора я понял, что это — парень

Шэнь Пин.

— В самом деле?

— Я тоже очень удивился и осторожно спросил, не знает ли он об отношениях этого парня с Шэнь Пин. Он с пренебрежением бросил: «Как не знать — знаю! Малышка из Сычуани, училась в вашем университете, прилипла к нему. Он даже жаловался сестренке: мол, надоела! Думаю, парень правду сказал, поиграл — и хватит. Он за моей сестричкой бегает. Собирается за границу! Заручился рекомендательными письмами профессоров, рассчитывает на стипендию Массачусетского технологического института. Мой отец ему протежирует, сроки поджимают...» Дальше я не слышал. По спине пробежал холодок. Я думал только о Шэнь Пин. Снова мутный поток! Мутный поток общества! Поток жизни! А что такое Шэнь Пин в этом потоке? Тонкий стебелек, несущийся по волнам. Печально, что она этого не понимает. Последние два дня она только и говорит о предстоящем отъезде своего парня за границу! Думает, что ей и на этот раз повезет, готова опять повесить на мачту свой платок с фениксами. Ей и в голову не приходит, что корабль наскочит на подводные рифы.

Тогда в троллейбусе никого не хотелось видеть,

я даже билета не взял. Не знал, как поступить: сказать или не сказать? А вдруг она не поверит? Опять назовет завистником, а то и провокатором? К тому же я точно не знаю, правду ли сказал мой приятель. Лучше, пожалуй, не говорить. Но как тогда быть с совестью и моим чувством к ней? Мне только сейчас открылось: любовь, особенно первая, никогда не угасает, подует весенний ветер — и она вновь разгорается. Несмотря ни на что, любовь постоянно возвращала меня в прошлое: утренний туман, далекая деревушка, река, развевающийся на ветру платок… Так стоит ли говорить о настоящем!

Я возвратился в общежитие, когда свет был уже погашен. Лег на кровать. Соседи по комнате без умолку болтали, сплетничали. Рассказывали. Один кто-то познакомился с девушкой, такой же чистой, как Бао Чай[73]. Она связалась с государственными преступниками и взяточниками, кто еще так умеет завязывать полезные знакомства, заниматься тайной дипломатией, с целью выезда за границу на учебу… Мне все это до чертиков надоело. Мутный поток, везде мутный поток, он все заливает. Захлестнутый волной гнева, я в ярости

[73] Примечания: 73

Бао Чай — героиня романа «Сон в красном тереме» (Цао Сюэцинь. Сон в красном тереме. М., Гослитиздат, 1958).

зарычал: «Ну ладно! Спать!» Все перепугались. Всю ночь я не мог уснуть.

А утром решил все ей рассказать. Пусть не верит, пусть ругает — я выполню свой долг.

Я увидел ее во время завтрака, подсел к ней за столик. Она удивилась, как-то неуверенно кивнула мне. Я молча жевал. «Шэнь Пин, у тебя… у тебя все в порядке?» О небо! Что я говорю? Я уловил в собственных словах недобрый намек. «Все превосходно». В ее глазах — подозрение и вызов. «Говорят, что он… что твой этот… собирается за границу на стажировку?» — «Пока нет. Прошел все инстанции, осталось получить паспорт. Через месяц с лишним». Она говорила со знанием дела, спокойно. Самодовольство, гордость — все скрыто под маской безразличия. «Инстанции», «паспорт»… Самые модные теперь словечки, и чем больше безразличия в голосе, тем моднее. Я знал наверняка, какую реакцию вызовет то, что я собирался сказать. И, поколебавшись, я решил этого не делать.

У меня созрел совершенно безумный план действий. Даже вспомнить смешно. К счастью, мне не удалось его осуществить. Во мне, видимо,

заговорил отпрыск ганьбу[74]. Я узнал адрес ее парня. Решил с ним поговорить, выяснить, правда ли, что он просто разыгрывает эту девушку из маленького поселка. Я собирался без всяких церемоний прочесть ему мораль и заставить раскаяться. Романтично, по-рыцарски! Не знаю, как могла мне прийти в голову такая идея! И несколько дней спустя, под вечер, я пошел к нему.

Я не застал его дома. Мать сказала, что он очень занят. Паспорт получен, и через несколько дней он улетает в Америку. Теперь я был окончательно убежден в том, что со дня на день разыграется драма. Шэнь Пин ведь уверена, что до его отъезда еще целый месяц.

Выйдя на улицу, я вдруг заметил Шэнь Пин об руку с парнем. Я успел отскочить в сторону. На ней было модное платье из серебристо-серого шелка, подчеркивавшее ее стройную фигуру. Свободные концы пояса развевались в такт шагам. Шла она легко, непринужденно, в ней уже не было ничего от провинциалки. Она верила в свое счастье и в свое будущее, не догадываясь о том, что ее ждет. Я смотрел ей вслед, пока она вместе с молодым человеком не скрылась за

---

[74] Примечания: 74
Ганьбу — кадровые работники, руководящие кадры.

дверьми дома.

Стемнело. Одно за другим вспыхнули светом окна. На меня упало несколько капель дождя. Но я не уходил, прохаживаясь по дорожке.

В окне третьего этажа, на молочно-белых занавесках движутся тени. Это — они. Возможно, сейчас он ей расскажет всю правду. И через мгновение она, вся в слезах, выскочит прямо под дождь. Уже поздно. Может, я и не зря здесь остался. На худой конец, буду идти за ней в отдалении, сяду в тот же троллейбус, а потом снова буду идти за ней, пока она не зайдет в общежитие… Я боялся ее увидеть, а про себя думал: «Нет, ты все-таки выбеги…»

Пробило десять часов. Тени на занавесках все еще двигались. Шэнь Пин расчесывала волосы. Я видел это однажды и сейчас старался не пропустить ни одного ее движения. Тогда, три года назад, мы шли на «Красной звезде» мимо пика Святой девы. Едва занялась заря, Шэнь Пин стояла на палубе и смотрела на горы. Ее прекрасные волосы развевались на ветру. И она проводила по ним гребнем. Я не мог оторвать взгляда от ее изящной, стройной фигурки. А сейчас… сердце замерло, потом бешено заколотилось. Свет в окне погас. Шлеп-шлеп — я бежал прямо по сверкаю-

щим лужам, в несколько шагов достиг двери и помчался наверх…

Но я еще не окончательно потерял рассудок. Добежав до второго этажа, я замедлил шаги. «Зачем я это делаю?» Я спустился вниз, вышел на улицу, закрыл глаза и, подставив лицо дождю, медленно побрел по дороге, сверкавшей после дождя в тусклом свете фонарей всеми цветами радуги. Но, пройдя немного, снова вернулся к темному окну. Мне было больно. За Шэнь Пин. За ее мать. За себя. Я желал лишь одного: чтобы услышанное мною в театре «Шоуду» оказалось ложью, вздором! Только этого я хотел. Но разве была бы тогда Шэнь Пин счастлива? Через год, через два… А может, забыть ее? Ведь теперь ничем не поможешь. Она стала жертвой собственного легкомыслия. Возможно, это и к лучшему. Она задумается над жизнью… И тогда я навечно похороню в своем сердце то, что увидел. И скажу ей, что люблю ее по-прежнему…

Цинь Цзян умолк, откинулся на спинку дивана, прикрыл глаза, дожидаясь, пока схлынет волна обуревавших его чувств. Он с жадностью затянулся, выпустил струйку дыма, мы буквально утонули в его серой пелене.

— А что потом было с Шэнь Пин?

— Не знаю. Это случилось только позавчера.

Я вздохнул.

Он взглянул на меня, руками разогнал дым.

— Не надо вздыхать. Разве я не говорил, что это трагедия человека, который идет по жизненному пути. Она должна придать нам силы, укрепить наши разум и волю.

— Да, ты прав. — Я кивнул. — …А какое это имеет отношение к твоему отцу? Почему тебе не хочется его видеть?

— Да, — улыбнулся он, — чуть не забыл. — И, помолчав минуту, сказал: — Пожалуй, прежде всего потому, что у меня не было настроения. Со своим университетским значком и наградным свидетельством в руках я мог показаться отцу преуспевающим. Преуспевающим… Что за чушь! Вспоминаю «Красную звезду — 215» и платок с фениксами. Долог человеческий путь, и мне совестно, что всю жизнь я собирался посвятить карьере. Кроме того, не знаю, есть ли у тебя такое предчувствие, что в один прекрасный день люди поймут, кто такой Цинь Цзян, возможно, даже будут ко мне благосклонны, а старые друзья опять захотят сделать меня завсегдатаем «Матушки-Москвы» и «Радости». Не уверен, что у меня хватило бы сил устоять перед этим. И тут

я благодарен Шэнь Пин. Она заставила меня о многом задуматься — о борьбе, о жизни.

— Ты так никогда и не встретишься с отцом? — У меня сработала профессиональная привычка. Потерять этот почти театральный эпизод было бы жаль.

Цинь Цзян опять улыбнулся:

— К чему впадать в крайности? Успокоюсь немного, и мы с ним встретимся, я вернусь домой. Но это тебе уже не интересно. Сын возвращается к отцу. Старо как мир.

Когда мы дожидались лифта, я спросил:

— А почему бы тебе не написать об этом? Тема достаточно глубока.

— Написать? Они же еще учатся. Хлопот не оберешься! — Он покачал головой и вдруг улыбнулся. — Тебе интересно, ты и пиши.

— Правда? — спросил я.

— Каждый пишет свое! У меня нет «монополии» на этот сюжет. — И тут же добавил: — Но я должен предупредить об этом Шэнь Пин. И еще: будешь писать от первого лица.

Я понял его.

Все, что он рассказал, привожу полностью, изменив лишь имена действующих лиц и название местности.

ШЭНЬ ЖУН
МИНУС ДЕСЯТЬ ЛЕТ
© Перевод Т. Сорокина

Шэнь Жун родилась в 1936 году в Ханькоу. В 1951 году начала трудовую жизнь в Чунцине — сначала в книжном магазине для рабочих, затем в отделе писем газеты «Гунжэнь жибао». В 1954 году поступила в университет и по окончании его работала переводчицей с русского языка, музыкальным редактором, учителем средней школы. Затем жила и работала как крестьянка в провинции Шаньси и в пригороде Пекина. В настоящее время член Союза китайских писателей (пекинского отделения), занимается литературным творчеством.

В 1975 году вышел ее первый роман «Вечно молодые», в 1978 году — роман «Свет и тьма» (часть первая), в 1979 году вышли повесть «Вечная весна» и рассказы. Повести «Средний возраст» и «Деревенские тайны» удостоены соот-

ветственно первой премии на конкурсе повестей 1977–1980 годов и второй премии на конкурсе 1981–1982 годов.

* * *

Весенним ветром пронесся по Управлению слух:

— Сверху пришла бумага — сбавить всем десять лет!

— Не может быть, — сомневались маловеры.

— Не верите — дело ваше! — Сообщивший новость возбужденно объяснял: — Ученые два года исследовали этот вопрос, три месяца заседали на специальном симпозиуме и предложили проект указа. Послали наверх, вот-вот должны спустить.

Скептики все же не верили:

— Неужели? Просто немыслимо!

Но доказательства были неопровержимые:

— На симпозиуме единогласно решили: «культурная революция» отняла у каждого десять драгоценных лет. Эти годы — величина отрицательная, поэтому надо вычесть…

Резонно, ничего не скажешь! Маловеры сдались.

— Вычесть десять лет. Значит, мне будет не шестьдесят один, а пятьдесят один. Вот здорово!

— А мне — не пятьдесят восемь, а сорок восемь, ха-ха!

— Вот это новость, вот это да!

— Гениально, грандиозно!

Ласковый весенний ветерок превратился в ураган, в одно мгновение всех закруживший вихрем.

— Слыхал? Сбавят десять лет!

— Истинная правда, десять лет!

— Минус десять лет!

Всех как ветром сдуло, помчались передавать новость. Здание опустело, хотя до конца рабочего дня оставался еще целый час.

Шестидесятичетырехлетний Цзи Вэньяо, едва вернувшись домой, заглянул в кухню.

— Минхуа, иди скорей сюда! — позвал он жену.

— Что случилось? — Фан Минхуа прибежала с недочищенным шпинатом в руке.

Цзи Вэньяо стоял посреди комнаты подбоченившись и весь сиял. Заслышав шаги жены, он обернулся и решительно объявил, сверкнув глазами:

— Надо купить новую мебель, завтра же пойдем и запишемся на румынский гарнитур.

Фан Минхуа, ошарашенная, подошла к мужу и

тихо произнесла:

— Ты сошел с ума, Вэньяо. Несколько тысяч, все, что накопили, сразу ухнуть, завтра…

— Эх, ничего ты не знаешь! — Вэньяо покраснел, жилы на шее вздулись. — Мы начинаем новую жизнь!

Из своих комнат, не сговариваясь, выбежали сын и дочь.

— Что это с отцом? Может, нервы сдали у старика?

— Идите, идите, не ваше дело! — прогнал он переглядывавшихся в недоумении детей.

Потом запер дверь, два раза подпрыгнул и обнял за пухлые плечи благоверную. Такого еще с мужем не бывало за всю их долгую совместную жизнь, и это удивило дражайшую супругу еще больше, чем заявление о покупке румынской мебели. Что-то с ним неладно, подумала она. Годы подошли, пора на пенсию — вот он и расстраивается, мучится. Днем молчит, а по ночам все охает да вздыхает в постели, что-то бормочет, думает, я не слышу. И вдруг — нате, пожалуйста! Человеку седьмой десяток, а он как те, в телевизионных передачах. Она даже покраснела.

А старый Цзи, ничего не подозревая, заключил в объятия застывшую в недоумении жену, усадил

на стул и, блестя глазами, зашептал на ухо:

— Совершенно секретные сведения: скоро издадут указ — нам всем сбавят возраст на десять лет!

— Сбавят… на десять лет? — Фан Минхуа выронила шпинат, вытаращила глаза. — Ой, мамочки! Правда?

— Истинная правда! Вот-вот должен прийти приказ.

— Ай-я, мамочка родная! — Минхуа вскочила и, сама не зная, как это получилось, обхватила руками худые, костлявые плечи своего старого мужа, запечатлев на его длинном лице короткий поцелуй. Она испугалась: неужели она опять молода? Муж, слегка ошалевший, взял ее за руки, и они медленно закружились по комнате.

— Ой, голова! — Минхуа высвободила руки; сердце сильно колотилось, пришлось остановиться.

— Ну что, малышка, купим румынский гарнитур? — Цзи с задором посмотрел на свою сразу помолодевшую женушку.

— Купим! — В глазах ее сверкнули огоньки.

— Начнем жизнь сначала?

— Начнем, начнем! — Голос ее дрогнул, в уголках глаз показались слезинки.

Цзи сел на диван, на него обрушился шквал мыслей, он закрыл глаза, открыл их и заговорил быстро и решительно:

— Мебель — это, конечно, пустяки. Главное, появится возможность поработать еще десяток лет. Надо этим воспользоваться и покончить с разболтанностью и разгильдяйством: наладить работу канцелярии, заведующего взяли совсем никчемного; водители эти, шоферня, тоже никуда не годятся; надо наладить…

Он размахивал руками, глаза-щелочки возбужденно горели.

— Вопрос с кадрами надо тщательно продумать. Сейчас приходится пигмеев выдвигать в генералы, Чжан Минмин, например, книжник, организаторского опыта не имеет. Дайте мне десять лет, десять лет, и я создам настоящий коллектив; омоложение должно быть последовательным, надо начинать с сегодняшних студентов. Взять двадцатитрех-двадцатичетырехлетних, обучать лет десять, не жалея средств и сил, вот тогда…

Минхуа мало интересовали омоложение и расстановка кадров, она размечталась о будущей прекрасной жизни:

— Диван, я думаю, тоже надо сменить.

— Сменим, мебель заведем модную.

— И кровать поменяем на мягкую. — Она покраснела.

— Совершенно верно! Спим всю жизнь на досках, а теперь понежимся на мягкой, как иностранцы.

— А деньги…

— Да что деньги! — отмахнулся пренебрежительно Цзи. — Главное — лишних десять лет! Их ни за какие деньги не купишь!

Так они ворковали, витая в облаках, как вдруг дочка приоткрыла дверь и спросила:

— Мам, что будем ужинать?

— Ну, сама там сообрази! — рассеянно ответила мать, совсем забыв про еду.

— Э нет! — взмахнул руками Цзи. — Сегодня, — торжественно объявил он, — пойдем угощаться пекинской уткой, папа приглашает. Вы с братом идите вперед, займите место, а мы с мамой — следом за вами.

— Ух ты! — изумилась девушка и, заметив радость на лицах родителей, ни о чем больше не спрашивая, помчалась за братом.

По дороге в ресторан они обсуждали событие. Может быть, говорил брат, отца в порядке исключения оставляют на работе. Или же повысили

в должности и он получил кучу денег, строила догадки сестра. Разумеется, ни одному из них не пришла в голову истинная причина. А ведь то, что их ждет, дороже любого повышения в должности в тысячу, в десять тысяч раз.

Дома супруги оживленно беседовали:

— Хуа, тебе надо бы заняться своим гардеробом. Ведь теперь тебе всего сорок девять.

— Мне сорок девять? — пробормотала она, как во сне. Какие-то давно угасшие, молодые жизненные силы зашевелились в ее располневшем, рыхлом теле; они кружили голову, и женщина совсем растерялась.

— Завтра купишь демисезонное пальто, бежевое. — Цзи критическим взглядом окинул едва сходившуюся на ней затертую форменку и тоном, не терпящим возражений, заявил: — Почему мы не можем модно одеваться? Слушай-ка, после ресторана пойдем и купим мне итальянскую куртку, такую, как у этого Чжан Минмина. Ему уже сорок девять стукнуло, он может жить, а я не могу?

— Правильно! — Минхуа пригладила свои седые, тусклые, растрепавшиеся волосы. — А я волосы покрашу. Шикану — пойду в косметический салон высшего разряда. Эх, молодые называют

нас старомодными. Вот сбросим десять лет и будем жить лучше, чем они…

Цзи вскочил.

— Верно, жить надо уметь. Отправимся путешествовать. В Лушане, Хуаншане, Цзючжайгоу — везде побываем. Плавать не умеем, так хоть морем полюбуемся. Пятьдесят с небольшим лет, да это самый подходящий возраст! Да, не умели мы раньше жить.

Фан Минхуа, не слушая разошедшегося супруга, вела свои расчеты.

— Если сбросить десять лет, мне будет всего сорок девять, значит, я смогу вернуться на свое старое место и еще хорошенько потрудиться целых шесть лет!

— Ты… — Цзи явно засомневался.

— Да, да, шесть лет, я смогу работать еще шесть лет, — твердила Фан Минхуа в радостном возбуждении.

— Ты… тебе, пожалуй, не стоит работать, — сказал наконец Цзи. — Со здоровьем у тебя неважно…

— Я совершенно здорова. — Минхуа так не терпелось вернуться на работу, что она и в самом деле чувствовала себя прекрасно.

— Ты пойдешь на работу, а на кого оставишь

здесь хозяйство?

— Наймем домработницу.

— А, эти аньхойские поденщицы такие недобросовестные, разве можно на них положиться!

Фан Минхуа слегка заколебалась.

— И потом, зачем доставлять хлопоты своей бывшей организации? Если все пенсионеры вернутся, такая неразбериха начнется! — При одной мысли об этом Цзи Вэньяо пот прошиб.

— Нет, у меня еще шесть лет впереди, и я могу работать, — стояла на своем Минхуа. — Не возьмешь меня обратно в Управление, я на другую работу пойду. Пойду секретарем или замсекретаря парткома в какую-нибудь фирму. Ну, как?

— Э-э… Сейчас с этими фирмами такая путаница.

— Путаница! Надо только усилить руководство, наладить идеологическую работу, как раз и пригодятся старые кадры.

— Ну хорошо, — кивнул головой Цзи, как будто был начальником орготдела.

— Еще как хорошо-то! Эти на симпозиуме понимают людей! Сбавить десять лет, начать все сначала, да мне и во сне такое не снилось!

— А мне снилось, я об этом мечтал! — Цзи снова воодушевился. — «Культурная революция»

украла у меня самые лучшие годы! Десять лет! Сколько дел можно было совершить! Пропали все эти годы, осталась седая голова и болезни. Кто возместит мне все это? И почему я должен пожинать эти горькие плоды? Вернуть молодость, отдать десять лет — эти ученые хорошо придумали, давно бы так!

Опасаясь, как бы мужа снова не захватили тяжелые воспоминания, Фан Минхуа, смеясь, сказала:

— Ладно уж, пошли есть утку!

Сорокадевятилетний Чжан Минмин не мог разобраться в своих чувствах, не мог толком сказать, рад он или не рад, сладко ему или горько. Кажется, и то и другое.

Хорошо, разумеется, что вернут десять лет. Специалисту-исследователю да не знать цену времени? Особенно ему, интеллигенту средних лет. Десять лет — это подарок судьбы. Вот за границей: если после двадцати лет исследователь сделал что-то значительное в своей области, он выступит с докладом на международной конференции, в тридцать может добиться признания во всем мире. Таких примеров сколько угодно. А он? Блестяще учился в университете, научный руководитель считал его талантливым, и про-

исхождение было не хуже, чем у других. Увы! В неподходящее время он родился: отправили землю копать. А когда вернулся и взялся за пожелтевшие листы научно-технической документации, показалось, будто впервые их видит — в голове пусто, руки дрожат. И вдруг подарили десять лет, и можно все начать сначала. Надо взяться как следует, а если еще и условия для работы улучшатся, меньше будет волокиты и бестолковой беготни, — можно и в десять лет уложить все двадцать, наверстать упущенное и, как говорится, с честью достичь вершин мировой науки.

Он радовался, как и все, даже больше.

Но тут один из сослуживцев, похлопывая его по плечу, спросил:

— Чему радуешься?

— Как же не радоваться? — удивился Чжан.

— Сбавят десять лет, Цзи Вэньяо не уйдет на пенсию, а значит, не быть тебе начальником, крышка.

Да, да, сбавят десять лет, Цзи не уйдет, да и зачем ему уходить, будет по-прежнему начальником, а он, Чжан? Останется рядовым инженером, будет разрабатывать свою тему, торчать в лаборатории, в библиотеке… Но ведь только позавчера

его вызывали в министерство, сказали, что Цзи пора на пенсию и он, Чжан, займет его место… Как же теперь, все не в счет, что ли?

На самом-то деле его совсем не привлекала административная работа. Самым высоким постом в его послужном списке было руководство группой, а опыт политической работы ограничивался проведением группового собрания. Ему и в голову не приходило поставить свое имя рядом с каким-нибудь чиновным званием, уже не говоря о таком высоком, как начальник управления. Смолоду он был «книжником», а во время «культурной революции» его причислили к «ревизионистской поросли — прихвостням буржуазных специалистов». После разгрома «четверки» он с головой ушел в работу, целыми днями просиживал в лаборатории, почти ни с кем не разговаривал.

Неизвестно, как это получилось, но когда подбирали резерв руководства, выбор пал на него. Несколько раз устраивали опрос сотрудников, его имя неизменно оказывалось первым в списке, как в свое время — на экзаменах — в первой тройке. В этот раз, выйдя из министерства, он подумал, что все решено окончательно. Хотя до сих пор никак не мог понять, при каких обстоятельствах, в каком деле он проявил способности

руководителя, заслужил благосклонность верхов и доверие масс, и потому ощущал неловкость. У него никогда не было склонности к административной работе, откуда же взяться способностям руководителя?

Сюэ Миньжу, его жена, не блистала ни красотой, ни талантами, но была хорошей женой и матерью. Будучи в курсе служебных дел мужа, она прекрасно разбиралась во всех распрях, бушевавших в Управлении, и сказала:

— Именно потому, что ты не годишься в руководители, тебя и хотят сделать начальником.

Чжан Минмин оторопел — что за нелепость? Но, поразмыслив, решил, что в этом есть какой-то смысл. Какой из него руководитель! Он не умеет отстаивать собственное мнение, не гонится за высокими должностями и потому всех устраивает — вот на него и пал выбор.

Конечно, была и «оппозиция». Он слышал, что на партийном собрании чуть ли не полдня спорили по «вопросу о Чжан Минмине». О чем именно спорили и что это за «вопрос», он не представлял, ясно было одно, что теперь он стал человеком, из-за которого спорят. Лишь когда его выдвинули на пост начальника Управления, все споры сами собой разрешились и «вопрос» отпал.

Однако пока шли споры и опросы общественного мнения, Чжан Минмин постепенно привыкал к своей новой роли человека, «выдвинутого на повышение», «из-за которого спорят». Иногда ему даже казалось, что он и в самом деле сможет стать хорошим начальником, хотя никогда не пробовал.

— Соглашайся, чего там, — говорила Миньжу. — Не ты же этого добивался. Станешь начальником — не придется, по крайней мере, ездить на работу и с работы в переполненном автобусе.

Ну вот, а теперь он не будет начальником. Жалел ли он об этом? Пожалуй, только не очень. Впрочем, он и сам этого не знал.

В полной растерянности Чжан вернулся домой.

— Пришел? Вот и хорошо, ужин как раз готов. — Миньжу принесла из кухни тарелку мяса, овощи и бульон с яйцами и острыми приправами. Мясо было нежирное, свежая зелень сверкала, все выглядело очень аппетитно.

Жена — прекрасная хозяйка, ловкая и сметливая, к тому же ласковая и заботливая. В те трудные три года, когда вокруг все болели и пухли от голода, Миньжу буквально спасала семью: перетирала грубое зерно, варила суп

из костей, что-то готовила из арбузных корок. Теперь продукты не проблема, но рыба и мясо так подорожали, что «зуб неймет», как жаловались соседи. Но Миньжу в совершенстве владела искусством выгодно покупать и мастерски готовить, получалось «недорого, но мило». Взглянув на аппетитную еду, Чжан Минмин вымыл руки, сел за стол и взял палочки.

— Сельдерей какой нежный, — сказал он. — Дорогой? В газетах пишут, что от него кровяное давление понижается.

Миньжу молча улыбалась.

— Горчичка хороша. Такую остроту придает бульону!

Миньжу по-прежнему молча посмеивалась.

— А жареное мясо с бамбуком… — Чжан Минмин восторгался обычным ужином, как истинный гурман.

— Ну, что случилось? — вдруг спросила Миньжу.

— Да ничего, ничего не случилось! — Чжан Минмин изобразил удивление. — Могу же я похвалить твою стряпню…

— Ты ешь каждый день, но никогда не хвалил, в чем же дело? — Миньжу все посмеивалась.

Чжан Минмин понял, что ему не отвертеться.

— Не хвалил, потому и решил…

— Ну хватит! Ты от меня что-то скрываешь. — Умница жена его раскусила.

Чжан Минмин вздохнул, отложил палочки.

— Да я не скрываю, просто не соображу, как лучше сказать.

Сюэ Миньжу опять усмехнулась. Конечно, ее муж ученый, исследователь, разбирается в тонкостях науки, не то что другие. Но проникнуть в чужую психологию, понять что-то по выражению лица — тут он беспомощен.

— Неважно, ты говори, — подбодрила его жена, как терпеливый учитель робкого ученика.

— Сегодня сообщили новость: сбавят десять лет, вот-вот выйдет указ.

— Не может быть.

— Да правда же.

— В самом деле?

— Истинная правда.

Миньжу размышляла, глядя на него большими выразительными глазами.

— Значит, ты не будешь начальником Управления.

— Не буду.

— Расстроился?

— Да вроде бы нет, сам не пойму, но все равно,

как-то не по себе.

Чжан Минмин взял палочки, поковырял рис и продолжал:

— В сущности, я не гожусь в руководители, да и не стремлюсь. Но вот уже несколько лет об этом говорят, словно меня давно ждет место начальника. А теперь вдруг все переменилось, и на душе как-то… — Он не мог подобрать нужного слова.

Миньжу сказала легко и беспечно:

— Оно и к лучшему — думаешь, просто быть начальником?

Чжан Минмин посмотрел на жену. Ни капельки не огорчилась. Его поразил ее решительный тон. Ведь когда он ей сообщил, что скоро станет начальником Управления, она так искренне радовалась. Говорила: «Подумать только, не домогался, не воевал, лавровый венок сам упал на голову». А теперь? Венок свалился, а она как ни в чем не бывало — не злится, не досадует.

— Начальник Управления! Сколько у него всяких дел! Разве ты выдержишь? Распределение жилья, продвижение по службе, премии, склоки, финансовые дела, устройство сыновей и дочек на работу, детишек в детский сад, — всем этим тебе пришлось бы заниматься. Управился бы?

Да кто же с такой уймой дел справится!

— Ты лучше занимайся своей наукой! Гораздо большего достигнешь за эти десять лет…

Да, да, верно, гораздо большего. Чжан Минмин успокоился. Его вдруг охватило прекрасное ощущение расслабленности и умиротворения.

Он укладывался в постель в предвкушении сладкого сна. Однако среди ночи проснулся с неприятным чувством беспокойства и какой-то потери.

Тридцатидевятилетний Чжэн Чжэньхай вихрем вылетел из Управления и помчался на велосипеде домой. Снял старую серую куртку, швырнул на стул. Он был полон неукротимой энергии. Неожиданно подаренные десять лет надо потратить на важные дела. Их столько накопилось.

— Эй! — крикнул он. Никто не отозвался. Десятилетний сынишка, конечно, играет где-то в переулке, но жена куда подевалась? В гости, что ли, пошла? — Эй! Ну что за дом!

Это самодельное кресло, такое несуразное — на спинку не откинешься, сиденье высокое, подлокотники низкие — тоже неудобно, только устаешь, сидя в нем. А все зависть! Как же! У других есть кресла, а у нас нет! И купить не на что! А ей вынь да положь. Вот и сколотили сами!

Мещанство! В самом деле, обзавелись этими креслами, одинаковыми, как форменки кадровых работников, смотреть противно! Мещане!

И как это я на нее нарвался? Одна семейка-то чего стоит! О жратве, тряпках да зарплате — больше ни о чем не говорят. Обыватели до мозга костей. Воспитание получают в семье ведь, и она вся в мать: грубая, вульгарная, после родов растолстела как бочка. Ни красоты, ни фигуры, ни доброты. И угораздило же меня на ней жениться! Поспешил! Вот и влип! Мне тогда уже к тридцати подходило, а холостяк — все равно что голодный. Я теперь моложе на десять лет, мне всего двадцать девять! Надо все хорошенько обдумать. Вчера она устроила скандал из-за того, что я купил хороших сигарет, кричала, что со мной невозможно жить, требовала развода. Прекрасно! Развод так развод! Двадцать девять лет — самое время подыскивать невесту. Найду стройненькую как тростинка, лет двадцати двух — двадцати трех, закончившую вуз, культурную, современную. А моя — недоучка. У нее только техникум. Дал я тогда маху!

Надо заново устраивать жизнь, бессмысленно тянуть эту лямку. Но где же жена?

А жена сразу после работы помчалась в магазин

женской одежды. Сбавят целых десять лет — душа Юэцзюань воспарила, мысли одна фантастичнее другой роились в голове. Почти сорокалетняя баба вдруг превратилась в двадцатидевятилетнюю девицу. Этакая удача с неба свалилась. Истинное сокровище. Ни с какими драгоценностями его не сравнишь!

Двадцать девять лет! Ведь это молодость, красота. От одного взгляда на свое бесцветное, какое-то нелепое, потерявшее всякий вид платье ее охватила ярость, больно отозвавшаяся в сердце.

Влетев в магазин, она ринулась к стенду с самыми современными моделями. Ее глаза, как сканирующее устройство, пробежали по ослепительному ряду выставленных платьев и остановились на ярко-красном платье с белыми плиссированными оборками. Она попросила продавщицу его показать. Молоденькая продавщица с ледяным лицом смерила ее взглядом, с трудом скрывая презрение.

«Ну что? Разве оно не пойдет мне?» Юэцзюань охватила досада, как это обычно бывало, когда она с большим трудом выбирала наконец платье, а Чжэньхай принимался ее отговаривать: «Не годится, слишком молодо для тебя». «Слишком молодо» — что ж тут плохого? Неужели лучше

старухой выглядеть? Чаще всего она уходила из магазина с пустыми руками, а дома ругалась всю ночь. Попался же такой отсталый и старомодный, вот и мучайся с ним всю жизнь.

И наплевать мне на продавщицу. Я покупаю — плачу деньги, ты выдаешь товар, остальное не твое собачье дело! Что она смыслит, эта девчонка, небось и не знает про указ? Почему женщине в двадцать девять не носить это платье? Китайцы такие закоснелые. За границей женщина чем старше, тем ярче одевается: восьмидесятилетние носят красное и бирюзовое. Мне ведь носить, а не тебе? И не пялься на меня, я покупаю — и все!

Уплатив деньги, Юэцзюань зашла в примерочную, надела новое платье и глянула в зеркало, в котором еле умещалась. Ее и без того расплывшаяся фигура выглядела еще безобразнее, обтянутая огненно-красным платьем. Вид был вызывающий. Ну, ничего, придется сбросить немного жирку. Десять лет сбавили по указу, а чтобы сбросить хоть десять цзиней, придется самой как следует постараться. Давно пора отказаться от сала, мучное свести до минимума, даже фруктов поменьше есть, иначе не похудеешь.

Пыхтя и отдуваясь, она пришла домой, толкнула дверь и огненным шаром влетела в комнату.

Чжэн Чжэньхай испуганно вскочил с дивана.

— Что с тобой?

— Как что?

— Что за платье на тебе?

— Купила. Ну как? — Юэцзюань приподняла подол и прошлась, поворачиваясь, как манекенщица, самодовольно улыбаясь.

— Ярко-красное платье, конечно, красиво, только не на всякой фигуре, — окатил ее ушатом ледяной воды муж.

— А на моей?

— На твоей? Разве оно для твоего возраста? Ты подумала, сколько тебе лет?

— Очень даже подумала — двадцать девять! Самое время наряжаться!

— Двадцать девять? — оторопел Чжэн.

— Двадцать девять. Если вычесть десять лет. Даже без одного месяца. Вот и буду одеваться в красное и зеленое! — Юэцзюань, пританцовывая, как звезда эстрады, павой прохаживалась взад-вперед.

Неприятно было смотреть на эту уже немолодую, грузную женщину, вообразившую себя молодой. Чжэн-хай прикрыл глаза, потом открыл и сказал:

— Указ издали, чтобы лучше использовать

энергию молодых, ускорить модернизацию, а вовсе не для того, чтобы наряжаться!

— А что, нарядное платье мешает модернизации? — взвилась Юэцзюань. — Указ запрещает красиво одеваться? Говори!

— А я и говорю, что одеваться надо с учетом реальности, фигуры…

— А что моя фигура? — Слова мужа укололи ее в больное место, и она решила мстить беспощадно: — Я тебе все напрямик скажу. Тебе противно, что я толстая, а мне противно, что ты тощий, настоящий цыпленок; на лбу морщины, как трамвайные рельсы; трех шагов не можешь пройти без одышки. Я на тебя тогда позарилась, еще бы — муж интеллигент! А оказалось, новая политика тебя не коснулась, одно название что интеллигент. Ни одежды приличной, ни квартиры. Ну вот, теперь мне двадцать девять, найду себе какого-нибудь частника из тех, что торгуют арахисом или засахаренными фруктами. Все лучше, чем ты!

— Ну и иди, ищи!

— Запросто! Сегодня разведемся — завтра с другим распишусь!

— Ну что ж, давай разведемся!

Эти слова словно мощный поток прорвали

плотину. Обычно о разводе говорила только Юэцзюань, она твердила о нем без конца, Чжэньхай же даже не осмеливался произнести это слово. А сегодня этот чертов сын обнаглел, сам заговорил о разводе. Нет, этого она не потерпит!

А эти проклятые исследователи только воду мутят! В ярости она толкнула мужа и заорала:

— А теперь ты и вовсе сопляк, раз тебе меньше на десять лет, куда тебе разводиться, сиди уж!

— Думаешь, если десять лет сбавить, весь мир к твоим ногам упадет? Что за чушь!

— Линь, завтра во Дворце культуры танцы, вот возьми! — Ли, член профкома, помахала билетом. Но Линь Суфэнь не обратила на нее никакого внимания и стремительно выбежала из Управления.

— Минус десять лет! Теперь, значит, Линь Суфэнь — девятнадцать, она больше не старая дева; профкому нечего о ней заботиться, а ей самой прибегать к помощи бюро знакомств, ходить на танцевальные вечера в надежде найти себе пару. Со всем этим кончено!

Ей уже было невыносимо в свои двадцать девять лет ловить на себе повсюду сожалеющие, насмешливые, настороженные, подозрительные взгляды… Сожалеющие — потому что она была совсем одинока, насмешливые — потому что она

сама испортила себе жизнь своими слишком высокими запросами, настороженные — из-за ее нервозности и ранимости, подозрительные — из-за ее истеричности и неуравновешенности. Как-то в обед, в уголке, где стоял титан, она приготовила себе миску лапши, вбив туда еще пару яиц, и услышала за спиной:

— Как заботится о себе!

— Психованная.

Она проглотила комок слез. Ну почему, если девушка двадцати девяти лет не пошла обедать в столовую и сварила себе лапшу, ее надо называть психопаткой? Неужели так написано в учебнике психологии?

Даже близкие друзья без конца твердят: «Найди себе пару». Как будто не выйти в ее возрасте замуж — это тягчайшее преступление против земли и неба, — все против тебя ополчились, сплетничают, судачат. Поневоле станешь неврастеничкой. Неужели для женщины нет ничего важнее, чем выйти замуж, найти мужчину? До чего же горько, противно, нелепо и смешно!

Ну, а теперь — свобода! Девятнадцать лет! И пусть все заткнутся! Она смотрела на голубое небо, по которому плыли легкие белые облачка — платочки, которые в миг заткнули рты всем

этим доброхотам. Красота!

С гордо поднятой головой, не глядя по сторонам, Линь легким, быстрым шагом гордо прошла к стоянке велосипедов, выкатила свой «Летящий голубь» и сама, словно голубь, выпущенный на волю, вылетела за ворота.

Кончался рабочий день, улицы, вдоль которых непрерывной цепью тянулись магазины, лавочки — государственные, кооперативные, частные — были запружены народом. Отовсюду неслись модные песенки. «Я тебя люблю…», «Ты не любишь меня…», «Я не могу жить без тебя…», «В твоем сердце нет места для меня…». Ну что за слова! К черту все это!

Любовь — теперь не товар, который надо поскорее сбыть! В девятнадцать лет все еще впереди, столько возможностей! Главное — срочно взяться за учебу, пополнить знания, усовершенствоваться. Только так можно принести пользу обществу, дать счастье людям и заслужить уважение, обогатить свою жизнь, чего-то добиться. Вот тогда любовь придет сама, и, конечно, от нее не откажешься. Любовь — тихая, не напоказ, идущая из глубины сердца.

Надо поступить в вуз. Девятнадцать лет — самый подходящий для этого возраст, нельзя терять

времени. В вечернем или телеуниверситете, если постараться, можно получить диплом. И все же это не Пекинский университет или Цинхуа. Всю жизнь сломали, не дали учиться. Ведь строго говоря, у нее образование на уровне начальной школы. Доучилась до четвертого класса, и началась эта «революция»; беготню по улицам на протяжении нескольких лет зачли как начальную школу второй ступени. Пошла в среднюю. Сидела в классе, мало что понимая из объяснений учителя. Еле-еле дотянула — окончила школу. Потом послали в деревню на трудовую закалку, и все свои жалкие знания она растеряла. Кончилась «революция». Вернулась в город, «стала ожидать» работу. Наконец ее взяли в так называемую подсобную службу Управления, которая действовала на кооперативных началах. Осталась у нее в жизни одна лишь забота — выйти замуж. А там ребенок, пеленки, рис, мука, масло, соль, соя, уксус, обмен газовых баллонов, ссоры, скандалы, — и так всю жизнь.

Да разве для этого человек рожден? Суфэнь не могла с этим смириться. Нет, человек должен что-то совершить, что-то оставить после себя. Но она со своим скудным образованием ничего не умеет: ни хлеб растить, ни уголь добывать;

ни к крестьянкам ее не отнесешь, ни к рабочим, интеллигентка без образования — одинокая, неприкаянная душа.

Надо начинать с нуля. Она тратила почти все свое свободное время на различные подготовительные курсы и больше половины зарплаты — на покупку пособий и плату за учебу. Родной язык, математика, английский, рисование — за что только она не бралась! Учила, зубрила, но дело двигалось слишком медленно, а сил уходило много. Лет ей было немало, и она мечтала о курсах ускоренного обучения, иначе не успеть — кому нужен старый скакун?

Она решила вплотную заняться английским, надеясь штурмом взять крепость. Всевозможные учебники, радио- и телеуроки, языковые курсы — все сразу. Через месяц она обнаружила, что у крепости собралась целая толпа подрывников! Такие же, как она, уже не юные парни и девушки стремились пробиться кратчайшим путем к воротам. Но это был не самый надежный путь. Ну, одолеешь английский, что пользы при общем низком культурном уровне? Переводить с английского на китайский, с китайского на английский? Для этого есть сколько хочешь окончивших институты иностранных языков!

Никому нет дела до «ожидающих работы» молодых людей, которые, как ростки, стараются пробиться наружу.

Училась она и в Заочном институте литературного творчества. Писать бы рассказы или стихи о молодежи, ее подавленности и колебаниях, о поисках счастья. Выплеснуть бы все это на бумагу. Пусть молодежь двадцать первого века узнает, что было в истории нашей земли обманутое и страдавшее от несправедливости поколение. Не по своей вине потеряли они все, что им принадлежало по праву, — на них свалились незаслуженные тяготы. И они будут нести это тяжкое бремя до конца жизни.

Ах, как легко рассуждать о литературе! То, что пишут ровесники, — не нравится, а когда сама взялась за перо, не знала, с чего начать. Изорвала несколько толстых пачек бумаги; домашние испугались, решили, что она свихнулась. Ну что ж, не каждому дано стать писателем.

А может быть, выучиться на бухгалтера, счетных работников не хватает…

Она прикидывала так и этак и ничего не могла решить. В тоске и неуверенности она не понимала сама себя, не знала, за что ей приняться. Одни говорили: «Не суетись, живи как живется!» Дру-

гие советовали: «Выходи замуж и успокойся!»

Но этого ей хотелось меньше всего.

А теперь все перевернулось, цветы благоухают, птицы поют, мир стал бесконечно прекрасен. Минус десять лет — и мне всего девятнадцать. Какая там неуверенность, тоска, отчаяние и неудачи, все это к черту! Теперь я не за бортом жизни, мир снова принадлежит мне. Я буду дорожить каждым мгновением, каждой минутой. Надо твердо решить, чего я в жизни хочу, и не сворачивать с избранного пути. Я буду учиться, поступлю в институт, получу настоящее образование. Это — главная цель.

Да, завтра же, сейчас начну действовать.

Она ехала на велосипеде, широко улыбаясь, прямо к магазину учебников Синьхуа.

На следующий день с самого утра все Управление кипело и бурлило. Вверху и внизу, внутри и снаружи царило оживление, слышались смех и громкие голоса. Люди с больным сердцем, не жалуясь, с ходу поднимались на пятый этаж — ни тебе одышки, ни сердцебиения, ни бледных лиц — ничего. Старики на седьмом десятке, говорившие обычно медленно, тихо, задыхаясь, вдруг заговорили так громко, что было слышно в другом конце коридора. Двери всех комнат

были распахнуты, толчея как на ярмарке, люди возбужденно делились друг с другом радостью, мечтами, бесконечными планами.

Вдруг кто-то предложил:

— Пошли на улицу, устроим шествие по случаю второго освобождения!

Все с готовностью откликнулись и взялись за дело. Одни писали лозунги, другие мастерили красные и зеленые флажки. Член комиссии по культмассовой и физкультурной работе притащил со склада огромный, как круглый стол, барабан и полоски красного шелка для народных танцев. Скоро все собрались перед зданием Управления. На красном полотнище желтыми иероглифами было выведено: «Торжественно отметим возвращение молодости!» На флажках написаны идущие от самого сердца слова: «Приветствуем мудрое решение симпозиума по проблемам возраста!», «Возвращенную молодость посвятим четырем модернизациям!», «Да здравствует молодость!».

В волнении гулко бились сердца. Цзи Вэньяо чувствовал, как кипит кровь во всем теле. Поднявшись на верхнюю ступеньку лестницы, он уже собрался сказать несколько вдохновляющих слов перед тем, как самому возглавить это

грандиозное шествие, как вдруг увидел человек тридцать бывших сотрудников, уже оформивших уход на пенсию. Ворвавшись во двор, они бросились прямо к нему:

— Почему нам не сообщили об указе?

— Но… вы уже не работаете, — проговорил Цзи.

— Э нет, так не пойдет! — зашумели старики.

Цзи Вэньяо поднял руки:

— Товарищи, не шумите, не…

Но где там, его никто не слушал. Рев голосов неудержимым потоком рвался к облакам:

— Сбавили на десять лет всем, каждый имеет право, а мы что, хуже других?

— Мы обязаны действовать по указу, нельзя своевольничать! — Цзи повысил голос на целую октаву.

— А где указ, почему не обнародовали?

— Покажите указ!

— Почему не показывают указ?

Цзи Вэньяо повернулся к завканцелярией.

— Где документ?

Тот тупо ответил:

— Не знаю.

В разгар всей этой суматохи зашумели недавно принятые на работу молодые ребята лет восем-

надцати — девятнадцати:

— Если это правда, что сбавили десять лет, мы окажемся не у дел!

— До восемнадцати лет дармоедствовали, наконец-то получили работу, а теперь что же — опять нас загонят в третий класс начальной школы? Как же так?

Ребятишки из детского сада при Управлении, как стайка утят, сбились около Цзи, обхватив его ноги, тянули ручонки, галдели:

— А мы куда денемся?

— Маме нелегко было меня рожать, пришлось резать животик!

Цзи с трудом отбивался. Он снова повернулся к завканцелярией.

— Указ, где указ? Живо разыщите!

Завканцелярией совсем растерялся, и Цзи грозно приказал:

— Быстрее. Ищите в секретном отделе!

Тот помчался в секретный отдел, переворошил все документы — указа не было.

Тотчас посыпались разные предположения:

— А может быть, его в архив сунули?

— Или кто-нибудь из другой конторы взял?

— Черт возьми, чего доброго, выбросили в мусорную корзину. Тогда ищи-свищи!

Среди всей этой неразберихи Цзи Вэньяо сумел все же сохранить хладнокровие и дал четкое задание:

— Разыскать указ. Всем заняться поисками. Смотреть внимательно, обшарить все закоулки!

— Шествие отменить? — ждал указаний зав-канцелярией.

— Не отменять. Но первым делом — найти указ!